

ЭМИГРАНТЫ

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

ЭМИГРАНТЫ

◈

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1982

Р 2
Т 52

Послесловие
В. И. Баранова

Иллюстрации
Ю. С. Гершковича

Толстой А. Н.

Т 52 Эмигранты. Повести и рассказы. Ил. Ю. С. Гершковича, послесловие В. И. Баранова.— М.: Правда, 1982.—560 с., ил.

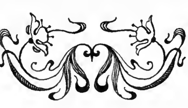
Выдающийся советский писатель А. Н. Толстой в своих повестях и рассказах 20—30-х годов нарисовал беспощадно правдивую картину разложения, опустошенности и вырождения белых эмигрантов. Все они раскрыты в своей подлинной сущности — ничтожестве, враждебности родине, народу.

Р 2

$Т\frac{70302}{080(02)-82}$ **Без объявления 4702010200**

Тексты печатаются по: Алексей Толстой. Собрание сочинений в 8-ми томах. М. 1972 (Библиотека «Огонек»).

ЭМИГРАНТЫ



Факты этой повести исторически подлинны, вплоть до имен участников стокгольмских убийств. Профессор Стокгольмского университета сообщил мне подробности этого забытого дела. Остальные персонажи и сцены взяты по возможности документально из материалов, из устных рассказов и личных наблюдений. В первой редакции эта повесть называлась «Черное золото».

А. Толстой



Летом тысяча девятьсот девятнадцатого года ветер с океана приносил короткие ливни, солнце сквозь разрывы облаков освещало мокрые асфальты Парижа, бульвары, каштановые аллеи, аспидные крыши, полосатые парусины над столиками кабачков, потоки потрепанных автомобилей, снова вернувшихся с полей войны к услугам парижан и иностранцев.

Город испускал сложное благоухание. Центральные бульвары пахли бензином и духами, боковые улички—ванилью, овощами, винными лавками, непроветренными постелями, гигантские железостеклянные рынки—всеми дарами моря и земли. В старых, взбирающихся на холмы извилистых улицах, где жили те, чье мускульное напряжение наполняло город золотом и роскошью, пахло жареной картошкой, мокрыми опилками кабачков, ацетиленовыми фонарями уличных палаток, где жарились вафли и крутились пестрые рулетки.

Ветер с востока, с полей войны, разгонял пленительную лазурь полутеней, солнце жгло зеркальный асфальт, сухо шелестела каштановая листва, лоснились пóтом проборы у толстеньких гарсонов, смахивающих салфетками пыль с мраморных столиков на тротуарах, нездоровье проступало на женских лицах, загримированных с послевоенной решительностью, нехорошее возбуждение—на лицах юношей, свинцовая усталость—под седыми усами у стариков.

Ветер с полей войны, где под тонким слоем земли еще не кончили разлагаться пять миллионов трупов промежуточного поколения французов, немцев, англичан, африканцев, нагонял на город тление. Оно приносило странные заболевания, поражавшие Париж комбинированными карбункулами, рожей, гнилостными воспалениями, нарывами под ногтями, неизученными формами сыпи.

Мертвые, как могли, участвовали в виде стрептококковой пыли в послевоенном празднике живых. Слезы все были пролиты, траур остался лишь в черных оттенках мужских галстуков, женщины обнажились по пояс, и город с часу дня до розовой зари надрывающе пел саксофонами.

Всюду, где был квадратный метр свободной площади, взвывала стальная пластинка флексотона, мурлыкала скрипка, хрипела кривая дудка, стучали дощечки, бухал турецкий барабан, и демобилизованный, плотно прижимая к себе растопыренными пальцами женщину, шаркал и шаркал подошвами...

Каждый демобилизованный не прочь был бы устроить веселенькое побоище по возвращении с войны. В конце концов, покуда дураки сидели в окопах, умные не теряли времени в тылу. Но власть предоставила вернувшимся «защитникам отечества» лишь мирным путем отыскивать себе место в жизни. Все было ново, потрясено, сдвинулось, перемешалось. Франк падал, цены росли.

Руки, привыкшие к винтовке, не легко протягивались в окошечко кассира за скудной субботней выручкой. Что ни говори о прекрасной родине, а ухлопать такую уйму народа, чтобы вновь одним—с парусиновым свертком инструментов на плече благонамеренно шагать в дымах рассвета к гудкам кирпичных корпусов, другим—проноситься по тем же мостовым в шикарных машинах (сонные морды, завядшие бутоньерки, смятые груди смокинговых рубашек),—тут можно было задуматься: «Так что же, выходит—ты чужое счастье купил своей кровью? Дурак же ты, Жак!»

Правительство, обеспокоенное настроениями рабочих кварталов, стремилось сгладить остроту: около миллиарда франков было отпущено на стабилизацию цены на превосходный белый хлеб. Двести тысяч франков взлетело вечером четырнадцатого июля с мостов Парижа пышными ракетами, огненными дождями, павлиньими хвостами в черно-лиловое небо. Ежедневно все восемьдесят столичных газет раскрывали таинственные преступления, жуткие убийства—трупы в багажных корзинах, головы, выловленные в Сене. Удалось потрясти воображение сексуально-кровавым процессом Ландрю: этот второй Ра-

уль Синяя Борода заманил на свою дачу двенадцать женщин, ограбил, задушил и сжег их в печи. Ландрю казнили в Версале, куда устремились еще с вечера толпы шикарных парижан. Коротая теплую ночь на площади перед гильотиной, они веселились, как дети. Звезда эстрады, Мистангет, плясала на верху лимузина. На рассвете палач, в черном сюртуке, в цилиндре, появился рядом с двумя столбиками, где наверху поблескивал треугольник ножа,—палач дал знак. Из тюрьмы выволокли упирающегося лысого человека со всклокоченной черной бородой... Несколько секунд—и он привязан под ножом, он вздрагивает икрами. Палач нажимает кнопку, глухой стук ножа, голова Ландрю отскакивает в корзину. Туда же палач, сняв осторожно, бросил белые перчатки. Приподнял цилиндр. Рукоплескания...

Организованы были экскурсии на развороченные поля сражений, где торчали обломки городов и ряды деревянных крестов пропадали за горизонтом. Ни травинки, ни птиц, ни насекомых—почва была еще пропитана нарывным газом. За двадцать франков можно было поглядеть на места гибели пяти миллионов человек.

Эти экскурсии подготовляли общественное мнение: Совет Десяти медлил с подписанием мира,—Германию ожидала суровая кара. Двадцать семь стран и народов, воевавших против Германии, послали представителей на парижскую мирную конференцию, в ней выделилось ядро из пяти великих держав—Совет Десяти. Во главе стоял президент США—Вудро Вильсон. Он привез из Вашингтона четырнадцать пунктов вечного мира для человечества. Эти четырнадцать заповедей из страны, которая загребла все золото Европы, должны были восстановить дух христианства, мирные рынки и свободу торговли на суше и море.

Четыре остальные державы—Франция (представитель Жорж Клемансо), Англия (Ллойд-Джордж), Италия (барон Сонино) и Япония (барон Макино)—готовились вонзить зубы в колонии и богатства Германии и ее союзниц. Их волчий аппетит президент Вильсон упрямо пытался ограничить бесплодными, как англосаксонское воскресенье, проповедями о победе добра над злом. Премьер-министры четырех держав задыхались от негодования. Не подымайся за

его спиной из-за океана такая распухшая золотом махина — США, они давно бы вышвырнули за дверь этого божьего посланника с его квакерской шляпой и тощими брюками.

Непримиримее всех, мстительнее, жаднее была Франция. Она готовилась к огромному индустриальному подъему: приобретая Эльзас и Лотарингию, оккупируя угольные богатства Рейна, захватывая африканские колонии, Франция намеревалась занять место Германии в промышленности.

С первых же заседаний Совета Десяти Франция повела линию на завоевание мира. Восьмидесятилетний «национальный тигр», злой и злопамятный Жорж Клемансо предоставил Вильсону бороться сколько влезет за торжество добра, и ждал, когда он всем опротивеет. Клемансо разрабатывал французский мир: двести миллиардов долларов германских репараций (по три тысячи долларов с каждой немецкой души), провинции, Рейн, колонии, раздел Турции, создание и вооружение «великой» Польши, наконец, большой военный поход на восток Европы: Берлин — Москва. Словом — возобновление империи Наполеона I.

Восток особенно тревожил французских буржуа. Красная зараза могла испортить все дело. Уже Германия и Венгрия сотрясались от революционных бурь. Галицийцы, бунтуя против польских панов, осаждали Львов. Итальянские рабочие выбили медаль с профилем Ленина. Славяне бывшей Австрии казались ненадежными. Никто не мог поручиться (так говорил Ллойд-Джордж), что вся Восточная Европа, охваченная большевистским безумием, не двинет на Париж стомиллионную Красную Армию.

Когда Вильсон, длинный, розовый, седой, похожий на пастора, говорил о разоружении народов и милосердии к врагам, Жорж Клемансо только лающе покашливал, и косматые брови его нависали плотским ужасом над призрачными идеями президента. По существу он опасался одной только Англии.

Прошло уже восемь месяцев с окончания войны. Банкеты, праздники и фейерверки сопровождали каждый шаг мировой конференции. Журналисты обшаривали Париж в поисках таинственной особы, с которой веселился Вильсон. Старик был дьявольски

скрытен,— несомненно он веселился, и вовсю,— он худел, у него дергалось лицо на заседаниях, он волочил ноги. Ребенку было ясно, что он где-то проводит ночи в чудовищном разврате. Когда об этих предположениях сообщили Клемансо, он в первый раз за восемь месяцев усмехнулся, зажмурил глаза, седые усы приподнялись, лицо сморщилось, как у тигра, увидевшего мышь.

Мир все еще не был подписан. Союзный флот продолжал блокаду Германии. Немцы питались сырой брюквой и десятками тысяч умирали от истощения. Никто не знал, чем окончатся заседания конференции. Война могла возобновиться. От нее охраняли только четырнадцать пунктов Вильсона. Доходили слухи, что в Америке деловые люди хмурятся, как от сделанной глупости: Вильсон ставил соотечественников в смешное положение,— чего, поди, в Европе начнут думать, что США населены одними мечтателями... Вокруг Вильсона образовалась пустота... Тогда-то Жорж Клемансо ознакомил Совет Десяти с основами французских мирных требований.

Четырнадцать пунктов летели к черту. Президент возмутился и пригрозил отъездом. Но он не уехал. Он хотел спасти хотя бы осколок идеалистической философии — Лигу Наций. Он отчаянно боролся. Лига Наций была провозглашена, тогда он уступил во всем, отдав европейские народы на растерзание. Франция победила. В Версаль затребовали немецких представителей, чтобы вручить им на рассмотрение мирный договор.

В безоблачное утро седьмого мая германский министр иностранных дел — граф Брокдорф-Ранцау (в черном, черных перчатках, с черной тростью), высокий, замкнутый, вошел с пятью представителями в белый зал Версальского дворца. Немцы увидели потоки солнечного света сквозь переплеты высоких окон. Свет и зелень лужаек, шпалер, синева фонтанов отражались в старинных зеркалах противоположной стены; казалось, солнце мира летело в восемь оконных пролетов. Там, где некогда помещался трон Людовика XIV, короля солнца, за столом, завершающим амфитеатром расположенные золотые кресла, сидел Клемансо в темно-серой стариковской визит-

ке — коренастый, с угловатыми плечами; опухшие руки в серых перчатках сжаты в кулаки, квадратное лицо топорщилось белыми бровями, пожелтевшими усами. Направо от него — высохший президент Вильсон, налево — приветливо улыбающийся, франтоватый, румяный, седогривый Ллойд-Джордж с опущенными на губу седыми усами и хищным носом. Ниже — в креслах — пестрые представители двадцати семи стран и народов, посланных купечеством урвать, что можно...

«Господа делегаты германского государства. Здесь не место для лишних слов... Вы навязали нам войну... Мы принимаем меры, чтобы подобной войны более не повторилось...— так заговорил Жорж Клемансо, тяжело дыша от ярости.— Час расплаты настал. Вы просили нас о мире, мы согласны вам предложить его...»

После его речи секретарь конференции с изящным поклоном поднес графу Брокдорфу-Ранцау книгу в триста печатных страниц, переплетенную в белый сафьян,— условия мира. Ранцау бросил на нее черные перчатки, надел роговые очки, разобрал листочки ответной речи. Он знал, что слова бесполезны — одну только силу можно было противопоставить этому купающемуся в солнце амфитеатру разбойников... Но этой силы у него не было.

Пятьдесят два дня спустя в том же зале Версаля к инкрустированному, на изогнутых ножках, столику подошел Клемансо, привычным движением матерого журналиста обмакнул золотое в золотой ручке перо, стряхнул,— черная капля как бы понеслась мимо чернильницы в мутную бездну воспоминаний («в семидесятом году в Бордо я поклялся отомстить пруссакам,— я мщу»),— и он подписал...

Шестьдесят миллионов немцев упали на колени. Из-за Рейна во Францию — день и ночь, день и ночь — потянулись тоскливо длинные поезда с углем, сырьем, пушками, машинами. Тощие, с землистыми щеками немцы, костлявые немки, дети, покрытые болячками, глядели вслед этим поездам, вслед улетающей на долгие годы надежде поесть, отдохнуть... На Германию опускалась ночь, озаренная заревом с востока. Но для тех, кто правил Германией, этот отблеск был страшнее ночи.

2

Французское правительство пышно отпраздновало переход к мирной жизни по древнеримскому обычаю — триумфом.

В центре Парижа — на площади Согласия, вдоль широкой аллеи Елисейских полей и на площади Звезды вокруг приземистой арки Наполеона — навалены были кучами (с трехэтажные дома) немецкие заржавленные пушки. Повсюду торчали высокие жерди в форме средневековых копий, спирально перевитые лентами. Между ними висели гирлянды цветов из желтой бумаги... Одна из сидящих каменных статуй на площади Согласия — статуя города Страсбурга, пятьдесят четыре года покрытая трауром,— сегодня утопала в знаменах.

Августовский день был зноен и сух. В бледном небе, сверкая, кружились аэропланы. С голых ветвей каштанов падали последние сухие листья. Между шестов и бумажных роз по этой страшной аллее войны, похожей на обгорелый лес, несли впереди войск полусгнивший труп без лица — неизвестного солдата. Могила ему была вырыта под триумфальной аркой Наполеона. Играли рожки, били барабаны. Из-за Сены, из горячей мглы, стреляли пушки. Республика отдавала воинские почести народу: каждый бедняк теперь вправе думать, что в центре столицы мира, под аркой Звезды, лежит его брат, его сын, пропавший без вести. Человеческие потоки медленно двигались за войсками. Тончайшая пыль поднималась от мостовых, ложилась на миллионы лиц, обозначая морщины усталости, опустошения, невозвратимых утрат. Кое-где пробегала молодежь, взявшись за руки... Но разве это было веселье? За все муки — подарить народу гнилой труп без лица! Веселились вовсю лишь американские солдаты — сытые жеребцы, шатались под руку с девчонками, нахлобучив их шляпки себе на железные шлемы...

Вечером над черной Сеной взвились потешные огни. В рабочих кварталах завертелись карусели, отражая миллионами зеркалец хмурые пыльные лица. По опустевшим улицам поползли на колесиках четырехугольные рамы с зажженными плошками, за

ними ковыляли безногие, безрукие, безглазые,— это инвалиды войны собирали милостыню. На перекрестках играли уличные оркестрики. Но Парижу не плясалось в этот душный, безветренный вечер. Сидя на стульях у порогов своих домов, у кофеен, на скамейках бульваров, люди поглядывали на лиловое зарево над городом, на догорающие кое-где за рекой линии иллюминаций, на огоньки Эйфелевой башни. «Эх, Жак, не думаешь ли ты, что кто-то здорово надул тебя сегодня?..»

Немецкие миллиарды поплывут мимо носа, прямо в банки Больших бульваров. Краснеют огоньки папирос у дверей, тихо бредут по домам неясные в темноте фигуры... Вот когда сказалась старость... Дикой бы крови сюда. Великих бы замыслов — в этот прекраснейший из городов...

3

Около часу дня на Елисейских полях (где уже убрали шесты и пушки) в кафе Фукьец, посещаемое иностранцами, вошел человек, одетый по моде, заведенной американцами: короткий пиджак с подложенными плечами, широкие штаны, полубашмаки с острыми носками, глубоко — набок — надвинутая мягкая шляпа, галстук бабочкой, в руке камышовая трость, в кармане полузасунуты свежие перчатки.

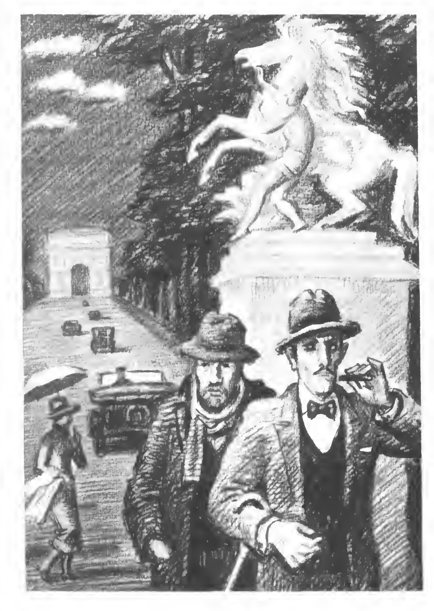
Он быстро прошел через первый зал с накрытыми для завтрака столиками, спустился на две ступеньки и положил трость и окурок сигары на цинковый прилавок бара.

— Что угодно, мосье?

— Степную устрицу.

За стойкой усатый тучный красавец в белой куртке начал готовить смесь из джина, томатного соуса, кабуля, кайенского перца и сырого желтка. Человек сел на высокий табурет, загнул за дубовые ножки носки туфель; впавшие сизо-выбритые щеки, прямой рот, быстрые глаза. На мизинце веснушчатой руки — крупный бриллиант.

Человек был не из тех, кто любит болтать всякий вздор за стойкой. Глотнув адской смеси, он сильно потянул ноздрями кривого носа и, повернувшись всем



телом на высокой табуретке, стал глядеть на дверь. Он ожидал кого-то. Веки его время от времени полузакрывались, увлажняя сухость глаз.

И вот с тротуара в бар забежал человек, настолько странный, что бармен за стойкой высоко морщинами собрал кожу на лбу.

Вошедший не одну уже ночь, видимо, провел на бульварных скамейках — до того был помят и грязен. Розовое от пьянства лицо его не то шелушилось, не то давно было не мыто. К Фукьецу неудобно заходить в шляпе, снятой с огородного пугала. Но вошедший как будто не испытывал неудобства. Не подавая руки человеку с бриллиантом, он мутноватыми глазами обвел зеркальные полки с бутылками.

— Виноградной водки,— приказал человек с бриллиантом и ногой подвинул второй табурет.— Садитесь, Нальмов. Если вы не пьяны до потери сознания, поговорим о деле.

Вошедший сел на табурет прямо, привычно, даже изящно, и мягкое лицо его сморщилось, будто от беззвучного смеха.

— Я необыкновенно трезв... Но водки пить не стану. Вы все-таки не держитесь со мной, как хам... Августин, коньяку с содовой...

Бармен поднял обе брови, округлил рот под серпообразными усами:

— Мосье Налимофф!.. О ля-ля... Это вы, мосье... (Он защелкал языком, дружески наливая рюмку коньяку, полез под стойку, обтер салфеткой холодный сифон содовой.) Уже скоро год, как вы не посещаете Фукьец.

— Были причины, Августин... (Нальмов налил из сифона пенной содовой в фужер с коньяком, жадно — с каким-то даже стоном — выпил. Глаза его увлажнились.) Итак... (Обернулся к человеку с бриллиантом. Тот брезгливо холодно оглядывал его лицо, одежду, башмаки.) Прошу извинить, я опять забыл вашу фамилию...

— Александр Левант,— сквозь зубы, редкие и желтые, ответил человек с бриллиантом.

— Левант, Левант,— повторил он, как бы втискивая это имя в пропитую память.— Итак, Левант, вы хотели, чтобы я вас познакомил?..

— Пойдемте за стол.— Левант схватил трость и пошел через арку.

Августин негромко спросил:

— Мосье Налимофф хорошо знает мосье?

— Нет, Августин. Но это не важно. Предположим, что его действительно зовут Александр Левант. С этим нужно мириться. Это — люди будущего. Итак, мы завтракаем.

Потерев сухие ладони, он слез с табурета и пошел к уединенному столу, где, спиной к свету, поместился Левант.

4

— Вам нужно одеться приличнее, Налымов. Что это значит? Так опуститься! Семеновский офицер! И — бросьте вы это пьянство. Кому это нужно? Можете меня не благодарить, но после завтрака я повезу вас в английский магазин...

Александр Левант ел торопливо и неразборчиво, губ не вытирал. Почти не пил вина. Темные глаза его, не участвуя в еде, тревожно бегали по лицам входивших в кафе.

— Вижу, вы такой человек,— с вами нужно быть откровенным. Я на вас наткнулся, просматривая в военном министерстве списки русских офицеров. Отозвались о вас благоприятно. Признаться — ожидал вас найти в более приличном виде... Что это вас потянуло на дно? С головой на плечах не найти денег в Париже? Вздор!

Из верхнего зала доносилась музыка. Налымов жмурился, наслаждался — рюмочка за рюмочкой,— слегка под музыку раскачивался. Еды почти не касался и ничем не выражал внимания к собеседнику. Лицо его оживлялось внезапно, когда с залитого солнцем тротуара в кафе входила какая-нибудь американочка с детским лицом и птичьим голоском. Внимание его привлекала роза в узкой вазе, он, всхлипнув, глядел на опадающие лепестки. Его рассеянность не смущала Александра Леванта. Подали десерт, кофе, ликеры, сигары. Левант выбрал гавану, золотыми ножничками осторожно отрезал кончик, закурил, откинулся, положил веснушчатые руки на скатерть.

— Поговорим о деле?

— Я все время слушаю вас внимательно.

Левант подумал: «Эге, парень, кажется, хитрее, чем прикидывается».

— Я хотел бы через вас устроить некоторые знакомства... Обставлено будет вполне корректно. Вам нужен аванс,—пожалуйста...— Он хрустнул бумажками в боковом кармане.— Предварительно увезу вас на недельку-другую в Севр. Там у меня вилла. Отдохнете, повеселитесь... Подружимся,— кто меня узнает — за меня в огонь и воду... А потом кое с кем — хотя бы здесь, у Фукьеца — встретимся, позавтракаем.

Налымов, кивая шелушащимся лицом в такт музыке, спросил:

— Очевидно, я должен познакомить вас с великими князьями?

— Отчего же... Делу не помешает, наоборот — красивое знамя... Несколько одиозное... Там увидим. Моя идея строится на других людях. Идея большая — грандиозное дело. Заметьте — я предлагаю вам работать на процентах,— солидно... Из пяти процентов вы будете иметь тысяч триста годовых, обещаю под любую гарантию.

— Предположим, я убежден... Но у меня долги.

— Сколько?

— Восемь тысяч необходимых... Остальные подождут.

— Счета и векселя передадите мне, все будет улажено.

С той же легкостью Налымов ответил:

— Ладно, согласен...

Мимо стола проходил бледный высокий человек, несколько сутуловатый, в темном пиджаке, в котелке набекрень. Повернул к Налымову вялое продолговатое лицо с темными усиками под носом. Налымов сейчас же встал, опустил руки. Человек словно обласкал его сверху вниз беспечальными глазами:

— А-а, Налымов... Что же ты?.. Ну, сиди... А я здесь не завтракаю... Дрянь — Фукьец...

И он опять, сверху вниз погладив глазами, пошел к стойке, выделяясь среди всех уверенной медлительностью. На него оборачивались. Александр Левант спросил:

— Великий князь? А какой именно?

— Кирилл Владимирович.
— Претендент на престол?
— Кажется... Хотите познакомиться?
— Знакомство возможно?
— Отчего же... Позвать к столу...
— Заманчиво. Но не сегодня... А что, у него есть войска, народ? На что он рассчитывает? Вы мне подробно должны рассказать о русских делах. Берите вашу шляпу, едем к портному.

5

С российскими делами в Париже происходила неясность. Буржуа, держатели русской ренты, черпали из газетных заметок скупые и путаные сведения. С полгода тому назад сообщалось, что для охраны французских капиталов, вложенных в торговые, металлургические, угольные предприятия на Украине, на Дону и Урале, правительство вынуждено послать в одесский порт некоторое количество колониальных войск. Мысль была удачная.

Действительно, войска высадились в Одессе, не только французские колониальные, но и греческие. Русская рента, годная лишь для домашнего употребления, начала ползти вверх. Войска как будто победно маршировали по Новороссии. Хотя Советом Десяти и был отклонен план Клемансо о широкой военной экспедиции на восток Европы, но зато сама Россия подавала надежды на скорое освобождение от большевиков: на Северном Кавказе успешно воевал генерал Деникин, под Петроградом — генерал Юденич; в Сибири с помощью французского генерала Жанена и чехословаков образовалось правительство Колчака. Его солдаты очищали Сибирь и восстановляли право собственности.

Совет Десяти с охотой обещал Колчаку всемерную помощь. Русское золото (увезенное чехословаками из Казани) находилось в его руках. Клемансо — как всегда, резко и отчетливо — указывал ему в шифрованных телеграммах линии желательной политики... Огромные военные запасы, оставшиеся после мировой войны и засорявшие рынок, шли теперь в освобождаемую Россию, оживляя частную торговлю. В Архан-

гельске и на Мурмане высаживались английские десанты. Рента поползла вверх.

И вдруг, казалось бы без видимой причины, победоносные французские и греческие войска отплыли из Одессы на родину, бросив заводы, шахты и торговые предприятия своих соотечественников на произвол большевикам. Уплыли и англичане из Архангельска и Мурманска. Газеты объясняли эти досадные события причинами внутренней политики: не имело смысла лишний раз раздражать рабочие кварталы. Рабочие поднимали каждый раз невероятный шум из-за русского вопроса.

Держатели русской ренты (за столиками кафе, вздев очки и насупясь серыми усами в газету) ничего не могли понять в русских военных делах. Грандиозные битвы, кавалерийские рейды, занятие провинций величиной во всю Западную Европу... Москва окружена, большевикам — смерть. Но Деникин отступает, Юденич отступает, Колчак отступает... В Англии забастовка, в Италии волнения, Германию и Венгрию трясет коммунистическая лихорадка... (Буржуа снимает очки, потирает уставшие глаза...)

Не меньшее изумление вызывали и сами русские, пачками прибывающие в Париж через известные промежутки времени. Более чем странно одетые, с одичавшими и рассеянными глазами, они толкались по парижским улицам, как будто это была большая узловая станция, и все без исключения смахивали на сумасшедших. Сахар, хлеб, папиросы и спички они закупали в огромном количестве и прятали в камины и под кровати, уверяя французов, что эти продукты должны исчезнуть. Встречаясь на улице, в кафе, в вагоне подземной дороги, они как бешеные размахивали газетами. Русских узнавали издали по нездоровому цвету лица и особой походке человека, идущего без ясно поставленной цели. У них водились драгоценности и доллары. На их женщинах (в первые дни по приезде) были длинные юбки, сшитые из портьер, и самодельные шляпы, каких нельзя встретить даже в Центральной Африке. К французам они относились почему-то с высокомерной снисходительностью.

Но были и другие русские: эти смахивали на европейцев и селились в дорогих отелях. Правда, их чемоданы были ободраны и даже с клопами, но

фамилии звучали внушительно в промышленных, банковских и биржевых кругах.

У них был здесь свой политический центр: парижское совещание доверенных лиц правителя России (адмирала Колчака) и уполномоченных генерала Деникина для сношения с союзными правительствами. Во главе совещания стоял председатель бывшего Временного правительства князь Львов.

Очевидно, на эти-то русские деловые круги и намекал Левант за завтраком у Фукьеца.

6

Когда были внесены на подносе горячие закуски — по-русски,— последовала минута молчания, передавали графин с водкой, не чокаясь выпили. Кто-то по-довоенному крякнул. Засмеялись. Кто-то вздохнул: «Да, господа...»

Хозяин дома князь Львов сидел спиной к камину — в поношенном пиджаке, в истрепанном жилете, в заштопанной мягкой рубашке. В этой одежде он бежал из екатеринбургской тюрьмы через Сибирь. Круглая седая борода, серебряные, зачесанные назад волосы и неподвижные беловатые глаза придавали ему сходство с земским деятелем девяностых годов; он не ел мяса и не пил вина.

Напротив него сидел известный барин, елецкий помещик, с желто-седой бородой по пояс, с медным орлино-строгим лицом, с волосами ежиком,— Михаил Александрович Стахович. Когда-то он был близок к Николаю II, но после 9 января оставил двор и уехал к себе в Елец, где и развивал независимые суждения. Временное правительство отправило его послом в Испанию. Он прибыл туда в день Октябрьского переворота, не успел вручить верительных грамот, истратил в Мадриде все деньги, вернулся в Париж и поселился у Львова. В политике он снисходительно оправдывал и белых и красных.

Направо от хозяина сидел директор-распорядитель Русско-азиатского банка Николай Хрисанфович Денисов, низенький, воспаленный, с крупным мясистым носом и жесткой бородой сатира. Он только что много говорил, был возбужден, выпил шесть рюмок водки и

пододвигал к себе самые острые закуски. Рядом с ним сидел русский посол в Англии (назначенный Временным правительством) Константин Дмитриевич Набоков, изящный и выхоленный. Он привез из Лондона важные сообщения о русском вопросе и с любопытством разглядывал пятого собеседника, для которого в сущности и собрались за этим столом.

Пятый собеседник сидел налево от хозяина,— круглоголовый, широколицый, с волчьим лбом и выбитыми двумя передними зубами, которые он не успел еще вставить себе в Париже. Это был знатный азербайджанец Тапа Чермоев, бывший конвоец и владелец огромных нефтяных участков в Баку.

За столом он еще не сказал ни слова. Все знали, что привела его сюда острая нужда в деньгах. В восемнадцатом году англичане, заняв Баку, предложили Чермоеву образовать Азербайджанскую республику. Он выказал англичанам преданность, но от продажи им нефтяных участков до времени уклонился. Тогда представлялось, что Азербайджан, Дагестан, Грузия, Абхазия и Армения прочно подпадут под державное покровительство Англии, и только безумец мог бы при таких перспективах торопиться продавать нефтяные земли.

Противно здравому смыслу, большевики выбили англичан из Баку и Азербайджана. И англичане почему-то не послали ни флота, ни войск, чтобы вернуть Чермоеву власть и нефть. Он бежал в Париж и стал, как все здесь, просыпаться с надеждой, засыпать в мрачном отчаянии. Денег ему не давали под национализированные большевиками нефтяные участки — предлагали сначала вернуть их от большевиков. За последнее время мысли его начали устремляться к военным успехам Деникина. Чем это пахло для Азербайджана, он понимал. Но в конце концов ему не плохо было и при империи в свите его величества.

Задача (у сидящих за столом) была: прощупать намерения Чермоева и убедить его в безусловной и близкой победе белого оружия...

За столом шел покуда что легкий разговор. Денисов рассказывал парижские новости. Год тому назад Николай Хрисанфович и не подумал бы утруждать себя болтовней с такими музейными барами. Он искренне презирал высокородных выродков и дура-

ков, все еще уверенных, что Россия — их большое именье, которым они призваны управлять. Выродки и дураки привели Россию к тому, что она оказалась неподготовленной к мировой войне, и в семнадцатом году история поставила запоздалую точку на самодержавии. Денисов был «демократом». Во время февральской революции он стал владельцем Русско-азиатского банка. Соразмерно этому выросло его честолюбие, раскрывались возможности вплоть до президента Российской демократической республики. Большевиков он воспринял как завершение революционного хаоса, из которого тоже умудрился извлечь пользу, широко скупая недвижимую собственность, акции и прочее. Приди сейчас успокоение и порядок — он сразу становился в ряды миллиардеров.

Весь восемнадцатый год он выжидал и покупал. В девятнадцатом большевики начали внушать ему опасения. Дело с их ликвидацией затягивалось, Колчак начал было хорошо, но от него понесло такой доисторической монархией, грабежом и безобразием, что французы подумывали об его ликвидации. Деникин воевал тоже пока что недурно, но чем ближе он придвигался к Москве, тем скупее Англия отпускала ему помощь и тем яснее обозначались различные точки зрения Англии и Франции на его успехи. Выигрывали на этом одни большевики. Ясное близкое будущее отодвигалось в неопределенную даль.

Николай Хрисанфович остроумно рассказывал о театральной новинке — комедии Саша́ Гитри, где отец, сын, жена и любовница играли ничем не прикрашенную, на самом деле этой весной случившуюся неурядицу в семье Гитри: Саша́ Гитри стал изменять жене (мадемуазель Претан), его отец (Люсьен Гитри) пожертвовал своими старческими силами, наставил Саша́ рога с его любовницей (мадемуазель Бланш) и вернул его к жене. Так это и написано в комедии — слово в слово. Первый акт — в столовой, второй и третий — в постели. Пресса разделилась: одни кричали, что это — натурализм, вечер французского искусства, другие — что это заря великой правды, с которой война сорвала последние блески лжи. Париж валом валит к Саша́ Гитри в театр.

— А вот,— сказал Стахович,— в «Олимпии» так совсем уж голые — двести девочек на сцене...

Беловато-стеклянный взгляд Львова с упреком остановился на Стаховиче, лицо которого уже побагровело от коньяка.

— Несколько удивляет,— проговорил князь Львов,— что сделалось с французскими женщинами? Я повел племянницу в этот, как его, самый приличный вечерний ресторан, и сейчас же пришлось уйти... Нельзя предположить, что естественное целомудрие исчезло. Скорее — это массовый психоз. Сегодня мне сообщил секретарь министра исповеданий, что решен вопрос о причислении Жанны д'Арк к лику святых...

Львов, как всегда, был тяжелым собеседником. Никто за столом не подхватил темы о моральных проблемах. Стахович налил себе красного вина.

— Носят прозрачные юбочки по колено, а весь верх открыт, сзади — даже ниже талии,— это поражает непривычный глаз... Что прикажешь делать? Убито полтора миллиона отборных самцов... Поневоле обрежешь юбочку.

Денисов сказал:

— Куда дальше,— в Ростове-на-Дону все режут юбки. На Садовой в четыре часа — как на пляже... Деникин, говорят, возмутился, но за короткой юбкой преимущество — безопасность от тифозных вшей и минимум материала...

Молчаливый до этого времени Тапа Чермоев медленно повернул круглое лицо к хозяину, спросил вежливо-презрительным голосом:

— Как сыпной тиф в добровольческой армии, Георгий Евгеньевич? Идет на убыль?

— Да... да, тиф — это великое испытание.— Львов вытащил из-за жилета салфетку. Все встали и перешли в салон, где дымились чашки с кофе. Опустив голову, заложив руки под пиджак за спину, Львов прошелся по ковру и остановился около Чермоева.— Тиф — наша основная забота. Но, может быть, и наше главное оружие. Мы широко снабжены медикаментами... У большевиков их нет, у красноармейцев нет сменных рубах... Смертность у них — семьдесят процентов, у нас вдвое меньше. Лучше пуль и штыков за нас борется тифозная вошь...

Чермоев без улыбки поклонился, показывая, что убежден. Львов опять,— руки под пиджаком, опустив голову,— прошелся и стал около Набокова, осторожно мешавшего ложечкой черный кофе в чашечке.

— Константин Дмитриевич, нам бы хотелось послушать ваше сообщение о лондонских делах...

Набоков наклонил голову:

— Слушаю-с...

Он поставил чашечку на камин. По его понятиям, приличные в высшей степени люди (комильфо) существовали только в Лондоне. Немецкая аристократия, кичащаяся готским альманахом (этой адресной книгой для брачных контрактов с коронованными особами), французские блестящие фамилии, смешавшие свою кровь крестоносцев с кровью еврейских банкиров, русское дикое, безграмотное, пропахшее водкой и собаками дворянство, не умеющее хранить ни земель, ни чести, ни блеска имен,— все это были варвары. В том числе и милейший Михаил Александрович Стахович. Англичанин, меланхоличный, замкнутый, равнодушно-гордый, в замке у очага в сумерках, на том же самом месте, на том же самом кресле, обитом тисненой кожей, где восемь столетий сидели его предки,— такой человек по праву, недоступному пониманию толпы, истинный патриций, хозяин мира, что вы там ни кричите со своих плебейских трибун... Разумеется, эти мысли не были написаны на бледном, с черными волосиками на губе, по-английски спокойном лице Набокова, оно выражало лишь величайшее внимание к собеседникам...

— Господа... на днях я говорил с Черчиллем... Кажущийся страх перед рабочей партией — лишь простой маневр. Слагаемые английской внутренней политики таковы, что выгоднее уступить крикунам в палате общин, чем вооружать против себя прессу Ирландии, Индии и так далее. Мы как будто уступили в эвакуации Архангельска и Мурмана, на самом деле эвакуация оттуда английских войск будет производиться крайне замедленно. Второе — отвод английских частей с деникинского фронта...

Львов тотчас заложил руки под пиджак и опять заходил, как в одиночке.

— ...На их место Черчилль посылает две тысячи пятьсот инструкторов-добровольцев... Эти уступки позволили Черчиллю сообщить мне: из секретного фонда английского военного министерства ассигновано двести сорок миллионов рублей на материальное снабжение Деникина...

На истуканьем лице Тапы Чермоева вдруг открылись зубы с изъяном. Денисов схватился за мясистый нос.

— ...Это тем более во всех отношениях приятно, что военное министерство не может потребовать и не потребует от России компенсации... Я боюсь, господа, быть непонятым... Мы знаем, что двадцать третьего декабря семнадцатого года Клемансо и Ллойд-Джордж договорились о разделе сфер влияния... Линия влияния проходит через Босфор, Керченский пролив, на Царицын и дальше к северу... Грехи русского народа были слишком вопиющи, Россия должна чем-то поплатиться. Да, сферы влияния! Да, мы теряем из суверенного хвоста несколько павлиньих перьев... И это все, чем мы платимся за Брестский мир... Мое глубочайшее убеждение: потеряв, мы приобретаем гораздо больше. Своими силами нам все равно не восстановить разрушенного. В мирное время нам приходилось занимать направо и налево. Одна Франция вложила столько денег, что фактически владела пятьюдесятью пятью процентами русского железа, семьюдесятью процентами русского угля и тридцатью процентами нефти...

Набоков поднял красивые глаза, как бы припоминая цифры, затем отхлебнул из чашечки, поставил ее снова на камин и осторожно платком потомпонировал губы.

— ...Сферы влияния? Прежде всего это: две высшие цивилизации приходят исцелять тяжелобольного... Я приветствую Колчака — он трезво учитывает неизбежность вмешательства Англии в нашу экономическую политику... Менее понятна позиция великодержавных генералов на юге России. Звон оружия заглушает в них голос здравого смысла. Единая, неделимая — это красивое знамя, но это игра дикарей в войну, господа. Нельзя ссориться со взрослыми.

Львов что-то хотел сказать, но только коротко кашлянул. Стахович сопел, раздувая сигару.

— Россия — это организм, переросший самого себя. Дом несчастных Романовых кое-как слеплял разваливающиеся куски... Отсюда эта профессиональная великодержавность у наших генералов. Но — распался

великий Рим, и — да здравствует европейская цивилизация... Так думают в Англии. Война окончена... Мы на развалинах Рима... Англия принимается наводить у нас порядок...

Поймав блеснувший, как олово, взгляд Львова, Константин Дмитриевич чуть-чуть нахмурился.

— ...Это право высшей культуры... Право патрицианского духа над всем этим — квас, тройка, самовар...— Он незаметно с юмором покосился в сторону Стаховича.— Индусы, арабы, негры проходят тяжелую колониальную школу, но зато они прикасаются к цивилизации. Когда римляне несли в глушь германских лесов орлы своих легионов, это было первым уроком ребенку говорить «папа» и «мама»... Я понимаю французского буржуа: у него чулок набит русской рентой и промышленными акциями царской России, он с яростью будет кричать о восстановлении «великой и неделимой». Но такой ясный ум, как Жорж Клемансо?! Хотя в конце концов это не важно — совершится то, что совершится...

Слушатели молчали, не то подавленные, не то от недоумения. Набоков приподнял брови, медленно закурил от восковой спички, покусал прилипший к губе кусочек папиросной бумаги.

— Теперь сообщу наиболее важное... Черчилль находит, что военный спектакль в России утомителен... Белые отступают, белые наступают, красные отступают, красные наступают... Черчилль находит, что большевики засиделись в Москве. Если у них нет такта уйти самим, придется прибегнуть к давлению извне... План коалиции четырнадцати государств для военной прогулки на Петербург, Минск, Киев, Одессу и концентрического наступления на Москву нужно считать решенным в положительном смысле... Вопрос в деталях — кое у кого сбавить аппетита, кое-кому прибавить храбрости... Я кончил, господа...

7

Гости взяли лежавшие в прихожей на креслах пальто, шляпы и трости. Сказали несколько последних шуток и гуськом молча спустились на влажную

улицу, под мягко шелестящую листву платанов, скупо озаряемых высоко взнесенными электрическими лунами.

Львов и Стахович вернулись в маленький салон. Стахович, потерев всей ладонью медное лицо, спросил неожиданно:

— Как тебе понравился коньяк?

Львов гневно взглянул на старого друга:

— Как тебе понравился Набоков? Если так рассуждают русские, то как же должны... Прости, я никогда не был славянофилом, но... Эта англомания, это западничество, доведенное до... И все же... Я посылаю Деникину танки — расстреливать наших мужиков... Набоков удовлетворен... (Голос уже ушел вглубь и рвался оттуда все раздражительнее.) Но я-то, я — не удовлетворен. До большевиков можно добраться только через трупы русских... Я буду гореть на вечном огне, но я не знаю, как по-другому спасти Россию... Читай Апокалипсис, Михаил Александрович... Если бы я мог все бросить, бросить и — в монастырь...

— В русском западничестве,— ответил Стахович, полулежа в кресле и запустив пальцы в бороду,— в русском западничестве более глубокие и отдаленные корни, чем у славянофилов... Первое проявление западнической ориентации я отношу ко времени Тушинского вора: это так называемый перелет к нему московских бояр. В сущности, они просили у польского короля того же, что просит Набоков у Черчилля...

— Вздор, вздор говоришь...

— Когда у нас начали читать Гегеля, западничество разделилось на две ветви — дворянскую и разночинную... Первая вылилась в устройстве английских парков. Перестали отправлять нужду под лестницей на горшке и завели ватерклозеты... Разночинцы начали бороться с богом, а впоследствии читать Маркса... Я вот сижу и думаю: не находишь ты, Георгий Евгеньевич, что Маркс понятнее русскому мужику, чем славянофилы?.. Не знаю, не знаю...

— Да, идем спать,— сказал Львов. Засопел, закрутил стальной цепочкой от ключей и вышел.

Стахович остался в кресле — курить и пить коньяк.

8

Набоков пошел пешком через Марсово поле. Под решетчатой ногой Эйфелевой башни, отраженной вместе с бледными звездами в маленьком озерке, он остановился закурить папироску. Здесь его нагнал, слегка задыхаясь, Тапа Чермоев.

— Я не нашел такси,— сказал Тапа,— и повернул за вами... Может быть, поедем развлечься?

Набоков вздохнул. Он чувствовал утомление, а нужно делать усилие, чтобы отвязаться от этого татарина. Чуть-чуть поморщился. Пошли туда, где через Сену, под аркадами моста, проносился, ярко светясь окошками, поезд метро. Не надеясь, что Тапа поймет, Набоков все же сказал, глядя на лиловатое зарево над центром города:

— Париж напоминает мне корзину с влажными розами, внесенную в кабак.

Тапа подумал, ответил серьезно:

— Сейчас нет хороших кабаков. Парижане еще не оправились от войны.

— Да, постоянно жить в Париже я не хотел бы... Я люблю наше печальное лондонское солнце, наши туманы, чинное однообразие улиц...

Набоков покосился на одну из парочек в тени куста на скамейке. Женская рука белела на груди мужчины, где поблескивала военная пуговица. Они сидели неподвижно, и со стороны казалось, что они погружены в безнадежное горе.

— У меня всегда желание — вот таким предложить десять франков на ночную гостиницу, немножко комфорта.— Набоков обернулся на хруст колес такси, поднял трость, но шофер покачал указательным пальцем.

Тапа сказал:

— Константин Дмитриевич, вы меня обрадовали сегодня... Что ж такое?— так думаешь.— Неужели на свете нет правды?.. Да, Черчилль хороший человек, умный человек... То, что вы сообщили, еще не опубликовано в газетах?

— Нет, и не будет...

— Понимаю, понимаю...

— Вас интересуют нефтяные курсы, Чермоев?

— Да. Нефть меня интересует.

— Когда я входил к Черчиллю, у него сидел Детердинг...

— Так, так... Нефтяной король... Очень обрадовало и заинтересовало ваше сообщение... Такси! (Тапа, весь оживившись, побежал к перекрестку, где медленно проезжал автомобиль.) Константин Дмитриевич, свободен,— крикнул он оттуда.— Едем на Монмартр?

9

Выйдя от Львова, Николай Хрисанфович Денисов из ближайшего кафе позвонил по телефону. Трубку сейчас же взяли, и слабый ноющий голос проговорил:

— Да, это я, Уманский... Здравствуйте, Николай Хрисанфович... Отчего так поздно?.. Знаете, у меня болит восемнадцать зубов... Врач уверяет, что нервное, но мне не легче... Приезжайте, меня тут развлекают кое-какие друзья...

Бросившись в такси и крикнув адрес, Николай Хрисанфович увидел в автомобильном зеркальце свое лицо — налитый возбуждением нос и среди черной бороды оскаленные свежие зубы... «Ловко!— подумал.— У Семена Уманского болит восемнадцать зубов — значит, военные стоки он еще не продал и о Черчилле ничего не знает...»

Семен Семенович Уманский, низенький и плешивый, с белобрысыми глазами, лежал на неудобном диванчике. Носок лакированной туфли его описывал круги, замирал, настораживался и начинал подскакивать кверху, затем опять описывал круги — в зависимости от дерганья зубной боли.

У стола, заваленного дорогими безделушками, сидели пышноволосая дама с вишневыми губами и молодой, бледный, медлительный человек. Они пили шампанское.

Длинное лицо молодого человека усмехалось, в синих глазах дремала ледяная тоска. Это был довольно известный на юге России журналист Володя Лисовский, фантастический нахал и ловкач. Ему надоели вши, война и дешевые деньги. Он заявил начальнику контрразведки, что едет в Париж работать в прессе, ему нужна валюта и паспорт... Он явился к начальнику штаба генералу Романовскому и бесстрастно дока-

зал, что гораздо дешевле послать в Париж одного русского журналиста, чем там покупать дюжину французских. Он явился к профессору Милюкову, ехавшему в Париж, и, несмотря на его хитрость, в пять минут убедил взять себя личным секретарем.

Сейчас, грызя миндаль, он рассказывал о знаменитых публичных домах, куда было принято ездить с приличными дамами после ужина смотреть через окошечки на забавы любви.

Семен Семенович, хватаясь за щеку, тянул слабым голосом:

— Перестань, Володя, ты смущаешь баронессу...

Баронесса Шмитгоф была не из робких. Чувствуя себя превосходно в кресле, за шампанским, она махала рукой на Семена Семеновича:

— Молчи, мое золотко, тебе вредно волноваться...

Когда несколько отпускала боль, Уманский говорил:

— Ах, деточки мои, меня не зубы мучают, меня мучает несправедливость... Я люблю делать добро людям... Я ведь тогда счастлив, когда делаю добро... Ой, ой!.. Сколько страданий!.. И мне — подрезают крылья... Но не огорчайтесь... Справимся, деточки, вылезем как-нибудь... Пейте и веселитесь...

В дверь постучали, нога Семена Семеновича судорожно подскочила. Вошел Денисов.

— Николай Хрисанфович, уж простите меня, буду лежать... Знакомьтесь, пейте, курите... Володя, голубчик, принеси — на кухне, в тазу во льду,— бутылочка... Ох, боже мой, боже мой, какая мука!.. Чудное довоенное клико... Граф де Мерси, громадный аристократ, предлагает продать родовой погреб. Боюсь только, что эту бутылку он дал не из своего погреба. Ведь обмануть меня ничего не стоит...

Сморщенное лицо Семена Семеновича изображало томную муку. Денисов сказал, что заехал исключительно от беспокойства — справиться о здоровье. Уманский собачьей улыбкой выразил, что поверил. У баронессы Шмитгоф горели щеки,— в эту минуту ей, непринужденно болтающей с двумя такими денежными тузами, позавидовали бы многие женщины. Держалась она несколько по-старомодному, подражая кошечке,— шифоновое, с узким, до пупка, вырезом черное платье, нитка жемчуга, встрепанные волосы,

тонкий носик, близорукие глазки... (Денисов сразу определил: над девушкой нужно еще работать, но материал — не дурен...)

Забравшись кошечкой в большое кресло, она болтала о тайне «больших домов» (знаменитые портные), готовивших осенний переворот в модах. Президент палаты Дюшанель приподнял покрывало тайны: в интервью он сказал: «Передайте женщинам Парижа, что вихрь осенней листвы закроет весь траур...»

— Как вы это понимаете, Николай Хрисанфович? «Эхо бульваров» объясняет, что цвет осенней листвы — это тона от багрового до нежно-желтого. И, конечно, шифон... Кстати, Дюшанель вчера в Люксембургском саду, гуляя, упал в бассейн, где дети пускали кораблики. Газеты это скрывают. Все уверены, что Дюшанель будет президентом после Пуанкаре. Пуанкаре пора уходить, он всем надоел со своей войной...

Уманский с наслаждением слушал эту бурду из журнальных заметок и газетных сенсаций. Было очень кстати то обстоятельство, что акула Денисов, приехавший, по-видимому, что-то заглотнуть, застал у него в будуаре за бутылкой шампанского настоящую светскую женщину.

— Не волнуйтесь, дорогая,— повторял он, когда баронесса коротенькими глоточками пригубливала бокал,— у вас будут платья от лучших домов... Ах, Николай Хрисанфович, какое счастье помогать людям! — И он валился на круглую подушечку, щелками глаз наблюдая за непроницаемым лицом Николая Хрисанфовича. «Эге,— подумал,— не мешает ли ему Лисовский?»

Володя Лисовский налил в бокалы вина и сел в тень. Сейчас же с этой стороны у Денисова напряглось ухо. Он медленно взял папиросу и закурил не с того конца...

«Так и есть,— подумал Уманский,— он знает что-то важное».

— Ну, как русские дела, Николай Хрисанфович?

— Неопределенно...

— А вот Володя Лисовский меня обнадеживает: самое позднее к ноябрю Деникин будет в Москве... В России — ни обуви, ни белья, ни одеял, ни консервов. А мы здесь пьем шампанское!.. Боже мой, боже мой!.. Я, кажется, отправлю в дар москвичам целый эше-

лон обуви и байковых одеял... (У Денисова заблестел глаз...) Я так решил! (Скинул ноги с дивана.) В чем счастье, наконец, Николай Хрисанфович? Отправлю в подарок пароход с бельем и консервами... Пусть только они возьму́т Москву... Володя, можете сказать об этом Бурцеву. Ей-богу, отправлю... Простите, баронесса, мы — все про свою боль... Ах, надоела политика...

Баронесса проговорила трескуче-сухим голоском с живостью:

— Французы в панике, когда в общество попадает хотя бы один русский: только и слышно — большевики, большевики, Москва, Москва... Так прогоните, наконец, ваших большевиков, вы становитесь смешны с вашей вечной политикой: Москва, большевики!..

Кружевным платочком она потрогала носик.

Денисов сказал:

— Вы слышали, застрелился Манус...

Семен Семенович сейчас же подскочил, впился в него расширенными глазами.

— Застрелился Манус?!

— Да, ужасно... В Марселе... Грузил два парохода военными стоками. Портовые рабочие вдруг отказались грузить для Деникина. Пришлось добиться от правительства публикации, что пароходы идут в Аргентину... Рабочие продолжают бастовать. А цены падают. Манус все ждет... Когда разница дошла до трех миллионов франков, выстрелил себе в рот...

— В рот! Манус, Манус, дорогой друг!..

Уманский притиснул ладони к глазам. Володя Лисовский встал, чтобы сбросить пепел в пепельницу.

— Курьезный факт,— с кривой усмешкой сказал он и стал глядеть на Денисова,— американцы в Булони сожгли целый склад мотоциклов... (Денисов сейчас же быстрым взглядом ответил: «Играете на меня, понял и благодарю».) Двести тысяч новых воѐнных машин!..

Уманский оторвал руки от лица:

— Сожгли мотоциклы? В чем дело?

— Благодарная Франция предложила американцам чуть ли не по пятьдесят франков за мотоцикл. Дороже стоит погрузка и фрахт, а везти их назад в Америку — сбивать там цены... Шикарно: поставили кругом пулеметы, облили склад керосином и, не моргнув глазом, сожгли товару на десять миллионов

долларов!.. А теперь французы будут платить по пятьсот долларов за машину...

— Слушайте! — Уманский сорвался с дивана. (Баронесса испуганно открыла ротик.) — Разве нет Деникина и Колчака? Русские армии разуты, раздеты, безоружны! Я имею пятьсот тысяч превосходных одеял, восемьсот тысяч пар башмаков для пехоты, миллион комплектов белья, десять тысяч тонн австралийской солонины... Я могу повести в бой полумиллионную армию... Я не хочу зарабатывать на святом деле, дайте мне только вернуть мои деньги...

Денисов безнадежно закивал носом в пузырящийся бокал:

— Семен Семенович, вы забываете, что американцы привезли в Европу военного снаряжения на два миллиона солдат с расчетом на пять лет войны. Англичане на такой же срок заготовили продовольствие. Кому сейчас нужна эта солонина, бобы, консервированные пудинги, бязевое белье для покойников, пудовые башмаки... В окопы сейчас никого не загоните... А сколько можно продать Колчаку и Деникину! Пссст! Капля в море... Положение с военными стоками катастрофичное...

Уманский, забыв зубную боль, бегал по ковру. Топнул лакированной туфелькой:

— А все-таки я буду ждать! Я окажусь прав, а не паникеры.

— Ну что ж.— Денисов подвигался в кресле, будто собираясь встать.— В игре советов не дают.— Он осторожно покосился на Лисовского.

Тот понял и заговорил насмешливо:

— На днях забегал к Морозовым. Сидят три московские купчихи, где-то раздобыли арбуз, едят, ругательски ругают французов и евреев, собираются ехать в Россию, и Россию тоже ругают на чем свет... Все вещи — в чемоданах; собираются быть в Москве к началу сезона — смотреть премьеру в Художественном театре... Я им говорю: «Что же вы так собрались-то?..» — «А нам, говорят, из Лондона написали, что на днях будет война четырнадцати держав». Я — натурально — шапку, трость и — в редакцию. (Денисов громко засмеялся. Уманский белобрысо моргал.) Там сдуру-то и рассказываю сенсацию... Бурцев, как был,

в соломенной шляпенке, пальто набито корректурами,— рванулся писать передовицу: «Осиновый кол вам, большевики...» Кричит из кабинета: «Лисовский, сведения из достоверного источника?» Отвечаю: «Ага...» — «Лисовский, вы не можете достать денег, съездить в Лондон? Добейтесь аудиенции у Черчилля». А я как раз читаю «Таймс» — в Лондоне всеобщая забастовка... Жалко старика... «Вы, говорю, Владимир Львович, на всякий случай передовицу-то покажите военной цензуре...»

Лисовский положил в рот соленую миндалину; похрустев, вернулся в тень. Денисов допил бокал и поднялся.

— Боюсь я, что выйдет самое скверное,— сказал он,— Ллойд-Джордж добьется мирной конференции на Принцевых островах. Большевики, видимо, уже склонны мириться, а Деникина и Колчака англичане уломают... Ну вот, Семен Семенович, рад был вас видеть.

Он взял надушенную руку баронессы и прижался к ней колющими усами.

— С кем вы были вчера в Булонском лесу?

— Вы меня видели? Я была с графом де Мерси... Правда, он очарователен?.. Но он разорен... Он маниакально любит Россию и русских...

— Ах, этот... У него не то в Баку, не то в Грозном — нефтяные земли...

— Граф в отчаянии. Он живет надеждой, что будущий император вернет ему все... Николай Хрисанфович, скажите, кто будет у нас императором: Кирилл, Борис или Дмитрий Павлович?

— Я — демократ, моя дорогая.

— Как вам не стыдно! Я вся за Дмитрия Павловича,— молод, упоительно красив... но замешан в убийстве Распутина... (Расширив глаза, шепотом.) При английском дворе определенное течение против Дмитрия Павловича... Борис и Кирилл Владимировичи должны получить от матери знаменитые изумруды, у них будет на что содержать двор... Кто же, кто — Борис или Кирилл?

— Кирилл, Кирилл, о чем говорить,— нетерпеливо перебил Уманский.

Денисов простился. Уманский торопливо пошел за ним в прихожую. Там оба, сразу постарев лицами, взглянули в глаза друг другу до самой глубины.

У Семена Семеновича дрогнули губы, Денисов проговорил холодно:

— Можно еще кое-что спасти...

Тогда Уманский распахнул золоченую дверцу в маленький зелено-голубой кабинетик с мягким светом потолочного полушара. На столе, покрытом стеклом, где стояли телефоны, и на ковре кучками валялись изорванные в клочки бумаги. Денисов вошел. Разговаривали торопливо, шепотом, не садясь.

Уманский:

— Есть предложение?

Денисов:

— Один приезжий...

— Откуда?

— Это безразлично. Большие деньги. Порет горячку, готов на ажиотаж. Я могу говорить за него. Покупаю весь ваш товар. Я подписываю, я плачу.

Уманский снова пронзительным взглядом измерил глубину человеческой совести.

Но там было непроницаемо. Он опустил голову. Губа его отвисла.

— Сколько я потеряю?

— Шестьдесят пять процентов.

— Шестьдесят пять процентов?! Невозможно! — Уманский заломил руки.— Тринадцать миллионов!! — Сразу сел, уронил руки на клочки разорванных бумаг.

Денисов:

— Семен Семенович, я знаю все сроки ваших платежей...

Уманский — бешеным шепотом:

— Деньги завтра, черт вас возьми...

— Все деньги завтра до часу дня.

— Согласен.

Денисов сухо, важно поклонился, пошел к двери. В прихожей к нему придвинулся Лисовский:

— Нам по дороге, Николай Хрисанфович?

— Едем на Монмартр... Позовите баронессу.

— Нельзя же лишать беднягу сразу всего, Николай Хрисанфович...

Денисов и Лисовский уселись за столиком в кафе «Либертис». Здесь было развратно и не слишком шумно — обстановка, всегда вдохновлявшая Николая Хрисанфовича. К ним подошла рослая женщина в глубоко открытом платье, блестевшем, как чешуя. Низким, хриповатым голосом спросила, что они пьют, и крикнула в глубину полуосвещенного кафе, мерцавшего зеркалами:

— Гарсон, два сода-виски.

После этого она пальцем приплюснула нос Денисову, показала кончик языка и ушла, покачивая бедрами. В сущности, это был мужчина, хозяин бара, знаменитый исполнитель куплетов — Жюль Серель.

Денисов засмеялся ему вслед, закурил и сказал Лисовскому:

— Хорошо, что мы не взяли баронессу, мы поговорим.

Принесли виски, он жадно отхлебнул. Лисовский, у которого начиналось нездоровое сердцебиение, незаметно положил в рот облатку аспирина.

— Я хочу выиграть войну с большевиками. Я хочу реализовать в России мой миллиард долларов,— сказал Денисов.— Желания понятны. Теперь — спрячемка их в несгораемый шкаф на некоторое неопределенное время... Дело не так просто, как кажется... Все эти блаженные дурачки вместе с князем Львовым ни черта не понимают... Они размалевывают перед англичанами и французами детские картинки: в милейшей и добрейшей России государственная власть захвачена бандой разбойников... Помогите нам их выгнать из Москвы и — дело в шляпе. Я утверждаю: французы и англичане точно так же ни свиньи собачьей не смыслят в политике, не знают истории с географией... Взять Москву! А Москва-то, между прочим, у них здесь — в Париже, в рабочих кварталах... Танки и пулеметы прежде всего нужно посылать сюда и здесь громить большевиков, и громить планомерно, умно и жестоко.

Лисовский не отрываясь глядел на красные влажные губы Денисова, шевелящиеся точно в лоснящемся гнезде усов и бородки.

Денисов говорил, смакуя фразы, поблескивая глазами:

— Вы думаете, в восемнадцатом году, в Москве и Петербурге, я только и делал, что прятался по подвалам, скупая акции и доходные дома? Я изучал революцию, дорогой мой Лисовский, я бегал на рабочие митинги и однажды, с опасностью для жизни, пробрался на собрание, где говорил Ленин... Выводы: Россия до самых костей заражена большевизмом, и это не шутки... И Ленин знает, что делает: у него большой стратегический план... А у здешних дурачков одна только желудочно-сердечная тоска... Кто победит — я вас спрашиваю?.. Так вот, у меня тоже свой стратегический план...

Щуря глаза, он отхлебнул виски.

— Я никогда не строю свою игру, рассчитывая на дураков, заметьте... К сожалению, дураков больше, чем следует. Поэтому я не рассчитываю на быстрый успех моих идей... Их нужно подготовить, их нужно выносить, им нужно создать благоприятную почву... Вы мне будете нужны, Лисовский... Завтра я еду с баронессой за город. В понедельник мы с вами завтракаем...

Открылась входная дверь. Стали слышны голоса прохожих, женский смех, хриплое кваканье автомобильных сигналов. Дверь, звякнув, закрылась, звуки затихли, в кафе вошли Чермоев и Набоков. По устало-вежливому лицу Набокова можно было предположить, что они уже давно таскаются из кабака в кабак в поисках развлечений.

К ним подошел Жюль Серель, в сверкающем платье. Чермоев, глупо и коротко заржав, потрепал его ниже глубокого выреза на спине.

— Это стоит сто су,— сейчас же сказал Жюль Серель, взмахнув наклеенными ресницами,— платите.

— Я плачу луи,— крикнул Денисов.

Жюль Серель взял четыре фарфоровых блюдечка-подставочки (на каждом стояла цена: 2,5 франка), молча поставил их на столик Денисова и предложил только для него спеть «О, ночные тротуары Парижа». Он сел за пианино, закинул голову...

О, ночные тротуары Парижа.
Поиски минутного счастья.
И безнадежная печаль одиночества,
Которую ты находишь,
Ища совсем другого...

Запел он хриповато и негромко. В кафе не было никого, кроме четырех русских. Но из них только один, Набоков, повернув к Серелю бледное лицо, слушал слова песенки, от которой тянуло сладким тлением... Денисов трогал зубами набалдашник трости, Чермоев с достоинством ожидал минуты, когда можно будет пожаловаться ему на недостаток денег, Лисовский, посасывая вторую облатку аспирина, соображал — сколько можно будет содрать с Денисова за еще неведомую услугу.

11

Русская газета «Общее дело», издаваемая В. Л. Бурцевым, печаталась на плоских машинах. В узкой уличке (в старом квартале Парижа), в почерневшем от копоти здании с пыльными сетками на окнах, помещалась типография. Паутина на потолке, газовые рожки и машины, капающие грязным маслом на кирпичный пол, пережили не менее трех революций. Сейчас эта фабрика мысли занималась более или менее сомнительными делами. Рабочие нанимались сюда на короткие сроки и лишь в крайних обстоятельствах. Их выпачканные свинцом, запавшие лица оживали только под суровым взглядом метранпажа — могучего толстяка с угрожающими усами. Он держал впроголодь свой «свинцовый батальон», набираемый в трущобах и кабаках. Типография работала кое-как, но владелец ее, Ришар, журналист, театральный критик и редактор-издатель газетки «Эхо бульваров», не плохо зарабатывал отделом хроники и смеси, беря с известных лиц и за то, что печатал, и за то, чего не печатал. Клиентами его были кокотки, жаждущие общественного скандала, дома терпимости, маленькие актрисы и немало членов палаты депутатов — эти платили за молчание, так как Ришар знал все, что касалось грязного белья или иных вещей, которые не стоило выносить на свет.

Над типографией направо помещались редакция «Эхо бульваров», анархический листок «Фонарь» и анонимное издательство «Курочки Парижа»... Налево — в трех пустынных комнатах — расположился знаменитый орган борьбы с большевизмом — «Общее дело».

В редакции были голые и пыльные окна, на полу — пожелтевшие связки газет, несколько камышовых стульев, гвозди в стенах и листочки рукописных объявлений, приколотые булавками к обоям. На двери в крайнюю комнату — надпись: «Я занят». Там сидел Бурцев.

Он сидел спиной к двери. Входящим была видна маленькая, быстро пишущая фигурка с раздвинутыми продранными локтями и седые вихры из-под соломенной шляпы, которую он из торопливости и занятости никогда не снимал. Обойдя стол, посетитель мог видеть горбатый внушительный нос, испачканный чернилами, табачно-седую бородку и худощавое возбужденное лицо Владимира Львовича. Он писал. Обычно он один заполнял всю газету. На столе — ворохи рукописей, газет, окурки и пыль. В глубине комнаты на полу — рукописи, окурки и пачки газет, на которых Владимир Львович спал. Из бережливости он жил здесь же, при редакции, мирясь с отсутствием водопроводной раковины.

Сотрудникам, кроме Лисовского, он отказывался платить хотя бы одно су,— в дни уплаты ему гонорара впадал в тихое бешенство:

— Куда вы деваете деньги, Лисовский, куда вы расшвыриваете деньги? Каждую неделю вы отнимаете часть души от «Общего дела». Я спрашиваю: чем отличается ваша беспринципность от шайки московских разбойников? (Он думал и выражался фразами из своих передовиц; пронзительные со сжимающимися, расширяющимися зрачками светло-голубые глаза охотника за провокаторами ощупывали, казалось, все тайные извилины души Лисовского.) Вы, призванный сорвать маску с преступления большевиков, завтракаете по ресторанам, крикливо одеваетесь, и я вижу,— должны это признать,— вы — ближайший соратник «Общего дела», вы — циник...

После этого Бурцев вытаскивал из-за рваной подкладки пиджака измятые двадцатифранковые бумажки и, удрученный, передавал их Лисовскому. Деньги на издание «Общего дела» доставались ему нелегко: французы не придавали серьезного значения газете, так как в экономической программе Бурцева не было ничего вещественного, кроме позорных столбов, осиновых кольев и проклятий, а телеграммы от

собственных корреспондентов, сочиняемые в соседней комнате Лисовским (большевистские ужасы, социализация женщин и тому подобное), казались более живописными, чем деловитыми. Для Деникина Владимир Львович был слишком красен. В колчаковских кругах вообще собирались повесить Бурцева вместе со многими другими «либералами» после взятия Москвы. Деньги перепадали лишь от князя Львова.

Лисовский советовал повернуть руль «Общего дела» от парламентаризма покруче вправо — созвучно с эпохой:

— Владимир Львович, играйте на генерала на белой лошадке. Нюхайте эпоху. Больше нельзя долбить, будто большевики сорвали святую, бескровную революцию... И слава богу, что сорвали,— осиновый ей кол...

— Замолчите! — страшным шепотом перебивал Бурцев.

— Осознать настоящего хозяина — вот лозунг... Владимир Львович, вы верный слуга буржуазии, и дай бог ей здоровья и процветания...

— Молчите! Вы — циник, диалектик, большевик...

— Хотите, махну четыре фельетона подряд — во всем блеске, как я обо всем этом думаю... Редакция переезжает на Елисейские поля, вход с парадного... В приемной — жизнь, а не гвозди в стенах... Депутаты, дельцы, концессионеры, генералы... Шикарные девочки...

— Я вас больше не слушаю,— Бурцев хватал сухонькими пальчиками перо, и нос его нависал над торопливыми неразборчивыми строками, над чернильными брызгами.

12

«...у которых отмерло чувство элементарной порядочности; люди, в присутствии которых боишься за целость твоего носового платка! И мы с полным правом бросаем им в лицо: проклятие вам, большевики!..»

Бурцев осторожно положил перо на стеклянную подставочку, потер сухие ладони. Перед ним, усмехаясь, как всегда, стоял Лисовский. Бурцев сказал:

— Я кончил передовицу... Едва ли кто-нибудь писал столь беспощадные слова. Они упадут громом на их голову. Если у них хотя бы остался намек на совесть, они не переживут позора...

Лисовский дернул ноздрей:

— Я только что завтракал с Денисовым. Николай Хрисанфович делает интересное предложение... Знаете, что он сказал? «Для какого дьявола Бурцев издает газету по-русски?..»

Бурцев угрожающе поднял палец:

— Слушайте, от вас несет вином...

— Мы пили великолепное бургонское, будьте покойны... Он сказал: «Бурцев в конце концов пишет для одних большевиков,— чтобы им стало стыдно и они бросили революцию...» В Доброармии вам ни на маковое зерно не верят, сколько ни распинайтесь... Какова аграрная программа «Общего дела»? — Кукиш в кармане... А Доброармии нужно не много, но крепко: землю помещикам, мужиков — шомполами...

— Безумие! — закричал Бурцев, хватаясь за перо.— Я никогда не дам большевикам этого козыря! Скорее я пойду за Черновым, хотя в настоящих условиях это тоже безумие!

— Ну, так вот Денисов именно это и ценит: у Бурцева хороший стаж; французский рабочий если кому-нибудь поверит — только Бурцеву... Рабочие питаются ядом Шарля Раппопорта в «Юманите»... Даже Анатоль Франс объявил себя большевиком... Раппопорт торчит у него каждый день на вилле «Саид»... Пусть рабочие читают «Общее дело», и на это можно дать деньги... Пусть Бурцев для собственного утешения издает пятьсот экземпляров по-русски,— все остальное на французском языке... Бурцев — марксист, революционер, неподкупный... (Владимир Львович, сам этого не ожидая, самодовольно усмехнулся...) Пусть он рассказывает рабочим, как их водит за нос шайка бандитов... Бурцев — это марка... Вот что сказал Денисов... (Пауза. Лисовский закурил.) Слушайте, с сегодняшнего вечера я займусь рабочими окраинами. Вы отводите мне весь нижний подвал под зарисовки. Нельзя сразу долбить читателя по башке вашими передовицами. Я его заинтересую. Что вы скажете о серии очерков — «С фонарем по Парижу»? Пусть это будет немного желто — все же лучше, чем

ваши осиновые колья. Денисов прав: Москву нужно начать бить здесь, в рабочих кварталах. «Общему делу» суждено спасти Европу...

Лисовский сказал это черт его знает как: с кривой усмешкой и нагло глядя в глаза, но голосом как будто взволнованным и убежденным.

Для Бурцева настала тяжелая минута раздумья, все же он ее пережил.

— Лисовский, я хочу знать происхождение денисовских миллионов. Это чистые деньги?

— Чистые деньги.

— Хорошо... Я его приму... Но пусть он придет сюда... Сюда! (Он ткнул сухоньким пальцем в промокашку.) Пусть эти господа миллионеры увидят, что мы здесь не торгуем своими перьями...

13

В тридцати минутах трамвайного пути от Парижа, в Севре, в лесу стоял уединенный дом в два этажа с мансардой, за каменной высокой изгородью, поросшей ежевикой.

Сведения местных поставщиков мяса, зелени, молочных, хлебных и колониальных продуктов об обитателях уединенного дома в лесу были следующие.

Владелец дачи, мосье Мишо, имевший несчастье вложить две трети сбережений в русские займы и заболевший сердечными припадками после Брест-Литовского мира, получил однажды от комиссионной конторы предложение сдать в аренду на шесть месяцев свой дом иностранцу Хаджет Лаше. Мосье Мишо поставил условие — оплатить аренду за шесть месяцев вперед в английских фунтах стерлингов. Контора сейчас же ответила согласием и передала мосье Мишо контракт, уже подписанный Хаджетом Лаше, и арендную плату в английских фунтах. Таким образом, мосье Мишо так и не увидел в лицо своего арендатора. Прислуга, рекомендованная мосье Мишо, мадемуазель Нинет Барбош, также не давала сколько-нибудь определенных сведений. Из многих посетителей дачи ни одного не звали Хаджет Лаше. Он оставался лицом, возбуждающим любопытство.

На даче жили три молодые женщины и угрюмая старуха, Фатьма-ханум. Она следила за хозяйством, расплачивалась с поставщиками, по-французски знала только названия продуктов, никогда не выходила за ограду и спала на чердаке в полутемной клетушке. Три молодые женщины — мадам Мари, мадам Вера и мадам Лили — занимали наверху три спальни. В четвертой комнате останавливался Александр Левант. Случайные посетители, гостившие иногда по нескольку дней, спали внизу, в салоне, на турецких диванах, покрытых смирнскими коврами. Нинет Барбош не могла определить, на каком языке разговаривают молодые дамы, некоторые слова она записала французскими буквами на клочке бумаги, но в Севре на рынке не удалось их расшифровать.

На рынке и в лавочках Севра задавали вопрос: не есть ли дача в лесу просто заведение с «девочками»? Но против этого решительно восстали поставщики. Мужчины бывали на даче не часто и не регулярно: будь там заведение, оно давно бы уже лопнуло, во всяком случае, замечались бы жизненные перебои. Единственно, что можно было там отметить,— это оттенок несемейственности. Но в конце концов всякий живет, как ему нравится, и нет основания совать нос туда, где честно расплачиваются по счетам.

Уважение внушало также и то, что Александр Левант всегда приезжал в автомобиле и никто из гостей никогда не пользовался поездом, тем более трамваем. Из Парижа привозилось шампанское, но после того, как владелец винного магазина в Севре предложил доставлять в любое время дня и ночи вина и шампанское любых марок в любом количестве, и эти случайные суммы стали оседать в Севре.

Мадам Мари, мадам Вера и мадам Лили жили праздно. Спали до десяти утра; непричесанные, в шелковых пижамах, подолгу сидели за утренним кофе, курили папироски. Иногда гуляли, но больше валялись под двумя старыми липами напротив каменного крыльца.

Сад был запущен, розы одичали, на клумбах — сорная трава. Нинет Барбош, перетирая у окна тарелки, часто спрашивала себя: почему эти три кобылищи так боятся испачкать руки? На чудесной лужайке, где в июньском зное слышалось пчелиное гудение, валя-

лись пустые коробки от папирос, бумажки, бутылки. А эти, положив голые руки под затылок, знай себе глядят в облака... Чулки не штопают, порвутся — бросят где попало; платья раскиданы по всему дому.

Мари была полная блондинка с длинными сонными глазами. Вера — высокая, худая, сложенная, как модель из большого дома; лицо азиатское, волосы лиловатые. Лили — во французском вкусе: круглое, как у подростка, лицо, вздернутый нос, стриженая трепаная голова, но слишком большой и чуждый по выражению рот выдавал славянское происхождение.

Когда слышался гудок подымающегося в гору автомобиля, на крыльце появлялась Фатьма-ханум и что-то начинала говорить, ударяла ладонь о ладонь, трясла старым подбородком. Но дамы не слушали ее — может быть, потому, что Фатьма говорила на другом языке. Они лениво покидали парусиновые шезлонги, уходили в дом одеваться. Фатьма тусклыми покорными глазами глядела на железную калитку с колокольчиком. Появлялся Александр Левант, большею частью с гостями. Почти всегда это были иностранцы. Они бросали шляпы и пáльто на траву, садились на шезлонги. Курили, спорили, смеялись. Александр Левант уходил за дамами. Обняв их за плечи, широко улыбаясь, сводил с крыльца, знакомил. Им целовали руки.

14

В один из июньских дней Александр Левант привез на дачу Василия Алексеевича Налымова. Под липами в безветренном зное гудели пчелы. Нинет Барбош энергично стучала тяпкой на кухне. Дамы умудрились даже стащить с себя пижамы, лежа с папиросками в парусиновых креслах. Повсюду — лень и жаркие голубоватые тени.

Среди полдневной истомы неожиданно раскрылась калитка, за спиной Александра Леванта смеялось одутловатое бритое лицо светловолосого человека, одетого во все новое. Дамы слабо ахнули и понеслись к дому, кое-как прикрывая наготу.

Левант рассердился и начал по-турецки кричать в чердачное окно. Оттуда высунулась перепуганная

Фатьма, залопотала по-турецки. Левант с бешенством указал ей тростью на пустые бутылки и на пижамы, оброненные на песчаной дорожке...

— Проклятая старуха! — сказал он Налымову, увлекая его в дом.— Но вы не обращайте внимания на некоторый беспорядок. Мой друг, Хаджет Лаше, снявший эту дачу, в отъезде. Дамы, которых вы мельком видели,— его гостьи. У меня нет времени заняться порядком. Это дом без головы, но здесь можно чувствовать себя не стесняясь. Это — богема...

Он ввел Налымова в небольшой салон, затемненный закрытыми жалюзи, и предложил располагаться на любом из диванов. Присев на подоконник, перекатывал во рту сигару.

— Три дамы,— чтобы сразу вам ориентироваться,— эмигрантки из России. Мой друг, Хаджет Лаше, человек необычайно отзывчивый, подобрал их буквально умирающих от голода на тротуарах Константинополя... Одну из них, кажется, он хорошо знавал по петербургскому свету,— та, высокая, чудно сложенная женщина — княгиня Чувашева... Маленькое создание — это несчастная дочь генерала Степанова,— отец пропал без вести, мать умерла во время эвакуации Одессы. Полная блондинка, если не ошибаюсь,— киевская сахарозаводчица, чудный голос, но до сих пор не совсем пришла в себя от потрясений... Сердце обливается кровью, когда подумаешь, что наделали большевики с нашей Россией... Я ведь тоже отчасти русский, у меня были крупные дела в Петербурге... Помните гостиницу «Астория»? Там я держал постоянные апартаменты. Мой друг, Хаджет Лаше... Кстати, вы не знавали его?

— Не вспоминаю,— ответил Налымов, прислушиваясь к женским голосам, слышным из раскрытых окон наверху.

— Совсем недавно он купил у стокгольмского эмигранта гостиницу «Астория» и еще ряд других гостиниц в Петербурге. Очень деловой человек... И патриот, русский патриот...

Заметив, что Налымов плохо слушает, Левант несколько изменил направление беседы:

— Сейчас мы отлично пообедаем. Нинет Барбош научилась у старухи восточным блюдам. Затем я вас покину на попечение дам. Отдыхайте, флиртуйте.

А через несколько деньков займемся делами. Меня очень интересует Тапа Чермоев,— вы с ним близки?

— Пили где-то...

— Великолепно. Затем — Леон Манташев и другие... Эти нефтяные короли — беспечнейшие люди... И понятно: сиди себе и гляди, как из-под земли с божьей помощью хлещут деньги... Словом, об этом в свое время... Идем обедать...

Дамы вышли к столу в белых батистовых платьях. Александр Левант представил Налымова,— его приняли непринужденно, но равнодушно. Обед, в полумраке закрытых жалюзи, начался молчаливо. Левант с жадностью занялся едой. От щек и толстых рук Нинет Барбош, вносившей блюда, дышало жаром плиты. Мадам Мари изнемогала. Мадам Вера по-мужски пила белое вино — стакан за стаканом. Крошка Лили любопытно поглядывала на Налымова.

Отодвинув тарелку, Александр Левант вытер салфеткой лицо и шею.

— Дорогие создания,— сказал он неприветливо,— я оставляю на ваше попечение Василия Алексеевича. Но, если будете его развлекать, как сейчас, он к вечеру сбежит в Париж. Здесь не английский пансион, мои цыпочки...

— Так бы вы сразу и сказали,— мрачным, хриповатым голосом ответила княгиня Чувашева.

Лили неизвестно чему засмеялась, и ее личико с горькими складочками у рта стало молодым. Мадам Мари лениво подняла веки.

— «Нам каждый гость дарован богом»,— пропела она и красивой холеной рукой повела стаканом в сторону Налымова.

Он поклонился, под стулом стукнул каблуками. Мари спросила:

— Вы военный?

— Бывший...

— Какого полка?

— Право, забыл... (Три дамы изумленно взглянули на него.) Я столько веселился,— право, отшибло память...

Подпрыгивая от беззвучного смеха, топорща локти, он кивал дамам красноватым носом.

Левант сказал:

— Василий Алексеевич командовал серебряной ротой Семеновского полка. Ну-с, давайте о чем-нибудь повеселее...

Но дамы помрачнели от воспоминаний. Княгиня жестко сжала рот, стучала длинными ногтями по скатерти. У Лили увяло личико, будто из него выпустили воздух. Веселья не выходило. Пить кофе пошли в сад, откуда торопливо засеменила Фатьма с приподнятым подолом, полным пустых бутылок и мусора.

Вскоре Левант докурил сигару и уехал. Налымов, поджав ноги, покачиваясь от удовольствия, сидел в траве, потягивал коньячок.

— Слушайте, вы, по-моему, хороший парень,— сказала ему княгиня Чувашева. Теперь, когда не было Леванта, лицо ее стало нежнее, добрее.— Чего ради вы сюда приехали?

— Мой друг Левант находит — мне нужен небольшой отдых.

— Слушайте, давайте по-хорошему... Вам известно, что здесь — притон?

— Княгиня, здесь — очаровательно...

— Меня зовут Верой... Подсаживайтесь ближе... Вы что же — в самом отчаянном положении, что ли? В мусорном ящике?

Налымов все так же — со смешком:

— Я писал моему орловскому управляющему,— он чертовски затягивает с деньгами... Не то мужики не хотят платить,— вообще что-то курьезное... Накопились долги, пришлось несколько стесниться...

— ...Ночевать на бульваре,— низким голосом сказала княгиня.

— Как вы угадали? Ночевать на бульварах...

— ...Воровать хлеб в ресторанах...

— Воровал... Но не столько стесняло ограничение в еде, как в напитках, представьте... Вы когда-нибудь работали, княгиня, по очистке канализации?

— Работала кое-где похуже...

— На вас надевают огромные сапоги, и вы с лопатой стоите по колени в жижице. В каналах — множество заржавленных булавок, если такая штука воткнется в ногу, вам будет плохо. Но зато под землей я подружился с отличнейшими людьми... Все они отчаянные анархисты, и мне пришлось скрывать кое-что из прошлого... В общем, нужно забыть, что мы жили... Травка, пчелки, коньячок...

— Забыть — умно... Но не так-то легко...

— Забыть, где родились, как вас зовут. Перестаньте надеяться — и станет легко, как птичке...

Княгиня подперла щеку, сдвинула мужские брови:

— Перестать надеяться?

— Это такая же глупость, как воспоминания... Мари и Лили сквозь дремоту прислушивались к их словам. В словах этого человека из мусорного ящика, в его трясущемся смешке, в пропитых водянисто-серых глазах была какая-то жуткая убедительность. Когда Вера повела его показывать усадьбу, Мари сказала в нос:

— Вера заинтересована...

Лили, лениво болтавшая туфелькой на кончике ноги:

— И он и все мы тут пропадем, как собаки...

15

Левант не показывался целую неделю. Наконец от него пришла на имя Налымова телеграмма из Стокгольма: «Приезжаю понедельник, прошу быть порядке»...

Всю неделю на даче была тишина, благодать, ленивые разговоры. Дамы уходили спать рано, в их комнатах наверху слышались некоторое время тихое всхлипывание и сморканье. Затем гасли все окна, и дача засыпала. Только Налымов еще сидел в траве, поджав ноги. Над липами — черная теплая ночь, над горой наклонились семь звезд Большой Медведицы. Далеко — лиловатый свет над Парижем.

Пропитая душа Василия Алексеевича прислушивалась к нежным, как деревянные трещотки, голосам древесных лягушек. Когда кончался коньяк в полубутылке, он бодренько поднимался и шел в салон, где, не раздеваясь, засыпал на одном из диванов.

Часов с семи утра дамы (с припудренными веками) начинали подходить к двери салона, участливо дожидаясь, когда человек из мусорного ящика перестанет посапывать, откашляется и ясным голосом, как ни в чем не бывало, проговорит будто про себя:

— Ну вот и чудесно...

Тогда подавали кофе, и день начинался — солнечный, длинный, лениво-бездумный. Василий Алексеевич мог бы взять посох и увести трех дам на край света — так они предались ему. Должно быть, и вправду на дне мусорного ящика он отыскал секрет, как жить в это фантастическое время. При нем затихал, как зубная боль, невыразимый ужас будущего... Когда заговаривали о близкой гибели большевиков, о возвращении в Россию, он валился навзничь в траву, дрыгал ногами, хихикал:

— Птички мои, не сходите с ума... Надейтесь только на эту минутку, на эту минутку...

Когда пришла телеграмма от Леванта, Вера появилась в саду в холщовом костюме, в маленькой изящной шапочке и сурово сказала Налымову:

— Я иду в парк, нам нужно поговорить...

Налымов поднялся, отряхнул с костюма травинки. Они пошли сначала по прямой и широкой улице, где за каменными изгородями и колючими кустарниками, среди садиков, клумб, газонов нежилось французское благополучие. Потом спустились в городок Вилль-Давре и по шоссе поднялись к парку Сен-Клу... Вера шла быстро, по-мужски. На Василия Алексеевича ни разу даже и не покосилась. В глухой части парка свернула к скамье. Села — прямая, колючая.

— Слушайте,— сказала она отрывисто,— я вас люблю. Хотя это менее всего важно... Я вас люблю... И на этом кончим...

Она передохнула, но даже и в этот раз не взглянула на него.

— Предупреждаю, вы попали в скверную компанию... Например, за этот разговор, если Хаджет Лаше узнает, не поручусь, что не отправит меня куда-нибудь по частям в багажной корзине... У него уже были такие случаи... В Константинополе мы подписали с ним договорчик... Когда-нибудь, если буду очень пьяна, расскажу об этом... Так вот, на даче мы не просто три публичные девки... Нас для чего-то готовят... Догадываюсь только, что все связано со Стокгольмом... Когда Левант объявит, чтобы мы собирались, нас повезут именно в Стокгольм, и там будет главное... Я не жалуюсь, заметьте... Сделать для меня вы ничего не сможете... Ну, да к черту... Предупреждаю, держитесь очень осторожно,— Левант страшный

человек. А страшнее его — тот, главный хозяин, Хаджет Лаше...

Она угрюмо замолчала. Сладкий ветер шелестел в листве высокой платановой аллеи. По боковой дорожке проехал худой, как скелет, велосипедист в кепке. На раме, прильнув к нему, сидела с закрытыми глазами девчонка в черном платьице.

Когда они проехали, Вера обхватила шею Василия Алексеевича, прижала его лицо к себе, к сердцу. Молча вся содрогнулась. Отодвинулась подальше на скамье:

— Непонятнее всего, что я — живу... Вот этого раньше никак бы не могла представить...

Когда она отсела, Налымова подняло будто пружиной. Отбежав, описал круг около скамьи:

— Вера Юрьевна, только не выдумывайте меня, боже упаси. Во мне — никакого проблеска, никакой надежды... Чучело на огороде машет руками — это я... Меня забыли похоронить... Я — тот самый неизвестный солдат...

— Люблю вас,— мертво повторила она. Расширенные сухие глаза ее жадно глядели на Василия Алексеевича...

16

В понедельник Александр Левант вызвал к телефону Веру Юрьевну и потребовал спешно привести дом и сад в наилучший порядок,— особенно позаботиться о кухне и погребе. Будут солидные гости. Налымову он сказал, что вылетает на два дня в Лондон, и просил за это время подготовить почву для свидания с Чермоевым. «Напоминаю — от этого шага зависит все будущее, вы сможете возродиться...» Василий Алексеевич побрился, повязал галстук бабочкой, надел несколько набок новую шляпу и, помахивая тросточкой, отправился в Париж.

У калитки его ждала Вера Юрьевна. Рука ее была холодная и вялая,— он прикоснулся к ней носом и отпустил; рука ее, как неживая, ударилась о бедро. Василий Алексеевич отвернулся. Мощенная плитами дорога уходила под гору. Внизу — старенькие домики, аспидные крыши Севра, извилины реки, сады уже с

багровой зеленью, золотистые полосы на волнистой равнине. Все это — будто по ту сторону жизни, как на цветной картинке из далекого детства: спальня матери, и он — на полу, опершись на локти, глядит в книгу с картинками...

— Вы вернетесь? — спросила Вера Юрьевна.

Не оборачиваясь, он ответил сквозь зубы:

— Куда же я к черту денусь?..

— Вы в счастливом настроении едете в Париж...

— В превосходнейшем.

Она — тихо, с упрямством:

— Скоро не вернетесь, я уж чувствую...

Осторожно она потянула полу его пиджака и что-то положила в карман. Он покачал головой, в кармане нащупал пачку денег и, вытащив, осторожно положил на траву. Взглянул на Веру Юрьевну,— губы ее дрожали, в глазах было такое, что ему стало холодно. Он совсем было примирился, приспособился, выдумал даже особую философьишку — простейшего организма, амфибии, похихикивающей в рюмочку среди оглушительно мчащихся времен. И вдруг — назад, к человеку, в жаркую женскую тьму! Самое простое было — приподняв шляпу, бодренько уйти вниз по беловатой дороге. Но потемневшие глаза Веры Юрьевны умоляли: ведь ты не убежишь, ты видишь, ты чувствуешь — уйдешь навсегда,— я же не буду защищаться.

— У меня пять франков, Вера Юрьевна, хватит на поезд, метро и папиросы... Постараюсь быть к обеду... (Взял ее за руку, потом — осторожно — за другую...) Может быть, это глупее всего, но — вернусь, вернусь к вам...

У нее забилось горло. Вырвала руки. Он неожиданно всхлипнул (почти так же, как тогда у Фукьеца за столом, нюхая розу), перекинул через плечо тросточку, пошел к вокзалу.

17

Чермоева он застал дома. Тапа завтракал в кругу родственников,— за столом было человек шестнадцать. Как глава рода, он ел важно и молча. Рядом сидели две красивые татарки в парижских туалетах, сильно надушенные, с розовой кожей, хрупкие, длин-

ноглазые. Татарки и Тапа пили вино. Остальные расположились по родству и знатности: почтенные люди с крашеными бородами, горбоносые смуглые усачи, старухи с косицами, в черных платках. Чермоев вывез в Париж весь цвет многочисленного рода — с нефтяных приисков, из Баку и из горных аулов. Понятно, что нужны были большие деньги содержать с достоинством семью в этом сумасшедшем городе, где у татарок дико загорались глаза перед витринами магазинов, смуглые усачи желали носить шелковые носки и лакированные ботинки, почтенные старики бродили, как голодные шакалы, по центральным бульварам, поворачивая крашеные бороды за каждой толстозадой девчонкой. Тапе приходилось трудно.

Он подумал, что Налымов пришел просить денег. Другого бы он просто велел прогнать из прихожей, но Налымов был из придворной знати: прогонишь — ославит. Скомкав салфетку, Тапа вышел к Василию Алексеевичу, по-кунацки обнял: «Доставил радость, спасибо, пойдем кушать»,— и посадил его между красивыми татарками, пахнувшими головокружительными духами.

Русоволосую звали Анис-ханум, медноволосую — Тамара-ханум. Обе — троюродные сестры Тапы. У обеих высокие, подведенные, как ниточки, брови и тонкие руки, обремененные кольцами. У Анис — приподнятый нос и пухлые губы. Тамара — скуластая, худая, с глазами, как горячие пропасти. Они, видимо, вполне освоились с парижской жизнью,— шурша коленями по шелку, потягивая ликеры и куря из золотых мундштучков, говорили, что Париж невыносимо скучен в июле, можно рассеяться только в Булонском лесу, где танцуют на паркетном помосте под открытым небом при свете луны. Но мужчин нет. Французы, говорят, все от двадцати пяти лет до сорока убиты, остались подростки, но эти поголовно занимаются гомосексуализмом. Иностранцы все сейчас в Довилле. Вот где шикарно! (У обеих руки рассыпались брызгами колец над столом.) В казино игра,— банк в три миллиона — ничто... В Довилль рекой текут доллары и фунты... Счастливая Франция!..

Тапа встал, сложил ладони, как книгу, пошептав, провел ими по лицу. Завтрак кончился. Родственники

неслышно исчезли. Татарки продолжали болтать, но он взял их за плечи, потрепал и поцеловал обеих в волосы. Захватив золотые портсигарчики и сумочки, они вышли.

— Чудные женщины,— сказал Тапа, запирая за ними дверь,— одна вдова, у другой, Тамары, муж пропал без вести в горах... Молоды, красивы, что с ними делать, ума не приложу.— Он придвинул стул к Налымову и круглыми неподвижными глазами стал глядеть на него.

— Тапа, я к тебе по делу. Ты знаешь Александра Леванта? (Тапа мотнул тяжелой головой.) Я у него — поверенным в делах... Ты, наверное, слышал — я одно время опустился... (Тапа кивнул.) Да, было такое настроение... России нет, армия погибла, государь убит... Все, чему присягал,— гнилой труп...

— В белые армии не веришь?

— Белые, красные, зеленые — пусть их там делят остатки... Я тут при чем? Семеновский мундир растоптан в грязи,— думал: трагедия, и трагедии не вышло... И конца не вышло... А Россия — что ж... В России будут хозяйничать англичане... (Тапа насторожился.) Словом, я к тебе с предложением от моего доверителя, Александра Леванта. Он хочет с тобой встретиться.

— Можно.

— Нефтяные земли ты никому еще не продал? (Тапа усмехнулся.) Отлично. Назначим день и час. Я хотел бы привлечь другого нефтяного короля — как его... этого... Манташева — к этому свиданью.

— Ты думаешь — Кавказ будет английским? Деникин отдаст Кавказ англичанам?

— Об этом спросишь Леванта, он все знает... Левант предложил в пятницу завтракать в Кафе де Пари...

Нефтяной магнат, расточитель миллионов, липнувших к нему безо всякого, казалось, с его стороны, усилия, человек с неожиданными фантазиями, лошадник, рослый красавец Леон Манташев находился в крайне жалком состоянии. Он занимал апартаменты в одном из самых дорогих отелей — «Карлтон» на Елисейских полях, и только это обстоятельство еще поддерживало его кредит в мелких учетных конторах, ресторанах, у портных.

Но окружение кредиторов непреклонно сжималось, душило его ночными кошмарами. Он утратил ценнейший дар жизни — беспечность. Особенно по утрам, просыпаясь от тревожного сердцебиения, гнал и не мог отогнать мрачные мысли,— в бессилии, в бешенстве курил, ворочался в постели, придумывая фантастические планы спасения и кровожадные планы мести.

Это была расплата за легкомыслие. В Москве (в двенадцатом году) неожиданный скачок биржи однажды подарил ему восемь миллионов. Он испытал острое удовольствие, видя растерянность прижимистых Рябушинских, меценатов Носовых, Лосевых, Высоцких, Гиршманов. Восемь миллионов — бездельнику, моту, армянскому шашлычнику! Чтобы продлить удовольстве, Леон Манташев закатил ужин на сто персон. Ресторатор Оливье сам выехал в Париж за устрицами, лангустами, спаржей, артишоками. Повар из Тифлиса привез карачайских барашков, форелей и пряностей. Из Уральска доставили саженных осетров, из Астрахани — мерную стерлядь. Трактир Тестова поставил расстегаи. Трактир Бубнова на Варварке — знаменитые суточные щи и гречневую кашу для опохмеления на рассвете.

Идея была: предложить три национальных кухни — кавказскую, французскую и московскую. Обстановка ужина — древнеримская. Столы — полукругом, мягкие сиденья, обитые красным шелком, с потолка — гирлянды роз. На столах — выдолбленные глыбы льда со свежей икрой, могучие осетры на серебряных цоколях, старое венецианское стекло. В канделябрах — церковные, обитые золотом свечи,— свет их дробился в хрустальных аквариумах с драгоценными японскими рыбками (тоже закуска под хмелье). Вазы с южноамериканскими двойными апельсинами, фрукты с Цейлона. Под салфетками каждого куверта ценные подарки: дамам — броши, мужчинам — золотые портсигары. Три национальных оркестра музыки. За окнами на дворе — экран, где показали премьерой фильмы из Берлина и Парижа... Гостей удивили сразу же первой горячей закуской: были предложены жареные пиявки, напитанные гусиной кровью. Ужин обошелся в двести тысяч... Теперь хотя бы половину этих денег!

Был уже третий час пополудни, когда Налымов

вошел к нему в номер, полный табачного дыма. Высокие портьеры на окнах спущены, розовый ночник у постели освещал на раскиданных подушках крупного мужчину в полосатой пижаме, с измятым лицом и черными жокей-клубскими усами. По скаковой традиции, Леон Манташев пил с утра шампанское с коньяком.

— Я болен, я измучен. Нервы, перебои,— приподнимаясь на локте, сказал он Налымову.— Придвигайте кресло. Хотите вина? Они мне, черт возьми, все еще подают, хотя у лакея рожа такая — хочется залепить плюху. Василий Алексеевич, когда же домой? Я больше не могу... Вы представляете, я, я, я — без денег... Хохотать хочется. Пропал даже вкус к лошадям... О женщинах я и не говорю...

— Вы не прочь, Леон, поговорить с одним крупным человеком о продаже нефтяных земель в Баку?

— Продать мои земли? Вы с ума сошли! Лучше я полгода здесь проваляюсь, но уж дождусь, когда вырежут большевиков... Они укорачивают мою жизнь!.. Вы вдумайтесь! Они распоряжаются моими землями, моими домами, моими деньгами, моим здоровьем... (Он вскочил, с яростью подтянул штаны пижамы и заходил в одной туфле.) О чем думают эти болваны англичане, я вас спрашиваю? О французишках я уже и не говорю — лавочники, трусы, хамы... Я решил написать английскому королю: «Ваше величество, вы первый джентльмен в мире,— меня ограбили, меня убивают медленной пыткой, прошу защиты...» Мои лошади бегали в Англии в тринадцатом году, он меня знает... А что, этот человек, с которым вы хотите, чтобы я говорил,— жулик, наверное?

— Он, насколько я помню, агент крупной компании. Моя роль маленькая — познакомить...

Манташев плюнул со злости:

— Довели — помещик, аристократ, семеновский офицер и служит фактором... Кошмар!.. Василий Алексеевич, давайте пить коктейль... (Позвонил.) В номер дают сколько угодно, а пойди я через улицу к Фукьецу — сейчас же посылают мальчишку проследить: ага, я у Фукьеца!.. И вечером — счет... (Он поджал губы, черные усы взъерошились, выкатил бараньи глаза.) Тридцать восемь тысяч франков счет... А? Когда же с этим типом вы предполагаете встретиться? Что?

18

Налымов вернулся на дачу, как и обещал, в сумерки. У Веры Юрьевны похорошело лицо, когда он медленно затворял за собой калитку. Из окон столовой лился приветливый свет. Сейчас же сели обедать.

Вечер был теплый, влажный, из темного окна влетела зеленая мошкара, ночные бабочки крутились под шелковым абажуром. Казалось, за столом сидела дружная тихая семья, а не четыре тени из невозвратной жизни постукивали вилками и ножами, учтиво передавая друг другу блюда. Во всем этом было извращение настолько очевидное, что мадам Мари вдруг резко засмеялась:

— Семейка!..

Расширенные зрачки Веры Юрьевны остановились на Василии Алексеевиче. Он потянулся за бутылкой, сказал с усмешкой:

— На примере нашего ужина, дорогие женщины, вполне приличного, мы видим всю призрачность так называемого благополучия... Ах, мои птички, хорошо чувствовать себя невинно потерпевшими, но это утешение тоже призрачно...

Лили перебила плаксиво:

— Я еще в Константинополе хотела утопиться... Ни жить, ни умереть — вот в чем виновата.

Мари — низким голосом:

— А я в чем виновата? Отняли все бриллианты, меха, на триста тысяч... Я бы здесь ферму купила... Княгиня Мышецкая разводит цыплят, чудно живет...

Пришел час изливать горечь... Женщины начали жаловаться. Что они сделали, за что такое им не в меру грехов возмездие?

Мари продолжала:

— Жили, как все живут. Ну, мотали деньги... Вот и вся вина... Керенским восхищались, устраивали даже базары в пользу революционеров... Так нет — оказались виноваты, что мы хорошо одеты, мы — красивые, в ванне моемся... В судомойки, что ли, было идти? Судомойки только там и царствуют... А когда у вас вывозят дорогую мебель, в квартиру вселяют солдатню и матросню — революцией прикажете восхищаться?.. Хоть и вернемся когда-нибудь — как на пожарище: ни кусочка, ни клочочка не осталось...— Она

сердито кулаком смахнула слезы.— Оскорбляют, выкидывают на улицу, обирают до нитки всех счастливых, всех нарядных, всех богатых... И при этом кричат,— вы же виноваты! Стыдно вам, Василий Алексеевич!

— За что, за что, за что? — шепотом повторяла за ней Лили, кивая распухшим носом над тарелкой.

Женщины бежали от апокалиптического ужаса через фронты к своим милым, хорошим «рыцарям духа», подставлявшим грудь под большевистские пули во имя восстановления красивой жизни. Женщины метались по полуразрушенным городам, грязным переполненным гостиницам, угарным кабакам, где песенки Вертинского прерывались револьверными выстрелами и треском разбиваемых о головы бутылок... Знакомые, милые, изящные люди занимались спекуляцией и грабежом, во время эвакуаций сталкивали женщин с вагонных площадок... «Рыцари духа» мечтали о шомполах и веревках, и в мутных глазах убийц не найти было приюта для любви измученной женщине... Снова и снова — теплушки с сыпнотифозными, грязные кровати, разделяемые черт знает с кем за бутылку вина, за красновские, за деникинские кредитки... И так — все ниже, на дно человеческого водоворота...

Когда они вырвались из этого царства крови, сыпняка, сифилиса и разбоя на лазурные берега Константинополя, выбора не оказалось: тротуар, ночной фонарь и вдали пуговицы полицейского мундира...

— Да, да, Лилька верно сказала: в том и виноваты, что не утопились вовремя! — крикнула Мари и выругалась непристойно по-русски.

Так они плакали до полуночи. Фатьма-ханум несколько раз встревоженно появлялась в дверях, покуда Мари не запустила в старуху бутылкой.

Самое бесполезное, что можно было придумать,— и этому немало дивились французы,— сидеть у стола под газовым рожком и ночь напролет бродить по психологическим дебрям... Если взять, например, резиновый шар, наполненный воздухом, и поместить его в безвоздушное пространство, он начнет раздуваться, покуда не лопнет. Русских беженцев распирала сложность собственной личности. Для ее ничем не стесняемого расцвета Россия когда-то была удобнейшим

местом. Неожиданно поставленная вне закона, она с угрозами и жалобами помчалась через фронты гражданской войны. Она докатилась до Парижа, где попала в разреженную атмосферу, так как здесь никому не была нужна. Иной из беженцев помирился бы даже с имущественными потерями, но никак не с тем, что из жизни может быть вышвырнуто его «я». Если нет меня, то что же есть? Если я страдаю — значит нужно изменить окружающее, чтобы я не страдал. Я — русский, я люблю мою Россию, то есть люблю себя в окружении вещей и людей, каким я был в России. Если этого нет или этого не вернут, то такая Россия мне не нужна.

Революция, революция! Взбрело же в жизнь такое страшное и неуютное... Опустевший город. На окнах заколоченных магазинов — декреты о классовой борьбе... Холод... Ночной звонок. И все мое, весь я отскакиваю от кожаной куртки человека с безжалостно сжатым ртом и мрачными глазами, глядящими сквозь мое «я».

У Веры, Мари и Лили будущее отягчалось еще и тем, что в Константинополе, затем во Франции они были зарегистрированы как профессионально занимающиеся проституцией. Эту услугу оказал им Левант. У него хранилась из марсельской префектуры какая-то гнусная бумажонка, он каждый раз угрожал ею, когда женщины начинали строптивиться.

Жалобы были излиты, слова все сказаны. Мари и Лили ушли спать. Вера Юрьевна придвинула стул к Василию Алексеевичу, положила голову на стол, на руки.

— Помимо всех художеств, за мной числится еще «мокрое» дело в Константинополе... Рассказать?

— Зачем, птичка моя? (Налымов заложил пальцы в жилетные карманы и щурился блаженно.) И без того все ясно. Одним мокрым делом больше? Какой вздор, какой вздор! Происхождение совести? Меня это занимало в прошлую зиму. Я даже ходил в публичную библиотеку... Семь миллионов спрессованных мыслей о совести на книжных полках... Я много смеялся про себя. Я чудно грелся у калориферов,— был январь, и я очень зяб. Я так и не стал читать книг. Мировая совесть, закованная в телячью кожу, почиет в публичной библиотеке, ею питаются книжные клещи... Когда

мой зад начинал согреваться на калорифере, я размышлял о том, что все условно... Птичка моя, вы жили в хорошем обществе — оно разбежалось. Ваши деньги запиханы в мужицкие онучи. Вас нет, вы — только грустный рассказ о человеке. Кому нужна ваша совесть? Самой себе?.. Так, так — вы заботитесь о чистоплотности... Старый, добрый буржуазный мир, где нам было так уютно жить, махнул рукой на чистоплотность. Видите, иногда я читаю газеты... Я даже пытался читать московские газеты. Читал, но испугался... Они требуют — значит за ними сила. Они неприлично ру́гаются — значит ничего не боятся. Несомненно, они в конце концов разобьют вдребезги этот старый мир... Но нам с вами от этого не станет легче... Итак, да здравствует мрак души, если у тебя, птичка моя,— мрак... Да здравствует кривой турецкий нож, если тебе хочется воткнуть его в сонную артерию пьяному негодяю...

Вера Юрьевна вскочила. Зра́чки — во весь глаз. Спросила одними пересохшими губами:

— Откуда вы это знаете?

— Это довольно обычный прием константинопольских проституток. Садись, любовь моя, выпей винца. Поговорим о чем-нибудь невинном.

19

Лисовский доехал на поезде подземной дороги до последней остановки и по движущейся лестнице поднялся на небольшую площадь.

Посреди площади горел газовый фонарь. Под ним стояли два агента полиции, заложив руки под пелерины. Наверху — звезды, не омраченные городскими испарениями. В кирпичных невысоких домах, кругом обступивших площадь, кое-где свет керосиновой лампы. В пролете одного из узких переулков, уходящих ступенями вниз, вдалеке — скопища электрических огней, зарево реклам. Но шум Парижа сюда не долетал.

Лисовский надвинул кепку и вошел в кафе, где слышались голоса. В табачном дыму, за потемневшими от жира и пива столиками сидело человек полсотни рабочих. Они слушали человека, стоявшего спиной к

цинковому прилавку. У него было маленькое круглое лицо с широко расставленными водянистыми глазами и взъерошенные усы. Левая рука обмотана окровавленной марлей. Когда вошел Лисовский, он быстро обернулся. Но ему закричали:

— Эй, Жак, продолжай!..

— Если это шпик, свернем шею.

— Да ощиплем.

— Да поджарим.

— Да полакомимся...

От шуточек, сказанных с угрозой, Лисовскому стало неуютно. Все же он подошел к прилавку, спросил стакан белого вина, Жак поднял руку,— снизу на марле запеклась просочившаяся кровь.

— Я пошел в контору, я показал мою руку директору: «Вы размалываете пролетариев на ваших проклятых станках, вы питаете машины нашим мясом, вот как вы добываете ваши денежки, малютка Пишо». Ха! Он до того налился кровью,— я испугался, как бы он тут же и не лопнул,— он выкатил глаза, как осьминог... «Послушайте, Жак, несчастный случай произошел по вашей неосторожности, вам оказана бесплатная медицинская помощь, если вас это не удовлетворяет — идите жаловаться в ваш профсоюз».— «Где,— я ему говорю,— секретарем ваш двоюродный братец».— «Если вы пришли мне говорить дерзости, убирайтесь вон!» — заревел малютка Пишо... «Великолепно,— говорю я ему,— но сначала посмотрим, как вы подавитесь этим сгустком!» Одним словом, я хотел ему вымазать сопатку моей кровью... Крик, звонки, полиция... Пишо визжал, как будто на него набросился бешеный волк. «Возьмите его, это агент Москвы, это большевик!..» Меня волокут из конторы... Ха!.. Как раз обеденный перерыв, двор полон рабочими. Ого, как они зарычали! Тогда я высказал полицейским мое сомнение в целесообразности тащить меня сквозь строй товарищей в префектуру... Полицейские поблагодарили меня за толковый совет двумя бодрыми пинками и в порядке отступили в заводскую контору... Ха!.. Через пять минут там не осталось ни одного целого окошка... Это уже бунт! Директор вызвал подкрепление... Мы завалили ворота булыжником и железным ломом... Мы заявили о готовности весело

провести время до конца рабочего дня... Заморозить бессемеровские печи, пустить в вальцы холодный рельс... Администрация вступила в переговоры... Мы послали расторопных ребят на соседние заводы — бить стекла... Начинать так начинать!..

Жак, не оборачиваясь, взял со стойки стакан белого вина и вылил его в пересохшее горло. На матовых щеках его краснели пятна, густые ресницы прикрывали веселое бешенство глаз. Лисовский осторожно наблюдал. Из тридцати — сорока человек больше половины слушали Жака с восторгом,— видимо, он был здесь коноводом, другие — пожилые рабочие, усатые, успокоенные — слушали со сдержанными усмешками, иные — хмуро.

— Ребяческая игра,— сказал один, шевеля усами.

— Затевать ссору с хозяином,— так уж знай, чего ты хочешь...

— Обдумать да взвесить... Да и предлог нужен покрупнее, если уж бастовать...

Выпив, Жак щелкнул языком:

— О, ля-ля! Предлог! Не все ли равно... Когда-нибудь надо начинать!

— Верно, верно, Жак! — подхватили молодые, топая башмаками.— Начинать, Жак, начинать!..

— Тише, мои деточки, помолчите-ка! — Грузный седой человек повернул к стойке кирпично-румяное лицо.— Жак, ты меня знаешь, полиция не раз пропускала меня «через табак» подкованными каблуками, в девятьсот восьмом я первый влез на баррикаду. Так вот, я хочу сказать: после войны мы неплохо стали зарабатывать...

— Кто это мы?— закричали молодые.— Говори про себя, не про нас... Старику Шевалье, видно, ударили в голову его три тысячи франков!..

Кирпично-седой Шевалье — с добродушной улыбкой:

— У меня, деточки, в ваши годы была не менее горячая голова. Заткнитесь на минутку... Я только хочу спросить Жака — что начинать? Дело? — Тогда я готов... А выплескивать темперамент, колотя заводские стекла, да улепетывать по бульвару от конных драгун,— на это вы сейчас не много найдете охотников... Франк падает, мои деточки, это значит — к нам начнут приливать доллары и фунты, и работы всем

будет по горло... Поднимать заработную плату — вот за это мы должны бороться. И мы ее здорово поднимем, или я ничего не смыслю в политике... Выставляйте экономические требования, это я поддержу. А то — начинать да начинать... А что начинать? Прошло то время, когда знаменитый Боно со своими анархистами гремел по Парижу, стрелял полицейских, как кроликов, днем на Больших бульварах захватывал автомобили государственного банка... Тогда мы рукоплескали Боно, а сейчас бандиты-апаши и те бросают шалости, им выгоднее служить в больших магазинах приказчиками... Нет, деточки, буржуа в наших руках. Мелкий торговец зарабатывает меньше квалифицированного металлиста. А восстановление городов, разрушенных войной? Знаете, почем туда контрактуют чернорабочих? Начинать! Буржуа сегодня — курочка с золотым яичком, так что же — варить из нее суп? Плохой суп вы сварите, ребята...

Пожилые и солидные закивали:

— Умно говорит Шевалье.

— Довольно выпущено крови из Франции, мы хотим капельку счастья.

— Пусть наши жены и дочери узнают вкус настоящего паштета да походят в шелковых юбках...

— Правильно, Шевалье, пожмем из буржуа золото.

— Единодушно и умно поставим наши требования. А что же лезть в ссору и драку, когда сам не знаешь, чего хочешь...

Водянистые глаза Жака яростно упирались в говорившего, торопливо перебегали на другого, под взъерошенными усами появлялась и исчезала злая усмешка. Он опять поднял руку в окровавленной марле.

— Довольно, мои барашки! — сказал он резко, и молодежь три раза стукнула по столам донышками пивных стаканов.— Слыхали мы ваше мэ-мэ-мэ, бэ-бэ-бэ... У тебя, Шевалье, прикоплено деньжонок на лавочку, ты уж и лавочку присмотрел в Батиньеле. Нет, ты вот что нам объясни... В траншеях мы сидели локоть о локоть с буржуа, германские пули пробивали кишки и нам и им, не разбирая... По Марне наши трупы плыли кверху синими спинами во славу Франции. (Он сжал зубы, и маленькое кошачье лицо его собралось морщинами.) Мы пробовали на вкус кровь

буржуа,— она ничуть не слаще нашей... Наша-то, может быть, только посолонее.

— Солоней, солоней, солоней,— стуча стаканами, повторили молодые...

— Четыре года нас гоняли с одной бойни на другую... Франция загораживалась нами, как щитом из живого мяса, куда всаживали штыки, вгоняли пули, рвали в клочья, ослепляли, душили газами, жгли фосфором, ломали танками... О Шевалье, ты в это время спокойно покуривал трубку у станка на пушечном заводе... Тебе хорошо платили... А мы не могли даже сказать: «Нам страшно»,— за это в тылу отвечали пулеметами... Ты, наверное, не видал дороги из Шарлеруа, где лежали «пуалю» [1] с дощечками на груди: «Так рука отечества карает беглеца и труса»... Четыре года нас дурачили люди, которым мы не поручали вести войну и распоряжаться нашими жизнями... Нам раздавали фотографии с дерьма необыкновенной величины, найденного в немецких траншеях, чтобы мы охотнее стреляли в бошей, оставляющих такие следы. К каждому из нас прикрепили в тылу хорошенькую «мамочку»,— какие письма они нам писали, раздушенные и облитые слезами: «О мой дорогой солдатик, спаси нашу дорогую Францию, не бойся умереть как герой, господь вознаградит твои страдания...» О, до чего ловкий народ буржуа! А скажи, Шевалье, если бы немцы разбили нас тогда же, в первый месяц, да заняли Париж, мы бы проиграли от этого?

— О бог мой! — Возмущенный Шевалье тяжело положил обе ладони на стол.— Проиграть войну немцам! Договорился же ты, Жак!..

И Шевалье покосился в сторону Лисовского, и многие за ним поглядели на неизвестного человека у стойки. Жак усмехнулся, переступил незашнурованными тяжелыми башмаками:

— Ни на десять су мы бы не проиграли! Только не наши, а немецкие буржуа вцепились бы нам в глотку... А тебе-то что хлопотать вокруг чужой драки!.. И полились бы к нам денежки не американские, а немецкие, и копил бы ты на лавочку не франки, а марки... И выходит, что война — чистейшее надува-

[1] Так называли во Франции солдат.

тельство. Как там ни поверни, буржуа устроил широкий сбыт заводской продукции... Подумай-ка покрепче, не все ли равно, куда повезут продавать то, что сделано этой рукой, в немецкое или французское Конго!.. Рурский уголь — в Берлин или Париж,— ведь под землей тебе не видать... Мы только из траншей увидели, как велик свет, когда убивали три миллиона одураченных ребят... И это еще не все, Шевалье... Локоть о локоть сидели мы с буржуа в траншеях? Сидели... На язык кровь пробовали? Да... А когда вернулись домой, буржуа растопырили карманы на немецкие репарации, а мы рот разинули,— денежки мимо... Буржуа надели смокинги, а мы снова стучим ногтем в фабричную кассу: «Эй, бывшие товарищи по крови, не нужны ли вам наши мускулы?..» Так вот, Шевалье, за эти четыре года мы поняли одну простую, как пустая бутылка, истину: Франция с городами, заводами, виноградниками, с землей и солнцем, с двенадцатью месяцами хорошей и дурной погоды — наша!

— Наша, наша, наша! — повторили молодые.

— Русские повернули штыки в тыл... «Наше»,— сказали они и выворотили страну наизнанку вместе с рукавами... русские смогли, а мы прозевали... Ха! Французы, не стыдно вам тащиться, как жирным скотам, позади человечества?.. (Веселыми глазами он оглянул все собрание.) Что правда, то правда — русским было легче заваривать революцию... Но мы даже и не пытались... Смерти, что ли, мы боимся на баррикадах? Детская забава... После Шампани, Ипра и Вердена — тьфу!

А вот, кто там сказал про паштет и шелковые юбчонки? Вот эта дрянь завязла на наших штыках... Берегитесь! Мы знаем парижские соблазны. О, Париж, Париж!! От всего мира слетаются лакомки на этот город. Здесь продают себя на три поколения вперед за кусочек паштета... Вот — сидят трое, они были под Одессой, спроси у них о русских. Они тебе расскажут об этих варварах с горячей кровью... Русские верхом на конях бросались на наши танки, покуда мы не оставили им и танки и аэропланы; мы были удивлены, черт возьми!.. Русские сражаются на телегах, как древние франки... Они едят на завтрак, в обед и ужин хлеб цвета земли. Вместо вина пьют

спирт. Многие одеты в шкуры, не покрытые материей, в ботфорты из древесной коры или валяной шерсти... Ты скажешь, Шевалье,— это просто дикари, свергнувшие тирана?.. Нет, старичок, нет... Они давно уже могли бы успокоиться, если бы их революция была за сытный кусок хлеба... Но этот сытный кусок они с бешенством отталкивают от себя, они хотят чистого хлеба, пойми, Шевалье... Эти суровые люди верят в неминуемое и близкое освобождение всех эксплуатируемых... Они не продают свою веру за вкусный паштет... Ты назовешь их безумными? Ха!.. Посмотрим, кто окажется безумным — большевики (он в первый раз произнес это слово; в кафе стало тихо, только шипел газовый рожок) или ты со своими паштетами и шелковыми юбчонками. У них больше практического смысла, чем тебе кажется, Шевалье... Теперь ты понял, наконец, что мы хотим начать... (Жак облизнул губы, взял со стойки стакан вина.) Нас — ограбленных, обманутых, одураченных — много, очень много... Мы еще не организованны, ты скажешь? Нас сформируют битвы и борьба... Нам не хватает суровости,— из Парижа слишком сладко тянет? Заткните носы, ребята! Подтяните пояса! Мы начинаем игру...

Он сказал и вылил в глотку остатки вина. В кафе молчали. У молодых блестели глаза. Шевалье с усмешкой постукивал по столу толстыми пальцами.

— Поговорить всегда хорошо, в свое время и мы обсуждали за стаканом вина судьбы человечества, и не менее горячо,— сказал он.— На большой разговор всегда больше охотников, чем на малое дело. Только вот дело-то у нас пострадает, когда одни в небо тянут слишком круто...

— А ты что же хочешь, чтобы я тебе сказал день и час, да еще при этом молодчике из Сюрте?..[1]

Жак стремительно повернул кошачье лицо к Лисовскому,— в широко расставленных глазах его была угроза. Володя Лисовский вскочил, и сейчас же несколько молодых поднялись и стали в дверях. Хозяин кафе, мрачный, одноглазый, весь в шрамах, волосатыми ручищами равнодушно перемывал кружки. Лисовский сразу оценил обстановку: влип! На юге

[1] Сюрте — охранка.

России бывали, между прочим, положения и похуже. Все же побелевшие губы его застыли в перекошенной усмешечке...

— Ну, ты, мосье Вопросительный знак,— сказал Жак,— докладывай, зачем залетел на огонек? Говори правду, как перед смертной казнью... Отсюда, видишь ли, можно уйти, но можно и не уйти совсем...

— Я русский журналист,— сказал Лисовский, засовывая дрожащие руки в карманы,— в Париже я затем, чтобы именно слушать то, что сегодня слышал, и сообщать моим читателям в Россию... Большего я вам не могу сказать по весьма понятным причинам...

— А мы сейчас проверим.— Жак кивнул в глубину кафе:— Мишель!

Оттуда подошел красивый, болезненно-бледный малый в синей прозодежде, деревянных башмаках и соломенной шляпенке. Став перед Лисовским, он оглядел его глазом знатока. Обернулся к товарищам:

— Поляк, турок или русский? — Затем всей щекой подмигнул Лисовскому:— Одесса, рюсски? Делал революсион... Карашо... Солдатский совет... Ошень карашо... Слюшал Ленин... Стал большевик... Пиф-паф Деникин... Э?..

Лисовский нагнулся к его уху:

— Я русский, из Москвы... Только — молчи, в Париже конспиративно. Понял?

— Будь покоен, старина! — Мишель здорово хлопнул его по плечу:— Свой... Карашо...

20

Лисовского поразила доверчивость этих ребят. Его похлопывали, с ним чокались, каждый, звякнув медяками по стойке, спрашивал для себя и русского стаканчик. Спрашивали, много ли раз он видел Ленина и что Ленин говорил. Спрашивали, много ли русских рабочих ушло на гражданскую войну. Сдвигая брови, раздувая ноздри, слушали рассказы о героизме красных армий и сокрушались о бедствиях при наступлении Деникина и Колчака. Лисовский рассказывал то именно, что от него хотели слышать.

Хлопая его по спине, по плечам, французы говорили:

— Передай своим, пусть они не боятся Колчака и Деникина: эти генералы выдуманы в Париже Клемансо. И бить их нужно в Париже, об этом мы позаботимся, так и передай....

Лисовский чувствовал богатейший материал, даже стало жалко, что достается Бурцеву: «Старикашка не поймет, еще и не пропустит...» И тут же мелькнуло: «Написать книгу с большевистским душком — скандал и успех...» В конце концов ему было наплевать на белых и на красных, на политику, журналистику, на Россию и всю Европу. Все это он равнодушно презирал как обнищавшие задворки единственного хозяина мира — Америки, куда ушло все золото, все счастье.

Ему ничего не стоило сейчас прикидываться большевиком,— пожалуйста! Даже осторожный Жак, когда посетители кафе стали разбирать шапки, дружески кивнул Лисовскому и пошел проводить его до подземной дороги. С Жаком нужно было держать ухо востро. Лисовский, выйдя на пустынную площадь, где под фонарем все так же неподвижно стояли двое полицейских, сказал вполголоса:

— Не хочу вас обманывать, я по убеждениям — анархист. (Жак усмехнулся, кивнул.) Короткое время был в партии большевиков, но меня душит дисциплина... В Париже мои задания скорее литературные, чем партийные... Здесь приходится выдавать себя за белогвардейца и работать в «Общем деле»... Противно, но иначе не проникнешь в политические круги. В московских «Известиях» печатаюсь под псевдонимом. Вот вы уверены, что я просто авантюрист... Пожалуй, вы и правы. Но без нас в революции было бы мало перцу... И все же я — ваш со всеми потрохами...

Жак, подумав, ответил:

— Я предполагал, что вы так именно про себя и скажете, хотя вначале принял вас за агента... И половина того, что я говорил, предназначалась именно для вас.

— Понимаю, вы бросали вызов.

— Э, нет: Клемансо и Пуанкаре должны знать, что думают и говорят в предместьях... Пусть они не преуменьшают ни нашей ненависти, ни нашей силы... («Эге,— подумал Лисовский,— малый хитер, как черт».) Скажите, в Советской России знают, что

Франция в восемнадцатом году была на волосок от революции? И эта опасность далеко не миновала...

Они перешли темную площадь и подходили к узкой уличке, откуда давеча Лисовский видел огни Парижа.

— Клемансо смелый человек,— сказал Жак.— Настолько смелый, что его доверители, думать надо, скоро уберут старика...

— Вы говорите, что — в восемнадцатом?..

— Да... Помешали кое-какие внешние причины, например: присутствие в Булони американской армии в миллион штыков... Но главное — это желтая сволочь... Желтая сволочь!..

Жак потянул носом сырой воздух:

— У вас, у русских, правильный прицел... Между нами и капиталистами должно быть поле смерти... Никаких перебегающих фигурок... На мушку желтую сволочь!..

Он некоторое время шагал молча, затем рассмеялся:

— А вы знаете, что такое маленький французский буржуа? Отца и мать и царствие небесное отдаст за теплый набрюшник... В него и не выстрелишь,— он сейчас же поднимет руки и закричит: «Да здравствуют Советы!» Сейчас он окрылен. На Францию валятся миллиарды немецких репараций... Но тут-то ему такая катастрофа, о какой ни в каких книгах не написано... Мы ждем грандиозного подъема промышленности. Будет перестройка в иных масштабах,— все мелкое, копеечное на слом... Маленькому буржуа придется надеть вельветовые штаны и подтянуть брюхо пролетарским кумачом... Ну, что же,— приветствуем железную волну, девятый вал капитализма... Наши силы удесятерятся... (Кивком головы Жак указал в пролет узкой улицы на черную яму Парижа, куда будто упали все звезды из черно-лиловой ночи.) Мы окружаем его, мы — на высотах, мы спустимся вниз за наследством.

У двух столбиков метро, освещенных двумя фонарями в виде красноватых факелов, перед лестницей в глубокое подземелье Жак пожал руку Лисовскому:

— Если вам нужен материал для статей, приходите завтра в Мон-Руж, на бульвар, наберетесь кое-каких впечатлений...

Он пристально взглянул на Лисовского.

Из-под земли слышался гул двигающихся стальных лестниц, несло теплым, пыльным сквозняком. Увлекаемый вниз на лестничной ступени эскалатора, Лисовский увидел, как из серого тоннеля, описывая полукруг, вылетел, светясь хрустальными окнами, белый поезд Норд-Зюйд. Шипя тормозами, остановился под изразцовым сводом.

И сейчас же почему-то у него сжалось сердце тоской и жутью. Глядя на поезд, он почувствовал, что отняли от него стержневую надежду, и в будущих днях он уже не ощущает себя беспечным и шикарным, с пачками долларов по карманам... Чувство — неожиданное и неясное... Он даже остановился на площадке, где кончалась бегущая лестница. Кондуктор поезда крикнул: «Торопитесь, мосье, последний!» Усевшись в почти пустом вагоне на сафьяновой скамейке, Лисовский закурил.

«Иначе и не может быть, это должно случиться, они спустятся вниз. Социализм! Ой, не хочу, не хочу!..».

Он прижался носом к стеклу,— мимо неслись серые стены, электрические провода, надписи... Поезд мчался к центру города, в низину. Лисовскому чудилось: на возвышенности, вокруг города, под беспросветным небом — толпы, толпы людей, глядящих вниз, на огни. Внизу — беспечность, легкомыслие, изящество, веселье (ох, хочу, хочу этого!), наверху — пристальные, беспощадные, широко расставленные глаза Жака... Мириады этих глаз светятся в темноте неумолимым превосходством, ненавистью... Ждут знака, ждут срока... (Ох, не хочу, не хочу!)

Нужно было стряхнуть наваждение. «Какого черта! Ничего еще плохого не случилось,— мир стоит, как и стоял...» Лисовский с отвращением подумал о своей постели. Пересчитал деньги, перелез с Норд-Зюйда на метрополитен и через десять минут вылез на площади Оперы.

На Больших бульварах было уже пустынно, театры окончились, гарсоны в кафе ставили столики на столики, гасили огни. Огромные серые дома с темными стеклами витрин казались вымершими. Лисовский стоял на перекрестке. По маслянистым торцам проносился иногда длинный лимузин или такси.

Автомобили направлялись наверх, по старым уличкам, в места ночных увеселений. Там можно было

завить тоску веревочкой, шатаясь по ярко освещенным тротуарам, пахнущим пудрой, пóтом и духами,— от кафе к кафе, толкаясь между девчонками, пьяными иностранцами, сутенерами. Не пойти ли? Но с двадцатью франками — о сволочь, беженское существование! — благоразумнее не раздражать и без того болезненно возбужденные нервы.

Он стоял, опираясь задом на трость, курил и оглядывался. Подошел длинный человек в черном широком пальто почти до пят, в белом кашне, какое надевают при фраке, в шелковом цилиндре. Топнув со всей силой лакированной туфлей (чтобы проклятый тротуар не шатался), он стал около Лисовского. Закурил медленно, твердо, но спичку держал мимо папиросы, покуда не обжег пальцы.

— Прошу прощения,— сказал он с сильным английским акцентом,— какая это улица?

— Бульвар Пуассоньер.

— Благодарю вас.. Прошу прощения, а какой это, собственно, город?

— Париж.

— Благодарю, вы очень любезны... Странно... Очень странно...

Так же, как и Лисовский, он оперся задом на трость и глядел остекленевшими глазами вдоль бульвара. Появились сутулый мужчина и полная женщина,— они шли под руку, медленно, и говорили по-русски:

— Не понимаю, Сонюрка, откуда у тебя такая кровожадность...

— Оставь меня в покое...

— Согласен,— в самый момент подавления большевиков, конечно, будут эксцессы, но настанет же день всепрощения...

— Всепрощения!.. Противно тебя и слушать...

— Сонюрка, смотри, какая тихая ночь... Как эти громады черных домов заслоняют небо... Тишина великого города!.. Гляди же, дыши,— а тебе все мерещатся веревки да ножи...

Они прошли. Неожиданно человек в цилиндре вздрогнул, будто просыпаясь, вдруг тяжело повалился на спину. Не поднимаясь, он как-то странно побежал ногами... Лисовский осторожно выпростал из-под себя трость, перешел на другую сторону улицы. Оглянулся,

тот лежал и дергался... «Эге, аорта не выдержала...» К лежащему приближались двое каких-то низкорослых...

«Ох, тоска! — Лисовский побрел дальше... Неостывшие каменные стены, высокие фонари, тени от деревьев на асфальте. — И значишь ты здесь столько же, друг Володя, сколько эти тени... Можешь идти по бульвару, а могло бы тебя совсем здесь не быть, — тень, голубчик, тень человека... Тьфу!.. (Он выплюнул окурок и посмотрел на свое мертвенное отражение в темной зеркальной витрине.) А все-таки ничего у них не выйдет. Черт, Жак хвастун, враль!.. А вот книгу я напишу, что верно, то верно... Циничную, гнусную, невообразимую, — выворочу наизнанку всю человеческую мерзость. Чтоб каждая строчка налилась мозговым сифилисом... Это будет — успех!.. Исповедь современного человека, дневник растленной души, настольная книга для вас, мосье, дам...»

Навстречу шла девушка, руки ее, точно от холода, были засунуты в карманы полумужского пиджачка. Поравнялась, кивнула вбок головой и глазами, — невинное лицо подростка, вздернутый носик, пухлые губы. Лисовский сказал:

— Пойдем, моя курочка, но заплачу, предупреждаю, только любовью.

Она даже отступила, хорошенькое личико ее сморщилось отвращением.

— Кот, — сказала хриповато, — дрянь, дерьмо!.. Подняла полудетские плечики, и — топ-топ-топ — высокими тоненькими каблучками между теней на асфальте ушла разгневанная любовь.

21

Завтрак с Чермоевым и Манташевым состоялся в Кафе де Пари. Болтали о том и о сем. Манташев был мрачен, Чермоев — спокоен и, как всегда, насторожен. После третьей бутылки шампанского Левант безо всякого предварительного перехода заговорил об английской политике:

— Я только что из Лондона, где имел удовольствие видеться с кругами, близкими к Черчиллю... Они непримиримы к России. Если бы это зависело от них одних, английские танки уже давно бы стояли в

Кремле. Я виделся с кругами либералов и пять минут беседовал с Ллойд-Джорджем... (Левант покосился на Налымова, но тот, подняв белесые брови, глядел оловянными глазами на пузырьки в бокале шампанского.) У либералов — все та же нерешительность, их девиз: «Время играет за нас...» Господа, мое впечатление от Лондона таково: война с большевиками — еще на долгие годы...

Чермоев тяжело вздохнул, Манташев, откинувшись на стуле, укусив зубочистку, подозрительно оглядывал Леванта. Тот изобразил лукавую улыбку, свернул по-собачьи нос.

— Но есть люди, думающие иначе... Правы они или нет — бог им судья... К таким принадлежит Детердинг... Завтра мы с Василием Алексеевичем выезжаем в Лондон, чтобы с ним видеться... Сегодня хотелось бы прийти к кое-каким предварительным решениям...

— Что же предлагает Детердинг? — сквозь зубы спросил Манташев.— Купить за грош пятак?

— Господа, Детердинг ничего не предлагает. Детердинг начинает мировую борьбу за нефть. В этой борьбе не только он — судьба Англии поставлена на карту. На сегодняшний день нефть — это знамя. Транспорт — это нефть. Химическая индустрия — нефть... Военное и морское могущество — нефть... Нефть — кровь цивилизации.

Чермоев пощелкал языком. Манташев, отодвинув стул, задрал ногу на колено, схватился за щиколотку.

— Борются нефтяные силы Америки и Англии... Но есть третья сторона: Россия, где находится третья часть всех мировых запасов нефти. Россия — не в игре... Но она войдет в игру, и та сторона, которая овладеет русскими запасами нефти, победит... Вы представляете — какими миллионами пахнет вокруг этой игры?

Он опять покосился на Василия Алексеевича,— тот продолжал глядеть на пузырьки. Левант перешел ближе к делу:

— Ллойд-Джордж и либералы не учитывают всей величины русского вопроса. Они идут на компромисс. Господа, это факт: мирная конференция на Принцевых островах решена, и большевики на нее идут...

Чермоев и Манташев настороженно перевели глаза на Леванта.

— Ллойд-Джордж будет мирить белых с большевиками. Я сам, этими глазами, видел в кабинете Ллойд-Джорджа карту раздела России. Ленину оставлено московское государство. Предполагается, что там без угля, нефти и железа большевики умрут естественной смертью... Теперь, господа, спрошу вас, можете ли вы быть спокойны за свои нефтяные земли, покуда в центре России, милостью английских либералов, сидит Ленин?

— Сумасшествие! — прошептал Чермоев.

— Ничего не понимаю! — сказал Манташев, сбрасывая ногу на ковер.— Господа, я давно это говорю: я напишу королю...

— Детердинг смотрит на дело так же, как и вы, господа... Гражданская война в России кончается. Европа успокаивается. Помощи белым ждать неоткуда. Не пройдет и года, большевики ворвутся в Баку и Грозный... («Да уж будьте уверены»,— трезвым голосом неожиданно сказал Налымов.) Исходя из этого, Детердинг желает сосредоточить в одних руках,— иными словами — в своих руках все права на русские нефтяные земли, чтобы более решительно воздействовать на русскую политику Англии. Вот что я имею вам сообщить, господа... Я ни на чем не настаиваю... Бескорыстность моих намерений может подтвердить Василий Алексеевич. Обдумайте. Дело серьезное, но предупреждаю: спешное... В Лондоне я видел Нобеля, он, кажется, уже договорился с Детердингом...

Это последнее — про Нобеля (крупнейшего шведско-русского нефтяника) — он ввернул ловко, без нажима. Впечатление было, как от выстрела над ухом. Манташев вскочил и, поддергивая клетчатые брюки, забегал по кабинету. Чермоев гнул и ломал кофейную ложечку.

В расчеты Леванта не входило выпускать из сферы влияния обоих нефтяников до их окончательного решения. Он предложил автомобильную прогулку за город. У ресторана уже стояла новенькая машина. Садясь на переднюю скамейку, Левант поморщился:

— Машинка — хлам... Хочу сделать глупость — разориться на рольс-ройс.

По пути заехали за шампанским. Когда Левант выскочил у магазина, Чермоев сказал Налымову:

— Тебе верю, как брату, но этот твой — жулик?

— А, черт, не с ним же будем иметь дело,— с досадой сказал Манташев,— пускай хлопочет... А вы как на него смотрите, Налымов?..

— Что ж... Конечно, жулик,— спокойно ответил Налымов.— С открытыми жуликами легче, помоему....

Манташев с воодушевлением стукнул тростью:

— Я всегда говорил... Разные там идеи, принципы — первейшее жульничество. Современный человек — открытый человек... Деньги на стол — и точка... А сглупил — твоя вина. Так же и с женщинами, господа, так же и с женщинами... Вообще все пора пересмотреть...

Левант, улыбающийся, с сигарой в зубах, снова повалился на переднее сиденье и — вполоборота к гостям:

— У меня маленькое предложение. Дела — делами, а мы все, как я вижу, не прочь пошалить. Шофер, в Севр...

22

По дороге Левант рассказывал о приключениях с девочками во всех европейских столицах. На круглом щербатом лице Чермоева была спокойная скука, Манташев позевывал, поднося к губам серебряный набалдашник трости.

Желтое солнце низко светило над лесом, когда подъехали к воротам дачи. Здесь стоял наемный автомобиль. Левант необычно оживился.

— Вот это кстати, это — радость... Господа, вы не пожалеете, что приехали...

Гости лениво вылезли из машины. Левант, распахнув калитку, кланялся, приглашал. Сад был прибран. Дам — не видно. По дорожке одиноко прохаживался плотный низенький человек в белой черкеске с серебряными галунами. Левант поспешил к нему. Оба протянули руки, обнялись. И Левант растроганно обратился к гостям:

— Позвольте познакомить — мой ближайший, чудный друг... Поэт, известный писатель, политический деятель, полковник французской службы, кажется

бывший турецкий паша, но с головы до пят — русский патриот. А по-нашему, восточному,— благороднейший и умнейший человек, душа общества, Хаджет Лаше...

— Ну, ты все же умерь пыл,— добродушно, с достоинством, с легким восточным произношением ответил Хаджет Лаше.— Ишь сколько надавал мне чинов.

Крепким рукопожатием он поздоровался с гостями.

Налымов поклонился ему издали.

— Ты откуда свалился, Хаджет?

— Прямо из Ревеля, на день задержался в Стокгольме. И завтра же — назад...

— Небось приехал пошептаться с Клемансо? Знаем мы вас, политиков... (Левант подмигнул, своротил нос.) Молчу, молчу, молчу... (Приложил палец к губам, даже пошел на цыпочках.) Простите, хочу узнать, как у нас с обедом...

Он убежал на кухню, крича: «Барбош, Барбош!» (Хаджет Лаше со снисходительной улыбкой вслед: «Весельчак, добрый парень».) Гости сели в парусиновые кресла. Нинет Барбош принесла поднос с горькими настойками, вермутом и портвейном. Налымов незаметно скрылся.

Как он и думал, Вера Юрьевна ждала его в маленьком салоне, где были закрыты жалюзи. Она изо всей силы схватила его за руки, почти прижалась лицом к лицу и — прерывающимся шепотом:

— Это — он, он... Боже мой, как это страшно!..

— Кто он, Вера? Что с вами?

— Хаджет Лаше... (Захрипела.) Это — он, он...

— Ну, хорошо, хорошо... Успокойтесь...

— Не могу... Принеси вина...

Он принес вина. У нее зубы застучали о стакан. Василий Алексеевич угрюмо заходил по маленькой комнате. Она со стоном выдохнула воздух:

— Ты его видел?

Он неопределенно пожал плечами. До чего же человек оберегал свое червячковое благополучие! Ему бы в ореховую скорлупу, в середину ореха забиться от всех кошмаров. Глаза Веры Юрьевны понемногу отошли, суженные ужасом зрачки расширились и даже с юмором следили за шагающим, опустив голову, Налымовым.

— Бабы — сволочи, правда? — сказала она.— То ли дело — без баб... Ты прав — все вздор... Переживем и этот случай...

— В чем дело, Вера? Что у тебя было с этим человеком?

— Не скажу.

— Как хочешь.

Тогда она обхватила колено и засмеялась тихо:

— Знаешь, Вася, в сутенеры ты совсем не годишься. Скажи, почему ты все-таки так цепляешься за жизнь?

— Не знаю, не думал.

— Врешь... Вот когда ты меня потеряешь,— а я долго такого не пролюблю,— тогда тебе будет плохо... Потому что я — последний человек на твоем пути... (Тихо, мечтательно.) И ты — умрешь...

Василий Алексеевич споткнулся, остановился:

— Чего ты добиваешься от меня, Вера? Чтобы я ожил, как весенняя муха между рамами? Но ведь оживать нужно для какого-то продолжения... А у меня его нет. Еще недавно я с величайшим облегчением думал о конце: разумеется, с минимумом болезненных ощущений — это самое желательное. Колесо автобуса или удар ножа в пьяной драке...

— Еще недавно? — тихо переспросила Вера Юрьевна.

— Подожди! У меня был круг каких-то моральных понятий и какие-то устремления... То есть человеческое лицо... Я принадлежал к обществу, которое называло себя высшим... Вместе с этим обществом меня вышвырнули из России... Но этого мало: моральные понятия и устремления и мои и всего этого общества оказались чистейшей условностью... вздором... грязным тряпьем... И целей — никаких. У других — кровожадные планы и надежды вернуть все обратно. Но я устал от крови и ненависти и, главное, ни в какие возвраты не верю... Ты понимаешь меня? Неожиданно появляешься ты... Я сопротивляюсь этому... Я сопротивляюсь больше, чем собственному уничтожению...

Прижав подбородок к поднятому колену, Вера Юрьевна прошептала:

— Люблю, люблю...

— Вот это и ужасно.— Он закашлялся и рассмеялся дребезжащим смешком.— Значит, предстоит еще коротенькая дорожка. Весьма извилистая и темная... Ну что ж, любовь моя,— станем жуликами, бандитами или еще похуже.

Вера Юрьевна вскочила, обхватила его голову холодными пальцами.

— Ты — мой, мой, мой...— повторяла, прижимая его лицо к груди.— Кот мой, гаденький мой, страшненький мой... Все теперь вместе, все — вместе... (Она неловко царапала его кожу длинными ногтями, целовала в волосы, в висок.) Устрой, устрой только одно.... Хаджет Лаше везет нас в Стокгольм... Устрой так, чтобы быть нам вместе.

Василий Алексеевич освободился от ее рук, медленно пригладил волосы.

— Для чего — в Стокгольм?

Вера Юрьевна не ответила. Он взглянул на нее и сейчас же отвел глаза. Послышалось хлопанье в ладоши и голос Леванта, зовущего гостей ужинать...

23

— ...Столько привелось видеть... Жалко, не обладаю талантом Льва Толстого... Бодливой корове бог рог не дает... Да теперь и времени не хватает — заниматься литературой... Все душевные силы уходят в борьбу...

Жирноватое лицо Хаджет Лаше с твердой нижней челюстью, с мясистым носом, ноздреватой, трудно пробриваемой кожей было чрезмерно красное. Короткие жесткие волосы — с бобровой сединой. Прямой рот — без улыбки, с жесткими морщинками. Глаза он добродушно жмурил. Лицо незаметное, но приглядеться — чем-то притягивало. К тому же он оказался занимательным собеседником и компанейским парнем.

Он сидел под темной листвой липы, расстегнув шелковую сорочку на волосатой груди. Свечи, обсыпанные мошкарой, догорали. Край неба зеленел на востоке. По всему саду валялись бутылки, ковры, подушечки, опрокинутые стулья — следы развлечений. Дамы были пьяны. Вера и Мари ушли в дом. Лили

спала на траве, прикрытая скатертью. Левант (плясавший с кухонным ножом лезгинку) дремал в парусиновом кресле, как режиссер, окончивший спектакль. Необходимое согласие вести переговоры с Лондоном было дано Манташевым и Чермоевым.

Они сидели под липами и слушали Хаджет Лаше. Приятно тянуло предутренней прохладой. Он рассказывал:

— Я русский патриот, господа, и мне тяжело видеть, как святое белое дело тормозится безумной политикой англичан... Они до какой-то черты поддерживают нас, даже толкают на борьбу... Чего дальше, полковник Бермонт-Авалов формирует в Германии эшелоны из русских добровольцев, и английская миссия устраивает на берлинском вокзале торжественные проводы — раздают продовольственные посылки, деньги, погоны. Оркестр играет «Боже, царя храни»... Но как только мы начинаем одерживать решительные успехи, англичане начинают тормозить, устраивают иной раз прямое предательство... Создается ужасное впечатление, как будто им нужен только самый факт гражданской войны, и чем она будет дольше и разрушительнее, тем лучше для англичан. Возьмите наш участок, Северо-Западный фронт... Поначалу все шло гладко: немцы взялись формировать армию: генерал фон-дер-Гольц сколотил серьезный кулак в сорок тысяч штыков, Бермонт-Авалов — корпус в Митаве, Булак-Балахович — псковскую группу. Ригу, всю Латвию очищаем от большевиков. Эстония выметена, как метлой. Жалованье войскам с немецкой аккуратностью выплачивается из Берлина: Шейдеман и Носке всей душой за белый поход на Петроград... Ждем только весеннего пути.. Так — нет!.. Вмешиваются англичане: им нужно Балтийское море, им нужны острова Эзель и Даго, этого они не хотят отдавать. Английская эскадра адмирала Коуэна начинает усиленно крейсировать в районе Биорке, и — бац! — ультиматум: расформировать армию фон-дер-Гольца, лишить Бермонта материальной поддержки... В Ревеле высаживаются английские генералы Гоф и Марш, заявляют, что берут в свои руки очищение Севера и Петрограда от красных... Пожалуйста, сделайте милость... Даже есть некоторый плюс: умерить эстонские аппетиты,— чу-

хонцы в Ревеле спят и видят захватить Балтийский флот в Кронштадте. Словом — перспективы веселенькие. Хорошо. С чего же начинают англичане? Предлагают на пост главнокомандующего северо-западной армией генерала Юденича... Да, господа, генерала Юденича!.. Вам, Леон, это имя особенно должно говорить... Юденича, известного резней аджарцев под Батумом в шестнадцатом году, когда в несколько дней были вырезаны сотни аулов... Земли под Батумом и на Чорохе он распродал под дачные места. Известного резней армян... Расстрелом трехсот семидесяти офицеров и солдат Эриванского полка. Тупой, упрямый, свирепый человек и кабинетный генерал... Англичане выбирают именно его. Почему? Да потому — если он и возьмет Петроград, то зальет его кровью, и неминуемо вспыхнет новая революция, и — опять начинай сначала,— что и требовалось доказать... Ллойд-Джордж послал Колчаку предложение утвердить Юденича, и Колчак утвердил и авансировал из золотого запаса... А как они снабжают армию? В Ревель прибыло два парохода — табак, бритвенные приборы, варенье, футбольные мячи, пипифакс, ну, там, френчик, башмаки... А у пулеметов нет запасных частей, у пушек нет замков... Оказывается, пароходы направлялись в Архангельск для английского десанта, но Ллойд-Джордж побожился в палате, что интервенции нет и не будет, и пароходы направил в Ревель, где они сейчас грузятся льном из Пскова и Гдова... Эстонцы всю зиму скупали лен у русских мужиков... А замки от орудий и запасные части сняты, чтобы хорошее оружие нам не попало... Прислали десять тысяч винтовок времен франко-прусской войны, ни один патрон не подходит... На прошлой неделе я говорил с Лианозовым... Тот самый нефтяной магнат, да, да... Он — министр финансов в правительстве Юденича, в так называемом «Политическом совещании».

Хаджет Лаше, смеясь одними глазами,— рот оставался жестким, жестоким,— потащил из заднего кармана штанов бумажник, отыскал газетную вырезку.

— Показал мне вот этот образец... (Качая головой, пододвинул подсвечник, надел роговое пенсне.) Образец — как мы боремся с большевистской пропагандой... Воззвание.

«Ленины, Апфельбаумы и прочие ненадолго сумели заглушить голос совести и разума русского народа.

Легендарный Народный Витязь, освободитель Северо-Западной России, генерал Юденич поднял и лично ведет рати народные на освобождение Белокаменной.

Уже раскрывается чуткая душа народа навстречу близкой великой радости.

Солнце свободы и обновления всходит над многострадальной Землею Русской.

Так хочет бог.

Так повелевает народ.

Так приказывает излюбленный Вождь Народный.

Пойдем за ним!..»

— Недурно? (Смеясь, снял пенсне, спрятал вырезку.) Лианозов сказал мне буквально (мы с ним друзья еще со школьной скамьи): «Не верю в наши силы, не верю людям, начинаю не верить самому себе... И больше всего не верю англичанам... Генерал Марш в восторге от этого воззвания, он в восторге от Юденича... Мы погибли, если англичане будут продолжать вести двойную игру. Пусть Россия — колония. Пусть — вторая Индия. Имей мужество открыто заявить об этом. Но не разорение...» Вот что мне сказал Лианозов, а он не глупый человек... Особенно тогда меня поразило, даже испугало: он, всегда такой выдержанный, с чрезвычайной нервностью ведет сейчас переговоры,— уж не знаю с кем в Лондоне,— о продаже всех нефтяных земель в Баку. Очень характерно, очень характерно...

Манташев взглянул на Чермоева, у того открылся изъян между передними зубами. Помолчали. Огонек свечи, лизнув розетку, затрещал, погас. И тогда стало заметно, что уже светает. Гости поднялись, потягиваясь.

24

Нинет Барбош принесла крепкого кофе в неубранную столовую со следами ночного безобразия, открыла жалюзи. Утро было сырое. Под горой, за деревь-

ями, поднимались ленивые дымки Севра. Неохотно чирикали воробьи. Густая роса лежала на измятой траве, с липовых листьев падали тяжелые капли...

Хаджет Лаше, в кавалерийских штанах и в туфлях, стоял у окна. За ночь у него отросла сизая щетина, лицо было помято, но усталости он, казалось, не чувствовал,— раздутые ноздри его с наслаждением втягивали запахи серенького утра, глаза блестели настороженно.

Когда Александр Левант, в пижаме и в туфлях, принес сверху портфель и присел у стола, сжав виски («Фу, черт, как трещит голова!»), Хаджет Лаше сказал с оттенком изысканной меланхолии:

— Только во Франции может так восхитительно пахнуть утро. Всюду человек приносит вместе с собой отвратительные запахи, но здесь даже дым из каминов пахнет восхитительно...

— Зависит от пищи, ничего особенного,— с неохотой ответил Левант.

— Мне сорок семь лет, как жалко, как жалко...— Хаджет задвигал бровями, сморщил лоб, и казалось, его лицо с мясистым носом и жирными скулами — маска, и вот-вот он сдерет ее.— Все чаще думаю — а не надо ли было всем пренебречь, все страсти принести на алтарь... Ах! Как ничтожны, мелки, банальны все эти писателишки с мировыми именами... Хотя бы один из них дал мне ощущение вот такого утра... Женщины открывают ставни, метут пороги жилищ... Какой древний запах очага! А чириканье нахохлившихся пичужек?.. А шорох капель?.. Ведь это божественный оркестр!..

Левант взглянул на его несоразмерно плотный широкий загривок, хотел было сказать, что «будет уж ломаться, не перед кем», но промолчал.

— Бывают минуты, Александр, когда я чувствую, что мог бы... мог бы... Жаль и больно такой аппарат (коснулся лба) отдавать грязной работе... (Левант опять изумленно взглянул на его двигающуюся маску.) Искусство! Обдуманная и осторожная игра на тончайших воспоминаниях. Ты меня понял? Есть воспоминания, ставшие физическими точками в мозгу... Может быть, я их получил от матери, от прадеда, от предков... Когда ты их затронешь, сыграешь симфонию на этих таинственных точках,— рождается

чудо искусства... Я ношу в себе силы для такого искусства, Александр... Сорок семь лет! Право, брошу-ка все наши авантюры, поселюсь в Париже, в уединении, в мансарде, под небом, возьмусь за перо.

— Ты что это, серьезно?— с тревогой спросил Левант.

— А хотя бы и серьезно.

— То-то, а то я уж...

Левант, усмехнувшись, налил себе коньяку. Каждый раз этот человек-дьявол дурачил его, как маленького... Интересно, какой ход он делает сейчас этим разговором. Левант не верил, разумеется, ни одному его слову, но замыслов его до конца понять никогда не мог. Одно можно было предположить, что он боится, как бы Левант не почувствовал в чем-то над ним превосходство. «Эге,— подумал Левант,— да не плохи ли его дела в Стокгольме? То-то он так быстро прикатил по телеграфному вызову».

— Ну что ж,— сказал Левант,— сорвем куртаж с Манташева и Чермоева, две-три сотняшки тысяч нам перепадет, марай себе на здоровье бумагу, мансарду тебе подыщу. Мне тоже надоели наши авантюры,— тревог много, ночи не спишь, а где они, эти миллионы? Я тоже, пожалуй, от дел отойду, право, ей-богу, отойду.

Хаджет Лаше рассмеялся, подошел к столу и похлопал Леванта ладонью по шее так, что у того отдалось в ушах.

— Не старайся, Александр, меня не перехитришь. Мои дела далеко не плохи, далеко не так плохи. Видишь ли, в жизни нужно делать время от времени крутые повороты,— руль направо, руль налево, но всегда вперед... А кроме того, только то делать, к чему влечет страсть...

Он отомкнул ключиком замок портфеля и осторожно вынул пачку писем и фотографии. Освободил от грязной посуды место на столе.

— Теперь слушай внимательно... Завтра ты выедешь в Лондон с Налымовым. Я с вами не поеду,— на это есть причины. Я навел о нем справки в военном министерстве и в Интеллидженс Сервис, сведения благоприятны. Сегодня же закажешь ему приличные визитные карточки. Он одет? Нужны визитки и фрак.

— Достанем...

— Будет лучше, если вы встретитесь с самим Детердингом, но можно взять в оборот и секретаря. Разговаривать, конечно, должен Налымов. Пусть начнет с борьбы за Петроград,— это ключ ко всей России. Колчак и Деникин отрезывают большевиков от угля, хлеба, нефти, моря и так далее, но смертельный удар им наносит генерал Юденич. Понятно? Затем вы начнете козырять мной... Я ближайший друг, советник и помощник генерала Юденича. А Юденич — это герой и военный гений... (Левант изумленно заморгал.) Я организовал в Стокгольме политический центр из европейских дипломатов и журналистов для моральной поддержки северо-западной армии. Наш центр связан с Парижем... Налымов может показать невзначай вот эти фотографии.

Надев роговое пенсне, Хаджет Лаше отобрал из пачки два снимка. На одном были сняты — спускающиеся с какой-то лестницы Хаджет Лаше, в черкеске, при кинжале, и на шаг позади низенький, плотный, с висячими усами, хмуро скосившийся из-под огромного козырька фуражки генерал Юденич. На другой фотографии — Хаджет Лаше (широко улыбающийся) у подъезда гостиницы среди каких-то разноплеменных молодых людей в мягких шляпах и дорогих пальто, все они также смеялись чему-то перед объективом.

— Достоверные фотографии? — спросил Левант.

— Идиот, они же были напечатаны в журнале. Затем — четыре письма генерала Юденича ко мне. Это, как ты и сам понимаешь, липа, но первоклассная, работа моего нового помощника, Эттингера — концертмейстера Мариинского театра. Я подобрал его в Гельсингфорсе,— он ходил по кафе и показывал фокусы: разувался, ногой брал карандаш и писал справа налево любой автограф. Клад, а не человек.

— У тебя широкие планы?

— Как всегда... Если бы мне на этот раз по-настоящему повезло... Ого! с моими планами... Я пасынок счастья, Александр. Какому-нибудь ишаку Манташеву везет,— принц... Мы же вот ломаем голову, как его обогатить. Да, друг мой, от рождения нужно быть вымазанным медом, чтобы к тебе липли деньги... А впрочем, я слишком артист, меня больше увлекает сама игра, чем деньги... С Манташевым я бы не поменялся.

— Ну, заливай кому-нибудь другому.

— Друг мой,— со спокойной ясностью сказал Хаджет Лаше,— ты настолько сложившийся тип бандита, притом мелкого и унылого, что тебе непонятны взрывы фантазии. Ладно, теперь вот еще что: Детердинг после ваших объяснений несомненно примет вас за дешевых авантюристов. Налымов должен блестяще опровергнуть такое подозрение. (Он вынул из портфеля еще два письма и пачку газет — стокгольмское «Эхо России»). Вот письмо в редакцию,— полномочия для сбора денег на издание антибольшевистского «Эха России», здесь подписи двух великих князей, кроме того — сенаторов, графов, баронов, фрейлин и прочие. Тоже работа Эттингера. Убедительно, как выстрел в лоб, и безопасно: здесь одни покойники... Детердинг должен понять, почему вы, не имея никакого касательства к нефти, хлопочете о продаже нефтяных земель: вы договорились с Манташевым и Чермоевым о крупном взносе в пользу «Эха России».

Левант внимательно прочел письма, сделал пометки в записной книжке.

— Теперь — какие твои распоряжения насчет дачи?

— Ликвидировать. Через неделю девки должны выехать в Стокгольм.

— Хотя бы приблизительно можешь ты посвятить меня в стокгольмские планы, Хаджет?

— Видишь ли, мой друг, это уже высокая политика, тут начинаются вещи особо секретные.

— Ах, вот как... Значит, я остаюсь в Париже?

— В Стокгольме мне нужны люди только со звонкими фамилиями. Жулья и бандитов и там достаточно.

— Ну, ладно... Я когда-нибудь все-таки обижусь, Хаджет... Теперь объясни — почему ты так мало придаешь значения нефтяным делам?

— Двух таких дураков, как Чермоев и Манташев, тебе вряд ли еще придется подколоть. Афера случайная. Нефтяники сами скоро узнают дорогу к Детердингу.

— Да, ты прав, конечно... Что ж... идем, заснем на часок.

Наверху, у запертой двери в комнату Веры Юрьевны, Хаджет остановился, подманил пальцем Леванта, и вся ухмыляющаяся, зубастая маска его заходила ходуном.

— Эта длинная красивая женщина, как ее .. Вера...

— Ну да, Хаджет, эта та самая, константинопольская.

— Вот память, подумай. Ну, конечно. Очень хорошо, очень кстати.

25

Однопалубный широкий пароход покачивало подводной зыбью. Утонули зеленые французские берега, и в беловатом полутумане-полумгле висело большое солнце над Ламаншем.

Левант и Налымов, разговаривая вполголоса, лежали в парусиновых креслах на палубе Василий Алексеевич был трезв, в петлице серого костюма краснела розетка Легиона. Левант чрезвычайно удивился, узнав, что орден у Налымова не липовый (пожалован в 1916 году после кровопролитного наступления русского экспедиционного корпуса). От приятной погоды и хорошего завтрака Левант впал в благодушие,— положил руку на колено Василия Алексеевича.

— Вот что значит — аристократ, вас и не узнать, голубчик. А помните, каким явились к Фукьецу,— прямо собиратель окурков. Знаете, жалко, что мы с вами раньше не встречались.

— Если бы мы встретились в Петрограде, я приказал бы лакею вывести вас вон,— ответил Налымов, щурясь на солнце,— а встретились бы на фронте приказал бы вас повесить, тоже наверно.

Левант громко, искренне рассмеялся. Закурили сигары. Мимо кресел прошли румяный старик с прямыми пушистыми усами, в шотландском пледе на плечах, и длинный англичанин, державший за шнурок слишком маленькую по голове шляпу. Остановились у борта. С приятным смешком старик говорил (по-английски):

— Современники, стоящие слишком близко к событиям, никогда не видят их истинных масштабов. Только историческая наука вносит поправку в оценку современников...

— Так, так,— кивая шляпой, подтверждал англичанин и глядел на проступающий сквозь солнечную мглу меловой берег Англии.

— Революция — взрыв недовольства народных масс, доведенных до известного предела лишений и страдания. Оставим на время моральную оценку. Революция опрокидывает причины, порождающие недовольство. Опрокидывает, но никогда сама как таковая не становится творящей силой... Мирабо, Дантон, Робеспьер были только разрушителями.

— Так, так,— кивала шляпа.

— Революция порождает контрреволюцию,— обе силы вступают в борьбу. Оставим и тут моральную оценку... Если революция — биологический закон, неизбежно возникающий, когда старое общество уже не в силах прокормить, разместить, дать минимум счастья новому поколению, то контрреволюция — такой же биологический закон самосохранения старого общества... Таким образом, обе эти силы являются амплитудами одной и той же волны... Если революция — это хаос, анархия, разрушение, то контрреволюция — это бешенство сопротивления, жажда кары, наказания, тот же хаос... Как раз такую картину вы и наблюдали у Деникина...

— Так, так...

— Революция и контрреволюция качаются вверх и вниз, как отрезки одной и той же волны... Если посторонние силы не вмешаются в это качание и не остановят его, то оно окажется длительным и истощающим. .

В первый раз за время разговора у англичанина приоткрылись зубы, крепкие и желтоватые, и под тенью шляпы юмором блеснули глаза.

— Вы видели на юге России у белых ужас и грязь, погромы и бессовестную спекуляцию, пьяную злобу и растление нравов... Вы, любящий и хорошо знающий Россию, были потрясены недоумением: куда же девался русский гений, породивший Петра Великого, Пушкина Достоевского, Льва Толстого?.. Вы увидели одни разнузданные толпы гуннов...

— Гунны, гунны,— сквозь зубы подтвердил англичанин

— Мистер Вильямс, откуда нам взять эту умиротворяющую, эту организующую наш вечный хаос — высшую моральную силу? Наше спасение в тех варягах, как и встарь, как и всегда... Мы должны призвать новых варягов, чтобы вмешаться в нашу

драку белых и красных, разнять враждующие стороны и силой, если нужно, сурово обуздать дикого гуннского коня. Вот тогда снова у нас возьмут верх силы государственности... Снова духовное и интеллектуальное возьмет верх над биологией... Где же эти варяги?.. (С лукавой улыбкой он похлопал мистера Вильямса по плечу.) Англия, мой дорогой друг, Англия. Только Англия сейчас может взять на себя великую миссию умиротворения взбушевавшегося человеческого океана. И вы это должны сделать со всей решительностью, со всей хваткой бульдога... И вы это сделаете — хотя бы во имя самосохранения. Никогда, ни днем, ни ночью, не забывайте, что бешеные волны революции уже захлестывают Германию и даже Францию, уже подкатываются к этим берегам...

Говоря это, человек со взъерошенными от ветра седыми усами протянул руку к меловым обрывам Англии.

Мистер Вильямс покачал шляпой.

— О нет, это прочно...

Когда старик и англичанин двинулись дальше вдоль борта, Левант спросил Налымова:

— Кто этот говорун с усами? Знакомое лицо...

— А черт его знает,— лениво ответил Налымов,— сволочь какая-то недостреленная.

— Слушайте, да это же профессор Милюков.

На пристани не оказалось ни носильщиков, ни такси. Это было по меньшей мере странно и необычно. Пассажиры заволновались, одни пошли объясняться, другие — пешком на вокзал. Леванту и Налымову пришлось тащить в руках увесистые, из свиной кожи, чемоданы (приобретенные для представительства).

На вокзале тоже не оказалось носильщиков. Бормоча левантинские проклятья, Левант ввалился, наконец, в купе.

— Видели что-нибудь подобное? Это — Англия! С ума они сошли!

Затем вагон начало толкать взад и вперед. По перрону взволнованно прошел начальник станции,— у него дрожали губы. Левант с бешенством высунулся в окошко:

— Слушайте, алло! Что случилось? Почему нас толкают? Я буду жаловаться, черт возьми! (Начальник что-то извинительно пробормотал.) Потрудитесь сделать, чтобы я сидел спокойно...

— Да сядьте вы, левантинец,— с досадой сказал Налымов.

Наконец тронулись. За вагонным окном понеслись ряды однообразных кирпичных домов, напоминающих гигантские, закопченные углем соты, огороженные зеленые поля, со столетними одинокими дубами, парки, островерхие кровли церквей, снова — огороженные поля, ручьи, ряды прокопченных рабочих домишек.

Левант с юмором стал поглядывать на хмурого, подтянутого Налымова.

— Знаете, я вас даже начинаю побаиваться. Вас бы посадить губернатором в военное время где-нибуль в Малой Азии, ой-ой, что бы вы натворили! Между нами: вешать вам приходилось? (У Налымова презрительно дрогнула верхняя губа.) Большой артист, честное слово. Я в вас не ошибся. Только послушайте, Налымов, ни капли спиртного, клянитесь мне.

Поезд, как в тоннель, ворвался в линии фонарей и освещенных окон; загрохотали виадуки, сверху, снизу пересекая путь, понеслись поезда, трамваи, и паровозный дым лизнул грязно-стеклянные своды вокзала — Лондон!

На перроне была явная тревога и недоумение,— ни одного носильщика. Несколько пассажиров растерянно стояли у багажного вагона, откуда два каких-то элегантных молодых человека вышвыривали без бережливости чемоданы. Красная от волнения дама, в сбитой набок шляпе и с дрожащей собачонкой на руках, пытаясь приостановить какую-то неловкость, торопливо шла позади безукоризненного джентльмена,—торжественно улыбаясь, он нес ее потрепанный чемодан.

— Прошу, джентльмены, ваш багаж.

Перед Левантом остановился, поправляя монокль, другой, не менее безукоризненный джентльмен. Он был в шелковом цилиндре, в свежих перчатках, воротник черного пальто поднят, прикрывая фрачный галстук, поверх пальто — зеленый фартук носильщика.

— Ваши чемоданы, джентльмены.— С британским упорством, выпятив атласно выбритый подбородок, он поднял багаж и зашагал (с британской решительностью) к выходу на площадь. Там, вынув изящный свисток, пронзительно свистнул. Мощно, бархатно подкатил длинный, из красного дерева, отделанный серебром рольс-ройс. За рулем сидел третий джентльмен, в пушистой кепке, в монокле,— поднятый воротник прикрывал фрачный галстук.

— Джентльмены, ваш адрес?

У Леванта вылезли глаза; при всей наглости он не мог ничего ответить. Джентльмен-носильщик сказал джентльмену-шоферу:

— Артур, джентльмены не понимают по-английски.

Левант прошептал:

— Господи помилуй, на руле никак — лорд, честное слово!.. Сэр,— с поклоном спросил он,— не можете ли вы объяснить, что все это значит?

— В Лондоне забастовка, сэр,— учтиво ответил джентльмен-носильщик,— забастовала часть транспорта: носильщики, шоферы и трамвайные служащие. Вы хорошо сделали, что приехали сегодня. По нашим сведениям завтра остановятся поезда. Мы штрейкбрехеры: нас вызвали на борьбу,— мы боремся. Я член «Жокей-клуба», весь «Жокей-клуб» работает носильщиками. Лорд Стенли (кивнул подбородком на шофера) — член клуба «Пасифик». Весь «Пасифик» обслуживает автотранспорт. Кондукторами и вагоновожатыми — члены королевского клуба «Британия». Все ясно, сэр. За перенос багажа один шиллинг и шесть пенсов, сэр.

— Ах, вот как,— сказал Левант и полез в шикарную машину.

— Алло, шофер, в Савой-отель...

Заняли в бельэтаже два соединенных салоном номера с зеркальными стенами. Побрились, переоделись во фраки. Ужинали в огромном, как площадь, колонном зале, торжественно, молча и невкусно. Вернулись к себе в салон, покурили, помолчали, разделись, легли спать.

В восемь утра Левант уже висел на телефоне. В половине девятого в кровать подавался первый завтрак, но вместо этого осторожно постучался управляющий гостиницей и, сохраняя спокойствие, сообщил, что прислуга забастовала,— джентльменам придется спуститься в ресторан и удовольствоваться холодной говядиной и кофе; есть вероятие, что на сегодняшний вечер Лондон очутится в темноте, но вряд ли до этого дойдет,— городские электростанции заняты спортивным клубом «Мяч и парус» и отрядами полиции. Хуже с подвозом съестного, никаких запасов не хватает на семь миллионов ртов... «Да, джентльмены, тяжело сознавать: наш рабочий, чистокровный англичанин,— пусть из низов общества, но англичанин же, бог мой,— на поводу у шайки московских разбойников». Директор посоветовал передвигаться по городу пешком: трамваи, обслуживаемые клубом «Британия», часто направляются не по тем стрелкам, и были случаи нападения бездельников на вагоновожатых,— приходилось отстреливаться, страдали вагонные стекла и пассажиры. Передвижение на автомобилях также сопряжено с риском получить камень в голову... «А в общем, джентльмены поступят так, как им заблагорассудится, и простят мое вторжение в их частную жизнь».

После завтрака пошли пешком. Валили потоки пешеходов. Полицейские, в синих суконных шлемах, как идеи высшей закономерности, с отеческой строгостью возвышались на перекрестках.

В управлении «Ройяль Дэтч Шелл» сообщили: Детердинг никогда здесь не бывает, и если джентльменам нужно видеть первого секретаря мистера Детердинга, то мистер Ховард может принять их у себя дома. Левант сделался меньше ростом, когда на полшага позади Налымова отпечатывал третью милю по указанному адресу. Дом мистера Ховарда (узкий, в три этажа, кирпичный, в стиле императрицы Виктории) был, по-видимому, более важным местом, чем управление,— на потемневшей дубовой двери, под старинным молотком — серебряная дощечка: «Ройяль Дэтч Шелл». Левант по-собачьи взглянул на Василия Алексеевича, надул щеки, выпустил воздух, стукнул молотком, и дверь тотчас открылась, будто за ней все время дожидался седоватый человек в ливрее. Левант

совсем оробел. В вестибюле — драгоценные ковры, коллекция индусских богов, раскрашенные идолы с Соломоновых островов, изъеденная червями итальянская резная мебель. Когда лакей ушел с визитной карточкой, Налымов проговорил сквозь зубы:

— Здесь нужно вам заткнуть рот прочно. Как я и угадал, вы и близко не бывали около Детердинга. Предлагаю вам молчать, глазами не шарить, лучше всего глядите на свои ботинки, не курите без приглашения и обращайтесь ко мне: «Господин полковник».

— Так, так, так, будьте покойны,— прошептал Левант.

Неслышно вернулся лакей: «Мистер Ховард просит». Вошли в полутемный кабинет, где горел камин. Мистер Ховард, небольшого роста, очень худой, с седыми висками, предложил кресло у огня. Визитная карточка Налымова лежала на сигарном столике.

— Если не ошибаюсь, я имел удовольствие видеть вас в ставке главнокомандующего под Ипром,— сказал Налымов.— Это было в сочельник, за ужином...

— Как же, как же,— с улыбкой ответил мистер Ховард. Но так как перед ним сидел русский (то есть человек, у которого в доме тяжелое горе), дружескую улыбку он сменил на печальную и даже сопроводил ее легким вздохом.

Василий Алексеевич сухо, по-военному, начал излагать положение дел под Петроградом: наступление северной армии отложено до сентября из-за недостатка продовольствия и вооружения,— но, что еще важнее,— из-за отсутствия высокой моральной атмосферы. Нужно широко развить белую идею. Леванта он представил как одного из редакторов «Эха России». Он говорил точно по плану Хаджет Лаше. Мистер Ховард слушал с удовлетворением. Серьезно поглядев на свои ногти, сказал:

— Мне кажется, мистер Детердинг должен заинтересоваться вашей беседой. К сожалению, нелепые события этих дней нарушили его душевное равновесие, и я, право, не знаю... В Англию мы запрещаем ввозить собак, дабы не портить породы, тем более досадно, что правительство слишком добросердечно смотрит на ввоз московских идей, и не поручусь, что не только идей, но и их живых носителей.

Он обернулся, приподнял брови, прислушался к шагам.

Толкнув дверь, вошел коренастый человек в просторном серебристом автомобильном пальто, порванном и запачканном. Казалось, что он только что кого-то держал за глотку бульдожьими скулами, бритый жирный низ лица его, с прямым ртом, выпятился, когда, сдергивая перчатку, он вопросительно и свирепо взглянул на посторонних. Снизу вверх дернул, вместо поклона, плотно посаженной головой.

Секретарь, мягко поднявшись, сказал ему:

— Мы только что беседовали по вопросу, близкому стокгольмскому предложению.

Медленно сняв перчатки, вошедший человек вдруг уставился на грязное пальто, расстегнул его и швырнул мимо кресла на пол. Стал у камина,— коротконогий, с маленькими ступнями и добродушным животом, никак не связанным с верхней частью тела, будто голова со слежавшимися от пота стальными волосами была приставлена от другого человека.

Секретарь представил:

— Полковник Наулэмов и мистер Лайвэнт.

В ответ человек у камина показал белые мелкие зубы, как улыбающаяся лиса,— но на очень короткое время. Затем сказал, словно откусывая у слов хвосты:

— Они подожгли мой автомобиль. От Трафальгарсквера я шел пешком. Я бы очень хотел видеть в таком же положении мистера Ллойд-Джорджа.

Затем, утопив затылок в прямых плечах, он коротконого пошел к двери. Обернулся и — Налымову:

— Хорошо. Завтра я вас жду в десять утра.

— Мистер Детердинг ждет вас точно в десять утра,— повторил секретарь Налымову и Леванту.

26

— Я не прошу у вас денег, дорогой полковник, и не посылаю счетов, я работаю ради идеи...

— С удовольствием хочу подтвердить вам, дорогой Хаджет Лаше, что в нас это вызывает чувство глубочайшего удовлетворения.

— Прекрасно... Но вы представляете, сколько стоит организация дела?

— О, разумеется.

— Небольшая сумма переданная мне генералом Жаненом перед его отъездом в Сибирь, полностью ушла по назначению. Люди, идущие рисковать жизнью, часто весьма требовательны,— посылая агента в Москву, я не торгуюсь.

— Ну, о чем же может быть речь...

— Отвлекаясь от чисто идейной работы, я принужден пополнять мою кассу... Так, сегодня два моих агента выехали в Лондон, чтобы предложить Детердингу вполне порядочную комбинацию.

— Я не сомневаюсь...

— Не в том дело... Детердинг — осторожен,— прежде чем решить, он наведет справки в известном вам учреждении, оно запросит вас... Так вот, я бы хотел рассчитывать на положительный отзыв...

— Я полагаю, что вы можете рассчитывать на меня... Какова сумма куртажа?

— Тысяч сто каких-нибудь...

— О, пустяки...

— Мерси .. Дорогой полковник, это не все. .

— Пожалуйста...

— За сведения, доставленные мной, я бы хотел одного: чувствовать себя совершенно свободным в своих поступках...

— Я вас понимаю, дорогой друг, но бывают поступки...

— О!.. Господин полковник! Мое прошлое! Мои заслуги!

Хаджет Лаше, потрясенный недоверием, слегка отодвинулся от полковника Пети и глядел на хорошенькую девочку с тоненькими, как у новорожденного жеребенка, голыми ножками,— она бежала за обручем по песчаной дорожке. Хаджет Лаше и полковник Пети сидели на скамейке в Люксембургском саду Мирно падал лист за листом с желтеющих каштанов Со сдержанной горечью Хаджет Лаше сказал:

— Сотрудничество возможно только при обоюдном доверии. Взгляды стокгольмской полиции могут не сходиться с моими взглядами, но с Парижем у меня не должно быть недоразумений. У нас общая цель,— зачем же привязывать мне моральный жернов на шею? Или вы мне не доверяете? Тогда — разойдемся.

— Дорогой друг, вы приводите меня в отчаяние..

— Нет, дорогой полковник. Я только хочу сказать: борьба есть борьба. В Париже достаточно злой шутки, чтобы убить человека, в джунглях нужна разрывная пуля. Не забывайте, мы имеем дело с большевиками. Это — люди по ту сторону добра, поджигатели цивилизации. Одни законы для цивилизованных, другие для каннибалов.

— Вы тысячу раз правы,— сказал полковник Пети, осторожно касаясь серповидных усов, тронутых сединой.— Но общественное мнение! Оно капризно, как любовница... Из пустяков оно создает сенсацию... Мы не можем с ним не считаться.

— Общественное мнение! Скажите еще: парламентаризм!.. (Хаджет Лаше стукнул себя кулаком по коленке.) Непонятно, как этот пережиток все же переполз через поля войны!.. И вот вам: большевизм уже на тротуарах Парижа... А здесь все еще болтают о терпимости и почтительно снимают шляпу перед общественным мнением... Я бью тревогу, дорогой полковник! Я утверждаю: спасение Франции, спасение Европы в суровой диктатуре, в терроре... Парламентаризм,— простите за парадокс,— парламентаризм преступен, как секта самоубийц...

Полковник Пети рассмеялся, похлопывая стеком по коричневой кожаной гетре. Хаджет Лаше положил короткую ладонь на лоб, будто охлаждая его пылание. Хаджет Лаше был мыслителем и не скрывал этого. Он еще долго развивал тему о здоровом перерождении европейского культурного общества: диктатуру верхушки буржуазного общества в конце концов примут как историческую неизбежность, как спасение от мирового большевизма. Если диктатура будет связана с промышленным подъемом, то и пролетариат, во всяком случае наиболее рассудительная часть его, примирится с господствующими идеями. Остальных заставят примириться.

Пети наслаждался беседой:

— Мой дорогой Хаджет Лаше, я уверен — у нас с вами не возникнет принципиальных разногласий. Вы всегда можете чувствовать за спиной дружескую руку. Если только...

Хаджет Лаше пожал плечами и — сухо:

— Я всегда был осторожен.

Солнце изламывало жаркие лучи на радиаторах машин, на гигантских стеклах магазинов, ослепительно отражалось в ручьях вдоль асфальтовых тротуаров. Облетали каштаны. По теневой стороне двигался человеческий муравейник — светлые платья, светлые шляпы, голые руки, персиковые щеки, влажные глаза, веселый говор, встречи, деловая суета и созерцательное безделье...

С утра в город с окраин спускались рабочие,— на знаменах и кумачовых полосах они написали: «Мы поддерживаем английских товарищей». Это было лаконично и неожиданно. Телефонограммы (в префектуры полиции) с забастовавших фабрик и заводов сообщили, что рабочие не выставили никаких экономических требований. Это было уже тревожно. И хотя рабочие шли мирными колоннами, против них послали драгун. Произошли короткие схватки холодным оружием и камнями. Колонны были рассеяны, но в середине дня появились новые.

Около трех часов Володя Лисовский отпустил такси и пошел пешком по направлению бульвара Брюн, тянущегося вдоль старинных укреплений. Около заставы Мон-Руж он увидел первых драгун: в синих плащах, в медных сверкающих касках с красными конскими хвостами, драгуны ехали шагом, попарно на рослых караковых лошадях. «Не повернуть ли?» — подумалось. Для лояльности беспечно помахивая тросточкой, Лисовский вышел на бульвар,— кирпичные грязные дома, пыльная мостовая, чахлые деревья, вытоптанная трава на лысых пригорках. Горячий ветер подхватил пыль и понес вместе с бумажками. Впечатление не богатое. Лисовский медленно повернул налево к парку Мон-Сури и сразу же увидел: посреди улицы валялась пушистая новая кепка, шагах в десяти — окровавленный платок, подальше — большая лужа крови. Лисовский ногтями стал драть подбородок. В Ростове где-нибудь — эка штука лужа крови, но здесь — ого!

Он дошел до парка Мон-Сури. На истоптанных лужайках, на дорожках, пересеченных корнями, на искусственных холмиках со скамьями вокруг высоких фонарных столбов, на озере — ни души. Побродив,

направился к выходу на авеню Мон-Сури и здесь, под платаном, на скамейке увидел двух пролетариев. Один — красивый парень, с сильной шеей, в разорванной до пупа рубашке и с кровавой царапиной на груди. Другой — бородатый, чахоточный, в пенсне, в пыльной черной шляпе. Оба курили, при виде Лисовского замолчали. Он сел рядом.

— Что здесь произошло, черт возьми? — сказал он нарочно грубовато.— Брожу целый час... куда делось население? На бульваре — лужи крови. А в пять часов мне сдавать хронику. О-ла-ла!..

— Двое убитых, тридцать ранено, можете это сообщить в вашей почтенной газете,— неохотно ответил красивый парень.

— Подробности, подробности, старина! — Лисовский с нарочной торопливостью схватился за записную книжку.

Парень пожал плечом. Человек со спутанной черной бородой сказал, поправляя на извилистом носу пенсне:

— Вполне законное любопытство узнать — из-за чего убивают граждан на парижской мостовой. Молодой человек, они убиты драгунами.

— Во время демонстрации?

— Вы угадали,— в то время, когда французы вышли на улицы заявить некоторой части населения по ту сторону Ламанша о братских чувствах... Когда у французов появляется некоторый запас идей, они всегда выходят на улицу, чтобы швырнуть в воздух свои идеи подобно почтовым голубям... Так вот, Жюль... (Человек в пенсне повернулся к своему собеседнику.) Все движется, все меняется, даже такие понятия, как Франция и французы... Было принято определять расовые качества по языку, цвету кожи и строению черепа... Жюль, это невероятный вздор. Когда тебя колотят резиновой дубинкой по черепу, Жюль, тебе, должно быть, безразлично — длинный у тебя череп или круглый, француз ты или бош... Цвет твоих волос не отражается на качестве расплавленной бронзы, выливаемой тобой в формы для автомобильных моторов... Почему ты должен считать себя французом, если на земле, не принадлежащей тебе, на предприятии, не принадлежащем тебе, ты создаешь напряжением ума и мускулов ценности, не принадле-

жащие тебе? Но тебе все-таки хочется быть французом, черт возьми! Здесь земля прекрасна, и прекрасно небо, и еще прекраснее женщины... Так завоюй свою Францию, Жюль... Три четверти человечества тебе помогут в этом, а в первую голову русские... (Человек в пенсне живо повернулся к Лисовскому.) Вот, молодой человек, некоторые своевременные мысли — бесплатно для вашей заметки...

Мрачный парень вдруг раскрыл рот и так захохотал, что затряслась скамейка... Володя Лисовский понял, наконец, что над ним издеваются. Встал, приподнял шляпу и пошел к выходу из парка. «Матерьял для Бурцева не годится,— размышлял он,— но для отдельной книги?» Он даже споткнулся,— так захватило воображение... Книгу назвать: «Заговор трех четвертей». Циничная, наглая, такая, будто автору известно в тысячу раз больше, чем сказано... С каждой страницы двигаются на читателя миллионы устрашающих теней... Или назвать: «Я даю цивилизации год жизни». Костры на площадях Парижа, сцены, от которых у буржуа волосы встают дыбом... И — сто тысяч долларов в кармане...

С невидящими глазами, шепча про себя и размахивая тростью, Лисовский шел по авеню Мон-Сури, будущая книга неслась перед ним, горячий ветер перелистывал ее невероятные страницы. Так он почти дошел до вокзала Со. Он не слышал, как его толкнули справа, слева. Сильным толчком с него сбили шляпу,— толпа демонстрантов стремительно бежала от площади Данфер Рошро. Врезаясь в толпу, позади скакали драгуны, нагибаясь с седел, наотмашь били прямыми блестящими палашами. Сверкали гривастые шлемы, конские вспененные морды задирались над головами. Все это мелькнуло отчетливо, как на матовом стекле фотоаппарата.

Лисовский побежал, прикрывая голову руками. Многие из толпы, заскочив на тротуар, хватали круглые чугунные решетки под чахлыми деревцами, разбивали о мостовую, швыряли осколками в скачущих драгун. (У одного слетела медная каска, закинулось лицо, залитое кровью.) Вдруг брызнула боль из глаз: как будто жерновом ударили по черепу, Лисовский тяжело упал грудью на камни и потерял сознание.

Его грубо подняли, поставили на ноги; моргая, увидел по бокам два усатых недружелюбных лица, синие кепи. «Влип,— полиция!» Попытался что-то объяснить, так толкнули в спину — мотнулась голова. Повели. Только теперь начал болеть мозг, жгло солнце, ломило глаза. Свернули за угол, где была префектура полиции. Обшарпанная дверь, полутемный коридор, ступеньки вниз. Чей-то сдавленный вопль. Голый каземат, четыре здоровых сержанта, оскалившись от бешенства, бьют башмаками корчащегося на каменном полу человека. Лисовского толкнули на койку. Он сейчас же лег ничком на масленистое, с круглыми дырочками железо. Полицейские ушли, дверь с грохотом захлопнулась, человек на полу торопливо стонал.

Мальчик лет пятнадцати поднял лохматую голову (рядом на койке) и — негромко Лисовскому:

— Тебя взяли на демонстрации?

— Да нет же. Я случайно...

— Э, старина, все равно за тебя не дам и двух су. Чего бы там ни врал, «грязные коровы пустят тебя в табак».

— Я не понимаю... Какие коровы?

Блестящими глазами мальчик указал на избитого человека: он со всхлипываниями втягивал воздух сквозь зубы... Подальше еще кто-то стонал. Мальчик с любопытством прислушался.

— У этого кофейник вдребезги,— проговорил он быстрым шепотом,— а ты, старина, не ломайся. Может быть, у тебя в эту минуту нет настроения иметь дело с копытами, я тебя понимаю, но не знать, как «пускают человека в табак»,— ври другому. (Расширив глаза.) Ты видел, у них на подошвах гвозди с гранеными шляпками? По правде тебе сказать, я бы с удовольствием удрал отсюда. Они «пускают в табак» уже пятого парня, покуда я здесь. Одного, понимаешь, приволокли да сбили с ног, чтобы топтать, а он как вскочит да сержанту в сопатку, да другому в сопатку... Я уже и глядеть не стал...

Мальчик бодрился и шутил, но худенькое лицо его мелко подергивалось. Лисовский опять лег ничком на койку. Загрохотала дверь, вошли двое мрачных в кепи с серебряными галунами.

— Ты, встань! — схватили за воротник. Лисовский торопливо сел.— Кто такой? Документы!

Один держал за воротник, другой обшаривал. От прохождения «через табак» Лисовского спасла корреспондентская карточка. Под вечер его выпустили, даже извинились и в отеческой форме предложили подальше держаться от рабочих окраин, вернули документы и записную книжку, но пачка долларов, перехваченная тоненькой резинкой, исчезла: повидимому (как заявили ему официально), похищена демонстрантами, когда он без чувств валялся на мостовой.

28

Налымов и Левант вернулись из Лондона. Переговоры с Детердингом прошли успешно. Левант поспешил обрадовать Чермоева и Манташева, и начались долгие бестолковые переговоры. Чермоев заломил дикую цену за нефтяные участки. Манташев, в мрачной неврастении, с утра решал продавать все, вечером кричал, что какой-то десяток миллионов франков его никак не устраивает — одна скаковая конюшня обойдется дороже.

Левант проявил величайшее знание человеческого сердца. Манташева он взял на испуг,— тайно собрал все его счета и через нотариуса предъявил к срочной уплате. Манташев потерял голову и пошел на все. С азиатом Чермоевым было несравненно тяжелее, но и его Левант взял в конце концов семейным измором: распалил сумасшедшее воображение у Анис-ханум и Тамары-ханум,— показал татаркам в Булонском лесу будущий особняк, возил на автомобильную выставку, на приемы к знаменитым портным, где проходили, как сновидения, длинные, потрясающей красоты женщины в невероятных платьях ценою в две, три, пять тысяч франков. Домашняя жизнь Чермоева стала невыносимой, он понял, что так хочет аллах, и пошел на условия Детердинга.

На даче в Севре ждали только телеграммы от Хаджет Лаше, чтобы выехать в Стокгольм. Дамам было выдано пять тысяч франков на тряпки. На дачу притаскивались вороха полосатых картонок. За ужином болтали о покупках, о модах, о ценах. Старались не думать, что в Стокгольм их везут не для невинных развлечений.

В одну из минут вечерней тишины, когда было слышно, как бабочки ударяются о стекло лампы, Лили вдруг заговорила о каком-то своем родственнике, белом офицере: постараться хорошенько, можно бы его разыскать... Он когда-то был влюблен в Лили, такой милый, чистый юноша. Конечно, прискачет в Париж, вырвет ее из этого ужаса... Она бы поехала с ним на гражданскую войну сестрой милосердия, потом бы купили домик на берегу моря в тихом Таганроге, жили бы грустно, невинно, завели бы козу, кур.

Вера Юрьевна сказала с отвращением:

— Мало того — дура, ты пошлячка, милая моя.

— Врешь, врешь, меня еще можно любить,— Лили начала отчаянно стучать кулачком по столу.— Не старая шкура, как некоторые...

— Это и есть, милая моя, пошлость: домик в Таганроге, любовь и коза. Кто тебя любить-то будет? Офицеришка, прожженный спиртом и сифилисом?.. Э, милая моя, рук-то от крови не отмоешь...

— Врешь, врешь, он студент, юрист... Такой милый, застенчивый...

— Вот именно, у тебя законченная психология проститутки, должна заметить с большим огорчением.

Мадам Мари сказала:

— Да, Лилька, надо тебе подтянуться... Любовь вычеркни из словаря... Я, девочки, страшно верю в Стокгольм. Во-первых, Хаджет Лаше обещал мне ангажемент в кафешантан... Ну уж тогда держись, девочки, мы поживем: на все пущусь, вплоть до кражи бумажников.

— Правильно,— твердо сказала Вера,— уважаю.

29

Дамы и Налымов приехали в Париж с девятичасовым поездом. На площади вокзала Сан-Лазар стояли трамваи, набитые народом. Машины медленно продвигались сквозь густые толпы пешеходов. В городе что-то случилось. Мальчики-газетчики с отчаянными криками на бегу размахивали экстренными выпусками. Оказалось (на даче в Севре совсем забыли об этом): сегодня в одиннадцать часов должна состояться близ Нью-Йорка в присутствии двенадцати тысяч

зрителей встреча двух мировых боксеров — Карпантье (Франция) и Демпси (Северная Америка). Пресса придавала этому матчу более чем спортивное значение. Французская нация дралась за мировое первенство. Перед своим отъездом Карпантье — красавец, чистокровный француз — был принят президентом республики. Пуанкаре будто бы сказал ему: «Итак, мужайтесь, мой друг. Удар, который вы нанесете вашему противнику, отзовется в сердце каждого француза. Нация вручает вам свою честь и свою славу».

Весь месяц газеты были заняты описаниями тренировки Карпантье перед встречей; каждая минута его жизни стала достоянием широких народных масс. Специально посланные в Нью-Йорк корреспонденты сообщали о мельчайших отклонениях его здоровья, о его ежедневном меню, утонченных вкусах, остроумии, оптимизме, веселости, о его галстуках, костюмах, шляпах и прочее. Корреспонденции не замалчивали силы и ловкости Демпси, что еще сильнее возбуждало ожидание.

Великий день настал. Не менее миллиона людей двигалось по Большим бульварам к центру, где над редакцией «Матэн» издалека виднелся большой экран, на нем — схематическое изображение двух голов — Карпантье и Демпси. Каждый удар передается через океан по радио, и на очертаниях голов посредством электрической сигнализации кружком отмечается место, где нанесен удар. Аэропланы, парящие над городом, также принимают радиосообщения о наносимых ударах и выкидывают светящиеся шары — белый, если удар нанесен в лицо Карпантье, красный — в лицо Демпси. Такая же сигнализация шарами установлена на верху Эйфелевой башни. Приз победителю — три миллиона долларов, побежденному — миллион. Если переводить на франки, шестьдесят миллионов франков за пять минут битья по лицу,— не у одного только маломощного буржуа мутилось в голове... Энтузиазм был всеобщим...

К одиннадцати часам Налымов с дамами добрался до пятиэтажного уродливого здания «Матэн». Над волнующимся полем шляп и женских шляпок возвышались плечи и каски конных драгун. Стрелка часов подошла к одиннадцати. По толпе пронеслось сдер-

жанно: «А-а!» Эйфелева башня сигнализировала. Кружащиеся над городом аэропланы выпустили облачка цветного дыма. Разорвалась петарда на крыше «Матэн». По экрану (с очертаниями двух голов) побежали надписи: «Бойцы вскочили на арену»... «Командор боя появляется на арене»... «Командор свистит»... «Двенадцать тысяч американцев затаили дыхание»... «Карпантье изящным жестом сбрасывает халат»... «Демпси поступает так же, лицо его хмуро»... «Карпантье оживлен, он смеется»... (О, французы всегда смеются в минуту опасности...) «Бойцы подходят друг к другу, пожимают руки в боевых перчатках, отскакивают в позиции»... «Оба колосса замерли в классических позах»... «Резкий свисток командора»... «Карпантье кидается первым»... (Вера Юрьевна впилась ногтями в руку Налымова.)

Надписи прерываются. События развертываются с бешеной быстротой. На экране от слов переходят к сигнализации. Глаза трехсот тысяч парижан устремлены на два силуэта... Странно, на физиономии Демпси пока ни одного кружочка! Видимо, бойцы только еще изучают друг друга. Пустая минута первого раунда тянется невыносимо. И вдруг за секунду до конца у Карпантье посредине лба выскакивает черный кружок. Триста тысяч пар глаз смущенно перемигиваются.

Минута перерыва. (Бойцов разводят в противоположные углы квадратной арены, окруженной канатами, сажают на стулья, массируют мускулы, обмахивают полотенцами, брызжут в лицо квасцами.) Над взволнованной толпой поднимаются дымки закуриваемых папирос. Второй раунд. Надпись: «Карпантье с холодным бешенством кидается на противника»... Секунда ожидания. Подземным гулом бьется сердце толпы. И сейчас же на экране левый глаз Карпантье закрывается кружком, второй кружок выскакивает на правой скуле, третий на левой, четвертый на подбородке... Перерыв. Французы хмуро отводят глаза от экрана. С хвостов парящих аэропланов срываются запоздавшие ослепительные белые шары.

Зрачки у Веры Юрьевны расширены, голос хриплый:

— Я загадала на Карпантье... Я верю, верю!

У Лили раздуты ноздри, будто из-за океана доносится к ней запах могучего пота и льющейся крови. По толпе—ветерок тревожного шепота. Третий раунд. Нос Демпси прикрывается кружком. Крики «браво», аплодисменты,—ураган криков. Но знатоки качают головами: разбитый нос ничего не стоит, у Демпси нос вдавливается внутрь, как резиновый. В ответ рассерженный Демпси наносит подряд по лицу три удара противнику. Карпантье падает. О нет, нет, несправедливости не должно совершиться! Карпантье снова на ногах... «Браво, браво, Карпантье!» У Демпси кружок на скуле... Конец третьего раунда.

От толпы перед редакцией «Матэн» поднимаются едкие испарения... Медленно, как судьба, ползет минута перерыва. Четвертый раунд. Инициатива переходит к Демпси. Удары в скулы, в нос, в ухо, в череп, в сердце громовыми раскатами разносятся по вселенной. У Карпантье треснула лобная кость, лопается челюсть. Повреждена ключица, но держится, держится! Надежда не потеряна. Толпа глядит, задрав головы, со сдвинутыми шляпами. «О, ударь его хорошенько в зубы, Карпантье, вышиби ему глаз!..»

Сила кулака у Демпси равна удару задней ноги лошади. Демпси (как потом стало известно) дал слово устроителю матча держаться более или менее пассивно семь раундов. Но, видимо, ему надоело валять дурака. На пятом раунде лицо Карпантье стало быстро покрываться кружками. Демпси колотит в него, как в бубен, и через двадцать секунд делает нокаут: двойной удар снизу наискось в подбородок и в челюсть (мозги встряхиваются, головные позвонки выходят из сочленений, челюсть соскальзывает в сторону). Карпантье упал. Командор боя (нагнувшись над ним, высоко подняв руку) начал считать до десяти... Десять. Кончено! Карпантье не встал... На арену вскочили служители взять его обморочное тело. Франция разбита. Аэропланы, выпустив черный дым, улетели в западном направлении. Толпа перед редакцией «Матэн», повинуясь древней традиции, обнажила головы. Человеческие потоки медленно расходились.

Налымов сказал:

— Девочки, нас еще раз одурачили. Предлагаю напиться.

30

Левант позвонил поздно ночью: «Едем завтра». Всю ночь укладывались. Чуть свет из Парижа приехали такси. Дамы поцеловали заплаканную Нинет Барбош и навек покинули дачу в Севре. Какова будет новая жизнь — плевать, лишь бы новая.

Левант выбрал кружный путь через Берлин — Штеттин и оттуда морем до Стокгольма. В Берлине остановились в дорогой гостинице «Адлон», где сразу же в вестибюле бросились в глаза такие подозрительные, лоснящиеся, шикарно одетые людишки, такое настойчивое, нетерпеливое жулье, что дамы приказали весь багаж сейчас же поднять в номер. Завтрак в ресторане был гнусный, но на еду здесь, видимо, не обращали внимания, за столиками совершались сделки, из конца в конец зала перекликались лоснящиеся людишки, показывали друг другу что-то пальцами, оркестр исполнял в том же истерическом темпе американские фокстроты. На дам нагло таращились: «О-о-о, паризер шик!»

Левант занял в бельэтаже дорогие апартаменты. После полудня в его салоне появились русские важные старцы, молодые люди с мутно-пристальными глазами убийц, серые штабс-капитаны и полковники мировой войны, несколько солдатских шинелей, прикрывавших военные лохмотья, провинциальные говорливые барыни, трагические старухи из петербургского большого света. Все это сборище разговаривало в повышенном тоне, ругало немцев и ожидало от Леванта не то каких-то инструкций, не то просто денег. На открытом листе производилась запись добровольцев в «Лигу спасения Российской империи»...

Левант разговаривал от имени «Стокгольмского отделения Лиги». Денег, правда, не предлагал никому, но обещал самые широкие перспективы в недалеком будущем. С иными молодыми людьми удалялся в спальню для секретного совещания. Окруженный русскими (на пышных розах ковра, замусоренного окурками), он говорил, засовывая большие пальцы за подтяжки:

— Господа, в Париже, где сосредоточены все нити борьбы с большевиками, где, не преувеличивая, бьется сейчас сердце русского народа, чрезвычайно удив-

лены пассивной деятельностью берлинских военных организаций. Мы были уверены, что энтузиазмом борьбы охвачены все русские. К сожалению, я этого не вижу. Германское правительство всемерно идет нам навстречу. Англичане делают даже больше того, на что можно надеяться. И что же? За истекшую неделю из Берлина на русский фронт отправили всего один эшелон добровольцев. Господа, какой отчет я дам Парижу?

Коренастые штабс-капитаны и лысоватые полковники чесали в затылке. У генералов строго тряслись щеки, молодые люди с глазами убийц хмуро отворачивались. Отвечать было нечего... Вот кабы Германия послала тысяч сто войска. Или черт с ней, если Германии не позволят, почему Франции не двинуть чернокожих на Россию?.. Почему Англия, как собака, то укусит, то отскочит,— ее большой флот мог бы в один день сравнять с землей и Кронштадт и Питер. Поддадут интервенты жару,— до одного человека пойдем в передовые войска. Без нас все равно не обойдутся, очищать Россию от большевиков иностранцы, небось, не станут, ручек не захотят марать.

Налымов с дамами бродил по Берлину. Неприветливыми казались перспективы однообразных улиц, темные дома с высокими красными крышами. В магазинных витринах подделки, эрзацы, хлам. Угнетало количество неумелых девушек с нищими глазами,— их жалкий торопливый шепот встречным прохожим: «Идем со мной, я очень испорченная». На перекрестках когда-то блестящих улиц — участники мировой войны: обрубки на тележках, слепые в черных очках с поводырем — санитарной собакой на привязи (подарок правительства). Перед витринами мясных лавок, где в бумажных кружевах разложены окорока, филеи, колбасы, драгоценные куски жира,— неизменная толпа: бежит суровый пожиратель вареной картошки и от громового рефлекса врастает в тротуар перед мясной витриной... Рука стискивает портфель, волевые мускулы вздуваются на впавших щеках, позволяет себе пережить вон ту свиную котлету в бумажном кружеве на стеклянной доске... Пять минут пищевой фантазии!.. Крепче портфель

с несъедобными бумагами под мышку и — мимо, мимо... Версальскому миру отзовется когда-нибудь эта свиная отбивная!

Скалы, холмы, печальный свет северного солнца, вдали — груды облаков, как снежные вершины.

Пароход плывет мимо каменистых островов. С каждым поворотом — новые склоны берегов и глубже уходящие воды фиорда, то затененные, то сверкающие. Дамы облокотились о перила борта. Ясен воздух, скудное тепло. Красные черепицы домиков в зеленеющей лощине между бесплодных скал. Север. Безлюдье. Это земля, куда возвращаются с отгоревшими страстями, с поседевшей головой.

Вера Юрьевна говорит вполголоса:

— Если бы так же возвращаться в Петроград... Человек должен жить на севере... Девочки,— вон в том домишке, под скудным солнцем... Какая печаль!.. Мечтать, ждать несбыточного...

Она положила на борт руку, обтянутую лайковой перчаткой. Молочно-румяный швед оглянул стройную Веру Юрьевну,— гм! — черный жакет, светлая мягкая юбка, обувь без каблуков... Просто, дорого, шикарно, никакого желания нравиться,— равнодушное лицо, в нем все обдуманно, все законченно... Гм!.. Самый высокий продукт цивилизации, международная хищница, парижская штучка...

— Девочки, а — зима!... Мы и забыли ее... Снега, стужа, вьюга... Куплю дом непременно, только еще дальше на севере,— всю зиму буду одна, одна совершенно...

Лили — с усмешкой:

— А помнишь, меня ругала за домик в Таганроге? Сама-то, видно,— тоже...

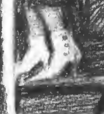
— Нет, Лилька, нет... Домик в Таганроге с офицериком — свинство. Я об одиночестве говорю... Меня так и найдут в этом домике,— раскопают занесенную дверь, в разбитое окно нанесло снегу, я — на постели, седая, высохшая и руками вот так — зажаты глаза, чтобы мне, мертвой, никто не смел глядеть в глаза...

Мари, тоже стоявшая у борта, присвистнула:

— С хорошеньким настроением едешь на работу!..

Кисло усмехаясь, Вера Юрьевна ответила:






NOR

— Всякий бесится по-своему, милая моя шансонетка. Для тебя высшее счастье — пожарские котлеты. Ну, а я еще должна все обиды припомнить...

— Батюшки, как страшно! — лениво сказала Мари.

Лили придвинулась, глядела в глаза Вере Юрьевне:

— Верочка, не надо...

Молочно-румяный швед, стоявший позади дам (руки в карманах, сигара в углу рта, полный подбородок удовлетворенно уперт в крахмальный воротничок), не понимал по-русски и до крайности странный разговор трех элегантных дам принял за восхищение северной природой. Вынув сигару, попробовал вмешаться:

— Пардон, смею обратить ваше внимание,— Стокгольм сейчас заслонен островом Бекхольм.— Он указал сигарой на кирпичные постройки и решетчатые краны эллинга, показавшиеся с правого борта; вдали, налево, стояли грузовые пароходы у высокой каменной стены, где курилась дымом многоэтажная мельница.— За войну город очень разбогател. Шведы не плохо поступили, что не вмешались в войну. Нас много ругали (засмеялся), но кому-нибудь надо же было торговать, и мы принесли обеим сторонам много пользы, торгуя с теми и с этими. Теперь вы не узнаете Стокгольма,— это маленький Берлин. Правда, после Версальского мира оживление несколько уменьшилось, но мы надеемся, что кризис временный. Во всяком случае, здесь можно весело провести денек... (Пароход повертывал.) А вот и город. Вы видите старую часть — Стаден. В древности город располагался на этом острове, сейчас разросся направо и налево. Самые шикарные кварталы на тех холмах — лучшие магазины, театры, кафе и вокзал. А еще дальше на север — чудные загородные места: озера, красивые виллы и замки. За время войны мы много строились.

Пароход приближался к лиловато-серым очертаниям города. За ним — холмы, облака. Тыкая сигарой, швед называл знаменитые здания — дворец, собор, отели.

— Если захотите быть ближе к нашей природе могу посоветовать прелестный уголок в тридцати километрах по железной дороге,— Баль Станэс на озере Несвинен.

— Как вы сказали? — резко обернулась к нему Вера Юрьевна.— Баль Станэс?..

Швед, несколько изумленный порывистым движением, нагнул по-бараньи голову:

— Да, мадам, вы не пожалеете. Там можно отдохнуть.

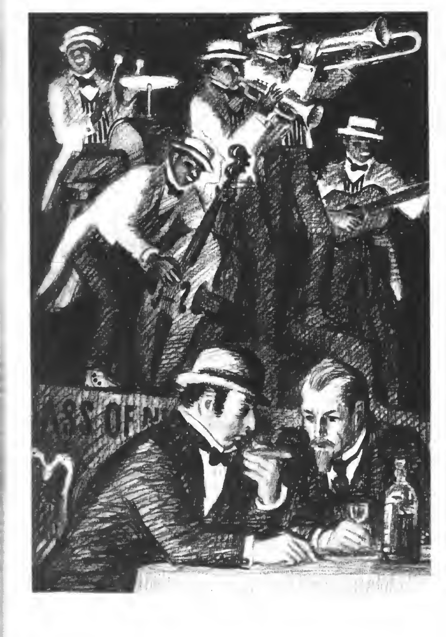
Пароход загудел и стал поворачивать к стенке набережной. В пролетах между дощатыми пакгаузами стояли черные такси. За ними двигались чистенькие трамваи. Дальше — груды тюков, бочек, ящиков, черепичные крыши и старинные фасады домиков, вывески портовых кабаков, узкие переулки. У самого края стенки, на причальной тумбе, сидел, улыбаясь, носатый Хаджет Лаше, в серой черкеске и мерлушковой шапке. Увидев его, Вера Юрьевна положила руку на горло, отвернулась.

31

В зале ресторана «Гранд-отель» в обеденный час играл симфонический оркестр и выступали,— как всегда по воскресным дням,— сольные номера. Года два тому назад все это было обставлено гораздо богаче, европейских знаменитостей слушали здесь ежедневно. Но после мира схлынули интендантские чиновники, поставщики, шпионы, контрразведчики, международные авантюристы, великолепные женщины с ассортиментом паспортов и коробочкой кокаина в золотой сумочке, нейтральные дипломаты и засекреченные дипломаты воюющих стран,— все, кто, не задумываясь, разменивал деньги и покупал все: оружие, товары, сталь и яды, человеческую подлость и острые удовольствия.

Теперь в будние дни в ресторане «Гранд-отеля» вместо вина подавали графины с холодной водой. Стокгольму грозило захолустье. С убытком для себя ресторатор устраивал воскресные концерты; их посещали даже почтенные семейства, поддерживая национальное предприятие.

Все столики были заняты. Сигарный дым пробирался сквозь лапчатые пальмы. Сегодня демонстрировалась американская новинка — джаз-банд с настоящими неграми. Трудно было привыкать к адской



трескотне, вою саксофона, барабанам и тарелкам, взвизгам веселых людоедов. Мало того, что Америка сняла исподнюю рубашку со старого мира,— на могилах пятнадцати миллионов заставила плясать бешеный фокстрот... Ах, то ли дело убаюкивающий старый, мечтательный вальс!

— Слишком близко к оркестру сели.

— А вы говорите погромче.

— Погромче-то не хочется...

— Да бросьте ваши страхи... В Европе, чай. Что же водку не пьете?

У стены за небольшим столиком обедали двое русских: один — худощавый, холеный, с залысым лбом, с острой бородкой, другой — с воспаленным, несколько неспокойным лицом, с выпуклыми, влажными, жадными глазами. Худощавый мало ел, много пил. Его собеседник ел жадно, навалясь грудью на стол. Худощавый говорил ему:

— Напрасно, напрасно, Александр Борисович. Что же, и в Петрограде ни капли не пили?

— Да бросьте вы, слушайте... (Александр Борисович косился на соседей.) Вот тот, внушительный дядя,— кто такой?

— Полицейский, из отдела наблюдения над иностранцами. Мой приятель...

— Хорошенькое знакомство!

— Без этого здесь нельзя.

— Ну, а вон те, в смокингах?

— Двоих не знаю, третий, тот, кто вертит ложечкой в шампанском,— граф де Мерси, из французского посольства, недавно прибыл с таинственной миссией.

— А тот высокий старик? Русский помещик какой-нибудь?

— Эка! Поважнее короля — сам Нобель.

— А за тем столиком? Что-то уж очень они поглядывают на нас.

— Русские. Лысый, смуглый, маленький — Извольский, во всяком случае живет здесь под этой фамилией. Тот, кто смеется,— рыжебородый,— концертмейстер Мариинского театра Анжелини, он же Эттингер почему-то. Чем занимается, черт его знает,

но деньги есть, он угощает. А третий, верзила — Биттенбиндер, тоже — сволочь.

— А та компания за большим столом — красивые женщины?

— В гостинице со вчерашнего дня. Их уже заметили. С лиловыми волосами, по-видимому, жена Хаджет Лаше.

— Какого Хаджет Лаше? Того — в черкеске? Так я же его знаю, встречались в прошлом году в Петербурге. Он печатал свою книжку, интереснейшие записки — разоблачение застенков Абдул-Гамида. Пытки, убийства, кошмары в турецком вкусе, здорово написано. Что он здесь делает?

— Живет за городом в Баль Станэсе. Рантье, как мы все. Любопытный парень.

Негры положили инструменты и ушли с эстрады. Танцующие вернулись к столикам. В зале — сдержанный гул голосов, хлопают пробки от шампанского. Худощавый закуривает, щурится удовлетворенно, бровями подзывает лакея и, когда закуска убрана, наклоняется к собеседнику:

— Ну-с, какие же новости из Петрограда?

Как только смолкла музыка, Хаджет Лаше указал Леванту:

— Видишь того — с выпученными глазами — это Леви Левицкий, журналист, пробрался через финскую границу курьером к Воровскому. Ловкий малый,— у него, мне известно, другое поручение, помимо бумажонок Воровскому... (На ухо.) Был близок к Распутину, Вырубовой и всем тем кругам. Вчера был в банке с чемоданом, который там оставил, и, кроме того, внес на текущий счет какие-то суммы...

Левант равнодушно вертел деревянной мешалкой в бокале шампанского.

— А другой с ним — худощавый?

— Ардашев, тоже в сфере внимания... Во время войны успел перевести сюда не менее миллиона крон... В прошлом году приехал для закупки бумаги для Петрограда,— бумагу купил, но остался. С русской колонией не встречается.

— Трудновато,— сказал Левант,— без обличающих документов не советую,— французы щепетильны...

— Будь покоен... А вон, смотри, в самом углу сидит один. Тут уж дело чистое,— курьер Воровского, Варфоломеев, матрос с броненосца «Потемкин». (Левант недоуменно взглянул.) Очень доверенное лицо. Много знает... (на ухо) о царских бриллиантах...

Негры, показывая белые зубы, появились на эстраде. К Вере Юрьевне подошел давешний молочно-румяный швед. С первым тактом джаз-банда она положила голую руку на его плечо и пошла легким шагом, бесстрастная и равнодушная,— новая Афродита, рожденная из трупной пены войны,— волнуя прозрачно-пустым взглядом из-под нагримированных ресниц, не женскими движениями, всем доступная и никому не отдавшаяся. Глаза всего ресторана следили за ней.

Леви Левицкий, вытирая салфеткой вспотевший лоб, сказал Ардашеву:

— Слушайте, с ума сойти! Кто она?

— Соотечественница, разве не видишь?

— Будьте другом — познакомьте.

— Не очень бы советовал знакомиться с здешними русскими... Это не прошлогодние паникеры-беженцы... Их тут сорганизовали.

— А, бросьте... Я — нейтральный. (В глазах его появилось страдание.) Ах, женщина!.. Послушайте, это же — сон, сказка!..

32

Граф де Мерси, держа за уголок визитную карточку, на которой было отпечатано: «Хаджет Лаше. Полковник. Шеф-редактор», вошел в маленькую приемную, затворил дверь в соседнюю комнату, где стучала машинистка, изящно-холодно поклонился Хаджет Лаше и указал на стул у круглого дубового стола, заваленного газетами и журналами. Когда посетитель сел, граф де Мерси тоже сел, положив ногу на ногу, вопросительно подняв брови,— длиннолицый, с тяжелыми веками, с большим носом, с висячими усами и скудноволосым пробором через всю голову,— аристократ с головы до ног, прямой потомок крестоносцев. Хаджет Лаше (в черной визитке, в черных перчатках) сказал с осторожной задушевностью:

— Граф, я бы хотел поставить вас в известность о том, что моя деятельность в Стокгольме проходит в полном согласии со взглядами полковника Пети.

Де Мерси слегка поклонился:

— Я в вашем распоряжении.

— Граф, вам известно, что в Стокгольме сосредоточены все нити заграничной агентуры большевиков.

— Если не считать Константинополя.

— О нет, здесь гораздо серьезнее. Газета «Скандинавский листок» — плохо прикрытый большевистский орган.

— Вот как?

Хаджет Лаше знающе улыбнулся, давая понять, что «вот как» относит к дипломатической скрытности, но отнюдь не к плохой осведомленности графа.

— «Скандинавский листок» издается на средства здешней группы сочувствующих. Москва не дает им дотации. Поэтому не исключена возможность перекупить у них газету. Ваше мнение, граф?

— Гм... целесообразно,— граф де Мерси сосредоточенно взглянул на свои длинные ногти.— Но это, мне кажется, должно исходить от частных лиц.

— Успех будет зависеть от суммы, которую можно предложить. Нужно располагать ста, полутораста тысячами франков... Хотелось бы иметь гарантию, что затраты, которые произведут эти частные лица... (Хаджет Лаше застыл в улыбке.)

— Думаю, ваше предложение не встретит принципиального отказа. Гм! Полтораста тысяч? Может быть, вы посоветуете мне написать полковнику Пети?

— О, я просил бы об этом.

— Прекрасно... (Граф облегченно вздохнул...) Если мы не встретим с его стороны возражений, я гарантирую ваши затраты из особых сумм.

Он опустил брови,— щепетильная часть разговора была окончена. Но Хаджет Лаше упрямо поджал рот:

— Граф, это не все... Я бы хотел иметь гораздо более важное — моральные гарантии...

— Простите?

— Есть некоторые чрезвычайные директивы из ставки генерала Юденича. Я бы не хотел вас обременять подробностями неприятных поручений, не всегда совпадающих со взглядами европейского человека на добро и зло. Но не нужно забывать, что Россия под

управлением большевиков отрешена от морали... В борьбе с красной опасностью приходится применять средства, несколько выходящие за пределы...— Граф де Мерси предупреждающе поднял брови, но Хаджет Лаше продолжал с напором: — О, никакой мысли — запутать ваше имя в события, которые могут развернуться. Я хочу лишь заручиться вашим согласием,— полковник Пети обещал мне это,— что в случае трений со шведской полицией... я и группа лиц, идейно работающая со мной, могли бы рассчитывать на юридическую помощь...

— Я понимаю, вы хотите в случае... (граф не подыскал слова) рассчитывать на защиту видного парижского адвоката?..

— Да, граф... Я бы назвал имя Жюля Рошфора, моего старого друга...

— О да, он берет не дешево... Хорошо, я вам обещаю это.

— Я удовлетворен, граф.

— О, пожалуйста...

Тут они поднялись, простились сильным, хорошим рукопожатием, и граф де Мерси проводил гостя до дверей:

— Всегда к вашим услугам, мой дорогой Хаджет Лаше.

33

Николай Петрович Ардашев в пестром халате, в сафьяновых туфлях, окончив завтрак, просматривал почту: неизбежные письма от русских беженцев... «Услышав о вашей отзывчивости, умоляю...», «Бежав с женой и ребенком от ужасов большевизма, умоляю...», «Вы меня не знаете, я — липецкий помещик, изгнан за пределы родины... Меня выручили бы двадцать крон...», «Помогите... Волею судеб выброшен на мель, в среду черствых лавочников и торгашей, а в России эти же иностранные стрикулисты обивали мой порог, короче говоря, я — харьковский негоциант...» «...Николай Петрович, перед вами — отец многочисленного семейства: престарелая бабушка, пять малолетних детей и кровоточивая жена...» И так далее...

Николай Петрович внимательно (для собственной совести) прочитывал эти письма, сверху делал пометки карандашом — 50, 20, 10 крон. Приходилось покупать право на душевный комфорт. Эти люди лезли через границу, как клопы из ошпаренного тюфяка. Он помогал им потому, что любил вот такое светлое утро, озаряющее безмятежную опрятность всех уголков его жилища, прочное холостяцкое согласие с самим собой. Личного общения с беженцами он избегал (деньги передавались через секретаря), избегал также осевшей в Стокгольме русской колонии.

Одно из писем прочел два раза: «Многоуважаемый Николай Петрович, буду крайне признателен, если вы уделите мне несколько минут беседы по делу, которое может вас заинтересовать. Известный вам Хаджет Лаше». Ардашев ногтем почесал бородку. «Что-нибудь по поводу издательских дел. Лаше — занятный человек, но, наверное, опять политика...» Вспомнилась красавица, его дама, танцевавшая в «Гранд-отеле», с усмешкой прищурился на блестевший кофейник... «Да, от женщин и политики — подальше: это тоже плата за комфорт...»

Звонок. В прихожей знакомый голос. Ардашев бросил газету на пачку прочитанных писем, зажег погасшую сигару. Вошел Бистрем, двадцатипятилетний скандинав, шести футов ростом, доброголубоглазый, в очках, с нежной кожей, сильной шеей и раздвоенным подбородком. Он недавно окончил университет и со всем прямолинейным пылом честного германца изучал исторические, социальные и экономические предпосылки русской революции. Состоял сотрудником «Скандинавского листка», был непрактичен и доверчив. Несколько раз пытался быть посланным в Москву в качестве корреспондента, но в редакциях его подняли на смех, вышла даже неприятность с полицией.

— Николай Петрович! — крикнул он по-русски, с акцентом (восторженный, румяный, свежий),— прочли сегодняшнюю газету? О, я вижу, вы не читали!..— схватил со стола газету и отчеркнул ногтем — «Ревель, от собственного корреспондента»...— Слушайте: «Кредитные знаки северо-западного правительства в России, печатающиеся, как известно, на Стокгольмском монетном дворе, на об-

щую сумму один миллиард двести миллионов рублей, по точно проверенным сведениям, гарантированы к размену на золото английским государственным банком». Слушайте, Юденичу — капут!..

— Не понимаю,— сказал Ардашев,— что же тут такого? Деньги печатаются по заказу Юденича...

— Деньги печатаются под гарантийную телеграмму Колчака из Омска. (Бистрем вытащил из кармана пачку газетных вырезок, отыскал, прочел.) Это из ревельской «Свободы России». Вот... «Верховный правитель адмирал Колчак приказал передать правительству Северо-западной области, что им будет оказано всемерное содействие для успешного завершения борьбы с большевизмом в Петроградском районе, что министру финансов омского правительства срочно указано перевести просимые главнокомандующим генералом Юденичем двести шестьдесят миллионов рублей золотом. Указанная сумма поступает в Лондонский банк в английской валюте и гарантирует выпускаемые правительством Северо-западной России денежные знаки, которые являются всероссийскими денежными знаками и обеспечиваются, кроме указанной суммы, всем достоянием государства Российского». Под этот блеф Юденич и выпускает миллиард двести миллионов для разгрома Петрограда.

— Почему блеф? Разве Колчак не перевел денег?

— Колчак перевел в Лондон только пять миллионов золотом... У меня вернейшие сведения... Понимаете, что получится после сегодняшней заметки? Англичане вынуждены будут официально и немедленно ее опровергнуть,— иначе адский скандал в палате. Они скажут, что не гарантировали и никогда не намерены гарантировать авантюру. О пяти миллионах они тоже не скажут ни слова, и юденические кредитки будут продаваться на вес... Кто дал эту заметку? Гениальнейший ход!.. Чья здесь рука?.. Или это Москва... Или это спекуляция на валюте,— тогда это — Митька Рубинштейн. По пути к вам забежал в «Грандотель»,— внизу, в баре, шумят журналисты, дьявольский крик. Уверены, что заметку дал я... Представляете, как меня приняли?

Он повалился на стул, потянул скатерть, толкнул стол, расплескал молоко и закатился радостным смехом,— румяный, белозубый, отражающий стеклами

очков утреннее солнце. Ардашев налил ему кофе, намазал бутерброды. Бистрем с воодушевлением стал есть.

— Большевики играют на противоречиях... В этом их основной расчет... Диалектика на фактах! Великолепно!.. Представляете,— шарады-головоломки: Ревель, Рига и Гельсингфорс добиваются самостоятельной буржуазной республики. Поэтому они против большевиков. Значит, им нужно помогать белым. Но белые страшны — Колчак в Омске, Юденич в Ревеле и Сазонов в Политическом совещании в Париже угрюмо не желают гарантировать независимость Эстонии, Латвии и Финляндии. Французы тоже против независимости,— им нужна неразделенная, сильная Россия — угроза Германии. Но англичане за раздел России и за независимость Риги, Ревеля и Гельсингфорса; но англичане боятся немецкого влияния в Балтике, поэтому намерены захватить остров Эзель для морской базы; но рабочая партия в палате против вмешательства в русские дела,— у англичан связаны руки... Германия против самостоятельности Риги, Ревеля и Гельсингфорса, потому что тогда здесь будет база Антанты, но Германия парализована Версальским миром. Синтез: большевики, сталкивая лбами все эти противоречия, выигрывают игру... Простите, я, кажется, съел весь хлеб.

Ардашев сказал, глядя в окно:

— В прошлом году я уезжал из Петрограда, там было очень скверно. Не представляю, как они еще могут держаться.

— В Петрограде осталось всего около семисот тысяч жителей, остальные разбежались или вымерли. От голода умирает каждый двенадцатый человек...— У Бистрема расширились глаза.— Топлива нет. Город не освещается. На улицах лошадиная падаль, объеденная людьми... Я добыл эти сведения через контрразведку, подпоил одного пропащего человека. Из двухсот шестидесяти заводов работает только полсотни. Целые кварталы пустых домов с выбитыми окнами, заколоченные досками магазины. Не видно прохожих, не ходят трамваи. Город разбит на боевые участки. Власть предоставлена Комитету обороны. На заводах и по районам управляют тройки. В домах — комитеты бедноты. Все рабочие призваны к оружию. Особые

отряды рабочих обыскивают город, ища оружие и съестные припасы. Над всей жизнью — идея: победить или умереть. Голод, лишения и суровость стали величием. О!.. Трагический Петроград!.. И он победит!

— Дорогой друг, все это романтично издали,— негромко сказал Ардашев.— Ну, хорошо, предположим, они победят Юденича, они победят еще десять Юденичей. Но террор когда-нибудь кончится и нужно будет восстанавливать обыкновенную жизнь, и вот тут-то на смену романтизму придут будни вместе с богатеньким буржуем. Одними идеями не возродишь города, и придется кланяться. Европа богата в переизбытке продукции и в поисках новых рынков. Россия — нищая, разоренная, но — широчайший рынок, которого хватит на всех. Не пройдет и года — высокий уровень перельется в низкий, Европа — в Россию, и мечтам — конец. Мне кажется, так именно и думают англичане, самые реальные из политиков.

Бистрем весь сморщился, слушая. Поднялся, заходил, потирая подбородок. Поднял палец:

— Вы упускаете: власть над политикой и экономикой в России взял рабочий класс. Этого еще не бывало в истории. Тут должны быть вскрыты новые источники творчества, новые органы политической и экономической структуры... Конечно, можно возразить: рабочий класс в России еще не готов... Не знаю... Может быть, к таким штукам совсем и не нужно готовиться... Даже и лучше неготовыми-то? А? Русские — талантливы, русские — чудовищно неожиданный народ... (Кукушка на стенных часах, выскочив из дверцы, бодренько прокуковала одиннадцать. Бистрем спохватился.) Опаздываю безумно! Надо бежать.

Задержав его руку, Ардашев спросил:

— Вы хорошо знаете такого — Хаджет Лаше?

— Темный человек.

— А какие данные?

— Черт его знает,— никаких... Если нужно — добуду.

— Что он тут делает?

— Очевидно, как большинство иностранцев в Стокгольме,— поставки на армию, продовольствие для Петрограда, спекуляция на фондах... Постойте, постойте... (Бистрем отложил шляпу.) Его компаньон,

вот тот, что приехал с дамами из Парижа, вчера давал интервью... Какая-то у них афера с нефтью с Детердингом... Корреспонденты чрезвычайно заинтересовались, особенно американцы. Говорят, эта афера должна отразиться на международных отношениях... Хорошо. Я все узнаю подробно.

Он распахнул дверь и столкнулся с Хаджет Лаше.

— Простите, я стучал, но вы горячо разговаривали,— Хаджет Лаше церемонно поклонился Ардашеву, дружески кивнул Бистрему и сел, не снимая перчаток, поставил трость между колен.— Я вам писал, Николай Петрович, этим объясняется мое вторжение...— С улыбкой — Бистрему: — Вы собирались уходить, но вижу, намерены спросить меня о чем-то?

— Несколько слов о нефти...— Бистрем присел у двери, положив шляпу на одно колено, на другое — блокнот.

— Простите, принципиально не даю интервью никому никогда. Не обижайтесь, Бистрем, я дам вам заработать на чем-нибудь другом... (Огромные башмаки Бистрема на вощеном полу и отблескивающие очки его застыли настороженно.) Если обещаете не упоминать моего имени, приезжайте ко мне, я вам наболтаю крон на пятьдесят всякой чепухи... (Засмеялся и — Ардашеву.) Нефтью я интересуюсь, как прошлогодним снегом. Но со вчерашнего дня, видимо спутав меня с моим другом, Левантом, журналисты оборвали мой телефон: бакинская нефть, «Стандарт Ойль» и Детердинг, Деникин и большевики... Господа, я только романист, я страшно извиняюсь, что пишу плохие романы, но позвольте мне быть чудаком и спрашивайте о нефти у моей квартирной хозяйки.

Поднявшись, кашлянув, Бистрем проговорил глухо:

— Благодарю вас!..— И, не прощаясь, вышел.

— Так наживаешь себе врагов.—Хаджет Лаше сделал безнадежный жест рукой в перчатке.— Бистрем не плохой малый, но когда-нибудь я же вправе обидеться,— журналисты упорно говорят со мной о чем угодно, только не о моих книгах. (Он засмеялся, показав сильную белую линию зубов.) Я к вам вот с каким предложением, Николай Петрович... У группы лиц возникла мысль купить «Скандинавский листок»... Вы бы не вошли в компанию?.. (Ардашев

отложил сигару и насторожился.) Дело ведется плохо, денег у них нет, а хорошая, культурная русская газета, ох, как нужна... Перед иностранцами стыдно за «Скандинавский листок»,— газета, надо признаться, определенно praванивает... Вы согласны со мной? (Ардашев быстро подумал: «Что за черт, дурак или провокатор?») Я немножко патриот. К тому же честолюбие, неудовлетворенное честолюбие, Николай Петрович. Ночи не сплю,— засело гвоздем, так и чудится: нижний фельетон Хаджет Лаше,— глава из романа, продолжение следует... Кстати, прошу принять мой последний труд. (Он вынул из кармана книжечку на серой скверной бумаге.) Отпечатано в Петрограде, в прошлом году. О ней хотел писать Амфитеатров, но было уже негде... Полюбопытствуйте... Я хорошо знаю Турцию,— здесь все на основании подлинных фактов... (Он положил книгу на край стола.) Подумайте над моим предложением, Николай Петрович. В городе нехорошо говорят про газету... А это больно. Говорят — там всем заворачивает какой-то инкогнито, будто бы на издание разменял несколько царских бриллиантов, за какие-то гроши загнал евреям в Гамбург чуть ли не шапку Мономаха... Вы не слышали? Нет?.. Наверное, сплетни журналистов... Даже и ваше имя приплели.

Не то почудилось, не то на самом деле — издевательское торжество просквозило вдруг в добродушных, даже глуповатых глазах гостя. Ардашев похолодел от омерзения и сделал непоправимую ошибку... Начав смахивать в кучу невидимые крошки на скатерти, сказал глуховатым голосом:

— Простите, не понимаю цели нашего разговора... Вы, видимо, плохо осведомлены: я — один из соиздателей «Скандинавского листка»... Чрезвычайно благодарен вам за критику, но оставляю за собой свободу ею воспользоваться. (Все больше сердясь.) Газета наша левая, хотите считать ее большевистской — считайте, желаете верить в царские бриллианты и шапку Мономаха — сделайте ваше одолжение,— разуверить не могу, да и нет охоты опровергать всякие пошлости... (Не на крошки на скатерти надо было ему глядеть, а на гостя в эту минуту.) На этом, думаю, можем исчерпать нашу беседу.

Теперь — встать и ледяным кивком ликвидировать неприятного гостя... Проклятая интеллигентская мягкотелость! — Ардашев не мог поднять глаз, чувствуя, что, кажется, пересолил и нагрубил. А может быть, гость просто неудачно выразился и сам, наверное, смущен до крайности?

Гость молчал. Угнетающе не шевелился на стуле. Ардашеву видны были только острые носки его лакированных туфель — на правый носок села муха. Хаджет Лаше проговорил тихо:

— Вы меня не изволили понять, Николай Петрович... Если я и выразился резко о «Скандинавском листке», то не за левизну. Идя сюда, я чувствовал себя связанным, это правда. Вы открываете карты,— тем лучше. Я могу говорить искренне. Мы единомышленники, Николай Петрович... (Ардашев поднял глаза,— Хаджет Лаше, округло разводя руками, говорил с подкупающим добродушием.) Возьмите Анатоля Франса. Открыто объявил себя большевиком. А как же иначе должен смотреть подлинный культурный европеец на акты величественной трагедии, которые развертывает перед ним русская революция? На вилле «Саид» я застал Анатоля Франса у камина в беседе с Шарлем Раппопортом. Первое, что спросил Франс: «Друг мой, вы видели Ленина?» Я ответил: «Да...» Франс указал мне место у камина: «У этого огня сегодня беседуют только о героических событиях». Короче говоря, Николай Петрович, мой резкий отзыв вызван вот чем: в «Скандинавском листке» помещена заметка об английской гарантии юденических денег. Теперь я верю, это простой промах редакции,— заметка желтая и помещена Митькой Рубинштейном. Вы знаете, что он играет на понижении курсов?

Все еще сердясь, Ардашев ответил глухим голосом:

— От кого бы она ни исходила, заметка полезная... Пускай Рубинштейн спекулирует, тем лучше: Юденич натворит меньше зла с дутой валютой.

— Браво!.. Это по-большевистски... Так газета намерена валить юденические деньги? Это смело. Я аплодирую. Я все-таки не оставляю мысли стать ближе к газете. Хотелось бы застраховать газету от случайностей гражданской войны... Представьте, падет Петроград? Подумайте над моим предложением. Я располагаю ста пятьюдесятью тысячами франков,— это реальнее, чем шапка Мономаха. Правда?

— Из этого ничего не выйдет, Хаджет Лаше. Газета издается на деньги частных лиц, но распоряжается ею редакционный совет.

— Они меня должны знать.

— Кто они?

— Редакционный совет.

Ардашев подумал, поджав губы.

— Простите, Хаджет Лаше, я не могу раскрыть конспирации и даю честное слово, что и сам очень слабо посвящен в эти тайны...

— Ну, на нет и суда нет...

Хаджет Лаше поднялся, взял шляпу, взглянул исподлобья и потер нос набалдашником палки.

— Еще просьба, Николай Петрович. Ко мне в Баль Станэс приехал интимнейший друг, княгиня Чувашева. У нее идея создать маленький культурный центр. Мы бы очень просили — не отказать пожаловать.

Ардашев поблагодарил,— отказаться было совсем уж неудобно. Проводил гостя до прихожей. Там Хаджет Лаше начал восхищаться цветными гравюрами. Заговорил о гравюрах, о книгах. Ардашев не утерпел, пригласил гостя в кабинет — похвастаться инкунабулами:[1] двенадцать, великолепной сохранности, инкунабул он вывез из Петрограда.

— Ну, как вы думаете, сколько я за них заплатил?

— Право,— теряюсь...

— Ну, примерно?.. Даю честное слово: две пары брюк, байковую куртку и фунт ситнику... (Ардашев самодовольно засмеялся высоким хохотком.) Приносит солдат в мешке книжки... Я — через дверную цепочку: «Не надо».— «Возьми, пожалуйста, гражданин буржуй,— третий день не жрамши». И лицо действительно голодное... «Где украл?» — спрашиваю. «Ей-богу, нашел в пустом доме на чердаке...» И просовывает в дверную щель вот эту книжку,— в глазах потемнело: 1451 год... В Париже, только что, на аукционе инкунабула куда худшей сохранности прошла за тридцать пять тысяч франков.

— Ай-ай,— повторил Хаджет Лаше.— Какие сокровища!

Ардашев выбрал из связки ключей на брючной цепочке бронзовый ключик и, отомкнув бюро, выдвинул средний ящик:

---

[1] Инкунабула — первопечатная книга XV столетия.

— Вы, вижу, знаток...— Он вытащил большую серую папку и, ломая ноготь, развязывал завязку.

Хаджет Лаше, стоявший за его спиной, сказал медленно:

— Вы не боитесь хранить дома ценности?

— Никогда ничего не сдаю в сейф. Вы что — смотрите, где запрятана у меня шапка Мономаха?

Хаджет Лаше, не отвечая, пристально, неподвижно глядел ему в глаза... Когда лицо его задвигалось, Ардашев понял, в чем странность этого лица: живая маска! Будто другое, настоящее лицо движением бровей, всех мускулов силится освободиться от нее... И, поняв, он почувствовал даже расположение к этому странному, некрасивому и, кажется, умному и утонченному человеку. Крутя цепочкой, наклонился вместе с гостем над раскрытой папкой. Хаджет Лаше взял один из цветных гравированных листов, поднял высоко, повертел и так и этак:

— Могу вас поздравить, Николай Петрович. Это подлинный, чрезвычайно редкостный Ренар,— чудная сохранность. Сколько заплатили?

— Пять стаканов манной крупы.

— Анекдот!.. В коллекции лорда Биконсфильда имеется второй экземпляр этой гравюры. Третьего в природе не существует. Антикварам было известно, что этот лист где-то в России, но его считали пропавшим. Гравюра стоит не меньше двух с половиной тысяч фунтов.

Ардашев был в полном восхищении от гостя. Уходя, Хаджет Лаше повторил приглашение в Баль Станэс.

34

Дом в Баль Станэсе одиноко стоял на травянистой лужайке, на берегу озера. Кругом на холмах расцвечивался осенней желтизной березовый лес, мрачными конусами поднимались ели. Дом был бревенчатый, с огромной, высокой черепичной кровлей, с мелкими стеклами в длинных окнах, с углами, увитыми диким виноградом. От города всего двадцать минут на автомобиле, но — глушь, безлюдье.

Хаджет Лаше жил здесь один в нижнем этаже, в комнате с отдельным выходом,— окнами на просеку,

где проходила шоссейная дорога. Приехавших поразила пустынность и запущенность дома. Прислуги не оказалось — ни горничной, ни кухарки, ни дворника. Повсюду — непроветренный запах сигар и мышеедины. На портьерах, на мебели — пыль, в каминах — кучи мусора, окурков, пустых бутылок.

Когда чемоданы были внесены и автомобили уехали, Лили присела на подоконник и горько заплакала. Вера Юрьевна,— кулаки в карманах жакета,— ходила из комнаты в комнату.

— Послушайте, Хаджет Лаше, неужели вы предполагаете, что мы станем жить в этом сарае? Для какого черта вам понадобилось привезти нас сюда?

— Поговорим,— сказал Хаджет Лаше и сел на пыльный репсовый диван.— Присядьте, дорогая.

Вера Юрьевна двинула бровями и, не вынимая рук из карманов, решительно села рядом. Здесь, во втором этаже, был так называемый музыкальный салон,— с окном на озеро; стены и потолки отделаны лакированной сосной; кирпичный очаг с маской Бетховена; рояль; на стенах — криво висящие картины северных художников.

— Поговорим, Вера Юрьевна... Вам нечего объяснять, что привезены вы сюда не для развлечений. Дом этот снят также не для безмятежного занятия летним и зимним спортом. После константинопольских похождений вы достаточно отдохнули в Севре, здесь вы будете работать.

— Знаете что, Хаджет Лаше, чтобы животное хорошо работало, за ним нужно хорошо ухаживать и держать в чистоте... Так что с самого начала я ставлю требование...

— Требование?..— угрожающе переспросил Хаджет Лаше и невеселыми глазами внимательно осмотрел Веру Юрьевну, будто измеривая опасные возможности этой темной души.— Так, так... Чтобы требовать — нужна сила... Сомневаюсь — есть ли у вас что-либо, кроме нахальства.

Вера Юрьевна подумала и — с изящной улыбкой:

— Кроме нахальства — прочная ненависть и зрелое желание мстить.

Хаджет Лаше брезгливо поморщился.

— Мало... И — не страшно...

— Как сказать... Во всяком случае, у меня достаточно безразличия ко всему дальнейшему, вплоть до тюрьмы и веревки.

— Угрожаете?

— Да. Определенно угрожаю.

— Стало быть, предлагаете мне быть осторожным?

— Очень...

— Не пощадите себя, если довести вас до аффекта?

— До аффекта!.. Ой! Ой!.. В ваших романах, что ли, так выражаются роковые женщины?.. (Добилась — у Лаше сузились глаза злобой.) Говоря нелитературно,— могу быть опасна, если меня довести до выбора: жить в вашей грязи или не жить совсем.

— Мысль формулирована четко.

— Дарю вам для записной книжечки.

Молчание... У него опущены глаза, кривая усмешка. У нее лицо как у восковой куклы. В пыльное стекло уныло бьется большая муха.

— Курите, Вера Юрьевна?

— Да.

Он медленно полез в задний брючный карман и с этим движением поднял глаза, вдруг усмехнулся всеми зубами. Но у нее ничего не дрогнуло. Задержав руку в кармане, вынул плоскую золотую папиросочницу,— предложил.

— Как видите, всего-навсего — портсигар.

— Да я и не сомневалась, что не револьвер.

— Ах, не сомневались?

Закурили... Вера Юрьевна положила ногу на ногу,— курила, упершись локтем в колено. Он посматривал на нее искоса... Затянулся несколько раз.

— Вера Юрьевна...

— Да, слушаю.

— Во-первых, не верю в ваше безразличие,— вы женщина жадная и комфортабельная.

— Наконец-то догадались.

— Само собой, кроме этого, имеется психологическая надстройка.

— Вот тут-то вы и собьетесь, плохой романист.

— Признаю, вы нащупали у меня уязвимое место... но ведь и мышь кусает за палец... Ну, хорошо,— вы требуете, чтобы жизнь в Баль Станэсе обставить пристойно... Завтра придут люди, выколотят пыль, дом приведем в относительный порядок, привезу из

Стокгольма кухонную посуду, ночные горшки и так далее. Удовлетворены? Видите, в мелочах я уступаю... Но поговорим о крупном. (Он надвинул брови, изрытое лицо потемнело.) Когда вы были в Петрограде княгиней Чувашевой, сидели в особняке на Сергиевской, кушали торты и ананасы... (Вера Юрьевна засмеялась, он сопнул, раздул ноздри.) Ананасы и торты... Тогда можно было поверить в ваши роковые страсти и даже отступить, скажем, такому пугливому человеку, как я... А сейчас... Уж простите за натурализм,— как поперли вас из особняка в одной рубашонке, как пошли вы бродить по матросским притонам: оказались вы, утонченная-то, с психологической надстройкой, хуже самой распоследней стервы...

— Здорово запущено! — громко, весело сказала Вера Юрьевна.

— Понимаю,— числите за собой в психологическом активе константинопольский случай... (Вера Юрьевна подняла брови, розовым ногтем мизинца сбросила пепел с папиросы.) Вот вы и сами сознаете, что константинопольский случай произошел, так сказать, с разбегу от неразвеянных иллюзий. Теперь-то вы его уже не повторите...

— Да! — сказала она твердо.— Того не повторить... Я была на тысячу лет моложе. Знаете, Хаджет Лаше,— искренне,— я люблю себя той константинопольской проституткой... В последнем счете — не все ли равно: сумасшедшее страдание или сумасшедшее счастье... Мы любим только наши страсти. Женщины любят боль. А ужасает — мертвое сердце. Если перед казнью мне обещают минуту чудного волнения, днем и ночью буду думать об этой минуте и, конечно, предпочту ее всей жизни. Вот как, писатель...

Лицо ее порозовело, голос вздрагивал. Но так же — острый локоть на колене, лишь вся подалась вперед с каким-то увлечением. Хаджет Лаше посматривал,— любопытная баба! Действительно — не узнать ее после Константинополя, когда, полоумную, страшную, неистовую, он спас ее от полиции и передал на руки Леванту. С тех пор впервые разговаривали «по душам». Казалось, что он сейчас же покончит с ее строптивостью, но баба была сложнее, чем он ждал. Хотя — тем полезнее для дела, лишь бы обуздать. Он следил с осторожностью за ходом ее мысли.

— С психологической надстройкой вы, по-моему, просыпались, Хаджет Лаше... Людей, просто, по-собачьему ползущих за куском хлеба, в природе нет, мой дорогой... Подползет к вашим лакированным туфлям такой сложный мир страстей, такая задавленная ненависть,— понять — задохнетесь от ужаса... Делаете крупнейшую ошибку: профессиональному аферисту, как вы, надо прежде всего быть психологом. Тем более при вашей двойной профессии. (Кивнула ему дружеской гримаской.) Так вот, в особняке на Сергиевской я была нераскрытым бутоном. Безделье, роскошь, покой, не страсти, а щекотка, и — дымка иллюзий... А психологическая надстройка появилась уже после Константинополя... И от этого груза с удовольствием бы освободилась. Кстати, для чего вам тогда понадобилось вытащить меня из притона, спасти от полиции? Искали, что ли, подходящий товар?

— Отчасти искал подходящий товар, отчасти — вдохновение: глаза ваши понравились.

— Глаза,— задумчиво повторила Вера Юрьевна,— да, глаза... Я многого не могу припомнить... В памяти — провалы... Точно я минутами слепла...

— Всегда так бывает — в первый раз. Откуда у вас тогда завелся нож?

— Подарил один матрос... От ножа все тогда и пошло... Ах, какая глупость! (Прямая спина ее вздрогнула.)

— Теперь вооружены лучше?

— О, будьте покойны.

— Как же все-таки это случилось, почему именно этого грека? Ограбить, что ли, хотели?

— Не знаю... Нет... просто оказался противнее других... чего-то все добивался, какой-то последней мерзости... Должно быть, за многословие, за жестикуляцию, за какую-то вонь бараньим салом... Когда заснул, понимаете, как счастливый баранчик,— меня и толкнуло...

— Как баранчика, от уха до уха!.. (Она опустила голову, уронила руку с колена.) Еще деталь, Вера Юрьевна,— наверное, не помните: вы это сделали и начали пятиться и все время будто совали озябшие руки в несуществующие карманчики, а были-то совершенно голая. (Стремительным движением Вера Юрьевна поднялась, отошла к окну.) Я за стеной по

звукам понял, что — веселенькое дело... Приподнял ковер, гляжу, потом и совсем вошел и — поразило: глаза! Да, жалко, я не живописец... Помните, как я вам приказал одеться?.. Между прочим, под именем Розы Гершельман вас и сейчас разыскивает полиция...

Вера Юрьевна неподвижно стояла в окне,— вытянутая, тонкая, с широкими плечами... Только по движению юбки Хаджет Лаше понял, что у нее дрожат ноги.

— Хотя в ту пору у меня определенных планов не было, но вы сами уже были план, дорогой случай. Кровно связаться с человеком — дело сложное,— большие деньги дают за такого сотрудника... Теперь, когда планы созрели, согласитесь — глупо нам не договориться. Признаю — начало было не тонкое. Ну, хорошо, вы поставили свои условия, я поставлю свои. Но уже идти в дело слепо и без психологии. Ладно? А? Ножки-то дрожат? Ай-ай! Мне один военный рассказывал: бреется он однажды утром, на фронте, а солдатишки приводят еврея, шпиона поймали... Ну, велел повесить, а сам бреет другую щеку, глядит в окно,— еврей висит, в котелке, ноги длиннющие... История будничная?.. Так нет,— прошло сколько уже времени... Только он — бриться,— висит еврей, а такое уныние, ничем не отвязаться от этой памяти... А совсем как будто заурядный человек...

Вера Юрьевна вернулась на диван, взяла из портсигара папироску.

— Пример неудачный... Против себя рассказали... (Зажгла спичку.) Связь кровью — пошлейшая бульварщина... Константинопольские воспоминания взволновали меня, но — запомните! — в последний раз... А вы, Хаджет Лаше... (закурила) просто не импонируете мне ни как мужчина, ни как собеседник. Очевидно, вы не имели дела с интересными женщинами... Но это не важно... Мои требования: комфорт, свобода бесконтрольная и никакого общения между нами, кроме делового... Я — верна, я — хороший товарищ, если сказала — да, то — да... Излагайте ваши требования...

— Вера Юрьевна, во-первых, то, что скажу,— тайна, даже от Леванта.

— Хорошо.

Хаджет Лаше прислушался к голосам внизу и, пройдя на цыпочках через комнату, закрыл дверь...

Мари, Лили и Налымов продолжали сидеть внизу, в столовой, среди нераскрытых чемоданов. Здесь было то же запустение. Засиженные мухами окна, паутина. На непокрытом столе — грязные стаканы, пустые бутылки, остатки еды на бумажках. Наверху невнятно гудел голос Хаджет Лаше... Тоска — хуже, чем на разбитом вокзале в ожидании эвакуации.

— Пять стульев у стола, пять рюмок,— похоже, здесь было деловое заседание,— сказал Налымов.— Чрезвычайное изобилие окурков... Дети мои, похоже,— здесь хаза...

Лили опять всхлипнула. У Мари концы красивых бровей полезли вверх по вертикальной морщинке...

— Логично мы должны докатиться до бандитизма... Всякая идея, деточки, создает свою мораль. Священная собственность, честность, неприкосновенность личности — расстреляны пушками. Буржуа, ограбленный вчистую, галдит о революции, Версальский мир узаконил массовый грабеж, сверхпроцентный, грандиозный, небоскребный... Таскать бумажники в трамвае нехорошо только потому, что это не предусмотрено в Версале. Но если сразу вытащить семьдесят пять миллионов бумажников, по три тысячи долларов в каждом, то это уже не воровство, а репарации. Большие цифры — первый закон новой морали. В данном случае, я надеюсь,— наш друг Хаджет Лаше ставит дело широко, в контакте с версальской политикой, и в Баль Станэсе не станут пачкать совесть на мелочах.

Покуривая на чемодане, Налымов развивал разные философские теории. Его не слушали. Наконец голоса наверху затихли. Налымов оборвал на полуслове. Хлопнула дверь. Неверные шаги. Вошла Вера Юрьевна, устало села у стола.

— Лаше пошел вызывать по телефону машину. Поедет в поселок и привезет женщин — убирать дом. Ужин будет горячий...

Мари, вглядываясь в нее, спросила резко:

— О чем говорили? Почему у тебя физиономия перекошенная?

Не отвечая, Вера Юрьевна прикрыла ладонью глаза. Все трое глядели на ее слабую худую руку, туго

охваченную у запястья черным рукавом. Лили всхлипнула, бросилась к Вере Юрьевне, обхватила изо всей силы:

— Что случилось, что случилось?

Вера Юрьевна подняла, опустила плечи. Сильно сжав глаза, отняла руку, сказала:

— Вот что, Василий Алексеевич, уезжайте-ка вы отсюда. Левант на днях возвращается в Париж,— вы поезжайте с ним... (Вдруг сердито затрясла головой.) Не хочу вас здесь... Не хочу ваших шуточек... Все шуточки!.. Ничего шуточками не прикроешь... Трусость! Пошлость!.. Пусть — ночь, пусть — мрак, пусть — ужас, пусть — трагедия... (Странным, не своим голосом.) Пусть ледяная ночь, безнадежность... К черту шуточки!..

Она опустила голову. Все глядели на Веру Юрьевну. У Лили начали стучать зубы от страха.

— Он будет говорить с вами, с каждой отдельно,— резко сказала Вера Юрьевна.— Можете вы понять, наконец, что у меня истерика!..

Она упала на стол — лицом в руки, схватила себя за волосы. Ступни ног повернулись носками внутрь. Лили осторожно отошла. Мари, чиркнув спичкой, не закурила, спичка догорела до ногтей. Налымов с усилием тащил пробку, не откупорив, поставил бутылку с коньяком, пошел на цыпочках на кухню, принес стакан воды:

— Отхлебни, Вера...

Она локтем отстранила стакан.

— Летим на дно водоворота... Тени какие-то ночные. Разве мы живем? Только вопль человеческий, а самого человека давно нет... Эмигранты, шелуха! Лаше мне сказал — мы здесь, чтобы бороться с большевиками террором. (Мари тихо свистнула.) Сказал — вам бы хотелось сидеть в Париже, ждать, когда союзники возьмут Петроград, и вернуться на готовое. Союзные державы предлагают самим русским идти в авангарде... Авангард: Лилька, Мари, Вася!.. Мы должны шпионить, провоцировать, заманивать, отравлять, душить — кого укажут... Говорил о великой белой идее!.. Железный авангард: три проститутки и спившийся кот... Но — не важно,— за нами стоят союзники, великие цивилизации... Для грязной работы посылают нас. Оказывается,— в первый же день при-

езда мы, три женщины, были включены в «Лигу борьбы за восстановление Российской империи...» Завтра даем клятву... Нарушение клятвы, выход из Лиги карается смертью... Василий Алексеевич, прошу тебя — уезжай сегодня же...

Серовато-мутными глазами Василий Алексеевич тускло глядел на Веру Юрьевну, стоял, опустив по-военному руки, очень серьезный, даже важный.

— Никак нет, в Лигу я не запишусь, Вера Юрьевна. Не по чему иному, как потому, что не желаю одним волоском пожертвовать для европейской цивилизации. С большевиками тоже бороться не стану, большевиков боюсь. Будет время, когда от них ни на какой остров не скроешься, и это будет скорее, чем думают. Но при всем том из Баль Станэса не уеду, Вера Юрьевна, никак нет...

36

— ...В сегодняшнем заседании, кроме членов Лиги, присутствуют уважаемые гости, а также кандидаты в Лигу... Разрешите огласить повестку дня. «Первое: принесение кандидатами торжественной присяги. Второе: оглашение письма генерала Сметанникова к стокгольмскому атташе Американских Соединенных Штатов. Третье: текущие дела и дальнейший план работы»...

Хаджет Лаше снял черепаховое пенсне и оглянул собрание. За раздвинутым обеденным столом, в квартире, занимаемой генерал-майором Гиссером, сидело семнадцать человек. Направо от председательствующего Лаше играл карандашом граф де Мерси. Налево сидел, как бы отсутствуя, маленький, сухой, востроносый американец — адъютант атташе США. Напротив блестел сальной лысиной генерал-майор Гиссер, с отечным животом и пыльной растительностью на лице. В восемнадцатом году военный комиссариат РСФСР почему-то поверил в офицерскую честь Гиссера и послал его военным агентом в Швецию; некоторое время он отправлял из Стокгольма с курьером в Питер пачки газетных вырезок, покуда не удалось выписать к себе жёну, дочь и сына; после

этого он счел свои моральные обязанности исчерпанными. Теперь — сильно нуждался в деньгах.

По сторонам сидели: рыжебородый Эттингер, рослый, со вздернутым носом, со шрамом через всю щеку — поручик Биттенбиндер и женственный, элегантный, с залысым лбом — лейтенант Извольский. На одном конце стола — у раскрытого окна — четверо рослых, молочно-румяных шведских офицеров; на другом — датчанин коммерсант Вольдемар Ларсен, Александр Левант и три дамы — Вера, Мари и Лили. Налымов — бочком на стуле позади них.

— Господа, создатель Лиги и почетный ее председатель генерал Сметанников находится в настоящее время в России, где с опасностью для жизни производит работу по укомплектованию сил для борьбы изнутри. Мне поручено вести работу Лиги на периферии. Угодно вам считать меня заместителем председателя? (Голос Биттенбиндера: «Просим, просим!..» Несколько хлопков...) Благодарю за честь. Господа, предлагаю считать заседание открытым, приступим к принесению присяги.

Хаджет Лаше перегнулся через стол к Извольскому и указал глазами на угол комнаты. Там, на круглом столике, стоял закрытый крепом портрет в плюшевой рамке, убранный хвоей и живыми цветами. Извольский и поручик Биттенбиндер по-военному ловко вскочили, выдвинули столик с портретом на середину комнаты и лихо стали по сторонам на карауле.

Лаше, опять вздев пенсне, вынул листочек, строго через стекла взглянул на дам и предложил подойти к столику. Вера — хмуро, Лили — растерянно, Мари — снисходительно усмехаясь — поднялись и стали перед портретом. Члены Лиги также поднялись. Иностранцы перешепнулись и остались сидеть.

— Вступающие в священную Лигу борьбы за восстановление Российской империи: княгиня Вера Юрьевна Чувашева, Елизавета Николаевна Степанова, дочь зверски замученного генерал-майора Николая Александровича Степанова, и Марья Михайловна Лещенко, урожденная Скоропадская, повторяйте за мной слова присяги... Памятуйте, что под этим траурным крепом — символ спасения и величия нашей родины...— Он поправил пенсне и стал читать по бумажке раздельным, торжественным голосом:—

«Я прочел и одобрил предложенный мне для подписи текст присяги. Я подписал ее, вполне сознавая всю ответственность за нарушение ее. Всей моей жизнью, всеми моими помышлениями, с радостью вступаю я в организованную по-военному группу и клянусь до последнего издыхания служить отечеству, не думая о вознаграждении или личных преимуществах. Если я вольно или невольно изменю святому делу, я тем самым себя осуждаю на смерть...»

Вера Юрьевна, Елизавета Николаевна и Марья Михайловна пробормотали вслед за Лаше слова присяги. Поручик Биттенбиндер, быстро наклонившись, приподнял конец креповой ленты:

— Целуйте, медам...

Клятва была принесена. Дамы вернулись к столу. Члены Лиги сели. Лаше с мягкой улыбкой — Налымову:

— Мы никого не принуждаем вступать в Лигу. Дело спасения родины — дело совести. Но позвольте еще раз повторить вам — патриоту, дворянину, офицеру императорской гвардии — наше горячее желание — видеть командира серебряной роты, подполковника Налымова, среди нас...

Вера Юрьевна за спинкой стула схватила руку Василия Алексеевича. Его красноватое, неопределенно улыбающееся лицо покивало председателю...

Хаджет Лаше нахмурился. Левант, торопливо подойдя, о чем-то зашептал ему на ухо. Генерал Гиссер и Биттенбиндер угрожающе поглядывали. Лаше кивком отпустил Леванта.

— Господа, подполковник Налымов наш друг. Его колебания не должны создавать впечатления недоверия к нему. Будем надеяться, что они скоро окончатся, и мы братски обнимем нового сочлена. Теперь позвольте огласить письмо генерала Сметанникова, подписанное также по передоверию мною, генералом Гиссером, лейтенантом Извольским и секретарем стокгольмского отделения Лиги поручиком Биттенбиндером...

Он вынул из портфеля листы плотной бумаги, благоговейно развернул, поверх пенсне с придушенным вздохом взглянул на занавешенный трауром портрет и начал читать, переводя фразу за фразой по-французски — с поклоном в сторону графа де

Мерси и по-английски — с поклоном в сторону адъютанта американского атташе:

— «Стокгольм. Господину атташе США. Милостивый государь, настоящее положение в России требует немедленной военной поддержки со стороны союзников против большевиков. Так как за последние месяцы некоторые газеты во Франции, Англии и Америке предприняли поход против вмешательства, то крайне необходимо документально осветить политический характер и беззаконный образ действия большевиков. В высшей степени важно, чтобы мы могли представить общественному мнению вышеуказанных стран как можно больше документов, доказывающих злодеяния этих лжесоциалистов...»

Граф де Мерси и адъютант военного атташе США переглянулись. Лаше продолжал:

— «За последние месяцы Стокгольм был центром, в который свозились все важные документы большевиков, а также крупные ценности: сто двадцать семь миллионов рублей русскими кредитными билетами, два миллиона американских долларов, двести тысяч английских фунтов и четыре миллиона франков. Нам совершенно известно, что в Стокгольм привезены из Петрограда личные драгоценности семьи Романовых — императорская корона, держава и скипетр, осыпанные бриллиантами мирового значения, шапка Мономаха, бриллиант «граф Орлов» в четыреста каратов, несколько десятков пудов жемчуга и горностаевая мантия...»

Здесь Хаджет Лаше приостановился на секунду, чтобы впечатление от его сообщений глубже проникло в души присутствующих... Действительно, у членов Лиги светились глаза...

— «Упомянутые документы и ценности хранятся большевиками на трех частных квартирах в Стокгольме, местонахождение которых мы можем установить,— продолжал он.— Полковник Магомет бек Хаджет Лаше, который перенес от большевиков неслыханные нравственные и физические страдания и является человеком железной воли и энергии, предлагает достать все документы и ценности большевиков. Он готов принять на себя всю ответственность хотя бы перед публичным судом. Он имеет свою собственную организацию — стокгольмское отделение Лиги — из

храбрых и вполне надежных людей, с которыми предполагается посетить упомянутые помещения и изъять у большевиков все их средства подкупа и преступной пропаганды».

Четыре шведских офицера сдвинулись головами, перешепнулись. Граф де Мерси, собрав горизонтальными морщинами лоб, разглядывал кончик карандаша. Американец плотно поджал губы.

— «Большевистская пропаганда подкапывает социальный строй всего мира. Потеря на полмиллиарда ценностей и опубликование всех их документов явились бы для большевиков бо́льшим ударом, чем даже военная карательная экспедиция, и помогли бы всем странам избежать крупных затрат и пролития крови. Полковник Магомет бек Хаджет Лаше снесся по вышеуказанному делу со шведскими властями и получил заверение, что в отношении посещения квартир ему не следует опасаться каких-либо затруднений, но что Швеция, как нейтральная страна, сама не может принимать участия в осуществлении плана изъятия. Этот план Лига целиком берет на себя. При этом мы хотим совершенно ясно установить, что по изъятии документы должны попасть в руки американской миссии и от лица Америки, как мирового арбитра, обнародованы в соответствующих органах».

— Очень хорошо,— быстро сказал американец.

— «Что касается денег и ценностей, то мы хотим, чтобы они были употреблены на образование русской белой гвардии для непосредственных действий против большевиков. Все конфискованные деньги Лига, в полном сознании долга, внесет на текущий счет в любой из банков, какой укажут союзники».

— Разумно,— со сдержанным волнением проговорил генерал Гиссер.

— «Для исполнения нашего плана требуется двадцать пять тысяч крон для следующих надобностей: для найма квартир, прилегающих к вышеупомянутым помещениям; для найма дачи где-нибудь вне Стокгольма, куда свозились бы конфискованные деньги и документы; для найма автомобилей, покупки оружия, подкупа разных лиц и на слежку за большевиками. Мы берем на себя смелость обратиться непосредственно к вам, господин адъютант, в надежде, что вы окажете вышеизложенному полное внимание, ибо

каждый день дорог и большевики могут покинуть Стокгольм и увезти документы и ценности».

— Следуют наши подписи,— сказал Хаджет Лаше, бросая пенсне на листки письма.— Итак господа, мы выходим из подполья и начинаем действовать с открытым лицом. Нам нужна нравственная поддержка, нужны средства, нужна защита. Деятельность Лиги покрыта тайной для наших врагов. Перед союзниками мы не имеем тайн, притом уверены в скромности здесь присутствующих... Господа, вот краткий отчет деятельности лиги за год... Мы получили от генерала Трепова семьдесят две тысячи крон, от принца Ольденбургского пятнадцать тысяч крон и триста тысяч думских рублей. Эти суммы целиком поступили в распоряжение генерала Сметанникова для внутренней подрывной работы в России. Далее: Лига организовала в Стокгольме бюро, куда вошли офицеры шведской королевской армии (поклон в сторону молочно-румяных шведов), задача бюро — формировать в Скандинавии и на побережье Балтики белые отряды для борьбы против Петрограда. Наконец, господа, я должен огласить наиболее щекотливую сторону моего доклада и делаю это с сознанием нравственной правоты. Дело в том, господа (в сторону графа де Мерси и американца), что по русским полевым законам семь кадровых офицеров имеют право вынести смертный приговор государственному преступнику и привести приговор в исполнение.

— Вот как?— беспечно спросил граф де Мерси.

— Да, граф... И пусть это не покажется вам проявлением личной мести или нарушением гуманности: Лига приговорила к смерти и казнила четырех опаснейших большевиков: Якова Фейгина, Иосифа Домбровского, Самуила Либермана и Алексея Фокина, он же — Браутман...[1] Совершая этот акт, Лига защищала благосостояние и покой миллионов культурных семейств, которые могли стать жертвой кровавого исступления вышеназванных лжепророков... Протоколы о времени, месте и подробностях казни будут в свое время переданы в американское посольство... Господа, я кончил. Господин лейтенант, позвольте вам вручить письмо для передачи господину атташе.

[1] Имена и фамилии подлинные.

Американец секунду колебался, но взял письмо и медленно засунул его в набедренный карман френча. Лаше предложил обменяться мнениями. Все головы повернулись к графу де Мерси. Тот сломал, наконец, кончик карандаша.

— Кажется, нужно, чтобы я высказался? Мои дорогие дамы и господа... Что я могу прибавить к словам энергичного Магомета бек Хаджет Лаше? Я очень живо провел сегодняшний вечер. Надеюсь, в Париже с чувством удовлетворения воспримут новеллу моего друга Хаджет Лаше.

Покинув заседание, граф де Мерси и адъютант американского атташе не спеша шли по Ваза-гатан. Прохожих было мало. Бесшумно вверх и вниз по главной улице проносились машины. Ночной ветер неприятно подувал с залива.

— Все-таки маленький городок, не правда ли?— беспечно сказал граф де Мерси.

Американец шагал, глядя под ноги,— на этот раз он заговорил:

— Как вы относитесь к сообщениям полковника Магомета бек Хаджет Лаше?

— Татарин врет процентов на семьдесят пять,— беспечно ответил граф де Мерси.

— Сегодня мне показалось, что нас втягивают в грязное дело.

— Это не совсем так, дорогой друг.

— Вы находите, что бывают дела грязнее?

— Сегодня нам демонстрировали один из участков белого фронта, снабженного не совсем обычным оружием,— только и всего. Если большевики напускают на нас всех оборванцев всего мира, мы вправе спустить на них всю человеческую сволочь. Иногда профессиональный негодяй стоит целой стрелковой бригады.

— Я предпочел бы все же стрелковую бригаду,— мрачно пробормотал лейтенант.— Американская точка зрения может казаться слишком пуританской, но с этим приходится мириться.

— О, разумеется!— Граф де Мерси сделал изящно неопределенный жест.

— Если мы коснемся устоев нравственности, единственной непоколебимой реальности, Америка в тот

же день взлетит на воздух. Я бы хотел выскоблить из памяти сегодняшнюю прогулку по ту сторону морали.

— Насколько мне не изменяет память, президент Вильсон развивал подобные же взгляды на Версальской конференции. Но его не слишком горячо поддержали в Америке.

— Это наш позор! Президент выражал самые светлые стороны американского духа, наши старые традиции, создавшие Америку и американцев. История с президентом — наш позор! Война развратила людей. У нас оказалось слишком много денег. Окровавленные пожарища Европы, дешевые европейские руки, разоренная промышленность — это воистину сатанинское искушение! Ослепленные наживой, мы сами шаг за шагом втягиваемся в европейскую грязь — мы очутимся в ней по уши.

— Это ужасно,— с сочувствием сейчас же ответил граф де Мерси.

— Когда я пересекал океан, я думал, что найду Европу, искупившую свои грехи, смиренную от перенесенных несчастий... И нашел всеевропейский шабаш, торжество наглого и откровенного зла... Русская революция. Мы ждали ее, мы приветствовали освобождение России от феодальной тирании великих князей... Русские воспользовались свободой, чтобы поставить трон сатане. Русские цинично растоптали все нравственные законы. А вы пытаетесь из ведерка заливать этот адский пожар... В крестовый поход на Россию! С библейской суровостью вырвать плевелы зла! Не корпуса — миллионные армии с крестом на шлемах, с крестом на танках! Что я увидел за этот месяц в Стокгольме? Жалкую кучку беспринципных журналистов и мелкие посольские интриги... И этого полковника Магомета бек Хаджет Лаше, которому место несомненно на электрическом стуле...

Граф де Мерси весело рассмеялся, взял лейтенанта под руку.

— Я в восторге от вашей молодости и вашей принципиальности. Но все же, как вы думаете поступить с письмом Хаджет Лаше?

— Я передам письмо нашему атташе с моими комментариями.

— Если он все же найдет нужным воспользоваться некоторыми услугами Хаджет Лаше?

Лейтенант некоторое время шел молча, затем лицо его брезгливо сморщилось:

— Если бы мы были в Америке, не представляю, как бы мне могли задать подобный вопрос... Но здесь... на этих человеческих задворках!.. Если здесь возможно существование Магомета бек Хаджет Лаше, очевидно, я чего-то не понимаю... Я подчиняюсь...

— Превосходно... Вот мы и дошли... Очаровательный маленький кабачок. Вы не голодны? Зайдем. Я уже несколько дней собираюсь побеседовать с вами об одном милосердном деле: о продовольствии несчастного населения Петрограда. По-видимому, Юденич скоро освободит город, и во всю остроту встанет вопрос питания... Хотелось бы всю спекуляцию вокруг этого ввести в русло...

37

В старой узенькой улице на Стадене, близ корабельной стенки, при выходе из портового кабачка, охотно посещаемого журналистами в поисках живописного материала, Карл Бистрем столкнулся с четырьмя рослыми румяными шведами. Они были в одинаковых светло-серых шляпах и синих пиджаках. Они загородили тротуар и, когда Бистрем сошел на мостовую, его толкнули в плечо. Он вспыльчиво обернулся,— его окружили.

— Эй вы, господин в кепке!.. Вы умышленно толкнули нашего друга... Потрудитесь извиниться...

Несмотря на свои тяжелые мужицкие кулаки, Бистрем не любил драки. Этих к тому же было четверо. Он пробурчал, насколько мог примирительно, что в сущности не он, но его толкнули. Тогда четверо заорали:

— Ага! Он еще лжет!

— Лгун и трус!

— Мало тебя били по морде!

Задыхаясь от гнева, Бистрем сказал:

— По морде меня никогда не били... Прошу дать мне дорогу...

Но его так толкнули в спину, что он едва удержался на ногах. Он торопливо стал снимать очки, пятясь к стене. Но от второго толчка вылетел на середину

улицы. Уже не помня себя, размахнулся, сбил чью-то шляпу. Сейчас же в его трясущееся от ярости лицо ударили костяной рукояткой стека. Тогда он бросился вперед головой, схватил одного за мягкий живот, повалил... Рукоятки стеков замолотили по его голове, по шее, плечам... Затрещали ребра,— его били каблуками, повторяли:

— Провокатор, шпион, большевик...

На шум выбежали матросы из кабачка. Тогда эти четверо пустились бежать и в конце улицы вскочили в автомобиль. Матросы подняли окровавленного Бистрема — он сопел с закрытыми глазами. Повели в кабак. Усадили, захлопотали. Голова у него была рассечена в нескольких местах, глаз затек, губу раздуло. Ему водкой промыли раны, перевязали платками. Не разжимая зубов, Бистрем продолжал сопеть. Через зубы ему влили стакан рому.

Один из матросов, погладив его по спине, сказал:

— Будь уверен, дружище, тебя обработали за политику, мы эти дела понимаем... Дай срок,— мы расправимся с этими молодчиками. А ты — знай, стой на своем... И тебе это даже полезно, газетному писаке,— на своей шкуре узнал, что такое буржуа...

Костяные рукоятки стеков разрешили колебания Бистрема. Неделю пролежав в постели в ужасающем душевном состоянии, однажды утром, замкнутый, сосредоточенный, худой, заклеенный пластырями, с лимонным кровоподтеком на глазу, он появился в столовой у Ардашева.

— А! Бистрем, дружище!.. Ай-ай, где же это вы так?

— Это не играет теперь никакой роли, Николай Петрович. Я не буду рассказывать подробности. Я много думал и понял, что обижаться на дураков глупо... Я стал выше личной мести... Но зато я очень прочно утвердился в классовой ненависти...

За стеклами очков глаза его цвета зимнего моря были жестки. На угловатом лице — ни прежней открытости, ни добродушия.

— Вы когда-нибудь слышали о берсёркьерах, Николай Петрович? У скандинавских викингов некоторые из воинов были одержимы бешенством в бою, они

сражались без щита и панциря, в одной холщовой рубашке. Их можно было убить, но не победить. За эти дни я почувствовал в себе кровь берсёркьера... Хочу просить вас, Николай Петрович, дать мне несколько рекомендательных писем в Петроград... Это пригодится на всякий случай... В дальнейшем я уже сам сговорюсь с большевиками...

— Слушайте, Бистрем, вы знаете, что ехать сейчас в Петроград совершенное безумие...

— Почему?

— Я вообще не представляю, как большевики отстоят город... Юденич неминуемо возьмет Петроград и зальет кровью...

— Значит, тем более мне нужно ехать. Кое-какую пользу я, наверное, принесу.

— Там террор...

— Революция всегда на внешнюю опасность отвечает террором, это лишь подтверждает ее жизнеспособность...

— Чудак... Вы там умрете с голоду...

— Не думаю... Я уверен — когда человек приносит революции самого себя, революция дает ему хотя бы двести граммов хлеба в сутки... На большее я не рассчитываю...

— Ну, дело ваше... (Ардашев иронически поглядел на Бистрема и почесал нос.) Но слушайте, если вы попадетесь белым на границе и на вас найдут мои письма?..

— Вы напишите их на тонкой бумажке, я положу ее в капсулю и на границе возьму капсулю в рот... Вы спокойно можете мне довериться, Николай Петрович...

— Хорошо, ладно... Кому бы только написать из видных большевиков? Предупреждаю, моя рекомендация — не ахти какая... Я пощупаю, вечерком приготовлю... Давайте завтракать...

— Благодарю, Николай Петрович, я уже начал приучать себя к суровому режиму...

Ардашев засмеялся было... Но нет... Перед ним — не прежний шутник Карл Бистрем, простодушный, веселый, как солнце. Получив согласие, что письма завтра будут, Бистрем медленно поднялся со стула, сдержанно поклонился и, кажется, даже секунду колебался, подавать ли руку, или уйти из этого мира, оборвав все ниточки до последней.

В конце августа, в седьмом часу вечера, красногвардеец, рабочий Путиловского завода, Иванов, сидевший на песчаной насыпи пограничного окопа под Сестрорецком, услышал со стороны финской границы осторожный хруст веток.

Иванов вытянул за штык из окопа винтовку и сощурился, чтобы лучше слушать. Хрустело и затихало. Как будто ползком пробирался человек. Вечер был безветренный и ясный. В конце недавно поваленной артиллеристами просеки лежало оранжевое море с сизыми и красными отливами. Иванову стало не по себе в этой странной закатной тишине. Следующий пост был шагах в трехстах.

Друг не поползет от финской границы,— очевидно. Значит, надо стрелять. Ну, а вдруг их там не один, а банда? Как действовать в таком случае? Оставаться на посту до последней капли крови или, заметив приближение врага, бежать к телефонному посту донести об опасности? Революционный пограничный воинский устав еще не был написан, он целиком вытекал из сознательного понимания бойцом задач революции и, в частности, обороны цитадели пролетариата — Северной коммуны.

Не решив еще тактической задачи, Иванов неслышно соскользнул с бруствера в окоп и, прикрываясь еловой веткой, поглядывал. Ни черта среди вечерних теней в лесу не было видно. Опять хруст,— ближе. Он изготовил винтовку... подумал и на всякий случай вытащил ноги из разбитых до последней степени и обмотанных бечевками валенок. Угрюмая ворона пролетала над просекой. Чем дольше Иванов ожидал, тем злее становилось на сердце. «Ползут, ползут проклятые гады, не могут успокоиться, что рабочий класс, разутый, раздетый, страдает за то, чтобы жить и работать справедливо».

Поправее расщепленной сосны заколебалась ветка. «Вот он!» Товарищ Иванов лег грудью на бруствер, выстрелил... Второй патрон заело. Захрустел зубами... тотчас там за веткой чем-то замахали — и срывающийся от страха нерусский голос проговорил по-русски:

— Товарищи, не стреляйте, свой, свой!..

Ближайший пост ответил гулко, и сейчас же по всему лесу застегали винтовки.

А тот все вскрикивал: «Товарищи, не надо!..» Иванов вывел тактическое заключение, что, по-видимому, тут — один человек, угробить его никогда не поздно, а лучше взять живьем и допросить. Надрывая горло, Иванов заорал в сторону веток за расщепленной елью:

— Выходи на открытое, эй!

Ветки заворошились, и из-за хвои поднялся длинный человек, вздел руки над головой, в стеклах его очков блеснул красный закат. Высоко поднимая ноги, зашагал к окопу. Но Иванов опять бешено:

— Не подходи ближе десяти шагов... Устав не знаешь, сволочь! Бросай оружие...

— У меня нет оружия, товарищ...

— Как нет оружия! Не шевелись...

Иванов влез на бруствер, поедая глазами длинного человека в хорошей буржуазной одежде — короткие штаны в клетку, чулки; морда, конечно, трясется со страха, а рот растянул до ушей... Шутить хочешь? Мы покажем шутки!.. Держа винтовку на изготовку, Иванов подошел к нему:

— Покажь карманы...

Левой рукой ощупал, — ничего подозрительного нет. Платок, спички, коробка папирос...

— Товарищ, пожалуйста, возьмите папиросу...

— Что такое? Подкупать, — это знаешь? Положь барахло в карман... Опусти руки. Кто такой?

— Я шведский ученый... Я иду в Петроград, хочу работать с вами... Мое имя — Карл Бистрем.

— Ты один?

— Один, один.

Иванов в высшей степени подозрительно оглядывал лицо и одежду человека:

— Документы есть?

— Вот, пожалуйста...

— Ладно... Иди впереди меня... — Дойдя с ним до окопа, Иванов стал кричать ближайшему постовому: — Эй, товарищ Емельянов!.. Шпиона поймал. Звони в штаб... (И — Бистрему уже спокойно.) Обожди тут. Придет разводящий, отведет тебя в штаб, там выясним... За переход границы — ты должен знать, что полагается.

— Товарищ, но я же не мог легально.

— Ладно, выясним... Как же белофинны тебя пропустили?

— О, я два дня скрывался в лесу... Я очень голоден, товарищ...

На это Иванов только усмехнулся недобро. Бистрем с возраставшей тревогой глядел на первого встреченного им большевика,— продранное под мышками черное пальто, подпоясанное патронташем, зеленый армейский картузишко с полуоторванным козырьком, босой, среднего роста, невзрачный, ввалившиеся, давно не бритые щеки, голодные скулы и чужие, не знающие жалости, умные глаза.

И вдруг Бистрем понял, что этот человек ничем человеческим с ним не связан. Он из другого мира. Что, перебежав границу Северной коммуны, он еще не попал туда... Что недостаточно поверить в революцию, предпочесть старому порядку этот неведомый мир (такой романтический, такой грозно трагический издали из бистремовской мансарды на Клара Киркагатан), но нужно что-то понять простое, совершенно ясное и простое, опрокидывающее внутри себя весь старый мир во имя неизбежного, совершенно нового. И тогда он увидит человеческий ответный взгляд в глазах этого невзрачного и голодного рабочего, чьи негнущиеся руки лежат — ладонь на ладони — на дуле винтовки.

Бистрем холодел от волнения. Стояли молча: Бистрем — засунув руки глубоко в карманы спортивных штанов, Иванов — терпеливо поджидая разводящего. Негромко, будто отвечая на мысли, Иванов сказал:

— Хоть ты не сопротивлялся и взят без оружия, но твое положение отчаянное, прямо говорю...

— У меня с собой письма, рекомендации...

— Да что же письма... От тебя на версту буржуем несет... Кто тебя знает, кто ты такой... Возиться, знаешь, теперь не время, каждый человек опасен,

— Товарищ, разве вы не можете представить, что в буржуазной Европе есть вам сочувствующие, которые хотят бороться вместе с вами?..

Иванов ответил не сразу, предостерегающе:

— Хочешь меня уговорить, чтобы я тебя отпустил, да?

— Товарищ!.. (Бистрем сказал с искренней горячностью.) Я не хочу от вас бежать... Я сам прибежал к вам...

— Это и подозрительно... И опять тебе здесь нечего делать... У нас война со всем миром...

Помолчали. Мрачнеющий закат лежал на море в конце просеки. В лесу было уже совсем темно. Из-под откоса, куда спускался окоп, слышалось дыхание идущих по песку людей. Товарищ Иванов вздохнул: идут. Поднял винтовку — ложем под рваную подмышку.

— Конечно, есть среди вас совестливые, не все же огулом белобандиты,— сказал он примирительно.— Посмотреть, что ли, захотел, как мы без вас справляемся? Так, что ли? — Он поднял глаза, и они сузились насмешкой.— Не понравится тебе... Работа у нас черная, тяжелая... Это, брат ты мой, революция, не как в книжках... Читать ее трудно...

Подошли трое, в пиджаках, в куртках, перепоясанных патронташами и пулеметными лентами,— те же суровые худые лица, отрывистые голоса.

— Который? Этот? — спросил разводящий, указывая наганом на Бистрема.

Двое других стали по сторонам.

Иванов рапортовал:

— Оружия на нем не было, попытки к бегству не делал, руки поднял, идет на меня, смеется... Прямо думаю — что такое за человек? Вот письма на нем к питерским товарищам. Я с ним поговорил... Идеалист — сочувствующий...

— Вы задержаны, товарищ,— сказал разводящий.— Следуйте за нами.

Держа в опущенной руке револьвер, он пошел по песчаной насыпи вниз по откосу, за ним зашагал Бистрем,— руки в карманах,— за ним два красногвардейца...

Его привели на уединенную дачу на пустыре, с разрушенными службами и выбитыми стеклами. Заперли в одной из комнат, в нижнем этаже. Он изнемог от усталости и голода, сел на какой-то ящик. За единственным окном над догоревшим закатом зажглась звезда.

«Чего ты, собственно, ждал, Карл Бистрем? Вот ты на земле Великой Революции. Ждал, чтобы земля эта сотряслась, перед тобой бы проходили колонны великанов и небо иного цвета было, чем над Стокгольмом?»

Подпирая скулы так, что очки взлезли на лоб, он вспоминал слова товарища Иванова.

«Ты ехал на праздник, Карл Бистрем,— тебя сразу раскусили... Вот она, революция — полутемная комната на заброшенной даче, мертвая усталость и горькая слюна голода... Дырявое пальтишко на голом теле, унылый окоп, ржавая винтовка. Нет, Карл Бистрем, ты не идеалист, не романтик... Ты не отступишь перед унынием революционных будней... Загляни хорошенько в самого себя,— честно, как перед смертью... Веришь в начало великого наступления Пролетариата? Веришь, что пробил первый час века Социализма?»

Бистрем встал с ящика и заходил по гнилому полу, где между щелями пробивалась трава. Будто горячее вдохновение охватило его голову. И, стараясь обуздать разбросанные мысли, он с методичностью и беспристрастием захотел еще раз проверить выводы.

«Русская революция одним взмахом зачеркивает прочное буржуазное хозяйство. Она отказывается от эволюции, она считает идею эволюции самой хитрой и опаснейшей ловушкой, расставленной, чтобы выиграть время одурманиванием пролетариата... Буржуазное хозяйство не оправится от смертельной язвы войны... Равновесие уже нарушено, и противоречия будут расти с каждым годом, как раковые опухоли. Русская революция опережает естественный процесс разложения старого порядка, этим она спасает запасы творческой энергии пролетариата. Это правильно. Мы спасаем одно, два, может быть, три поколения... На три поколения приближаем социализм и будем строить его со всем буйством неистраченных сил...»

Он потер ладонью о ладонь и только тогда заметил стоящего у дверного косяка человека в кожаной куртке, в черном картузе. На бледном — в сумерках — лице его черная борода казалась приклеенной.

— Ну что же, пойдем побеседуем, Карл Бистрем,— сказал он негромко.

Он пошел вперед по темному коридору и толкнул дверь в небольшую комнату, едва освещенную огонь-

ком фитиля, плавающего в жестянке из-под консервов. Сел у стола, указал Бистрему клеенчатое изорванное кресло:

— Осторожнее, нет одной ножки.— Слабой рукой выдвинул ящик, вынул завернутый в обрывок газеты продолговатый, в два пальца толщины, кусок черного хлеба. Протянул его Бистрему.— Ешьте... Здесь ровно двести граммов, все, что революция предлагает за вашу жизнь.

Бистрем опустил руку с куском, уставился на человека: озаренное огоньком коптилки матово-бескровное лицо чахоточного, большие, без блеска, без любопытства, черные глаза. Вся жизнь никогда не смеявшегося лица сосредоточена, казалось, в широких нервных ноздрях. Он глядел не мигая, но будто и не видя сидящего перед ним...

— Откуда вы знаете про хлеб? — со страхом спросил Бистрем.

— Вы же разговаривали вслух. Я могу повторить: «Когда человек приносит революции самого себя, революция должна дать ему хотя бы двести граммов в сутки...»

— Да, да, меня очень занимал этот вопрос... Я думал, что острые материальные лишения, неизбежные во время революции, раскрывают огромные запасы духовной энергии, дают революции специфическую, неотразимую убедительность... Но я готов оставить эти рассуждения по ту сторону границы... Сегодня я получил хороший урок...

— Вы рисковали получить урок более суровый,— сказал человек. Не разжимая рта, подавил кашель.— Вопрос питания — один из самых страшных у нас. Мы не можем утешаться тем, что у голодного человека рождаются гениальные мысли. (Щеки Бистрема залились румянцем.) С другой стороны, мы не можем снабжать население кулацким и спекулянтским хлебом... Под этим хлебом мы похороним социализм... Кусок, который вы съели,— отвратительный хлеб, пополам с так называемой кострой, но, чтобы его добыть, затрачены человеческие жизни. И все же мы не отступаем от такого дорогого хлеба... Ну, так вот... Я прочел ваши рекомендательные письма. Звонил в Петроград по поводу вас... Вы — свободны... (Бистрем сейчас же поднялся. Человек заслонил просвечива-

ющей рукой с черными ногтями заколебавшийся огонек светильни.) До первого поезда много времени. Может быть, вы расскажете поподробнее о политической обстановке в Европе, об организациях, о людях. Позвольте вам поставить несколько вопросов... Скажите, вы не встречали в Стокгольме такого — Хаджет Лаше?

Утренний поезд тащился по заросшему травой полотну. Безлюдье и запустение, дачи с выбитыми окнами, поваленные заборы, фундаменты и груды кирпича... Болота, пни... Ржавые проволоки окопов... Направо — заросшая камышами Лахта, негреющее солнце над пустым заливом. Вдали — необъятный город. Ни одного дыма в прозрачном воздухе над городом. В море — синеватые очертания Кронштадта.

Бистрем думал о ночном собеседнике. (Под утро, когда они пили морковный кипяток, человек рассказал кое-что про себя.) Одиннадцать лет царской каторги. Туберкулез, видимо, в последней стадии. Жизнь — в напряжении воли. Он сказал: «Вам придется отрешиться от многого того, что еще вчера по ту сторону границы вы считали дурным или хорошим. Резко и непримиримо отделить врагов от своих: классовое чутье поддается развитию. Ум должен быть устремлен к одной цели, направлен, подчинен воле революции».

Бистрем был подавлен и испуган. Будто попал в чудовищный водоворот, и он несет его от сегодняшнего дня в неведомое — прочь от всего привычного и обыденного... Он сидел у выбитого окна. Вагон медленно полз мимо заросших бурьяном огородов. Несколько человек разбирали деревянную дачу. Как будто вымершее предместье, покосившиеся фонарные столбы. Остовы печей и дымовых труб. Белая коза на пригорке в бурьяне. Пакгаузы с сорванными дверями, на путях — ржавые паровозы, платформы с пушками. Вокзал, и на перроне — суровые люди с винтовками.

Бистрем вышел на безлюдную площадь,— окопы, заграждения из мешков и проволоки. Достал клочок бумаги с адресом Смольного и номером комнаты, где должен был зарегистрироваться, прикрепиться к комиссариату народного просвещения, как ему посове-

товали сегодня ночью, и получить паек и жилплощадь. Он побрел вдоль ржавых трамвайных рельсов, скрытых под травой. Перешел Большую Невку, где из воды торчали заплесневелые ребра огромных барок.

Понемногу стали появляться обыватели. Сутулый человек с мешком и жестянкой от керосина за спиной в раздумье стоял на перекрестке — ноги обернуты кусками ковра, сваливающиеся штаны, редкая бородка, пенсне на унылом носу. Размышлял, казалось, куда идти? На солнышке между тенями от домов лежали два босых мальчика и худенькая девочка, кусали травинки, долго провожали взглядом не по-русски одетого Бистрема. В темном доме с колонным подъездом, высоко, в раскрытом окне, стоял, заложив руки за спину, очень полный человек в нижнем белье, в золотых очках,— круглой серебристо-седой головой и насмешливым лицом походил на римлянина. Его просторные штаны, проветриваясь для гигиены, висели на оконной задвижке. С полнокровным благодушием он глядел на город. Бистрем изумился. Полный человек, перегнувшись через подоконник, с усмешкой следил за ним.

Дойдя до конца улицы, Бистрем остановился,— эту решетку, галерею Зимнего сада и балкончик во втором этаже он узнал по фотографиям. Отсюда Ленин поднял революцию. Присев под липой напротив в сквере, Бистрем глядел на этот дом из глазированных кирпичей, на огромную, доходящую пустырями до реки, Троицкую площадь с ветхой деревянной церковью, на низенький дощатый купол цирка, на серые башенки и гранитные бастионы крепости. Тишина, лишь в сквере шелестели липы.

Отдохнув, Бистрем направился через Троицкий мост, укрепленный предмостными окопами. Отсюда ему открылась широкая, лазурно сверкающая в тот час Нева. Вдали отражались белые колонны Биржи, старые ивы у подножья крепости. Течением мягко разбивался золотой отсвет иглы Петропавловского собора. На левой стороне тянулись колоннады опустевших дворцов.

Величественный, прекраснейший из мировых городов, казалось, задремал на берегах полноводной реки, на грани двух миров, двух эпох, отдыхая от пронесшихся бурь, от видений прошлого, окаменев-

шего в этих колоннадах, в бронзовых львах, вечно улыбающихся сфинксах, в черном ангеле на яблоке Петропавловского шпиля, и сквозь дремоту ожидая новых, еще неведомых потрясений, чтобы раскрыть гранитные глаза на вторую жизнь.

Бистрем, облокотясь о перила, поддался неизбежному очарованию Петербурга.

По мосту двигалась странная толпа. По двое, по трое в ряд: дамы в старомодных шляпках, истрепанных непогодой, иные в необычайной одежде, сшитой из портьер и диванных обивок; длинноволосые люди с истощенными комнатными лицами, иные — бритые, круглощекие, с остатками щегольства в одежде — напоминали поставщиков и спекулянтов времен войны; глядя поверх опустошенными глазами, шагало несколько рослых стариков с породистыми презрительно-удивленными лицами; молодые женщины — одни заплаканные, другие — с вызовом самому черту...

Все они несли лопаты, кирки и заступы. Впереди бойко шел, ухмыляясь белыми зубами, матрос с железной лопаткой на плече,— маленькая шапочка с ленточками, на загорелой груди под тельником — татуированное сердце. Поворачиваясь к толпе, он пятился и подмигивал:

— Бодрее, братишки, подтянись, антиллигенты!

Бистрем последовал в некотором отдалении за толпой. С Дворцовой площади свернул на Невский,— там на буграх илистой земли, на кучах булыжника и торцов копошились сотни людей. Поперек Невского, вдоль решетки Александровского сада, рылись окопы, строились укрепления. Подошедшая толпа медленно, поодиночке, расползлась по канавам. На перевернутой бочке агитатор, работая кулаком, выбрасывал отрывистые фразы:

— ...не отдадим белой сволочи первого города республики!.. Прихвостни мирового капитализма рассчитывают на наш голод, на затруднения с углем и металлами... Они просчитаются, товарищи... Ответим на их бешеные вылазки сплочением наших рядов... Вырвем хлеб у кулака!.. Паркетами буржуазных особняков будем топить фабричные котлы, переплавим на штыки решетки дворцов... С большевистской беспощадностью раздавим заговоры... Каленым железом отбросим от Петрограда кровавую свору белогвар-

дейских собак... Товарищи, каждый удар лопатой — удар по гнусным замыслам контрреволюции.

Его не все слушали,— иные равнодушно продолжали копать, иные, опершись о лопату или держась обеими руками за поясницу, глядели в землю; на лицах — отвращение и страдание. Сухонькая старушка, остановившаяся около Бистрема, сказала, точно ткнула шилом:

— Сами себе могилу копают...

Бистрем шел по Невскому к Октябрьскому вокзалу. Все то же, мало ему понятное двойственное впечатление... На перекрестках улиц — окопы, блиндажи, орудия, штыки часовых. На простреленных окнах магазинов и заколоченных дверях — кричащие угловатые плакаты о борьбе, о борьбе... Подскакивая по выбитым торцам в седле мотоциклета, проносится суровый усач, весь в коже. А вереницы прохожих бредут посреди улицы медленно и рассеянно, как во сне. У каждого за спиной — мешок, жестянка, кошелка. Стоят очереди. У выходящих из распределительного пункта — в руках лавровый лист и селедка. По трамвайному пути ползет платформа с бревнами и досками. За платформой движется длинная очередь.

Подъезды иных домов оживлены,— люди входят и выходят. Бистрем читает надписи: «Народный университет»... «Академия искусств»... «Высшая школа хореографии»... «Музыкальная академия»... «Студия народной драмы»... По-видимому,— так представляется ему,— весь этот бредущий по Невскому народ занят искусствами и наукой... Но вот — музыка, сверкающие трубы: «Интернационал»... Прохожие сердито оборачиваются. Плывет шелковое пурпуровое знамя и за ним — по-особому, в полшага — неторопливо шагает отряд человек в пятьсот. По одежде — рабочие, молодые, худые, возбужденно решительные лица. Винтовки, вещевые мешки. Посреди отряда лозунг: «Опрокинем деникинские банды в Черное море»... Походная кухня, десяток молоденьких девушек в солдатских шинелях с красным крестом на рукаве, повозки с пулеметами, с поклажей.

Прошли, и снова прохожие, как во сне. Лошадиные ребра на мостовой у Гостиного двора. Расстрелянный фасад и рыжие колонны Аничкова дворца. Бронзовые кони на мосту. На углу Литейного — опять трудовая

повинность буржуазии. Снова — конская падаль. Ямы провалившейся мостовой. Площадь Восстания перед вокзалом запружена ручными тележками. С криками и руганью проходит военный обоз. Отряды рабочих дожидаются посадки. По всему белесому облупленному фасаду Северной гостиницы — наискось — истрепанная непогодой кумачовая полоса: «Все, как один, на борьбу за власть Советов, за Социализм»...

Посреди площади, вокруг забрызганного грязью и лохматого от обрывков плакатов дощатого куба, прикрывающего чудовищную громаду бронзового императора, сидят и полеживают мужики, деревенские бабы. Посматривают на суету площади, на умственные надписи, на тысячи заманчивых окон многоэтажных домов.

Пришли ли эти люди для торга, или как разведчики приглядеться, не пора ли окружать обозами город, пожравший в книжном безумии царя, и господ, и купцов и теперь свирепо отталкивающий мешок с хлебом, куль картошки, телячью тушку из рук «кормильца-мужичка»? Дело ясное,— торопиться некуда, чему созреть — созреет, само упадет в руки... А покуда за стакан мучки, за шапку картошки мешочники привозили домой граммофоны, зеркала, двуспальные кровати, всякие барские пустяки... Деревенские кулаки ждали этого часа долго и желали теперь многого.

Один из мужиков, плечистый, черноволосокудрявый, с припухшим красным лицом, окликнул Бистрема:

— Гражданин!.. (Бойко вскочил и пальцем зацепил за часовую цепочку на пиджаке Бистрема.) Почем?

— Я не продаю.

— А то хозяйка кое-что на дорогу мне завернула, уступил бы...

Из-под мышки взял сверток в тряпице, сокрушаясь о явной потере, осторожно развернул,— четверть краюхи хорошего хлеба, два каленых яйца, луковица.

— Чапоцка мне и не нужна, так-то уж говорить, да вижу — добрый человек, отчего не выручить... На, получай все, бог с тобой...

Голодной слюной наполнился рот у Бистрема, в голове помутилось от тошноты. Отстегнул цепочку. Взял хлеб, яйца, луковицу...

— Постой, а может, часы продашь?.. Тута у меня (понизив голос) на одной квартире поросенок полугодовалый...

Не отвечая, Бистрем пошел прочь. Мужик — за ним. Уговаривая, схватил за плечо. Бистрем — с гневом:

— Послушайте, вы пользуетесь моим голодом, вы дурной человек, вы спекулянт...

39

В часы досуга главнокомандующий белой северо-западной армии, наступавшей на Петроград, генерал Юденич для упражнения читал своей жене вслух по-французски.

Читал он не слишком бойко — всего полгода назад взялся за изучение языков. Читал обычно, сидя у окна (в серой тужурке и ночных туфлях), держа на отлете перед строгими глазами желтенький томик «Клодина в Париже». Генеральша за ширмой разогревала на керосинке тушеную капусту. Супруги Юденич были не скупы, но мудры,— они трезво сознавали, что их жизнь в Ревеле — не жизнь, но случайный этап, что политика и война превратны, и умный, желая стать хозяином превратностей, должен терпеливо подкопить нешатающиеся от всяких революций ценности, доллары, золото.

Генерал, запинаясь, строго читал:

— «Фиалковые глаза Клодины смеялись, и крошечные розовые соски на двух прелестных выпуклостях, просвечивающих под ароматным батистом сорочки...»

За ширмой генеральша перебила:

— Совсем не так... Грудь, женская грудь, будет не «сан», а «эс!» — «и»,— «эн», причем «и» почти не слышно,— «с'н»... Тебя не поймет ни одна француженка...

В голосе генеральши послышалось раздражение. Генерал повторил вполголоса:

— Грудь — «с'н», грудь — «с'н»...— Затем вздохнул, как человек, взобравшийся на холм.

В дверь постучали. Вошел свежий, улыбающийся, в английском ловком френче, адъютант — барон фон Мекк.

— Ваше высокопревосходительство, из Стокгольма — миссия полковника Магомета бек Хаджет Лаше... Он хотел бы...

— А! Знаю — Лаше...

— Может быть, вы изволите принять запросто?..

— А? Да, да... Только, голубчик, дайте-ка мне из-за ширмы штиблеты...

Генерал закрыл томик «Клодина в Париже», не спеша натянул старые, еще петербургской постройки, зеркально вычищенные башмаки на резинках и, заложив руки за спину, прошелся по комнате.

Фон Мекк ввел полковника Хаджет Лаше. Генерал полуофициально предложил ему занять место на голубого шелка диванчике. Сам опустился коротким туловищем в кресло,— плечи поднялись, небольшая голова с волосами ежиком ушла в плечи, и огромные подусники величественно легли на широкие без звездочек погоны с зигзагами.

— Чем могу служить, полковник?

— Ваше высокопревосходительство, я говорю от имени Лиги спасения России...

— Знаю, наслышан, весьма одобряю вашу патриотическую деятельность, голубчик...

— Ваше высокопревосходительство, когда вы рассчитываете взять Петроград?

Седоватые подусники сдержанной усмешкой шевельнулись по золотым погонам. Касаясь пальцами пальцев, опустив покачивающуюся голову, Юденич ответил:

— Когда поможет бог, полковник, когда поможет бог...

— Ваше высокопревосходительство, Лига берет на себя смелость поставить вас в известность, что огромное количество национальных ценностей может бесследно ускользнуть от вас... Большевики лихорадочно перевозят из Петрограда на территорию Швеции, как нейтральной страны, валюту, золото, камни... По нашим сведениям, на трех частных квартирах в Стокгольме спрятано ими свыше полумиллиарда...

Подусники замерли, генерал, казалось, перестал дышать. Затем голова его начала подниматься, и немигающие глаза, как два зенитных орудия, уперлись в полковника Лаше:

— Потрудитесь объяснить подробнее...

Хаджет Лаше рассказал о деятельности Лиги, подчеркнул участие шведской гвардии и представил обширный список добровольцев, вступивших в Лигу (это был лист, заполненный в Берлине в гостинице «Адлон»). Генерал нашел в списке много знакомых имен, немало боевых товарищей,— иных он считал давно погибшими от руки большевиков. Читая, засопел.

Хаджет Лаше подробно перечислил сокровища царской короны. Когда он упомянул о шапке Мономаха, генерал тяжело поднялся с кресла и в волнении отошел к окошку,— короткие пальцы его за спиной сжимались и разжимались...

— Ваше высокопревосходительство, я своими ушами слышал в Стокгольме, в ресторане: большевистский курьер Леви Левицкий в нетрезвом состоянии публично похвалялся другому большевику, Ардашеву, что будто бы примерял на себя шапку Мономаха и садился на кресло с державой и скипетром... Российская реликвия на еврейской голове!..

Юденич поднял, опустил плечи.

— Прекрасно-с... Они заплатят... (Пальцы заработали за спиной.) Жестоко заплатят...

— Чтобы спасти эти священные ценности, нам нужно, по скромному подсчету,— на слежку, наем помещений, автомобили, покупку оружия — двадцать пять тысяч крон... Лига ходатайствует, чтобы вы вместе с этими суммами прикомандировали к нам доверенное лицо для наблюдения.

Генерал вернулся в кресло, жирный лоб его прорезывала морщина.

— Я должен подумать... Дело весьма щекотливое... В европейской столице расправляться своими средствами!.. Гм... Мы-то знаем, у кого берем и что берем, но щепетильные европейцы!.. Люди вы горячие, батенька, ухлопаете там парочку еврейчиков... Да еще двадцать пять тысяч... Гм...

Генерал с той минуты, когда было упомянуто о двадцати пяти тысячах крон, начал поглядывать на ширмы, где шипело и пахло сальцем. Лаше, проведя ладонью по лбу, сказал с мягкой задушевностью:

— До взятия Петрограда остается — три, ну — два месяца... Но пока я не вижу других путей поддержать ваши бумажные деньги, ваше высокопревосходительство...

Генерал отвлекся от ширмы, насторожился:

— Не улавливаю связи.

— Вы помните провокационную заметку об английском обеспечении ваших денег, печатающихся в Гельсингфорсе? Она исходила от компании — Леви Левицкий, Ардашев, Бистрем. Одного из них Лига ликвидировала... За последние дни нам стало известно,— и это одна из причин моего приезда в Ревель,— что английский государственный банк не сегодня-завтра опубликует опровержение... Ваше высокопревосходительство, сам господь бог не спасет вас от инфляции, от катастрофы с кредитами и так далее...

— Мои деньги, господин полковник Лаше, обеспечены всем достоянием государства Российского...

Но тут полковник Магомет бек Хаджет Лаше не то чтобы подмигнул как-нибудь неприлично,— жирноносое лицо его осталось невозмутимым,— изменился лишь цвет глаз, они будто просветились веселой иронией.

— Перед отъездом я беседовал с небезызвестным биржевым деятелем Дмитрием Рубинштейном. Он откровенно высказался, что готовится к большой игре, но не решил еще — валить ли ему финскую марку и поднимать рубль вашего превосходительства, или поднимать финскую марку и валить рубль вашего высокопревосходительства...

— Ах, вот как! (Генерал беспокойно потерся спиной о спинку кресла.) На чем же Рубинштейн основывает недоверие к моему рублю?

— Не к вашему рублю, но к российскому рублю... Европейская биржа рассматривает Россию как банкрота на долгий период времени... Проблема русского банкротства — мировая проблема. Русские долги, задолженность по внешним займам, разрушение промышленности, транспорта, шахт, нефтяных вышек, сельского хозяйства — это колоссальнейший пассив. Рубинштейн исчисляет его миллиардов в сто золотых рублей. (Генерал крякнул.) В активе только — будущая твердая власть. Под нее союзники могут дать денег на возрождение русской промышленности и сельского хозяйства. А могут и не дать... Но покуда русский рубль — пусть на острие победоносного белого штыка — стоит не дороже бутылочной этикетки...

— Так, так,— сказал Юденич.— Ага, вот как! А если я как следует умиротворю Петроград?

— Это уже много... Но, ваше высокопревосходительство, деньги нужны сейчас... Я просил Рубинштейна обождать несколько дней... Если я скажу ему, что в ваших руках будет на полмиллиарда валютных ценностей, разумеется, он не станет колебаться в выборе между рублем и финской маркой...

Генерал все еще не решался. Больше всего его напугал Митька Рубинштейн. Но двадцать пять тысяч крон тоже было не легко оторвать. Он сказал, что хочет посоветоваться с начальником снабжения генералом Яновым, и попросил Лаше оттянуть вопрос о деньгах до завтра.

Хаджет Лаше решил не утруждать главнокомандующего остальными чрезвычайными вопросами и с полным составом миссии (в Ревель он приехал с Левантом, Вольдемаром Ларсеном — датским коммерсантом и одним из четырех шведских офицеров — членов Лиги) явился к правой руке генерала Юденича — генералу Янову.

Генерал Янов был «с мухой» после обеда и повышенно встретил гостей. Денщик «соорудил» кофе с коньячком. Сели вокруг преддиванного стола. От генерала веяло здоровьем и оптимизмом,— закрученные усы, раздвоенная бородка, подвижные брови на низеньком лбу, расстегнутая гимнастерка с мягкими генерал-майорскими погонами и короткие крепкие ляжки ёрника... Он сразу «овладел настроением». Предложил чудные папиросы:

— Табак настоящий — довоенный Месаксуди... Один тип ухитрился вывезти из Петрограда полвагона этого табаку и загнал его к нам во время наступления... Гений, честное слово!.. Вот это (хлопнул по валяющейся на плюшевом диване папке с бумагами) одни его проекты... Тут и колбаса для Петрограда, дрова, и картошка, и полсотни американских аэропланов. Как он умудряется ставить такие цены — на тридцать процентов дешевле, поражаюсь... Уверяет, что из чистого патриотизма, честное слово...

Хаджет Лаше высказал, что действительно патриотов гораздо больше, чем это кажется, по той причине, что истинный патриот не шумит и не кричит, но делает свое скромное и незаметное дело.

— Пусть при этом что-то положит в карман, малую крупицу,— нужен же какой-то материальный «стимул», кроме голой идеи. Правда?

— Стимул! Совершенно верно, полковник...

— Мы тоже люди, ваше превосходительство...

— Совершенно верно, полковник...

Чисто одетый денщик, работая под придурковатого, принес кофе, раскупорил коньяк. Генерал Янов пробасил, указывая на его припомаженный чуб, вздернутый нос, часто мигающие русые ресницы:

— Вот — рожа расейская, решетом не покроешь, а поговорите с ним. Ну-ка, Вдовченко... При покойном государе-императоре хорошо жилось тебе?

Вдовченко — руки по швам, нос кверху — рявкнул:

— Так точно, ваше превосходительство.

— А почему? Объясни толково.

— Так что — страх имел, ваше превосходительство.

— Молодец... Ну, а скажи ты, милостью революции освобожденный народ, что ты сделаешь в первую голову, когда с оружием в руках пойдешь в Петроград?

— Не могу знать, ваше превосходительство...

— Отвечай, болван...

— Так что — стану колоть и рубить большевиков, жидов, кадетов и всех антилихентов...

Генерал руками развел:

— Пасую, господа... Что я буду делать с этим народом! Слушай, Вдовченко, троглодит, ну, а что бы тут сидели наши министры — Маргулиес или Горн, — и ты бы им так вот брякнул... Заели бы меня, болван! (Открыл крепкие, как собачья кость, зубы, загрохотал.) Живьем бы съели... Сгинь, харя деревенская!.. (Денщик повернулся вполоборота, по-лошадиному топая, вышел.) Да, господа, беда с нашими либералами... Мечтатели, российские интеллигенты... Реальной жизни знать не хотят... Кофейку, господа, коньячку...

Хаджет Лаше заговорил за коньячком:

— Либерализм, как оппозиция — залог кредита... У нас в России часто не понимают, что политическое приличие дороже искренности. Мы еще варвары, простите за словечко, генерал...

— Пожалуйста, пожалуйста, дорогой.

— Наших друзей-союзников не нужно заставлять морщиться от неловкости. Господа, тот же Клемансо, Ллойд-Джордж, Черчилль покидают же когда-то деловой кабинет и садятся за обеденный стол с изящными женщинами. Не будем пачкать этим людям их вечерних сорочек... Либеральные министры, Маргу-

лиесы и Горны — это тот маленький комфорт, которого у нас вежливо просят, и, поверьте, дорогой генерал, эти мелочи приносят иногда больше выгод, чем военные успехи...

Генерал Янов, неподвижно выкатив бутылочные глаза, с удивлением слушал полковника Лаше. Черт его возьми — европеец! Потянулся за рюмкой, выпив, покрутил головой:

— Да... Политика... Извольте видеть, нам из Парижа Савинкова навязывают. Социалист, бомбометатель. Нет уж, пардон! Может быть, я чего-то не понимаю, но, ей-богу, повешу... Да и вообще... (Чтобы не брякнуть лишнего, хлопнул еще рюмку.) Так что же вас привело, господа, в нашу чухонскую дыру?

Шведский офицер Иоганн Гензен, похожий на гигантского младенца, и датский коммерсант Вольдемар Ларсен, с дряблым животом и маленькой востроносой головой, не понимали по-русски, с достоинством терпеливо улыбались, воспитанно попивая коньячок. Хаджет Лаше перешел к делу, широким жестом указал на скандинавов:

— Дорогой генерал, перед вами потомки тех самых древних варягов, которым русские когда-то сказали: «Земля наша велика и обильна, но порядка не имам»... (Он перевел эти слова по-датски. Все рассмеялись, чокнулись.) Ходатайствую за них в интересах Лиги, дорогой генерал. Гензен и Ларсен — наши активные сотрудники, горячо любят Россию и в данном случае руководятся более идейными соображениями, чем личной выгодой... Но,— несовершенство человеческой природы,— одними светлыми идеями сыт не будешь... Конкретно предложения таковы: лейтенант Иоганн Гензен интересуется псковским и гдовским льном.

— Ага,— басом сказал генерал Янов,— представляю.

— Лейтенант Гензен хотел бы оформить концессию на вывоз льна и кудели не из вторых рук — от эстонских скупщиков, а непосредственно от русского интендантства. Условия чрезвычайно выгодные,— с валовой выручки десять процентов интендантству. И обязательство: при заключении договора поставить в северо-западную армию четыре тысячи добровольцев, лучших стрелков Швеции, коим по окончании войны российское правительство должно предоставить свободные земли для поселения.

Генерал Янов настороженно стучал ногтями по столу.

— Счастливая идея, есть о чем подумать...

— Второе касается моего друга, фанатика России, Вольдемара Ларсена. (Маленькое остроносое личико Ларсена закивало дружественно.) Предложение его таково: концессионный договор на двадцать пять лет на сдачу господину Ларсену петроградского городского хозяйства — водопровода, трамвая, электричества и телефона. В день взятия Петрограда Ларсен вносит первый денежный аванс. Но, идя навстречу нуждам армии, он готов теперь же поставить интендантству тысячу тонн колбасы лучшего качества, с уплатой половины в русских и половины в финских деньгах... Вот в общих чертах... И тот и другой считают, что, минуя министерство снабжения, то есть говоря непосредственно с вами, они короче идут к цели. Господа Ларсен и Гензен были бы в восторге скрепить дружбу вещественными узами...

Отвыкший от европейских форм разговора генерал Янов испытывал душевное напряжение, глаза его налились кровью.

— Я доложу главнокомандующему... Он озабочен, надо вам сказать, вопросом пополнения особого безотчетного секретного фонда...

— Ну да, да, суммы на контрразведку и так далее...

— Именно... Скажите этим господам откровенно, так сказать,— в данном случае желательно, чтобы они пополнили секретный фонд исключительно американской или английской валютой... Мы, так сказать, договоримся, я, так сказать, приму без расписки, и договоры оформим... Генерал Юденич так именно и выскажется, я уверен...— Генерал Янов отдулся, вытащил шелковый платок, провел по усам и уже облегченно гаркнул: — Эй, Вдовченко! Слетай в буфет,— две бутылки шампанского и миндального печенья...

40

Вернувшись в составе всей миссии к себе в номер, Хаджет Лаше потребовал минеральной воды и некоторое время сосредоточенно ходил, стиснув за спиной руки. Остальные члены миссии сидели.

— Ваше дело со льном, петроградской концессией и колбасой — на колесах... Мошеннику Янову сунуть пятьсот долларов, Юденичу — тысячи полторы... (Вольдемар Ларсен тяжело вздохнул.) Но с кредитами для Лиги — хуже, да — хуже... Мне не понравился главнокомандующий,— мелочной человек, глупый, ленивый хохол... На Кавказе этот орел зажал большую валюту на продаже курдских земель и врет — большевики у него ни крошки не конфисковали, все перевел за границу. Информация о царских сокровищах произвела на него некоторое впечатление, но, едва я упомянул о двадцати пяти тысячах крон, упал духом... Широты — нуль...

Иоганн Гензен произнес презрительно:

— Псст!.. (Вложил в рот сигару, дым — к потолку, и снова, вынув сигару, уже удивленнее.) Псст!

Вольдемар Ларсен, обладавший умом более острым, заметил осторожно:

— Быть может, у господина главнокомандующего более достоверные сведения о местонахождении сокровищ царской короны?

Лаше круто остановился, бешено взглянул на Ларсена:

— Прикажете понимать как недоверие к оперативному отделу Лиги?

— Сохрани меня бог — недоверие, нет... (Острый нос Ларсена с добродушием андерсеновских сказок поднялся навстречу прожигающему взгляду Лаше.) Колбаса для армии и право на петроградскую концессию — это пахнет деньгами, господин полковник... Но царские сокровища еще не пахнут,— позвольте себе именно так понять мою мысль...

Как от доброй шутки, нос Вольдемара Ларсена свернулся слегка на сторону, собрались добродушные морщинки на висках. Александр Левант (обычно молчавший в присутствии Лаше) сказал жестко:

— Мы не настаиваем, чтобы именно вы получили концессию на петроградское хозяйство. Нам известно состояние ваших счетов,— вам едва хватило денег на закупку тухлой колбасы. Права на концессию беру я.

Хаджет Лаше, раздвинув ноги, руки — в карманах черкески, вывороченными губами проговорил в лицо Вольдемару Ларсену:

— Лига сквозь пальцы смотрела на ваши спекуляции... Вы не желаете нам доверять, по-видимому слишком спешите отделаться от нас... Мы тоже будем осторожны, господин Вольдемар Ларсен... Мы не позволим вам подписать запродажную на колбасу, покуда не выполните первого параграфа устава: не внесете в кассу Лиги двадцать процентов со всей суммы — то есть двести сорок тысяч... Или финны вышвырнут вашу тухлятину в море...

Вольдемар Ларсен ушел в кресло, выставил дряблый живот, прикрыл веки. Он никак не думал, что этим бандитам Леванту и Лаше известно его тяжелое дело с колбасой. Два месяца тому назад он выгодно закупил колбасу у американской комиссии Гувера (распихивающей по Европе свиные изделия — заготовки мировой войны). Но колбаса так воняла, что санитарный осмотр в Бергене приказал товар сжечь. Пришлось истратиться на погрузку и фрахт, и сейчас парусник с колбасой болтался на якоре в Гельсингфорском порту.

— Я плачу десять процентов при подписании запродажной с северо-западным правительством и десять процентов при сдаче колбасы,— слабо сказал Ларсен.— Это все, что я могу... Но концессия за мной, господа, на этом я буду настаивать...

Левант и Лаше переглянулись. Согласились. Разговор снова принял дружественный оборот. В семь часов Левант и Лаше пошли — этажом выше — в номер министра просвещения Кедрина для свидания (по третьему чрезвычайному делу) с премьером Лианозовым.

41

Принадлежность к левому крылу правительства обязывала много и хорошо говорить. Министры северо-западного правительства собирались в чьем-нибудь номере, пили чай, выкуривали болезненное количество папирос и говорили о метафизических проблемах, поставленных историей перед многострадальной Россией и перед цветом и мозгом страны — русской интеллигенцией. Практическая сторона деятельности интересовала их меньше, потому что

территория для приложения великих идей конституционной свободы была мала, и народ на этой территории (псковские и гдовские мужики) — невежественный, звероподобный и даже неграмотный, и потому еще, что главнокомандующий Юденич и вся военщина не допускали штатских либералов до практической деятельности: «Было ваше сволочное времечко, книжники слюнявые, был ваш царь — Сашка Керенский, дюжины большевиков не могли повесить...»

Англичане, американцы и французы относились к министрам симпатично, оказывали знаки внимания (консервы, табак, одежда, напитки), но в практических вопросах предпочитали иметь дело с Юденичем и его штабом. Министры надеялись на одно,— что окончится же когда-нибудь власть грубой силы и солнце гуманности и свободы взойдет над куполом Учредительного собрания... О, лакированные темно-коричневые трибуны в колонном зале Таврического дворца,— блеск речей и водопады оваций!.. О, кулуары,— веселая и остроумная политическая болтовня,— журналисты, фотографы, элегантные женщины! О, собственные автомобили, уносящие избранников народа по широким петроградским улицам!

В чрезвычайно удушливом воздухе пять министров, сидя в красных плюшевых креслах вокруг овального стола, слушали министра просвещения Кедрина. Он был невелик ростом и, находясь на низеньком диванчике, подвертывал под себя ногу. На нем были теплые светлые брюки и по-стариковски просторный старомодный сюртук,— бледное, как жеваная бумага, заросшее сединой лицо, растрепанные белые волосы, глаза, воспаленные от бессонницы и никотина. Несмотря на грудную жабу и бронхитное покашливание, душа его была порывиста и неугомонна. Министры устало, через силу внимали ему. Кедрин говорил:

— Мережковский дает только две составные силлогизма, две линии великого треугольника, две линии, разлетающиеся в бесконечность,— Христос и Антихрист... Он только вопрошает. Мережковский — это все безумие вопроса, он — это мы — русская интеллигенция. Славянофильство и западничество... Деревня и фабричный город... Европа и Азия... До

девятьсот семнадцатого мы чувствовали присутствие исторической обреченности, мессианства... Да, мы называли Россию мессией... И недаром Рудольф Штейнер весной четырнадцатого года в Гельсингфорсе говорил о роковой обреченности России, предназначенной спасти мир, спасти своим телом и кровью... Господа, теперь мы знаем эту третью составную силлогизма, мы замыкаем равнобедренный треугольник. Это третье: мировой большевизм, в демонических безднах которого рождается спасение мира — священное белое движение. Его символ — солнечные латы Георгия-победоносца, под копытами его белого коня змий — Антихрист — большевизм и за плечами — пурпуровый, то есть победный, плащ, взвитый над бурей революции... (Передышка. Бронхитное покашливание. Звон чайных ложечек и клубы табачного дыма.)

Я цитирую это по замечательной книге Николая Александровича Бердяева. Я положил бы эту книгу в ранец каждого белого солдата. Большевики идут в бой, распевая «Интернационал» и веря в социализм... Мы должны противопоставить свою идею,— понятную массам, идею Георгия-победоносца, идею белого посланца, поражающего в мире Антихриста... Я слышу, господа, иронические голоса: мы владеем пока только двумя уездами России, мы еще собираемся идти на Петроград, у нас, представителей русской культуры, нет реальной силы, мы машем кулаками по воздуху, нас едва терпят, в день взятия Петрограда генерал Юденич попытается вздернуть нас на трамвайных столбах... Все это так... Но тем не менее или, если хотите, тем более положение обязывает нас ставить вопросы мирового порядка...

Министр просвещения Кедрин вытащил из-под себя затекшую ногу и живо подсунул другую. Бумажное лицо его не розовело от умственного возбуждения, только сильнее лоснилось. Душа в этом хилом теле, заключенном в пыльный сюртук, выбрасывала фейерверки идей.

— Мы должны создать и возглавить международную комиссию по изучению в теории и на практике большевистской доктрины и ее практического применения. Ходячее понимание большевиков, как шайки уголовных преступников, нужно решительно отвер-

гнуть, это — одна из провокаций самих большевиков: они усыпляют наше внимание, они хотят незаметно подкрасться, чтобы внезапно встать во весь антихристов рост... Да, мы имеем дело с антихристианством и антикультурой. Задачи комиссии: первая — изучить большевизм исторически, изыскать его корни в научных и метафизических работах социальных мыслителей... Лично я ставлю под подозрение основной источник — Жан-Жака Руссо. Пусть молодая буржуазия эпохи Великой французской революции подняла на острие копья вместе с фригийским колпаком его «Общественный договор». Руссо — это бунт духовного варвара против восемнадцати веков христианской цивилизации. Книги Руссо предвещают кровь робеспьеровского террора. Фурье, Сен-Симон, весь ряд утопистов — та же тенденция выключиться от гуманизма. Вторая задача: комиссия должна собрать исчерпывающий объективный материал о большевиках, добытый следственными властями и судебными приговорами. Для этого — третье: комиссия должна подготовить со всей широтой сеть уголовных судов с привлечением в прокуратуру иностранных специалистов для мирового судебного процесса над большевиками... Таковы, господа, задачи, стоящие перед нами. Исполнив их, мы создадим чрезвычайные профилактические меры против большевизма не только в России, но и на пространстве всего мира, мы откроем,— и мы призваны к этому,— откроем глаза близоруким европейским политикам на величайшую, когда-либо грозившую миру опасность, на змия, нашептывающего пролетариату сладкую ложь о невозможном, на змия, которого раздавят только мистические копыта белого коня...

Когда в номере появились Хаджет Лаше и Левант, утомленные министры договаривали последние фразы критического разбора этой замечательной речи. Бывший нефтяной король — Лианозов (предупрежденный о визите) тотчас встал из-за стола и отошел с Хаджет Лаше и Левантом.

Это был маленький утомленный человек с бородкой цвета высохшей степной травы и редкими волосами, тщательно зачесанными на пробор.

Он без любопытства поглядел на полнокровного, улыбающегося с открытой честностью Лаше, на ко-

стлявые скулы, сломанный нос и выражение бандитского мрака на лице Леванта.

— Я слушаю вас, господа...

Хаджет Лаше, оберегая драгоценное время министра, в сжатой форме изложил свою точку зрения на мировую борьбу американской компании «Стандарт Ойл» и английского нефтяного концерна Детердинга. Он откровенно признался, что в этой борьбе он,— «как это ни странно звучит»,— является агентом Детердинга, «не в буквальном, конечно, смысле». (Лианозов устало покивал, выражая этим, что понял, в каком смысле...) Как уроженец горячо им любимого Кавказа, как председатель Лиги по восстановлению Российской империи и как русский патриот — Хаджет Лаше решительно стоял на стороне Англии. Одни англичане способны смертельной хваткой взять большевиков за горло. Но для этого английские интересы нужно прочно увязать в российском болоте. Отсюда — прямой ход к поддержке Детердинга залежами русской нефти. Детердинг сейчас платит громадные деньги за нефтяные участки. Но гражданская война превратна. Кто поручится, что большевики, хотя бы на короткое время, снова не захватят Баку и Грозный; что верховный правитель Колчак не предоставит американцам каких-либо исключительных концессий; что под давлением революционных масс не осуществится эта проклятая конференция на Принцевых островах, где Америка несомненно легко договорится с большевиками о нефти.

Затем Хаджет Лаше передал слово Леванту, и тот подробно рассказал о свидании с Детердингом в Лондоне, о продаже Чермоевым и Манташевым нефтяных земель и показал письмо к нему Детердинга, где глава концерна «Ройяль Дэтч Шелл» благодарил Леванта за содействие, удивлялся его бескорыстию, просил передать поклон Хаджет Лаше и два раза вскользь упоминал имя Лианозова. Письмо это было одной из первоклассных работ Эттингера.

— Итак, что же вы от меня хотите, господа?— слегка встревоженным голосом спросил Лианозов.

— Лично мы — ничего, господин министр...— Лаше поклонился и открыто, честно, с кунацкой улыбкой положил руку на кинжал.— Если вы задумаетесь над

моими словами, то мы уже исполнили долг перед родиной...

Лианозов, потирая на виске мигрень, ответил:

— Хорошо, я серьезно подумаю над вашим предложением. Зайдите ко мне в номер после полуночи, но не слишком поздно...

42

В десятом часу вечера Лаше и Леванту удалось, наконец, спокойно пообедать вдвоем, в тихом ресторанчике. Закурив сигару, Хаджет Лаше зубочисткой на скатерти стал подводить итоги:

— ...За шесть месяцев (организация Лиги, наем помещений, разъезды, представительство и прочее) мною истрачено тысяча двести английских фунтов, тобой во Франции (долги Налымова, туалеты для дам, дача в Севре, разъезды, представительство и прочее) истрачено шестьдесят тысяч франков. Общий пассив, переводя на доллары,— девять тысяч долларов. Поступлений за это время в общую кассу — нуль.

Подсчитали еще раз. Минут пять дымили сигарами. Левант сказал, качнув головой:

— Да...

Хаджет Лаше — высокомерно:

— Что — да?

— Треску много, а...

— Что — а?

— Нет, что ж, тебе, конечно, виднее... Твои в конце концов деньги, Магомет...

— Дурак, гляди, считай...

Хаджет Лаше зубочисткой на скатерти подвел долженствующий поступить актив: сто пятьдесят тысяч франков от графа де Мерси (на приобретение «Скандинавского листка»), двадцать пять тысяч крон от американского атташе, двадцать пять тысяч крон от Юденича, сто тысяч франков от Чермоева и Манташева, двести сорок тысяч юденических рублей от Вольдемара Ларсена и минимум двести тысяч франков от Лианозова.

— Может быть, Лианозова пока не будем считать? — скромно спросил Левант.

— Это такие же верные деньги, как все остальное.

Лаше кусал зубочистку. Левант всматривался в цифры, нацарапанные на скатерти:

— Магомет, ты не думаешь, было бы выгоднее, если бы, как я тебе говорил, мы занялись просто спекуляцией, хотя бы с той же американской свининой?.. Ларсен буквально червей сбывает, и — свежие деньги... Политика, знаешь, далеко не верная игра.

— Не раз повторял тебе, Александр, ты — мелкий жучок, жаба... Спекуляция! Плевал я на твои проценты, разницы, накладные... Я швырнул девять тысяч долларов и еще швырну и возьму миллионы...

— Я тебя понимаю, Магомет... Но ведь покуда миллионы — это сон... Даже за все эти цифры,— он указал на скатерть,— за этот актив самый неосторожный человек не даст и десяти процентов наличными.

— Ты — ишак.

Левант пожал плечами. Помолчали. Лаше спросил бутылку шампанского.

— Плохо, Александр, когда у человека нет фантазии... Морган и Вандербильд,— откуда их миллиарды? Плоды мощной фантазии. Эти люди призвали миллиарды, как Фауст сатану в магический круг. Точно так же я выдумал царские сокровища.

— Магомет, ты их выдумал? Ай, я так и знал! — У Леванта отхлынула краска с лица, белые хрящики проступили на носу.— На что же ты рассчитываешь? Безумец!

— Я их выдумал, я их возьму... Царские бриллианты, шапка Мономаха, скипетр и корона — это все для американцев, французов, Юденича и для нашей шпаны из Лиги... Но миллиона три-четыре долларов я возьму. Они дожидаются меня в Стокгольме... (Левант передохнул, с тоской и надеждой взглянул на друга.) Ты спрашиваешь, что мной сделано за шесть месяцев, куда я угрохал деньги? А вот что сделано: военные миссии великих держав, президенты и премьеры, все контрразведки, нефтяные короли и магнаты тяжелой индустрии, биржи и спекулянты военными стоками — все они заинтересованы теперь в том, чтобы полковник Магомет бек Хаджет Лаше, хотя бы нарушая все правила благопристойности, взял эти миллионы. Сама полиция поможет мне превратить уголовный грабеж в акт священной борьбы за цивилизацию. и ни один болван не посмеет спросить у меня отчета в

деньгах. Вот что сделал Хаджет Лаше,— я поставил кверху ногами все их моральные незыблемости. Великолепнейший сюжет для книги...

— Ты сходишь с ума, Магомет...

— Я играю за «золотым столом» в игру, которая называется тайной политикой... Жучки, мелкая рыбка пачкаются на биржевой разнице: заработав сто долларов, бегут покупать бриллианты в четыре карата и лакированные ботинки. Я играю за столом с королями и президентами.

— Магомет, Магомет, ты сломишь шею...

Хаджет Лаше надменно усмехнулся. Зрачки его глаз были расширены и неподвижны. Опытный лакей, не так поняв его возбуждение, наклонился из-за его плеча и шепотом предложил пригласить к столу девочек. Лаше послал его к черту.

— Ни на один градус я не более сумасшедший, чем Жорж Клемансо, президент Вильсон или создатель вертикальных концернов Гуго Стиннес. Я современен, я впечатлителен, я нервами понял, что такое дерзость... Вся гуманитарная, бюргерская благопристойная бурда выметена начисто после мировой войны... Будь дерзким до конца, будь циником до конца... Шагай по человеческим трупам, грабеж и насилие возведи в систему, и ты — царь жизни. Может быть, я смахиваю иногда на сумасшедшего, не забывай — при всем прочем я еще артист. Меня утомило однообразие человеческой глупости,— у меня потребность в более острых ощущениях... Ты понял меня, Александр?.. Послезавтра — в Стокгольм... Я приступаю к делу... Не бойся, ты-то будешь кушать свою кефаль в Париже.

43

Дом в Баль Станэсе был приведен в порядок,— все вымыто и вычищено, в столовой — ковры, на лампах — шелковые абажуры, в вазах — охапки осенних цветов. Поздно ночью из Стокгольма, как обычно, возвращалась Мари, усталая, объевшаяся соусами за столиками гостей. Выступала она в «Гранд-отеле» в русском репертуаре, даже с некоторым успехом. Часто ей было лень снимать грим и переодеваться, и она садилась в столовой, полуголая, с осыпавшейся пуд-

рой на розовых плечах, в шансонеточном платье. За этими предрассветными ужинами пили шампанское, но без прежних откровенных бесед, даже без шуток Налымова,— не то что в незабываемом Севре... «Всетаки там было чудно, девочки! Помните, июль, цвели липы? Песенки Барбош из кухонного окна?»

На рассвете Лили засыпала за столом, уронив растрепанную голову на руки. Мари в шансонеточном платье засыпала на диване. Вера Юрьевна, пошатываясь, брела на лужайку, где над озером вставало осеннее солнце, валилась в копну сена и дремала в странных видениях, рожденных из пузырьков шампанского. Налымова находили мертвецки пьяного в самых неожиданных местах.

Молча, мрачно обедали, опохмеляясь водочкой. После обеда купались в холодном озере. Под вечер Мари уезжала. Через день уезжала в Стокгольм и Лили — по требованию Хаджет Лаше она дала объявление в гостинице «Гранд-отель» об уроках французского и английского; требований покуда не поступало, но определенные часы приходилось отсиживать в холле гостиницы, сдерживая зевоту над иллюстрированными журналами.

Всего тяжелее были пустые часы, когда Вера Юрьевна и Налымов оставались одни в Баль Станэсе. Василий Алексеевич старался держаться в сторонке,— то одиноко покуривал на крылечке, то возился с футбольным мячом, труся за ним пропитой рысцой по поляне. Однажды Вера Юрьевна долго наблюдала, как он сидел с удочкой на берегу в Лилькиной широкополой соломенной шляпе. Вера Юрьевна подошла, посмотрела на поплавок, на консервную жестянку с червями, в лицо Василию Алексеевичу. От солнца, от водки кожа у него лупилась, глаза были совсем выцветшие. Пожала плечами: «Шут гороховый, право...»

Они мало разговаривали, только о мелочах. Здесь между ними не было близости. Вера Юрьевна и подумать не могла бы теперь прийти ночью «выкурить папироску в его постели». В Баль Станэсе все осложнилось. Нагромоздились чувства, не выразимые словами. Не будь его здесь, половина тяжести свалилась бы с Веры Юрьевны. Но то, что он остался, наполняло ее почти что мрачным восторгом. В тот же первый

день приезда она рассказала ему в подробностях свои константинопольские похождения. На Василия Алексеевича это как будто не произвело впечатления. «Твой жизненный опыт, Вера Юрьевна. Так это и запиши». Но после разговора он совсем бросил хихикать и разводить «философьишку». К Вере Юрьевне у него появилась особая осторожность, как к чему-то, что выше меры переполнено и хрупко.

Иногда ей приходила дикая мысль (почему в сущности дикая?): неужели он не может придумать какой-нибудь план спасения, вытащить ее и себя из предсмертного мрака? Должен же он получить деньги от Чермоева и Манташева. Все дело в том, чтобы бесследно скрыться от Хаджет Лаше, от полиции, от русских, от всего прошлого... Что ему мешает? Легкомыслие, безволие? «Шут гороховый...» С папироской сидит, щурится на поплавок. Злоба приливала к сердцу Веры Юрьевны. Сердце свирепо сжималось, в горле — злой клубок. Но понемногу отходила в тишине под плывущими над озером облаками... «Нет, он прав, конечно,— никуда не уйти, не скрыться... Все это пошлость и чушь... Клейменые...»

Однажды она попросила его присесть рядом на копне. Обхватив руками колено, сказала:

— Все время думаю о тебе,— загадочный ты человек. Скажи, ради бога, на что ты надеешься? Неужели только так — пищеварить, выпивать и — в могилу? Ведь что-то не так... Я не про себя говорю, про тебя... Почему ты ничего не придумаешь? А уж я-то за тобой, как смятая газета в пыли за автомобилем, помчалась бы... Понимаешь, у тебя вихря нет, у тебя хода нет... Ну, почему? Ты меня измучил... В Константинополе в номере у Лаше после убийства и в Париже с Левантом, когда он меня, мерзавец, на улицу посылал... это тоже было,— месяца за три до Севра... во мне была сила жить, несмотря ни на что... А теперь нет... Вася, не могу представить: человек, которого любишь, этот человек больше всего мира... В нем — все... А ты хочешь уверить меня, что ты — чучело на огороде, машешь рукавами... (Покусав губы, сдержалась,— вот-вот готовая закричать.) У тебя должна быть идея... Зачем прикидываешься шутом гороховым,— с ума сойду, не пойму... Сволочь ты!.. (Побелевшим кулачком заколотила себя по колену.) Должен ты

сейчас же ответить: на что надеешься? И от этого твоего ответа я буду жить или я не буду жить...

Первый раз во всю бытность Василий Алексеевич ответил важно, тихо, почти заикаясь:

— Мои достоинства, то есть одно достоинство, в том, что я тебя понимаю и всей тобой восхищаюсь... Вот объяснение, почему решил разделить с тобой все, до конца... Это — одно... Каждый человек носит в себе спектакль — пошлый, маленький или трагический, величественный... Твой спектакль, Вера, трагический спектакль. Он закончен, разучен, актеры на местах. Но зрительный зал пуст. Трагедии играть не перед кем... Один я торчу где-то там по контрамарке... Мир, где мы сейчас живем, пресытился зрелищами... Вернулись к обезьяньему царству. Я прав: Шекспир больше не нужен. А мой маленький водевильчик? Разве что перед Лилькой и Машкой, по пьяному делу поломаться для смеха... Ужасно, Вера, что друга в эти годы ты отыскала себе такого, как я... Я предупреждал,— не выдумывай меня. Ты продолжаешь награждать меня своим избытком и сердишься, почему я пальцем не пошевелю вытащить тебя из этого ужаса... Не могу, да и не знаю, зачем это делать... Куда бы ты ни убежала, хоть на Соломоновы острова, ты — уголовная преступница, девка с желтым паспортом и ко всему тому чрезвычайно опасная, потому что всегда готова перейти через страх виселицы и потащить за собой хозяина, кто тебя нанял. Бешеное животное, вот кто ты. Спасти тебя? Дурочка. Тебе же самой не нужно спасение.

Вера Юрьевна слушала спокойно, кивала иногда, соглашаясь. Лицо ясное, даже улыбочка блуждала на бледных, не тронутых карандашом, губах.

— Теперь договаривай главное,— сказала она после молчания.

— Я уже повторял, Вера Юрьевна,— не мне вмешиваться в твой спектакль. Сама, сама, не надеясь ни на кого, пойми, реши и так и поступи.

— Ты не о смерти ведь говоришь? (У нее чуть дрогнул голос.)

— Нет, не о смерти. О такой пакости не стоило бы и говорить много. Нет, я не хочу, чтобы ты умирала, любовь моя. Все зависит от установки. Если ты делаешь установку на смерть — вся твоя жизнь закру-

тится вокруг могилы, как водоворот,— все ближе и ближе туда — к черной дыре... Черт знает какая бессмыслица! (Едва заметно вздохнул.) Но можно представить и другую установку... Участвовать в бесконечно движущемся мире творчества. Смерть? Какое тебе дело до нее? Эта зловонная гнусность — твоя могила — выключена из сознания, из поля зрения; через нее валом валят толпы феноменальных идей, великолепные потоки жизни. Обезьянье царство сгинет, человечество расколет гроб, через трупы тюремщиков и обезьяноподобных устремится в новую вселенную. Человек получит свое настоящее призвание. Мозг или желудок? Творчество или пищеварение? Мы — пещерные троглодиты, мы не можем вообразить всей величины счастья, когда человечество поведут великие идеи. Люди будут испытывать неведомые нам восторги... А смерть, могила,— ты просто споткнешься и, падая, передашь другому факел... Только всего... Смерти нет... Факел летит вперед. А для желудка — хотя бы питательная таблетка, чтобы отвязаться...

— Сказки,— проговорила Вера Юрьевна,— валяешься бездельником на копне, плетешь сказки... Ты предложи-ка мне что-нибудь реальное.

— Сказки? А ты поверь. Это — ведь также все от установки. Поверь, начни приглядываться,— гроб трещит, обезьянье царство шатается. Ты видела только обезьяноподобных, а тех, кто в подземельях,— ты их знаешь? Я был в подземельях, заглянул туда одним глазом. О, какие люди, какие намерения! Сказки оказываются наяву, да такие, что не придумаешь. Мое несчастье, Вера Юрьевна, что я — спившийся барин, я — наблюдатель, я — со стороны, спектакль мой — маленький... Ты — другое дело. И тебе возможно унести самое себя совсем из обезьяньего царства.

— Не понимаю, ты про что?

Василий Алексеевич медленно кивнул красным припухшим лицом куда-то в синюю даль, за озеро. Вера Юрьевна в недоумении взглянула туда, уронив на колени руки, глядела долго. Поняла:

— Ах, вот о чем ты...

— А что, дико?

— Да ты с ума сошел... Вернуться в Россию?

— Такой страны нет больше. Россия — это мы, неприкаянные, с желтым паспортом... Третьего дня

читаю в «Скандинавском листке»: русская революция отказывается от хлеба из рук спекулянтов. Революция будет есть хлеб, только добытый без противоречия с принципами. Понять ты можешь это?

— Знаешь... (Вера Юрьевна сморщилась, подвигала лопатками, точно под платье набились колючки из сена.) Я не знаю, что происходит в России. Я-то помню теплушки со вшами, опустевшие города, рвотные кабаки, истерических баб, тыловую сволочь, проспиртованную военщину... Другой стороны не видала, не знаю... Революция швырнула меня в помойную яму... Но виню в этом только себя. Но так растленно болтать, как ты болтаешь, благополучный кот... Ужасно, это ужасно... Там — потоки крови, а ты философствуешь. За это одно тебя бы там расстреляли.

— В два счета, у первого пограничного столба, без всякого сомнения...

— Для чего же все это говорил?

— Потому, Вера Юрьевна, что я только твои мысли высказывал, а мне лично — рюмочка водочки. Разговор этот нужен потому, что послезавтра приезжает хозяин из Ревеля и ты должна быть готовой...

— К чему готовой?

— К поступкам, к решениям...

Она медленно сдвинула брови, все лицо стало асимметричным, обозначились скулы... Безобразное, кровавое и неминуемое (для чего и приехали сюда) придвинулось. Больше уже нельзя было жмуриться. Потемнел свет над лугом, над озером, над раздумьем этих дней.

Налымов, лежа на животе, грызя соломинку, глядел в лицо Веры Юрьевны,— глаза ее подергивались пленкой, как у птицы.

44

Каждый день в штаб Лиги являлись новые члены, навербованные в Германии, Швеции, Финляндии, требовали суточных, кормовых, подъемных и квартирных... Генерал Гиссер выдавал каждому до десяти крон и предлагал ожидать — вот-вот долженствующих поступить — крупных кредитов. Вербовочные списки отправлял американскому атташе и графу де Мерси.

Так составлялся «железный» батальон (посланный впоследствии под Петроград).

Сердце Лиги — разведка — Извольский, Биттенбиндер и Эттингер пьянствовали в «Гранд-отеле», составляли сводки подозрительных по большевизму лиц и под эти списки вымогали у генерала Гиссера мелкие суммы. Лучше других работала «парижская группа» — мадам Мари и мадам Лили. Приглашаемая в ресторане за столики, Мари, ленивая, но любопытная и острая на ухо, улавливала обрывочки интересных фраз. Так ей удалось установить, что какие-то люди ожидают приезда в Стокгольм двух большевистских комиссаров, фамилию одного услышала ясно — Красин. По поводу этого сообщения в Лиге было экстренное заседание. Мари поручили добыть дальнейшие сведения. Ей опять повезло: она установила, что семья комиссара Красина недавно прибыла в Стокгольм. Сведение о приезде семьи Красина настолько взволновало членов Лиги, что среди ночи Биттенбиндер отвез мадам Мари к Гиссеру. Генерал выслушал ее, обнял, перекрестил:

— Вы неоцененная сотрудница, деточка, продолжайте же свою беззаветную деятельность. Россия не забудет вас.

Ей дано было экстренное задание сблизиться с курьером большевистского посольства матросом Варфоломеевым. Но он почти никогда не появлялся один в ресторане,— по-видимому, его назначили для охраны к разным проезжим таинственным личностям. Заговорить с ним не удавалось, на зовущие томно синие взгляды Мари он — «хоть бы хны»... Он был смуглый и мрачный, наголо обритый, с каменной шеей и налитыми мускулами под синей пиджачной парой! Мари, несмотря на лень, чувствовала легкую досаду, что такой чудно выраженный «зверь» не реагирует.

Лили успела сделать еще больше за эти дни. Очень миловидная, в простеньком платьице учительницы языков,— всегда за перелистыванием журнала в вестибюле гостиницы,— Лили подманила, наконец, двух коммивояжеров — французов, развязных и легкомысленных до последней возможности. «Не преподает ли мадемуазель еще что-нибудь, кроме языков?» — спросили они. Лили смутилась. Коммивояжеры в восторге предложили ей себя в полное распоряжение. После

французов в тот же день она получила час по-французски у застенчивого с виду англичанина, но этот у себя в номере оказался таким грубияном и циником, что Лили расплакалась и отказалась от урока. Затем на ее крючок налетел тот, для кого она и сидела в «Гранд-отеле»,— Леви Левицкий.

— Я беру вас на всю неделю, по два часа в день, делайте из меня европейца,— сказал он Лили весело и самоуверенно,— выкаченные потные глаза, шикарный мохнатый костюм, платиновая цепочка поперек жилета, впереди живота — руки, засунутые большими пальцами в жилетные карманы, так что бриллиантовые перстни видны были всему вестибюлю.

Лили поднялась к нему в номер. Александр Борисович Леви Левицкий вынул из стенного шкафа пакетики со сладостями, бутылку сладкого вина, предложил барышне не стесняться. Повалился на диван, полнокровный и возбужденный после завтрака.

— Я не могу молчать, это характерно для меня. Знаете, что я вам предложу: я буду говорить по-немецки, вы меня поправляйте, потом то же повторим по-английски. Идет? Я буду рассказывать что-нибудь интересное, ну, например, мою биографию... Кушайте конфеточки... Так вот, с чего начать? Мой папашка — из Умани, бедный уманский портной. Вы знаете, что такое была черта оседлости, или вы не знаете? Русские лучшие люди охали и ахали, кричали: «Позор!», а самого главного о черте не договаривали. Черта — это был сложный и хлопотливый способ русского самоубийства... За черту была посажена европейская культура. Вы скоро ко мне привыкнете,— я люблю выражаться парадоксами... Россия не захотела идти за европейской культурой, захотела сидеть в свинстве, как при царе Горохе. Еврей-промышленник строил фабрику по новейшему европейскому образцу, выписывал из-за границы новейшие машины, еврей-купец забивал русского,— он торговал дешевле, брал шесть процентов на капитал, покуда русский поворачивался, еврей уже шесть раз успевал повернуться с капиталом... Что было делать русским? Перестраивать промышленность и торговлю по европейским образцам? Вы не знаете русское купечество... Так они решили, что будет дешевле натравить царя на евреев... Зазвонили во все коло-

ла, подняли духовенство с отцом Иоанном Кронштадтским, сказали, что от евреев дурно пахнет, евреи кладут в мацу христианскую кровь, и царь повелел загнать евреев, как баранов, за черту. В России стала тишь да гладь,— спи, кушай пироги, воруй и грабь, ходи крестным ходом. Азия!.. Это было так же умно, как поставить себе под кровать ящик с динамитом!.. Вы бы посмотрели, барышня, какие характеры выковывались в черте оседлости! Там было больше духа, чем хлебца... Среди нас были святые люди, они уходили в революцию, в подполье, на виселицы,— мы молились на них... Когда я стал подрастать, помню, ох, помню в себе задор!.. Мой папашка знал талмуд, как свой наперсток, он брал деревянный аршин и хотел мне вогнать через спину усидчивость, но я сомневался — так ли уже нужен богу мой голодный нос, ползающий по талмуду. Папашка был умный еврей, он понял меня и сказал: «Каждому свое, ты можешь учиться на экстерна, ты можешь пойти в партию эсеров или эсдеков, но я не потерплю, если мне когда-нибудь скажут: ваш сын нечестный человек». Когда папашка так разглагольствовал, глаза его поверх очков поглядывали на деревянный аршин, и уже я хотел быть честным человеком.

Леви Левицкий прихлебывал сладкое вино и грыз засахаренные орешки. Он с удовольствием слушал самого себя.

— Идти на фабрику, жениться на фабричной девушке с такой сутулой спиной, как будто на ней вынесено все еврейское горе, народить полдюжины голодных сопляков,— перспектива не для моего темперамента... Броситься в революционную работу? Все равно,— сказал я сам себе,— святым считать тебя не будут, тебе не выдержать моральной высоты... Я выбрал богатство и славу, но не сказал об этом папашке... Я стал учиться, как зверь, науки шли как по маслу. В Умани я уже стал удивлять людей. Сдал на экстерна и сквозь процентную норму протискался на юридический факультет. Как я жил это время? Я умудрялся зарабатывать — факторством, частными уроками, даже набивкой папирос — рублей двадцать пять в месяц. Я посылал мелкие газетные заметки в Одессу, Киев, Харьков... Меня заметили,— это давало еще рублей пятнадцать в месяц. Я верил в победу.

Я ждал случая. Война! Через неделю после мобилизации я был уже в Петербурге... Вам не надоело слушать, барышня?

Блестя глазами, Леви Левицкий, казалось, всматривался с восторгом в пройденный путь. В Петербурге он сразу попал, как пуля в цель, в редакцию «Вечерней биржевой». Он не разменивался на вопли о русских победах, на глубокомысленные сравнения антантовской «гуманности» и немецкого варварства. Он помещал две-три заметочки петитом в конце четвертой страницы перед колонками биржевых курсов, но заметочки были очень дорогие и появлялись на день раньше, чем в других газетах... Чтобы доставать их, нужен был неисчерпаемый темперамент Леви Левицкого, двадцать семь лет кипевший в уманской глуши. В редакции посмеивались над его местечковым языком, над сверхрасторопностью, скупостью и в особенности над неожиданной дружбой с петербургским митрополитом Питиримом. Когда Леви Левицкий появлялся в редакции — черная визитка, руки в карманах, губы плотно сжаты,— ему кричали хроникеры и журналисты с тройной совестью,— все птенцы короля газетчиков, редактора «Биржевки» — Гаккебуша: «Сашка, ну как? Завтракал с его преосвященством? Распутин тебе только что звонил, кланялся. Что нового при дворе?»

Шум, телефонные звонки, трескотня машинисток, зубоскальство, анекдоты, хохот... Леви Левицкий спокойно подходил к настольному телефону (если кто-нибудь разговаривал, он вырывал у него трубку) и лез с аппаратом под огромный редакционный стол, за корзину с бумагами. Оттуда было слышно только: «Барышня, я вам повторяю номер, алло!.. Это вы, ваше преосвященство?.. Это я, Леви Левицкий. Здравствуйте, как ваше здоровье? Слава богу? Я очень рад. Мое как? Так себе. Есть интересное сообщение. Бой на Гнилой Липе... Сведения из первоисточника. Завтра уже будет в газетах, но пока на бирже не знают».

В него под стол швыряли книги, иногда вытаскивали за ногу вместе с телефоном, но он успевал сообщить то, чего еще не знали ни на бирже, ни в военном министерстве. Понемногу круг сообщений из-под стола расширялся,— он вызывал то банкира Жданова, то самого Митьку Рубинштейна, то — анонимно: «Попро-

сите к аппарату графа...» За военные и политические новости ему платили акциями. В шестнадцатом году он играл уже самостоятельно. После убийства Распутина сказал в редакции: «Увидите, господа, кровь этого мужика затопит всю Россию...» В марте семнадцатого года он исчез на три месяца, оказалось — уехал в Умань, революция разбудила в нем своеобразное чувство сыновнего долга и честолюбия. В своих лучших костюмах он гулял по Умани, произносил речи на летучих митингах, был даже назначен уездным комиссаром по делам печати, но под конец удачно купил несколько деревянных домов и снова появился в Петербурге, утомленный и разочарованный. Здесь он свирепо рванулся в спекуляцию, картежную игру и в похождения с женщинами. В это время ему удалось перевести в Стокгольм значительную сумму денег. Когда разразился Октябрьский переворот, Леви Левицкий сказал в редакции: «Бросьте смеяться, будет гораздо хуже, будет кошмарно плохо. Вы не представляете, что такое русская демобилизация. Дай бог здоровья большевикам, если они хоть что-нибудь спасут в этой каше».

Он пошел в Смольный и предложил свои услуги. Впопыхах ему поверили. Он добросовестно исполнял мелкие и незначительные работы, но умело откручивался от ответственных назначений. Он похудел, помрачнел, носил полувоенный костюм, сутуло переходил на другую сторону улицы, когда встречал старых товарищей по редакции...

— Вы спросите, барышня, что же меня удерживало в Петрограде? Немцы оккупировали Украину, восстали чехословаки, отложилась Сибирь, на юге хозяйничали добровольцы и разбойничьи банды. Я отлично видел, что большевикам не выдержать и года... Но кто их заменит? Батько Махно? В душе моей был мрак, я ни во что не верил. Я получил известие, что Умань вырезана петлюровским атаманом и мой папашка погиб. Он плюнул в глаза атаману, и его мучительно зарубили шашками... Так что же, и революция не избавила нас от погрома?

Весь восемнадцатый год Леви Левицкий пребывал в состоянии величайшей растерянности: он сорвал покрывало со святыни и ужаснулся вида ее. В нем жила, нашептанная отцами и дедами в подвалах гетто,

любовь к святому акту революции: от ее трубного звука рухнет стена плача, и перед угнетенными и униженными откроется свобода и богатство. Но революция, разрушив стену плача, сурово повелевала идти мимо процветания Леви Левицкого, в неведомые туманы новой истории, где золото предназначалось для общественных ватерклозетов. Во что же было верить, когда сама революция обманула?

В девятнадцатом году Леви Левицкому удалось побывать за границей, он ездил в Ревель и Ригу и вернулся. Тогда ему дали более ответственное поручение — в Стокгольм. Вместе с казенными пакетами он вывез туда всю свою валюту и драгоценности.

— Вот что странно, барышня, я действительно отряхнул прах с ног... Но здесь меня тянет к советским людям, право... Я не могу сблизиться с эмигрантами. У них погромное отношение к революции, они готовы молиться даже на великого князя Кирилла, дать ему шомпол вместо скипетра и еврейский череп вместо державы... Слушайте, надо же было чему-нибудь научиться!.. Но, что касается женщин,— с ними я немножко сумасшедший... Боже сохрани, не вздрагивайте, золотко мое... Я хотел бы поговорить о вашей знакомой, такая высокая, элегантная... Помните ужин в «Гранд-отеле»? Она задела меня, скрывать нечего...

Лили, помня инструкции Хаджет Лаше, сказала:

— Я уверена, княгиня будет очень заинтересована вашим знакомством.

— Слушайте, как бы нам встретиться?

Лили сказала согласно инструкции:

— Можно здесь, в ресторане. Можно у нас на даче...

— А где она живет?

— В Баль Стансе... Хотите — приезжайте на дачу...

Лили спешила замять разговор,— было страшно что-нибудь напутать и потом отчитываться перед Лаше... Но Леви Левицкий продолжал возбужденно расспрашивать, и Лили, запинаясь, врала про Веру Юрьевну и Хаджет Лаше (ее горячего поклонника, богатого человека и писателя), про восхитительную дачу, предложенную Хаджет Лаше в полное распоряжение женщинам, утомленным парижским сезоном. Леви Левицкий спохватился ехать завтра же. Лили, вспомнив инструкцию, сказала торопливо:

— Нет, нет. Вера сейчас немножко нездорова... Словом, я вас извещу.

Несмотря на путаницу и очевидную чушь, всегда осторожный и подозрительный Леви Левицкий не почуял опасности,— сам черт не догадался бы, что эта запинающаяся хорошенькая девушка заманивает его в ловушку, на мучительную смерть. Он придвинулся и поглаживал холодноватую руку Лили, называя деточкой,— кровяные жилки наливались в его масляннистых глазах.

— Когда женщина ударит по нервам,— да еще такая европейская красавица, как ваша княгиня,— я готов отдать все... Вы меня понимаете? Деточка, я воспитан войной и революцией... Я голодный. Я хочу досыта накушаться жизнью.

45

После позднего обеда, в сумерках, Вера Юрьевна сидела в шезлонге на берегу озера. Неожиданно подъехал к даче автомобиль. Это из Ревеля вернулся Хаджет Лаше. Послышались голоса нескольких человек,— с ним были Эттингер, Биттенбиндер, Извольский... Кто-то из них закричал:

— Вера Юрьевна! Княгиня! Ваше сиятельство! Ваше стервятство!.. Эй, Василий Алексеевич, полковник! (Вера Юрьевна не подняла головы, не пошевелилась в кресле, подумала спокойно: «Хулиганы, бандиты, почему ни тиф их, ни пуля не взяли?..»)

Автомобиль уехал, четверо вошли в дом. Свет через раскрытое окно лег на скошенный луг. В столовой звенела посуда, хлопнула откупориваемая бутылка, и — затем — раздраженный голос Хаджет Лаше:

— Эти девки жрут тут без меня, как свиньи. Господа, господа, не начинайте с коньяка,— у нас целый ряд серьезнейших вопросов...

Тогда Вера Юрьевна поднялась и неслышно подошла к дому. До последнего слова она прослушала совещание в столовой. Лаше говорил:

— Предварительная подготовка закончена... Лига связала себя круговой порукой с Парижем, Лондоном, Вашингтоном, с Колчаком, Деникиным...

Вежливый голос Извольского:

— Простите, через кого установлены связи с Колчаком и Деникиным?

— С Колчаком — через Юденича, с Деникиным — через генерала Янова... Затем мы связались с эмигрантским центром и крупнейшей нефтяной группой. Теперь я это могу открыть, господа: нами очень интересуется Детердинг... Лига неуязвима... Мы должны перейти к действиям...

(Пауза. И — голоса: Извольского: «Давно пора», Биттенбиндера: «Урра!», Эттингера: «Честное слово, мы уже совершенно без денег, господа...»)

— Вот список, пополненный в мое отсутствие генералом Гиссером,— продолжал Лаше.— Мы его обсудим и установим очередь. Первый номер: матрос Варфоломеев...

Голос Извольского:

— В расход...

Эттингер — вскользь:

— С ним придется здорово повозиться...

— Вторым номером — семья народного комиссара Красина.

Извольский:

— А что это нам даст?

— Это даст нам самого Красина...

— Ага... Не спорю...

— Третий — полпред Воровский... Он еще в Стокгольме. Но с ним так же, как и с Красиным, я бы несколько подождал, господа, вернее — я бы не с них начал. Четвертый — это также по политической линии... Я говорю о загадочном лице, недавно прибывшем из России,— нашей разведке он известен под кличкой «в голубых очках»... Имени установить не удалось. Граф де Мерси сказал мне сегодня, что посылал запрос в Париж, и Сюрте ему ответило, что московский агент Сюрте предупреждал о возможности появления в Европе крайне опасной личности в голубых очках...

— Я его знаю,— крикнул Биттенбиндер,— голубые очки — харьковский чекист... Этому молодчику спицы надо под ногти!

— Детали обсудим после... Пятым в списке — Леви Левицкий (удовлетворенное рычание собеседников...) и, наконец, шестой — Ардашев... (Снова одобрительные восклицания.) Эта тройка — Леви, Ардашев и Варфоломеев — не вызовет никаких политических неприятностей, здесь можно действовать без оглядки,

кроме того, господа, вы сами понимаете, это *вещественно*... Поэтому я и предлагаю: начать с этой тройки. А чистой политикой займемся уже во вторую очередь.

Биттенбиндер:

— Браво!

Эттингер:

— Поддерживаю...

Затем — холодный голос Извольского:

— Я не согласен... Господа, прежде всего мы должны оправдать свое лицо... Мы боремся за поруганную и распятую монархию... Мы — братья белого ордена — боремся с большевиками, то есть: с агентами сионских мудрецов, с еврейством в целом и с его прихвостнями — российскими либералами и интеллигентами. Наша цель — вернуть России ее исконную святыню и восстановить золотой век, когда государственный строй был подобен небесной иерархии: народ был покоен и чист духом, высшие силы заботились и пеклись о нем. Крестьянин был сыт, здоров и весел, под отеческой опекой крестьянин истово трудился, имея видимую цель: своего барина — своего отца. В свою очередь над барином стояли высшие силы, и вся незыблемая система осенялась славой горностаевой мантии помазанника. Было легко дышать, легко жить... Так вот, господа, я полагаю, что первый наш акт должен быть чисто политическим. Это наш первый долг, этим мы поднимем себя на моральную высоту и смело взглянем в лицо нашим друзьям... Иначе — Лига разменяется на мелкие операции...

Его перебил рев Биттенбиндера:

— Хороши мелкие операции! У Леви Левицкого полмиллиарда крон на текущем счету...

— Вы меня не поняли, поручик Биттенбиндер, я говорю — мелкие в моральном смысле...

— Ну, это уже тонкости...

Лаше — мягко Извольскому:

— Не забудьте, что организация казни крупного политического лица требует огромных предварительных затрат. Ассигнованные нам суммы — капля в море, да и капля-то еще в море, а не у нас... Прежде всего мы должны пополнить нашу кассу... Итак, вопрос о Леви Левицком, Ардашеве и Варфоломееве я

считаю решенным... Мой план захвата этих лиц таков...

Налымов проснулся, зажег электрическую лампочку у дивана и стал поджидать Веру Юрьевну.

Внизу в столовой бубнили голоса. Деревянные стены дома резонировали тревожно, будто волны неспокойных мыслей бежали до чердака, уносились в ночь, рассыпавшую августовские звезды над домом.

Налымов подумал лениво: «Совещаются...» Но где Вера Юрьевна? Ему до того внезапно стало жалко ее, что он сморщился и потер грудь там, где тупой болью сжималось пропитое сердце. «Да, братец ты мой... Пора, пора... Довольно, будет. Пора, братец мой...»

Под его постелью стоял чемодан, в нем в скомканном белье, в коробке от мыла, среди бритвенных принадлежностей, грязных воротничков и прочей ерунды — маленький браунинг... Эта его смерть была далеко запрятана, как у Кощея бессмертного.

Он повторил: «Пора, пора!» — но даже и не пошевелился. Значит — еще не «пора». А не пора потому, что, кроме него, еще — Вера... «Да, накачал бабу на шею... А, собственно говоря, если бы не накачал? Неизбежно, братец мой, все равно — неизбежно,— не ее, так другую, именно такую. Да, братец, живуч все-таки человек...»

Осторожно скрипнула дверь, вошла Вера Юрьевна.

— Приехали,— шепотом сказала она и села у него в ногах на диван. Лицо ее было жалкое. Зрачки — во весь глаз.— Дождались...

Василий Алексеевич спросил как можно спокойнее:

— Что именно случилось?

— С завтрашнего дня начинают... Как мясники... Ну, ты понимаешь,— как мясники!.. Что же это такое? — Она тихо заломила руки.

— Хочешь, дадим знать полиции?

— Ах, у них все — шито-крыто... У них поддержка повсюду. Все предусмотрено. Они спокойны! Пойми, какие-то фантастические злодеи!

У Василия Алексеевича задрожало где-то в кишках. Осторожно спустил ноги с дивана. У Веры Юрьевны зрачки сузились; она следила за ним, не отрываясь. Да, надо было решать... Дряблая воля, давно отвыкшая велеть, мелко тряслась где-то в

кишках... Но понимал: «Прижали вилами — выкручивайся...»

— Вера... Если ты в состоянии,— бежим...

Она — быстро:

— Куда?

— Не знаю пока еще... Там увидим... Во всяком случае, у нас будет какое-то одно очко... (Зрачки ее заметались.) А здесь они используют тебя и уберут, как ненадежного свидетеля... И тебя, и Лильку, и Машу...

— Я это знаю... Я этого давно ждала... Ведь это же — мясная лавка! Нужно бежать сейчас,— они, кажется, уже там напились... В Финляндию и в Петроград! На границе нас схватят, и мы расскажем все... Я скажу... (Вытянулась, зрачки — как точки...) Господин комиссар!.. Мы бежали к вам — предупредить о кошмарном преступлении... Мы — из шайки убийц. Найдете нужным — расстреливайте нас... Ведь все равно же, Вася!

— Конечно, конечно... Я бы даже так сказал: приятно быть зрителем, но наступает час, когда нельзя быть зрителем... Тут не в опасности, конечно, дело... Но есть предел грязи, мерзости...

— Да, да, да...

— Теперь — практически: бежать, конечно, сегодня, сейчас... Взять только деньги и драповое пальто... Когда доберемся — там уже будут дожди, а в Питере теплого не достанешь. Да! Надень высокие башмаки... А я пойду в столовую и подпою их хорошенько...

— Сам не напейся, Вася...

— Брось!.. И жди меня на шоссе... Мы еще захватим последний поезд в Стокгольм...

Вера Юрьевна молча обхватила его, прижалась лбом, носом, губами к его жилетке. Он отогнул ее голову, растрепал волосы, погрозил пальцем ее взволнованному лицу:

— Не сплоховать!

— Нет... Иду...

Дверь в это время толкнули. В комнату вскочил Хаджет Лаше, за ним вошли Биттенбиндер и Извольский. Изрытое воспаленное лицо Хадшет Лаше кривлялось и прыгало, силясь сорвать маску. Бешенство застряло у него в горле,— он шипел, заикался и брызгался. Вера Юрьевна попятилась в ужасе.

Биттенбиндер подошел к Налымову и ударил его рукояткой револьвера в переносье. Василий Алексеевич схватился за голову, повернулся к дивану, нагнулся,— кровь выступила между пальцами. Вера Юрьевна закричала. Извольский сказал с кривой усмешкой:

— Господа, мы слышали все. Прошу вас не покидать этой комнаты... Мы сделаем короткое совещание и вынесем приговор...

46

В одной из стокгольмских газет появилась заметка в отделе происшествий:

«При загадочных обстоятельствах исчез курьер русского посольства некто Кальве. Идет речь о посольстве Советов, захватившем помещение царского посольства, которое принуждено теперь ютиться на окраине города. Настоящая его фамилия Кальве-Варфоломеев. Это один из матросов ушедшего в Румынию царского броненосца «Потемкин». Бунтовщики, как известно, находились под охраной международного права и свободно проживали в Европе под своими именами. Перемена Варфоломеевым своей фамилии наводит на мысль,— не скрывалось ли под этим намерение укрыться от уголовной полиции?»

«...До сих пор стокгольмской полиции не удалось выяснить причину исчезновения Кальве-Варфоломеева, также и то — было ли тут наличие преступления, или Кальве-Варфоломеев исчез, выполняя какие-то таинственные задачи...»

Откликаясь на эту заметку, ревельская (русская) газета опубликовала статью небезызвестного русского писателя-эмигранта — Н. Н., с огромным темпераментом взыскующего к народам Антанты:

«...Вы, гордые своей цивилизацией, мощью и богатством, вы, удовлетворенные плодами победы и мира, вы, беззаботно посылающие своих слуг в ближайший магазин за хлебом, мясом, сахаром и папиросами, вы, безопасно разгуливающие в прочных ботинках и дорогих одеждах по улицам блестящих городов, вы, по ночам не просыпающиеся в ужасе от звука подъехавшего автомобиля... Вы, с высоты благополучия, спо-

койно взираете на окровавленную Россию, где ваши братья,— пусть младшие,— лишены всего, понимаете ли вы, лишены элементарных прав человека и гражданина!.. Антихристовой формулой мы лишены хлеба! А вы слышите наши предсмертные вопли и не спешите на помощь... Мало того... Вы даете убежище большевикам и их приспешникам — вместо того чтобы сажать их, как диких зверей, в железные клетки. Да знаете ли вы, что большевики готовят вам, вашей цивилизации, вашему спокойствию? О, мы, русские, могли бы порассказать об ужасах, перед которыми побледнеет самая болезненная фантазия!»

Следовало на трех столбцах перечисление большевистских ужасов. Далее автор переходил к биографии Кальве-Варфоломеева — «этого гориллообразного зверя-большевика». Автор не сомневался, что гориллоподобный курьер, наведя полицию на ложный след, на самом деле отправился в Венгрию раздувать пламя преступной революции.

Выдержки из статьи перепечатала стокгольмская газета, после чего толпа разношерстных людей собралась перед советским посольством, пыталась ворваться в парадный подъезд, но, потерпев неудачу, выкинула андреевский флаг и камнями выхлестала окошки в первом этаже.

47

В уборной для артистов — в «Гранд-отеле» — Мари пудрила плечи. У соседнего зеркала голая, лимонно-матовая, совсем молоденькая мулатка тихо оттаптывала джигу, упершись в бедра худыми руками, полузакрыв ресницы. Шесть «герлс» переодевались в спортивные юбочки среди хаоса сброшенного белья, картонок и искусственных цветов.

От резкого света стосвечовых ламп лица женщин казались кукольными, глаза — стеклянно-прозрачными. Говорили немного, негромко, профессионально озабоченно. Дули на пуховки. Деловито испытывали движения, гримасы лица, повороты тела — те самые, с трудом найденные и точно рассчитанные движения, которые из вечера в вечер превращались на эстраде в возбуждающую женственность. Там, с помоста, жен-

щины улавливали нормальное для успеха номера количество обращенных к ним мужских лиц, нормальное вожделение. Выше этой нормы возбуждения ужинающих самцов óни не шли,— каждое лишнее движение в сторону красной физиономии, давящейся бифштексом, было бы утомительно, не профессионально и грязно. Мари с первых же дней поняла эту границу. Среди певичек, плясуний, «герлс», акробаток, фокусниц она почувствовала такую забытую потребность в уважении, товарищеской ласке, дружбе, что эта тесная, пропахшая пóтом и пудрой уборная стала для нее островком спасения, куда ее — загаженную по уши в грязи и крови — выбрасывало, как на свежий воздух. Здесь никогда ни о чем не спрашивали, были дружны и внимательны и с профессиональным уважением относились даже к ее сильно пропитому голосу и дрянным песенкам, которые она пела с эстрады.

Мари напудрила плечи, через голову набросила платье в блестках. Оно застегивалось на спине. Она подошла к голой мулатке, тихо отплясывающей джигу. Застегивая ей на спине платье, мулатка сказала на ухо:

— Вам нужно похудеть, Маша,— и прищемила жирок у нее на боку.— Здесь это сойдет, но в Париж вы не подпишете с такими боками. Перестаньте есть сладкое и мучное.

— Меня губят ужины,— с огорчением сказала Мари.— Я обязана заказывать.

Застегнув платье, девушка ласково шлепнула Мари по заду. Мари поцеловала узкое, с большим ртом, чуть плосконосое личико мулатки, ласково улыбнувшейся от поцелуя. Вернулась к зеркалу: «Да, жирна...»

— Мари, можно?

В полуоткрытую дверь просунулась бледная Лилька,— глаза птичьи, круглые, вся насыщена дрянью. Мари поспешно вышла к ней за дверь:

— Зачем явилась? Знаешь — я не люблю.

— Мари... (Дрожащим шепотом.) Мне — опять поручение...

— Я тут при чем?

— Ты всегда ни при чем — одна я отдувайся... Слушай, этот Кальве, оказывается, исчез,— которого я привезла на дачу-то... В газете напечатано — разыскивается полицией...

— Тише ты! — Мари прикрыла дверь. — Ты что узнала?

— Ничего я не узнала. Понимаешь, когда я его отвезла в Баль Станэс, мне велели вернуться и ждать тебя в «Гранд-отеле» до утра... И в это именно время,— я уверена,— что они его... (Всхлипнула.) Боюсь, Маша... Теперь велели привезти Леви Левицкого.

— С Верой говорила?

— Что ты!.. К ней подойти-то страшно...

Помолчали. За бархатным занавесом кулис на эстраде настраивали оркестр. Прошли четверо, в клетчатых широких пальто с поднятыми воротниками, в мохнатых кепках, в руках одинаковые чемоданчики,— братья Хипс-Хопс, воздушные эксцентрики. Задний ласково кивнул Мари. Тогда Марья Михайловна задрожала от отвращения и — тихо Лильке:

— Ну вас всех к черту... Убирайся отсюда к черту!..

Лилька подняла плечи и пошла, не оборачиваясь. На голове ее нелепо, как на манекене, торчала шапчонка — дурацким колпачком.

Лили села в вестибюле на обычное место, у камина.

Не переставая махали стеклянные половинки парадных дверей. Входили и выходили люди, уверенные в своем праве нести себя через жизнь. Вплывали и уплывали на спинах служителей огромные груды элегантного багажа. Как сказочные гномы, выскакивали из мягко упавших лифтов ливрейные мальчики со множеством блестящих пуговичек на курточках. В коробки лифтов входили Уверенные и женщины Уверенных,— для них, только для этих земных божеств тутовые гусеницы ткали шелк, громадные кашалоты копили амбру в мочевых пузырях, под землею уголь спекался в алмаз, седел соболь под северным сиянием и восемьдесят процентов человечества добывали эти и другие прекрасные вещи, получая взамен скромное счастье созерцать красивую жизнь земных божеств, так умело и так цивилизованно пользующихся дарами природы и рук человеческих.

Среди Уверенных одна Лилька, хипесница, сидела чужая, с глупыми круглыми глазами перепуганной птицы. На прошлой неделе она выполнила задание Хаджет Лаше,— привезла Варфоломеева в Баль Ста-

нэс. Вышло это так. Предварительная слежка установила, что Варфоломеев посещал антикварную лавку и прицениваля к восточным коврам. Лили должна была подойти в вестибюле к Варфоломееву и попросить как соотечественника помочь ее горю: старушка мать лежит-де при смерти, все продано и заложено, но у них-де осталась одна вещь — персидский ковер, она хотела бы за него — ну хоть пятьдесят крон... Если Варфоломеев спросит, откуда ковер — объяснить, что покойный папочка — швед по происхождению — работал в России, но из-за плохого здоровья оставил службу и еще до войны перебрался вместе с семьей в Стокгольм. А ковер-де — подарок бывшего хозяина.

Когда Лили подошла в вестибюле к Варфоломееву и заговорила, Хаджет Лаше и Биттенбиндер стояли в двух шагах. Лили была как под гипнозом. Варфоломеев сначала слушал подозрительно. Но у Лили от волнения выступили слезы, бормотала она так бессвязно и жалобно, что его широкое крепкое лицо вдруг смягчилось, виски у глаз собрались морщинками, но неожиданно все едва не сорвалось: он просто предложил ей эти пятьдесят крон взаймы. Лили растерялась. В нее воткнулись черные глаза Хаджет Лаше. Лили замотала головой. Варфоломеев вынул деньги. Тогда Хаджет Лаше решительно вмешался.

— Простите, сударыня,— сказал он Лили,— я нечаянно подслушал ваше предложение господину... (Высокомерно поклонился насупившемуся Варфоломееву.) За персидский ковер я мог бы дать более высокую цену.

Лили под колючим взглядом ответила, что уже сговорилась с господином... Лаше, ворча, отошел... Варфоломеев пожелал сейчас же взглянуть на ковер. Лили попросила подождать до вечера. В сумерки они встретились у выхода из гостиницы и сели в поджидавшее такси. За шофера сидел сын генерала Гиссера, Жоржик, отчаянный автомобилист. Выбравшись из людной части города, он на ураганной скорости погнал машину в Баль Станэс.

Все дело прошло как по маслу. У Варфоломеева не закралось подозрение, даже когда Лили ввела его в темную дачу, попросила подняться наверх в гостиную, и, не зажигая света, оставила одного.

Лили тотчас же увезли обратно в Стокгольм. Когда наутро она и Мари вернулись, на даче никого не было, одна Вера Юрьевна заперлась на ключ и не откликалась. Неожиданно Лили обнаружила разгром у себя в комнате — одеяло с постели сорвано, простыни исчезли. Лили и Мари обошли оба этажа: все — на местах, как и стояло, только в гостиной паркетный пол как будто недавно был вымыт. Сунулись опять к Вере Юрьевне,— к себе не пустила, шипела, как змея, за дверью... хотя такое ее настроение легко можно было объяснить после внезапного отъезда Налымова в Париж.

Лили не отличалась склонностью углублять явления, так и на этот раз она отмахнулась от непонятного. Но во вчерашней вечерней газете прочла, что полиция «идет по следу таинственного преступления»... «Варфоломеев исчез или убит?..» «Кто он — жертва или преступник?..» У Лили от страха расстроился кишечник. Всю ночь она прислушивалась к шорохам, но полиция не явилась в Баль Станэс. Началось томительное ожидание катастрофы. Все тело ее точно измолотили невидимыми дубинками. Сейчас Лили сидела в вестибюле и воспаленными кончиками нервов ждала громового голоса: «Сударыня, следуйте за мной...»

Теперь Хаджет Лаше приказал ей привезти на дачу Леви Левицкого. Ему опять показали Веру Юрьевну. Накануне за уроком Лили сообщила ему, что княгиня будет в Стокгольме у ювелира. Леви Левицкий попросил Лили пойти вместе с ним... Они долго стояли на тротуаре у ювелирного магазина. Вера Юрьевна подъехала в машине, вышла и остановилась у витрины, где на черном бархате колючими лучами переливались камни. Вера Юрьевна была в седых соболях, бледна, потрясающе шикарна. Перед витриной, в блестящей суете улицы, эта неподвижная, высокая и недоступная женщина отшибла у Леви Левицкого остатки благоразумия. Он намеревался было заговорить, но Вера Юрьевна, не замечая его, вернулась в автомобиль и исчезла среди несущихся вниз по крутой улице машин, автобусов, трамваев...

На диван рядом с Лилькой тяжело плюхнулся Леви Левицкий. Она обмерла. Он положил горячую руку на ее колено:

— Когда же, когда, Елизавета Николаевна? Завтра наверное?

— Да... (Чуть слышно.) Завтра... Вечером...

— Вы чем-то расстроены, золотко мое? Ну-ну-ну... (Потрепал по колену.) Только шепните ей про меня — ничего для вас не пожалею...

Лили поглотала слюну,— средство не помогло: как из лейки, вдруг брызнули слезы. Уткнулась в платок, Леви Левицкий с горячей отзывчивостью сжал ее руки, нагнулся к лицу:

— Детка моя, кто же вас так расстроил? Можно помочь как-нибудь? Ай-ай-ай... Денег, что ли, нет? Э, бросьте, а Леви Левицкий на что? Пойдемте-ка, золотко, ко мне в номер да выложите все, как родному брату...

Лили ладонями зажала трясущийся рот, чтобы не заорать на весь вестибюль. Кое-кто из Уверенных стал уже оборачиваться с негодованием... Нахмурился портье за конторкой. Тогда Лили стащила с себя шапочку и закрыла ею лицо. Еще секунда, и она уткнулась бы в грудь этого доброго Леви Левицкого и вырыдала бы всю свою отчаянную растерзанность. Но вовремя от этого безумного шага ее удержал пристальный взгляд Биттенбиндера,— поручик был в смокинге, цилиндре, с черным плащом в руке.

— Нет, я оттого,— пролепетала она,— что моя мамочка при смерти.

Леви Левицкому вспомнился зарубленный петлюровцами папашка. Искренне и пылко жалея девушку, он настоял, чтобы она пошла с ним ужинать. Биттенбиндер сделал знак, и Лили согласилась.

48

Тогда ночью в Баль Станэсе президиум Лиги вынес смертный приговор Налымову и Вере Юрьевне. И она и он выслушали его с каким-то даже облегчением,— наконец кончена канитель! Извольский, прочтя приговор, разорвал бумажонку и обрывки поджег спичкой. Вера Юрьевна и Налымов сидели на диване, президиум расселся напротив, Хаджет Лаше немного впереди других. Он уже успокоился, подогнул под стул ногу, уперев руку в бедро, поигрывая концом кавказ-

ского пояса, игриво поглядывал на Веру Юрьевну. Выдержав минуту, чтобы приговоренные полной мерой хлебнули предсмертной тоски, закончил решение президиума:

— Считаясь с нуждами Лиги, мы *откладываем* исполнение приговора и даже даем обоим государственным преступникам *возможность* загладить беззаветной работой свой проступок. Полковник Налымов немедленно выезжает в Париж к своим обязанностям, княгиня Чувашева остается здесь под моим личным наблюдением...

Налымова увезли в автомобиле на следующее утро, не разрешив проститься с Верой Юрьевной. Она получила от него на другой день открытку в два слова. Ночью Хаджет Лаше говорил Вере Юрьевне:

— Красавица моя, от вашего поведения зависит жизнь полковника Налымова: попытайтесь послушаться меня хотя бы в мелочах,— обещаю прострелить ему башку. Понятно? Его я также предупредил, что спущу вас в мешке в озеро, если он попытается вилять там, в Париже. Понятно? Кроме того, если он сделает глупость — донесет полиции, донос поступит ко мне же, в первую голову. Последствия понятны. Ну-с, а ваши предположения, что всех вас по миновании надобности Лига «уберет», как вы или Василий Алексеевич тогда выразились, кошечка моя,— истерический вздор. Денежную долю выделим вам широко, милуйтесь себе на здоровье хоть на Соломоновых островах... Пора понять: в политике я жесток, вне политики доброжелателен. Может быть, я — последний романтик, почитали бы все-таки мои книжечки. Особенно рекомендую роман «Убийца на троне». Там с большой эрудицией описываются турецкие пытки... А также глубокое знание женской души... (Весело открыл зубы.) Итак, по рукам?

Что же ей оставалось? Хаджет Лаше внушал ей ужас. Он и не скрывал, что намеренно усиливал близость между ней и Налымовым. «Не на один, так на другой крючок вас возьму, если смерти не боитесь». И действительно, если в ней и оставалось что-нибудь живое — так только отчаянный страх за Васеньку.

Оставаясь одна на даче, Вера Юрьевна тихо выла в подушку. И приказания Хаджет Лаше исполняла в точности. Только один раз, недавно ночью, не выдер-

жала... Затыкала уши, совала голову под подушку,— не могла больше слушать протяжного крика боли, доносившегося из гостиной. Крик обрывался. Она различала мужское всхлипывание. Начиналась омерзительная возня... Бормотание голосов. Удары. Тишина. Острый крик раздирал ночную тишину. (Хуже всего, что она видела из окна в Лилькиной машине этого Варфоломеева.) Кричал сильный, полный крови человек...

Вера Юрьевна сорвалась с постели, выскочила на балкончик, сползла по низко спускающейся крыше на луг, побежала к озеру и дальше — к березовому леску. И там до зеленого рассвета тряслась в одной сорочке.

Но и эта ночь миновала. Остался только непроглотный клубок в горле,— не запить никаким вином. Веру Юрьевну два раза таскали в Стокгольм — вечером в ресторан, днем на свидание с Леви Левицким у ювелирного магазина.

Наконец Лаше сказал:

— Завтра его привезут. Может, все обойдется вполне прилично,— я еще не решил... Тогда вам придется пофлиртовать. Не давайте себя откровенно лапать, но и не очень его отпугивайте.

49

Леви Левицкий брился, стоя перед зеркальным шкафом. Что могло быть лучше ощущения горячего прилива жизни! Черт возьми, какая легкость! Кровь так всего и обмывает, мыло шипит на щеках — до чего щеки здоровы. Хорошо, что вчера не пил водки (угощая ужином Лили), только стопочку шампанского! Здесь пить надо бросить,— жизнь пьянее вина. Водка, спирт, автомобильная смесь,— пили мы, братишечка, чтобы отмахнуться от жизни... «Эх ты, яблочко!..» Он повел плечом, и ноги сами притопнули по ковру. Это же — счастье, полная жизнь! И, вдруг испугавшись,— не прыщик ли? — придвинулся к зеркалу. И загляделся на себя... Ах, Леви Левицкий, ты ли это?

Положив бритву на стеклянную доску на туалете, смочил полотенце одеколоном, осторожно вытер щеки

и шею. Припудрился тальком из пестрой жестянки. Эти предметы высокой культуры, разбросанные по столикам и креслам, усиливали ощущение полноты жизни. А помнишь, братишка, питерский пропотевший френч, хлюпающие сыростью башмаки, белье, липнущее к телу? Благословенные шелковые кальсоны, паутиновые носочки, лакированные башмаки, внутри выложенные замшей и посыпанные тальком, чтобы нога нежилась, как в утробе матери.

Он отворил дверцу в ванное помещение — изразцы озарены пестрым витражом окна. Повернул никелированные краны, синеватая горячая вода зашумела в белую ванну, поднимая облачка пара, и вдруг ему стало страшно: слишком уже все хорошо... А вдруг все это — на ниточке? Он сел на край ванны, мрачно задумался. Еще в постели он просмотрел утренние газеты. Германия в особенности внушала самые серьезные опасения. Очень ненадежно. «Черт их знает, на что-то надеются же большевики. Прут напролом, да еще издеваются... Какие-то данные должны у них быть для такой уверенности. Ой-ой-ой!.. Версальский мир! Пропаганды для европейской революции лучше и не придумать».

Леви Левицкий закрыл воду, сбросил пижаму и, вздрагивая от звериного наслаждения, лег в ванну. Глядел на пестрых рыцарей на витраже.

«Что, если все — вздор? Русская революция просто — затянувшаяся демобилизация? Большевики — книжники, спятившие с ума? Ну-те-с! Тогда версальцы не такие уж ослы. Германия и Россия — две половинки одного тела,— индустрия и сырье. Версальский мир весь целиком направлен против Востока,— считая от Рейна до Тихого океана. А если так,— Антанта получает рынок, какой и не снился человечеству. Германские заводы переходят к Франции и Англии. Широкий карательный марш на Восток. Народишки российских федеративных республик разметываются, как мусор. Вслед за армиями Антанты вливается излишек европейского населения. И великолепнейшую буржуазную культуру железным гвоздем приколачивают до самого земного пупа на веки веков — от Великой Британии до Тихого океана».

Леви Левицкий длил наслаждение, поворачиваясь с боку на бок в ванне. Нет, будущее — лучезарно. За

будущее он спокоен. И мысли его перенеслись к волнующей женщине из Баль Станэса. Вдруг он вспомнил: «Черт, цветов забыл!» Торопливо вышел из воды, растерся, надушился, припудрился и начал одеваться, выбрав самый лучший костюм.

Роскошной бабочкой Леви Левицкий стремительно летел на огонь. По телефону он заказал букет белых роз. Легко позавтракал, без вина,— только рюмочка ликера с черным кофе. Спросил гавану в шесть крон. Попыхивая ароматным дымком (каким попыхивают только самые богатые люди на свете), самоуверенно, неторопливо вышел в вестибюль за шляпой и тростью. Навстречу с кожаного дивана поднялась Лили, пробормотала, что автомобиль уже нанят и ждет.

— Превосходно,— сказал Леви Левицкий, беря у ливрейного мальчика шляпу и трость. Его не удивило ни землистое лицо Лили с провалившимися глазами, ни то, что нанятый автомобиль стоял не у подъезда, но довольно далеко от гостиницы, за углом.

Усевшись на заднее сиденье машины, Леви Левицкий сказал адрес цветочного магазина. Шофер (Жоржик Гиссер), как будто не поняв приказания, быстро поехал не в сторону Биргельярлс-гатан (где был цветочный магазин), а к набережной. Леви Левицкий схватил его за плечо (Жорж, не оборачиваясь, болезненно оскалился) и крикнул с раздражением:

— Елизавета Николаевна, скажите этому болвану по-шведски,— я должен заехать за букетом...

Машина повернула на Биргельярлс-гатан. В то время, когда Леви Левицкий платил в магазине за цветы, шофер Жорж успел заскочить в уличный автомат и по телефону запросил Баль Станэс:

— Гость наследил. Что делать?

Голос Хаджет Лаше бешено, отрывисто:

— В чем дело? Точнее...

— Покупает на Биргельярлс-гатан огромный букет. Десятки свидетелей...

— Невозможно!.. (Голос захлебнулся и затараторил татарские ругательства.) Все делается из рук вон! Позовите к телефону Елизавету Степанову. (Жорж ответил: «Нельзя, говорю из уличного автомата».) О, черт! (Опять по-татарски.) Ананáсана... Бабáсана! Везите, все равно...

Букет был завернут в тончайшую шелковую бумагу. Леви Левицкий держал его на коленях, как свое счастье.

Он был счастлив за эти двадцать пять минут перегона по великолепному шоссе от Стокгольма до Баль Станэса. Он сказал Лили, что Европа для него в сущности тесна, развернуться можно только в Америке, где, «душка моя, вот вам мое слово: этих башмаков не изношу,— буду иметь собственный банк и парочку небоскребов...»

На завороте шоссе автомобиль почти коснулся крылом мелькнувшей навстречу машины,— она шла из Баль Станэса в Стокгольм. За стеклом две пары свирепых глаз укололи Леви Левицкого. Но заметила это только Лили, узнав Биттенбиндера и Эттингера. Затем — за поворотом — открылось кубово-синее, среди желтеющей листвы, длинное озеро. Лили указала на черепичную кровлю уединенного дома. Быстро покрыли дорогу вдоль леса. У подъезда дачи на садовой скамейке сидел Хаджет Лаше и добродушно курил из длинного мундштука.

— А-а, милости просим, милости просим... Давно друг друга знаем, но не знакомы, рад, очень рад,— сказал Хаджет Лаше, задерживая руку Леви Левицкого.— И с цветами! По-европейски. Княгиня вас поджидает... Не нравится мне ее здоровье,— настроение, нервы... Да, да, все мы здесь чахнем потихоньку без родной почвы... Вера Юрьевна! — крикнул он, задрав к окну голову и расставя ноги,— гость из Петрограда... Да, поджидает она вас, очень поджидает... Елизавета Николаевна, по русскому обычаю гостя надо бы чайком. (Лили сейчас же ушла в дом.)

— Да вы садитесь, Александр Борисович, в ногах правды нет... Давно ли из Петрограда? Ах, иногда все кажется, как сон какой-то... Помню,— давно ли это было,— Невский проспект: чинно, строго, прочно. Войска проходят с музыкой... Спешат чиновники, мчатся коляски, юнкера на лихачах. Помните пару вороных под синей шелковой сеткой — запряжку императрицы? Любил я глядеть, как, бывало, идет генерал в кожаных калошах с медными пятками, помните? Может быть, сам-то по себе заурядный

человек, но сознание в лице, что — высший представитель империи. И это было внушительно. Солдаты — раз-раз — во фронт, юнкера — дзынь, дзынь — в четверть оборота, локоть — в уровень козырька! Красиво! И вместо этого на пустынном Невском — выбитые стекла и лошадиная падаль. Да, да, вот сижу здесь и размышляю о скоротечности всего земного...

В это время произошло что-то мгновенное и мало понятное... В дверях дома появилась Вера Юрьевна. Только по росту, по меху на плечах Леви Левицкий узнал ее,— бледное, густо напудренное лицо ее было искажено гримасой перекошенного рта. Соболий палантин у самого горла она стискивала худой, в перстнях рукой, ногтями — глубоко в мех. На пороге споткнулась и с каким-то отчаянием протянула руку перед собой. Хаджет Лаше кинулся к ней, втолкнул в дом и захлопнул за собой и за нею дверь. Все это — в долю секунды. Леви Левицкий в недоумении остался на скамейке.

Дотащив Веру Юрьевну до внутренней лестницы, Лаше придвинулся вплоть вздувшимся от гнева лицом и — без голоса:

— Это что же... знаки? Ананáсана! Знаки подаешь? Марш! В постель!.. Лечь... Предупреждение последнее...

Под мехом он ловил ее руку, чтобы сломать пальцы. Вера Юрьевна пошла наверх по лестнице неживыми шагами. Лаше вернулся к Леви Левицкому. Ударил себя по ляжкам. Сел:

— Вы видели? Ну что с ней поделаешь! Опять припадок истерии. Переволновалась, ожидая вас, что ли... Приказал, буквально силой,— лечь... (Всовывая папиросу в длинный мундштук.) Доктора, ах, доктора! Кого ей только не привозил... Без докторов, понятно, что — будь при ней муж, любовник, грубо говоря, хороший самец,— вот и все лекарство. Да, тяжело, Александр Борисович, мне, право, совестно перед вами... Да и княгиня будет в отчаянии... Приезжайтека к нам, батенька, запросто ужинать... Будут милые люди... Засидимся — останетесь ночевать... Условились, а? Завтра вечером, идет? Этот же шофер вам и подаст машину. Но только уж никаких букетов... И просьба... Не говорить никому... Знаете, голодные эмигранты такая бесцеремонная публика,— чуть где запахнет ужином,— так и тянутся на огонек...

Остаток дня Леви Левицкий прогуливался по Вазагатан. Купил чудные перчатки антилоповой кожи и машинку для точки бритв. Потом зашел в кино, где шла новинка — «Три мушкетера». Три французских дворянина и их друг совершали чудеса храбрости во имя чести, Франции и короля. Леви Левицкий скучал,— кому нужна эта неправдоподобная чепуха?

Ужинать пошел в известный кабачок «Три рюмки», но и здесь было скучновато, пресно. От сегодняшнего посещения Баль Станэса оставалось смутное впечатление чего-то болезненного и тоже неправдоподобного... «А не бросить ли канитель с этой бабой? Наверное, с фокусами, подумаешь — аристократка!..» Спать он лег раздраженный, неудовлетворенный.

Утром, лежа в ванне, окончательно решил: довольно нежиться, довольно сладострастничать, мотать деньги. Первое — прочь из этой дыры, Стокгольма,— на простор, в Америку. В девять часов он позвонил Ардашеву и к двенадцати поехал к нему завтракать. Задача: устроить через Ардашева американскую визу.

Николай Петрович встретил его, размахивая объемистым конвертом, сплошь облепленным марками — они тянулись в виде хвоста на особой подклейке. Леви Левицкий засмеялся:

— Узнаю советскую почту. От кого?

— Представьте, дошло! От Бистрема.

— Ну-ка, ну-ка?

— За кофе прочтем.

Сели завтракать. После водочки, когда у Ардашева увлажнились глаза, Леви Левицкий изложил просьбу об американской визе. Николай Петрович отнесся к этому чрезвычайно серьезно.

— Дорогой мой, вы хотите окончательно эмигрировать?

— Не понимаю такого вопроса, Николай Петрович — я не был и не буду эмигрантом... Я должен испытать счастье, раз уже вырвался за границу... Во мне столько темперамента, столько энергии, удачи, честное слово,— жалко бросать Советской России такой кусок! Ей нужен Буденный, а я боюсь острых предметов, сижу на лошади, как собака на заборе.

Года через три или я сделаю миллионы, или лопну, как мыльный пузырь... Тогда уж вернусь в Советскую Россию, раскаюсь (рассмеялся) и отдам себя революции. Вы понимаете, я — слишком Я... Это мне мешает спать. Зла трудящимся я не собираюсь делать, разве пущу в трубу десяток-другой спекулянтов...

Ардашев снял серебряную крышку с дымящегося блюда. Близоруко прищурился.

— Мне-то уж слишком смешно быть моралистом, Александр Борисович... Эмигранты считают меня большевиком, большевики — буржуем. И те и другие правы. Я верю в правду революции, но не верю в себя и продолжаю кушать с серебряной тарелки... И вас я понимаю. Вы цельный человек... Но было бы больно увидеть вас среди врагов Советской России.

— Боже сохрани! Николай Петрович, Россия была мне злой мачехой... Но зла я не хочу помнить. Богом вам клянусь, чем хотите: будет у меня сто миллионов, все равно в душе останусь пролетарием!..

Он сказал это горячо, с верой в себя и в сто миллионов. Выпили под дымящееся блюдо. Ардашев обещал завтра же сходить в американскую миссию.

— Должен вас все-таки огорчить, Александр Борисович: Америка сейчас — не слишком удобное поле для игры. Нет ничего прочнее американских бумаг. Игра сейчас — здесь, в Европе. За войну Америка ввезла сюда товаров более чем на десять миллиардов долларов. По крайней мере половину этого не успели израсходовать. Считайте, что в Европе болтается на разных складах, в военных министерствах, у разных спекулянтов — обуви, белья, одеял, консервов, печенья, варенья, муки, табаку, мороженого мяса и прочего на пять миллиардов долларов. Вот и положите эту сумму себе в карман, Александр Борисович... Потом соберемся опять у меня за завтраком и посмеемся, как два авгура, знающих цену деньгам, человеческой низости и юмору.

— Слушайте, вы серьезно советуете обратить внимание на Европу? Ладно, подумаю... Читайте письмо Бистрема.

Начало письма было о матери Бистрема,— он просил Ардашева сходить к ней и, если нужно, помочь денежно. «Передайте мамочке, что здесь я, во всяком случае, в большей безопасности, чем живя в Стокголь-

ме». Сообщал о себе: вначале он работал в Наркомпросе. «С нетерпеливостью революция требует от наук и искусств покинуть горные вершины и все свои сокровища отдать массам. Грандиозные здания бывших учреждений и дворцов отводятся под академии. Туда привлекаются все, кто может чему-нибудь научить: ученые, академики, специалисты, поэты, философы, балетные танцоры, музыканты, режиссеры... Бесчисленное множество факультетов и аудиторий заполняется толпой рабочих и работниц, красноармейцев, подростков и стариков. Половина этих людей не знает грамоты. Но они, как растения в засуху, пьют влагу знания. В одном зале знаменитый астроном, с мешком для пайков за спиной, в калошах на босу ногу, читает о мироздании. Тысяча человек, таких же голодных, как он, слушают, как зачарованные, о небесных туманностях, о лучах света, ползущих миллионы световых лет по сферическому четырехмерному пространству. Тысяча слушателей чувствуют, что эфир, туманности и свет завоеваны ими, они свои теперь, советские, как этот дворец, как этот величественный и суровый город. В другой аудитории бледнолицый поэт говорит о ямбах и хореях, трехдольных паузниках, ритме, аллитерациях, читает поэмы Пушкина под всеобщее одобрение, с бешенством нападает на символистов и поздравляет слушателей с появлением космического гения Хлебникова. В третьей аудитории деревенские парни, сняв простреленные шинели, обучаются движениям классического балета, и это не смешно, потому что революция взамен мещанских материальных благ пригоршнями швыряет величайшие сокровища тысячелетней цивилизации.

Жизнь с каждой неделей все тревожнее: растет голод, белые армии теснее обхватывают пределы республики.

Из Наркомпроса меня перебросили в отряды по продразверстке. Нужно силой добывать хлеб у все более лютеющего кулачья. О да, я научился ненавидеть сытых... Я пересмотрел мое философическое отношение к еде. В этой точке начинается расхождение двух мировосприятий: чувственного и идейного, индивидуалистического с его «сегодня» и социалистического с его «завтра»... Я вижу, вы читаете это письмо за завтраком и улыбаетесь. Николай Петрович, я

немного похож на голодного оптимиста, не имеющего чем набить желудок и бодро философствующего на тему, что не единым хлебом жив человек. Да, я хочу есть, и это мучительно. Но мозг мой ясен и верит в победу великих истин, и долю истины вы найдете в моих рассуждениях.

Самая буржуазная нация, французы, создали из еды искусство, более почитаемое, чем все остальные. В хоровод муз они ввели десятую музу — Кипящую Кастрюлю. Эту бабу, с глазами восхитительно пошлыми и засасывающими, богиню всех рантье, мелких буржуа, богиню угрюмой жадности, индивидуализма, человеконенавистничества, богиню тухлой отрыжки, называемую также — Версальским миром. Эту мировую стерву я со всей классовой ненавистью выкидываю из хоровода муз. Десятой музой я ввожу крылатую музу Революции, уносящую на своих пылающих крыльях человечество к голубым городам социализма. Она — со мной, опершись о мой стол (где пишу вам при свете коптящего фитилька в консервной жестянке), глядит в мою совесть глазами прозрачными, как математическая формула, неумолимыми, как декрет, светлыми, как утренняя заря.

Не думайте все же, Николай Петрович, что я занимаюсь здесь одной поэзией при свете коптилки. Это мой досуг, очень скудный, кстати. Вчера вернулся из двухнедельной поездки с продотрядом. Нас было четырнадцать человек — двенадцать рабочих-металлистов, комиссар и я — агитатор. Из отряда вернулись живыми двое — пятидесятилетний рабочий Чуриков и я. Двенадцать вагонов хлеба, которые мы успели пригнать в Петроград, стоили нам двенадцати жизней: в дождливую и ветреную ночь комиссар с одиннадцатью товарищами были зарублены топорами, сожжены вместе с сараем, где ночевали. Мы с Чуриковым спаслись только потому, что в этот час были на железнодорожной станции.

Боюсь, что мне теперь долго не придется писать вам. События для нас, петроградцев, чрезвычайно угрожающие. По нашим сведениям, Антанта серьезно принялась вооружать Юденича и финнов. Петроград — на мушке дальнобойных орудий финского берега, Кронштадт — под жерлами английских дредноутов. Наступления ждем со дня на день. А Москва

продолжает высасывать у нас силы для иных фронтов. Есть слухи (но, очевидно, панические, а может быть, и провокаторские) — будто бы Петроградом на крайний случай решено пожертвовать и базу тяжелой индустрии перенести на Урал и в Кузнецкий бассейн. Слухи подогреваются приказами об эвакуации заводов. Но рабочие отвечают на это примерно так.

Рабочие Ижорского завода постановили: «Всякую эвакуацию прекратить, дабы не вводить дезорганизацию как в среду рабочих, так и во вполне налаженную работу по бронированию автомашин. Мы, ижорцы, закаленные в боях, твердо верим в победу, крепко стоим на своих постах и знаем, что и когда нужно делать, когда и какую работу производить и когда нужно заниматься эвакуацией».

Впечатление от этого письма было настолько крепкое, что Леви Левицкий и Ардашев долго молчали,— один, навалясь локтями на стол, глядел в пустую синеву окна, другой, поджав губы, мял хлебные шарики. Потом они заговорили о судьбе революции, волочащей на ногах чудовищные гири: на левой — семьдесят пять процентов неграмотного населения, на правой — интервенцию с белыми генералами и за спиной — змеиный клубок заговоров.

Ардашев откупорил бутылку коньяку,— сердца у обоих разгорячились и умилились. В этот час оба, казалось, готовы были отдать жизнь за справедливость.

— Честное слово, я вернусь, я вернусь, я должен вернуться,— повторил Леви Левицкий.— Здесь я себя не уважаю! Человек может пачкать себе лицо, но жить в грязи? Нет! Нет!

Возвращаясь уже под вечер с затянувшегося завтрака, Леви Левицкий не останавливался перед витринами, не дергал ноздрей в сторону хорошеньких женщин. Он купил русских и немецких газет, вернулся в гостиницу, снял пиджак и сел читать. В Венгрии — революция, в Германии — вот-вот восстанут спартаковцы, в Англии — забастовки, в Италии — невообразимый хаос. Душа Леви Левицкого расщепилась. «Они правы, черт их возьми, правы, правы,— бормотал он, хватая, бросая, комкая газе-

ты,— это начало мировой революции...» Заглядывая в котировку биржевых курсов, сличая их со вчерашними, шумно сопел носом: «Ардашев прав, деньги нужно делать в Европе, и именно там, где все на волоске». Наконец он начал ходить из угла в угол, волоча за собой табачный дым. В дверь слабо постучали. Бесцветной тенью появилась Лили:

— Вера Юрьевна просила передать, что очень извиняется за вчерашнее, непременно ждет вас сегодня к обеду, к семи часам.

— Вы знаете, я, кажется, не поеду... А? (Лили опустила голову.) Золотко мое, извинитесь за меня... Или я напишу. (Лили тенью стала уползать в дверную щель.) Может быть, отложим?

И вдруг в нем поднялось желание, такое вещественное и мучительное, что, стиснув зубы, он за руку втащил Лили в комнату.

— Подождите... Княгиня ждет меня, говорите?

— Да, они очень ждут.

— Ну, раз ждут... Буду европейцем... Что нужно — смокинг? Через десять минут буду готов.

— Я заказала автомобиль... Вы одни поедете, я позже...

Закрыв за ней дверь, он взглянул на часы: двадцать минут седьмого. Он торопливо достал крахмальную рубашку и, ломая ногти, всовывал запонки. Желание раздавливало его, как лягушку в колесной колее, и он, сердясь на запонки, бешено оскалился. Но остроумие все же никогда его не покидало: покосился в зеркало, пробормотал:

— Завоеватель Европы...

51

— Едет,— сказал Хаджет Лаше.

Он вышел на крыльцо. В сумерках, быстро приближаясь, шумела машина. Лаше схватился за перила, слушал, всматриваясь.

Вдали выступали из темноты березовые стволы, свет фар побежал по стволам. Лаше снял руки с перил, провел по волосам. Сошел с крыльца.

Со всего хода автомобиль затормозил. Лаше подошел, дернул дверцу. Из автомобиля неуклюже — бо-

ком вылез Леви Левицкий. Поправил шляпу, глядя на темный дом, где — ни одного освещенного окна.

— Приехали все-таки...— обеими руками Лаше потер щеки.

— А что? — почти с испугом спросил Леви Левицкий.

— Да ничего, все в порядке... Ждем... Кто-нибудь знает, что вы поехали сюда?

— Нет... Вы же просили...

— Кому-нибудь да сказали все-таки?

— Слушайте... Это странно даже...

— Завтракали у Ардашева?

— Ну, завтракал...

— Он знает?

— Что? Что он знает?

Оба говорили отрывисто, торопливо, сдерживая нарастающее волнение.

— Да никто ничего не знает,— сердито сказал Леви Левицкий.— В чем дело?

Хаджет Лаше придвинулся.

— Ах, в чем дело, хотите знать?

Это уже походило на угрозу. Леви Левицкий оглянулся, сейчас же Жорж погасил фары. В руке Леви Левицкого задрожала тросточка. Но он был больше растерян, чем испуган. Что все это могло значить? Лаше или сумасшедший, или бешеный ревнивец...

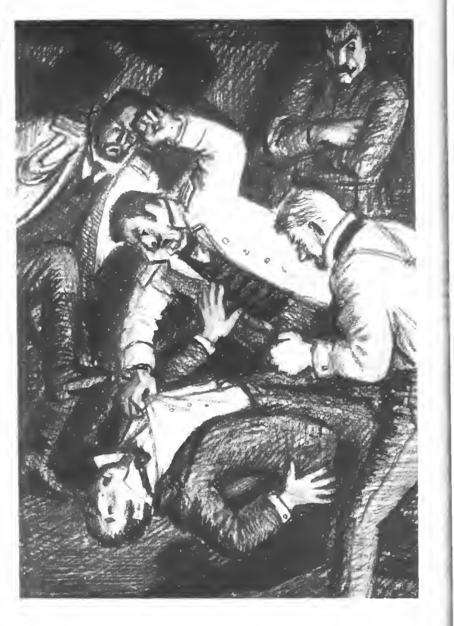
— Я не навязывался ни к вам, ни к вашим дамам... И даже ехать-то не имел особенного желания... (Леви Левицкий осмелел и петушился.) Княгиня хотела о чем-то со мной говорить... Пожалуйста... Не нравится мое присутствие? Пожалуйста...

Он повернулся к автомобилю. Жорж торопливо отъехал. Леви Левицкий остался с поднятой тростью. Лаше — мягко, с завыванием:

— Милости просим в дом, дорогой товарищ, поговорим по душам.

Больно схватил за руку выше локтя. Леви Левицкий с силой рванулся. Из темного дома на крыльцо вышли трое. У него стало тошно в ногах. Три человека сбежали с крыльца, вырвали у него трость, сбили шляпу. Двое — под руки, третий, схватив сзади за штаны, втащили в дом, в темноту. Все это — мгновенно и молча, только шумно сопел Хаджет Лаше.

— Наверх его, наверх...



Леви Левицкий в изорванном смокинге, с выскочившими запонками полулежал на угловом диване наверху, в комнате с камином. Еще в темноте его обыскали, взяли бумажник, документы, золотой портсигар, часы с бриллиантиками, сорвали перстень с пальца. Кто-то, наконец, зажег свет. Четыре запыхавшихся человека стояли перед ним... У Хаджет Лаше, как резиновое, ходило ходуном изрытое лицо. Рыжеволосый Эттингер, от сердцебиения побледневший до веснушек, вытирался платком. Биттенбиндер свирепо выпячивал губы. Извольский свинцово глядел в лицо Леви Левицкому. Затем кто-то достал папиросы, и все четверо жадно закурили.

Извольский, не спуская темных от ненависти глаз с Леви Левицкого, сказал тихо:

— Мерзавец! Товарищ большевик! Ты приговорен Лигой спасения Российской империи... Сволочь, жид! Повесить... твою мать!

Он качнулся, точно падая, ударил его в лицо, но Леви Левицкий втянул голову, и кулак стукнул ему о череп. Биттенбиндер, отстраняя Извольского:

— Это ему что! Пытать его...

Извольский — тяжелым дыханием поднимая и опуская плечи:

— Излишне... Повесить и — в озеро.

Леви Левицкий глядел на Хаджет Лаше, чувствуя, что это — главное. Лаше подошел,— он был в туго перепоясанной малиновой кавказской рубахе.

— Ты в руках грозной организации, голубчик... Тебе не уйти... Но можешь смягчить свою участь, ты понял меня?

Извольский,— топнув, резко:

— Смягчить? Не согласен...

Лаше всем телом повернулся к нему, Извольский опустил глаза... Лаше — опять:

— Ты понял, голубчик?.. Так вот: где ключ от твоего сейфа?

Леви Левицкий облизнул губы.

— Где ключ от сейфа? — повторил Лаше.— И сообщить подробно, сколько вывез бриллиантов, валюты... Подай чековую книжку... Ну, что же ты молчишь?

Все четверо глядели на Леви Левицкого так, будто изо рта его сейчас посыплются золотые червонцы. Но он, полузакрыв веки, ноздри его трепетали,— нена-

висть, выношенная десятками еврейских поколений в гетто, каменное упрямство, ненависть и упрямство, более жгучие, чем страх смерти, высушили его горло,— в ответ он только проворчал невнятное...

Биттенбиндер — зловеще:

— Что-о-о? Повтори, скотина!

Лаше,— начиная завывать:

— Отказываешься отвечать, голубчик? Говорить отказываешься? (Голос взвывал все выше, глаза завертелись.) В последний раз спрашиваю, голубчик: где ключ от сейфа, где чековая книжка?

Облизнув губы, Леви Левицкий, наконец, ответил:

— Я не большевик. Мои деньги — это мои деньги... Отвечать мне нечего... Бриллианты — чушь! И здесь не контрразведка...

Тогда Хаджет Лаше кинулся на него, запустил большие пальцы в рот, рвя ему губы, вертя голову. Заходясь голосом, закричал Извольский. Кричали все, сбившись у дивана. Руки Леви Левицкого кто-то схватил, скручивая в кисти. От возни поднялась пыль. Звенели стекляшки в люстре.

Лаше запыхался, отвалился. От него шел резкий чесночный запах. Леви Левицкий остался лежать навзничь на диване. Из ноздри, из угла разорванного рта ползла кровь. Одна штанина сорвана, на оголенном вздувшемся животе — красные полосы. Он потерял сознание, когда ему вывертывали кисти рук.

Извольский опять предложил всем папирос. Схватили, закурили. Лаше,— яростно плюнув:

— Какой черт выдумал крутить ему руки?

Биттенбиндер — вызывающе:

— Я выдумал.

— Идиот!

— Но-но, потише!

— Пьяная морда. Он же должен подписать чеки... Как он будет подписывать чеки свернутой рукой? Поди — принеси воды...

Биттенбиндер принес из Лилькиной комнаты кувшин с водой. Лаше вырвал у него кувшин, плеснул, затем весь кувшин вылил на лицо Леви Левицкому. Тот застонал. Медленно очнулся. Глаза, сначала бессмысленные, налились ужасом. Он поднял изуродованную правую руку, посмотрел на нее, мокрое лицо

его сморщилось от безмолвного плача. На вопрос, будет ли он теперь отвечать, Леви Левицкий вздернул голову и, пуская кровавые пузыри, начал проклинать этих четверых на том древнем языке, который слышал от папашки, читавшего талмуд. Тогда все опять сорвались.

— Огонь разводи! Огонь! Спички!.. Ананáсана!.. Огня!..— кричал Хаджет Лаше, размахивая каминными щипцами...

Вере Юрьевне давеча велели быть в столовой. Там она и осталась в темноте,— впопыхах о ней забыли. Впрочем, это было и неважно,— она была смертельно пьяна. Раскинув руки по столу, то засыпала на долю секунды, то, подброшенная толчком сердца, шептала и бормотала.

С потолка сыпалась штукатурка — наверху топот и крики. Опять та же возня... В затуманенном мозгу ее появлялась навязчивая мысль: «На кухне бидон с керосином... Опрокинуть его на лестницу... спички... взовьется огонь... Костер до самых туч... Всех — живьем. Зажарить кавказский шашлык... Боже, как гениально: шашлык из Хаджет Лаше!.. «Нам каждый гость дарован богом...»

Тихо повизгивая, Вера Юрьевна смеялась, царапала скатерть. Но алкоголь оглушал, падали руки, падала голова на стол.

Наверху снова — крик. Веру Юрьевну опять подбросило. Такого крика еще не было. Дикий, нарастающий рев боли, невыносимого страдания. На весь дом разинут кричащий рот. Как может так кричать человек?

Она поднялась. Схватилась за голову. Побежала, налетела в темноте на какую-то мебель, со всего размаха упала, покатилась...

По-видимому, минутой позже Леви Левицкий, проткнутый раскаленными щипцами, с вырванным глазом, с джутовой бечевкой на шее, неожиданно (для утомленных членов Лиги) опрокинул двоих, оттолкнул третьего, кинулся к окну, разбил раму и выбросился со второго этажа. Когда члены Лиги выбежали из дому в сырую темноту,— на гравиевой дорожке лежал Леви Левицкий, уткнувшись, мертвый. Все же они еще долго топтали его и добивали.

Одиннадцатого октября северо-западная армия Юденича разорвала на две части фронт Красной Армии и начала наступление на Петроград в направлении: Красная Горка (левый фланг), Царское Село (центр) и станция Октябрьской дороги Тосно (правый фланг). Северо-западная армия, численностью в восемнадцать тысяч пятьсот штыков и сабель, при танках и четырех бронепоездах, была одета в английское обмундирование и прекрасно снабжена пищевым довольствием и огневыми припасами. Шли, как на прогулку, отбрасывая красные части.

С моря над Петроградом навис английский флот адмирала Коуэна. С севера стояла готовая к карательным действиям семидесятитысячная армия финнов. В самом Петрограде сидело тайное правительство, сформированное английским агентом Полем Дьюксом (выдававшим себя за социалиста, друга России). «Цивилизованный» мир принял к сведению заявление Юденича о том, что Петроград после взятия будет изолирован на сто дней в целях планомерной очистки города от преступного элемента и лишь по прошествии ста дней туда будут допущены гражданские власти.

Огромный заговор пронизывал в Петрограде все жизненные центры армии и флота. Люндеквист (начальник штаба Седьмой армии) и Медиокритский (заведующий оперативным отделом Балтфлота) пересылали Юденичу военные планы. Берг — начальник воздушных сил Балтфлота — передал Финляндии план минных заграждений Кронштадта. Рейтер — начальник петроградской радиостанции — отправлял радиосообщения шифрами, понятными белым. Заговор проникал в боевые части. Заговор заводил сомнительные беседы у ночных красноармейских костров. Заговор скрипел перьями в чудовищно громоздких советских учреждениях. Заговор высовывал настороженный бледный нос из-за пыльных портьер в нетопленных питерских квартирах.

Красные части отступали. Белые с каждой занятой деревней воодушевлялись мщением. Четырнадцатого октября у них в цепях кидали в небо фуражки и кричали «ура»... К вечеру стало известно всему миру о взятии деникинской армией города Орла — предпоследней цитадели перед Москвой...

Жорж Клемансо, лично сам, взяв из рук секретаря телефонную трубку, сказал завывающим голосом председателю парижского совещания князю Львову:

— Кажется, я скоро буду иметь удовольствие поздравить вас с российским законным правительством?

Князь Львов, прикрыв дрожащей рукой засветившиеся глаза (это было во время заседания, в наступившей напряженной тишине), ответил тихим голосом:

— Все основания так думать, господин министр...

Из Парижа в Лондон торопливо выехал Николай Хрисанфович Денисов вместе с группой банкиров, чтобы организовать англо-русский банк для кредитования освобожденной России. На черных биржах зашевелились русские бумаги, преимущественно нефтяные акции. Северный богатырь, Митька Рубинштейн, в три дня свалил в пропасть финляндскую марку и начал взвинчивать юденический рубль.

Бурцев Владимир Львович на последние деньги денисовской дотации выпустил знаменитый номер «Общего дела» с заголовком во всю страницу «Осиновый кол вам, большевики». Со свежим оттиском газеты он ворвался на заседание парижского совещания (объявленного непрерывным) и потребовал пятьдесят тысяч франков на окончательную дискредитацию Ленина и К°...

Русских эмигрантов охватила счастливая суматоха возвращения на родину. Неожиданно вынырнул из небытия Александр Федорович Керенский и объявил две публичные лекции на тему: «Виноват ли я!..» Не во френче и в перчатках,— каким знали его, всероссийского диктатора,— в поношенном пиджачке, с судорожно затянутым грязным галстуком на шее, с припухшим нездоровым лицом старого мальчишки,— Александр Федорович с крайней заносчивостью доказал аудитории, что если бы его вовремя послушали, то не было бы ни большевиков, ни гражданской войны, ни эмиграции, но было бы все хорошо и превосходно.

Журналист Лисовский получил блестящее назначение военным корреспондентом в Ревель. Живописность ревельских телеграмм Лисовского изумила самых прожженных журналистов Парижа. В Ревель изо всех европейских закоулков устремились сотни спекулянтов с наивыгоднейшими предложениями снабже-

ния освобожденного Петрограда всем необходимым: от австралийской солонины до венских презервативов,— на Петроград надвигались горы тухлятины и гнилья. Северо-западная армия не шла — летела вперед. Восемнадцатого октября были взяты Красное Село и Гатчина. Девятнадцатого генерал Юденич вошел в Царское Село.

Генерал знал, что на него смотрит мир. Он тяжело спустился с площадки салон-вагона и взглянул в сторону Петрограда, синеватой полоской проступающего вдали болотистой равнины. Доносились орудийные выстрелы. Ждали, что генерал размашисто перекрестится. Но он почему-то этого не сделал. Малиновые отвороты его шинели, надвинутый большой козырек и седые подусники проплыли мимо выстроившегося караула юнкеров. Дул холодный ветер, гоня по вокзальной площади опавшие листья. В городе было пустынно, лишь качались и шумели высокие лиственницы и оголенные липы с покинутыми вороньими гнездами.

Генерал сел в коляску и, сопровождаемый лихими конвойцами, проследовал в Александровский дворец.

53

Громовыми вздохами над Петроградом прокатывались выстрелы со стороны моря,— это линкор «Севастополь» стрелял из башенных орудий по Красному Селу. С моря, с северо-запада, ползли тучи, дождь хлестал вдоль пустынных улиц по простреленным крышам, по облупленным фасадам с разбитыми окнами.

У Троицкого моста за грудами мешков нахохлились часовые. Непогода посвистывала на штыках. Тощие, заросшие лица, суровые от голода и ненависти глаза. Ветер доносит — бух! бух! Низкая туча наползает на город, навстречу ей ледяной бездной вздувается Нева и хлещет о полузатонувшие баржи, о граниты набережных.

Надвинув промокшую кепку, руки в карманах, нос — в поднятый воротник, Карл Бистрем, преодолевая ветер, миновал Троицкий мост, протянул часовому пропуск и — бодро:

— Чертова погодка, товарищ...

В ответ часовой, повертев пропуск и так и этак, нехотя проворчал:

— Проходи.

Пробраться было не просто через взрытую и залитую дождем Троицкую площадь. Повалил снег. Ветер задирал толевые листы на круглой крыше деревянного цирка. Несколько человек пробиралось туда. Восторженный, как во все эти дни, бодро шлепая размокшими башмаками по грязи, Бистрем перегнал их. У входа — пулемет и красногвардейцы. Снова — пропуск. Полный народа, туманный от сырости вестибюль: Бистрем с трудом протолкался. Цирк был полон, на высоком месте оркестра стояли двое — коренастый сивоусый человек и нескладный солдат, не вытаскивающий рук из карманов мокрой шинели. Сивоусый,— подняв палец:

— Товарищи... В ответ мировым империалистам и их кровавым собакам — православным генералам... В ответ белогвардейскому разъезду, который мы видели за Нарвскими воротами... В ответ мы, путиловские рабочие, сегодня послали в партию двести пятьдесят человек... А всего за эти дни петроградские заводы послали в партию пять тысяч человек... Да здравствует мировая революция!..

Длительные аплодисменты... Усы оратора еще некоторое время двигаются. И вдруг он широко улыбнулся. Хлопающие поднаддали. Когда, наконец, смолкло, он указал на нескладного солдата:

— Вот — товарищ делегат с зеленого фронта... От дезертиров Сормовского завода... (Сразу тишина,— над мокрой крышей глухо — бух! бух! — вздыхает воздух.)

Чей-то грубый голос:

— При чем тут дезертиры?

Солдат испуганно оглянулся на путиловца и с виноватой готовностью нескладно заговорил:

— Мы, то есть дезертиры, с Сормовских заводов... Не так, чтобы большое количество, но — достаточно... Значит, признаемся — шкурники... Что хочешь делай... Мы, значит, узнали, что на вас — на питерских рабочих — идут белые генералы. Обсудили: надо выручать. Троих нас, делегатов, послали к вам, чтобы вы разрешили грузиться в эшелон нам, дезертирам, и

выдали бы оружие, что ли,— здесь, на месте,— все равно... Не настаиваем... Постановили единогласно — выручать!..

— Принять!.. Благодарить!..— закричали с мест.

По лестнице в оркестр проворно взбежал матрос, в распахнутом бушлате, локтем, как котенка, отстранил солдата:

— Товарищи, в грозный час, в двенадцатый час революции красные моряки-балтийцы стали на своих боевых постах... (Выкинул кулаки.) Не раз мы били белые банды на подступах к Петрограду... Страх и ужас вселяли матросы в ряды врагов трудового народа... (Плечо вперед, прищурился и — по буквам.) Принять бой с нами, значит принять смертный бой... Кто колеблется — отбросьте свои сомнения... Моряки красной Балтики зовут всех трудящихся, всех, кто, как мы (кулаком гулко в грудь), ненавидит золотопогонников, барскую сволочь, зовут вас на последний, победный бой... (С какой-то даже изнеженностью, от переизбытка сил, помахал затихшему без дыхания цирку...) До последнего патрона, до последнего вздоха... Все к оружию!.. Все на боевые линии!.. Мы, балтийские моряки, даем смертную клятву — победить под стенами Питера...

Карл Бистрем закричал, протискиваясь в темноте к эстраде. Все лица, худые и тусклые, старые и молодые, дрожали, разевали рты, кричали, как будто вместо красновато-накаленных шаров с потолка обрушился поток горячего света... На лицах, в глазах, исхлестанных осенним дождем, исступленное решение... Весь амфитеатр колыхался и кричал, ощетиненный вытянутыми руками, кричал найденное слово:

— Клянемся!.. Клянемся!..

Карл Бистрем не успел высказать все, что переполняло его. Пожалуй, было и хорошо, что не заговорил,— в крайнем возбуждении этих дней мысли его заносились во все более отвлеченные пределы, а он и сам видел, что сейчас нужны слова такие же простые и вещественные, как смертная клятва... Бистрем получил записку и протолкался к столу президиума. Председатель, старый знакомый (кто допрашивал его в Сестрорецке), шепотом сказал, преодолевая кашель:

— Ступай на Путиловский завод... Возьми мою машину. Там ни одного агитатора... Будь бессменно... Держи телефонную связь со мной. Ты клялся?

Бистрем запотевшими очками уставился ему в блестящие лихорадкой глаза:

— Великой клятвой пролетария...

Председатель кивнул:

— Ступай.

На улице хлестал дождь со снегом. Громовые удары отдавались из-за низких туч. Казалось, отчаяние легло на низкие дома, на жидко-грязные мостовые. Дребезжащая машина уносила Бистрема через мосты, пустынные набережные. Потоки грязи из-под колес хлестали по плачущим окнам.

Дома — все пустыннее и ниже. Пустыри. Развалины лачуг без окон и дверей. Бух! Бух! — яснее доносились орудия. Та-та-та,— постукивало из едва видимой торфяной равнины. Справа — за вздувшейся речонкой — деревянные крыши деревни Волынки, прямо — решетчатым призраком повис большой кран путиловской верфи. Серая пелена моря. Шквалистый ветер. Автомобиль, валясь на стороны, мчится по сплошной воде. С юго-запада, из мглы, по оловянной ленте Петергофского шоссе тянутся обозы, грузовики, пешие люди.

Автомобиль сворачивает к заборам, за ними — кирпичные корпуса со ступенчатыми крышами. Угрюмо, сбивая черный дым к земле, дымят трубы. У заводских ворот — скопище повозок. Шофер остановил машину и Бистрему — со злобой:

— Вылезайте.

— Что тут такое?

— Не видите, что ли?

Бистрем вылез из машины; по щиколотку в грязи, разъезжаясь ногами, пошел к воротам. Люди в солдатских шинелях сидели поверх горой наваленной поклажи на военных повозках: серые, щетинистые, мрачные лица. На крестьянских телегах среди узлов — женщины и дети, покрытые ветошью и рогожами. Грязью залиты люди, лошади, грузовики, вереницы телег, обозы отступающей армии. В воротах — крик, треск осей; свирепый человек в черной коже, размахивая револьвером, кидается к лошадиным мордам.

Телеги и повозки въезжали на огромный фабричный двор, с кучами железного лома, бунтами леса, валяющимися ржавыми судовыми котлами и кучками беженцев, укрывающимися от непогоды. Закутываясь клубами пара, свистели паровозики узкоколейки; рабочие с криками и руганью проносили железные балки, стальные листы, мешки с песком, шпалы; повсюду горели раздуваемые переносные горны; люди облепили вагоны бронепоезда, треща и стуча молотками; слепили глаза, сыпали искрами автогенные горелки; за высокими закопченными окнами завода тяжело били молоты, вспыхивало пламя, грохотала и скрежетала сталь.

Протолкавшись на фабричный двор, Бистрем с трудом добился, где помещается заводской комитет. В полутемном коридоре конторы сидели женщины на узлах, плакали дети. На одной из дверей стояло мелом: «Завком». Рабочий штыком преградил вход. Бистрем показал пропуск. В комнате, в махорочном дыму, осипшие голоса кричали в телефонные трубки. На столах — кучи черствого хлеба и винтовок. Тут же, на одном из столов, кто-то спал, покрыв лицо инженерской фуражкой.

Здесь было сердце обороны Петрограда. Путиловский завод лихорадочно — в три смены — строил и ремонтировал бронепоезда, орудия, паровозы, автомобили, мобилизовал отряды, размещал отступавшие военные части, организовывал ночлег для беженцев, устанавливал бронебойные щиты на подступах к городу, проводил электрическое освещение на боевые линии. По отрывкам лающих телефонных разговоров Бистрем понял, что все эти работы были сосредоточены здесь, в завкоме.

Стряхнув воду с кепки, протерев очки, Бистрем подошел к одному из столов. Из-за буханок заплесневелого хлеба и цинковых ящиков с патронами на Бистрема воткнулись светлые глаза в воспаленных веках...

— Что надо?

Бистрем протянул мандат, наспех чернильным карандашом написанный давеча в цирке председателем,— по-видимому, на одной из записок, поданных в президиум. Рука с изломанными ногтями протянулась из-за буханок, взяла клочок бумаги, поднесла к

красным векам... Зазвонил один их трех телефонов на столе. Человек сорвал трубку:

— Да... Я... Что? Как не можете? Задавило? — Так.— И он, слушая, читал бистремовский мандат с обратной стороны записки...

На обратной стороне стояло:

«Гражд. пред... Туманные обещания о коммунистическом рае, а на практике — тухлая вобла — карие глазки... Если вы действительно убежденный — можете предложить населению хотя бы по триста граммов хлеба? Ну-ка?.. За армией Юденича идут поезда с белыми булками и консервами... Советую: бросьте словоблудие, предложите нам существенное...»

— Чепуха!.. (В трубку.) Никак, товарищ... Бронепоезд должен быть на линии сегодня... Под Пулковом держимся... В ночь обстреляем Пулково... А? Чего? — Красные веки его напряженно замигали. Слушая бормочущий в трубку голос, он махнул в сторону Бистрема запиской.— Чепуха! Ничего не понимаю, товарищ...

— Мандат на обратной стороне, товарищ,— сказал Бистрем.

Тот перевернул записку: «Товарищ Бистрем ударно перебрасывается на Путиловский»... (В трубку.) К шести часам крайний срок... Постой, бронепоезд вывести на линию в шесть... (С угрозой.) Товарищ, минуту промедления засчитаем как контрреволюционный акт... Ладно. Катись!.. (Положил трубку и — Бистрему.) Ступай в вагонный цех... Подыми настроение,— ребята третьи сутки не спят...

Он тяжело поднялся, подошел к столу, где спал человек в инженерской фуражке, и, подсунув руку ему под затылок, встряхнул:

— Э! Проснись!

Инженер сейчас же, как подкинутый пружиной, сел: мертвенно-бледное лицо, припухшие мешки под зажмуренными глазами, один ус во рту...

— Слышишь ты, товарищ, беги в цех. Инженера там задавило. К шести бронепоезд надо на линию.

Инженер сполз со стола и, спотыкаясь, пхнулся в дверь, вышел. Бистрем, получив ломоть хлеба, догнал его во дворе. Под резким ветром и дождем у инженера глаза разлиплись, он покосился на карман Бистрема.

— Вот это несправедливо,— сказал,— двойной паек... Дайте-ка половину... (Бистрем разломил ломоть. Инженер на ходу торопливо начал есть.) Так надоело, знаете, так надоело... Мы им нынче всыплем из шестидюймовых... Двадцать четыре часа буду спать. Вы иностранец? Знаете, о чем скучаю? Пива хочу. Поднимите, поднимите настроение, это не мешает...

Из широких ворот вагонного цеха вылетела такая оглушающая трескотня клепки,— Бистрем сморщился от боли в ушах. Под самый потолок, где ползали мостовые краны, летели фонтаны искр с наждачных кругов. В сумраке огромной мастерской с трудом можно было разглядеть закопченные, запыленные человеческие фигурки; они то отделялись, то сливались с этим хаосом железа, искр и звуков. Бистрем в первый раз был на металлическом заводе. Ему показалось непонятным соотношение между громадами металла, чудовищными формами бронированных вагонов, двигающимися, крутящимися, ползающими станками — и такими слабыми человеческими фигурками. И все же они в дыму, в огне, в метели искр делали что-то, от чего тысячепудовые глыбы визжали, гнулись, соединялись и, обузданные, покорялись воле людей, шатающихся от усталости.

Отчаянно звонил колокол. Чья-то рука в кожаной рукавице потянулась и оттащила Бистрема. На него по воздуху плыла вагонная ось. На ней стоял, держась за тросы мостового крана, щуплый человек в пальто с рваными подмышками, в валенках, обмотанных бечевками. Он опустился вместе с осью. На вымазанном, сером, как железо, лице вдруг приветственной улыбкой сморщился нос, слабо приоткрылись зубы. Бистрем узнал: Иванов,— тот, что взял его на границе под Сестрорецком.

В первый раз Бистрем почувствовал, что революция подарила ему, кроме двухсот граммов хлеба, еще и суровый мимолетный привет человека, идущего на смерть. С ужасающей ясностью Бистрему представилось, как завтра, сегодня ночью, быть может, кавалеристы генерала Родзянки, спешась в жидкую грязь, заворотив спереди длинные шинели, упрутся плечами в ложа винтовок и, выбрасывая на рвущийся ветер желтоватые дымки, будут укладывать — тело на тело — у расщепленного пулями забора вон тех, кто

копошится под вагоном, тех, кто, расставив ноги, вертя лопатками, заливаясь пóтом, бьет молотом по брызжущей окалиной полосе, тех, кто, прижав к разбитой груди пневматический молот, наспех склепывает стальную броню.

Бистрем влез на двигающуюся взад и вперед станину станка и, поправив очки, начал говорить о противоречиях европейской политики, колеблющейся между желанием раздавить Советский Союз и страхом перед революцией у себя, о слабости Юденича, не имеющего резервов,— ничего, кроме десятка кораблей с английским снабжением и восемнадцати тысяч бандитов, страшных только для тех, кто бежит перед ними. Он рассказывал о клятве в цирке и, потрясая растопыренными пальцами, кричал:

— Товарищи, дух революции сильнее всех английских дредноутов! Буржуазный мир, несмотря на миллионные армии и несметные богатства, только обороняется. Да, он обороняется, а мы наступаем... В этом наша сила,— у нас цель и вера. А там только хотят уберечь награбленное. Им только кажется, что они наступают на Петроград,— неправда, они отступают, потому что они нас боятся больше, чем мы их... Победит тот, кто наступает, у кого вера в победу...

Несколько пожилых рабочих подошли и слушали иностранца в очках, но даже при тех его словах, когда у него самого закипали слезы восторга,— лица их, суровые и усталые, оставались неподвижными. Когда он окончил, Иванов попросил у него папирос — раздать товарищам,— не курили со вчерашнего дня. Ногтем стуча ему в пуговицу, сказал:

— Тебе не в наш цех, тебе в деревообделочный надо пойти поговорить,— там много сиволапых. А у нас ребята в большинстве все сознательные.

Бистрем обошел артиллерийский, вагонный, автомобильный, паровозный отделы,— во всех цехах шла горячечная работа. В лафетно-снарядной заканчивали первые советские танки. В минно-сборочной ковали лошадей. Под дождем грузились военные повозки. С угольной кучи по доскам и лужам бежали тачки. В раскрытые настежь двери котельных виднелись раскаленные топки,— кочегары с остервенением кидали лопатами уголь в ревущее пламя, будто это в самом деле и было пламя пролетарской революции.

Бистрем дивился: на всей территории завода не было видно охраны — ни вооруженных, ни орудийных установок, ни окопов. Беспечность? Недосуг? Или действительно эти люди обрекли себя? Не умолкая грохотали орудия с моря, из-под Пулкова и Царского Села. Правым крылом белые пробивались к Октябрьской дороге, чтобы перерезать единственную питающую город артерию.

В сумерки сквозь рваные тучи пронесся биплан, и долго на заводский двор падали мокрые листочки белых прокламаций. Кое-кто поглядывал на них искоса. Бистрем видел, как в кузнечном цехе у трех-четырех горнов оставили работу, обступили низенького старичка мастера,— вполголоса он читал прокламацию. Плечистый молотобоец, пивший воду из ведра, зло оглянулся, бросил ведро, протолкался к мастеру, выхватил листок, бросил в огонь.

Бистрем натыкался и на кучки людей, внимательно и тревожно слушающих кого-то, кто замолкал, когда он приближался. Эти люди со странными усмешками не глядели ему в лицо. Время от времени он забегал в контору, пытаясь соединиться по телефону со Смольным. В восемь часов вечера ему это удалось. Он получил задание переброситься на фронт под Пулково, в красноармейскую часть, где только что выбыли из строя два комиссара.

В сарай набилось полсотни красноармейцев. Горел костер, было дымно. Входившие, засыпанные мокрым снегом, с удовольствием крякали, стаскивая с плеча винтовку, протискивались к огню. Сарай находился в стороне от Московского шоссе, в деревне, на южном склоне Пулковского холма. Было за полночь, под дощатой крышей свистела непогода, редко доносились выстрелы.

Бистрем по совету пожилого красноармейца Ермолая Тузова (почему-то принявшего в нем хлопотливое участие) разулся и сушил носки и башмаки. Местечко у огня устроил ему тот же Тузов: «Братишечки, видите, человек растроганный, надо бы потесниться — сомлеет...» Потеснились,— впрочем, на Бистрема никто не обращал внимания.

Почти сутки он не спал и не присаживался. С Путиловского — в Смольный, оттуда — на фронт,

в мокрую, снежную, жуткую темноту, где угрожающе окликали сторожевые. Только теперь можно было передохнуть. Весь мокрый, в липнущем белье, засунув руки в рукава, Бистрем мужественно боролся со сном. Голоса слышались, будто за мягкой стеной,— содрогаясь, с испугом он разлипал веки: ни на секунду нельзя понадеяться, что настроение у бойцов до конца прочно; здесь были разные люди. Ему не нравился услужливый Ермолай Тузов,— прищуренный, с бороденкой,— слишком ласков. Бистрем настораживался каждый раз, когда в обрывки разговоров ввертывался медовый голос Ермолая,— нет-нет, да и поглядывал быстро, сквозь щелки, спит ли комиссар.

Застуженный, хрипучий голос:

— Промерз, где только душа, ребята, пустите к огоньку, Христа ради.

Ермолай — скороговоркой:

— Нынче, миленок, бога поминать не велено.

— Как же говорить-то?

— «Батрак-бедняк»... Его поминай.

Огромный, как туча, человечище пропихивается к костру, валится на колени едва не в самый огонь:

— А ты все вертишься, Ермолай, как вор на ярмарке.

— Я, как все,— от своей свободы верчусь: нынче ни царя, ни бога...

Еще чей-то тревожный голос:

— Василия Мокроусова нет здесь?

Угрюмый безусый красноармеец, накинувший на голову шинель, на корточках у огня, ответил:

— Не ищи.

Сзади:

— Ой, что ты?

Мокрый человечище:

— Застрелили насмерть Мокроусова.

Бистрем таращится. Сон мягкой пустотой бросается на него, опрокидывает в ничто,— голова кивает, валится на грудь, очки сползают, губы вытягиваются.

Ермолай — кому-то:

— Ну да, я — лужский... Чего? Да будет тебе — кулак, кулак... Не такие кулаки-то... У кулаков дома железом крыты.

Молодой красноармеец, под накинутой шинелью:
— А у тебя чем крыто?

Огромный человечище,— борода его распушилась от огня:

— За войну-то Ермолай раз пять, чай, слетал домой, по хозяйству. Знаем мы, чем его изба крыта... Железа-то у него припасено,— замирения только не дождется... (Ермолай на это только: «Ах, ах!») Вместе, чай, в царской армии служили — я рядовой, он — вестовой. Человек известный.

— Ну, еще что? — со злобой спросил Ермолай.

— Я как был бос, так и ныне бос... А ты, гляди, живалый,— красная звезда!..

Молодой красноармеец усмехнулся худощавым лицом. Ермолай царапнул зрачком огромного человечища, но обернул все в шутку:

— Эх, ты, чудо морское, то-то говорлив... (И уже — не тому, с кем спорил, а — к стоящим в отблесках пламени у дверей сарая,— видимо, продолжая какой-то начатый разговор.) Значит — при пожарном депо этот козел и живет. В Луге все его знают,— ходит, как человек, по дворам: такой умный козел... До революции ходил на станцию — встречал дачников... Прелесть!.. Так что ж они: взяли козла и вымазали всего красным фуксином.

Чье-то улыбающееся широкое лицо — в отблесках пламени:

— Кто же вымазал?

— Ну, кто... (вполголоса) коммунисты...

— Козла-то зачем?

— Для агитации...

Несколько человек разинули рты и — крепко, дружно — ха-ха-ха!.. Ермолай удовлетворенно щурился. Бистрем беспомощно пытается взмахнуть плавниками, подняться из мягкой черной пропасти, но сон снова оттягивает его губы... Молодой красноармеец (под шинелью) — с угрозой:

— Ермолай!..

— Чего? — Ермолай весь тут...

— Дошутишься ты до Чеки...

— Отчего? Я при комиссаре говорю...

Тогда все головы повернулись к Бистрему. Он посапывал. Ермолай, приободряясь:

— У меня такая же звезда на лбу... Нет, браток, ошибся. Ты еще молодой... Я с винтовкой пять тысяч верст исходил... А ты где был, когда мы Николашку свергали? Гусей пас?.. То-то. Поверите — нет, братки, вот этой рукой главнокомандующего Духонина, самого кровопийцу народного, выволок из вагона — терзать... А ты — в Чеку... Тогда всю народную армию волоки в Чеку... Мы за Советы кровь проливали... (С неожиданной яростью хватил себя кулаком по коленке.) И сейчас не пятимся...

— Верно, верно. Правильно,— негромко зашумели голоса.

Молодой, сбросив с головы шинель:

— За какие за Советы?.. Без коммунистов, что ли?

Большой человечище с высохшей бородой, видимо, не поспевая мыслью за спором, повертывался то к Ермолаю, то к молодому. Из толпы просунулось припухловатое лицо в кудрявом пуху на смешливых щеках:

— Ермолай-та,— он за такой совет, куда его с кумовьями председателем выберут.

И опять и уже громче, дружнее стоящие у огня: ха! ха! ха! Бистрем от этого грохота: «ха, ха!» — вздернул головой, проснулся, испуганно оглядываясь. Ермолай к нему:

— Товарищ комиссар, носочки просохли, можно обуться...

Сотрясая сарай, ударило тяжелое орудие. Сидевшие у огня вскочили. Сейчас же второй удар будто придавил крышу. На лицах — выжидание, напряжение, рты открыты,— рука сжимает ружье. Совсем близко хлестнул винтовочный выстрел. Еще и еще, торопясь, сдваиваясь, прокатилось громовой трещоткой. Молодой красноармеец (одна рука — в рукаве шинели) шепотом: «Наши!..» Снова — удары шестидюймовок с путиловского бронепоезда у Средней Рогатки. И ночь, тьма закипела, застучала, задыхаясь железными звуками от моря до Ям-Ижоры.

Прошло не слишком много толчков сердца с тех пор, когда только лишь уныло посвистывал ветер под крышей. Первым закричал Ермолай: «Белые наступают!» Молодой красноармеец, не попадая крючками в

петли шинели: «Товарищи, никакой паники!» Бородатый человечище,— кидаясь с винтовкой к двери: «В порядке, братва, выходи в порядке!»

Снаружи рванули дверь, в неясном отблеске тлеющих головешек появился военный и — протяжно:

— Бойцы! Вчера под Воронежем красный корпус товарища Буденного разбил наголову генералов Мамонтова и Шкуро... Бойцы! Город Орел обратно взят Красной Армией. Бойцы! Военный совет Петроградского укрепленного района дал приказ — наступать сегодня в ночь...

— Ура! — хрипло сорвался чей-то голос...

— Ура! Уррра! — торопливо крепкими глотками закричали бойцы, нажимая к выходу. Среди выходивших Ермолая не оказалось.

В ночной глухой синеве над белой равниной стоял холодный срезанный месяц. Небо очистило. Ветер затих. Пахло свежим снегом. Ночь, умытая бурей, разрывалась грохочущими звуками. Они то слабели, то усиливались. С подножья Пулковского холма были видны длинные вспышки орудий. Отблески зажигали искорку далеко на куполе собора в Царском Селе. Отблески зловеще отражались в двух окошках крестьянской избы, где был штаб и где неподалеку стоял Бистрем. (Ждали запоздавшую машину с литературой из Питера.) Он вглядывался,— снежная равнина, разбросанные черные пятна деревьев и построек — все было безлюдно. Зарево занималось на северо-востоке. Этот бой решал судьбу революции,— так представлялось ему. Совсем близко над оснеженными крышами разорвалось что-то желто-огненное, и будто пчелки просвистели мимо ушей Бистрема. Он обернулся — наверху холма, за темной чертой парка, тускло поблескивал купол обсерватории. Левее его, ближе к деревне, снова лопнул огненный шар...

Под куполом, куда в меридиональную щель падал лунный свет на лакированную лесенку, на медные части окуляра большого, как морское орудие, рефрактора, стоял семидесятилетний знаменитый астроном в черной шелковой шапочке.

Подняв к меридиональной щели морщинистое лицо, выпитое звездами, он сказал кому-то — невидному в тени:

— Они нацеливаются в купол,— это беспримерно... Нельзя ли как-нибудь телефонировать этому генералу, чтобы не нацеливались? А нельзя ли,— как вы полагаете,— если мы возьмем несколько подушек и закроем ими верхнее стекло рефрактора? Во всяком случае, тогда мы несколько понизим вероятность.

Черной, как сажа, полосой на снегу лежало Московское шоссе. Белые пристрелялись по нему,— кустами огня на шоссе взметывались их снаряды. Со стороны Питера приближалась с огромной быстротой машина. Бистрем спустился к шоссе. Перед вырастающей машиной взвилось пламя, заволокло дымом. Но автомобиль проскочил и скрылся в овражке,— через мост. Низко над тем местом ослепительно рванулась шрапнель. Блестящий радиатор с потушенными фонарями вынырнул из овражка. Бистрем подбежал. В машине была литература — еще сырые кипы приказа и отпечатанных речей...

При двойном свете — луны и спички — Бистрем разбирал слова приказа:

«Красноармейцы, командиры, комиссары! Сегодняшний день решает судьбу Петрограда... Дальше отступать нельзя... Петроград нужно отстоять какой угодно ценой... Помните — на вашу долю выпала великая честь защищать город — родину пролетарской революции... Вперед, в наступление!.. Смерть наемникам английского капитала...»

Набив карманы литературой, Бистрем зашагал по шоссе. Вдогонку что-то ему закричали из машины,— он, не оборачиваясь, махнул рукой. Поднеся к очкам листочек, читал на ходу, чтобы запомнить наизусть. Поворот в окопы был за горелой избой. Между оглушительными ударами нашей батареи (откуда-то близко, из оврага) слышалось посвистывание пуль.

Стоп — горела изба... Надрывающе взвыло что-то прямо в душу, из лунного света скользнула тень (или так почудилось), и огненный грохот швырнул Бистрема в сторону от шоссе.

Когда лицо его, грудь, живот, распростертые руки напились снегового холода, Бистрем медленно очнулся. Лежа ничком, силился разобраться, почему он в таком странном положении,— носом в снегу, и на чем прервались его обязанности? Из чувств у него всего сильнее была воля к долгу.

Он с трудом повернулся,— удалось сесть. В карманах литература цела. «Неприятное обстоятельство,— пробормотал.— Сколько же я здесь провалялся?..» Небо было железного цвета, снег на крышах розовел от зари. Попытки встать не привели ни к чему. Ощупал ноги,— целы, по-видимому, контузия... Уши будто чем-то завалены,— мир был беззвучен.

Только теперь он заметил, что очертания горелых стропил и затем срезанного лунного диска расплылись, как за потным стеклом. Провел по лицу, ладонь стала липкой: кровь. Тогда он загоревал: разбились его очки.

А в десяти шагах от него бежали серые тени в сторону Царского Села. Их было много, полное шоссе. Сощуря веки, он различал шинели и фуражки курсантов, винтовки, готовые к бою. Бежали неистово. За ними — медленнее, плотнее двигались покачивающейся колонной кожаные куртки... У Бистрема ощетинились волосы на затылке, сорвал кепку, крутя ею, закричал: «Да здравствует Коммунистический Интернационал!..» С шоссе к нему свернули два санитара с носилками.

В ту же ночь четыре эскадренных миноносца — «Гавриил», «Свобода», «Константин» и «Азард» — вышли из Кронштадта в море, держа курс на Копорский залив. Был приказ — загородить минами путь в залив.

Бушевала метель, и небо еще не прояснилось. Эсминцы шли с потушенными огнями в кабельтове друг от друга. Кругом на горизонте появлялись и пропадали какие-то огни. «Гавриил» передал по радио, что впереди — англичане. Эсминцы шли полным ходом, до труб зарываясь в косматое море.

Тучи начало сносить, показалась луна. В шесть часов поутру около параллели Долгий нос на «Гаврииле» показался огонь и последовал взрыв, после чего

судна не стало видно. Через семь минут огромное пламя переломило надвое «Константина». Он затонул мгновенно. Через минуту «Свобода» скрылась за водяной горой взрыва. «Азард» застопорил машины. Впереди опять появились дымящие трубы «Свободы». Ветер донес слабые крики: «Ура!». «Свобода» сообщала световыми сигналами: «Идем ко дну. Нарвались на свежее минное поле. Нас предали. «Азарду» повернуть, идти в Кронштадт. Да здравствует революция!..»

К утру двадцать первого октября под Пулковом обозначился перелом в военных действиях. Брошенные на передовые линии отряды курсантов, коммунаров и балтийских моряков переходили в штыковые атаки. В одном из отрядов матросы сбросили бушлаты и тельники,— голые по пояс балтийцы бросились на танки. Днем двадцать первого штаб Юденича оставил Царское Село. Из Царского, Павловска и Гатчины потянулись в Ревель обозы с дворцовым имуществом. К вечеру Красная Армия ворвалась в Царское Село,— дрались под столетними липами, у Фридентальских и Орловских ворот. Белые покатились на юг, цепляясь за Красное Село, за Гатчину и Лугу. Это был разгром, неожиданный и непоправимый, у самых ворот Петрограда.

Предполагая, что еще можно спасти положение, французский генеральный штаб предложил финскому генеральному штабу немедленно двинуть войска и интернировать Петроград. Финны ответили, что сделают это, если французы дадут денег на войну и заставят Колчака признать независимость Финляндии. Французы денег не дали. Колчак ответил отказом. Финны не выступили. Адмирал Коуэн, боясь кронштадтских мин, ограничился тем, что послал к русскому берегу монитор новейшей постройки, который несколько дней обстреливал из пятнадцатидюймовых орудий Красное Село, оставленное белыми. Эстонское правительство, не надеясь более привести в Ревель Балтийский флот, отдало приказ разоружить и интернировать Юденича с его бандами, буде они перейдут эстонскую границу.

Министр северо-западного правительства Маргулиес записал в дневнике:

«Все опять у разбитого корыта... Все поражены,— одни большевики победили. Это — нечто фатальное. Русская публика притихла, озирается. Кедрин, совершенно разбитый морально, выехал в Париж...»

54

Михаил Александрович Стахович, попыхивая папироской в толстом мундштуке, читал, против обыкновения, русскую газету «Общее дело». Пробило час. В столовой звякала посуда, на цыпочках ходил лакей. Наконец — шум машины у подъезда. Хлопнула парадная дверь. В прихожей вздохнули, начали снимать калоши... (В Париже-то калоши!) В салон вошел Львов, рассеянно потирая руки, как с мороза. По всему заметно, что в Политическом совещании, откуда он приехал завтракать,— самые серьезные неприятности...

— Уже семь минут второго,— не опуская газеты, густовато проговорил Михаил Александрович.

Львов остановился и некоторое время глядел невидяще. В беловатых глазах его мелькнуло изумление.

— Миша, ты читаешь «Общее дело»?

— Почему это тебя так встревожило? Я уже несколько дней читаю русские газеты, это меня забавляет.

— Гм... Это тебя забавляет...

Львов сделал попытку заходить по красному бобрику салона. Его внимание привлек вихрь осеннего ветра, гнавший сухие листья от подножья Эйфелевой башни по улице Монтескье,— закружив, ветер швырнул их в окно.

— Я не нахожу в этом ничего забавного,— сказал Львов.— Если Бурцев несколько односторонне освещает события, то надо же считаться с настроением французов... Вчера Николай Хрисанфович Денисов с трясущимися губами умолял меня ослабить впечатление от неудачи Юденича — не наносить удара по парижской бирже... Под Петроградом временная заминка, может быть, чисто тактическая... Вот все, что нам здесь известно в конце концов... А то, что у Николая Хрисанфовича тряслись губы...

Стахович — из-за газеты:

— Неужели тряслись губы?

— Так вот... Он дал мне понять, что неудача Юденича — никак не местного значения, даже не общерусского, но европейского, но мирового... И удар по бирже прежде всего на руку большевикам... Стало быть, нужно писать так, как пишет Бурцев... Можно лгать более остроумно, согласен, но у нас нет талантливых журналистов. Ты представляешь, как все мне далеко, и чуждо, и отвратительно: лживая пресса, биржа, спекулянты, французские интересы, английские интересы. Но что делать, Миша? Все более начинаешь убеждаться, что не ты руководишь, а тебя перебрасывают из рук в руки, как мячик. Быть чистоплотным очень, очень приятно... Я тебе очень завидую.

Он заходил по красному бобрику, руки — сзади под пиджаком, голова с гладко зачесанными волосами — цвета алюминия — опущена, уперта в неразрешимое.

— В девятьсот семнадцатом я не хотел брать власть, но не счел себя вправе уклоняться от долга. Из всего Временного правительства я один знал мужика... И я верил, я и сейчас не откажусь от моей веры, иначе бы я давно сошел с ума: гармония, озаренная высшей правдой, восторжествует над ожесточенной материей... Путь к правде — через страдания и кровь, и, может быть, сами большевики посланы России высшим разумом.

Стахович — примирительно:

— Это очень по-русски: гегелианство, переваренное в помещичьей усадьбе... Это — очень наше...

Львов взглянул на «Общее дело» на коленях Стаховича, коротко кашлянул. Походил.

— Неудача под Петроградом чревата для нас последствиями гораздо более тяжкими, чем поражение стотысячной армии Колчака, чем неудача, Деникина под Орлом. Петроград — это уже Европа, под Петроградом завязан узел мировой политики... Тебе известно, что эстонцы начали переговоры о мире с большевиками? Сегодня мне преподнесли эту новость. (Львов пофыркал носом.) Генерал Юденич должен был взять Петроград, как разгрызть орешек, поставить английскую и французскую оппозицию перед сущест-

вующим фактом... Он же устраивает невероятный шум, рассылает союзникам хвастливые телеграммы и не берет Петрограда...

— Юденич — истинный чудо-богатырь, было бы странно ждать от него чего-нибудь другого,— Михаил Александрович потер ладонью медно-красное лицо.— Кстати, я где-то встречал этого Юденича,— редкостный болван и жулик. Английская и французская оппозиция будет в восторге, если мы окончательно посрамимся под Петроградом. На наших спинах эти господа из профессиональных союзов прыгнут к власти. И я утверждал также, и не раз, что мы неминуемо осрамимся под Петроградом...

— Почему неминуемо? Прости меня, Миша... Ты комфортабельно устраиваешься с газетой и папироской... (Голос Георгия Евгеньевича задрожал от горечи.) Прости меня... Ты опять начинаешь злоупотреблять спиртным... (Пить Михаилу Александровичу было запрещено,— он недоуменно поднял плечи и округлил глаза, как бы от явного поклепа.) Ты безапелляционно высказываешься о событиях, которые — прости меня — уже совершились... Ты предоставляешь другим пачкать руки... Нет, почему неминуемо? Почему? Если бы адмирал Коуэн выступил со всем своим флотом двадцать первого октября... Если бы финны двинули армию за Сестру-реку... Если бы эстонцы оказали нам действительную помощь... Почему неминуемо?..

— Во-первых,— сказал Михаил Александрович и от подбородка захватил почти аршинной длины бороду, в порядке уложил ее на обсыпанном пеплом жилете,— во-первых, что касается комфорта... Я — бывший помещик и бывший дворянин, бывший потому, что советская конституция отменила наши привилегии, а вы пока еще не отменили советской конституции. Как человек бывший и уже в летах, считаю наиболее добросовестным жить на ту единственную привилегию, которую у меня отнять нельзя и отнять никто не вправе: мое свободомыслие... Я сижу у окна, курю табак, читаю о политике и рассуждаю. Это ни к чему не обязывает, это безвредно, и это меня забавляет... Это мой комфорт... Комфорт я купил себе тем, что я, ни на кого не сердясь, спокойно принял факт: я — бывший... Я никогда не был слишком

красным, но держался либеральных мыслей, как всякий порядочный человек... Почему же сейчас, когда я — пролетарий, я должен выбрасывать из пасти огонь на моих бывших мужиков и вообще на русских людей? Скажи, имею я право хотя бы на свободомыслие?

Львов положил руки на голову, будто защищая ее от ударов, и так прошелся. Он стал у окна, где ветер снова пронес желтые листья, столь же бесполезные, как несбыточные мечтания, отговоренные слова.

— Месяц тому назад я сказал бы тебе: нет, не имеешь права. Во имя тех жертв, которые... (Опять попытался схватиться за голову, но решительно засунул руки в карманы и там потряс ключами и медяками.) Да, Миша, ты имеешь право на свободомыслие, и мы все имеем на это право... Но как осуществить это право? Передо мной, человеком, который против насилия, против всякой крови,— встает неразрешимый вопрос: должен ли я продолжать убийство русскими русских, продолжать, сознавая, что на моей совести — кровь, ужасная кровь... Или — уйти, уйти, пока не поздно, зная, что поздно. Видимо, я не годен для борьбы, у меня нет сознания правоты... Миша, сегодня на совещании мне дали просмотреть номер московской газеты... Там — обо мне... Я принесу сейчас... (Он пошел к двери, но вернулся.) Они пишут: я — крупный помещик, до войны был заинтересован в переходе сельского хозяйства на интенсивные формы. Понимаешь?.. Отсюда — я заинтересован в развитии национального капитала, отсюда я — во главе кадетской партии. Во время войны я заинтересован в широчайшем сбыте на нужды армии продукции с моих латифундий!.. (Он особенно, с горькой иронией подчеркнул это слово «латифундий».) Отсюда — я становлюсь во главе Земского союза, чтобы организовать тыл и возможно дольше затянуть войну, набивающую карманы помещикам... Теперь я — во главе самой реакционной группы крупных земельных собственников, определяющих политику Деникина. Я — во главе интервенции, иными словами, я продаю Россию, я — предатель, я — враг...

Он развел руками и с силой хлопнул себя по ляжкам, так что от серых панталон его пошла пыль.

Стахович сказал:

— У них это называется диалектикой. Очень неглупая штука. Тоже — от Гегеля...

— Как бы это ни называлось, я прочел, и мне будто плеснули в лицо помоями... Сейчас принесу... (Пошел и опять вернулся.) Я перечитал еще раз в автомобиле... Миша, у меня волосы встали дыбом: ведь фактически все это так и есть. Миллионы русских людей с величайшей ненавистью должны произносить мое имя... Как я могу доказать, что не жадностью к деньгам были обусловлены мои поступки?.. Мне лично — монастырская келья да ломоть хлеба. Может быть, я честолюбив, что? Я был кадетом, потому что хотел широкого парламентаризма для моей несчастной страны... Я пошел в Земский союз, потому что не мог же не хотеть победы несчастной России. Я борюсь с большевиками, потому что... (Он вдруг махнул рукой.) Выходит так, что какие-то силы толкали меня и я делал вид, что не замечаю этих сил, и вместо них представлял свое прекраснодушие... Самое страшное, Миша, что я, кажется, в глубине души не верю себе... А может быть, и в самом деле мной руководили материальные соображения? Что? Но этих ниточек, привязанных к моим рукам и ногам, я не могу ощупать, не вижу. И дергаюсь, как «петрушка», на ужас и позорище всему миру. (Он весь стал измятый и пыльный. Глаза погасли. Свернул к двери.) Ну, вот... Я пойду на часик прилягу... Завтракать не буду.

Насупившись, Михаил Александрович проводил его соколиным взглядом. Решительно растрепал бороду и двинулся в столовую завтракать в одиночестве... Выпил рюмку водки, подпер голову и сидел, не притрагиваясь к блюдам...

Он давно видел приближение гибели. В особенности ощутил это сейчас, с запутавшимся стариком Львовым... «Да, да, нужно уходить, засиделись до неприличия. Устраивали воскресные школы и английские парки, шумели и говорили прекрасные слова, поднимали на ноги печать, если какому-нибудь уряднику случалось побить мужика. Либеральные земства, воскресные школы, вегетарианство, непротивление злу, англомания и «Русские ведомости» и — логический финал: массовое убиение русских, этих же самых мужичков... В крови — по горло... И в темени — диалектический гвоздь. Нужно уходить...»

В половине второго затрещал телефонный звонок. Стахович вытер салфеткой усы и тяжело подошел к телефону. Голос Денисова кричал:

— ...пожалуйста, передайте Георгию Евгеньевичу — сегодня я еду в Лондон с ночным... Да, он знает, в связи с Детердингом... Умоляю еще раз попридержать сведения из Ревеля... До свиданья, Михаил Александрович, вам привезу хороших сигар...

55

В кафе Фукьеца на Елисейских полях у стойки бара сидели на высоких табуретках Налымов и Александр Левант, который остервенело жевал сигару.

— Василий Алексеевич, ведь минуты до́роги...

Налымов, трезвый, похудевший, очень приличный, в черном пиджаке, черном галстуке и перчатках (на руках его была нервная экзема), молча разглядывал этикетки бутылок...

— Слушайте, давайте это отложим до вечера... Дела́, дела́ сначала... В двух словах я вам объясню; милый вы человек...

— Короче и без хамства,— сказал Налымов.

— Хорошо... Мои сведения совершенно достоверные, самые свежие. Юденич окончательно провалился: его армия интернирована на эстонской границе. На днях в английской палате будет запрос о кредитах Юденичу, и Черчилль продаст его как миленького... Финны без французских денег не полезут на Петроград,— французы денег не дадут, франк валится в пропасть, заметьте, это — сегодняшние сведения... Деникинские добровольцы драпают к Черному морю, в тылу у Деникина — поголовные восстания. В Сибири — и того хуже. Интервенция в этом году сорвалась. Еще два-три дня — об этом заговорят все газеты. Представляете, какие золотые часы мы пропускаем?

— Ну и что же?

— Нужно продавать, продавать! (Левант задышал спертым жаром в ухо Налымову.) Продавать на декабрь, на январь, на февраль...

— Что продавать?

— В первую голову — нефтяные акции... Почему, спросите? Потому что это самые загадочные ценности. Вокруг них обаяние Детердинга. Акции каких-нибудь

уральских заводов? Железнодорожные? Этим никого не заинтересуешь: заводы разрушены, русские железные дороги, как каналы на Марсе,— может быть, они есть, может быть, их нет... Но за бакинской и грозненской нефтью — английский большой военный флот, политика Черчилля, польская и румынская армии. Это производит впечатление! Другое дело, когда именно русская нефть попадет к англичанам. Между нами — не раньше будущей осени... А покуда всю эту зиму нефтяные бумаги будут шататься и валиться. Мы играем на понижение. Представляете, что можно взять на разнице?!

— У вас же нет нефтяных акций...

— Наивный ребенок! Мне нужна только биржевая кредитоспособность. А ее получу через того же Манташева. Черт с ним, пускай ишак снимает львиную долю, нам с вами хватит на кусочек хлебца... (Испачканные никотином зубы его заколотились истерично.) Вы поняли мою мысль? Звоните Манташеву, едем к нему немедленно.

— Я никуда не поеду, покуда вы не отдадите мне письма.

— Богом клянусь, письмо в чемодане, в бумагах...

— Врете, письмо при вас...

Левант схватил рюмку и опрокинул ледяной коктейль в пересохшее горло. Налымов искоса наблюдал за ним. Левант только что вернулся из поездки Стокгольм — Ревель. Он должен был передать Вере Юрьевне письмо Налымова и во что бы то ни стало привезти ответ. Вот уже месяц, как она не отвечала ни на письма, ни на телеграммы. По некоторым признакам Налымов был почти уверен, что Левант привез ответ, а это означало, что Вера Юрьевна жива... Но Левант, по обыкновению, лгал, и вывертывался, и дрожал от какого-то паршивого нетерпения...

— Слушайте, Левант, я не послал до сих пор к черту всю вашу шайку вместе с вами только из-за Веры Юрьевны...

— Это все мной учтено.

— Я одно только могу предположить: ответ Веры Юрьевны сфабрикован Эттингером, и вы боитесь, что я обнаружу это... И Веру Юрьевну там убили еще месяц тому назад...

— Знаете, шутки имеют некоторую границу, и я просил бы...

Бармен, приготовляя новую порцию коктейля, с любопытством поглядывал на собеседников. Налымов сказал громко по-французски:

— Очень хорошо, я иду к прокурору...

Он положил мелочь на прилавок, поправил шляпу, слез с высокой табуретки и вышел на улицу — пряменький, с поднятыми плечами. Бармен — с видимым огорчением Леванту:

— Мосье пьет один?

— Приготовьте столик, мы завтракаем.

Левант выскочил на тротуар, где холодный ветер гнал листья, срывал шляпы, трепал юбки. Налымов на углу, подняв трость, подзывал такси. Левант схватил его за руку:

— Василий Алексеевич, не глупите... Вернемся... Я все расскажу про Веру Юрьевну...

— Письмо...

— Успокойтесь, при мне, в кармане... Не могу же, черт возьми, на ветру...

Налымов молча повернул к Фукьецу. Сели за тот же столик, что и в первую встречу (в начале лета). Левант,— покосясь на стенные часы:

— Давайте скоро... Я хотел вам отдать письмо завтра, ну — сегодня вечером... Знаю же я, какой вы сумасбродный человек... А ведь дела́, дела́,— ни часу промедления... Ну ладно... (Вынул помятый конверт и прикрыл его ладонью.) Только несколько слов... Я не меньше вашего, Василий Алексеевич, хочу развязаться с Лаше. Он всех нас приведет на эшафот! У Лаше пропал политический нюх, он уже не способен к быстрым поворотам... На сегодняшний день его пресловутая Лига — просто шайка грязных авантюристов. Вы понимаете меня? Если англичане, не поморщившись, предали Юденича с целой армией,— что Лига? — каблуком раздавят... Я ему в лицо это сказал. Дурак, заварил грандиознейшую кашу, впутал генеральные штабы, контрразведки, а сделал мелкую грязь, пшик, что гораздо лучше обделает какой-нибудь провинциальный бандит... Этому дьяволу хочется сыграть роль мирового злодея, а весь-то он — беспаспортный бродяга, гопник, содержатель публичного дома в Афинах, марсельский сутенер, форточник из Скутари, вышибала из вонючего переулка в Галате...

Слова вместе с крошками вылетали изо рта Леванта. Налымов — негромко и угрожающе:

— Письмо...

— Сейчас... Как я и думал, все его сокровища царской короны — чистый блеф... Обидно, Василий Алексеевич. Открытой, честной, законной игрой, какую я вам предлагаю, мы бы давно заработали на кусочек хлеба с маслом. Сейчас о письме... Минутку... Лаше — бывший агент тайной полиции при Абдул-Гамиде, да еще — по особому отделу загадочных убийств, таинственных исчезновений, пыток в стамбульских подземельях, денежных вымогательств и прочей старотурецкой романтики. Вот... (Ногтем он щелкнул о зуб.) Вот как я его знаю... Он страшен, когда у него за спиной сила, а персонально он — трус и малодушный истерик. Он еще не понял, что его участь решилась под Петроградом... Да, да, вы увидите: скоро полетят и Черчилль и сам Клемансо... Довольно размахивать оружием. Европе это надоело. Либерализм, гуманность, законность — вот о чем сегодня говорят на бирже. Военные запасы все разбазарены. Спекулянты на военных стоках проспекулировались. Довольно кустарщины! Идет серьезный промышленник и серьезный купец... Да, да! Сейчас, потерпите минутку, я к письму именно и подхожу. Предлагаю вам, Василий Алексеевич, решительно и как можно скорее отделаться от Лаше... Он будет бешено сопротивляться, и наша борьба упрется в борьбу за Веру Юрьевну... Не удивляйтесь... Лаше прекрасно понимает, что именно эта женщина погубит его с головой. Он бережет ее как свой глаз. Он давно понял, что жестоко промахнулся, отослав вас в Париж. Если бы не вы,— давно бы ее и кости сгнили. Но вы — начеку, и вам терять нечего. Он это тоже понял. В игре троих карта Лаше бита... Знаете, для чего он вызвал меня в Баль Станэс? Предложил убрать вас старотурецким способом, клянусь богом...

Налымов со слабой усмешкой:

— Что это за способ?

— Так, порошочек один, пустяк... Лаше потерял чувство современности. Сами понимаете, я без спора принял предложение... (Торопливо хихикнул, стукнул желтыми зубами.) И тогда он повел меня к Вере Юрьевне...

Налымов мутно уперся в бегающие глаза Леванта.

— Вера Юрьевна нездорова, давно уже — с месяц... Нервное расстройство, по-видимому, на почве белой горячки... Что касается комфорта — все в порядке: у кровати — ваза с фруктами. Бывает врач... То, что Лаше писал вам и телеграфировал о ней, все соответствует действительности... Я прочел ей ваше письмо...

— Она в сознании?

— Временами... Я-то предполагаю, что на пятьдесят процентов у нее — симуляция, но этого Лаше, конечно, не высказал... Лаше предложил ей ответить вам, и она что-то долго писала. Он это письмо взял и спрятал, и, как вы верно угадали, Эттингер под его диктовку настрочил вам ответ от Веры Юрьевны...

Левант презрительно перебросил через стол письмо. Налымов не прикоснулся к нему. Левант вынул пухлую грязную записную книжку, заполненную цифрами и знаками биржевых бюллетеней, перелистал и протянул Налымову:

— Вы понимаете, без этого я бы и не начал с вами разговаривать. Мне-таки удалось перехитрить Лаше: покуда они внизу строчили вам ответ, я заскочил к Вере Юрьевне и шепнул: «Продолжайте этот курс, развязка близка...» У нее глаза так и сверкнули, понимаете,— у сумасшедшей-то? И собственноручно нацарапала вам парочку слов... Читайте, этого не подделаешь...

Налымов с трудом разобрал большие слабые буквы поперек листочка записной книжки:

«...Велосипедист вез девочку с закрытыми глазами, помнишь — парк Сен-Клу? Я тебе сказала тогда... Все по-прежнему... Только тобой... За все благодарю...»

— Василий Алексеевич, но, ради бога, давайте Веру Юрьевну отложим... Едем к Манташеву...

— Хорошо. Я верю вам,— сказал Налымов, осторожно вырывая из записной книжки листочек.— Что мы должны делать?

— Прежде всего — деньги, деньги, деньги...

56

У суетного Леванта голова даже ушла в плечи, когда такси остановилось у подъезда мрачного трехэтажного дворца на набережной Сены.

— Это его собственный дом!

История превращения Леона Манташева из нищего эмигранта в миллионера была так стремительна и необычайна, что парижская пресса на несколько дней занялась этой сенсацией. Леон Манташев получил от «Ройяль Дэтч Шелл» за проданные Детердингу бакинские земли девятнадцать миллионов франков. Деньги он получил на руки все целиком, неожиданно, как землетрясение. Однажды утром шеф гостиницы «Карлтон» был вызван к Манташеву, только что вернувшемуся из Лондона. Предполагая, что дело идет о бутылке коньяку и бутылке шампанского в кредит, шеф послал вместо себя лакея узнать, в чем дело. Лакей, едва только отворил дверь, буквально был выбит обратно в коридор ураганным ревом нервного русского клиента. Лакей был бледен, у него тряслись губы, когда он сообщил об этом шефу. Шеф, с окаменелым, недоступным снисхождению лицом, без стука (что было прямым вызовом) вошел в номер к Манташеву, где, несмотря на поздний утренний час, были спущены шторы, зажжены все электрические лампочки, пахло виски и сигарами.

Леон Манташев, расставив ноги, стоял под люстрой. Карманы его необыкновенной канареечной пижамы оттопыривались. Усы торчали дыбом. Глаза бешено крутились.

— Счет! — заорал он, делая в воздухе широкий крестообразный жест.

— Хорошо, мосье, я подам вам весь счет,— мертвым голосом ответил шеф, подчеркивая «весь», что обозначало восемьдесят тысяч франков, или знакомство с комиссаром полиции, или подтяжки, привязанные одним концом к шее, другим — к дверной ручке. Шеф вышел. Счет был немедленно послан. Шеф, портье и два мускулистых коридорных стояли за дверью на случай атаки клиента. Они увидели в дверную щель, как лакей подал счет, как русский, не взглянув на счет, не моргнув глазом, вытащил из карманов пижамы пачки денег и одну за другой швырял их на серебряный поднос, дрожавший в руке лакея, и мимо — на ковер...

— Восемьдесят тысяч! — заревел Леон Манташев.— Восемь тысяч получи на чай, скотина! Пшел! — и под ноги оторопевшему лакею швырнул последнюю пачку.

Шеф, портье и коридорные отступили от двери, охваченные сильным волнением.

В то же утро Манташев переехал в гостиницу «Мажестик», в апартаменты, сдававшиеся обычно коронованным лицам и американцам с Пятого авеню. Темперамент его искал выхода. Манташеву сразу показалось тесно в этом городишке. (Париж тогда еще только приспосабливался к приему дорогих гостей.) Например: машины «рольс-ройс» он не мог найти ни в одном магазине,— предлагали заказать на фабрике — и ждать полгода?.. А портные! Парижские портные шили на мертвецов! А женщины, черт возьми! У самых шикарных фантазия не шла дальше ужина в кабинете Кафе де Пари и тысячи франков в сумочку. «Мерси, мой казак» — вот и все безумство...

Попытки бушевать на Монмартре также не вывели души на простор. Самая дорогая котлета стоила двадцать франков. Шампанское — пятьдесят франков. Правда, во всех кафе (слух о нем уже облетел Монмартр) «баловня судьбы» приветствовали джазбанды салютом,— он сидел, густо обсыпанный конфетти, обмотанный серпантином, обвитый голыми руками девчонок. Его знаменитые усы, торчавшие из этой путаницы, зарисовывались карикатуристами и даже были опубликованы в газетах. Все же это был не размах. Красивая идея — откупить на всю ночь уличные развлечения на бульваре Клиши — наткнулась на сопротивление полиции. Даже любимое дело — скаковая конюшня — не могло заполнить времени. Он купил четырех кровных жеребят и двух трехлеток для дерби, но и с этим приходилось ждать до весны. Вместо нищеты ему грозила скука.

С первых же дней к нему прилип один жизнерадостный эмигрант, мосье Сипи́н (по-видимому, просто — Сипкин), знающий Париж, как дно своего кошелька. С первым утренним кашлем счастливого миллионера Сипи́н проскальзывал в опочивальню со свежими новостями и игривыми предложениями. Он садился за пианино, пел бульварные новинки, имитировал знаменитостей, изображал один целый оркестр, чудно лаял собакой, до жути правдиво изображал автомобильные гудки, мог есть сколько угодно и что угодно, даже гнилое, кроме того, он зорко следил за многочисленными просителями, надоедливо крутившимися вокруг отеля «Мажестик».

По его совету Манташев купил мрачный дворец на набережной Сены, с великолепными конюшнями во дворе. Столовая в бельэтаже была расширена и украшена колоннадой, вторая столовая оборудована под кавказский духан с очагом для шашлыков. Устроен бассейн для плавания, гимнастический и спортивный залы. Особое внимание обращено на спальни наверху — их было три: личная, холостая, в английском вкусе, затем помпадурная с подлинной кроватью Марии Антуанетты — для красивых связей, и — зеркальная с фонтаном — для легких массовых развлечений. Нижний этаж отведен под контору и жилища челяди.

На новоселье было разослано триста билетов — в редакции газет, кое-кому из русских и подавляющее большинство — женщинам по списку Сипи́на. Новоселье это произошло как раз накануне того дня, когда Левант и Налымов приехали к Манташеву. В доме еще не все было в порядке.

— Не везет, несчастье, боюсь, не примут,— шептал Левант, стоя в вестибюле и глядя на верх мраморной лестницы, откуда на заду по перилам съезжала с папироской очень хорошенькая, но помятая девушка в пышной юбочке, с голой спиной и худыми руками. Спустившись, она с гримаской выпустила дым в лицо посторонившемуся Леванту и надтреснутым голоском потребовала у портье шубу и такси.

На верху лестницы к Налымову подошел мосье Сипи́н,— лицо его со страдальчески выпученными глазами было как у призрака, смокинг — в пуху.

— Мосье, вы опоздали ровно на двадцать четыре часа,— сказал он, покачнувшись.

Когда Налымов назвал себя и объяснил, что — по неотложному нефтяному делу, Сипи́н надул дряблые щеки...

— Боюсь, что Леон не в состоянии сегодня заниматься делами... Правда, он только что из бассейна после гимнастики, но... Он несколько угнетен... Хотя, может быть, ваш визит развлечет его, идемте.

Леон Манташев, в пестром халате, с мокрыми и непричесанными волосами сидел в туалетной комнате и, устало облокотясь, глядел в огромное наклонное зеркало. На краю туалета дымила папироска. Он вяло поднялся навстречу,— преувеличенно длинный в ха-

лате; усы его висели, восточные глаза страдали,— протянул обе руки Налымову, кивнул Леванту (которому в большинстве случаев только кивали, не соображая, как это болезненно даже для жулика).

— Господа, садитесь где-нибудь,— здесь такой беспорядок после вчерашнего... Сипи́нка, будь другом, скажи какому-нибудь болвану — кофе, четыре чашки, самого крепкого... (Вдогонку Сипи́ну.) Да чего-нибудь спиртного... В комнаты не зову, боже сохрани, там еще валяются девчонки на диванах... Одну нашел в бассейне,— половина туловища в воде,— спит,— правда, вода теплая, но как она не утонула? Все-таки не ожидал от французов, но ужасные развратники, ёрники, ч-е-о-о-орт знает что такое. После войны, что ли, такие стали? В восточной комнате утром нашли несколько мужских кальсон. Нет, господа, пировать нужно уметь. Пускай царствует эрос, но красиво, по-римски... Ну, заблевали же все ковры! Очень жалко, что вас не было, Василий Алексеевич. У меня возникла идея сделать над столом балдахин из малинового бархата, на золотых копьях, и вот для чего: когда подают десерт, с балдахина начинают сыпаться розовые лепестки... Розы падали, падали, покрыли стол, всех гостей... Красиво... В утренней прессе, кажется, еще нет, но в вечерней будет полный отчет... Этот прием влетел мне в триста тысяч франков... (Он взял с края туалета дымящуюся папироску, си́льно затянулся.) Этот дом обходится мне не дешево во всяком случае... Сотни тысяч так и летят... Господа... (Оглянул собеседников изумленными глазами.) Я не чувствую себя богатым человеком!..

— Полковник Налымов и я,— заторопился Левант,— именно по этому вопросу и позволили себе...

Манташев,— не обращая на него внимания:

— Деньги тают в руках, господа... Нужно что-то предпринимать. Так мне не хватит и до конца года.

— Мы опять с предложением,— сказал Налымов,— вернее: его идея, моя гарантия.

— Вам верю, как богу, Василий Алексеевич... Что это — опять Детердинг?

Левант, подавшись вперед на стуле и ощерив по-шакальи зубы:

— На Детердинга рассчитывать больше не приходится... Политическая обстановка круто изменилась к

худшему. (Манташев моргнул, точно ему в глаза бросили песок.) Сведения из Ревеля и Ростова-на-Дону самые тревожные. Детердингу скоро понадобится вмешательство европейских войск, чтобы узнать, как пахнет кавказская нефть.

Манташев перевел глаза на Налымова. Тот подтвердил, что действительно за последнюю неделю в России произошел тревожный перелом. Сизо-бритое оливковое лицо Леванта с кривым носом многозначительно усмехнулось:

— Господин Манташев, вы неплохо заработали на наступлении Деникина и Юденича. Сегодня вы сумеете заработать еще больше на отступлении Деникина и Юденича... Мы вам гарантируем минимум удвоение капитала. Если это вам подходит, вы платите нам пятнадцать процентов куртажных...

— Ого, пятнадцать процентов,— пробормотал Манташев, скрывая тревогу.— Ну нет, это жирно!..

— Двенадцать нам предлагает Чермоев.

Манташев с живостью поднялся, но туалетная комната была тесна для его широких движений, и он повалился на кушетку.

— Я широкий человек, господа, но надо же иметь совесть. (Молчание. Лицо Леванта решительно выражало, что совести у него нет.) Вы пользуетесь моей головной болью... Предположим — я согласился... Рассказывайте...

— Вчерашний раут запишите себе в актив,— начал Левант.— Когда человек после такого раута появляется на бирже, бумаги у него рвут из рук.

И он подробно стал излагать те же соображения, что и Налымову в кафе у Фукьеца.

— ...Парижская пресса будет пока молчать. Вчера Денисов выехал в Лондон, чтобы придержать лондонскую прессу. Все это глупость: Деникину и Юденичу ничего не поможет, это — мертвецы... Интервенцию нужно делать европейскими войсками — открыто, широко, в полном контакте с деловыми кругами... Но оставим это... В нашем распоряжении — три-четыре дня. Нужно продавать, покуда у вас хватит присутствия духа... Потом за сотню тысяч франков французская пресса утопит русских генералов, как миленьких. Тут уже самому Детердингу не удержать биржи...

Левант закончил свою мысль. Манташев засунул в рот усы и грыз их. Левант медленно вытащил шелковый платок и, вытирая лоб, из-под платка успокоительно моргнул Налымову, сидевшему в полном безразличии.

После продолжительного молчания Манташев сказал:

— Итак, вы хотите, чтобы я действовал против Детердинга?

— Это — логика,— сказал Левант.

— Против Черчилля, против французской политики, против всех порядочных людей, которые, как скалы, высятся среди грязи, предательства, спекуляции?.. Боже мой, боже мой! (Манташев вскочил, вслепую ища босой ногой туфлю под кушеткой.) Чтобы я пошел против своей совести?! Черт, вы направляете мою руку в спину святому белому делу!..

— Биржа реагирует только на логику...

— К чертям логику! Вы требуете от меня подлости! И еще хотите за это пятнадцать процентов куртажа!

— Хорошо,— спокойно сказал Левант,— я уже вижу, что вам трудно отрывать от себя пятнадцать процентов... Платите нам двенадцать — и покончим...

57

Перед камином на низеньком столике — бутылка портвейна, бисквиты и коробка сигар. Уголь только что подсыпали, и он еще дымит, распространяя в слабо освещенной комнате запах старой Англии. Портвейн сердоликово отсвечивает в граненых рюмках,— он не менее трех раз проплыл в бочке вокруг света на парусном клипере, крепкий его аромат примешивается к запаху угля.

Все страсти, поднятые Великой войной,— взбаламученная грязь со дна человеческого океана,— разобьются в бессилии о строгий покой этой комнаты. Аминь!

В сумрачный вечер сидящие у камина знают, конечно, что куски дымящегося угля с отчаянием и проклятием подняты из глубины шахт, а не свалились с неба. Человечество в сущности еще глубоко несовершенно. Да, много печальных и тревожных несовер-

шенств в социальном строе Англии. Но это не означает, что во имя прибавки бедному человеку лишнего шиллинга в неделю нужно разломать тысячелетнюю крепость культуры, впустить в эту комнату рабочего с туберкулезными ребятишками, отдать бутылку драгоценного портвейна уэльскому шахтеру, понимающему толк лишь в количестве градусов, и предоставить прекрасные картины, украшающие стены этой комнаты, для сушки гороха.

Оба сидящие у огня — джентльмены. Оба говорят на прекрасном английском языке, не подчеркивают своих мыслей, но выражают их с тонким юмором. Они угадывают сокровенные намерения друг друга и с добродушием сознаются в этом. Цель одного из них — сэра Генри Детердинга — указать на призрачность некоторых точек зрения собеседника. Цель другого — мистера Ллойда-Джорджа — изящно не дать провести себя за нос.

Обмениваясь фразами, окуная бисквитики в портвейн, собеседники стараются совместными усилиями как бы разыграть трудную шахматную партию. Повидимому, это их забавляет, и они исполнены чувства открытого дружелюбия друг к другу.

— В самом начале были допущены ошибки, сэр Генри... Ошибки, стоившие нам дорого...

— Вы говорите об отсутствии должной твердости?

— Об отсутствии полезной гибкости. В Англии, к сожалению, слишком много людей, которые смешивают в одной кастрюле нашу современность и отошедшую в вечность непоколебимую политику времен императрицы Виктории... Противоречия, порождаемые развитием английского капитала в половине прошлого века, казались устранимыми простым, крепким, английским ударом в переносицу, в крайнем случае — частной благотворительностью. Но сегодня добросовестному политику невозможно не принимать этих противоречий как реальных данных при учете сил,— вот именно об этой гибкости я и хотел сказать, сэр Генри. Возьмите сигару.

— Благодарю. Позвольте вам предложить мою.

— Благодарю. Я был против оккупации Баку в восемнадцатом году, против посылки наших войск на север России, и я был прав. Мы ничего не достигли, мы раздразнили большевиков и бросили жирную кость нашим домашним крикунам.

— Но боязнь либеральных болтунов в парламенте и в английских профсоюзах — это еще не учет сил, мистер Ллойд-Джордж... Либерализм сам по себе — прекрасен, когда он цветет у домашнего очага. Оставим его там, очистим, наконец, от него нашу твердую политику. Будем прямолинейны и суровы, как орудия английских дредноутов.

— Сэр Генри, вы хорошо сделали, что связали свою судьбу с судьбой Англии и поставили половину запасов мировой нефти под защиту английских пушек, но я немного огорчен тем, что у вас все еще нет доверия к дальности прицела английских пушек.

— Разрешите вам налить?

— Благодарю.

— Я ни на чем не настаиваю, мистер Ллойд-Джордж. Последние события на востоке встревожили меня так же, как любого англичанина, охраняющего свою семью, свой дом и свой кошелек от ночного посетителя. Я немного растерян. До сих пор мне казалось, что в сильном государстве сильная политика опирается на силу.

— Сэр Генри, мы раз и навсегда должны отказаться от некоторой терминологии, которую нам навязали наши друзья из профессиональных союзов. Например, империализм! Будь я ребенок, я бы, наверно, заплакал в своей кроватке, услышав это слово... Интервенция! Это похоже на пощечину. Колониальная политика! Это — безобразные, ненужные, раздражающие слова... Зачем я буду каждое утро высовываться из окон и строить гражданам неприличные гримасы?.. Они вправе начать швырять камнями в мое окошко...

Сэр Генри откинулся в сафьяновом квадратном кресле,— должно быть, от портвейна массивное бритое лицо его с угрюмой челюстью было багровое, веки полуопущены над мешками глаз, щека вздрагивала. Мистер Ллойд-Джордж — седогривый, с моржовыми седыми усами, розовый, как дядюшка из провинции, благодушно улыбался.

— Игра с огнем всегда кончается пожаром,— сквозь зубы проговорил сэр Генри.

— Единственно, в чем мы с вами расходимся,— так мне кажется, сэр Генри,— это в способах тушения пожара. Эффектное появление пожарных на сцене: много крику и шуму, хлопотно и мало толку.

— Какие же другие способы?

— Правильная осада: когда осажденные начинают есть крыс и пить тухлую воду, они сдаются... Из истории Пунических войн мы знаем, что римляне, ускоряя процесс капитуляции, бросали в осажденный Карфаген зачумленные трупы. Это классика...

— Все это превосходно, если бы рынок мог ждать терпеливо... «Ройяль Дэтч Шелл» вложил огромные суммы в кавказские земли. Американцы не вложили ни одного цента. Мы ослаблены, они — нет. Если к будущему лету мы не будем стоять твердой ногой в Баку и Грозном,— Англия потеряет первое место...

Разговор принял такой оборот, что мистер Ллойд-Джордж почувствовал, наконец, будто его прочно взяли за нос. Он нагнулся к камину и некоторое время возился с углями.

— Да, да, вы, как всегда, правы, сэр Генри,— бормотал он, озаряемый пламенем; порозовели даже его пышные волосы.— Будем надеяться, бог поможет старой Англии... Видит бог,— мистер Ллойд-Джордж выпрямился, вооруженный каминными щипцами,— мы хотим только мира и счастья! Побольше счастья! Путь к нему открыт. Но при всем миролюбии (Ллойд-Джордж положил щипцы) мы не можем, не в состоянии остановить процесса кристаллизации новорожденных республик на востоке Европы. Самоопределение — священный процесс. Польша и Румыния в своем историческом развитии *должны пройти через войну*... И мне представляется, что не дальше, как этим летом...

Подумав, сэр Генри сказал:

— Это — идея.

После этого оба молчали некоторое время. Существенная часть беседы была окончена. Сэр Генри поднялся. Мистер Ллойд-Джордж проводил его до дверей, глядя с чувством тревоги на апоплексическую шею такого нужного Англии, такого значительного человека.

Сэр Генри отпустил машину, отпер парадное, зажег яркий свет в вестибюле, бросил на кресло шляпу и пальто и на секунду остановился перед пестро разма-

леванным деревянным идолом с Соломоновых островов.

Людоедский бог, со ртом до ушей, с треугольными зубами, жаждущими человечины, с клювообразным носом и ожерельем из раковин и бус (американского происхождения) глядел на Детердинга косыми непонятными глазами. Однажды сэр Генри пошутил, указывая друзьям на этого идола:

— Большевик...

Сейчас он вспомнил об этом и зло усмехнулся. Мысль, овладевшая им за время поездки по запруженным лондонским улицам, снова отчеканила:

«Польша, это — идея».

По лестнице, улыбаясь, спускался изящный, с седыми висками мистер Ховард — секретарь. На предпоследней ступеньке он остановился и ожидал, когда сэр Генри обратит на него внимание.

— Кто-нибудь ждет в приемной? — спросил сэр Генри.

— Мистер Константин Набоков и мистер Денисов из Парижа.

Мешки под глазами сэра Генри задрожали от гнева:

— Передайте этим русским... Гм... (Горловой звук, похожий на орлиный клекот...) Передайте, что я крайне утомлен и ложусь в постель. Пусть придут завтра... Приготовьте на завтра точную сводку военных действий в этой проклятой России... Гм... А также... Скажите, Ховард, вам известно количество населения в Польше? Приготовьте также и эту цифру, и подробнее о Польше... Если вам это доставит удовольствие, передайте русским, что их белые генералы ни к черту не годятся... Любой чурбан... (он кивнул на идола) понимает в политике больше, чем они...

58

За пять дней Володя Лисовский заработал три с половиной тысячи франков. Но пришлось здорово потрудиться. Особенно много хлопот доставил Бурцев, хотя у него он не заработал ни сантима.

Владимир Львович Бурцев сделался окончательно невыносим за последнее время. Его настроение вместе

с политическими убеждениями качались, как метроном, направо — налево, и где-то посредине: чик! — сухой треск — трещала надорванная борьбой с большевиками душа Владимира Львовича.

Еще бы! Ум заходил за разум, когда он все в той же соломенной шапочке (несмотря на ноябрь и нетопленую редакцию) сидел за пыльным столом над исковыренной ногтями промокашкой и его духовный взор пронзивший в свое время такого демона, как Азеф, беспомощно бился о неразрешимые загадки. Владимир Львович был подобен провинциалу, попавшему в волшебную шестнадцатиугольную комнату в паноптикуме: куда ни ткнись, вместо выхода — зеркальная стена, откуда смотрит на тебя твое же растерянное лицо.

В противовес большевикам, сводящим все исторические процессы к классовой борьбе, он теперь выдвигал личность героя, сверхчеловека, носителя национальной, государственной, мировой идеи. Этой личностью был Колчак. О нем Владимир Львович писал с хлыстовской страстностью. В день его именин опубликовал «Письмо сибирского купца», лично будто бы видевшего верховного правителя.

«...Стою это я,— рассказывал купец,— в приемной, а у самого сердце так и трепещет... Господи, думаю, вся наша надёжа на нем. И почуяло ретивое: идет он, батюшка, тихо, плавно... И как будто некое дуновение пронеслось. Казаки отворяют дверь, и мне в пору, как перед спасом,— в землю лбом. Он входит,— лик светлый, глаза вещие и подает мне белую ручку: «Здравствуй, говорит, сибирский купец, много ты горя вынес, много тебе и воздастся...»

По поводу фельетона Лисовский сказал:

— Владимир Львович, кто вам сочинил письмо истового купца?

— Что? Как кто?

— Не сами ли уж, чего поди?.. Вы бы все-таки литературный материал через меня пропускали. В городе над фельетоном смеются.

— Кто смеется?

— Встретил Савинкова, смеется: скоро у вас верховный правитель по водам будет ходить...

— Вон! — надорванным фальцетом закричал Бурцев.— Вон! Вы больше не сотрудник «Общего дела».

И вот, через несколько дней тот же Лисовский пришел опять, нагло сел у редакционного стола, распространяя запах коньяку, и заявил, что Колчак — истерик, политический дурак, военная бездарность и подставная кукла, которую в самом непродолжительном времени союзники вышвырнут за ненадобностью. Задохнувшемуся от негодования Бурцеву он показал кучу французских газет, где все это было напечатано.

Владимир Львович бросился на улицу Гренель. Там, на Политическом совещании, за зеленым сукном с золотой бахромой, на потертых креслах сидели: мертвенно утомленный князь Львов, налево от него — белобородый, щеголевато одетый «дедушка русской революции» Чайковский, направо — царский посол во Франции старый Извольский, напротив — посол временного правительства во Франции Василий Маклаков, нахмуренный Савинков (чем-то — жидкой прядью волос, упавшей на большой лоб,— напоминающий один из портретов Наполеона), мягколицый блондин из московского купечества — Третьяков и царский посол в Италии Гирс.

Этим людям, по-видимому, казалось, что на листах чистой бумаги, разбросанной по столу, они должны начертать и непременно, как умные и образованные люди, начертают судьбу России. Они слушали прибывшего из Ревеля Кедрина,— печальный анализ событий под Петроградом. Лица всех (исключая Львова) выражали вежливую скуку: Кедрин был на подозрении в левизне,— «краснозадый»,— как подписавший вместе с другими министрами северо-западного правительства акт о независимости Эстонии.

Доложили о Бурцеве. К нему вышел старый дипломат Извольский,— ему всегда доставляло удовольствие говорить неприятности. Бурцев, особенно казавшийся пыльным, без пуговиц, обсыпанный табаком, с растрепанными седыми косами из-под соломенной шапочки, с карманами, оттопыренными от газет,— кинулся к Извольскому.

— Что случилось? — спросил он почти одними движениями пересохших губ.

Извольский, выставив впереди себя палец, чтобы удержать наскок Бурцева:

— Центр борьбы переносится с востока на юг России, вот все, что случилось.

— Но — верховное правительство?

— Омск эвакуирован... Правительство где-то там...

— Адмирал?

— Право, не знаю... Где-нибудь едет в поезде... Обухом ударило старого Бурцева в темя, в мечту, в идеализм. Затряслись полные брюки. Вернувшись в редакцию, он долго одиноко сидел у стола в надвинутой на глаза соломенной шапочке. Потом он вызвал Лисовского и, стараясь не глядеть в эту нагло ухмыляющуюся рожу, затребовал у него самые обширные данные биографии генерала Деникина. Владимир Львович не хотел сдаваться,— еще раз он делал усилие, чтобы на кончике пера поднять светлую личность.

На самом деле Политическое совещание было не менее Бурцева потрясено неожиданным поворотом французской печати от сдержанно-благожелательного отношения — по поводу русских дел — к резко враждебному. Что-то случилось, какая-то новая сила вошла в игру, чья-то сильная рука наносила удар.

Биржа, по существу учреждение паническое, реагировала на все это паникой. Русские ценности летели кувырком. Кто-то пригоршнями швырял для продажи русские нефтяные акции. Так продолжалось несколько дней. И будто нарочно из Сибири получались телеграммы одна мрачнее другой.

К Львову к завтраку позвали Тапу Чермоева, подпоили и выведали, что газетная кампания идет от Леона Манташева, играющего на понижение. Все это было бы понятно, если бы не одно странное явление: несмотря на то, что газеты поддавали жару, нефтяные акции после первых дней паники начали как будто сопротивляться и даже испытывать тенденцию ползти вверх: чья-то еще более сильная рука продолжала смело и широко поддерживать их.

— Нет, это игра темная,— говорил Тапа за завтраком,— боже спаси ввязываться... Боюсь за Леона, он — горячий человек, а политика — не скаковая конюшня. Между прочим, если уже играть сегодня, так только на повышение. Почему? Признаки есть, господа, счастливые признаки.

Хитрый татарин напустил еще гуще туману. Где-то кем-то готовилась таинственная диверсия по отноше-

нию России. Тревожнее всего было то, что Политическое совещание — фокус борьбы и ядро будущей русской власти — менее других было осведомлено. Им явно пренебрегали. Затем из Лондона пришла телеграмма от Константина Набокова:

«Необходим оптимизм. Необходимо внушить Деникину, что события расцениваются как временные неудачи. Входит новый фактор. Лондон на страже».

В Политическом совещании изрисовали рожицами и завитушками пятьдесят листов чистой бумаги, но телеграммы не поняли. Пока что решили предложить Бурцеву немедленно выехать в Новороссийск для организации оптимизма в местной печати. Из Лондона приехал Денисов, но по телефону его нельзя было добиться.

Шумели ноябрьские дожди. Париж веселился. Володя Лисовский часов в одиннадцать утра все еще нежился под теплой периной, с удовольствием слушая шум дождя. В дверь торопливо постучали. Вошел Александр Левант. Зонт его, концы брюк и башмаки были мокры. Глаза — как две тухлые маслины. Не снимая шляпы, он сказал:

— Можно уничтожить всю армию сразу, окружить и расстрелять или утопить в реке? И армию и генералов?

— Кого именно? — спросил Лисовский.

— В данный момент — белых с Деникиным.

— Можно, конечно, — не поверят...

— Чума в белой армии? Что вы скажете? Повальная чума...

— Чума — неплохо. А вам когда это нужно?

— Завтра.

— С чумой придется повозиться с недельку, иначе не подействует:

— Кошмар!..

Александр Левант, присев на постель в ногах Лисовского, некоторое время скалил длинные зубы. Оцеренная голова его глядела на туман и дождь за окном, где угольными очертаниями проступали аспидные крыши, гончарные каминные трубы.

— Манташев может еще вылезти, он продавал на февраль, к тому времени проклятую нефть удастся опять повалить... Я продавал на короткие сроки...

— Ай-ай-ай!..

— Кто мог знать? Я хотел скорее взять деньги. Сегодня я уплатил разницы сто двадцать тысяч франков. Послезавтра платить столько же... Я — банкрот... (Лисовский сочувственно поцыкал языком.) Если бы завтра что-нибудь сверхъестественное про Россию! Слушайте, Америка не могла бы признать большевиков?..

— Такого ерша ни одна газета не рискнет напечатать.

— Я не спал две ночи... Голова отказывается... Слушайте, Лисовский, что случилось с нефтью? Кто ей помогает? Кто скупает эти паршивые акции? Можно сойти с ума! Вы сумеете что-нибудь придумать?

— Нет.

Левант повторил тихо: «Нет!» Он и сам знал, что — нет... Подошел к окну. Постоял и, не прощаясь, вышел... На трамвае поехал до Биржи и рассеянно стоял у колонн, заложив руки с зонтом за спину. Затем он вернулся в гостиницу и еще засветло вышел оттуда с объемистым пакетом, сказав консьержу, что — к портному. Ночевать не явился. Наутро консьерж обнаружил у него в номере, в камине, следы сожженных бумаг, на полу в раскрытом чемодане — пару поношенных носков и неоплаченный счет из гостиницы: все, что осталось на поверхности жизни от Леванта. По-видимому, он совсем исчез из Парижа, предоставив Налымову одному выкручиваться из кучи неприятностей.

Манташев, узнав о его бегстве, сломал несколько ценных предметов у себя в туалетной комнате и заявил в полицию. Налымову послал бешеное письмо. Но Василий Алексеевич был уже на пути в Стокгольм. В полицейской префектуре Леванта отметили как нежелательного иностранца.

Ни в Париже, ни в мировой истории деятельность, появление и исчезновение Леванта не произвели никакого впечатления. Вынырнула из болота лягушечья голова, квакнула, переполошив десяток-другой мошек, и скрылась. Странно все же подумать, сколько было затрачено сумрачного труда, всех видов энергии и пищевых продуктов, чтобы обслужить и прокормить эту лягушечью голову. Сколько затрачено умственной деятельности на мирных конференциях, в парламентах и министерских кабинетах, сколько наготовлено

оружия и взрывчатых веществ, чтобы сделать существование такой лягушечьей головы приятным и спокойным. Только поэтому, из-за этой странности, и стоило, пожалуй, упоминать о Леванте. Сам по себе он серый, как ночная тень, мелкий левантинский жулик. Хаджет Лаше — тот по крайней мере злодей, в старое время его восковой бюст показывали бы в провинциальном паноптикуме вместе с Джеком — потрошителем животов. Кроме того, Хаджет Лаше предвосхитил некоторые приемы, которыми несомненно будут широко пользоваться на европейской политической арене. Или Денисов! Этот, правда, пока еще в полутени, роскошные говоруны-политики и чудо-генералы заслоняют его, но голова его несомненно высунется в свое время и так квакнет, что только держись: «Шире дорогу черному интернационалу!»

59

Налымов приехал в Стокгольм в туманное, холодное утро, когда над Балтикой неслись тревожные сигналы судов, блуждающих в тумане. Изморозь секла железный борт парохода. Поднятый воротник не спасал от холода.

Продрогший шофер сердито захлопнул дверцу машины и повез Налымова в одну из второклассных гостиниц. Налымов взял комнату подешевле. Когда внесли чемодан, он сейчас же заперся и ходил, ходил, останавливаясь у окна, за которым стоял туман стеной безвыходного мрака. Скука, тоска, мерзость...

Причина отвратительного настроения была в том, что его чувство к Вере Юрьевне остыло, сколько он ни пытался подогревать его. Ущерб начался, когда к нему пришло некоторое благополучие. (Сто тысяч франков куртажных.) Он босяк — это было одно, он рантье — в корне было что-то другое... Еще месяц, два — и он бы совсем не поехал в Стокгольм... Побранил бы себя, потужил и навряд бы расстался с покойной постелью в своей холостяцкой квартире. И вместе с ущербом надвинулась холодная дрянная пустота, как этот желтый туман за окошком. Василий Алексеевич сел, наконец, к телефону. В сущности плана у него никакого не было. Исчезновение Леванта смешало все планы.

Нужно было попытаться переговорить с Мари или с Лили... Он позвонил в «Гранд-отель».

Оказалось — мадам Мари в прошлом месяце уехала с труппой Хипс-Хопс в Варшаву. Подробностей портье не сообщил. На просьбу попросить к телефону Лили портье, помолчав, неохотно ответил, что посмотрит, здесь ли мадемуазель, и предложил Налымову оставить свой номер телефона. Из осторожности Василий Алексеевич не сказал фамилии.

Звонка ждал долго. Сняв пиджак, продолжал ходить от двери до окна. Желтый сумрак сгущался. Во всяком случае, Веру Юрьевну он — так или иначе — выручит. О дальнейшем не стоило думать. Налымов позвонил и приказал коридорному принести комплект местных газет за последний месяц.

Просматривая газеты, он сразу же наткнулся на историю с Кальве. Через десять номеров новая сенсация: «Таинственное исчезновение Леви Левицкого»... Газеты на этот раз всерьез переполошились. Заметка в «Эхо России» (в специальном номере, выпущенном Лигой) о прикосновенности Леви Левицкого к сокровищам царской короны впечатления не произвела: Леви Левицкий был связан со стокгольмскими банками,— о нем единогласно отзывались как о солидном и порядочном человеке. Через день после его исчезновения с его текущего счета было снято тридцать тысяч крон, подпись на чеке оказалась поддельной. Не напечатай об этом газеты, преступники несомненно попались бы со вторым чеком. Затем поднятый шум вокруг Леви Левицкого внезапно оборвался — видимо, под давлением свыше.

Для Лиги история с Леви Левицким прошла не гладко. Понятно теперь возмущение и предательство Леванта. Он прав. Хаджет Лаше потерял политический нюх. После событий под Петроградом Лига оказывалась громоздкой кустарщиной.

Позвонил телефон, и — надтреснутый просящий голосок:

— У телефона Лили... Вы меня хотели видеть, мосье?

Не называя себя, Налымов попросил ее немедленно приехать в гостиницу.



— Хорошо, я приеду... Автомобиль на ваш счет...

Ясно — девчонка опустилась до уличного фонаря... Налымов бросил газеты и позвонил, чтобы подали завтрак на двоих. Через несколько минут, поцарапав в дверь, вошла Лили, — юбчонка до колен, ноги тонкие, из-под яркой дешевой шляпки — беспокойные глаза, обострившийся напудренный носик. Разинула в два приема рот, — все шире, — увидя Василия Алексеевича:

— Нет, нет!..

— Лилька, милая, здравствуй. Раздевайся, садись! Будем завтракать.

Он поцеловал ее холодную щеку. Под пудрой — морщины. Она опустила руки и так, стоя, начала плакать.

— Ну, что ты, дурочка, перестань...

Он снял с нее пальто и шляпку. Под шерстяным, без любви и заботы надетым платьем было видно, как она худа. Налымов усадил ее в кресло, поцеловал в темя.

— Рассказывай.

— Вася, тебя здесь убьют... Ах, ты ничего не знаешь: это кошмарный ужас...

— Подожди, что Вера, где она?

— Там же, на даче... Я там больше не живу. Я здесь снимаю комнату и сама плачу, я это отстояла... Вот Мари, понимаешь ты, счастье-то! В нее влюбился один из Хипс-Хопсов, Ричард, и взял ее в Польшу, — она прекрасно знает польский язык, и она очень музыкальна, они ее научили играть на метле... Но что было! Лаше не хотел отпускать. Хипс-Хопсы пожаловались в английскую миссию... Только так и вырвалась... А я — совсем, Вася... (Нырнула головой в колени, затянула детским плачем.) Сейчас перестану... (Вытерла глаза уголком скатерти.) Вера очень была больна. У ней — что-то мозговое. Если тебе будут говорить белая горячка, — вранье. Конечно, ей лучше бы умереть... (Покосилась на дверь, все лицо у нее задрожало.) Убивали при ней, понимаешь?..

— Мы прямо поедем к начальнику полиции.

— Господи! (Схватилась за щеки.) С ума сошел! Чтобы меня увезли в Баль Станэс и пытали и резали! Полиция сейчас же даст знать Лаше, и Лаше им докажет, что мы — большевики... И мы пропали...

Полиция еще недовольна, что Лига плохо работает. У меня есть один любовник, я знаю, конечно, что он — шпион, приставлен от Лиги следить... Он рассказывал: начальник полиции кричал на Лаше и на генерала Гиссера, что они больше о своем кармане заботятся, чем о большевиках, что они просто жулики, а не политические борцы, что в Стокгольме пруд пруди большевиками. Поэтому Лига готовит крупное убийство... И не думай заявлять! Ведь при тебе же я давала клятву, а знаешь, что за нарушение клятвы?

— Хорошо. Я поеду один. Но я должен выставить тебя как свидетеля...

— Нет, нет, нет... Я ничего не знаю...

Она схватилась за шляпку, Налымов едва уговорил ее остаться завтракать. Но только он начинал настаивать на заявлении в полицию,— Лилька бросала вилку, принималась плакать.

60

Бистрем позвонил. Отворил Ардашев, поднял руки:

— Батюшки! Какими судьбами! Худой, страшный, ободранный! Неужто из Петрограда?

Бистрем пролез в маленькую прихожую, широко улыбаясь, стащил тяжелое от грязи, залатанное пальто, свернул его и вместе с кепкой положил в угол на лакированный пол.

— Николай Петрович, я к вам прямо с поезда. Понимаете, мне необходимо прилично одеться... За мной следят от самой границы. Николай Петрович, что мама?

— Здорова, все великолепно...

— В таком виде домой не рискну... Главное — пальто, башмаки и шапка...

— Сущие пустяки, магазины еще не закрыты... Слетаю мигом... Есть хотите?

— Ужасно.

— Через час обед. А это тряпье не лучше ли сжечь?

— Да, пожалуй... Я не ручаюсь, что насекомые...

— Куплю и костюм и белье. Размер, конечно, самый большой?..

— Да, да, самый большой... (Бистрем внезапно крепко взял его за руки.) Я так и думал, вы — хороший человек.

— Глупости, глупости... Вы мне расскажите-ка, что в России? Бьем интервентов в хвост и в гриву? Правда это? Я всегда говорил: проснется, черт возьми, русский богатырь... Россия-с — не Австро-Венгрия! Эта раскололась, как глиняный горшок, а мы, черт их возьми, покажем Европе евразийцев!

— Процесс гораздо более сложный, Николай Петрович. Я бы не сказал, что национализм...

— Ладно... Расскажете... Бегу...

Ардашев живо оделся, хлопнул дверью, весело затопал по лестнице. Улыбка слезла с небритого, обветренного лица Бистрема. Поправив маленькие — не по размеру — очки, он сурово огляделся. Вошел в кабинет и сел у топящейся печки,— нога на ногу, локоть о колено, костлявый подбородок на ладонь.

Он был послан курьером из Петрограда и три дня назад перешел финскую границу. Три ночи не спал, страшась быть захваченным контрразведчиками, шнырявшими по всей Финляндии. У него еще не прошли болезненные ощущения контузии, полученной под Пулковом, голову от усталости и голода застилала тошноватая муть. Но это — мелочи. Он иными глазами глядел теперь на этот мир, покинутый им в сентябре. Швеция поразила его опрятностью, порядком, удовлетворенностью,— страна еще не израсходовала богатств, перепавших ей во время мировой войны. Бистрем вглядывался в краснощекие лица щегольски одетых граждан, в окно вагона-ресторана видел, как они ели, пили, курили. Они были благодушны и вежливы. И Бистрем не мог отрешиться от ощущения, что этот великолепный мир отделен от него будто невидимой решеткой.

Перед отъездом из Петрограда он получил наказ провести в европейской печати ряд статей, чтобы, сколько возможно, парализовать желтую прессу. Со всей пылкостью он принял тогда наказ. Сейчас у горячей печки он с тяжестью думал, что трудно ему будет полностью оправдать доверие товарищей. Нужна бешеная энергия, свежесть всех сил, а у него слипаются глаза, и он с жадностью думает об ардашевском обеде. Несомненно сильно потрепаны нервы...

В прихожей трещал звонок. Бистрем провел ладонью по лицу, встряхнулся, отворил парадную дверь. Вошел небольшого роста, красивый, неприятный человек, с темными усиками, с острой бородкой. Снял с плеши котелок.

— Николай Петрович дома?

— Нет,— угрюмо ответил Бистрем.

— Могу я подождать его?

— Не знаю, я нездешний.

Человек быстро и внимательно оглядел Бистрема и до половины неприятно приоткрыл редко посаженные зубы:

— Простите, вы, кажется, Бистрем? Мы однажды встречались. (Бистрем не ответил.) Хорошо. Я позвоню Николаю Петровичу. Не откажите передать, что заходил Извольский...

Человек надменно кивнул снизу вверх подбородком и вышел. Бистрем некоторое время глядел на захлопнувшуюся дверь,— будто он прикоснулся к ядовитой гадине... «Ну и черт с ним»,— вернулся в кабинет и опять сел у печки. Сонливость прошла, но чувство гадливости оставалось. Он потирал перед огнем большие свои красные руки... «Глупости, глупости, не нужно нервничать...»

Вернулся Ардашев, веселый и запыхавшийся, нагруженный свертками и картонками.

— Идите в ванну, Бистрем, берите горячий душ, брейтесь... Будете одеты, как принц Уэльский... Понимаете, замечательное удобство — открылся новый американский магазин, все для мужчин, что твоей душе угодно: от запонки до автомобиля... Купил вам даже трубку и табаку... Да, батенька, плоха, плоха буржуазная культура, а умеют они создавать условия... Рубашки купил фланелевые, правильно?..

Вымытый, выбритый, одетый во все чистое и новое — Бистрем сел за обеденный стол. Ардашев, продолжая хлопотать, поднимал крышки с дымящихся блюд:

— Ешьте, ешьте, дорогой! Что-что, а жратва у нас в Швеции хороша. Вот это — сосиски! А это — гоголевский лабардан, сиречь — свежая треска,— мечта, а не рыба. К ней растопленного маслица...

Ардашев подкладывал, потчевал друга, искренне, горячо, и вместе с тем казалось, в чем-то извинялся перед ним.

— Ну, а теперь — рассказывайте о вашем путешествии на планету Марс...

Давеча, когда Бистрем тер ладонь о ладонь у печки — клещами у него не вытащить ни слова о Петрограде,— сейчас, растроганный и сытый, он доверчиво начал рассказывать о своем путешествии. Ардашев сейчас же принялся катать хлебные шарики на скатерти, кивал и поддакивал. Но глаз не поднимал на Бистрема.

— Понимаете, Ардашев, я понял там одно, главное, основное,— что физические лишения отходят на второй план... Куда там — на десятый... Голод и холод, отсутствие чистой одежды и даже мыла — совершенно по-другому переносятся человеком в том случае, если душа его окрылена великими идеями... Борьбой за эти идеи... Да, да,— ими, только ими руководствуется наша жизнь, и тогда она — полна, целесообразна, прекрасна... Здесь мало знают и мало понимают, что означает для человека моральная высота.

— И вы там ее увидели и узнали? — тихо спросил Ардашев.

— Да... Вы бы... я не говорю лично о вас, но человек из этого вашего мира отпрянул бы в ужасе при виде внешности революции. Внешность ее не привлекательна... Промокшие валенки, обвязанные бечевками, да худое пальтишко, да перетянутый ремнем голодный живот... Но — глаза человеческие! (Глаза Бистрема вдруг увлажнились, он прищурился, скрывая это...) Когда перешагнешь на ту сторону, когда тебя примут в то высокое дело, как товарища,— тогда узнаешь, что такое человек... О, это замечательное животное... Это высокое существо... Человек дерется и умирает за счастье других!.. И в этой борьбе требует для себя только двести граммов хлеба... И должен вам сказать, Ардашев, я очень полюбил русских... Это люди, способные на грандиозные дела, и очень выносливые люди...

— Так, так, так.— Ардашев неожиданно засопел, рассматривая хлебный шарик.— Ужасно хочется вам верить, Бистрем... Вам нужно об этом писать...

— Николай Петрович, я именно по поводу этого и хочу говорить с вами...

— Отлично, отлично... Поедемте-ка завтра к одному человеку: профессору славянских языков в здеш-

нем университете... Переводчик Пушкина... Он вас особенно поймет, мне кажется... Завтра приходите ко мне вот так же завтракать и отправимся...

Бистрем за этим разговором совсем забыл сказать о визите неприятного господина, назвавшего себя Извольским. Попросив Ардашева предупредить по телефону мать, Бистрем надел новое пальто, шляпу, неожиданно горячо потряс руки Ардашева и пошел домой, уверенный, что не обратит на себя ничьего внимания.

61

На следующий день он пришел к Ардашеву в назначенный час. Приветливая пожилая женщина, отворившая дверь, сказала, что Николай Петрович вышел куда-то, но с минуты на минуту должен вернуться. Завтрак уже готов.

Бистрем сел, как и вчера в кабинете, у печки. В комнате — навощенный паркет, в шкафах — корешки книг с красными, синими, зелеными наклейками. На стенах — дорогие эстампы. За чисто протертым окном — туман. Пробило час. Приветливая женщина, приоткрыв дверь, взглянула на стенные часы:

— О, бог мой, две минуты второго! Что-нибудь экстренное задержало господина Ардашева, он очень пунктуален.

У Бистрема было достаточно тем для размышления,— он спокойно сидел, когда часы пробили половину второго и два. Каждый раз экономка, складывая молитвенно ладони, принималась извиняться. Больше всего ее удивляло, что Ардашев не звонит по телефону. Когда пробило три, Бистрему тоже все это начало казаться странным. Он протелефонировал домой и у матери спросил, нет ли для него письма или телефонограммы? Оказалось, был посыльный, оставил письмо от Ардашева, но оно — по-русски, и мать не может прочесть. Помимо письма, позже, от него же были две телефонограммы.

Неужели Николай Петрович забыл о завтраке? Экономка с негодованием затрясла головой: «Господин Ардашев еще сегодня утром напомнил о завтраке на две персоны и приказал купить шампан-

ское...» — «Странно!» Бистрем зашагал домой. Письмо оказалось действительно от Ардашева:

«Уважаемый Бистрем, немедленно приезжайте в ресторан «Сорока». Это немного далеко от центра, но кормят великолепно. Поезжайте на трамвае № 11. Я один, скучаю, поболтаем. Жду. Ваш Николай Ардашев». Обе телефонограммы были о том же, просьба приехать в ресторан «Сорока»...

Бистрем сел к столу, положил перед собой письмо, перечел. Снял очки, близоруко перечел еще раз... До отвращения было непонятно!.. Вскочил, отыскал в телефонной книжке ресторан «Сорока». Позвонил туда и какому-то пивному голосу подробно описал наружность Ардашева. Пивной голос ответил, что «очень извиняется, но такого господина у них, к сожалению, сегодня не было»...

Бистрем позвонил к Ардашеву. Взволнованная экономка ответила:

— Нет, нет, все еще не вернулся.

Что можно было подумать? Особенно странной казалась фраза в письме: «Я один, скучаю, поболтаем»... Как будто не было вчерашнего разговора... «Поболтаем»...— так нельзя написать после вчерашнего. И потом: «Уважаемый»!.. Непонятно...

Бистрем нашел в столе одну из коротеньких ардашевских записок, сличил: и там и там почерк — круглый, аккуратный, в письме даже более уверенный, чем в записке... Быть может,— мистификация, издевательство? Уязвленный, он опять позвонил. Экономка ответила как будто даже с негодованием: «Нет, нет его». Тогда Бистрем рассердился: «Хамство богатого бездельника!» Сел к столу, чтобы написать резкую «отповедь»... Но бросил перо: «Черт с ним, плевать, дело в конце концов важнее самолюбия».

Он решил этот вечер посвятить матери. В смягченных красках, чтобы мать не очень пугалась, он рассказал ей о путешествии в Петроград. Фру Бистрем мало смыслила в политике, из рассказов усвоила, что сын привез богатый материал для статей и может несколько поправить материальные дела. В восемь часов он повел мать в кинематограф. Вернулись домой в половине одиннадцатого. В прихожей, покосившись на телефон, Бистрем еще раз позвонил Ардашеву,— на этот раз к аппарату никто не подошел. Все-таки все

это более чем непонятно. Затем они скромно ужинали в кухоньке. Бистрем закурил трубочку. Фру Бистрем, растроганная кинематографом, поцеловала сына в голову.

— Ты у меня скромный, честный мальчик, каждый вечер благодарю бога, что не пристрастился к вину, бог тебе поможет стать когда-нибудь на ноги.

— Не огорчайся, мать, я твердо стою на ногах.

Бистрем пошел в свою комнату, когда-то детскую, теперь — рабочий кабинет, уставленный книжными полками. Начал стелить постель на кожаном диване, слишком коротком для него, так что приходилось подставлять для ног кресло. Он уже снял подтяжки, когда заметил под письменным столом на коврике папку со своими рукописями,— он твердо помнил, что давеча положил ее в стол,— тесемки развязаны, и — на глаз — половины рукописей не хватало. Он торопливо выдвинул средний ящик стола, где лежали петроградские заметки и материалы: их не оказалось, все в ящике было перевернуто. На столе под пресс-папье не было и ардашевского письма.

Бистрем поправил очки. Пошел было к двери, вернулся... К чему пугать мать?.. Ясно,— полицейский обыск, как раз когда они были в кино... Ну, конечно,— он вспомнил и фигуру в котелке с поднятым воротником, быстро перешедшую от их подъезда на другую сторону улицы... Но — ужас, ужас! — пропали все материалы для статей... Он всей кожей почувствовал неумолимую ненависть, окружившую его маленькую комнату с зеленой рабочей лампой. Сидя перед оскверненным столом, он сжал кулаки, сжал челюсти.

Повода для ареста в похищенных материалах они, пожалуй, не найдут, но высылка из Стокгольма обеспечена. Тем лучше... В Германию! Не дожидаясь, завтра взять у Ардашева нужные письма и — в Берлин. Взглянул на стенные часы — половина первого. На цыпочках прошел в прихожую и позвонил Ардашеву. Долго не отвечали. Затем слабый, удерживающийся от плача голос экономки:

— Ах, это вы, господин Бистрем... Пожалуйста, не могли бы вы сейчас прийти, мне очень страшно...

— В чем дело?

— Ах, я, право, очень боюсь по телефону...

Вытирая глаза белоснежным передником, экономка рассказала Бистрему следующее: ровно в десять часов позвонили по телефону. Незнакомый голос, назвав ее по имени,— фру Вендля,— сообщил, что Ардашев немного выпил и остается ночевать в гостинице Хасельбакен (в пригородном местечке Хасельбакен) и просит немедленно привезти ночную рубашку, туфли и зубную щетку. Фру Вендля сейчас же собрала вещи и поехала в трамвае в Хасельбакен...

— О господин Бистрем, господин Бистрем,— у нее плачем перекосилось все лицо,— господина Ардашева там не было. В гостинице Хасельбакен никогда не слыхали о господине Ардашеве.

— Так. Когда же вы вернулись домой?..

— Да, господин Бистрем, когда я вернулась домой, мне сразу бросилось в глаза, что вот этот коврик у двери лежит криво. Я было подумала, что господин Ардашев вернулся, и позвала его... В кабинете обе шторы были спущены,— я их не опускала сегодня...

— Понятно. И ящик в письменном столе...

Оказалось, все ящики в столе и в бюро (где Ардашев хранил золото и драгоценности) были взломаны. На ковре фру Вендля нашла золотую монету и бриллиантовую запонку. Похищены также папка с цветными гравюрами и несколько книг из шкафа. Но в столовой и спальне все оказалось на месте, буфет, где хранилось столовое серебро, даже не вскрыт, не взята дорогая бобровая шуба из прихожей...

— Дело очень серьезное, очень серьезное, фру Вендля... Вспомните-ка, по какому делу мог пойти сегодня утром Николай Петрович?

Фру Вендля вдруг оживилась:

— Господин Ардашев пошел во дворец Густава. Там открыта школа для русских детей. О, я теперь вспомнила... Когда он разговаривал утром по телефону, он говорил по-русски... И потом он крикнул: «Фру Вендля, сегодня к завтраку две персоны»... Ах, моя голова, моя бедная голова!.. Две персоны к завтраку, кроме него, и две бутылки шампанского...

— Значит, ждали еще третьего?

— Так, господин Бистрем...

— Кого?

— Мне кажется, того господина, что заходил вчера... Я узнала его голос, когда он утром просил к телефону господина Ардашева.

— Небольшого роста, с темными усиками,— Извольский?

— Так, так... Третьего дня он еще был у господина Ардашева.

— О чем они тогда говорили?

— Господин Ардашев позвал меня в кабинет и сказал: «Фру Вендля, к господину Извольскому приехала из России девочка, племянница. Мы устраиваем ее в русскую школу, ее нужно приодеть хорошенько. Где можно купить недорогие первоклассные детские вещи?» Я сказала: «С большим удовольствием схожу с девочкой в один магазин». Господин Извольский сказал мне: «К сожалению, девочка нездорова и живет далеко от города, в Баль Станэсе,— вещи придется купить заочно».

— По какой дороге Баль Станэс?

— По Северной. На автомобиле туда двадцать минут.

— Николай Петрович мог рассчитывать, выйдя в десять часов из дому, съездить в Баль Станэс и вернуться к завтраку?

— О, вполне.

— Фру Вендля,— сказал Бистрем, надевая пальто,— сейчас же звоните в полицию, заявите о грабеже. Когда они явятся, повторите им все, что вы мне говорили...

— Меня могут арестовать?

— Я думаю, они с этого и начнут. Но не бойтесь. Скажите им, что только что здесь был журналист Карл Бистрем и очень заинтересовался этим делом. Я оставлю вам мой телефон, будут какие-нибудь новости, непременно звоните.

Несомненно, была какая-то связь между обыском у него и грабежом у Ардашева. Таков был первоначальный вывод, когда Бистрем шагал в ночном тумане. Дойдя до своего дома, он остановился, всматриваясь: близ подъезда под фонарем стоял человек с поднятым воротником и тоже всматривался. Бистрем быстро снял очки, носовым платком прикрыл лицо и прошел мимо незнакомца — вниз по пустынной улице.

Туман клубился у фонарей. Подошвы скользили на ледяном асфальте. Незнакомец некоторое время шел за ним и отстал. Светящийся диск часов на башне висел, как чудовищная луна. Бистрем различал: чет-

верть третьего. Где-то нужно переждать до утра... Он вспомнил о портовом кабачке, открытом всю ночь, и свернул к старому острову.

В кабачке «Ночная вахта» в передней комнате с цинковым прилавком он устроился за изрезанным ножами столом, спросил черного кофе. У другого конца стола дремал, подперев щеку, человек в черном пальто, в плюшевой шляпе. В глубине — низкая арка и несколько каменных ступеней вели в помещение, куда полиция неохотно заглядывала. Там слышались матросские песни, щелканье костяшек, пьяный говор; порой он усиливался и свирепел, как ноябрьский шторм, тогда плечистый хозяин за цинковой стойкой поворачивал к арке тяжелое лицо, знакомое с приключениями на всех широтах. Туда, в глубину кабака, и оттуда, к стойке, циркулировали кучками и в одиночку: тяжелоногие матросы; элегантные воры; бледные, как полотно, курильщики опиума, рассеянные и неряшливые морфинисты; томные эротики, нюхающие эфир; опухшие алкоголики; жаждущие странных видений потребители гашиша с остановившимися зрачками. Близ наружной двери за столиком дремал полицейский,— он вступал в свои обязанности только лишь в случае, когда чья-нибудь отчаянная душа, не успев вкусить всех наслаждений, вылетала в маленькую дырку, проделанную ножом.

Бистрем размышлял. Самое благоразумное — завтра же с утренним поездом удрать в Берлин. Но благоразумие было у него наименее развитым рефлексом. Помимо всего, эта история зацепила его профессионально,— нюхом журналиста он чувствовал поживу. Если бы еще удалось создать политический процесс,— лучшего громкоговорителя на всю Европу и желать нечего.

Из глубины кабака к дремлющему человеку в черном пальто подошла женщина, и они заговорили шепотом. Она была пьяна и плаксива, у него — мутные глаза, измятое лицо. Он пытался что-то выпытать, она трясла красной шляпкой, двигая по столу пустым стаканом. Несколько фраз долетело до Бистрема; он насторожился,— они говорили по-русски:

— Брось глупости, что случилось?

Она топорщилась. Он настаивал. Засопев носиком, она сказала:

— Третьего привезли.

— Когда?

— Часов в одиннадцать, утром сегодня...

— Кого?

— Он так мне всегда нравился, так я мечтала с ним познакомиться... Тебе не все равно — кого?.. Поехала я в девять часов на дачу за моими платьями... Иду с вокзала... А они катят в автомобиле... Я — в лес,— назад на станцию... Если бы он меня увидел на дороге,— только бы мне до утра и жить...

— Кто, Хаджет Лаше?

У Бистрема точно заслонка соскочила с глаз — сразу вспомнил, как под Сестрорецком ночью во время опроса его особенно спрашивали о Хаджет Лаше.

— Тише ты! — Она схватила человека за руку, глядела на него мечущимися зрачками.— Дурак, дурак!.. (Качнулась и ему — в самое ухо.) В автомобиле были двое: этот,— симпатичный, и сволочь — Извольский... Там они с ним черт знает что делают...

Человек встряхнул ее:

— Лилька, слушай ты, еще раз повторяю,— скажи фамилию.

— Оставь! Ты просто дурак... Сказала, боюсь, значит — боюсь... Все равно я уже опиум теперь курю... Черт с вами, хоть все друг другу глотки перегрызите... Да черт со мной тоже. Вот что...

Она встала, пошатываясь. Он пытался удержать,— она изо всей силы вырывала руку. (Кабатчик за стойкой угрожающе кашлянул.) Она со страхом уставилась на него. И опять — собеседнику:

— Ну, хорошо, я скоро приду, подожди.

Она ушла за арку вниз, человек в плюшевой шляпе рассеянно мял незакуренную папироску. Бистрем до тех пор глядел на него, покуда тот не поднял глаз.

— Можно вам задать несколько вопросов? — Бистрем сейчас же подсел к нему.— Я журналист. Я невольно подслушал ваш разговор. Насколько я понял, эта девушка видела сегодня в одиннадцать утра где-то за городом в автомобиле моего друга Ардашева вместе с некиим Извольским. Ардашев до сих пор домой не возвращался. Между десятью и двенадцатью часами его квартира была ограблена. И я боюсь, что жизни его грозит опасность. Можете вы мне дать какие-нибудь объяснения по поводу всего этого?

Налымов поправил плюшевую шляпу. Потом повернулся к Бистрему всем телом. Лицо его с мягковатым носом и глубокими складками у рта, представлявшееся издали даже значительным, теперь, на близком расстоянии, оказалось просто жалкой дребеденью. И, видимо, у него самого не было желания скрывать этого обстоятельства. Он встал, запахнул пальто:

— Идемте...

Они пошли по пустынной набережной. Внизу медленно плескалась черная вода. Огни маяков боролись с туманом, бычьими голосами стонали ревуны на бакенах. Налымов сел на сверток канатов, засунул руки в рукава.

— Если у вас есть возможность пригрозить полиции скандалом в печати, вашего друга можно еще попытаться спасти. Не думаю, чтобы они прикончили его сегодня же ночью. Вам что-нибудь известно о «Лиге спасения Российской империи» и о Хаджет Лаше? Лига и Хаджет Лаше — шайка наемных убийц, но вести борьбу придется с теми, кто их нанял, а это довольно серьезно. Вы можете взять только большим европейским скандалом. Вы намерены влезать в драку?

— Да, теперь особенно намерен.

Налымов вздохнул будто с облегчением. Глубже засунул руки в рукава и начал рассказывать о Хаджет Лаше, о создании Лиги, об организации политических убийств. Случай с поддельным чеком Леви Левицкого он считал их самым уязвимым местом, в особенности теперь, когда высшая политика в Лондоне и Париже берет курс на демократию в надежде, что у вождей рабочей партии и социал-демократов найдутся более современные приемы свернуть шею большевикам...

Кашлянув от застрявшего в горле тумана, Бистрем спросил:

— Например, какие приемы?

— Хотя бы польская война... Тем не менее Лаше все же попытаются спасти, чтобы не выволакивать на улицу грязи. Но на широкий скандал не пойдут, выдадут его с головой.

Помолчав, Бистрем сказал сурово:

— Слушайте, вы представляете, какую сейчас огромную услугу вы оказываете большевикам?

— Пожалуйста.— Налымов пожал плечами.

— За эту услугу вы можете жестоко поплатиться, предупреждаю заранее.

Налымов не ответил. Мутное пятно его лица как будто затряслось от смеха.

— Я-то в этом деле хочу только спасти одного человека, такого же лишнего, как и я,— сказал он.— Но на свет вы меня не вытаскивайте, не из скромности говорю, из чисто санитарных соображений. Впрочем, с удовольствием, даже с острым удовольствием окажу эту услугу. Это было бы прекрасным завершением...

И он начал бормотать какие-то совсем уже малосодержательные фразы. Бистрем, присев на корточки перед свертком канатов, заговорил шепотом:

— Слушайте, план действий должен быть таков, по-моему...

Они вернулись в «Ночную вахту» и едва отогрелись водкой с черным кофе. Когда в предутренней мгле зазвонил первый трамвай, Бистрем и Налымов поехали в главное полицейское управление. Пришлось ждать. В половине восьмого они вошли в кабинет начальника полиции. Он сидел широкой спиной к газовому камину. Все вокруг него блестело лакированным деревом. Вошедшие сели напротив полнокровного лица начальника с лакированными глазами, лакированными усами. Он был изысканно вежлив. Бистрем сжато и энергично объяснил цель прихода: их друг, Ардашев, находится в руках шайки убийц. Дорога каждая минута: нужно немедленно послать отряд полиции на дачу в Баль Станэс.

Ничто не отразилось на лице начальника полиции, не дрогнул волосок гороховых бровей, не затуманились даже глаза, когда Бистрем упомянул о Хаджет Лаше, о Лиге, о загадочных убийствах Кальве и Леви Левицкого. Начальник полиции улыбался, взявшись за ручки лакированного кресла.

— Господа,— голос его был трубный и мощный,— господа, я охотно верю, что вы оба — в добром здоровье и твердом рассудке. Если вы пришли рассказывать мне сказки о каких-то таинственных лигах и загадочных убийствах, охотно позабавлюсь вместе с вами в неслужебное время...

Он слегка наклонил туловище. Бистрем взглянул на Налымова, тот пожал плечами. Бистрем нахмурился:

— Вам известно, что у меня был обыск и изъятие журнальных материалов?

— Вот как? Нет, не известно...

— Предположим... Но вам известно, что я вернулся из Советской России, куда ездил в качестве корреспондента от больших европейских газет. Я не сомневаюсь, что вы будете пытаться арестовать меня. (Лицо начальника сияло.) Поэтому — к сведению: мною уже начата газетная кампания, не здесь, конечно,— в Лондоне и Париже, в оппозиционной прессе. Материалы о Лиге и о Хаджет Лаше и все, что сопутствовало его деятельности в Стокгольме, мною переданы по назначению. Вы, конечно, осведомлены о перемене общеполитического курса в Европе. Мой арест и ваше неведение в делах Лиги и Хаджет Лаше послужат тем желанным политическим скандалом, который ищет сейчас оппозиционная пресса...

— Вы мне грозите? — с тихой медью в горле спросил начальник.

— Да, я вам угрожаю — и неприятностями, более серьезными, чем вы мне...

В первый раз начальник отвернул лицо и некоторое время смотрел в окошко. Затем с приветливой мягкостью:

— Простите, господа, я наведу справки.

Он поднялся, рослый, облитый мундиром. Вышел. Бистрем засмеялся, сняв и потирая очки. Начальник отсутствовал минут двадцать. Вернулся красным солнышком. Снова плотно сел.

— Я навел справки. Господа, предоставьте это дело мне. В нашей работе, когда в нее вмешиваются любители-детективы (наклон туловища в сторону Налымова) или пресса принимает слишком горячее участие,— начинается невообразимая путаница: много бумаги, много шуму, мало толку. Шведская полиция, как и во всех цивилизованных странах, не интересуется политикой, мы — слепое орудие власти. Мы одинаково гостеприимны и к русским монархистам и к большевикам. Но сводить ваши внутренние счеты, господа, этого допустить на нашей территории не можем,— отправляйтесь за этим к себе домой... Лига

занимается политикой,— говорите вы?.. Да хоть черной магией, это — ее дело. Но если какие-то члены Лиги преступили закон, будьте покойны — меч закона опустится на них... Господа, верьте в мою искренность, оставьте ваши телефоны, через два-три часа я сообщу вам исчерпывающие сведения о господине Ардашеве.

Начальника несло словоохотливостью. Честный Бистрем даже приоткрыл рот от изумления. Налымов сказал по-русски:

— Он маневрирует. Действуйте энергичнее.

Тогда Бистрем быстро на блокноте набросал десяток фраз, вырвал страницу и протянул ее начальнику. Это была телеграмма, она начиналась: «Париж. Юманите. Редакция. В Стокгольме мною раскрыта террористическая организация...» И так далее.

Прочтя, начальник осторожно почесал мизинцем сбоку носа:

— Что это такое?

— Начало борьбы,— блеснув очками, ответил Бистрем.— Через несколько минут телеграмма отправится в Париж.

— Я не могу понять, что, собственно, вы от меня хотите, господа?

— Немедленно отрядить с нами агентов для обыска на даче в Баль Станэсе.

Налымов — учтиво:

— Хорошо вооруженных, господин начальник.

— Знаете, господа,— воротник у начальника стал тесен,— все же это — беспримерно. Вы не доверяете мне. Вы пытаетесь руководить моими поступками. Вы грозите мне...

Бистрем перебил:

— Курьер советского посольства Кальве и журналист Леви Левицкий под носом у стокгольмской полиции были подвергнуты пыткам и убиты. По этому делу у нас имеются документы и свидетели.

Начальник отвалился на спинку патентованного кресла. С лица его стал сходить лак. Пауза. Он вскочил, отшвырнул кресло и — бешено:

— Я покажу проклятым русским эмигрантам политику! (Позвонил.) Господа, собирайтесь. Я придам к вам шесть полицейских и детектива...

62

Под клубящимися осенними тучами дача в Баль Станэсе казалась покинутой,— ни дымка из труб на высокой кровле, окна закрыты ставнями, на дорожках — прелые листья, в клумбах — поломанные цветы. Один из полицейских, бросив нажимать звонковую кнопку, долго стучал в дверь крыльца.

Подслеповатое лицо детектива изображало крайнюю скуку: «Пустая затея, здесь уже неделю никто не живет...» Инструменты для взлома двери не были взяты, сержант предложил поехать на станцию и переговорить с начальником. Пришлось вмешаться Бистрему и Налымову. Они начали стучать руками и ногами, сержант по их просьбе выстрелил из револьвера.

В доме послышалось шлепанье туфель. Дверь раскрылась, высунулся Хаджет Лаше, небритый, опухший и заспанный, в туфлях на босу ногу, в накинутом на ночную рубашку пальто.

— В чем дело?

— А вот сейчас узнаете, в чем дело,— сердито проговорил сержант, оттесняя Лаше в переднюю.— Тут у вас, черт возьми, крепко спят.— Из-за борта мундира он вытащил предписание об обыске.— Ваше имя?

Лаше пошел за очками.

— Закрывайте двери, настудите дом! — крикнул он из столовой.

Вернулся, добродушно поправляя черепаховое пенсне на жирном носу:

— Покажите-ка этот курьез...— Прочел. Снял пенсне.— Пожалуйста, господа.— И тогда только царапнул зрачками по Налымову.— Сделайте ваше одолжение, здесь все нараспашку.

Полицейские разошлись по комнатам. Налымов сказал сержанту:

— В этом доме — больная женщина. Прошу у ее дверей поставить агента, иначе мы найдем ее мертвой.

Хотя трудно было предположить, что начальник полиции предупредил Хаджет Лаше об обыске, все же Лаше как будто приготовился. Он был спокоен. Надев

черкеску и сапоги, он, с длинным мундштуком, улыбаясь, ходил за агентами, сам открывал шкафы, ящики, двери. Обыск в первом этаже и в его комнате не дал ничего. Бистрем хмурился. Налымов, безучастно сидя в столовой, ждал, когда дойдут до второго этажа.

На мгновенье в столовую заглянул Хаджет Лаше и — хриповатым голосом по-русски:

— Напрасно затеяли. С тобой будет то же, что с Левантом.

— А что с Левантом? — с кривой усмешкой спросил Налымов.

— Найден с перерезанным горлом в Марселе.

— Что вы сделали с Верой Юрьевной?

— Наверху. Плоха.— Лаше убежал и — весело агентам: — Теперь — только кухня. Или кухня потом? Пойдемте наверх.

Налымов, в шляпе, надвинутой на глаза, с тросточкой за спиной, последним поднимался по лестнице. Он чувствовал, что боится встречи с Верой Юрьевной. Он необычайно легко приспосабливался к любой, самой невероятной обстановке, но с такой же легкостью и отряхивался. В этот раз отряхнуться не удалось: часть его самого оставалась в этом памятном доме.

Впереди по лестнице поднимался Лаше, бойко подшучивая над самим собой. Кое-кто из полицейских ухмылялся. Внезапно Бистрем — громко:

— Прошу обратить внимание, лестница — свежевымыта.

Все остановились. Подслеповатый детектив сердито взглянул на Бистрема и нагнулся, рассматривая растоптанный окурок. Лаше раскатисто засмеялся:

— Браво! Лестница действительно вымыта и не дальше как вчера. (Сержанту.) Не могу привыкнуть к вашему северному обычаю: снимать сапоги в прихожей и дома ходить в шерстяных носках... Натаскиваешь с улицы грязь.

Поднявшись наверх, Лаше объяснял:

— Здесь музыкальный салон. Как видите, пол также замыт... Здесь — две спальни для приезжающих. Здесь — комната больной... Начнем с салона?

Налымов остался у запертой комнаты Веры Юрьевны,— там не было слышно ни звука, ни дыхания. Лаше издалека мимоходом поглядывал насмешливо. Бистрем ходил за агентом, сурово сжав прямой рот.

Наверху тоже не обнаружили существенного, только в музыкальном салоне — на обивке кресла — невыясненного происхождения темное пятно, сильно в одном месте поцарапанный пол и в камине, в золе, пряжку от ошейника... Все вернулись к двери Веры Юрьевны.

— О ла-ла! — Хаджет Лаше отыскивал ключ на связке.— Здесь самое тяжелое, господа... Я бы просил, если возможно, не входить всем,— дама душевно больна, положение очень, очень тяжелое.

Налымов спросил:

— Быть может, у нее та именно форма заболевания, когда больной отказывается от еды?..

— Да. Вы угадали, она наотрез отказывается от еды и питья. (Пониженным голосом.) Пожалуйста, господа...

Налымов — опять позади всех — тихо Бистрему:

— Берите агента и — на кухню... Обыщите кухню и чердак...

Вошли на цыпочках. Пустая комната, закрытые ставни, холодно, не проветрено. «Ай-ай-ай!» — пробормотал сержант. У стены на кровати — очертание тела, закрытого с головой грязной простыней.

— Припадки бешенства, мы все отсюда вынесли,— прошептал Лаше.

Налымов стащил перчатку и, продолжая держать левую руку с тростью за спиной, подошел к постели. Осторожно откинул простыню. Лаше: «Тише, тсс».

Вера Юрьевна лежала на правом боку. Голова ее была обрита, полуседые волосы отросли на сантиметр. Налымов положил ладонь на ее лоб и почувствовал, как медленно раскрылись и закрылись у нее ресницы. Он нагнулся:

— Вера, это — я.

Ресницы ее затрепетали. Лоб был холоден. Он осторожно провел по лицу, ощутил острый кончик носа, прижал ладонь к сухим, будто шерстяным губам. Они пошевелились, он почувствовал, как зубы ее чуть-чуть укусили ладонь. Он отдернул руку, повернулся к сержанту:

— Прикажите принести воды... Эту женщину убивают жаждой...

— Что ты сказал? — Жирная маска Лаше задвигалась, будто сдираясь с лица.— Кто ты здесь? Шантажист! Апаш!

Налымов, как во сне, переложил трость в правую руку и изо всей силы ударил Хаджет Лаше по лицу, по голове, по пальцам вздернувшейся его руки. Лаше гортанно крикнул и кинулся на Налымова. Оба покатились на пол. Сейчас же их растащили. Лаше весь содрогался в руках агентов... «Ананáсана, ананáсана»,— бормотал он шепотом. Налымов, подняв шляпу и трость, стоял некоторое время, низко опустив голову.

— Господин сержант, я дам все показания в протоколе,— наконец с трудом сказал он.— Прошу позвонить начальнику о разрешении остаться мне с этой женщиной,— безразлично, будет или не будет арестован Хаджет Лаше.

Он поставил трость к стене и стащил вторую перчатку.

Удары палкой по лицу сразу повернули дела Хаджет Лаше к худшему. Он потерял самообладание. Агенты во время возни вынули у него из кармана револьвер. Сейчас Лаше стоял у камина в музыкальном салоне и не отрываясь глядел на Налымова, сидевшего боком к нему в кресле у стола, где сержант, надев очки и расставив локти, неторопливо писал протокол.

Лаше настолько был поглощен бешеными ощущениями, что не заметил даже отсутствия в комнате Бистрема и одного из агентов. Налымов всею щекой чувствовал его упорный взгляд и был настороже. Когда сержант спросил Налымова, что он знает об образе жизни Хаджет Лаше, и когда Василий Алексеевич заговорил, Лаше начало трясти. При словах: «Внизу, в столовой, они совещались и поджидали жертву, в этой же комнате они...» — Лаше живо нагнулся за каминными щипцами, но один из агентов успел схватить его за руку и с трудом отнял щипцы. Их положили на стол. Правда, Налымов треснул Лаше палкой, почему бы Лаше в свою очередь не треснуть его каминными щипцами? Это было, так сказать, частное дело русских. Неожиданно все осложнилось:

подслеповатый детектив, заинтересовавшись щипцами, обнаружил в лупу на одной из их лапок прилипшие вместе с засохшей кровью человеческие волосы. Сержант сказал: «Ого!» — и поверх очков строго посмотрел на Лаше. Протокол отягчался. Лаше, наотрез все отрицавший, настоял, чтобы в протоколе пометили просто: «волосы», без упоминания «человеческие», так как эти волосы собачьи, что и должна показать экспертиза.

Затем в комнате появились Бистрем и агент, они несли кучу мешков, бечевок и две пятикилограммовые гири. Эти вещи были найдены на кухне, в потайном стенном шкафу, заклеенном — по-видимому, совсем недавно — снаружи обоями. Мешки были большие, из джута, девять штук. На трех — надписи масляной краской. На одном: «По постановлению Лиги спасения Российской империи — большевистский комиссар Красин». На другом: «По постановлению Лиги — большевистский комиссар Воровский». На третьем: «По постановлению Лиги — журналист Карл Бистрем, агент Чека». Эта последняя надпись была свежая — краска липла к пальцам.

На вопрос, что означают эти мешки и надписи на них,— Лаше сипло задышал. На повторный вопрос он, клятвенно протянув руки, в повышенном тоне ответил, что его принуждают к бесчестью, он не в состоянии, даже спасая свою жизнь, разглашать тайн, в которые замешаны лица, играющие в настоящее время руководящие роли в европейской политике...

Все это было более чем странно. На вопрос Бистрема в лоб: где находится Ардашев или его тело, не в одном ли из таких мешков? — Лаше ответил с наглой усмешкой, что об этом с бóльшим успехом можно спросить у постового полицейского, у содержателя любого из ночных притонов или, что еще вернее, в большевистском посольстве.

Закончив протокол, сержант, сопровождаемый Бистремом, пошел вниз переговорить по телефону с начальником полиции, как поступить с Лаше. Вернулся, строго нахмуренный:

— Господин Хаджет Лаше, на основании данных протокола господин начальник счел нужным аресто-

вать вас и препроводить в тюрьму, без накладывания наручников.

— Могу я по крайней мере одеться? — вызывающе спросил Лаше. И, затрясшись всей маской, крикнул Налымову и Бистрему: — Через неделю выйду из тюрьмы, включите это в ваши расчеты!

Лаше увезли, Бистрем и Налымов остались на даче. В бывшей Лилькиной спальне затопили печь и перенесли туда Веру Юрьевну: от слабости она не могла даже говорить. После обсуждения решили вымыть ее в ванной и сегодня же перевезти в гостиницу. Бистрем позвонил об этом начальнику полиции, тот ответил: «Делайте на свою ответственность».

Бистрем отнес на руках завернутую в простыню, легонькую, как ребенок, Веру Юрьевну в ванную. Простыню и рубашку сочли за лучшее тут же сжечь. Желтое, с проступающими ребрами, длинное тело Веры Юрьевны все было в кровоподтеках. В горячей ванне она блаженно закрыла глаза. Ей вымыли стриженые волосы, и голова ее стала похожа на реденький бобровый мех. Уложили в чистую постель, дали чашку крепчайшего кофе. Она вытянулась, откинула голову, кажется — задремала. Бистрем и Налымов спустились в столовую.

Надо было признать, с обыском они просыпались. Кроме надписей на мешках и каминных щипцов, никаких безусловных улик не найдено. Преступление не установлено. Даже если Вера Юрьевна оправится и даст показания, Хаджет Лаше — при могущественной поддержке — вылезет сухим: вне всякого сомнения, он запасся врачебным свидетельством и показания Веры Юрьевны представит как бред сумасшедшей.

Бистрем формулировал:

— Если мы не найдем трупов Кальве, Левицкого и Ардашева, наше дело бито. Пока что мы только растревожили осиное гнездо.

Они еще раз обшарили весь дом, подвал, чердак. Бистрем некоторое время бродил вокруг дачи. Внезапно, топая, как лошадь, он взбежал по лестнице:

— Слушайте, мы — идиоты! Мешки и гири, вы поняли? Трупы — в озере... И, конечно, с надписями на мешках. Но это Лаше не спасет. И даже еще будет пикантнее связать этого бандита с английской и французской контрразведкой...

63

На следующее утро Бистрем, зайдя на квартиру Ардашева, сделал еще чрезвычайное открытие: в кабинете Ардашева наткнулся на книжку «Убийца на троне» с надписью от автора: «Август 1919 года, Хаджет Лаше» [1]. С первых же страниц Бистрем почувствовал, что напал на настоящий след. Книжка была тем хорошо известным в уголовной практике психическим явлением, когда преступник, даже рискуя головой, возвращается на место своего преступления. (Эта необходимость, по-видимому, происходит из тайного желания «растормозить рефлексы», болезненно возбужденные в напряженной суете преступления.)

В книжке Хаджет Лаше рассказывал в полубеллетристической форме о делах турецкой тайной полиции при Абдул-Гамиде: как намечалась жертва, как она заманивалась в дом на пустынной уличке и там угрозами и пытками жертву заставляли выдать чек, или денежное письмо, или ключ от сейфа. С удивительными подробностями и мелочами Лаше описывал пытки — человеку одевали тугой ошейник, резали лицо, вырывали волосы, выжигали глаза, всовывали иголки под ногти. Жертву засовывали в мешок и бросали в Босфор. На даче в Баль Станэсе было повторено то самое, что лет пятнадцать тому назад — им же, Хаджет Лаше,— проделывалось в Константинополе,— такова была полнейшая уверенность Бистрема.

Но для какого черта Лаше подарил, да еще с надписью, эту книжку одной из намеченных жертв? Здесь — расчет тончайший, но какой? В мозгу Бистрема не находилось объяснений. Но он понимал, что,

[1] Книга издана в русском переводе самого Хаджет Лаше в Петрограде в 1917 году. Большая редкость.— *Прим. авт.*

если выступит на суде с этой книжкой как с одной из улик, прежде всего должен будет ответить именно на вопрос: для чего Лаше принес Ардашеву книжку?

Он ходил по кабинету, бормотал, выворачивая губы, корчил гримасы, какие, по его соображениям, должны быть у матерых убийц, силился влезть в эту черную психику. Ничего не получилось. И, когда только с досадой отмахнулся («Драматург какой-нибудь, романист, тот бы сразу с восторгом влез в шкуру Лаше»), чрезвычайно простое объяснение явилось само собой: да именно потому-то Лаше и подарил Ардашеву книжку, чтобы этого поступка и нельзя было объяснить в случае, если на Лаше падет подозрение...

— Ах, дьявол, ах, гениальнейшая голова! — бормотал Бистрем, в восторге потирая руки.

На предварительном следствии Хаджет Лаше заявил, что его арест не что иное, как происки большевиков. Исчезновение Кальве, Леви Левицкого и Ардашева устроено заграничными агентами Чека с целью создать политический процесс и дискредитировать Лигу, учрежденную для вербовки добровольцев для белых армий. Эти три лица похищены чекистами и переправлены в Россию, причем Левицкий и Ардашев расстреляны, Кальве — на свободе, как бывший бунтовщик. Документальные сведения Лаше обещался к следующему дню доставить из архива Лиги.

По поводу надписей на мешках он дал такое объяснение: один из членов Лиги оказался провокатором, подкупил Бистрема и Налымова и перед обыском, в отсутствие Лаше, сделал надписи на мешках, о чем Лаше узнал только во время обыска и, вполне понятно, ужасно взволновался и даже не помнит, что говорил. Мешки были приобретены для хозяйственных надобностей. Каминными щипцами он действительно защищался от бешеной собаки, забежавшей на дачу.

Следствием чрезвычайно заинтересовался граф де Мерси, — приехав в камеру следователя, он долго и значительно разговаривал с ним, подтвердив, между прочим, предположение о провокационном увозе аген-

тами Чека трех упомянутых лиц на территорию Советской России. Затем, как и обещал Лаше, русский офицер Биттенбиндер вручил следователю письмо генерала Сметанникова к генералу Гиссеру, где сообщались подробности о Кальве, Левицком и Ардашеве, привезенных на рыбачьем паруснике в Петроград. Следователю оставалось признать факт и выпустить Лаше на свободу. Но следователь колебался,— Бистрем передал ему книгу «Убийца на троне», указал на параллельные подробности и по поводу письма Сметанникова твердо заявил, что такого генерала не существует в списках бывшей царской армии,— письмо сфабриковано шайкой Лаше.

Бистрем добился также ордера на обыск в квартире Извольского. Но Извольский исчез из Стокгольма. Получался скандал. «Юманите» напечатала телеграмму Бистрема о процессе. Честь полиции была затронута. На четвертый день после исчезновения Извольский был арестован на яхте у Аландских островов и препровожден в Стокгольм.

Вначале он отрицал все, даже бегство: он страстно любит море, представился случай прокатиться и тому подобное...

Бистрем потребовал очной ставки Извольского с ардашевской экономкой — фру Вендля. Он сам привез ее к следователю. Плача, она снова рассказала всю историю про вымышленную девочку, которой Ардашев хотел купить «недорогие первоклассные детские платьица». Экономка молитвенно складывала руки: «Он был так добр к детям, господин следователь!» У Извольского нервы, видимо, были не крепкие. В истории с вымышленной племянницей он сознался. Когда Бистрем в упор спросил его: «Теперь рассказывайте, что вы сделали с моим другом Ардашевым?» — Извольский потянулся к графину с водой и в отчаянии уронил руки.

— Я расскажу все... Господин следователь, я был втянут в преступную шайку. Я — морской офицер. Я мечтал о борьбе с теми, кто издевается над моей родиной, уничтожает все святыни... Меня погубила слабость, сознаюсь... Я должен был взять винтовку... Мое место там, где сражаются... Я искренне хотел... А впрочем... Меня шаг за шагом втянули в грязь!..— Он

всхлипнул, но у него это не вышло. Уронил локти на стол: — Эх! — Решительно поднял голову и — Бистрему: — Ваш друг Ардашев замучен пытками. Он выдал чеки на пятьсот тысяч крон... Убит и брошен в озеро... Его крик и сейчас у меня в ушах... Я не спал пять суток... Едемте сейчас, я покажу место, куда его бросили...

64

На первой лодке крикнули: «Есть! Попало!» В ней стояли понятые, вытягивая длинный багор, другие заводили второй багор под то, что попало. Поспешно подошла лодка, где сидели следователь, врач, Бистрем и Извольский. Из глубины всплывало серое и бесформенное, облепленное водорослями. Мешок с телом трудно было поднять на борт, его прибуксировали к берегу, выволокли на смятую траву. Это была третья находка,— вчера и позавчера железными кошками извлекли из озера полуразложившиеся трупы Кальве и Леви Левицкого. Люди устали и продрогли, и сейчас, выбросив из лодок весла и багры, уселись на берегу, закурили.

Окончив внешний осмотр (на мешке та же надпись: «По постановлению Лиги» и так далее), следователь приказал развязать мешок, но это не удалось, и его осторожно разрезали. Обнажилось распухшее лицо, оскаленное, как у собаки, перееханной колесами. На щеках — порезы, на месте глаз — кровавые впадины, череп проломлен. Извольский сказал упавшим голосом: «Это Ардашев». Труп понесли на дачу. Извольский засуетился было, чтобы помочь тащить, но Бистрем крикнул ему:

— Что вы за жизнь-то цепляетесь?.. Хорошо завтракать любите... Вас тогда Николай Петрович с хорошим завтраком ждал, с шампанским. Сволочь!

Извольский — как будто передохнув астмическое удушье:

— Эта мелочь мучит меня невыносимо... В последнюю минуту, когда я вез его сюда, я понял, какой это был обаятельный человек...

Так начался большой процесс об убийствах в Баль Станэсе. Извольский выдал всех. Были арестованы и привлечены к делу Биттенбиндер, Эттингер, Гиссер с сыном и Вера Юрьевна. Стараниями графа де Мерси, американского атташе и внезапно появившегося в Стокгольме одного майора из английской разведки остальных членов Лиги привлекли только в качестве свидетелей. Мадам Мари арестовали в Варшаве во время циркового представления, когда она готовилась исполнить соло на метле. Долго не могли разыскать следов Лили, покуда в кабачке «Ночная вахта» один подгулявший матрос не объяснил, что девчонку нужно искать не ближе Порт-Саида, но на каком корабле она уплыла — сказать он не может...

Еще при следствии обнаружилась борьба за политическую окраску процесса. С одной стороны, Бистрем, выступавший как гражданский истец со стороны Веры Юрьевны (она лежала в тюремном госпитале), раздувал политическое пламя. С другой стороны, защита группы Хаджет Лаше — два видных шведских адвоката и заинтересовавшийся «загадочным» делом, прибывший из Парижа, чтобы выступить бесплатно защитником Хаджет Лаше, знаменитейший адвокат Жюль Рошфор,— эти три блестящих ума сворачивали весь процесс в сторону чистого психологизма... Фрейд, Шпенглер — вот вехи, по которым можно было подобраться к «жуткой загадке Баль Станэса». Бистрем отчаянно боролся против психологизма, но не в силах был справиться с десятком понаехавших шикарных журналистов. Его выслушивали вежливо и, отойдя, смеялись:

— Сентиментальный немец вместе со вшами вывез из России Карла Маркса и хочет заставить нас считать его чудотворцем.

Бистрем мечтал о рупоре на всю Европу. Вместо этого не было газетной заметки, где бы его не высмеивали под тем или иным видом, изображали в карикатурах, перевирали его слова, приписывали ему идиотские поступки. Когда в первый день суда он появился в ложе журналистов, раздался смех в публике: Бистрема узнали по карикатурам.

В зале присутствовал весь дипломатический корпус. Первые ряды занимали нарядные женщины. Из

видных русских присутствовал генерал Юденич, в штатском платье, усатый, важный, без видимых следов недавнего разгрома. Следователю он дал показание, что действительно некий Хаджет Лаше однажды явился к нему, но о чем он тогда говорил — генерал не припомнит. Больше ничего он не мог прибавить к своим показаниям.

Подсудимые вели себя, как все подсудимые,— заслонялись рукой от фотографов, с видом равнодушия поправляли галстуки, перелистывали обвинительный акт, не глядели в публику, с особенным вниманием слушали словоговорение. Один Лаше сидел, как на сцене перед рампой (в белой черкеске с малиновым вырезом рубахи), блестевшими глазами обводил зал и, когда замечал на женских лицах впечатление, честолюбиво усмехался.

С особенным интересом публика ждала показаний свидетеля Налымова. Но он будто выдохся, как резиновый шарик, проткнутый булавкой: отвечал на вопросы скучно, сухо, даже с некоторой осторожностью. О своих отношениях к подсудимой Вере Юрьевне ограничился общими чертами:

— Мы оба принадлежали когда-то к высшему обществу, оба установили свою полную беспомощность в жизни, оба пошли на дно. Мы ничего не ждем и ни на что не надеемся. Это, если хотите,— известного рода эпикурейство,— нас связало и связывает... (Вера Юрьевна со скамьи подсудимых, похожая худым лицом и стриженой головой на поседевшего от ужаса подростка, подняла было руку, привстала, но он даже не обернулся к ней.) Если угодно суду знать, то я сообщаю, что в период следствия мы юридически узаконили наши брачные отношения...

Это его заявление вызвало ропот среди публики, некоторые зааплодировали. На вопрос судьи, что могло связывать Веру Юрьевну с Хаджет Лаше? — Налымов ответил тем же спокойно-скучным голосом:

— Преследование константинопольской полиции за уголовное преступление, совершенное фактически Хаджет Лаше, но приписанное им моей жене... («Лжет! — крикнул бешено Хаджет Лаше.— Мерзавец! Докажи!..» Судья остановил его.) Дело шло об

убийстве в публичном доме, который содержал Хаджет Лаше... Дело в том, что в первый год эмиграции моя жена... (он опустил голову, как бы раздумывая, и снова — вялым голосом) моя жена была завербована в дом терпимости... Вот в сущности и все...

На третий день процесса выступил Бистрем. Как Робеспьер, сжимая в руке скрученную рукопись, он начал:

— Господа судьи, я выступаю как гражданский истец подсудимой Чувашевой... Ее обвиняют в укрывательстве преступления, в том, что она не донесла полиции... Почему она молчала? Кто такая подсудимая Чувашева? Это — лист, оторванный бурей от дерева и растоптанный подошвами, это — эмигрантка, господа судьи... (Сердитый ропот среди части публики.) Ее привязывало к жизни только одно — женское чувство, столь же болезненное, исступленное и безнадежное, как вся ее эмигрантская судьба. Ради этого чувства она, обезумевшая от ужаса, запертая в пустой комнате, без еды и питья,— молчала, потому что Хаджет Лаше сказал ей: если донесешь полиции, с Налымовым будет то же, что с Кальве, Леви Левицким, Ардашевым, или с греком в публичном доме, или с недавним компаньоном Хаджет Лаше, одним из агентов Детердинга, грязным спекулянтом Левантом, зарезанным по приказанию Хаджет Лаше. Но, господа судьи, нас здесь гораздо больше интересует не причина молчания подсудимой, а причина появления на политической арене таких персонажей, как Хаджет Лаше, и его бандитской шайки, именуемой Лигой, аккредитованной такими высокими политическими лицами. Причин для появления Хаджет Лаше много. Я укажу только на главную,— причину всех причин,— это страх перед пролетарской революцией. (Резкий свист в зале.) Здесь уже действуют единодушно,— и я бы сказал — опрометчиво,— все могущественные силы, которые посылают Деникина на Москву, Юденича на Петроград и всовывают каминные щипцы в руку Хаджет Лаше, чтобы он опустил их на головы тех лиц, чьи фамилии обнаружены следствием на неиспользованных мешках в Баль Станэсе. Хаджет Лаше — наемный убийца, но он достоин своих хозяев. Идеология у них одна и та же. Разница лишь в

масштабах. Хаджет Лаше при помощи раскаленных щипцов пытает свои жертвы, вымогая у них чеки в тридцать тысяч крон. Его хозяева при помощи Версальского мира обрекают на муки голода, физического истощения и отчаяния сотни миллионов тружеников и готовят для еще более страшных пыток уже не каминные щипцы, готовят новую мировую войну, чтобы раз и навсегда утопить в крови самую надежду на освобождение у трудящихся, чтобы оставить лишь самое необходимое число обезличенных рабов, прикованных к стальным жерновам капитализма. Война за рынки, за нефть, уголь, руду! О, в этой части хозяева договорятся о разделе между собой. Но глубочайшая сущность Версальского мира направлена всем жалом на истребление революции...

Председательствующий, под возмущенные возгласы публики, остановил Бистрема, предложив ему говорить по существу. Бистрем вытер платком лоб и продолжал о Вере Юрьевне. Конец его речи был скомкан, он не сказал и половины того, что хотел. Его проводили молчанием, насмешливыми, злыми взглядами. При выходе из зала суда к нему подошли двое — рослые, широкоплечие, тяжелоногие, в синих тяжелых пиджаках. Морщась улыбками, они сказали ему:

— Хорошо было сказано, дружок.

— Не горюй, что тебя не слишком ласково приняли, кому нужно — тот понял...

И эта мимолетная встреча вознаградила взъерошенного Бистрема за неудачу.

Приговор суда был таков: Хаджет Лаше — к десяти годам тюрьмы, остальных — от восьми до трех лет. Мари была признана невиновной. Вере Юрьевне дали полтора года тюремного заключения.

Налымов остался в Стокгольме. Раз в неделю он посещал в тюрьме Веру Юрьевну. Из гостиницы переехал в недорогой пансион. Стал весьма сдержан в денежных тратах, даже скуповат. Через день ходил в кинематограф. Умеренно пил. Пристрастился обкуривать пенковые мундштуки, словом, жил тихо,— черт его знает,— иногда сам себя спрашивал,— зачем он живет на свете?..

Бистрем... Если житейские события некоторых из персонажей хотя бы отчасти пришли к какому-то завершению,— жизнь Бистрема только-только начала организовываться... Он написал несколько статей и уехал в Германию, сжимаемую смертельными объятиями Версальского мира. Там след его на некоторое время затерялся.

В Советской России революция продолжала победоносно разворачиваться, опрокидывая все планы версальских мудрецов и надежды эмигрантских комитетов. В Лондоне и Париже с золотых перьев слетали новые ядовитые капли, вызывая новые волны исторических событий. Так, на гребне одной из волн поднялся было над рубежом Советской России всадник в польской конфедератке и занес уже саблю для удара, но ответная волна гневно опрокинула это жалкое подобие воина.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ





НА ОСТРОВЕ ХАЛКИ

Подполковник Изюмов сидел у окна, посасывая янтарь кальяна, и сквозь засиженные мухами стекла глядел на улицу. Дым вливался в грудь легким дурманом. По доскам стола, в чашке с кофейной гущей ползали мухи. В глубине кофейни, на клеенчатой лавке, похрапывал жирный грек. Улица за пыльным окном была залита полдневным солнцем. На старых плитах мостовой валялись отбросы овощей, рыбьи кишки. Спали собаки. На перекрестке, откинувшись к стенке, дремал с разинутым ртом чистильщик сапог у медного ящичка, блестевшего нестерпимо. Наискосок, за окном, тоже пыльным и засиженным мухами, чахоточный цирюльник стриг волосы медно-красному толстяку,— и все лицо его, шея, простыня были засыпаны остриженными волосами. Надо было совсем уже сойти с ума от скуки, чтобы в такой зной пойти стричься.

Между деревянными домиками, у каменных глыб развалившейся набережной, стояли лодки, прозрачная вода под ними была как воздух — зеленовато-голубая. На дне ржавели жестянки от консервов, шевелились волокна плесени.

Подполковник Изюмов сидел, не вытирая капель пота,— они выступили на лбу его, на мясистом носу. А на той стороне пустынной улицы чахоточный цирюльник все стриг, все стриг. Подполковник Изюмов чувствовал, как у него самого под мокрой рубашкой колются стриженые волосы.

«Мерзавец, кефалик проклятый, «пачколя»,— думал он про цирюльника мутной, тяжелой думой и сосал чубук,— кальян хрипел и булькал. Собака на улице, зевнув, щелкнула муху. В этот час городок на острове будто вымер.— Ох, скука, прости господи... Ударить бы кулаком в чью-нибудь морду,— вдрызг...» В мутной памяти подполковника стали возникать различные морды, которые было бы недурно разбить.

Но их было так много, что он только вспотел, затонув в этой неизвестной пучине,— морды, хари, рыла человеческие.

В то же время посредине улицы появился рослый молодой человек в матросской белой рубахе, в штанах клешем, из-под морского белого картуза падали волной, наискосок лба, блестяще-черные волосы. Юношеское бритое лицо его было очень бледно и поженски красиво, только нос, большой и крепкий, придавал ему мужество и нахальство. Он шел косолапо, засунув руки в карманы черных штанов.

Подполковник Изюмов постучал ногтями в стекло. Юноша остановился, обернулся. Подполковник, прищурясь, собрав веки добрейшими морщинками, показал пальцем на чашку: «Санди, заходи, угощу». Юноша кивнул в сторону моря и скрылся в переулке. На лице подполковника появилось хитрое и недоброе оживление,— он бросил на стол пиастры и, выйдя на улицу, горячую, как печь, пошел следом за Санди, или по эвакуационным спискам,— Александром Казанковым, 26 лет, занятие — литератор, призывался в 1914 году, в 1916-м был контужен, в 1917-м освобожден, в 1918 году проживал в Киеве без определенных занятий, эвакуировался из Одессы пароходом «Кавказ».

Санди вышел на открытый берег, свернул к длинным, на сваях, деревянным мосткам, и у дальнего их края, повисшего над голубой, прозрачной водой, лег животом на горячие доски, раскинул ноги, подпер кулаком щеки и, видимо, приготовился надолго лежать и глядеть на солнечную, сияющую дорогу в лазурной пустыне Мраморного моря.

— Ну и жарища, черт ее побери,— сказал подполковник Изюмов, подходя по мосткам к Санди, сел сбоку него, поджав ноги.— Препаршивая, я вам скажу, здешняя природа. Кричат — юг, юг, а про клопов небось не кричат. Эгэ! Давеча вытаскиваю платок — в нем клоп. Вытаскиваю портсигар — клоп. На этом острове клопы на вас с потолка кидаются. Византия, будь она проклята,— клопы и жулики. Эхе-хе! А кровушки сколько русской пролито за эту самую Византию. Одним словом,— опять все та же русская глупость. Пришел Олег, прибил щит,— ладно, и успокойся. Нет, без Царьграда жить не можем,— двуглавого орла к себе перетащили. Знаем мы этого орла. Вот он,

сукин сын, у меня за воротником — орел ползает.— Подполковник раздавил клопа, вытер о штаны палец, затем понюхал его.— Эх, Россия, Россия! Вы, чай, думаете, я монархист. Между нами,— конечно, не для распространения,— я социалист. Увлекаюсь, знаете ли, Марксом. Я по натуре — культуртрегер.

Санди не отвечал и не шевелился. Из лопнувшего башмака у него торчала грязная пятка. Подполковник плюнул в воду:

— Вчера дуру какую-то хоронили, гречанку. Пошел смотреть. Впереди мальчишки несут деревянных крашеных амуров,— поют, гнусят. За ними — поп, рожа гнусная, черномазая,— я бы этого,— где-нибудь на Лозовой мне попался,— в нужнике бы расстрелял. За попом несут упокойницу — головой кверху, сама в новых ботинках. Гроб плоский — ящиком. Мертвечиха — нарумяненная, в модной прическе, голова мотается... Тьфу... Сволочь ужасная... Ветер, юбки летят... Видали?

Санди, не оборачиваясь, пожал плечами. Подполковник закурил папиросу и обожженную спичку растер между пальцами.

— Нынче утром в цейхгаузе ободранных кошек выдавали,— сказал он спокойно,— бывшим гражданам Российской империи союзнички выдают кошек,— лопайте... Полковник Лихошерстов говорит, что это австралийские кролики, а по-моему — кошки. Ладно, мы это все припомним. Три года вас спасали, а теперь мы — жри кошек. Хорошо. И мясо консервное — это обезьянье мясо, австралийской человекоподобной обезьяны. Ух, тудыть твою в душу, отзовется когда-нибудь Антанте эта обезьяна. Я, знаете ли,— тут подполковник понизил голос,— думаю, что нам не за Антанту бы надо держаться... У вас, писателей, ум, так сказать, разносторонний,— понимаете, за кого надо держаться, а?

Санди продолжал глядеть на море. Подполковник вдруг громко расхохотался.

— Давеча в общежитии лежу, читаю какую-то брошюрку, и названия-то ее не знаю,— заглавие оторвано. Подходит ко мне полковник Тетькин, заглядывает — что читаю, вырывает книжку,— «ты, говорит, откуда ее взял... ты, говорит, большевик, сукин сын». Это я-то большевик. И начинается форменное дозна-

ние. Где взял книжку? Взял,— на окне лежала. Кто ее на окно положил? Это не первый, мол, случай,— брошюры агитационного содержания подбрасывают. Стали мы перебирать всех стрюков — на кого подозрение. А ведь с нами тыловой сволочи эвакуировалось шестьсот пятьдесят душ. Поручик Москалев указал даже на вас. Я говорю: господа офицеры, нельзя же сплеча рубить,— кого, кого, а Санди — литератор, честнейшая личность... Должен вас предупредить — уж очень наши ребята озлоблены, особенно поручик Москалев. Контужен, два ранения в грудь, нога разворочена осколком, жена расстреляна в Екатеринославе, сам — после расстрела из общей могилы вылез... Во сне вскрикивает, вскакивает. Кровь душит... Так я к тому говорю, что если у вас что-нибудь валяется в чемодане... Голубчик, знаю, что у вас нет ничего, но ведь — литератор, наверное, прихватили листовки какие-нибудь на память... Интересуетесь тем и сем... Если имеется что-нибудь предосудительное, выбросьте, дружески предупреждаю.

Подполковник поохал, помолчал и опять засмеялся, негромко:

— Я большевик,— не угодно ли... Нет, я, знаете ли,— искатель... Правды ищу... Интересуюсь тем и сем... Э-хе-хе,— он закрутил головой и бросил окурок в море.— Где она, правда? Вот вы скажите мне... Где она, русская правда-матка? Неужели же — у красных, а? Ведь обидно как-то, а? С другой стороны,— видите, мы уже на острове, сидим, кошек кушаем. Может быть, это так нужно, а? Как у вас в литературных-то кругах об этом думают? — вот что важно. Кстати, это из ваших же литературных нравов,— рассказывали мне жестокую историю. Боже мой... Кто-кто, а молодежь больше всех страдает от российской-то заварушки... Вы, наверно, слыхали про Верочку Лукашевич — актриска из вашего литературного кабаре? Странно, как это вы не слыхали. Хорошенькая была девочка... Бывало, сидишь вечером в номере, на улице стрельба, возня какая-то,— словом, российская действительность. И вдруг станет перед глазами лакомая мордочка, блондиночка. Схватил фуражку, и — в кабаре. Я, как видите, красотой не отличаюсь, даже скорее наоборот, человек в высшей степени скромный, но, признаюсь, был один вечерок, воспользовался

благосклонностью Верочки. Ах, девулька, девулька... Появился у нее друг сердца, из вашей братии. Это — в то время, когда Киев опять заняли большевики. Закрутила Верочка с этим поэтом любовь, сами понимаете. И он, мерзавец, переехал к ней в комнату, стал учить ее нюхать кокаин. Сам с утра до ночи ничего не делает, морда — гладкая, лаковые башмаки завел. Верочка на него работает, халтурит — по театрам, в концертах, в кабаре, и все это, конечно, под кокаином. Исхудала, глаза провалились, и в своем сукином сыне души не чает. Один раз его за эти лаковые башмаки едва не вывели в расход. Выручила. Ах, была девочка! Нежненькая. Ей бы в холе жить, за кисейными занавесочками. А знаете — чем кончила? Прелюбопытно. Утром как-то забежала к ней подруга (она-то мне все и рассказала). Входит в комнату, видит — Верочка лежит в креслице перед зеркалом: лицо вот так наискось разрезано, горло надрезано, и под грудкой рана в сердце, на полу валяется германский штык — орудие самоубийства. Врач осмотрел: картина, говорит, ясна,— самоубийца в таком количестве нанюхалась кокаину, что вся омертвела, и резала себя, видимо, сначала из любопытства, а потом уж слишком погано стало,— и добралась до сердца: штык уперла в подзеркальный столик,— на столике след остался,— и вонзила. Вот вам настроение современной молодежи: кокаинисты и кокаинеточки... А друг ее сердца, поэт этот, сквозь землю ушел после этой истории. Вы его не знавали, Санди, а?

На этот вопрос Санди тоже не ответил, не пошевелился, не дал даже знака, что уже было ошибкой: подполковник даже весь вытянулся, замер, глядя ему на затылок — подбритый, загорелый и грязный. По морю бесшумно катился стеклянный вал, дошел до мостков, взлизнул на сваи и с шорохом разбился о зернистый песок. Подполковник лег на мостки навзничь, заслонил глаза рукою.

— Хорошо бы сейчас холодной ботвиньи с осетриной,— сказал он,— под водочку с зеленым лучком, с ядреным квасом. Люблю в еде поэзию... Вы, молодежь, ни черта в этом не понимаете... Вам бы все революцию, столпотворение вавилонское, ломай, жги, дым в небо... А у самих — глаза сумасшедшие, зрачок во весь глаз, без кокаина дышать не можете. В двадцать шесть

лет — вот вы и старичок... Санди, хотите сорок пиастров на кокаин, а?

Санди быстро пожал плечами, но подполковник лежал прикрывшись и не заметил его движения.

— Вкуса к жизни у вас нет, вот что. Не в крови дело, мы все понюхали эту кровушку-то... Не она у нас вкус отшибла,— а то, что вы все головастики, у вас голова распухла, и фантазия как в горячке; от этого у вас ни вкуса, ни чутья нет,— нос холодный... Нелегкая вещь революцию устраивать. Так-то... Поколение надо специальное подготовить, а нам — трудно. Случайно с собой захватил номерок «Южного красноармейца», с вашими стишками, Санди... Слабые стишки...

Подполковник положил локоть на глаза, так пекло солнце, и замолчал надолго. Санди осторожно повернул к нему голову,— подполковник спал. Лицо Санди исказилось болью, страхом, злобой,— от резкого света выступили морщины у припухших век, у рта. Санди бесшумно поднялся, прошел на цыпочках по мосткам, опять обернулся на подполковника — и вдруг побежал, нагнув голову, держась за фуражку.

Он обежал скалу у моря. Запыхавшись, пошел шагом по краю заливчика и, дойдя до второго скалистого мыса, еще раз оглянулся — мостки были пусты: подполковник исчез.

Тогда Санди изо всей силы побежал по берегу, вскарабкался на скалу и, цепляясь за кусты, обдирая колени, потеряв фуражку, стал взбираться по крутому склону.

Наверху стоял сосновый голубоватый лесок, сильно пахнувший смолою. Низкорослые древние сосенки мягко посвистывали хвоей,— будто шумя, с печальным шорохом, пролетали над ними века. Санди упал лицом в горячий мох и обхватил голову. Сердце дрябло, порывисто рванулось в пустой груди. Красные пятна застилали глаза. Над головой сосны не спеша повествовали друг другу о приключениях Одиссея, отдыхавшего некогда на этом мху, над лазурным, как вечность, морем.

Тем временем подполковник вернулся в кофейню и сел опять у окна. На улице появились люди: гречанки в черных платьях и черных шалях, жирнозадые левантийцы в фесках, офицеры из Крыма, барыни с измученными лицами. Подполковник пил масти-

ку — греческое вино. В кофейню вошел широкоплечий, костлявый офицер и сел за его стол. Глаза у него были серые — мутные, нечистые. Прямой рот подергивался. Положив локти на стол, он спросил хрипловато:

— Что нового?

— Ты где напился, Москалев?

— Дузик пили, сволочь страшная,— изжога. Денег нет, вот что. Шпалер хочу продать.

— Погоди, пригодится револьверчик, пригодится.

Подполковник проговорил это так странновато, что Москалев, запнувшись, быстро взглянул ему в глаза. Зрачки его отбежали.

— Ты о чем? — спросил он и, нагнув голову, стиснув пальцы, стал сдерживать мучительную гримасу лица.

— Все о том же.

— Говорил?

— Выяснил. Он самый.

— Осведомитель?

— Я тебе говорю, что он — тот самый, киевский.

— Ну, тогда — ладно. Закопаем.

Лицо подполковника начало сереть, стало серым. Короткие пальцы, совавшие в мундштук папиросу, затрепетали,— папироса сломалась.

— Прошу тебя без глупостей,— он с усилием усмехнулся,— я сам доложу командиру.

— Дерьмо, кашевар,— сказал Москалев и с наслаждением сверхъестественными словами стал ругать подполковника, сыпал пепел в рюмку с мастикой.

Санди пролежал в лесу до вечера. На тихое море легли глянцевитые, оранжевые отблески. Вылиняли и пропали. Еще не погас закат, а уже появились звезды. В лощинке блеяла коза, жалобно звала кого-то.

Санди был голоден. Давешний страх прошел немного. Он поднялся с земли, отряхнулся и стал спускаться к дороге, ведущей к городку. Дорога, огибавшая кругом остров, висела в этом месте над высоким и крутым обрывом. Спустившись, он пошел, опустив голову, засунув руки в карманы. Над обрывом остановился и поднял глаза. Теплое, лиловое небо усыпали крупные звезды — путеводители Одиссея. Глубоко внизу — звезды мерцали в Мраморном море. Санди глядел на вселенную. Потом он прошептал:

— Как это нелепо, как глупо,— и снова зашагал по дороге.

Когда он вошел в черную тень деревьев, стало неприятно спине. Он поморщился и пошел быстрее. Спине было все так же неприятно,— но с какой стати оборачиваться. На завороте дороги он все же обернулся. Следом за ним шел высокий, широкоплечий человек, так же, как и Санди, заложив руки в карманы.

Санди посторонился, чтобы пропустить его... Человек подошел. Это был поручик Москалев. Можно было разглядеть, как лицо его подергивалось, не то от смеха, не то от боли. Это было очень страшно.

Неожиданно, хрипловатым голосом он сказал:

— Покажи документы.

Санди поднес руки к груди. Тогда Москалев бросился на него, схватил его ледяными пальцами за горло, повалил на дорогу. Сильно дыша, работая плечами, он задушил его. За эту минуту не было произнесено ни звука, только яростно скрипел песок.

Затем Москалев поднял труп Санди, пошатываясь под его тяжестью, понес к обрыву и сбросил. Труп покатился колесом, ударился о выступ скалы, и внизу зарябили отражения звезд.

Через несколько дней волны прибили труп к острову. В кармане Санди было найдено: несколько пиастров, коробочка с кокаином и записная книжечка,— видимо, дневник, попорченный водою. Все же можно было разобрать несколько слов:

«...Как бы я хотел не жить... страшно... исчезнуть без боли... Боюсь... непонятно... меня здесь принимают за большевистского шпиона... Бежать...»

РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ ПОД КРОВАТЬЮ

Вранье и сплетни. Я счастлив... Вот настал тихий час: сижу дома, под чудеснейшей лампой,— ты знаешь эти шелковые, как юбочка балерины, уютные абажуры? Угля — много, целый ящик. За спиной горит камин. Есть и табак,— превосходнейшие египетские папиросы. Плевать, что ветер рвет железные жалюзи на двери. На мне — легче пуха, теплее шубы — халат из пиринейской шерсти. Соскучусь, подойду к стеклянной двери,— Париж, Париж!

Стар, ужасно стар Париж. Особенно люблю его в сырые деньки. Бесчисленны очертания полукруглых графитовых крыш, оттуда в туманное небо смотрят мансардные окна. А выше — трубы, трубы, трубы, дымки. Туман прозрачен, весь город раскинут чашей, будто выстроен из голубых теней. Во мгле висит солнце. Воздух влажен и нежен: сладкий, пахнущий ванилью, деревянными мостовыми, дымком жаровен и каминных труб, бензином и духами — особенный воздух древней цивилизации. Этого, братец мой, никогда не забыть,— хоть раз вдохнешь — во сне припомнится.

Пишу тебе и наслаждаюсь. Беру папиросу, закуриваю, откидываюсь в кресле. Как славно ветер рвет жалюзи, пощелкивают в камине угли. До сладострастия приятно,— вот так, в тишине,— вызвать из памяти залежи прошлого.

Не вообрази себе, что я собрался каяться. Ненавижу, о, ненавижу рассейское, исступленное сладострастие: бить себя в расхлыстанную грудь, выворачивать срам, вопить кликушечьим голосом... «Гляди, православные, вот весь Я — сырой, срамной. Плюй мне в харю, бей по глазам, по сраму!..» О, харя губастая, хитрые, исступленные глазки... Всего ей мало,— чавкает в грязи, в кровище, не сыта, и — вот последняя сладость: повалиться в пыль, расхлыстаться на перекрестке, завопить: «Каюсь!..» Тьфу!

Нет, я давно уже содрал с себя позорную кожу. Паспорт — русский, к сожалению. Но я — просто обитатель земли, житель без отечества и временно, надеюсь, в стесненных обстоятельствах. Хотя у меня даже есть преимущество: свобода, голубчик. Никому я ничем не обязан. Вот солнце, вот я,— закурил папиросу и — дым под солнце. Идеальное состояние. Я — человек, руководствующийся исключительно сводом гражданских и уголовных законов: вот — мое отечество, моя мораль, мои традиции. Я дьявольски лоялен. Попробуй мне растолковать, что я живу дурно, не нравственно. Виноват, а свод законов? Зачем же вы его тогда писали? Что вы еще от меня хотите? Добра? А что это такое? Это можно кушать? Или вы требуете от меня любви к людям? А в четырнадцатом году, в августе месяце — о чем вы думали? Ага! Шалуны, милашки! За время войны я уничтожил людей и

вещей ровно столько, сколько мне было положено для доказательства любви к людям и отечеству. Со стороны любви — я чист. Или вы хотите от меня чести? Старо, голубчики. Ни георгиевских крестов, ни почетных легионов не принимаю. За честь деньги надо платить, тогда честь — честь. А ленточки — это дешевка,— мы не дети.

Удивительно, живешь и все больше убеждаешься,— какая сволочь люди,— унылое дурачье. Я уж не говорю про — извините за выражение — Рассею. На какой-то узловой станции был обычай расстреливать жидов и большевиков в нужнике. Этот самый нужник — вся Рассея. Вымрет, разбежится, будет пустое место. Сто лет на ней, проклятой, никто не станет селиться. А помнишь Петербург? Морозное утро, дымы над городом. Весь город — из серебра. Завывают, как вьюга, флейты, скрипит снег,— идут семеновцы во дворец. Пар клубится, иней на киверах, морды гладкие, красные. Смирн-а-а! Красота, силища. О, мужичье проклятое! Предатели! Шомполами, шомполами!.. Ну, да к черту...

Французишки тоже хороши: салатники,— покажешь ему франк, скалит гнилые зубы. А попроси помочь, попробуй,— оглянет тебя, как будто сроду такого сукина сына не видел, и в лице у него изображается оскорбленная национальная гордость. А кто вас на Марне спас, бульонные ноги, лизоблюдники? Да, да, к черту...

....

А в участках у них городовые — ажаны — первым делом бьют тебя в ребра и в голову сапогами, это у них называется «пропускать через табак». Не умру, дождусь, заложу я когда-нибудь динамитную шашку под Триумфальную арку. Все их долги у меня в книжечке записаны...

....

Вот, полюбуйся: прошло больше часу, как я пишу это письмо, а она за стойкой хоть бы пошевелилась. Бабища, налита вся красным винищем, выпивает четыре литра в день, плечи — могучие, корсетом до того перетянута, что внизу — пышность непомерная, а за грудь — отдай царство: мадам Давид. От этого

корсета она так и зла. Идолище. Черноволосая, профиль как у Медеи. Каждые два су гвоздем приколачивает к вечности. Вот — перемыла стаканы, взяла свинцовую лейку, налила пинар[1] во все бутылки и — опять — каменные руки сложила и глядит из-за прилавка на улицу. Это ее бистро называется «Золотая улитка». У самой двери, из-под железной крышки бьет вода, течет ручеек вдоль грязненького тротуарчика. Уличка узенькая, вонючая, вся — в салатных, капустных листьях. Но — местечко старое. Пахнет жареной картошкой, шляются оборванцы. Здесь не морщатся на твои дырявые башмаки. Эту уличку — сними-ка шляпу — мостил еще король-Солнце. По квадратным плиточкам мимо этого кабачишки возили в тележках возлюбленных тобою французов,— Дантона возили и Робеспьера возили — головушки им рубить. И такая же идолица, Медея, глядела из-за этого прилавка, не сморгнув глазом...

....

На чем бишь остановился? Да,— мадам Давид изволила, наконец, перевести провансальские очи в мою сторону: «Ни, ни, cher ami, ни капли больше вина, заплатите сначала должок». О прелестница, идол моей души, откуда же я возьму тебе франки? Любви — залежи у меня в растерзанном славянском сердце, а франков нет... Делаю сладенькие улыбочки,— дрогнешь, Медея, выставишь еще бутыльмент...

....

...Это все, разумеется, поэтическое отступление. Сижу я, дружище, в своем роскошном кабинете. Курю. Кофе и ликер мне принесли снизу, из ресторана. Чудно пахнет духами,— давеча у меня целые сутки провела одна прелестная женщина,— как ее, черта, забыл имя,— из театра Водевиль. Это, братец, не ваша собачья Ресефесерия. Здесь культура утонченного наслаждения, в центре — женщина, как драгоценность в кружевном футляре. Здесь паршивая девчонка из универсального магазина и та ногти себе на ногах полирует. Так-то. Прочихайся со своей революцией у себя на Собачьей площадке...

[1] Пинар — дешевое вино.

Зачем я все-таки тебе пишу? Глупо. Какая-то нелепая отрыжка старого,— будто мне нужно чье-то оправдание... Плевать! Вот чокаюсь с бутылкой. Человек должен в начале начал сам себе наплевать в душу: вынесет, тогда — владыка, шагай по согнутым спинам!.. Нужно мне, пойми ты, славянский кисель, чудовищно нужно мне привести себя самого в систему, в порядок. Нужно свести счеты с одним человеком, с другом моим...

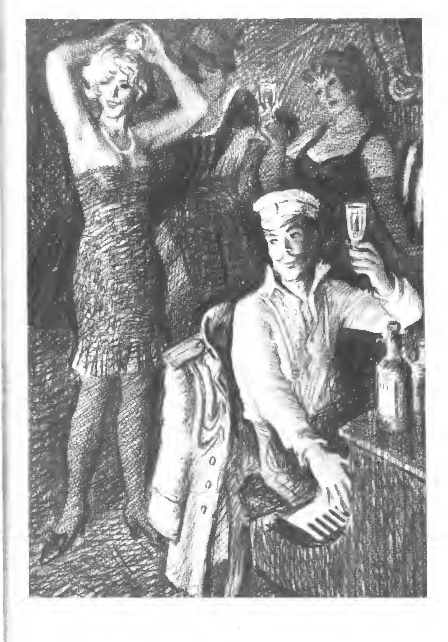
(Здесь, в рукописи, следовало чернильное пятно и от него широкая полоса с загогулиной, — видимо, писавший эти строки размазывал чернила пальцем. Затем было написано: «Ложь, погано, гнусно». Слова эти замараны чертой. Далее нарисована женская головка и голые ножки — отдельно. После этого продолжалась рукопись.)

....

...Абажур, египетские папироски, тишина, кофеек, покой. Смешно, да? Врете вы все до одного... Все вы лакомки, всем вам только бы дорваться до халата... А врете вы от пошлости, с жиру и страху... Лопнул ваш гуманизм вонью на весь мир и сдох. Высшее, что есть в жизни,— покойно заснуть, покойно проснуться и покойно плюнуть с пятого этажа на мир. Полюбуйся: вот висит мое пальто; в левом кармане — чистые носки и воротничок,— берегу их на особенный случай, в правом — карточка покойного отца в камер-юнкерском мундире, расческа и бритва... Весь мой багаж. Легко необычайно, ни прачек, ни забот. Остается последний шаг: прочно упереться носом в бистро мадам Давид, поглядывать на нее слезящимися глазами, слушать, как звенит в голове,— пить и сморкаться. Нет! К свиньям собачьим! Мне — тридцать четыре года. Я умен, талантлив... В готском альманахе записан мой род. Имею свирепое право на жизнь. Будет у меня и абажур, и тишина, и камин. Вот тогда я посмеюсь. Будет и будет!.. Ну, ладно...

....

...Друг мой, Михаил Михайлович,— я знаю,— часа уже три бегает по Парижу, пряменький, страшненький, с добренькой улыбочкой (о, пропитая душа, актер, эгоист), забегает во все щели, высматривает



меня невидящими глазами... Ку-ку, Миша,— этого бистро вы не знаете. А вдруг — зыбкой походочкой прибежит по капустным листьям и, не глядя на меня, прямо ко мне — зыбкой походочкой, и сядет рядом на соломенный стул, беззвучно примется смеяться, трястись?.. Кошмар сумасшедший!..

Вот тебе портрет этого человека, самого близкого мне, самого ненавистного. Притворный, скользкий, опустошенный, как привидение. Ну, ладно...

Сошлись мы с ним в ноябре шестнадцатого года в Париже. Воевал я недолго, ты знаешь. Дорогое отечество требовало во что бы то ни стало моей жизни. Но тетушка Епанчина села на своих больших рысаков и устроила меня при артиллерийском ведомстве. Когда, летом, нас, военных чиновников, потянули на фронт, тетушка Епанчина опять села на своих больших рысаков, и я очутился в Париже, при военной миссии.

Русская дивизия, брошенная из хвастовства в бессмысленные и кошмарные бои, потеряла в Шампани свыше половины состава и была отведена в тыл. Тогда-то и настало время чудо-богатырских кутежей у Паяра, в Кафе де Пари, у Максима. Русское командование показало широту натуры. За нами шатался постоянный табунок девчонок. В это как раз время я и сошелся с Михаилом Михайловичем Поморцевым.

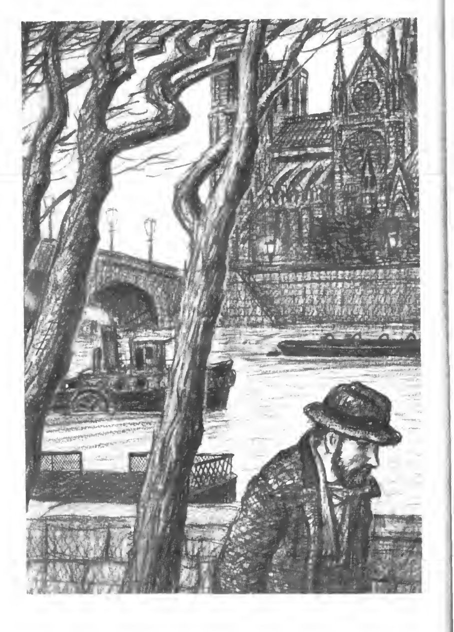
Он каким-то особенным образом,— даже нехорошо,— любил музыку, приходил от нее в тихое неистовство. Бывало — заберемся в кабак. Под утро, в дыму (девчонки полураздеты), сажусь я к роялю (у нас был излюбленный инструмент у Паяра) и играю «трясогузку», полечку из веселого дома,— научил ей меня в Симбирске протопоп. Смотрю — у Михаила Михайловича лицо собирается в страдальческие морщины. Девчонки довольны, задирают ноги на стол. Тогда я начинаю играть Град Китеж. Михаил Михайлович садится у рояля на ковер, расстегивает мундир,— в руках бутылка с коньяком и рюмка,— слушает и раскачивается, припухшее лицо его — бритое и красное — все смеется, залитое слезами.

Помнишь это место в Китеже: над темным полем летит умученный князь, мертвый жених. Его шаги налетают, как топот коней,— надрывающий, мертвый топот. В сердце Февронии запевают похоронные лики лесных скитов, голосит исступленная вера... Преобра-

зись, неправедная земля!.. И вот ударили колокола Града Китежа, раздались дивным звоном, гремящим солнечным светом... Михаил Михайлович раскачивается, пьяный, замученный... Черт его знает, что было в душе у него — не знаю, хотя и прикован к нему, как каторжник к каторжнику... Вчитайся, пойми,— все это важно.

Его род — не древний, от опричнины. Предок его, насурмленный, нарумяненный, валялся в походных шатрах, на персидских подушках: был воеводой в сторожевом полку. От великой нежности ходил щепетной походкой, гремел серьгами, кольцами. Любил слушать богословские споры,— зазывал в шатер попов, монахов, изуверов. Слушая, разгорался яростью, таскал за волосья святых отцов, скликал дудочников и скоморохов,— и начинался пир, крики, пляски. Тащили в круг пленного татарина, сдирали с него кожу. Прогуляв ночь, кидался он из шатра на аргамака,— как был — в шелковой рубашке, в сафьяновых сапожках,— и летел впереди полка в дикую степь, завизжав, кидался в сечу. Погиб он на безрассудном деле,— плененный татарами, замучен в Карасубазаре.

Такой, да не совсем такой, его потомок, мой друг Михаил Михайлович. Неистовый, но немощный и даже тихий. Вырос в Царскосельском дворце девственником, а выйдя из корпуса в полк, кинулся в такой разврат, что всех удивил, многие стали им брезговать. Затем, так же неожиданно, вызвался в Москву на усмирение мятежа — громил Пресню, устроил побоище на Москве-реке и с тихой яростью, с женственной улыбочкой пытал и расстреливал бунтовщиков. Я уж чувствую, понимаю: когда играешь ему Китеж — он как в бане моется, дрянь из него выходит,— хлещет себя веником, поддает квасу на каменку. Затем он ушел в запас, стал слушать лекции в духовной академии, будто бы хотел принять сан. И, конечно, сорвался на бабе, замучил ее и себя. Бабенка эта убежала от него, в одной юбчонке, с хлеботорговцем в Нижний-Новгород. От тоски и неряшества Михаил Михайлович стрелялся. Началась война. Говорят — он дрался лихо, получил золотое оружие и кресты, но после катастрофы пятнадцатого года стал подаваться в тыл. Как весьма отличившегося офицера послали его в Париж в военную



агентуру. О России, среди своих, он говорил со злобой и брезгливостью. Но с французами держал себя высокомерно. В нем была изорвана, как гнилая нить, линия жизни. Вот все, что я о нем знаю.

Надобности у меня в его дружбе ровно никакой не было. Я получал две с половиной тысячи франков жалованья, жил в гарсоньерке, у Булонского леса. Из магазина Самаритэн ходила ко мне «курочка», напудренная от носика до пальчиков на ногах,— премило болтала пустяки и к женским обязанностям относилась деловито и энергично, как парижанка. Я занимался музыкой. Много бывал один. Париж, друг ты мой,— город одиночества. Идешь в сумерках — дома, как синие тени, затихает шум, к десяти часам весь город спит. Воздух теплый, влажный,— сладость и печаль. За деревьями, сбоку, идет какой-нибудь старичок, прихрамывает от подагры, в кармане газета и трубка,— одинокий старичок. И чувствуешь, как через этот город, по старым камням, под этим облачным небом, течет непереставаемый поток существ. А город стоит торжественный, печальный, равнодушный и прекрасный, все помнит — и голоса счастья и стоны смерти,— все сберегает — суету сует, и мудрость, и преступление, и несбывшиеся мечтания,— все запечатлевает в линиях, в очертаниях, в запахах, в растворенной повсюду спокойной печали.

....

Все пошло к черту! Я пьян, грязен, гнусен! Что мне осталось от одиночества? — Только самоуслада гнусностью и грязью... Это он растлил меня, будь он проклят!.. Сыграл ему по пьяному делу Град Китеж,— с этого и началась омерзительная душевная каша: пьянство, девчонки, скандалы, швырянье денег и поливание всего этого кошмарным соусом с кровушкой,— переживание под музыку. За четыре месяца я задолжал ему около тридцати тысяч франков, и сам уже без ежедневных кошмарчиков жить больше не мог: пресно. Временами Париж глухо гудел от канонады: там, в семидесяти километрах, на востоке, ударялись щитами,— медь о медь,— древняя, романская и молодая, но уже порочная, германская цивилизация. Убитые были в каждом доме, в каждой семье. А мы с Михаилом Михайловичем переживали с величайшей

самоутвержденностью хлыстовскую, сатанински-порочную славянщину.

В войну были три разряда людей. Первые — самые неостроумные — воевали (начиная от старичка, утром, на бульваре с газетой, глотающего бешеную слюну, кончая «моим дорогим, маленьким Жаком», от которого торчали одни гнилые ноги среди ржавой проволоки, из жидкой глины). Вторые — остроумные — занимались спекуляцией, для каковой цели в Америке были построены даже особые машины, в одну минуту показывающие в цифрах, какие деньги и вещи в какой стране нужно немедленно покупать и в какой стране немедленно продавать деньги и вещи. Третий разряд — это люди, настроенные апокалиптически, то есть: «Ну, что, дождались, соколики? А не хотите ли теперь полечку-трясогузочку? То-то: все валится к чертовой матери, в черную дыру и провалится,— от Европы останется одна Эйфелева башня торчать, загаженная вороньем. А нам, мудрым и косоглазым, наплевать на вашу Европу, мы даже премило настроены, желаем жить, как божьи звери... Гаф!»

Вот что тянуло меня к Михаилу Михайловичу: он с упрямой сосредоточенностью, с блаженной, кривенькой улыбочкой изживал самого себя, горел в собственном чаду. Огонек был странненький — шипел и чадил, но Михаил Михайлович иного наслаждения не знал. Он весь был озабочен подходом к этим минуткам самовозгорания. Кроме того, началась моя ужасная денежная от него зависимость.

Мы виделись каждый день. Я приходил к нему утром, перед службой, отдергивал занавеску на стеклянной двери, на балкончике, висящем над парком Трокадеро, садился на кровать. Михаил Михайлович, хихикнув, приподымался на подушке и говорил: «Дорогой, позвони». Снизу, из бистро, нам приносили сифон содовой и коньяку для Михаила Михайловича, а для меня — содовой и пикону. Мы курили и пили,— с утра становилось наплевать на все. Разговаривали очень странно: скажем два, три слова из нами же сочиненной какой-нибудь историйки и хохочем, дымим, глотаем содовую с коньяком и пиконом. Михаил Михайлович, смеясь, дергался под одеялом. В эти веселые минутки обычно мне удавалось призанять у него деньжонок. Завтракать мы сходились у Фукьеца,

на Елисейских полях. Михаил Михайлович ел ужасно мало,— больше выпивал, разговаривал сбивчиво, по каким-то ломаным углам, ни на секунду не в состоянии затихнуть хотя бы над великолепным филеем,— насладиться мясом и вином. Да, черт,— хороши были завтраки у Фукьеца!

Так тогда казалось: время стало, будущего никакого нет,— дыра. Доживай остатки. Блаженство наше кончилось внезапно в одно весеннее, теплое утро, когда вдруг лопнули почки на деревьях и зазеленели авеню и бульвары. По пути к Михаилу Михайловичу я нарочно свернул на Елисейские поля. Только что прошел теплый, легкий дождичек, и стояло марево. Сквозь голубоватую дымку проступали полукруглые крыши, прозрачные клубы аллей. Вниз уходила вся залитая потоками солнца, точно стеклянная, широкая дорога бессмертия. Почему я подумал «бессмертия»? Я остановился и глядел,— блаженно билось сердце. Падающая и вдали, к садам Тюильри, снова поднимающаяся, среди весенней зелени, среди облачных домов,— в маркизах, в балкончиках, в крылатых конях,— непомерно широкая дорога Елисейских полей уходила в марево, в какую-то на мгновение осуществленную красоту. Мимо меня по торцовой мостовой проехали гуськом механические кресла с безногими солдатиками. Идиоты! Бездарные, жалкие, дураки! Я купил газету и побежал к Михаилу Михайловичу.

Мы выпили коньячку, закурили. Он развернул газету и вдруг начал дергаться под одеялом. «Так, так,— и зарылся носом в подушку.— Так, так,— подскочил и перевернулся на спину.— Лопнула! Хи, хи. Поехала!»

Это была первая телеграмма о революции в Петрограде. Меня точно кирпичом ударило. А Михаил Михайлович хихикал и дрыгался, как гальванизированный лягушонок: «Вот тебе Византия! Хи, хи. Полезли воевать чудо-богатыри! Бац по сонной роже! Спряталась! Хи, хи. Еще хуже — духоты напустила. Бум! — колокол Града Китежа. Полезли покойнички. Встали покойнички от Куликова поля до Мазурских озер, до самых Карпат. Ухватили рожу. Вот ты когда нам попалась? Хи, хи».

Черт его знает, что с ним тогда происходило: он скрипел зубами, корчился, омерзительно хихикал.

Когда пришла весть об отречении царя, Михаил Михайлович сказал: «Сегодня кончилась история России. Шабаш». Он заставил меня играть Вагнера «Гибель богов» и с блаженной улыбкой, зажмурясь, сидел на полу, помахивая рюмочкой. Мы ужасно напились в тот день.

Париж был в тревоге и недоумении. Французы ходили со строгими «романскими» глазами, топорщили усы. Было от чего топорщиться: русская задница подпирала их прочно и вдруг — поехала, расползлась. У меня, например, в эти дни было чувство ужаса. Подумай, я твердо стоял обеими ногами на земле: за спиной — 185 миллионов *мужепесов*, империя, закон и прочее, вплоть до тетушки Епанчиной с большими рысаками. Все это я мог поносить и предавать под пьяную руку, но я был твердо влит в скалу. И вдруг за спиной — холодок и пустота. Земля уходит! Ужас! Мираж! Бред! Дым! Ох, это было страшно!

Из любопытства я бегал на вокзал встречать «представителя Временного правительства». Официально встречал его начальник военной миссии, граф Пахомин, огромный мужчина, не дававший спуска,— красавец и чудо-богатырь. Он стоял на перроне, перекинув через руку букет красных роз, и,— какой уж там спуск,— даже ко мне вдруг ринулся: «Ну, как, Александр Васильевич, счастливы, а? Дождались мы Красного солнышка!»

Личность, символически изображавшая Красное солнышко, вылезла в драповом пальто из вагона и оказалась помощником присяжного поверенного Кулышкиным, кругленьким и самоуверенным, в велосипедном картузе и в очках, вросших в жирные скулы. Граф Пахомин даже подался несколько назад, но оказалось, что подался для разбегу, и, загремев шпорами, вручил букет. С широкой русской улыбкой (как же русскому человеку не улыбаться в такие дни) изъяснил он обуревавшие в его лице чувства высших и низших воинских чинов и священную их радость. Комиссар строго глядел на него, задрав голову, так как был низкого роста, затем произнес речь: «Я счастлив на этих камнях Парижа, где впервые были провозглашены права человека, поздравить вас, гражданин граф Пахомин, с величайшим историческим событием: Россия свободна... Вы свободный

гражданин свободной страны... В общем порыве нам остается дружно протянуть друг другу руки...»

Граф Пахомин зажмурился и, подняв саженные плечи, замотал щеками, изображая этим нахлынувшее на него чувство свободы. Затем он посадил комиссара в автомобиль и повез завтракать.

Ежедневно Эйфелева башня получала уверения в том, что русская революция верна и преданна и исполнена священного порыва воевать до победного конца. Париж, наконец, успокоился. Начались банкеты. Комиссар Кулышкин тряхнул стаpинкой, помянул Дантона и Мирабо, доказал, «что у нас точка в точку, как было у вас». Насчет Дантона французы отмолчались, зато ужасно красиво говорили о священной верности и о том, что, конечно, теперь свободный русский мужичок широким жестом пошлет своих сынов умирать за свободу торговли на суше и на воде. Кулышкин сказал, что «пошлем непременно». Он носился с банкетов на фронт и в тыл к русским частям и всюду произносил речи.

Но жить все же было можно: жалованье платили, война продолжалась. Русских солдатиков, сдуру пожелавших кончать войну, французы иных расстреляли, других посадили за колючую проволоку. Я носил в петлице красную гвоздику и на службе ставил ее перед собой в стакан с водою.

Но вот рано утром, когда я еще спал, появился около моей постели Михаил Михайлович. Он был в пиджачке, в надвинутом на глаза котелке и в лимонных перчатках. «Ты будешь присягать Временному правительству?» — спросил он ледяным голосом. Меня пробрала дрожь. Он стоял, опираясь на тоненькую тросточку, глядел мне в глаза свинцовым взглядом убийцы. Что я мог сказать? Сказал, что если он не будет присягать, то и я не буду. Он сел на кровать и молчал, покуда я одевался. Мы пошли в кафе и оттуда отправили по начальству два наглейших прошения об отпуске по болезни. Михаил Михайлович показал мне чековую книжку и копии телеграмм, посланных в Россию с приказом продать имение и дома. «Можешь быть покоен, два, три года я тебя содержу». Я полез целоваться, у меня выступили слезы. С этого дня началось головокружительное падение в бистро мадам Давид.

Мы уехали в Ниццу. Чего вспоминать! Было волшебно. Лазурное, парное море, ленивый шорох прибоя, запах цветов, идущий с гор, запах вымытых в море женщин, женщины, лениво глядящие туда, где море неразличимо переходит в небесную лазурь. Женщин, как птиц, согнал сюда грохот войны. Их было много здесь,— царство женщин. Нарядные, миленькие, с печальной иронией глядели они, как по эспланаде ковыляли безногие и безрукие воины, катились в креслицах человеческие обрубки, тащились безлицые, безглазые... Все они, еще так недавно, были пылкими любовниками.

У Михаила Михайловича немедленно начался сложный роман с фантастической американкой, не то птицей, не то ребенком. Я же, из соображений практических, искал знакомства с девушками из народа. Там-то я и сошелся с моей дорогой Ренэ. Бедняжка!

Как и надо было ожидать, наше лазурное времяпровождение окончилось ужаснейшим скандалом. Американка дотла проигралась в Монте-Карло, куда мы неизменно с вечерней зарей лупили на автомобиле над багровым морем. Михаил Михайлович посылал в Петербург бешеные телеграммы. Мы задолжали в гостинице, в ресторанах, шоферам и прочее. Наконец пришел ответ: «Имение захвачено крестьянами, усадьба сожжена, петербургский дом ликвидировать невозможно». Мы оставили чемоданы и платья в гостинице и в тот же день удрали в Париж. Я запустил бороду и переменил квартиру.

Месяца четыре жили мы в кредит, приходилось вести весьма широкий образ жизни, действуя на воображение кредиторов сверхчеловеческими кутежами. Я посоветовал Михаилу Михайловичу взять на содержание какую-нибудь знаменитую женщину и свел его с прогремевшей на обоих полушариях мадемуазель Сальмон,— шикарной и уродливой, как черт. Она была зла, дралась, предавалась всем существующим порокам и накручивала такие счета, что это поддержало наш кредит еще на месяц.

Я перестал спать по ночам,— кровать была полна раскаленных угольев. Мы сидели на динамитном погребе с подсунутым фитилем. Но Михаил Михайлович ко всему относился как-то сонно: не поднимешь его — проваляется весь день, толкнешь — пойдет. Ког-

да мадемуазель Сальмон визжала, швыряла вещами и дралась, он находил это вполне естественным. Он просыпался лишь на секундочку и тогда начинал бешено хохотать, топал ногами и чихал. В эти секундочки творилось непоправимое.

Революция,— я это ясно видел,— кончалась. Временное правительство выбалтывалось, машина разваливалась, как гнилая баржа на мели, армия превратилась в стадо,— немцы, разумеется, с величайшей бережностью относились к этому пятнадцатимиллионному сброду. Дождалась заветного, взяла свое — Рассея — расползлась великим киселем. Эх, шарахнуть бы немцам тогда шрапнелью да шомполами,— была бы у нас великолепная неметчина! В Москве на Красной площади я бы перед немецким шуцманом на колени стал и сапожки бы его омыл светлым восторгом... А Рассею — загнать в тайгу, в тундры, кормить комаров: чешись, сукина дочь! Революции захотела! Нет, с ума сошел мир. Ведь все это понимали: не немцам с французами друг другу бока ломать, а союзно, всем европейским, римским миром навалиться на дикую стерву. Опоздали, с ума сошли, сами виноваты... Четверти века не пройдет,— увидишь,— хлынут косоглазые на римский мир, погуляет по Европе лапоть... Господи, только бы не дожить! Только бы хватило на мой век,— да, да, именно,— абажура, кофейку, тишины... Отними у меня эту надежду — в ту же секунду рассыплюсь вонючей землей, не сходя со стула. Вот, на, получай: из бистро мадам Давид показываю вам, всему миру — кукиш! Ну, ладно...

Дождались! Ахнул октябрьский переворот, и завертелись мы все, как отравленные крысы. Уголка не было в Париже, где бы в тебя не плюнули. По всему Парижу шел скрип зубов: «Как? Изменить союзу? Предать Францию? Ну, запомним!» А когда большевики объявили, что долгов платить не станут,— французы даже растерялись: такой сумасшедшей наглости не было с рождества Христова. Комиссар Кулышкин ушел сквозь землю со своей велосипедной шапочкой. По-русски говорить было нельзя,— били.

Помню,— стоял я на бульваре, читал газету: руки ходуном ходят, в глазах — муть, зелень, тьма... «Всем... всем... всем... Долой мировой капитализм!.. Смерть

мировому империализму!.. Товарищи, протягивайте руки через головы кровавых тиранов...» Что это такое? Мировой пузырь лопнул? Клочья какие-то летят по всему свету!.. Земля шатается... За что ухватиться? Мираж! Ощупываю самого себя... Вдруг из-за плеча высовывается голова,— старичок какой-то смотрит в мою газету, и начинает у него играть вставная челюсть. Подхватил он ее, пошуршал зубами и говорит (по-французски): «Все мое состояние — в русских военных займах; ваше мнение по этому поводу, молодой человек?..» И опять у него челюсть выскочила... Тут я — гениальнейшим, молниеносным прозрением — вдруг отрекся от самого себя: оказалось — зовут меня Шарль Арну, я инвалид, пою в кабачках военные песенки и вот вчера избил брабантским приемом,— то есть горлышком разбитой бутылки,— одного русского, Сашку Епанчина, и что этот негодяй, крапюль, очевидно, уже сдох, и что со всех русских нужно драть кожу... Клянусь тебе, это было мистическое перерождение. Уходил с бульвара уже не я, не Сашка Епанчин, а Шарль Арну.

Я скрылся. В два дня переменил несколько гостиниц и окончательно замел след в квартале Сен-Дени, в одной из старинных уличек, населенных проститутками, сочинителями уличных песенок, певцами, мелкими ремесленниками. Отличное местечко. Население в сущности жило на улице среди лотков, тележек с овощами, жаровен, где пеклись каштаны и картошка, в бистро и кабачках. Из окон торчали полосатые перины для проветривания любовной влаги. Изо всех окон перекликались девчонки, полураздетые молодые люди,— пели, пищали, хохотали, ссорились. Котлом кипела беспечная, пустяковая жизнь,— даже война с трудом могла омрачить ее.

Я кинулся разыскивать Ренэ — ту маленькую певичку, которая после Ниццы долгое время писала мне нежные записочки. Я нашел ее на чердаке, в крошечной комнате с покатым окошком в небо. Это было рано утром. Ренэ спала в старой деревянной кровати, под ситцевой периной. Сквозь покатое окошко падал свет на ее худенькое и кроткое лицо, у рта — две нерадостные морщинки, на подушечке — крошки хлеба, над кроватью — фотография какого-то смазливого солдата в могильном веночке из сухих цветов: Ренэ была

свободна. Но, боже,— какая нищета! Даже дверь из общего коридора в ее комнату не была заперта. Ренэ вздохнула, открыла глаза,— в них появились испуг и изумление. Я бросился на колени перед кроватью, схватил руку Ренэ и,— честное слово,— облил ее слезами.

Я не стал лгать Ренэ,— я лишь сочинил ей ту историю, какая могла быть понятна ее простенькому сердцу. Но суть оставалась одна и та же. Я рассказал, что революция убила мою незабвенную старушку мать: толпа большевиков, от самых глаз заросших бородами, кинулась, держа в зубах ножи, на дом моей матушки, вытащила ее на мостовую и с хохотом разорвала в клочья, сожгла дом и прибила доску с надписью: «Так расправляются с друзьями империалистической Франции».

Ренэ, прижимая руки к груди, шептала: «О, боже, боже!» Тогда, придвинувшись, я шепотом сообщил ей, что совершил уголовное преступление: вчера на набережной встретил тайного агента большевиков, одного из убийц моей матушки, задушил его и бросил в Сену. Полиция меня ищет, но я переменил имя и скрылся. Ренэ схватила мою голову и прижала к голой груди,— глаза ее потемнели, я слышал, как романтически затрепетало ее сердце. Она предложила мне жизнь, комнату и половину постели. Я вытащил из карманов все свое имущество, захваченное при бегстве из дома: триста франков, гребенку, бритву и карточку отца. Так началась наша семейная жизнь.

Мы просыпались от яркого света сквозь потолочное окошко и, лежа под ситцевой периной, строили планы обогащения. У Ренэ был фальшивый и миленький голосок, я должен был писать ей музыку и куплеты. Мы решили обслуживать тыловые города. Ренэ, наморщив лобик, напевала, я изображал оркестр. Затем вылезали из-под перины и одевались. Туалет Ренэ был скор и упрощен. Я также выбросил сначала воротничок, затем рубашку и стал надевать пиджак прямо на фуфайку. Мы спускались в бистро пить кофе, затем шли к дядюшке Писанли, усатому старичку в черной шапочке,— он держал прокат разбитых, как тарантасы, пианино и продавал листочки с нотами и куплетами. В лавчонке дядюшки Писанли

мы вдохновенно работали. Так как Ренэ пела всегда на половину тона ниже и не брала ни верхних, ни нижних нот, то особых затруднений с сочинением музыки не оказалось. Но где было найти слова? Дядюшка Писанли, прослушав стишки моего сочинения, сказал, что «после первого же куплета публика разобьет ваши кофейники и тебе и Ренэ». Он послал нас на Монмартр к знаменитому Мишелю Виду. Мы пошли на Монмартр, влезли на самый верх, где, как ласточкино гнездо под крутым обрывом, стоял со времени еще Империи крошечный кабачок «Веселый кролик». Там, в комнатке, увешанной потемневшими карикатурами и обломками пыльных скульптур, на бочонке у деревянного стола сидел огромный, тучный, бородатый человек в шляпе грибом и курил длинную глиняную трубку. На нем были широчайшие бархатные штаны, рукава рубашки закатаны по локоть, лицо багровое и прокуренное, как чубук. Это и был последний представитель племени монмартрской богемы Мишель Виду. Он мог неограниченное время курить трубку и молчать.

Ренэ трогательно объяснила ему нашу просьбу—дать для музыки и пения веселые куплетцы. Мишель Виду вынул изо рта трубку, захватил горстью бороду, понюхал ее и опять сунул трубку в огромный рот. Покурив и помолчав около часа, он достал из кармана штанов донельзя грязную бумажку со стишками и через плечо протянул ее Ренэ. В стишках говорилось о том, что «хорошо бы взорвать динамитом Париж, повесить на фонарях полицейских и депутатов Бурбонского дворца и после того мирно сидеть и курить трубку в кабачке «Веселого кролика». Ренэ была в восторге. Я затратил неделю, чтобы отговорить ее петь эти стишки.

Ренэ выступила в маленьком кафе с песенками Мистангет, но успех был средний. Тогда на семейном совете было решено создать «характерный номер». Под присмотром дядюшки Писанли мы разрабатывали его и репетировали. Выступили мы в Медоне, где стояла бригада негров.

В кафе, битком набитом добродушнейшими неграми, на крошечную эстраду вышла Ренэ, в красной юбочке и в железной каске. Взмахнув шпагой, она

запела «Мадлон»[1]. Разумеется, негры сейчас же подхватили песню, скалясь и топая пудовыми башмаками. Но вот позади Ренэ появился я, в привязанной рыжей, как веник, бороде, с ножиком в зубах. Я хрипел и ругался по-русски. По кафе пронесся ропот одобрения. Я старался напасть на Ренэ, вырвал у нее шпагу, скрипел зубами и скакал, как обезьяна. Музыка играла бешеную «польку-трясогузку». Негры завыли от удовольствия. Наконец Ренэ развернула трехцветное знамя, я перекувырнулся и упал. Ренэ наступила мне на спину и, размахивая знаменем, с большим подъемом спела последний куплет «Мадлон». Успех был огромный. Я взял шлем и пошел между столиками. Негры хохотали, дергали меня за бороду и бросали в шлем монеты. Мы заработали двести франков.

После этого мы уехали в провинцию, затем вернулись в Париж, подготовили второй номер и опять поехали по тыловым городкам. Зарабатывали мы не ровно, но и не плохо. Ренэ нежно любила меня. Обычно, покуда я еще спал, она бегала на рынок и возвращалась с корзиночкой, полной вкусных вещей. Суетилась и болтала, как птичка. В ней было очарование простого, беззлобного сердца: живем — покуда живем, а маленькое счастье всегда при нас. Странно, изо всей сложной жизни я вспоминаю,— как вспоминают какое-то единственное залитое солнцем утро,— эти десять месяцев кочевой жизни на чердаках, в дешевых гостиницах, в солдатских кофейных. Ей-богу,— человеку нужно немного!.. Да, да,— видишь — чернила расплылись: плачу... Что же из того,— плачу, вспоминаю наше окошко над кроватью, свист стрижей, торопливые шаги Ренэ, запах ванили от ее платья. Было крошечное счастье, коротенькое и грустное... Все кануло в синюю бездну времени... Снова на моем пути появился Михаил Михайлович, и все запуталось, смешалось, полетело к черту. Какое мне было дело, что где-то на востоке бушевала революция, сдвигались вековые пласты!.. Счастье, птичье счастье было у меня, когда высоко над Парижем, под самым небом, в старенькой постели, положив

[1] Военная песня, которую вся Франция пела так же, как 125 лет тому назад «Марсельезу».— *Прим. авт.*

мне голову на плечо, кротко спала Ренэ. В углу стоял глиняный рукомойник, на стене, исписанной углем, на гвоздике висели привязная борода, красная юбочка и трехцветный флаг, да в корзиночке — остатки еды с вечера.

Летом Париж снова начал дрожать от грохота пушек. С неба валились гигантские бомбы «Берты». Город пустел. Армия напрягала последние усилия, но уже отчаяние овладевало французами. Железным тараном немцы били и били в прекрасную Францию, хотя уже было ясно, что никакими победами не оправдать пустыни, покрытой деревянными крестами. Дела наши были плачевны. Мы бродили из кафе в кафе, распевая «Мадлон» перед столиками. В это голодное время еще глубже раскрылась нежность ко мне Ренэ.

И вдруг все изменилось. Во французские гавани вошли заокеанские многотысячетонные корабли. В тучах дыма загрохотали подъемные краны и пошли выгружать на берег поезда, паровозы, рельсы, пушки, хлеб и мясо, проволоку, горы снарядов, ящики и бочки и сотни тысяч широкоплечих, веселых американских молодцов.

Американцы сказали: «Воевать надо широко»,— и от гаваней к фронту бросили рельсы, двинули собственные поезда, размотали колючую проволоку, поставили пушки и танки и ударили по немцам миллионами бомб, миллиардами долларов,— пошли на прорыв узкой кишкой от самого Ламанша. А из-за океана шли новые, дымили на полнеба корабли, груженные войсками.

И хрустнула немецкая грудь. Внезапно,— так же, как и нашло,— развеялось помрачение войны. Мир, мир, мир,— зашептали сердца. И вслед уже потянуло тревожным ветром с востока,— бунт, бунт! И пошло трещать по всей Европе... Эх, да что вспоминать,— сам все знаешь. Жил зверь покорно и смирно, вертел жернов,— кинули ему сырого мяса, прижгли каленым железом, а потом за голову схватились. Умнее, видимо, ничего не могли придумать с вашей культурой.

Помню — я проходил по Новому мосту,— на нем еще Генрих IV, в бытность свою наваррским королем, дрался по ночам из-за девчонок. Солнце садилось в полымя за лесистыми холмами Сен-Клу. Багровый

закат пыльным сиянием пылал в узкой реке, отражались арки мостов, старые платаны, железные баржи с песком, сияли мрачным золотом крылатые кони Александра III, торчала унылым скелетом умершего века Эйфелева башня. Было жарко и душно. Я сел на каменную скамью в полукруглой нише моста. За спиной мрачный свет заката лежал на островерхих тюремных башнях Консьержери.

Я почувствовал вдруг такую усталость, что не только смерть, показалось — десять раз умирая, не отдохну. Все дороги, проклятые петли, мостовые, лестницы, которые я исколесил и облазил, все усилия, хитрости, подлости,— вся эта бессмыслица — только для того, чтобы вот притащиться на этот мост. Душно, темно... Стопудовая тяжесть так и вдавила меня в каменную скамью. Так неужто с этим грузом снова встать и тащиться, путаясь по мостовым, лестницам, переулкам? Я закрыл глаза и снова открыл их. Багровые сумерки были насыщены присутствием чего-то неуловимого. Остро, едко, пыльно пахли старые камни. Я стал различать не то шум моей крови, не то шорох и ропот шагов и голосов. В спокойном отчаянии я понял, что это проходят все мгновения, бывшие в этот час сумерек в этом месте: все, что мы считаем ушедшим и мертвым, не ушло и не умерло, но все, проходившие по мосту, проходят снова и вечно,— мелькают кони, всадники, кареты, пешеходы... Закрыв лицо, я видел сквозь толщу век и рук скользящие тени... Какая бесплодность усилий, какая невыносимая печаль! Режущий, долгий вопль прорезал красноватую тьму. Это кричат на острове Сите́ рыцари, сжигаемые заживо... Это гибнут под ножами отступники церкви... Это безумная Териен жжет пучками соломы распятую на дворе тюрьмы прекрасную цветочницу!.. Нет! Это визжал трамвай на набережной. Лицо мое было залито слезами. Боже, какое ничтожество!.. Я — лишь пылинка, жалкая тень в куцем пиджачке, осужденная на веки веков в какой-то свой час в сумерки проходить с папиросочкой по мосту...

— Вот, видишь, мы и встретились.

Я вскрикнул. Вскочил. Передо мной стоял Михаил Михайлович, пряменький, в котелке, и беззвучно смеялся, покачивался.

— Выпьем, Саша? Пойдем.

— Не хочу.

Он опять залился беззвучным смехом, схватил меня под руку и потащил. Я не пытался ни оттолкнуть его, ни убежать. Ноги стали мягкими, во всем теле загудела какая-то безвольная, расхлыстанная пустота. Мы свернули на левый берег и на узенькой, древней уличке Святых Отцов зашли в полутемную щель, где продавались уголь и вино.

Сели за стол друг против друга. Михаил Михайлович был похож на веселого покойничка,— бритое лицо шелушилось, глаза выпученные, остекленевшие, рука, наливая вино, дрожала, вся в раздутых жилах, пиджачок на нем был в пятнах, белье — грязное.

— Сбежал, сбежал! — повторял он и гладил мою руку, и, едва я начинал лгать о том — почему и как скрылся,— прерывал со смехом:— Саша, не ври. Все это мелочи. Я тоже хвостом след замел. Предъявили мне расписочек на триста тысяч. Ай, ай! А я на них святым зверем,— гаф!.. Взвыл, и в одном пиджачке вниз головой — мырь. Очутился за заставой, два месяца ночевал на природе. В аптекарском магазине коробочки клеил. Подружился с Гастоном Утиный Нос,— воровали кур и кроликов на Версальской дороге. Все это мелочи. Теперь у меня — покровитель, скоро буду дьявольски богат. Обеспечу тебя на три года. Не веришь? Сказать? Продаю англичанам нефтяные участки в Азербайджане... Старые связи... Конечно, я — подлец. Но все это мелочи... Погляди, ощупай меня... Другой?.. Правда? Во мне все поет. Помнишь — «преобразилась неправедная земля!» и бум,— колокола Града Китежа... Тогда были только слезы, у Паяра — голые девчонки, слезы,— не преобразится никогда, нет... А теперь, слышишь,— поднялись покойнички: земля больше не принимает, такая мука... Поднялись, ухватились за веревку, раскачали и — бум. «Преобразись, неправедная земля!..»

Я слушал,— и не понимаю, жутко,— с ума он сошел:

— Миша, о чем ты говоришь? Какой к черту Град Китеж? Это Интернационал-то?

— Молчи... В тебе никогда не было восторга. Ты микроскопическая дрянь. Тебе в бочке надо жить, в тухлой воде. Ах, не понимаешь... В России знаешь что? В России в масках скачут... А под масками лица — в

слезах, в слезах, и — восторг! Берите, все берите, рвите грудь! Мир всему миру! В крещенский мороз идут женихи в бой, одна красная лента через грудь,— голые. По снегам кровь хлещет сорокаведерными бочками. Чума, мор, голод! В Сибири вехи стоят из мороженых мужиков. Горят леса, города, стога в степи. Гуляют кони. Сабельки помахивают. А колокола под землей — бумм, бумм, бумм! Преобразись, неправедная земля! Австрия летит к черту. В Италии выбили русскую медаль, продают в портах. Берлин трещит. В Париже Гастон Утиный Нос ходит — руки в штанах — наточил ножик. В Лондоне джентльмены в цилиндрах, в моноклях, лорды и герцоги — грузят багаж на вокзалах... Слушай, Саша, слушай,— это воет человек, рвет с себя звериную маску.

Михаил Михайлович весь дрожал в лихорадке, вцепился ледяными пальцами мне в руку.

— Саша, я — пьян, убог, гнусен. Но ведь он на зеленых лугах, на шелковом ковре мед пил из золотой чаши... Знаешь — с усмешечкой, глаза мечтательные, сердце — яростное, надменное... А ты говоришь: «Молчи, живи в тухлой воде...» Я тоже пить хочу из золотого ковша... Завтра пойду нефтяное прошеньице строчить, разбогатею. Гастона Утиный Нос облагодетельствую, а тебе — шиш! Ты в бочку смотришь. Ах, Саша... Сел бы я на коня,— крикнуть бы, завизжать!.. Четыре столетия во мне этот крик. Да — не могу. В жизни не мог закричать,— только писк мышиный... Я в вине утоплюсь!.. Порода наша кончена. Теперь богатыри нужны, а я — пищу. Теперь — ногу в стремя, проснись, душа!.. А у меня, видишь, как руки трясутся... Саша, милый, живу я в таком восторге... Так упоительно себя ненавижу... Ведь хоть в этом богатырство мое...

...Одним словом, ничего из разговора с Михаилом Михайловичем хорошего не вышло. Теперь уже не я, как прежде, а он по утрам стал ко мне шататься. Ренэ устраивала нам ранние завтраки: салат, жареные ракушки, сыр, вино. Мы сидели в облаках дыма и бредили.

Морщась от глотка коньяку, ковыряя булавкой ракушку, Михаил Михайлович перестраивал всемирную историю. Выходило у него так:

Запад, наследник Рима, продолжал унылое дело великой империи, покрывал землю крепостями и

замками, весь уходил в вещи, в камни, в букву. Он ненавидел человека, свободу, солнце и землю, счастье и созерцание. Его разум и воля были направлены к познанию разложения материи и к созданию из разложения мертвой вещи. Он упрямо строил каменную гробницу всему человечеству.

И вот на востоке, в полынных степях, на плоскогорьях Памира, родился великий гнев и блаженная мечта: идти на запад, к берегам лазурного океана, и там, среди развалин храмов, пасти стада под звездами. И вот — заскрипели телеги, заревели стада, двинулись на запад пастухи, табунщики, степные богатыри. Столетие за столетием набегали и крепли кочевые волны. Родился Чингисхан. Недобро вглядывался он в далекий край, откуда тянуло тлением. Затрещали твердыни запада под ударами хана. Могучие восточные царства охватили объятиями Европу, проникли к ее сердцу, насытили ее благовониями розы. Но не настали еще сроки, и не сокрушился Запад. На рубеже его возникла Московская военно-мужицкая держава, куда перенесли бунчук, походное знамя хана,— конский хвост. Москва была коварна и лукава. На долгие столетия готовилась она к борьбе,— частоколами, засеками, сторожевыми городами, подкупом, лестью, вероломством продвигалась на Запад. Разбиваемая и униженная — возникала вновь, как трава после пожара,— крепла и ширилась. И попытала, наконец, удачи,— прорвалась степная конница, потоптала подковами древние виноградники, свистнула таинственным посвистом романским девушкам, но, дойдя до океана, ушла степным обычаем назад, на равнины, махнула оттуда колпаком,— воротимся! не пришли еще сроки. И вот теперь снова, сожженная, разбитая и униженная, тряхнула ханским бунчуком и — посвистывает, запевает странные песни, напускает морока, нависает ужасом над древней Европой. Воротимся!..

Михаил Михайлович пил и бредил, а я пил и слушал развесив уши. Не будет на земле покоя, покуда, как чертополох, не выдернут с корнем русскую заразу: бред, мечту, высокомерие, непомерность. Особую конференцию нужно создать для уничтожения русской литературы, музыки,— запретить самый язык русский. Действительно, жили,— Ренэ и я,— безобидные, как воробьи, пришел потомок Чинги-

са, напустил морока, ударил копытом в наше счастье, и вот — кручусь, как в дымном столбе.

От этих разговоров, пьянства и обормотства Ренэ день ото дня становилась грустнее, но молчала. Где ей было вставить словечко, когда мы, опрокидывая в глотки пинар, таращa друг на друга глаза, дымили, ревели, топтали победными подковами наследие Рима. Работать я бросил и запретил Ренэ выступать в кабаках: довольно ломали дурака перед мещанами. Михаил Михайлович рванул у покровителя тысячи три франков и однажды привел к нам завтракать друга-приятеля — Гастона Утиный Нос. Это был небольшого роста, весьма решительный человек, с татуировкой на руках и блестящими стекловидными глазами, какие бывают у людей с перешибленным носом. Он резал хлеб и мясо своим ножом — *навахой*, выпил одну рюмку коньяку — и то после еды,— от кофе отказался, говоря, что это его *нервит*, и по поводу перестройки всемирной истории сказал: «Панмонголизм такая же глупость, как и Третья республика: променять одну паршивую кошку на другую; над человечеством должна быть произведена капитальная операция (он подбросил наваху и вонзил ее в стол); вы, русские, хорошие ребята, но наивны, как зяблики,— устроили неплохую революцию, но взнуздали ее законом; есть один закон на свете: это — чтобы не было никаких законов и — поменьше дураков». Он вылил из стакана последнюю каплю на ноготь, недокуренную папиросу сунул за ухо и собрался уходить, но Михаил Михайлович подскочил к нему, как тарантул:

— Знаю я ваш анархизм. Вместе кур воровали на Версальской дороге. Вы — просто опустошенное чучело, Гастон Утиный Нос. Весь ваш анархизм — от несварения кишок. Ножиком мне перед носом не вертите. Скоро вам правительство субсидию назначит,— анархисты! Особые колпаки с черепом и костями будут выдавать из цейхгауза на предмет усиления притока иностранцев в Париж. Чушь! Мусор! Старье! Все ваше откровение — жареный каплун да бутылка бургундского. Чмокать любите, милый друг...

Михаил Михайлович наговорил лишнего. Гастон Утиный Нос булькал горлом, щурил стеклянные глаза, бледнел. Я отошел за спинку кровати и — вовре-

мя: Гастон Утиный Нос гортанно вскрикнул, отпрянул в коридор, и оттуда, как зайчик света, со свистом пролетела наваха. Михаил Михайлович схватился за разрезанное ухо. Утиный Нос исчез навсегда.

Такая полировка крови пришлась Михаилу Михайловичу по вкусу. Им овладела жажда деятельности и движения. В рабочих кабачках, близ площади Республики, в притонах предместья Монруж он собирал слушателей, ставил им литр водки и произносил речи о приближающейся гибели цивилизации, об идущей на человечество огромной ночи, *где будут мерцать лишь костры кочевников,* о восторге отказа от себя, о пробудившихся человеческих массах, о массовой воле, об *урагане времени,* о русской революции, сеющей на закате мира семена нового завета. Он показывал разрезанное ухо и ругал верблюдом, грязной коровой и сволочью Гастона Утиный Нос и весь его анархизм.

Но время для апокалипсиса было неудачное. В Париже начались танцы: где бы только ни заиграла музыка — в кабачке, на перекрестке, на тротуаре,— появлялись пары, тесно прижавшись, глядя сонно в глаза друг другу, кружились, сгибали колени, раскачивались, танцевали, танцевали, как загипнотизированные. Не было в этих танцах ни веселья, ни страсти, но какая-то сосредоточенная решимость — нагнать потерянное время, забыть в сонной вертячке моря крови, все еще мерцавшие в каждых глазах.

К этому веселью прибавилась еще и надежда на получение процентов по русским займам. Колчак перелезал через Урал. Деникин подходил к Москве. В Париж слетались русские стаями, как птицы, общипанные и полусумасшедшие. Созывались политические совещания, открывались кредиты, шли непрерывные заседания. Грузились аэропланы и танки. Роковым басом ревела Эйфелева башня о неминуемом,— через три недели,— конце большевиков! В квартале Пасси появились общественные деятели с бородами, безвинно поседевшими, с портфелями, набитыми записками о спасении родины. Вынырнул Кулышкин в велосипедной шапочке. Русских узнавали за сто шагов по сумасшедшим глазам, по безотчетному забеганию в магазины.

Моя душа, окутанная апокалиптическим бредом, раскалывалась,— чуяла налетающий топот рысаков тетушки Епанчиной. Но я таился, хотя и бросало то в озноб, то в жар. Я часто ловил на себе тревожные и любопытные взоры Ренэ. Должно быть, действительно тогда я слегка спятил, потерял натуральное чутье, ту звериную тропу, которая привела к единственному живому уголку в моей жизни — под ситцевую перину к Ренэ. Бедняжка Ренэ грустила, терпеливо сносила грубость и неизвестно почему пришпорившее меня высокомерие, торопливо бегала за вином и едой, тихонько спала на краешке постели, покорно ждала развязки. Я наглел с каждым днем. Еще бы: одолеет Деникин — тогда я опять барин, одолеют большевики — все равно я — скиф, попиратель Европы, бич божий. Разумеется, развязка наступила очень скоро. Случилось это в день праздника Разоружения.

С утра огромные толпы повалили со всего Парижа к Звездной площади. Было знойно и душно. В мареве над городом плавали монопланы. Солнце пылало над кишащими народом бульварами, над сожженной листвой каштанов, над пыльными крышами и точно покрытыми пеплом домами. Тряпками висели флаги. В горле закипала металлическая пыль. Пот грязными каплями полз по измученным лицам.

Ренэ пожелала непременно видеть парад войскам, и мы втроем пошли толкаться в человеческой каше. Со стен Дома инвалидов палили пушки,— казалось, словно свет солнца разрывался стальным скрежетом. На тротуарах в людских потоках сидели, ухватившись за столики, обыватели,— пялились одурело, глотали ледяную воду. Это был день, когда ЧЕЛОВЕК бросил винтовку и рукавом вытер пот и кровь с лица своего, но солнце продолжало жечь, раскаляло горло, раздувало жилы,— не было ни пощады, ни прощения.

Ренэ настойчиво восхищалась флагами, вензелями на окнах и парящими монопланами. Щеки ее горели. Держа меня за руку, она ловко проталкивалась в толпе. Михаил Михайлович тащился за нами, зеленый и прищуренный. Так мы добрались до площади Согласия. В угловом доме, в раскрытых окнах, лежали американские солдаты, показывали что-то пальцами, хохотали, хлопали друг друга по здоровенным спинам. Вот внизу, расталкивая толпу, появились бегущие, как

в котильоне, растрепанные девчонки и молодые люди с испитыми лицами, в похабных пиджачках... Задирая головы, они все кричали: «Папирос, папирос!» — и американцы, хохоча в окнах, швыряли вниз коробки с папиросами. В толпе крутились, дрались, визжали. Помню — на секунду мелькнуло седоусое лицо высокого, худого француза: с горечью, изумлением, гневом смотрел он на эту новую Францию, подбиравшую в пыли американские папиросы.

Ренэ дергала меня за руку: «Кричи же, кричи, это страшно весело»,— и сама завизжала: «Папирос, папирос!» Я выдернул руку из ее руки. Лютая ненависть к папиросам, к толпе, к Ренэ, к этому празднику винтом скорчила меня. Мы с Михаилом Михайловичем стали протискиваться к площади. На ней от вершины Люксорского обелиска к статуям двенадцати городов Франции были протянуты веревки, усаженные огромными коричневыми цветами из бумаги. Кругом площади лежали горы сваленных немецких пушек. Повсюду, как высохший лес, торчали высокие, тонкие шесты, обвитые лентами, украшенные бумажными цветами. Эти непонятные шесты и деревянные арки с намалеванными, как на кинематографических рекламах, транспарантами тянулись вдоль Елисейских полей. Солнце пылало в душном мареве над шестами и арками, над бумажными цветами, заржавленными пушками, над этим страшным праздником умерщвленных.

Ренэ догнала нас и опять хотела взять меня под руку. Но я закашлялся пылью, закричал: «Оставь меня... убирайся к черту!» Я не видел ее лица. Она, как тень, качнулась в толпу, ее заслонили бегущие подростки.

Михаил Михайлович с остервенением работал локтями. Около часа мы пробивались к левому берегу: головы, головы, пыльные лица, запекшиеся рты. Нестерпимо хрипели свистульки. И вот снова раскололся свет, ударили пушки от Инвалидов. По морю голов полетели крики, замахали шляпы, платки. Михаил Михайлович вскочил на подножку пустого автомобиля — весь перекошенный, пряменький — и начал выкрикивать лающим голосом:

— ...Это ваш праздник?.. с ума сошли?.. разве не видите... ведь это — *негритянский рай*... Так этим вы кончили войну?.. для этого четыре года тряслась земля?.. чтоб — цветы из оберточной бумаги?.. Обманули!.. Проснитесь... сегодня праздник мертвецов... президента — на фонарь!.. депутатов — в Сену!.. К черту «Мадлон»!.. *Карманьолу*... Жечь дворцы!.. плясать на трупах!.. водку — с порохом!.. Только этим... этим...

Ему не дали говорить. Толпа зарычала, надвинулась. Множество рук потянулось к нему. Какой-то багровый усач в крошечном котелке схватил его слоновой ладонью за лицо. Михаил Михайлович, сорванный с подножки автомобиля, исчез под машущими кулаками. Я рванулся сначала к нему, затем — бежать... Но и меня сбили с ног. Помню лишь вонючий башмак, носком залезавший мне в рот...

....

...Ага... Ты все еще ждешь развязки? Прости, совсем забыл. Читай, мой дорогой: исписано здесь бумаги на двадцать четыре су, и не безрезультатно. Пишу — третий день. Понимаешь: это — в третий день. Смешно? — хи, хи, как смеялся дорогой Миша... Я ведь и сам не ожидал такой развязки. Скажи мне, судья праведный, человечество должно защищать себя от бешеных зверей? Если в комнату к тебе входит зверь, если в душу твою входит бес? — крестом его, поленом, каблуками, а потом — ножки вытри о половичок. Во имя чего? Во имя самого себя-с. Желаю покойно сидеть под абажуром у камина, желаю ноги мои, опозоренные мелкой беготней, целованные некогда матерью моей, худые ноги мои, протянуть к огню. Достаточное основание? Когда в смертный час скрипну зубами — во мне исчезнет вселенная: плевать, будто бы она существует сама по себе,— не желаю верить, не докажешь. Я есть я, единственная материальная точка. Вокруг меня кружатся потухшие и пылающие солнца. Распоряжаюсь ими, как хочу. Заживо желаю с блаженством вытянуться,— потухай, мир, черт с тобой. Прищурюсь на Сириус,— ну-ка, лопни. Трахтара-рах,— летит Сириус в клочки, звездный переполох, и — пустая дыра в пространстве. Так-то...

....

...В моем письме как будто незаметно перерыва... Нет, дружище, перерыв есть... Весьма даже существенный перерыв. Отлучка была. И даже место писания переменилось. И бумага, как видишь, другая. На этот раз *беседую с тобой из бистро мадам Давид...* Ах, чудесная вещь литература! Вот в тебе кишмя кишит адское варево... Начни писать: пей красное вино, кури и пиши,— пей, думай и пиши. Потянутся ниточки, встанут стройные линии. И — смотришь — возник очаровательный мостик над хаосом. Веди меня по этим аркам, Вергилий...

...Вот что случилось... Но по порядку. После избиения на площади Согласия меня и Михаила Михайловича сволокли в участок и там «пропустили через табак», после чего Миша и я, харкая кровью, пролежали три месяца в сводчатом подвале на железных с дырочками койках. За эти три месяца я с божественной ясностью понял, что кочевые костры — не что иное, как сумасшедший бред, и весьма опасный, что Михаил Михайлович придумал эти костры от неистовой гордости и высокомерия, а вот обитый гвоздями полицейский башмак, когда он проезжается по твоим ребрам,— дневная, ясная, отменная действительность, и по ней только, по этому курсу держи компас.

Лежа рядом с Мишей на койке, все это я понял и затаил и возненавидел друга моего радостной даже какой-то ненавистью. Нам грозили неприятности, но кое-кто вступился, помогла также розетка ордена Почетного легиона, найденная в жилетном кармане у Михаила Михайловича. Нас молча и сурово выпустили из участка. Была осень, дожди. Дверь на чердак Ренэ я нашел запертой, комната была пуста. Соседи сказали, что Ренэ давным-давно уехала в деревню к тетке. Я кинулся к дядюшке Писанли и взял у него кое-какую работишку,— переписывал ноты, ходил играть фокстрот в публичный дом. Я честно зарабатывал хлеб. Поселился я в старой нашей комнатке. Печально, одиноко было лежать под холодной периной, слушать, как барабанит дождь в косое окошко. Во сне мне часто снилась Ренэ. Как плакал я, обнимая подушку!

От встреч с Михаилом Михайловичем старался уклоняться... Заметь это... Он оставлял мне малопонятные записочки,— я бросал их в поганое ведро не

читая... Однажды прочел... Заметь,— он сам, сам во всем виноват... Я прочел в записке: «Саша, дорогой, приходи немедленно, у меня много денег...» В этот вечер лил потоп. С протекавшего потолка падали капли в глиняный таз. Комната моя и освещалась и согревалась одной свечой. В кармане — три липкие медяка по два су. Помню, я долго глядел на тень от гвоздя, на котором когда-то висела юбочка Ренэ. Подвернул брюки и пошел по указанному в записочке *новому* адресу. Боже, какой был дождь!

Михаил Михайлович сидел у пылающего камина, под лампой с оранжевым кружевным абажуром: развалился в шелковой пижаме — светленькой, в полосочку, в какой баб принимают,— и тянул коньячок. Меня даже лихорадка ударила: в чем дело? откуда все это? Присел у огня. От одежи пошел пар, пахну псиной и чувствую — сейчас завою от обиды.

Мишенька хихикал, дрыгал коленками. Оказывается, нефтяные дела его покровителя пошли неожиданно в гору: англичане купили на Кавказе участок, и Михаилу Михайловичу перепали крохи. Отсюда и бонбоньерочная квартирка и коньячок. Он мне сказал: «Я, дружочек, решил отложить закат Европы на некоторое время, насладиться жизнью, хи, хи...»

Мы пили до утра. Но ничем я не мог погасить в себе ледяной дрожи. Кончилась ночь следующим разговорчиком. Я сказал:

— Ты знаешь, что ты исковеркал, растоптал мою жизнь?

— Ну что же, Сашура, если растоптал, значит — лучшего она и не стоила... Ты только представь: ты — жучок, и подожми лапки.

— Врешь. Я лучше тебя. Из меня мог бы выйти замечательный музыкант.

— Жалко, жалко, что из тебя не вышел замечательный музыкант.

— Ты сумасшедший... Тебя убить нужно.

— Подожди, поживу еще немножко. Смотри, как у меня уютно.

— Я тебя убью все-таки.

— Чем?

— А вот этим. (Я вынул наваху, брошенную Гастоном Утиный Нос. Клянусь тебе, я не помнил, с каких пор она завелась у меня в кармане. Михаил Михайлович пощупал лезвие.)

— Нарочно ее захватил?

— Не твое дело.

— Это когда мы на койках лежали, ты решил?

— Да, тогда.

Он вдруг перегнулся через стол, оловянными, без просвета глазами отыскал мои зрачки:

— Саш, знаешь,— ведь убить ты меня не можешь... Я ведь не существую сам по себе... Тебе это никогда не казалось? Изловчишься, пырнешь меня, а ножик-то, оказывается, у тебя в горле. А меня-то и нет совсем... ку-ку...

Он зажмурился, засмеялся беззвучно. Я пошел к двери. Он догнал меня, сунул в руку сто франков, обнял, заговорил по-старому, но я ушел. Я провалялся много дней в лихорадке на чердаке. Я думал: околею, но только не видеть его. Ненависть, ненависть, трепет, ужас были во мне,— будто я — поджавший ноги жучок, будто Миша, застилая полсвета, пауком подбирается ко мне. Денег не было. Он щедро мне отваливал по двести, по триста франков. Забегал чуть не каждый день. За всем тем — пришлось бывать у него. Появилось пианино. И опять я играл Град Китеж, и он с рюмочкой на ковре заходился от восторга...

Третьего дня, в понедельник, Михаил Михайлович поехал в банк получать сто тысяч франков. Сегодня, в четверг, он должен был передать эти деньги своему покровителю, возвращающемуся из Лондона. *В понедельник же утром я сел писать тебе письмо.* Деньги были все это время у Михаила Михайловича. Я не выходил из бистро мадам Давид. Писал и пил красный «пиф». В среду, вчера вечером, в двадцать минут седьмого, писать я больше уже не мог. Потребовал тройной крепости кальвадосу. Лихорадка трепала меня на стуле. Я поднял воротник и пошел к нему. Михаил Михайлович как раз выходил из подъезда: коротенькое пальто, через плечо перекинута тросточка,— пряменький, хохотливо весел. Я понял сразу: все эти дни деньги он носит при себе. Обрадовался мне чрезвычайно. Мы отправились в кабак, оттуда к девкам,— старая программа. В четыре часа утра мы шли по древнейшей уличке близ Севастопольского бульвара. Михаил Михайлович пожелал скушать лукового супу на рынках... Мы спокойно шли есть луковый суп. Было только одно: несколько раз он

спросил: «Что ты отстаешь? У тебя гвоздь в башмаке?» — и близко всматривался мне в лицо помертвевшими глазами. На улице было пустынно. Проехала огромная телега с морковью и цветной капустой, прогрохотала саженными колесами и скрылась за поворотом. Я отстал на шаг, мягко раскрыл наваху и вонзил ее Михаилу Михайловичу сзади в шею...
....

И вот... прощай... Ухожу вслед за ним...

УБИЙСТВО АНТУАНА РИВО

Антуан Риво повесил на крючок шляпу и трость, поджимая живот, кряхтя, пролез к окну и хлопнул ладонью по мраморному столику. Вот уже пятнадцать лет в один и тот же час он появлялся в этом кафе и садился на одно и то же место.

Когда-то у Антуана Риво были пышные усы, молодцеватое выражение лица. Теперь щеки обвисли, и прежний румянец проступал лишь пятнами, в виде красных жилок на носу и скулах. Время сокрушало Антуана Риво (рантье, холостяк, улица Прентаньер, 11). Но он все же твердо стоял на своих привычках, хотя накопленный за тридцать лет упорного труда капитал в 400 тысяч франков далеко теперь не стоил четырехсот тысяч: франк падал, жизнь дорожала, с трудом приходилось подводить баланс каждому месяцу, учитывая лишнюю рюмку, лишнее блюдо, лишнюю папиросу, предложенную уличной девчонке в кафе. К счастью, для Антуана Риво расход на женщин был почти сведен к нулю.

Итак, Антуан Риво хлопнул ладонью по столику. Подошел Шарль, гарсон, похожий на всех гарсонов Парижа: бриллиантиновый пробор, галльский лоб, какая-то недохватка с носом, кривоватые ноги, короткая курточка, белый фартук. Шарль подал Антуану Риво руку и спросил скороговоркой:

— Как дела?

— Неплохо, — ответил Антуан Риво, изобразив вытянутыми губами, безнадежными морщинами, движением плечей, что дела, в сущности, так себе.

Шарль махнул салфеткой по столику, ушел и сейчас же вернулся со стаканом и бутылкой «дюбоннэ». Налил, придвинул графин с водою и льдом, заложил руки за спину и стал глядеть в окно.

— Да, да,— сокрушенно вздохнул Антуан Риво, подбавляя воды в «дюбоннэ». Вздохнул и Шарль. За окном, под каштановыми деревьями, с которых время от времени падал увядший лист, некрасивая женщина везла детскую колясочку; прошел в парусиновом халате, без шляпы, провизор Марсель Леви из местной аптеки; прошли два солдата в красных эполетах и в медных касках с конскими хвостами. Некрасивая женщина с тоской поглядела им вслед. Вертя бедрами, прошмыгнул с папироской послевоенный тип — молодой человек в пиджачке с подложенными грудями и боками,— поскользнулся в собачий след и запрыгал, осматривая подошву.

— Жизнь дорога,— уверенно сказал Шарль.

— Да, да.

— Страна нищает, налоги увеличиваются, проклятые *боши* не хотят платить...

В ответ на это Антуан Риво побагровел и стукнул уже не ладонью, а кулаком по столу, но не сильно, так как знал меру:

— Мы их заставим платить, черт меня возьми с кишками! Я выплачиваю нашему правительству немецкие репарации из собственного кармана,— как это вам понравится! Налоги, налоги! А немцы потирают руки: платят не они — Антуан Риво. Дерьмо! Довольно! Я требую: занять Рейн!

— Боши хотят новой войны — они ее получат,— сказал Шарль ледяным голосом и выпятил подбородок.

Так они поговорили о политике. Затем Антуан Риво сообщил то, что с самого утра нарушало правильное действие его организма, влияло на желудок: племянник его, Мишель Риво, демобилизованный в девятнадцатом году, опять прислал пневматическое письмо с дерзкой просьбой ста пятидесяти франков. Бездельник и мот! Денег он ему, разумеется, не даст,— довольно мальчишка сидел на шее,— но боится, как бы Мишель не пронюхал, что он после катастрофы с Китайским банком вынул часть вкладов — шестьдесят пять тысяч франков — и деньги эти теперь держит дома.

— Но это совсем уж глупо, купите аргентинские...— начал было Шарль, но его позвали в другой конец кафе.

Антуан Риво допил аперитив, свернул из черного табака папиросу и выкурил ее, пуская дым сквозь усы. Посидев еще некоторое время, нужное для выделения желудочного сока, он вылез из-за стола, сделал несколько привычных движений, оправляя взлезшие брюки и жилет, и крикнул Шарлю:

— До завтра!

— Добрый вечер, мосье Риво, до завтра.

Ни Шарль, ни Риво не могли, разумеется, знать, что не только завтра, но никогда уже больше Антуан Риво не придет в кафе.

В четверть двенадцатого Шарль снял фартук и курточку, надел котелок и пиджак, подлез под полуопущенную железную штору на двери и вышел на бульвар. Со скамьи навстречу ему поднялась Нинет, девушка из универсального магазина «Прекрасная цветочница». У Нинет было неправильное личико с большим ртом, мигающими глазами. Она пришепетывала, что особенно нравилось в ней Шарлю. Темперамент Нинет дремал, еще не раскрывшись.

Она подставила щеку для поцелуя. Шарль взял ее за средний палец руки, и они пошли молча по бульвару, в сыроватой темноте каштановой аллеи. Кое-где сквозь стволы ложился свет уличного фонаря, быстро, веером, проползали огни автомобиля. На одной из скамеек сидели, обнявшись, давешняя некрасивая женщина и совсем еще молодой человек с голыми коленками.

Шарль молчал — устал за день. Приятно было думать о том, что дома, в грязненькой, старенькой гостинице под названием «Отель магистратуры и высшего духовенства», в пропахшей каминной пылью ветхой комнатке с огромной деревянной постелью, ждут его паштет, бутылка вина, не разбавленного водой, и добросовестные ласки Нинет. Он раскачивал за палец руку девушки и устало улыбался.

Нинет тоже молчала. За много месяцев их связи однообразие этих вечерних встреч с Шарлем утомило ее. Все было заранее известно, вплоть до той минуты, когда Шарль, опрокинув в горло последний стакан вина и щелкнув языком, скажет бодро:

— А теперь, малютка, в постель.

Нинет была рассудительная девушка: порывать старую прочную связь казалось ей неблагоразумным. Она терпеливо ждала.

Молча дошли они до «Отеля магистратуры и высшего духовенства», поднялись по деревянной винтовой лестнице в третий этаж. Шарль отомкнул дверь в свою комнату, зажег пыльную, под потолком, электрическую лампочку, сбросил пиджак и стал привычно и ловко накрывать на стол.

Нинет села на край постели, сняла шляпу и согнулась, облокотившись о колени. Коричневые обои, тусклый свет, Шарль в подтяжках — все было знакомо.

— К столу! — наконец крикнул Шарль и шибко потер ладонь о ладонь. Паштет оказался выше похвал. Утолив первый голод, Шарль пересел ближе к Нинет и левой рукой обхватил ее пониже талии: точно так — он знал — поступали шикарные парижане с шикарными парижанками в кабинетах. Он поднял стакан вина и выпил за женщин.

Нинет лениво жевала. Ее губы разгорелись от вина, лицо стало белее и тоньше, глаза перестали моргать. Она глядела на стену. Шарль был уверен, что она уже чувствует к нему прилив страсти. Он похлопал ее по спине и покусал за плечо. Нинет прозрачными глазами глядела на потрескавшиеся обои. Но Шарль хотел продлить удовольствие и принялся было рассказывать все, что слышал за день от посетителей кафе. Нинет нетерпеливо передернула плечами и расстегнула черную шелковую кофточку.

Тогда Шарль, понимая, что настала именно та минута, из-за которой многие, даже знаменитые французы жертвовали жизнью,— бросился на Нинет, поднял ее на руки и, протащив три шага, положил на постель. И эти синематографические поступки также были Нинет знакомы. Она опрятно разделась и залезла под одеяло.

— О, какая женщина, какая женщина!— свистящим шепотом воскликнул Шарль. Затем за темным окном на церковной башне пробило час ночи. Шарль подоткнул одеяло и продолжал прерванный разговор о посетителях кафе.

— Вот, подумай, какой дурак, старый гага́, этот Антуан Риво...

— Кто, ты сказал? — внезапно, быстро перебила Нинет, даже села в постели.

Эта быстрота ее вопроса была так неожиданна, что Шарль внимательно вгляделся. Глаза Нинет смотрели прямо ему в глаза. Какая-то была в них загадка, но нет — девушка честна, и Шарль продолжал:

— Этот Риво до того напугался крахом с Китайским банком, что вынул часть вкладов — шестьдесят пять тысяч — и держит их теперь у себя в комнате под ковром...

Шарль захохотал, скручивая папироску. Нинет отодвинулась от него. Неправильное личико ее стало озабоченное, почти тревожное, глаза потемнели. Вдруг она перелезла через Шарля, соскочила на вытертый коврик и быстро начала одеваться.

— Куда, Нинет?

— Ах, мне стало плохо, я пойду домой.

Шарль зевнул улыбаясь:

— Ну, крошка, если хочешь — иди. Не забудь только внизу захлопнуть дверь. До завтра. Будет цыпленок с трюфелями.

Нинет поцеловала в голову Шарля и убежала. Через минуту за окном быстро-быстро — что-то уж слишком быстро — промчались ее каблучки.

Ночь была темна и тепла. Неподвижно стояли огромные каштаны, едва тронутые светом с далекой площади. Очертания домов растворялись в темноте неба. С листьев падали теплые капли.

Нинет перебежала аллею, взобралась, задыхаясь, на травянистый крепостной вал и подняла голову.

За деревьями высоко горело небольшое окно теплым светом. Нельзя было различить ни глухой стены многоэтажного дома, ни крыш,— окно было раскрыто прямо в небе над деревьями парка Мон-Сури.

Нинет прислушалась, вглядываясь в темноту между стволами. Поднялась на цыпочки и позвала вполголоса, ясно:

— Мишель!

Сейчас же хрустнула ветка,— Нинет прижалась к дереву. В другой стороне тихо-тихо свистнули. Послышалось шуршание, точно что-то мягкое потащили по прелым листьям. Сердце Нинет билось, как у мыши.

Она знала дурную славу парка Мон-Сури. Но все стихло. Нинет опять поглядела на окно:

— Мишель!

В окне появился по пояс человек в ночной рубашке,— маленькая голова, прямые плечи. Он перегнулся, всматриваясь:

— Алло?

Это был Мишель Риво. У Нинет высохло во рту. Но вот из-за спины Мишеля выдвинулась в окне вторая фигура,— взбитые волосы вороньим гнездом, голые руки. Прикрывая грудь рубашкой, женщина эта спросила сонным голосом:

— Ты что вскочил?

— Кто-то позвал: «Мишель».

— Ах, мало Мишелей в Париже! Иди в постель, я хочу спать.

Они говорили вполголоса, но было слышно каждое слово. Нинет прижала руки ко рту, прислонилась к дереву, кора впилась ей в плечо.

Воронье гнездо в окне качнулось и исчезло. Мишель, раздумывая, постоял еще с минутку, зевнул и пропал. Окно погасло, исчезло в черном небе.

Нинет, все еще зажимая рот, тряслась от слез. Спотыкаясь о корни, она пошла — побежала с травянистого откоса.

На площади Нинет обернулась в сторону дома, где погасло окно, и часто-часто закивала головой, потом изо всей силы кулаком вытерла глаза.

Утреннее солнце сияло в ручьях, бегущих из водопроводных труб, сверкали капли на листьях овощей, на охапках роз. В корзинах, придавленные камнями, шевелились черные крабы. По влажным торцовым мостовым катились двухколесные телеги, запряженные чудовищными першеронами в хомутах, покрытых бараньими шкурами. Щелкали бичи. Проносились автомобили. Бензином, ванилью, овощами, рыбой, пудрой пахла узенькая и шумная улица. Простоволосые, в фартучках, в домашних туфлях, говорливые парижанки озабоченно готовились к священному часу завтрака.

Мишель Риво шел по теневой стороне тротуара. Он был зол и спокоен. Недокуренная папироска торчала у

него за ухом. Каштановые волосы по моде зачесаны назад. Галстук — бабочкой. Узкий пиджачок, брюки по щиколотку, шелковые носки, измятая рубашка были неряшливы, но надеты «с шиком». Он видел,— почти у каждой встречной женщины, точно от толчка, раскрывались глаза, и зрачки внимательно касались его зрачков.

Foutre de camp! В кармане зловеще, как могильщик лопатой, звякали две монеты по два су. Пусть бы заговорил с ним кто-нибудь сейчас о моральных устоях. Люди — сволочь, жизнь — дерьмо! Стоило воевать, чтобы шататься с двумя су в час завтрака...

Мишель Риво свернул к универсальному магазину «Прекрасная цветочница» и остановился напротив подъезда у газетного киоска. По другую сторону его стоял толстый человек в золотых очках и в дорогом жилете. Шея у него была мокрая и дряблая. Развернув газету, он поглядывал из-за нее на подъезд, из которого обычно выходили продавщицы.

Мишель Риво со спокойной ненавистью оглядел от лба до лакированных башмаков толстого человека и обратился к газетчику, старичку:

— Алло, старина,— неужели вы берете по три су за газету? Берите по сорок су, не меньше,— бульвардье заплатят, чтобы только постоять у вашего киоска.

Газетчик с усилием сосал трубку, хлюпая никотином. Мутные глаза его были полны склерозной влаги. Мишель криво усмехнулся:

— Покуда мы воевали,— буржуа, проклятые нувориши, наживались на военных поставках. Они лакомились нашими девочками... О, буржуа! Мы разгромили бошей, вернулись домой. Наши места заняты жирными скотами! К девочкам нельзя подступиться: они требуют туалетов от «Мадлен и Мадлен» и «Колло». Их научили швырять деньгами. А в это время мы, как шакалы, щелкали зубами в окопах. Буржуа вышвыривают нас на улицу! Спасителей отечества заставляют протягивать руку! Ха, ха! Мы хорошо теперь знаем, как входит железо в жирный живот,— легко, как в сливочное масло! Мы многому научились в траншеях. Мы еще посмотрим, кому пить шампанское и целовать девчонок...

У толстяка запотели очки. Он поспешно свернул газету и отошел от киоска. Крепкого разговора нала-

дить не удалось. Мишель Риво даже осунулся от злости.

Из магазина начали выходить продавщицы. Гляделись в зеркальца, мизинцем подмазывали губы, хохоча сбегали на тротуар,— от смеха глаза блестели ярче, розовели щеки, трепались стриженые кудряшки. Толстяк, вытянув дряблую шею, пожирал эту стаю болтливых девушек, высыпавшую из отделений женского белья, кружев и духов.

Появилась Нинет. Ее глаза были красные, припухшие. Мишель Риво взял ее за локоть:

— Вчера ночью вы были у меня под окном?

Нинет ахнула, отшатнулась, подняла мутноватые от слез глаза на Мишеля и быстро пошла через улицу. Он догнал ее:

— Нинет, мне было досадно вчера. Маленькая, пойдем завтракать!

Нинет нагнула голову, быстрее побежала. У нее были, черт ее возьми, ужасно миленькие ножки. Мишель Риво засвистал военную песенку. Нинет запыхалась, пошла тише. Пришлось остановиться перед проезжавшей телегой с винными бочонками.

— Зайдем вон в то бистро, Нинет! Там подают отличное рагу.

Нинет одними губами ответила: «Хорошо». Завтрак примиряет даже врагов. Мишель Риво и Нинет сели рядом на клеенчатый диван, заказали луковый суп, рагу, два литра вина и много хлеба. Нинет оттянула платье, чтобы Мишель глядел ей на голое плечо. Голова у нее кружилась: значит — желает ее, если прибежал после вчерашнего.

— Никогда тебе не есть такого рагу, какое мы едали под Верденом,— говорил Мишель,— мы приготовляли его из мороженых австралийских баранов. После ночи ураганного огня, искрошив в куски тысяч пятьдесят проклятых бошей, хочется жрать, как людоеду,— жрать и спать. Хорошее было время. Мы пили цельное вино. А какой мы курили табак! Спи, ешь, дерись. Это — жизнь!

Мишель выпил залпом стакан красного «пойла», чмокнул, вытер ладонью усы.

— Эта вчерашняя женщина — моя старая, еще военная связь. Привязалась, бог мой! Скучна и однообразна в любовных развлечениях. Овца! Тяготит меня, как ядро, прикованное к ноге. Да, Нинет, да.

У меня нет прочной связи. Я одинок. Моя матушка умерла в год войны...

Мишель горестно покачал головой и корочкой стал подбирать с тарелки бараний соус.

— Что мы возьмем на десерт? Мирабели? Алло, гарсон, два раза мирабель, два кофе и коньяк. Маленькая, ты придешь ко мне сегодня?

Сердце Нинет медленно и отчетливо застучало. Она спросила чуть слышно:

— Мишель, тебе все так же трудно с деньгами?

— То есть как так трудно? Гарсон, счет.

Мишель хлопнул себя по пиджаку. Поджал губы, заморгал. Вскочил, принялся бешено шарить по карманам. Выругался, сел, отер лоб.

— Забыл дома кошелек, чтобы тебе сдохнуть!

— Я заплачу, Мишель...

— Но, крошка, я не позволю...

— Мишель, я приходила вчера сообщить очень важную новость. Антуан Риво взял из банка шестьдесят пять тысяч франков...

— Тише говори...

Мишель быстро оглянул почти пустое бистро и нагнулся ко рту Нинет. Она с жадностью вдохнула запах его волос, облизнула губы:

— Как только я узнала про это — побежала тебе сказать... Бедняк, ты так страдаешь.

(Мишель стиснул рукой ее колено.)

— Антуан держит деньги под ковром, так мне сказали...

(Мишель кашлянул, прочищая горло.)

— Пойди к Антуану, проси у него денег.

— А если он не даст?

Губы Нинет посинели, руки замерзли до локтей.

— Я только хотела тебя предупредить... Я думала... Мы могли бы поехать к морю на месяц... Мы были бы скромны... Собирать креветок, танцевать с тобой шимми. Я так мечтаю об этом, Мишель.

Глаза ее налились слезами. Мишель наконец выдохнул из себя воздух. Отодвинулся.

— Плати! Идем.

В шесть часов вечера Антуан Риво не пришел в кафе. В семь часов гарсон Шарль остановился перед стенными часами и карандашом сильно прижал себе кончик носа.

— Странно.

Шарлю, разумеется, не было никакого дела до Антуана Риво. Но то, что он в первый раз за пятнадцать лет не пришел именно сегодня, это каким-то образом стояло в связи с чем-то ужасно неприятным... Гм... Что-то произошло вчера пустяковое, но неприятное, и это стояло в связи... Гм... Словом, если бы Антуан Риво появился у окна, Шарль сразу бы успокоился...

В четверть двенадцатого Шарль надел пиджак и котелок, подлез под полуопущенную на двери штору и вышел на бульвар. Нинет на скамейке не оказалось. Шарль дошел до конца бульвара. Вернулся... Сдвинул котелок на затылок. Фу ты, черт! Что же случилось? Он был действительно встревожен. Но почему между отсутствием Антуана Риво и Нинет чудилась ему связь? Видел он что-то и забыл, чувствовал и не мог понять.

Шарль в раздумье шел к «Отелю магистратуры и высшего духовенства». На другой стороне улицы приоткрылась дверь одного из подъездов, выскользнула узкая, как тень, незнакомая женщина в шляпе, надвинутой так глубоко, что был виден только острый, белый, как алебастр, подбородок. Быстро-быстро каблучки ее простучали по тротуару.

Шарль сразу остановился, надвинул котелок на глаза. Повернулся и почти побежал. Он вспомнил смятую кровать, сонную Нинет... И то как вдруг при имени Антуана Риво заблестели ее глаза, как она, точно чужая, перелезла через Шарля, торопливо оделась и убежала. Простучали за окном каблучки...

Через десять минут Шарль остановился в узкой уличке, у невысокого дома. Три нижние окна его, закрытые железными жалюзи, выходили на пустырь с огородами, кучами угля и фабричной постройкой, разрушенной в тысяча девятьсот восемнадцатом году гигантской бомбой «Берты».

За тремя ставнями в нижнем этаже было жилище Антуана Риво с отдельным входом: гарсоньерка. Наружная дверь оказалась приоткрытой. У Шарля стукнули зубы. Все же он осторожно отворил дверь и вошел в темную комнату с кислым, стариковским запахом. Он споткнулся о поваленный стул. Потер ушибленное колено. Пошарил в карманах, нашел

восковую спичку, чиркнул ее о штаны. Огонек ярко разгорелся... На ковре у камина лежал большой, раздутый мешок. Шарль наклонился к нему. Мешок оказался животом Антуана Риво. Короткие ноги его, в подштанниках, были раздвинуты, как ножницы. Лицо куда-то делось. Вместо лица — черное, вспухшее, напрочь перерезанное горло.

Спичка погасла, уголек упал и зашипел. Шарль опомнился за дверью. Притворил ее и пошел на цыпочках вдоль мрачного пустыря.

Вереницы автомобильных огней катились по сырым аллеям Булонского леса. Асфальтовые шоссе, маслянистые и зеркальные, отражали силуэты машин и длинные ветви деревьев, застилающих звездное небо. В низко ударяющих столбах света возникали пешеходы, лакированные зады автомобилей, бледные лица женщин за блеснувшими стеклами. Автомобили и пешеходы двигались в дальнюю часть леса, к парку Багатель.

Граф д'Артуа, брат Людовика XVI, просил однажды королеву о любовном свидании. Мария-Антуанетта сказала: «Да». Осенью, во время охоты, в уединенном месте, она отдаст ему час любви. Граф д'Артуа выбрал на берегу Сены, в лесу, уединенное место, где росли столетние дубы и по лужайкам бежал ключ. Здесь он разбил английский парк, перекинул мостики через ручей и на открытой поляне построил дворец, а рядом — отель для свиты. Кругом он приказал посадить миллионы роз. Постройка была окончена в три месяца. Мария-Антуанетта сдержала слово. Во время охоты лошадь ее взбесилась и унесла королеву в замок любовной прихоти — Багатель. Прошло много лет. Королева была казнена, граф д'Артуа бежал из Франции. Теперь в Багатели цветут поля роз. Чудесные розы покрывают лужайки, оплетают старые стены ограды, свешиваются с ползучих арок. Сегодня в Багатели герцогиня д'Юзез, по бабушке из рода Рюриковичей, давала Парижу праздник в пользу жертв русской революции.

Мишель Риво бросил кассиру смятую бумажку в сто франков и вместе с Нинет вошел через железные ворота в парк. С правой стороны из-за леса, из

дымных облаков, подымалась луна мутным, огромным шаром. На сырые поляны, посеребренные ее светом, ложились тени от одиноких дубов. Было прохладно, недавно прошел дождь.

Налево, на длинной и покатой поляне перед озером, стояло множество стульев и скамей. Окаймляющие поляну пышные платаны были покрыты бумажными фонарями, расположенными как гроздья винограда. В воде озера отражались огни и звезды.

Съезд начался. Группы зрителей шли в свете луны и светящихся лиловых гроздей. Здесь был весь блестящий Париж, собравшийся ко дню розыгрыша большого приза.

Мишель Риво стоял, заложив палец за борт пиджака, опираясь о тросточку. Нинет держала его под руку,— ей казалось, что все это — сон. Лицо Мишеля было болезненно бледно, ноздри раздуты. Мимо, по мокрой траве, шагали высокие англичане в вечерних, до пят, черных пальто, в мягких шляпах; проходили горбоносые, с маленькими головами, французы в шелковых цилиндрах, в плащах, перекинутых через руку, во фраках, обливающих их длинные фигуры; маленькие, смуглые, мерцающие жемчужными запонками южные американцы; японцы с лицами-масками, в очках, в просторных фраках. Пышно, как по ковру, проходили по мокрой траве полуобнаженные женщины, неведомо чьею фантазией порожденные на земле. Их тонкие руки, грудь, спины глубоко — до поясницы — были обнажены, лишь две нити придерживали черные, пышные газовые юбки, их волосы убраны просто, гладко — узлом на затылке. Таков был вкус после войны: женщина захотела раздеться перед всеми. Она сняла драгоценности, причесала волосы просто и прикрыла траурной легкой материей лишь то, что было некрасиво оставить открытым. Послевоенная эстетика требовала простоты и много прекрасного тела.

Мишель Риво сказал, не разжимая зубов:

— Оставь мою руку.

Нинет торопливо выдернула руку из-под его локтя. Места перед озером наполнились. На эстраде над водой зажглись среди стволов ртутные лампы.

В первые ряды не спеша прошли индусы в черных халатах, в белых чалмах. Они окружали раджу с лицом ястреба. От него шли лучи драгоценных камней, сверкало золото одежды.

Заиграл оркестр под сводами листвы, сильнее осветилась эстрада, на ней, отраженная в воде озера, тонкая, сильная, в белых пачках, появилась Анна Павлова.

Мишель Риво повернулся и пошел к одиноко стоящему на седой поляне дворцу Багатель, залитому лунным светом. Мишелю хотелось пить. Горло горело. У буфетного стола, перед дворцом, он спросил коньяку. Нинет с ужасом глядела, как Мишель выпил пять больших рюмок. Вытирая усы, он развернул грязный носовой платок, вдруг дернул головой, точно от удара, сунул платок в карман и отошел от стола.

— Какого черта ты меня сюда привела!

Часто-часто моргая, Нинет сказала:

— Я не знала, что здесь так все дорого.

— Ты — дура! Заплатить сто франков, чтобы пялить глаза на этих скотов, которым давно надо перерезать глотки...

Он стукнул зубами, сунул руки в карманы штанов и зашагал по поляне. Нинет в тоске поглядела на тучку, находившую на луну. Вчера после завтрака они с Мишелем ласково расстались. Мишель ушел просить денег. Сегодня, в сумерки, они встретились около Лувра. Мишель, усмехаясь, показал пачку кредиток: «Старик Антуан раскошелился». Они стояли на мосту, обсуждая, что делать вечером. За садом Тюильри разливался багрово-пыльный свет заката. Его отблески скользили по воде, ложились на графитовые крыши Лувра. Мишель осунулся, папироска у него повисла, приклеившись к губе. «Мишель,— сказала Нинет жалобно,— пойдем куда-нибудь в шикарное место, раз в жизни!» И она вспомнила, что сегодня праздник в Багатели. И вот они здесь. «Ах, лучше было бы просто поужинать в бистро, посидеть часок на диванчике и пойти спать, чем водить Мишеля глядеть на красивых женщин».

Вдали между деревьями вспыхнул круг прожектора, и ослепительный столб света потянулся над позеленевшей, как яд, травой. Неподалеку зашипел и протянулся второй столб. Издалека — третий. Бродя

по поляне, столбы скрестились в одной точке,— осветили кучку людей в огненно-красных сюртуках, в красных шапках. Они держали медные рога и вдруг затрубили, печально и протяжно, древнюю охотничью песню — сбор по оленю. Это был антракт. Мишель вздрогнул, втянул голову в плечи. В глазах его появился нестерпимый ужас. Но столбы вдруг погасли; пропали красные трубачи. И снова над поляной, над разбросанными по ней дубами кое-как стала светить незатейливая луна.

С озера шли зрители. Ни Мишель, ни Нинет не знали, конечно, что вот этот изящный, презрительный, с худым лицом молодой человек открыл первый начало великой восточной трагедии, убив у себя на дому полумифического мужика. А вот этот — курносый, с собачьим лицом, с глазами-щелками — знаменит на весь мир не менее: командир волчьей сотни, пролетевший, по колено в крови, по Кавказу и Дону. Вот этот, скромный и разочарованный, похожий на учителя математики, недавно еще был могущественнее турецкого султана... Вот эта полная, рослая, в голубом сарафане и кокошнике — сама герцогиня д'Юзез; рядом с ней — скучающий человек с темными усами, в шелковом цилиндре, слегка набекрень — русский император, напечатавший в Ницце листок с просьбою вернуть ему империю и подданных...

Мишель пристально глядел мимо идущих, на кусты по ту сторону дорожки, где, полускрытые листьями, поблескивали пуговицы на двух полицейских мундирах. Мишель негромко спросил Нинет:

— Ты никому не сказала, что мы пойдем в Багатель?

— Нет, я сказала только моей консьержке.

Мишель осторожно пошел в тени деревьев. Там стояла вторая пара полицейских. Мишель отвернулся. Так, спокойным шагом, он дошел до опушки. Здесь вдруг схватился обеими руками за шляпу и побежал, сгибаясь под ветвями. Нинет ахнула. Крикнула жалобно: «Мишель!» Сейчас же справа и слева наклонились к ней два длинноусых, каменных лица — сержанты полиции. Один спросил ее имя, другой сказал:

— Вы арестованы, мадемуазель.

На допросе у следователя Нинет дана была очная ставка с гарсоном Шарлем, который еще в ночь убийства рассказал в полицейском участке о страшной находке и о всех своих сомнениях.

Увидев у следователя молодую девушку, Шарль закрыл рукой глаза и воскликнул: «О, это та, которую я любил!»

В кабинете следователя сидели хроникеры из бульварных газет. Нинет держалась мужественно. «Этот человек,— сказала она, кивая подбородком на Шарля,— этот овернец отравлял мою жизнь скверными паштетами и убийственным однообразием своей любви... (Нинет знала, что в эту минуту говорит для Франции.) Я парижанка, мосье, я женщина,— я была несчастна. Я любила Мишеля Риво, но он был беден. Мне оставалось только покориться своей судьбе». Нинет разрыдалась. Виновность Мишеля она решительно отрицала. Шарль в первый раз видел ее такою... «Черт возьми,— пробормотал он,— черт возьми, вот это женщина».

Портреты Шарля, Мишеля и Нинет появились в газетах. Слова Нинет о том, что она — парижанка и женщина — принуждена довольствоваться скверными паштетами и однообразной любовью, эти замечательные слова облетели всю Францию. Кафе, где в продолжение пятнадцати лет Антуан Риво пил аперитив, стало знаменитым. Хозяин поставил лавры у входа и место Риво у окна покрыл флером. Шарлю приходилось рассказывать каждому посетителю про свой разговор с Антуаном Риво накануне убийства, про ночную беседу с Нинет, про свою тревогу вечером следующего дня и, наконец,— посещение жилища добряка Риво и ужасное зрелище — труп с перерезанным горлом. «Вы понимаете, мосье,— заканчивал Шарль,— какой опасности я подвергался, когда засыпал после дня, полного трудов, и эта женщина, лежа рядом со мной, обдумывала план убийства. Она имела обыкновение кусать себе ногти, когда лежала в постели».— «О?» — испуганно восклицал посетитель... «Да, да, мосье, кусала ногти».

Так прошла неделя, но убийца, Мишель Риво, все еще не был арестован...

В центре Парижа, в стороне от многолюдных Больших бульваров, есть узенькая улица пятнадцато-

го века, улица Венеции. Она не шире четырех аршин. Дома, построенные уступами, сходятся вверху, оставляя узкую щель неба. У входа в улицу видны остатки цепей времен средневековья. Пыльные окна затянуты паутиной, которую ткали пауки еще при христианнейших королях. К наружным стенам, прямо на улице, прилеплены писсуары, так как внутри домов отхожих мест нет. Мостовая покрыта остатками овощей, куриными внутренностями и еще черт знает чем. Опухшие лица выглядывают из темных лавчонок, из низких входов, из ветхих окон, перекликаются нечеловечески хриплыми голосами или на воровском жаргоне принимаются ругать случайного прохожего, запускают в спину гнилым апельсином. Эта отвратительная щель населена теми, кого на языке науки называют деклассированным элементом. Полиция заглядывает сюда только днем. Время здесь остановилось и загнило.

Седьмой день Мишель Риво ночевал на этой улице, в комнате Заячьей Губы — проститутки, которую знавал еще до войны. В шестнадцатом году, работая в государственном публичном доме на фронте, Заячья Губа заболела дурной болезнью. Ей пришлось деклассироваться. Она занялась перепродажей краденого.

Днем Мишель Риво бродил по Большим бульварам и покупал мелкие, бесполезные предметы, а к часу обеда подавался в рабочие кварталы. Он ел без вкуса, поспешно, иногда прямо на улице. Желудок его был не в порядке. В газетах он прочел интервью с инспектором полиции и понял, что сыщики на ногах — обыскивают Париж кварталами.

Он был в том состоянии спокойного бешенства, когда можно подойти к любому благоустроенному, довольному собой прохожему и перегрызть ему горло.

В сумерки Мишель Риво нырнул в низкую щель лавочки Заячьей Губы «Уголь, вино», помещавшейся на уровне земли. За лавочкой, в сводчатом полуподвале, имелся ход в подземелья древних каменоломен под старым Парижем. Мишель вошел в эту комнату и увидел худощавого незнакомца: положив локти на стол, он курил папироску, пил вино и щурился на свет керосиновой коптилки.

Мишель подался к двери. Незнакомец не спеша сказал:

— Можете спокойно оставаться. Я — вор. Хотите вина?

Из-за двери крикнула Заячья Губа:

— Не опасайся, Мишель, этот человек знаменит, как Виктор Гюго...

Мишель сел на соломенный стул, взял стакан с вином. Коптилка освещала снизу доверху лицо вора хорошей породы и отменного благородства: блестящие, в пышных ресницах, глаза, подстриженные по-английски усы, тонкая сеть мускулов, двигающихся на скулах под матовой кожей, ловко надетая шляпа, черный галстук, полотняное белье...

— Это вы пришили старика Антуана? — спросил вор.

— Да, я, мосье.

— Чем?

— Солдатским ножом.

— Вы дилетант, мой друг. Старика надо было потрошить сухим методом, покуда он пьет аперитив в кафе... Вы погорячились... Жаль, жаль... Вашей голове придется, видимо, сыграть партию в кегли.

Так же, как все эти дни, тяжелый ком подвалил под живот Мишелю Риво. Лицо его стало серым. Вор сказал:

— Расскажите подробности...

— Я вошел, старик читал газету в кресле... Я был взбешен, да, но спокоен. Старик, ничего не спрашивая, скомкал газету и заорал: «Вон!» Тогда я затворил дверь и потребовал тысячу франков...

— Вы затворили дверь,— спросил вор,— намеренно?

— Говорю вам, что я был взбешен... Я отогнул ковер, под которым лежали деньги. Старик завизжал и кинулся животом на отогнутый ковер. Он уронил очки, шапочку и туфли... Он испустил отвратительное зловоние...

Вор с удовольствием щелкнул пальцами:

— Это очень нервит, я знаю... Затем он вас укусил?

— Он меня укусил. Он ухватил меня за ноги, чтобы повалить... Тогда я его зарезал. Он покатился, перевернулся и зашипел, как коробка с гнилыми консервами...

— Мой дорогой друг, можете смело считать себя обезглавленным,— сказал вор.— Полиция не прощает подобного дилетантства. А жаль...

Мишель Риво облизнул губы и жадно выпил стакан вина. Вор ногтем мизинца погнал по столу кусочек пробки.

— Вас можно было бы еще спасти, а?

— Я слушаю, мосье.

— Ваша вина в том, дорогой друг, что вы совершили поступок в состоянии запальчивости. Если бы путем спокойного размышления пришли к заключению, что старика действительно нужно убрать... Тогда — браво, браво!.. У вас недисциплинированная воля. Да. Война испортила человеческий механизм. Стоит хаос, как после тайфуна. Революции! Какой запоздалый романтизм! Игра для детей среднего возраста! Коммунисты, фашисты... Ку-клукс-клан. Скучно. Жизнь потеряла магнетическую силу. Война убила вкус: девчонки стали холодны, как рыбы, вино — кисло, в кабаках зеваешь до слез. Перестали даже писать занимательные книги. А? Вы не следите за литературой? Единственное учреждение, которое еще на высоте, это — полиция. От всей великой культуры остались полицейские корпуса. Говорят еще — идет новая сила: это концерны тяжелой промышленности. Они захватывают жизнь по вертикали. Но это пахнет социализмом наизнанку. Здесь нам, последним индивидуалистам, рыцарям маски и потайного фонаря, делать нечего.

Вор ногтем мизинца смахнул пепел с лацкана серого пиджака.

— Итак, в сфере нашего интереса остается полиция. Кстати, вы уверены, что я не полицейский сыщик? Поставьте стакан, вы проливаете вино... Итак, вы — уверены. Это указывает на вашу прозорливость. Я пришел сюда именно затем, чтобы предложить вам убрать одного господина, который таскается за моими пятками, как легавый кобель. Вам придется обойтись с ним примерно так же, как с дядюшкой Антуаном. После этого я постараюсь переправить вас в Южную Америку. За это — тридцать шансов против ста. Без меня у вас — все сто попасть под нож гильотины...

— Согласен! — неожиданно громко крикнул Мишель Риво.— Эй, Заячья Губа, еще два литра красного...

Этой же ночью Мишель Риво стоял в темной нише ворот на старой улице Фобур Монмартр. Луна подни-

малась из-за мансард. Изредка в гору проезжал автомобиль с гуляками.

Раздались шаги. Мишель сжал зубы. Но, нет,— это прошел пьяненький старик газетчик, похожий на Рабиндраната Тагора, спотыкаясь, бормотал названия газет. Опять — шаги. Прошла усталой походкой девушка в повисшем на голых плечах шелковом плаще. Обернулась, нашла в темноте глаза Мишеля. Усмехаясь, прошла.

Было тихо. Париж засыпал. Париж, Париж! Каждый камень здесь враждебен Мишелю. Родина! Проклятие!

Опять раздались шаги. Мимо ворот быстро прошел вор и, как было условлено, щелкнул пальцами. Мишель пригнулся для прыжка. Сейчас же следом за вором появился человек в сером коротком пальто. Мишель кинулся на него и ножом ударил ему в бок — глубоко и твердо... Человек упал со стоном. Мишель быстро пошел вниз, к бульварам. Он перегнал пьяненького газетчика и девушку,— она опять, взглянув на него, усмехнулась криво. В глазах Мишеля все еще плыл красный свет...

На углу его окликнули. Стоял закрытый автомобиль. Мишель влез в него, откинулся на подушки, зажмурился и оборвал пуговки на вороте мягкой рубашки.

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕНИЕ

В семейном пансионе вдовы коммерции советника фрау Штуле произошло незначительное на первый взгляд событие: за столом появился новый пансионер — плотный, большого роста, громогласный человек.

Он шумно ел, выпил шесть полубутылок пива. Он хохотал, рассказывая племяннице фрау Штуле фрейлейн Хильде пресмешные «вицы», во рту у него блестели два ряда крепких зубов из чистого золота.

Он сообщил соседкам справа, Анне Осиповне Зайцевой и дочери ее Соне, о последних парижских модах:

черный цвет, короткую юбку — долой, носят только полосатое, черное с красным. (У Сони стало сползать платье, оголяя роскошное плечо, на котором она поминутно поправляла бретельки.)

Он поговорил коротко и веско с соседом слева, Павлом Павловичем Убейко, полковником, о хороших делах с печатной бумагой.

Он налил две рюмочки ликеру «Кюрасао Канторовиц» и выпил с напротив сидящим японцем Котомарой за самую твердую из валют — японскую иену. (Котомара открыл желтые, в беспорядке торчащие зубы и сощурился под круглыми очками.)

Он обещался выпить полдюжины шампанского в кабаре «Забубенная головушка», где служил сидевший рядом с японцем озлобленный актер Семенов-второй.

Он неожиданно и громко похвалил обедавшего за тем же столом писателя Картошина: «Вся эмиграция очарована вашим чудным русским языком, господин Картошин». (Это вогнало Картошина в густую краску: потупившись, он принялся наливать себе пива, у него покраснела даже рука.)

Он обратился бы также и к другим пансионерам фрау Штуле, если бы не дальность стола. Он говорил по-немецки и по-русски. Засопев, обгрыз и закурил сигару в два пальца толщины. Он был брит, совершенно лыс и подвижен. Его звали Адольф Задер.

После обеда часть общества перешла в уютный уголок, отделенный аркою от столовой. Там, за кофе и ликером, Адольф Задер рассказал Анне Осиповне Зайцевой и дочери ее Соне свою первую автобиографию.

— Я родился в лучшей семье в городе Кюстрине,— так начал Адольф Задер, плотно глядя на Сонины плечи,— мои почтенные родители прочили меня к коммерческой деятельности. Но я был озорной парнишка. Младший сын герцога Гессенского был мой ближайший друг.

Однажды я говорю: «Папа и мама, я хочу ехать в Мюнхен, хочу сделаться знаменитым художником». Папа был умный человек, он видит — я, как дикий конь, грызу удила, он сказал: «Ну, что же, Адольф, поезжай в Мюнхен».

В Мюнхенской академии меня носили на руках. Что за чудные картины я писал! Со слезами на глазах вспоминаю то время. Кутежи, балы. В меня влюбилось одно высокопоставленное лицо... но не будем об этом. Родители посылали мне каждый месяц двести марок. (Тут все общество радостно засмеялось, иные только покачали головами.) Да, это были золотые марки.

(Отнеся в сторону мизинец с огромным ногтем, Адольф Задер выпил узенькую рюмочку ликеру и стряхнул пепел прямо себе на мохнатый костюм.)

Ничто не вечно под луной, как говорится. Отца хватил удар, мать умерла с горя. Мне на плечи свалилось крупное состояние. Я рыдал, как ребенок, бросая академию. Тяжело, господа,— зачем мне это дело? Зачем мне эти деньги, когда во мне кричит артист? Я даже до сих пор не успел обзавестись семьей: как белка в колесе. Тяжело. Но — я не теряю надежды. Я все брошу, расшвыряю деньги (волнение среди слушателей),— на что мне одному столько денег? Я закушу удила. Я опять возьмусь за кисти и палитру. Только еще не знаю,— где поселиться: здесь, в Берлине, или вернуться в Мюнхен? Мне надоела политика, вот что. Пока шла война, я был совсем болен. А вы думаете — теперь лучше? Ах, оставьте! Кавардак! Сегодня доллар — три тысячи марок, а завтра полторы, а послезавтра пять. Может быть, я совсем покину Европу. Я уеду на Тихий океан. (Соня тревожно оглянулась на мать, Анна Осиповна поправила пенсне.)

Извините, медам, заболтался, еду в банк...

ПИСАТЕЛЬ КАРТОШИН

После обеда Картошин и жена его, Мура, пошли к себе в комнату. Картошин по пути от нечего делать вел пальцем по обоям темного коридора. Он споткнулся на ступеньке и, как всегда, обругал фрау Штуле: «Сволочь вонючая, немка».

Они вошли к себе в комнатку с одним, во двор, окошком, за которым моросил дождь. Мура забралась на плюшевый диванчик и стала глядеть на мокрые стекла. Картошин повалился на постель и лежал, длинный, худой, с большими ступнями, с вялым носом,— курил папиросу.

Такое времяпровождение можно было объяснить только отсутствием денег. Картошин был молодой писатель. Его слава началась в Ростове-на-Дону с газетного фельетона «Рассказ очевидца». Даже в те дни гражданской войны он царапнул по нервам читателей. С тех пор царапанье стало его специальностью. В Берлине о нем напечатали статью, где сравнивали его с Эдгаром По.

Картошин переживал свою славу спокойно и трезво, оценивая ее не литературную, а главным образом денежную сторону. Он не был романтиком. Литература приносила скудные доходы. Хотя, за неимением иного, не плохое было и это занятие.

Так, лежа с огромными башмаками на кровати, посасывая немецкие папироски, воняющие прелыми листьями, он выдумывал рассказы из времен революции. По ночам, когда Мура спала, засунув голову под подушку, Картошин наедался пирамидону, так что сердце трепетало, как мышь в кулаке, и писал.

Мура сама носила продавать его рассказы, торговалась, как цыган, брала авансы. Мура была худая, с нервной спиной, помятая женщина. Замечательными были у нее расширенные глаза, она не смотрела ими, а всасывалась. Она исступленно ревновала Картошина ко всем проституткам. Иногда, среди ночи, он посылал ее на улицу за горячими сосисками. Мура накидывала пальто прямо на рубашку и бежала вниз, на угол, где всю ночь стоял бойкий малый с медной кухонкой, окруженный продрогшими и голодными девушками.

Она покупала четыре горячих сосиски на картонной тарелочке с горчицей, булочку-шриппе и с тоской вглядывалась в мутно-бледные под шляпками с розами, тощие лица проституток. «Которая,— думала она,— которая — смертный враг?»

Картошин положил огромные подошвы на спинку кровати.

— Мура!

— Что тебе нужно?

— А этот с деньгами, с золотыми-то зубами. Хорошо бы подбить его на издательство. (Мура неопределенно передернула плечами.) Ты бы с ним поговорила как-нибудь. А? Взяла бы аванс. Знаешь,— я хочу начать писать что-нибудь крупное, листов на десять. Психологический роман. (Картошин зевнул.) Помоему, его подбить можно. Мурка!

— Что тебе?

— Сбегай за папиросами.

— Не хочу.

— Почему?

— Скучно.

— А ты не гляди в окошко. Мура, а Мура! Он сказал,— у него два вагона бумаги куплено здесь. Надо ему объяснить, черту,— гораздо выгоднее издательство, чем просто спекулировать на бумаге. Устроили бы ярко-антисоветское издательство. Купили бы типографию. При ней — журнал. А потом, глядишь, через год — переносим дело в Москву.

Часа полтора, лежа на постели, Картошин развивал планы деятельности. Мура молчала, потому что, точка в точку, эти разговоры повторялись каждый день. Наконец лежать без папирос надоело. Картошин надел непромокаемый плащ и вышел на улицу.

В этот час на Фридрихштрассе проститутки шли густыми толпами. Их было столько, что исчезало даже любопытство к этим промокшим женщинам с бумажными розами на шляпах или просто на животе. Но, видимо, эти остатки доброй, старой романтики все еще привлекали сизобритых господ в котелках, с тросточками, и озабоченных семейственных немцев, запиравших конторы и меняльные лавки, и оборванных молодых людей с небритыми щеками,— они появлялись на перекрестках, у табачных лавок, глядя куда-то мимо свинцовыми глазами.

Картошин остановился перед витриной с шикарными дорожными вещами. Сейчас же его ущипнули через пальто ниже спины. Он обернулся. Плечистая и костлявая женщина лет сорока глядела на него желтыми глазами и вдруг принялась хмыкать, вытягивая губы трубкой, хихикать,— прельщала. Картошин попятился, людской поток увлек его.

У ювелирного магазина другая женщина, полная, под вуалью, в упор сказала ему: «Алло, я очень развратна». Картошин миновал и это обольщение. Он зашел купить папирос.

Он долго выбирал,— «Маноли», «Мурати», «Бочари» — все это была одинаковая труха из липовых

листьев,— купил десять папирос и сигару почернее, для работы. Затем вошел в пассаж — посмотреть на пенковые трубки. Давно уже было решено,— как только получит аванс, купить пенковую трубку.

Пассаж, построенный еще в восьмидесятых годах, когда-то был бойким местом развлечения берлинцев. Здесь находился знаменитый паноптикум, лавки «парижского шика» и модные кафе. Счастливое, полное надежд было время. Крыша блестела, яркие фонари освещали нарядных людей, построивших прочную жизнь на долгие века. Эти люди верили в добро, в любовь и в безгрешность золотой марки, когда в длинных сюртуках, с баками, с брелоками на цепочках, пробегали по пассажу поглядеть на модную новинку.

Надежды обманули. Мир оказался изменчивым и непрочным. Плодились злые поколения. Беспечность и радость жизни отошли в туман прошлого вместе с сюртуками, баками и брелоками. Пассаж обветшал, тускло горели фонари под грязной крышей. Пыль легла на окна и карнизы. Истлела материя на куклах в паноптикуме, моль источила их волосы. И только мрачный юноша, иностранец, да иззябшая девка приходили сюда погреться, не веря ни в бюст президента Карно, ни в каску Бисмарка, ни в дремлющих в банках спирта раздутоголовых младенцев.

Все же, когда Картошин вошел в пассаж, множество молчаливых людей брело мимо окон, где выставлена дрянь и дребедень. Пыльный свет был холоден, лица — серые, унылые. Шли, глядели на никому в этот час не нужный хлам, зевали...

Картошин прилип к окну с трубками. В это время его хлопнули по плечу, и хохотливый голос прокричал:

— Трубочки? Это — навоз. Я вам привезу трубочку из Голландии. Идет?

Это говорил в свете витрины Адольф Задер. От золотых зубов его шли лучи. Картошин крепко пожал ему руку и сейчас же пожал еще раз,— так ему показалась заманчивой эта встреча.

— Идемте, я хочу угостить вас хорошим вином,— сказал Адольф Задер и покрутил тростью.

«Ушел за папиросами. К обеду не явился. Полночь, его нет...»

Мура металась по комнате, не зажигая света. Ледяными пальцами сжимала то горло, то лицо. Прижималась лбом к ледяной печке и тогда видела:

...Гнусный свет газа... Картошин сидит,— красный, взволнованный... На коленях у него — женщина в черном модном корсете. Волосы взбиты, шея в жилах, нос — туфлей, в пудре... Оба хохочут, курят, целуются...

Мура стонала, металась, прижималась лбом к зеленым изразцам печки и слышала...

Картошин. Ты чудная, ты моя мечта, целуй меня, целуй...

Она *(хохочет).* Ужасно приятный мужчина...

Он. А вот у меня дома так — драная кошка.

Она. Жена твоя? Ха-ха-ха. Почему она драная кошка?!

Он. Нервная, волосы висят. Никакого влечения. Не женщина, а понедельник...

Она. Какая она странная. Как я ее жалею... Хи-хи...

Он. Давай над ней смеяться. Хо-хо-хо, она думает, я за папиросами пошел. Ха-ха-ха...

(Целуются, смеются, она гордится красотой, бельем, он — красный, счастливый — обещает ей книгу с надписью.)

Она. Твоя жена бумазейное белье носит, конечно?

Он. Бумазейное. Ху-ху-ху.

Она. Чулки сваливаются?

Он. Английскими булавками прикалывает. Хм-хм-хм.

Она. Из корсета кости торчат? Рубашка желтая?

Он. У, ты, моя радость, счастье!

Она. А ты жену брось, брось, брось...

Мура кидалась на кровать, ничком. Кусала подушку. Кабы дома быть, в России,— в прислуги бы пошла. А здесь — некуда, никому не нужна, все — чужие, каменные. Мечись по комнатешке. Весь твой мир — кровать, печка, диван, стол... За окном — ночь, дождь, немцы.

Мура соскочила с кровати, вплотную придвинулась к зеркалу, всасывалась в свое отражение и не видела ничего, как слепая.

В это время Картошин и Адольф Задер сидели у «Траубе», ели шницель по-гамбургски и пили мозельское вино. Адольф Задер говорил:

— Уж если я поведу,— будьте спокойны: напою и накормлю. Я кутил во всех городах Европы.

— Я сразу понял, Адольф Адольфович, когда увидел вас за обедом,— вот, думаю, человек, который умеет жить...

— Живем, хлеб жуем, как говорится. Вы слышали, что я рассказывал этим двум дурам? Оставьте. Я взглянул на роскошные плечи Сони Зайцевой, и мне точно кто-то сразу продиктовал мою биографию. Эти плечи нужно целовать! Чего она ждет, о чем думает ее мамаша? Чокнемся. Я не художник. Я родился в Новороссийске, в семье известного хлеботорговца — вы, наверно, слыхали: знаменитый Чуркин. Я его приемный сын. Это была такая любовь ко мне со стороны хлеботорговца, что вы никогда не поверите. Он говорил постоянно: «Адольф, Адольф, вот мои амбары, вот мой текущий счет, бери все, только учись». Широкая, русская душа. Но я презирал деньги, я был и я умру идеалистом. Чокнемся. В гимназии я — первый ученик, я — танцор, я — ухажер. Вы могли бы написать роман из моего детства. Незабываемо! У меня был лучший друг, князь Абамелек, не Лазарев, а другой, его отец — осетинский магнат. Половина Кавказа — это все его. Эльбрус — тоже его. Дворец-рококо в диких горах. Я там гостил каждое лето. Бывало, скачу вихрем на коне. Черкеска, газыри, кинжал,— удалая голова. Находили, что я красив, как бог. Старый князь меня на руках носил. «Адольф, Адольф, ты должен служить в конвое его величества». Поди спорь со стариком. Так и зачислили меня в конвой. А там — Петербург, салоны, приемы... Николай Второй постоянно говорил среди придворных: «У меня в Петербурге две кутилки — Грицко Витгенштейн и Адольф». Наконец я опомнился (после дуэли на Крестовском из-за одной аристократки). Зачем я гублю лучшие силы? Двор мне опротивел,— дегенераты. Чуркин — ни слова упрека, но постоянно пишет: «Адольф, займись полезным делом». Тогда я кинулся в издательскую деятельность. Я основываю издательства, журналы, газеты, Маркс, Терещенко, Гаккебуш

со своей «Биржевкой»... Наконец между нами — Суворин... Я организую, я даю деньги, я всюду, но я — инкогнито... Бывало, Куприн кричит в телефонную трубку: «Адольф, выручай: не выпускают из кабака». Пошлешь ему двадцать пять рублей. Великий князь Константин Константинович... Но об этом я буду писать в своих мемуарах... Я все потерял в революцию, но у меня колоссальные деньги были переведены в английский банк... Сейчас я приехал в Берлин — осмотреться. Хочу навести порядок среди здешних издательств... Что вы на это скажете?

У Картошина вспотели даже глаза. Он оставил стакан с вином и, царапая скатерть, стал развивать план небольшого, но красивого издательства, с ярко-антисоветским направлением. Адольф Задер, не слушая, барабанил ногтями...

— Бросьте,— сказал он,— это мелочь. Мы будем издавать учебники. Не вытягивайте физиономии. Я поставлю дело на миллионный оборот. А вы извольте организовать мне художественный отдел. Издавайте хоть черта, дьявола, но чтобы это было нарядно, денег не пожалею...

— Я бы мог начать писать роман, захватывающая тема...

— Я вижу — вы хотите аванс. Вы не знаете Адольфа Задера. Обер, чернила и бумагу. Пишите;— вы продаете мне роман... Условия...— поставьте цифру сами, я погляжу после того, как подпишу... Обер, еще вина... Можете этим мозельвейном вымыть себе ноги. Дайте нам шампанского. Картошин, скажите прямо — сколько вам нужно на ближайшие два дня? Возьмите двести долларов. Проглотите вашу расписку. Ну, идем, я хочу спать.

Адольф Задер, отдуваясь, повалился в автомобиль. Картошин, растерянно и блаженно улыбаясь, сел рядом с этим чудо-человеком. Всю дорогу он говорил об организации дела, но Адольф Задер не слушал. Он сразу заснул на ветру, шляпа сползла ему на нос.

КИПУЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Адольф Задер проснулся от треска будильника в без четверти девять. С закрытыми глазами вылез из постели, вставил золотые зубы, натянул шелковые

носки и лакированные штиблеты, сопя пошел к умывальнику и вылил на голый череп графин воды.

Затем со спущенными подтяжками сел пить кофе, но, отхлебнув глоток, погрузился в чтение каких-то цифр на бумажке. Пошел к двери и крикнул: «Эмилия, мои газеты!» Взял протянутую в щель пачку газет, вернулся к кофе, отхлебнул еще и развернул биржевые бюллетени. Повторяя: «А! а! а!» — сильно ладонью потер череп, пошел к зеркалу, и в это время ему удалось пристегнуть одну из половинок подтяжек. Шепча ругательства, надел воротник и галстук,— синий с золотыми диагоналями. Вернулся к газетам... И так далее, до половины десятого, Адольф Задер непрерывно боролся с закоренелой неврастенией.

К десяти ему удалось привести себя в волевое состояние. Он надел широкое пальто, закурил сигару и спустился на улицу, где крикнул автомобиль.

Шофер повез его на биржу и ждал его там два часа, затем ждал около банкирской конторы, около парикмахерской, затем повез его за Александерплац и ждал около прокопченного кирпичного здания, от первого до пятого этажа занятого типографиями и складами бумаги; затем Адольф Задер приказал повернуть к Моабиту и ехать не шибко, причем опустил окно автомобиля и все время оглядывал проезжие унылые улицы, точно что-то выискивал. Затем крикнул адрес пансиона. Но по пути вдруг застучал в стекло, выскочил из автомобиля, взял под руку какого-то прохожего с морщинистым, прокисшим лицом, зашел с ним в кафе. Шофер видел через окно, как прокисший человек развернул крошечный узелок и Адольф Задер рассматривал, щурясь от дыма сигары, камни и перстни, надел два кольца на палец, бросил пачку денег и вышел, посвистывая.

В пансионе Адольф Задер появился в час, когда ударил гонг к обеду. За столом все уже знали, что Адольф Задер швырнул огромный куш на издательство и вообще, видимо, швыряет деньги.

Фрау Штуле положила перед его прибором вместо бумажной камчатную салфетку с серебряным кольчиком покойного коммерции советника. Фрейлейн Хильда вышла к обеду в цыплячье-желтом джемпере. Полковник Убейко, мрачный человек, похожий на льва с коробки спичек, не сводил во все время обеда с

Адольфа Задера выпуклых фронтовых глаз,— взял его на прицел, с силой разглаживал на две стороны черную бороду. Картошины счастливо и растерянно улыбались, ели бессознательно. Вчерашнюю замученность Мура постаралась скрыть под пудрой, которая сыпалась ей на платье. Соня Зайцева поминутно вставала из-за стола к телефону,— ее теряющие свои бретельки плечи и роскошные бедра двигались гораздо больше, чем нужно для перехода через комнату.

После обеда Анна Осиповна подошла к Адольфу Задеру и предложила выпить у себя чашечку кофе. Картошин сказал Муре сквозь зубы: «Иди к себе», взял газету и сел в прихожей в плетеное кресло, откуда была видна дверь Зайцевых. Три четверти часа он слушал за дверью громкий голос Адольфа Задера и платком вытирал себе ладони. Время от времени в другом конце прихожей неслышно появлялась черная раздвоенная борода полковника, выпученные глаза его медленно мигали и исчезали вместе с бородой. Когда раздавался серебристый хохоток Сони, Картошин быстро опускал локти на колени и — голову в руки, а густой голос за дверью говорил, говорил, вытачивая, как песок, у Картошина всю душу.

Наконец зазвенели ложки, задвигались стулья. Адольф Задер вышел и не удивился, что к нему мгновенно придвинулись Картошин и Убейко.

— Помещение для редакции найдено? Что же вы все утро дремлете? — сказал он, таща с вешалки пальто... У Картошина мелко зазвенело в голове.— Обегайте весь город, две комнаты под контору, третья под склад, завтра я хочу иметь редакцию.

Он пошел к двери. Убейко осторожно преградил дорогу:

— Беру на себя смелость спросить: могли бы вы уделить мне четверть часа беседы? Весьма важно.

— Шесть часов, кафе «Кёнигин».

Адольф Задер вышел на улицу и купил сигар. На углу к нему подошел сутулый старик в золотых очках и, не здороваясь, сказал:

— Я готов, если вы настаиваете.

Адольф Задер щелкнул языком и, покачиваясь, поглядывая, двинулся по правой стороне тротуара. Он видел, как на верху автобуса проехал в незастегнутом пальто и криво надетой шляпе Картошин. Он прищу-

ривался на чудовищные, с иголочки автомобили,— целые потоки этих новеньких машин летели по зеркальному асфальту. Он бросил мелочь слепому, с изорванным ртом солдату, который шел через улицу, держась за ременную лямку большой собаки с эмалевым красным крестом,— она подвела слепого к углу и лаяла на проходящих, протягивала им лапу, просила милостыню. Таких собак правительство дарило патриотам, ослепшим на войне.

Адольф Задер остановился около русского книжного магазина и презрительно произнес: «Пф, мы им покажем». Непроизвольно сами ноги поднесли его к другой, блестящей витрине, куда глядела шикарная женщина: мягкое платье, черный длинный обезьяний мех на шее и подоле, под мышкой — ручка зонтика из слоновой кости толщиной в полено, маленькая шляпа парижской соломки — на семьдесят пять долларов без обману, и — роскошь форм, любовно колышущихся под чудным платьем.

Мутно взглянул было Адольф Задер на эту носительницу прелестей, но попятился и сейчас же перешел улицу; он не был охотник до сорокапятилетних женщин, да еще жен знакомых дельцов.

На углу к нему подошел молодой человек, одетый, как картинка, и, не здороваясь, пошел рядом:

— Я согласен, если вам нужно.

— Завтра на этом углу,— коротко ответил Адольф Задер и вошел в универсальный магазин. Выбрал две шелковых пижамы, дюжину рубашек и еще некоторую мелочь и прошел в салон-парикмахерскую. Здесь он уселся в квадратное кожаное кресло и положил большие свои руки на подушку барышне-блондинке с потасканным личиком. Барышня проворно принялась за маникюр. Беседа с ней была содержательнее знакомства с вечерней газетой. Адольф Задер вынул из жилетного кармана серебряную коробочку и угостил барышню карамелькой. Затем не спеша он пошел в «Кёнигин» — небольшое модное кафе, все в зеркалах рококо, шелковых диванчиках. Там оживление было на исходе, но еще пар десять танцевали на огненно-красном ковре в слоях сигарного дыма. Адольф Задéр сел подальше от музыки, спросил кофе. Почти сейчас же подошел Убейко.

— Садитесь. Я вас слушаю,— сказал Адольф Задер, придвинув золоченый стульчик, протянул ноги, засунул пальцы в жилетные карманчики и, закусив сигару, прищурился на двух купидонов на потолке...

ЧТО МОЖНО РАССКАЗАТЬ В ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ

— Положение крайне тяжелое,— отчетливо сказал Убейко, сложил короткие пальцы на потертом жилете, уперся выпученными глазами в стол и сидел прямо. Львиное лицо его было красное, измятый воротничок врезался в шею, заросшую жестким волосом.— Ответственность перед членами семьи удерживает от короткого шага. Смерти не боюсь. Был в шестнадцати боях, не считая мелочей. Смерть видел в лицо. Расстрелян, закопан и бежал.

— Мой принцип,— сказал Адольф Задер,— никогда не оказывать единовременной помощи.

— Не прошу. Не в видах гордости, но знаю, с кем имею дело. Хочу работать. Разрешите вкратце выяснить обстановку. В тридцати километрах от Берлина у меня семья,— супруга и четыре дочки, младшей шесть месяцев, старшая слабосильна, в чахотке, две следующие хороши собой, в настоящих условиях только счастливой случайностью могут избежать института проституции. Не строю розовых надежд. Семья питается продуктами своих рук, как-то — картофелем и овощами. Духовной пищи никакой,— девчонки малограмотны.

Адольф Задер потянулся в карман за спичками; полковник молниеносно выхватил бензиновую зажигалку и подал прикурить. И снова сел прямо.

— Все мои сверстники, однополчане — в генеральских чинах. В Берлинах, Прагах, Парижах присосались к горячему довольствию. На мою судьбу выпало — строй, строй и строй. В гражданской войне только слыхал о тыловой жизни,— видеть, повеселиться не пришлось: бои, поход, эвакуация; сапоги снимать на ночь научился только за границей. Обманут кругом. В Константинополе варил халву, состоял букмекером при тараканьих бегах. В Болгарии варил халву. В Берлине варил тянучки. В настоящее время зани-

маюсь комиссионной деятельностью, преимущественно по подысканию квартир. По ночам пою в цыганском хоре в «Забубенной головушке». Вчера смотрю — в зале сидит генерал Белов: в училище я его цукал, заставлял приседать. Пьет с дамами шампанское. Заказал хор. Я с гитарой принужден ему петь: «Любим, любим, никогда мы не забудем». Обидно.

— Ваши политические убеждения? — спросил Адольф Задер.

— В настоящее время исключительно только борьба за существование. Иной раз действительно примешься думать,— и сразу собьешься. Кругом неправда. Злая судьба.

— Работать не отказываетесь?

— При условии ночного отдыха в три с половиной часа и час на еду, остальное в вашем распоряжении.

На потолке в это время погасили лампочки. Отравленные табачным дымом купидоны ушли в тень. Музыканты укладывали в футляры свои инструменты. Адольф Задер поднялся.

— Вы меня растрогали. Пойдемте и поговорим за бутылкой доброго вина.

ТРЕТЬЯ АВТОБИОГРАФИЯ

— Вы знаете — приятно делать добро,— сказал Адольф Задер, сидя напротив Убейко в уютном, отделанном резным дубом, уголку в старом, готическом ресторанчике. Кончали третью бутылку вина.

— Несомненно, Адольф Адольфович, приятное чувство.

— Когда я могу помочь человеку, у меня слезы навертываются на глазах. На что мне деньги? — как сказал поэт. Ну, хорошо — заработай я в десять раз больше Моргана — оттяну я мою смерть на четверть минуты? Скажите, полковник?

— Никак нет, не оттянете.

— То-то. Четыре раза я был богат. Все раскидал. Я философ. Я люблю человечество. Хотя люди — сволочь. Но надо снисходить к слабостям. Разве они виноваты, что они — сволочь? Полковник,— скажите,— виноваты?

— Никак нет, Адольф Адольфович, не виноваты.

— Вы умный человек. Вы меня понимаете. Сколько раз бывало: придет дамочка, плачет и все врет. Ну, хорошо,— я ее выгоню, а что из этого? Лучше я ей дам денег,— и мне приятно, и ей приятно... Надо вам сказать, что я незаконный сын одного лица. Взгляните на меня внимательно,— вы ничего не догадываетесь? Ну, тогда не будем об этом. Если кто-нибудь скажет, что я получил высшее образование,— плюньте на этого человека. С двенадцати лет я — на своих ногах. В России мне стало скучно. Я поехал в Америку. Вы сами можете представить, с чего я начал,— не стыжусь. Я мазал себе лицо патентованной ваксой и на улице мылся щеткой и мылом. Собиралась толпа, я не плохо торговал. Тут был, конечно, маленький обман, хотя вакса как вакса, ничего особенного. Но у меня по лицу пошли прыщи. Ой! Я подумал и сделался журналистом. Я писал громовые статьи. Вот где паршивая сволочь — это газеты! Я узнал людей. Тянул лямку два года, плюнул, поехал в Техас. Я мог бы стать недурным ковбоем, но меня расшибла лошадь, выбила все зубы. Это остатки варварства — человеку ездить на животных,— мы не кентавры. В это время началась русско-японская война. Один человек предложил мне заняться поставками. Мы начали с грошей, а через год у меня лежало в банке полтора миллиона долларов.

— Полтора миллиона,— задумчиво повторил Убейко.

— Во второй раз я занялся поставками во время болгаро-турецкой войны. Я скупал кукурузу. Продолжись эта война еще полгода — я бы стал самым богатым человеком в Европе. Кроме того, умному человеку не советую ездить в Монте-Карло. Затем — война на Балканах,— я опять поправил дела. Вам может показаться странным, что в четырнадцатом году я уже играл в Харбине в драматической труппе. Да, разнообразные шалости устраивает с нами онкольный счет. Я изображал характерных стариков,— находили, что талант. Но началась война. Я взял поставку прессованного сена. В шестнадцатом году я организовал в Москве бюро всероссийской антрепризы с капиталом в два миллиона рублей золотом. Я давал авансы направо и налево. Бывало, Шаляпин звонит: «Адольф, что ты там?..» Я собирался

купить все газеты в европейской и азиатской России. Это — власть. Я бы сумел провалить любую антрепризу. Я законтрактовал сто двадцать театров в провинции. Мои труппы, концертанты и лекторы должны были разъезжать от Минска до Владивостока. Всем известно, чем это кончилось. После Октябрьского переворота меня искали с броневиками и пулеметами, меня хотели схватить и расстрелять, как пареного цыпленка. Я спрятался в дровяном подвале, я жил на чердаке, я спал в царской ложе в Мариинском театре. Я не растерялся, мои агенты не дремали,— за две недели я совершил купчие крепости на двадцать четыре дома в Москве и на тридцать девять домов в Петербурге. Я купил пакет банка Вавельберга. После этого я перешел финляндскую границу. Я хохотал.

— Удивительная энергия,— пробормотал Убейко.

— Европейская война испортила мне печенку,— сказал Адольф Задер, закуривая новую сигару,— я заскучал... Не надо мне ни денег, ни товаров, ни людей. Деньги — бумага, товары — дрянь, а люди, а женщины — мышеедина, как говорится. В Берлине, бывало, идет немец,— семь футов ростом, румяный, штаны белые, того и гляди тебя на дуэль вызовет — такой гордый. К такому человеку попасть в дом — сто пудов земли выроешь лапами, раньше чем придешь к нему в гости. А сейчас какой-нибудь граф — мелкий, лицо нездоровое, в глазах — сок, слеза, и он сам норовит с тобой познакомиться, прибежит к тебе в пансион. Скучно. Вот я и надумал устроить здесь несколько предприятий,— пускай вокруг них кормятся люди. Издательское дело. Типографское дело. Хочу купить газету, побороться с большевиками. На днях организую учетный банк. Что бы такое для вас придумать?

— Не за страх, а за совесть, Адольф Адольфович, готов работать.

— У меня есть идея. Вам известно, что средний обыватель в Берлине держит мелкую валюту,— один, два, пять долларов. Настанет черный день, они продают свои доллары безвозвратно. Я хочу пойти навстречу мелкому обывателю, рабочему, бедному чиновнику: зачем вам продавать валюту, когда я даю за нее небольшую ссуду. Вы всегда можете выкупить вашу пару долларов. Понятно? Я открою ряд маленьких

ссудных контор. Мы не будем вешать вывески,— зачем нам эта официальность? Но нужно заслужить доверие населения. Мы будем им отцами родными. Я вас посажу в лавчонке, вы познакомитесь с кварталом, вы будете ходить на рынок, говорить, внушать... К вам понесут доллары. Вы поняли или не поняли?..

— Но если недоразумения с полицией?

— Вы будете торговать ваксой, спичками, гвоздями,— вы продаете дрянь. Разве я виноват, что само правительство обирает население, как липку. Мы будем бороться с государственным ажиотажем. Помяните мои слова: Шейдеман вгонит немцев в гроб. Ну, идем, я должен ехать выручить одну аристократку из тяжелого положения.

С ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

В какие-нибудь две недели пансион фрау Штуле нельзя было узнать. Куда девались сон и уныние за столом, бутылочки желудочной воды, патентованные пилюли, подвязанные зубы, мучные супчики, кремы брюле, дождливые окна в столовой, низкие серые облака над улицей, где под деревьями присаживаются знаменитые берлинские собаки да по асфальту катаются на колесиках золотушные мальчики, бледные от голода.

Оживление и бодрый тон витали над столом фрау Штуле. Шумные разговоры, хохот, звон стаканов. Пили в изобилии пиво и ликер «Кюрасао Канторовиц». Золотые зубы Адольфа Задера, как прожектором, освещали повеселевшие лица.

Полковник Убейко завел новый галстук и ел и пил за троих, катая глаза в сторону Адольфа Задера; дела в Моабите шли неплохо. Картошин постукивал о пивной бокал золотым перстнем с печаткой, снисходительно рассказывал о процессе творчества. Мура стала носить в волосах огромный испанский гребень. Семенов-второй рассказывал курьезы из жизни актеров в провинции. У него уже был разговор с Адольфом Задером по поводу расширения дела с «Забубенной головушкой». Соня Зайцева сидела теперь рядом с Адольфом Задером. Она душилась парижскими духами «Безумная девственница» и вся была пропитана

грозовым беспокойством этих духов. Фрейлейн Хильда похудела, как москит, стала прозрачной.

Часто приходили с улицы бойкие, шикарно одетые знакомцы Адольфа Задера. Всем чудились между слов грандиозные планы этого человека. Фрау Штуле подняла цены на пансион, и это было принято без ропота.

Адольф Задер слегка располнел за это время. От него никто не уходил с отказом. Дел было по горло. Но он с непостижимой легкостью справлялся с ними. Он гонял из одного конца города в другой на собственном теперь автомобиле, входил в редакцию, в конторы, в банк, шумно разговаривал, приказывал, подписывал. Лучи от его зубов, казалось, намагничивали жизнерадостностью всех его сотрудников. Дела были в периоде организации и разбега.

Убейко начал уже ежевечерне приносить выручку,— вещественную пачку долларов, перехваченную резинкой. Но его работа облечена была тайной.

После трудового дня Адольф Задер водил сотрудников освежаться в кафе. Шли пешком. После дождя пахло бензином, листьями и грозой. На сырые тротуары лился свет из ярких окон. Восковые женщины в черных корсетах, в кружевном белье глуповато улыбались за стеклами, навевая жуткие мечты. Длинной тенью с пылающим глазом проносился автомобиль, вереницы автомобилей. Выше — сыро шумели липы бульвара. Еще выше — в разорванные облачка, в летящий никому не нужный месяц падали две готические башни церкви. Из зарослей плюща, из красного света ресторанов вырывались оборванные, как клочки шелковой юбочки, синкопы фокстрота и шимми, проеденные тайными болезнями. Это была сторона, куда не забредали немцы.

Хотя немцы попадались. У выхода из театрика сидел на тротуаре человек,— бритый череп в белых шрамах, глаза вытекли, на военной куртке — крест. Подняв лицо, он выл глухим, диким голосом песню,— протягивал к проходящим алюминиевые руки.

НОЧНЫЕ БЕЗУМСТВА

— А, Картошин, ну как?
— То есть что — как?
— Говорят — вы стали гордый. Скоро журнал?

— Выходит через две недели.

— Пальто это новое сшили? Ишь, хорошую палочку завел. Настоящая слоновая кость?

— Кажется.

— Так через две недели? Напишем. А издательство?

— В печати два сборника моих рассказов. Собираю материал для альманаха. Талантливого мало.

— Вот повезло человеку. Ну, пока.

Картошин несуетливо раскланялся со знакомцем и пошел далее, постукивая тросточкой. На нем было новое пальто в обтяжку, новая шляпа, внутри которой находилась особая машинка, защемлявшая верхнюю складку. На носу — круглые роговые очки (немцы надевали такие очки лишь по воскресным дням). Он шел в учетный банк к Адольфу Задеру,— назавтра предстояли платежи.

— Картошин, здравствуйте. Я к вам заходил.

— Я принимаю в редакции от трех до пяти.

— Загляну. Я только что написал повесть, замечательно любопытную. Сочно, густо... В центре — любовь. Петербург, вывески с буквами ять. Треуголки лицеистов. Гранит. Она любит мужа. Революция, чрезвычайки, расстрелы. Муж пропадает без вести. Она бежит с другим, сходится. Берлин. Радость от белого хлеба,— вспоминайте. Кружка холодного пива! Вдруг муж появляется. Психологический клубок. Два листа. Мне уже предлагали в нескольких местах по восьми долларов за лист.

— Хорошо, принесите, я прочту.

Переходя улицу, Картошин увидел несущийся пыльный зеленый автомобиль. Он круто свернул к дверям учетного банка. С сиденья стремительно поднялся Адольф Задер, сбросил пыльник и вбежал в банк.

Картошина словно укололо в сердце. Но он сейчас же отогнал неясную тревогу и вошел. Комната с низким потолком была полна клиентов банка. Они жестикулировали, ссорились. Адольф Задер стоял у кассы, как тигр, ощерив зубы.

Картошин долго протискивался к нему и фамильярно взял за рукав. Он обернулся, но не увидел Картошина. Когда же тот сказал: «Я за деньгами, Адольф Адольфович, завтра платить,— мы уже усло-

вились»,— Адольф Задер проговорил быстро: «К черту, к черту!» Картошин обиделся и ушел.

Он прождал весь день, сначала в редакции, затем — дома,— Адольф Задер к обеду не появился. У Картошина начало пусто звенеть в голове. Он лег на кровать. Мура сидела с расширенными глазами на диванчике, затем разрыдалась. Картошин вскочил, принялся швырять на пол книжки и кричал, что его «сводят с ума бабьей истерикой», что он «не может писать крупных вещей, когда у него под ухом — бабья истерика». Он схватил было знаменитую трость, чтобы сломать, но Мура отняла.

Раздался стук. В комнату вошел Адольф Задер. Он был красен, потрепан, но весел.

— Чепуха,— сказал он, сдвигая шляпу на затылок,— ничего не случилось. В чем дело? Дураки устроили небольшую панику. Какие-то люди ходят по городу и уверяют, что надо покупать марки. Идиоты. Испугались доллара... В общем, сегодня я не заработал, но и не потерял ни пфеннига. Едем кутить, я хочу жрать.

В ресторан поехали, кроме Задера, супруги Картошины, Убейко и Семенов-второй. У всех камень свалился с души,— Адольф Задер был цел, весел и полон бурных планов. Пили водку и французское вино. Чувствовалось, что этот вечер кончить просто нельзя.

В ресторане просидели до закрытия, затем взяли автомобиль и поехали на угол Иоахимсталерштрассе и Курфюрстендамм. Картошин, сидевший с шофером, поманил пальцем стоящего под липой человека в котелке. Тот подбежал и шепотом вступил в разговор.

— Только неделю тому назад открыт, останетесь довольны.

— Девочки будут?

— Первые красавицы. Абсолютно голые. Роскошный оркестр. Посетители исключительно американцы и русские.

— Едем.

Незнакомец встал на подножку. Автомобиль свернул в боковую улицу, в другую и остановился на углу. Все вышли. На пустынном тротуаре (немцы все уже спали, наевшись картошки) появился второй незнакомец в котелке. Первый указал на него:

— Не шумите. Спокойно. Он вас доведет.

Подошли к воротам, над которыми была надпись: «Воскресная школа». Второй незнакомец прошептал: «Тсс!» — и открыл под воротами дверку в темное помещение, где Семенов-второй споткнулся о пустые бутылки. Здесь разделись, светя карманным фонариком. Затем поднялись в длинную, оклеенную грязно-зелеными обоями комнату. У стен стояли столы и детские парты, под потолком — лампочки, обернутые розовой бумагой. На стене — карта обоих полушарий. У изразцовой печки сидел старичок гитарист, перед ним сизый скрипач в смокинге — человек с провалившимися щеками,— они играли полечку так тихо, как во сне.

Когда компания Задера разместилась за столом, украшенным бумажным цветком и двумя пепельницами с надписью: «Пиво. Берлинер Киндл»,— с одной из детских парт поднялись две женщины и, не производя шума, принялись танцевать, ходить под едва слышные синкопы фокстрота. Их черные кисейные шляпы покачивались. Гитарист сонно трогал басы, скрипач поворачивал за танцующими мертвенно-бледное лицо.

Подскочивший к Адольфу Задеру хозяин сказал с польским акцентом:

— У нас художественная постановка дела, посмотрите до конца, сейчас начнется съезд, я выпущу лучших девушек Берлина...

Действительно, внизу послышались голоса, и в воскресной школе появилась новая компания — знакомцы Адольфа Задера. Сдвинули столы. Спросили шампанского. Появились новые девушки, без шляп, сели ближе к гостям. Хозяин говорил:

— Вы не думайте, что это какие-нибудь проститутки, это девицы из лучших домов.

— А голые,— скоро голые? — крикнул Картошин.

— Тсс, пожалуйста, говорите немножко тише... Голые женщины с половины третьего...

Появилась третья компания — тоже знакомцы,— они привели знаменитую московскую цыганку, от песен которой плакал еще Лев Толстой. Адольф Задер, багровый, в каплях пота, поднялся навстречу:

— Вошло солнце красное!

Он целовал у цыганки жесткие руки в кольцах, спросил про Льва Толстого и начал было рассказывать четвертую автобиографию, но вскочил, плеснул ладошами:

— Давайте петь. Чем мы не цыгане! Гей, Кавказ ты наш родимый!..

Цыганка сделала сонные глаза и запела про Кавказ. Адольф Задер, а за ним все гости подхватили припев, плеща в ладоши... Хозяин обмер от страха. Но ему крикнули: «Дюжину Матеус Мюллер!» А цыганка пела: «К нам приехал наш родимый, Адольф Адольфович дорогой». Начали славить. Картошин поставил бокал на ладонь и подал его Задеру. «Пей до дна, пей до дна»,— ревели гости. Барышни из лучших домов липли к столу, как мухи.

— Чем не Яр! — закричал Адольф Задер.— А знаете, у меня у Яра был собственный кабинет. Отделывали лучшие художники. Ха-ха! Бывало — генерал-губернатор, командующий войсками, вся знать у меня. Два хора цыган... Всем подарки — золотые портсигары, брошки с каратами, кому деньги... Эх, матушка Москва!..

Он покачнулся, выпучил глаза и пошел в уборную. Шел грузно по каким-то пустым комнатам. Пахло мышами. Надо было пройти еще небольшой темный коридорчик. Адольф Задер вдруг остановился и закрутил головой. Непроизвольно, как бывает только во сне, заскрипел зубами. Но все же вошел в коридорчик. У двери в уборную явственно невидимый голос проговорил: «Продавай доллары». Адольф Задер сейчас же прислонился в угол. Ледяной пот выступил под рубашкой. Стены мягко наклонялись. Он напрасно скользил по ним ногтями. Невыносимая тоска подкатывала к сердцу. Ужасна была опускающаяся на глаза пыль.

Когда Адольф Задер вернулся в залу, томный и мутный,— около стола танцевала голая женщина, делала разные движения руками и ногами.

У нее было мелкое личико в веснушках, локти и колени — синие. Музыка еле-еле слышно наигрывала вальс «На волнах Рейна». Все глядели на девственный живот этой женщины. Она поднимала и опускала руки, переступала на голых цыпочках, но на животе не шевелился ни один мускул. Живот казался почему

то голодным, зазябшим, набитым непереваренным картофелем.

Адольф Задер сел спиною к ней, уронил щеки в ладони:

— Уберите от меня эту — с кишками!

Появилась вторая танцовщица,— полненькая, с перевязанными зеленой лентой соломенными волосами; она тоже была голая, две медные чашки прикрывали ее грудь, как у валькирии. Музыка заиграла «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» (из уважения к русским гостям). Голая женщина села на пол и принялась кувыркаться, показывая наиболее красивую часть тела. Так она докувыркалась до ног Адольфа Задера. Он повернулся и долго глядел, как внизу, на полу перекатывались — соломенная голова, медные чашки, толстые коленки и пышный зад. На лице Адольфа Задера вдруг изобразился ужас,— губы перекривились, запрыгали.

— Зачем? — закричал он.— Не хочу! Не надо!

Он стал пить из бутылки шампанское, покачнулся на стуле и потянул за собой скатерть. Мура закричала, мелко закудахтала, слезы хлынули у нее по морщинкам напудренных щек. (Тоже напилась.) Надо было кончать веселье.

ПОХМЕЛЬЕ

Адольфа Задера втащили под руки в пансион фрау Штуле. К обеду никто из участников кутежа не вышел. Начали выползать только к трем часам — на угол, через улицу, в кафе Майер — пить содовую и шорлиморли. Выяснилось, что утром приходило много народа — спрашивали Адольфа Задера, звонили из типографии, из банка. Но он даже не поинтересовался — кто звонил, о чем спрашивали. На него нашло странное оцепенение.

Так игрок, пойдя по банку, где сейчас — вся его жизнь,— вдруг положит заледеневшие пальцы на две карты... Судьба уже выкинута: вот они — синий и красный крап... Лица их повернуты к сукну. Но приподнять уголок,— рука застыла, сердце стиснуто...

Адольф Задер пил шорли-морли за плюшевой стеной на террасе у Майера. Не хватало решимости купить вечернюю газету, заглянуть в биржевой бюл-

летень. Пришел Картошин; прихлебывая пиво, счел долгом понести чушь про издательство, журнал, альманахи. Он напомнил о платежах. «Завтра»,— сквозь золотые зубы пропустил Адольф Задер. Он взял автомобиль и поехал за город в Зеленый лес.

В рот ему дул сильный ветер. Природа, видимо, существовала как-то сама по себе. Под соснами сидели немки в нижних юбках. Дети собирали сучочки и еловые шишки. Промчался поезд по высокой насыпи...

«Очнись, опасность, очнись, Адольф Задер... Но разве я знаю — что нужно: покупать или продавать?.. Я потерял след... Это началось... Это началось... Не помню, не знаю... Это началось около уборной, мне кто-то сказал... Нет, раньше, вчера... Когда я вбежал в банк, у дверей стояла женщина в смешной шляпке пирожком, худая, старая... Да, да, тогда я подумал: это одна из клиенток Убейко... У нее тряслась голова... Вот и все... Нет, не то, не она...»

— Шофер, какой сегодня день?

— Четверг.

— Как, завтра — пятница?.. Вы с ума сошли!

— Что поделаешь, господин Задер, пятница день действительно тяжелый, да зато другие шесть легкие...

Адольф Задер вернулся в пансион за полчаса до обеда. В прихожей дверь в комнату Зайцевых была отворена. У окна стояла Соня и глядела внимательно и странно. Адольф Задер вошел в комнату. Соня продолжала молча глядеть. Не здороваясь, он сел на диванчик.

— Что вы скажете, Соня, если бы я сделал вам предложение? (Она только мигнула медленно три раза.) Мне нужен друг. Ах, эти все мои друзья,— пошатнись я,— разбегутся как паршивые собаки. Я не жалуюсь. Я только смотрю правде в лицо. Соня, мне нужен друг.

Он говорил очень серьезно и тихо, но Соне почему-то стало смешно, она быстро повернулась к окну. Он не понял ее движения.

— Я отношусь к вам и к вашей мамаше с глубоким уважением, не считайте меня за нахала. Сейчас я пройду к себе. Когда вернется ваша мамаша, я сделаю вам формальное предложение.

За ужином Зайцевых не было. Адольф Задер после второго блюда пошел к ним. У Сони было заплакан-

ное, припудренное лицо. У Анны Осиповны из-под пенсне текли жидкие слезы. Адольф Задер поклонился и вполголоса, как говорят у постели больного, сделал предложение. Соня подошла и холодными губами поцеловала его в череп.

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

На следующий день, в полдень, Картошин, сидевший у себя за столом в редакции, взял телефонную трубку. Послышался голос Убейко, торопливый, срывающийся:

— Где Задер? У вас?

— Нет. А что?

— Разве ничего не знаете?

— Нет. А что?

— На бирже паника. Доллар летит вниз. Кошмар. На улицах кричат, что это — Черная Пятница.

— Какая пятница?.. Не понимаю...

— Сегодня пятница, тринадцатого. Бегу его искать. Приезжайте на биржу.

Этот голос из черной гуттаперчевой трубки был так страшен, что Картошин на несколько минут ослеп. Он ушел из редакции без трости и черепаховых очков. За квартал до биржи был слышен шум голосов, напоминавший дни революции.

На верху широкой лестницы кричали несколько сотен человек, лезли к черным доскам. Проворные руки стирали губками меловые цифры, и мгновенно на черном возникали новые цифры. Из дверей выходили люди с остановившимся взором. Один, тучный, в визитке, сел на ступенях и закрыл лицо. Другой, засунув руки в карманы, глядел перед собой с глупой, застывшей улыбкой.

Наконец из главных дверей биржи медленно вышел Адольф Задер. Голова его была опущена, в руке — обломок трости. Он спустился к своему автомобилю, потрогал крыло, потряс кузов.

— Скажите-ка, шофер, это хорошая машина?

Шофер усмехнулся, вскочил с сиденья, завел мотор, сел, бросил окурок:

— Машина новая, хорошая, сами знаете.

— Новая, хорошая,— закричал тонким голосом

Адольф Задер,— так берите ее себе... Я вам ее дарю... Поняли вы, дурень...

Прежде чем шофер опомнился, прежде чем Картошин успел подбежать,— Адольф Задер вскочил в проходивший с адским визгом по завороту двойной трамвай. Люди, автобусы, автомобили заслонили дорогу, и Картошин еще раз только увидел его в окне трамвая: он, гримасничая, нахлобучивал шляпу.

А доллар продолжал лететь вниз. Бешеные руки стирали и писали меловые цифры. На скамьях перед досками ревели и толкались,— стаскивали стоящих за ноги. Рысью подъехала карета скорой помощи. Из дверей четверо вынесли пятого с мотающейся головой. Зеленые полицейские проходили попарно по площади, удовлетворенно улыбаясь.

За завтраком у фрау Штуле к столу явились только японец да студенты-португальцы. Все уже знали о биржевой грозе, разразившейся над Берлином. Даже в прихожей пахло валериановыми каплями. В комнате Зайцевых было, как в могиле. У телефонной будки шепотом совещались, курили, курили Картошин и Убейко. Несколько раз в прихожей появлялась Мура, умоляюще глядела на мужа, точно хотела сказать: «Пока я тебя люблю — ничего не бойся». Но он гневно отворачивался.

В пятом часу позвонили в парадной. Вошел Адольф Задер, весь обсыпанный сигарным пеплом. Картошин и Убейко рванулись к нему. Он ответил спокойно:

— Сейчас я ложусь спать. Это самое лучшее.

Слышали, как он затворил дверь на ключ и опустил шторы.

Убейко побледнел, покрылся землей:

— Если он пошел спать,— значит, скверно. Он крупно играл. На онкольном счету были не его деньги.

Спустя некоторое время вдруг яростно протопали каблуки, щелкнул ключ, и голос Задера спросил с ужасной тревогой в пустоту коридора:

— Никто не звонил? Что?

Подождал. Дыхнул. Запер дверь. Каблуки заходили, заходили. Стали. Убейко мгновенно вытянул шею, прислушиваясь. В комнате Задера полетели на пол башмаки. Заскрипела кровать. Картошин, с отвисшей губой, с прилипшей к губе папироской, сказал:

— В Прагу надо уезжать. Зовут. Говорят, там возрождается литература.



Он несколько раз пересчитал деньги в бумажнике.
— Пойдемте пиво пить.

Не получив ответа, он ушел, едва волоча ноги, как от желтой лихорадки. Убейко остался один в прихожей. Глаза у него горели от сухости и табаку. В столовой часы пробили половину десятого. Сейчас же в комнате Задера грузно соскочили с постели, голыми пятками подошли к двери, задыхающийся, шамкающий, не похожий на Задера голос спросил:

— Не звонили? Никто мне не звонил?

Убейко лег головой в руки на камышовый столик перед зеркалом. Ему показалось, будто в комнате Задера поспешно, шепотом, спорят, бормочут. Он думал о четырех своих дочерях, не знающих грамоты, о жене. Чтобы подавить жалость — кусал большой палец. Когда часы окончили бить десять — в комнате Адольфа Задера раздался револьверный выстрел. Сейчас же у Зайцевых закричали пронзительно, упали на пол. Изо всех дверей выскочили жильцы. Один Убейко остался спокоен и звонил уже в комендатуру.

Явилась полиция. Взломали дверь. Адольф Задер, в ночном белье, лежал ничком на кровати, мертвый. На ночном столике, под электрическим ночником, сверкали двойным рядом крепкие золотые челюсти, все тридцать два зуба,— все, что от него осталось.

МИРАЖ

За окном вагона плыла кочковатая равнина, бежали кустарники, дальние — медленно, ближние — вперегонку. Мой сосед сидел, засунув пальцы в пальцы. Глядел в окно.

Глаза у него были серые навыкате. Он жмурил их, когда курил папиросу, до половины покрывал веками, когда глядел на кочки и кустарники. Казалось, он устал от своих глаз, видавших многое.

За час до границы он стал глядеть на лежавший в сетке чемодан, весь облепленный багажными наклейками, и заговорил тихим, глухим голосом...

....

...Я болтался на юге по холодным, опустевшим, неподметенным городам, по кофейням с лопнувшими

стеклами, где продавались, покупались последние лохмотья империи. Писал в газетах. Ночью играл в карты. Я пил не слишком много, кокаина не нюхал. Зато я хорошо научился угадывать дни эвакуации по выстрелам на ночных улицах, по тону военных сводок, по особому предсмертному веселью в кабаках. Вовремя уносил ноги.

Я не был ни красным, ни белым. Грязь, тоска, безнадежность. Это было ужасно. Я так брезговал людьми, что научился не видеть человеческих лиц.

Наконец мне все надоело. Я погрузился в трюм на грязный пароход, набитый сумасшедшими, и уехал в Европу. Не важно — где я странствовал, как добывал средства на жизнь. Не важно. Жил скверно. Может быть, даже воровал. Все было бессмысленно, растленно... Пятнадцать миллионов трупов гнили на полях Европы, заражали смрадом.

Под конец — покойно, с любопытством даже — я стал ждать часа, когда омерзение к самому себе пересилит привычку — пить, есть, курить табак, ходить, добывать деньги и прочее...

Помню, одиннадцатого мая, утром я начал, как обычно, бриться и — швырнул бритву на умывальник. Час мой стукнул: не желаю. Я вышел на улицу и в ювелирном магазине продал часы и кольцо,— все, что у меня было. Затем я сел на улице под лавровым деревцом, выпил кофе, спросил у гарсона пачку юмористических журналов. Прежде чем их читать, я быстро решил: кончу сегодня, на рассвете, на мосту Инвалидов. Первый раз за много лет кофе казался так вкусен и журналы так забавны. Я развлекался, как мог, весь день. Вечером пошел играть в клуб на улице Лафайет.

....

В четыре часа пополуночи я вышел из клуба. Я был в выигрыше — сорок семь тысяч франков. Во мне все тряслось, как на морозе. Утро было теплое, влажное. Я ощупывал в кармане толстую пачку денег,— это были какие-то новые возможности. Это изменило мое решение идти топиться с моста Инвалидов.

Я остановился около огромного окна трансатлантической компании, где была выставлена рельефная, с лесами и горами, синяя и зеленая карта. От материков к материкам тянулись красные нити. По ним шли

пароходики со спичечную коробку. На них блестели окошечки из фольги. Я стоял и глядел, дрожа от волнения...

....

Пятнадцатого мая я сел в Гавре на «Аквитанию». Шесть дней пролежал в лонгшезе на верхней палубе, среди шумящих на морском ветру пальм и розовых кустов. Двадцать второго я сошел с парохода на набережной Нью-Йорка. У меня было непереставаемое, восторженное сердцебиение: новый мир, новая жизнь,— Россия и Европа, войны и революции были прочитанной книгой.

У подъезда отеля мои чемоданы схватил негритенок в ярко-голубой куртке. Из зеркального лифта скалил зубы, как клавиши, другой негритенок в ярко-малиновой куртке. На двенадцатом этаже я вошел в лакированную штофную комнату. Я утонул в сафьяновом кресле и закурил зеленовато-влажную двухдолларовую сигару.

Я сидел и повторял про себя: «Ты — в математическом центре культуры индивидуализма, черт тебя задави». От движения мизинца растворяются двери, негры с четырьмя рядами золотых пуговиц на куртках мгновенно исполняют желания из сказок Шехеразады. Вот три телефона — я могу соединиться с магазином, с рестораном, с биржей, с любым городом. Я могу приказать: «Купите Тихоокеанскую железную дорогу». Через тридцать секунд маклер ответит: «Сделано».

Я грыз ногти. Сказка про сотворение земли несомненно была придумана в нищей Европе жалкими пастухами... Здесь, в сафьяновом кресле, у человека в миллион раз больше возможностей, чем у самого Саваофа.

Обкусав ногти, я спустился в парикмахерскую. Меня приняли в благоухающий халат, опустили лицо в паровую ванну, обложили щеки горячими полотенцами, душили, расчесывали, затем — предложили мороженое с персиками, затем — побрили.

Я пошел завтракать в колонный зал такой величины, что внутри его мог бы поместиться уездный городишко вместе с пожарной каланчой.

Какие там я видел цветы, ковры, люстры! Какие женщины завтракали в зале! Женщины чудовищной

красоты: широко расставленные огромные глаза, крошечные рты, фарфоровые, равнодушные личики... Такой фантазии не увидеть и в сыпнотифозном жару. Куда тут соваться с моими франками!..

После завтрака я сидел в холле у камина, курил черную сигару. Разумеется, я думал о том, что буду иметь сто миллионов долларов, чего бы это мне ни стоило. Нужно только желание, желание и желание... Я добуду эту роскошную груду долларов... Всю их употреблю на одного себя, до последнего цента... Моя личность слишком долго была закупорена... я хочу, наконец,— черт всех задави,— стать личностью с большой буквы, написанной золотом. Каждый волосок на моей голове будет священен... Драгоценнейший — Я. Обожаемый всеми сегодняшними красавицами — Я. Мои слова, обсосок сигары, огрызок ногтя, слюна из моего рта — благоговейны... Напрасно, господа, заставляли меня шесть недель валяться на константинопольском тротуаре перед бывшим российским посольством... К черту Европу, войны и революции... Мое отечество — это,— здесь, у огня,— кожаное кресло... Сытый желудок, дым сигары, восторг абсолютной свободы.

....

Напротив меня, в кресле, сидел кислый, костлявый человек, видимо страдающий несварением желудка. После некоторого наблюдения надо мной он сказал:

— Вот уж семнадцать минут вы разговариваете вслух. Во-первых, я вижу, что вы — русский, во-вторых, что вы намерены заняться биржевой игрой. Меня зовут Сайдер. Я могу сделать вам солидные предложения. Вы хорошо сделаете, если не будете мне доверять, но я представлю гарантии. Хотите видеть Джипи Моргана?..

...Наш разговор у камина продолжался два часа сорок минут. Я понял, что нужно играть на понижение,— только на понижение: в этом была историческая, социальная, даже геологическая правда. «Сама земля играет на понижение,— говорил Сайдер с кислым лицом,— там землетрясение, и там землетрясение, там засуха, там ураган... Вы послушайте,— даже климат играет на понижение: когда нужно холодно, то — тепло, а когда нужно тепло, то — холодно»...

....

Утром на следующий день я внес все мои деньги в банкирскую контору, мы с Сайдером пошли смотреть на Джипи Моргана. У гранитного подъезда банка стояло человек пятьдесят биржевых воротил. Они молчали мрачно, или брезгливо, или коротко лаяли сквозь зубы. У всех выдавались вперед каменные подбородки, Сайдер тоже выпятил подбородок, стал еще кислее. Ровно в одиннадцать из-за угла вынырнул чудовищный автомобиль. В нем сидел щуплый человек с кривоватым носом, с узким, сонным лицом, в котелке, надвинутом на глаза... Это был Джипи Морган.

Все пятьдесят биржевых воротил стали пронзительно глядеть на сигару Джипи Моргана,— в каком углу рта сигара у Джипи (если в левом — Джипи играет на понижение, если в правом — Джипи играет на повышение). Сигара была в левом углу. Сайдер шепнул мне: «В левом, чтоб мне так жить!..» Автомобиль стал. Джипи распахнул дверцу и перекатил сигару в правый угол. Биржевые воротилы зарычали, сбитые с толку. Всё же они тесно сдвинулись к автомобилю и низко сняли шляпы. Джипи приложил палец к котелку, прорычал что-то через сигару и прошел в гранитный подъезд ....

....

По совету Сайдера я продал на июнь «Нефтяные Южно-Техасские», которых у меня не было, конечно. Я был в восторженной уверенности, что к июню в южном Техасе будет либо землетрясение, либо сгорят все нефтяные прииски, и я положу в карман разницу. В июне в Техасе было благополучнее, чем когда-либо, и разницу положил в карман Сайдер. Тогда я сыграл на «бесс» на австралийском хлопке, и опять разницу положил в карман Сайдер. Восемнадцатого июля, в два часа и семь минут пополудни, я в кровь разбил ему кислую рожу у подъезда гостиницы, из которой уходил навсегда, оставив в номере чемоданы ....

....

Теперь и в голову не приходило, например,— махнуть с Бруклинского моста в воду. У меня начал расти каменный подбородок. Я еще свирепо верил в право моей личности на сто миллионов долларов.

Полтора месяца я чистил башмаки на улицах, продавал газеты, стоял в полосатом фраке у входа в кино и золотой тростью показывал на огненную вывеску, и так далее... Скучно рассказывать. Я ждал удачи, писал письма, бегал по адресам... Наконец повезло. Я чистил чьи-то башмаки, поднял голову, и владелец башмаков оказался старым знакомцем: он держал контору и ввязывался торговать с Москвой.

В этот день я прыгнул с тротуара на двадцать восьмой этаж небоскреба в контору — в две комнаты — «Экспорт — импорт, Гарри и Воробей, Компани». Я сел за дубовую конторку, раскрыл книгу входящих и исходящих, и абсолютно свободная личность моя уложилась в двадцати семи долларах в неделю. Все мое остальное оказалось вне котировки — непригодным для «Экспорт — компани»..

....

Шесть дней в неделе были таковы. В половине восьмого утра я судорожно схватываю трещащий будильник и не больше минуты сижу с вытаращенными глазами. Одевание, бритье, чашка шоколада — десять минут. Лифт вниз, сто двадцать два шага до подземной дороги, лифт под землю, семь станций под землей, два лифта наверх, на улицу, сто четыре шага через улицу и площадь, затем лифт-экспресс до тридцатого этажа, затем два марша пешком вниз по лестнице,— на все это — семнадцать минут. Ровно в восемь я сажусь за конторку, сморкаюсь.

До часу дня я пишу, режу ножницами, вклеиваю. Мой хозяин, Воробей (Гарри вообще никакого нет), читает вылезающую из телеграфного аппарата ленту. Экспорта, импорта у нас, конечно, тоже никакого нет (если не считать ящика с гуттаперчевыми манишками и воротниками для русских крестьян). Воробей, поставив одну ногу на стул, стоит у телеграфного аппарата и крутит пуговицы на жилете. Я отвечаю на письма. Вся остальная деятельность конторы для меня — тайна.

В час я срываюсь с конторского стула и — в лифт, вниз — через улицу, в ресторан. Воробью всегда кажется, что — отвернись он, и непременно пропустит какую-то счастливую котировку каких-то бумаг,— он остается в конторе у аппарата, ест сандвичи, тащит ленту.

В ресторане — длинном изразцовом коридоре — я, проходя, схватываю контрольную карточку и поднос. Бегу к прилавку,— на нем дымятся несколько сот блюд на тарелках. Указываю на ближайшие. Повар швыряет их мне на поднос. Юркая барышня ловко пропечатывает карточку. Бегу с блюдами к свободному столику. Лакей стремительно ставит предо мной графин с ледяной водой, хлеб и шевырюшки масла. Ем. Пихаю в живот рыбу, говядину, соуса, пудинги.

Вдоль изразцовой стены пятьсот конторских служащих, рабочих, шоферов и так далее делают то же, что и я. На всю еду — пятнадцать минут. Вскакиваю. Плачу по карточке. Ровно в два я — за конторкой. Воробей продолжает читать колонки цифр на телеграфной ленте. Весь жилет у него обсыпан крошками, на губах — запекшийся сигарный сок.

Так до шести идет максимальное напряжение трудового дня, не потеряно ни секунды. Воробью удается обычно рвануть с ленты несколько цифр и по телефону продать их, либо купить,— получить разницу: пятьдесят, сто долларов. День кончен.

В шесть я захлопываю книги, надеваю пиджак, рычу Воробью: «Добрый вечер» — и еду домой. В голове трещат, грохочут колеса. Во рту сухо. Под кожей дрожат все жилочки.

В половине седьмого я беру горячую ванну, бреюсь, надеваю шелковую рубашку (я не хам), смокинг и выхожу на улицу наслаждаться жизнью.

Я абсолютно свободен. Обедаю — медленнее, чем днем. Выкуриваю сигару. Обдумываю, куда мне деться. Понемногу я начинаю понимать, что меня, несмотря на шелковую рубашку и смокинг, никто сегодня вечером не ждет, никуда не звали, ни одному человеку из этих десяти миллионов я не нужен. Иду в синематограф.

На экране кино суета еще больше, чем в жизни, но зато беззвучно,— это хорошо. В антракте ем мороженое. Курю. Затем — иду домой по улицам, полным таких же, как я, личностей в смокингах. Толкаюсь, глохну от гама и треска, задыхаюсь от человеческих испарений и бензиновой вони, слепну от огненных реклам, пылающих на крышах и облаках.

В двенадцать я — дома. Лежу и курю приторные папиросы. Сна нет. Сердце стучит, как мотор мотоцик-

летки. Курю, чтобы одуреть. Мозг весь высох. Все чудовищно бессмысленно...
....

Воробей решил продавать Советской России лампочки для карманных фонариков и послал меня на завод за браком.

Я ехал в купе один. Глядел в окно. Был ветреный весенний день. Мне было тревожно. В купе кто-то вошел, сел напротив, щелкнул замочком. Затем солнечный зайчик от зеркала скользнул мне по лицу. Я взглянул. Передо мной сидела чудесной красоты девушка из породы тех, кого я видел в первый день приезда. Детское озабоченное личико, поднятые наверх небрежные светлые волосы и синие, широко расставленные глаза.

Я не остерегся. Я стал глядеть в эти глаза, синие, как ветреное небо.

Какая уж там прежняя самоуверенность,— у меня даже мысли не было и заговорить с девушкой... Глядел ей в глаза, как чахлая птица из подвала на весенний день... Уверяю вас,— в такой день такие глаза у женщины кажутся родиной. Глядишь и чувствуешь, что ты — бродяга, бродил бездомно,— пора на родину. Я был взволнован, растревожен, несчастен.

На остановке девушка вышла. Я вздрогнул,— так сердито она оглянулась на меня... Через минуту она вернулась с жандармом, указала на меня кружевным зонтиком и сказала:

«Этот господин намеревался лишить меня чести. Я готова дать показания».

Меня отвели в комендатуру. Составили протокол на основании показаний синеглазой красавицы. По законам Америки этого было достаточно. Меня отвели в тюрьму. Через двадцать четыре часа был суд. Я чистосердечно все рассказал. Красавица была ужасно удивлена,— она была неплохая девушка, к тому же, видимо, ей польстили мои слова об ее глазах. Она отказалась от преследования. Я заплатил пени и вернулся в Нью-Йорк без лампочек.................................
....

Воробей меня выгнал: в субботу я получил свой обычный чек на двадцать семь долларов и записочку: «Благодарю вас». Я снова очутился на тротуаре. Но теперь мне не было охоты наживать сто миллионов

долларов. Не для того меня родила мать, чтобы я из последних сил помогал Воробью выколачивать разницу. Не хочу больше всей этой бессмыслицы, не принимаю. Мираж... Мираж... Я не сумасшедший. Назад, домой, на родину..
....

У границы поезд медленно проходил сквозь деревянные ворота в Россию. На кочковатом поле, у полотна, стоял рослый красноармеец в шишаке, с винтовкой за спиной, и равнодушно глядел на окна вагонов. Ветер отдувал полы его шинели, видавшей виды.

За спиной его — холмы, леса, поля на многие тысячи верст. Грядами не спеша плывут серые облака.

В СНЕГАХ

Ночью на верху снежного холма появился человек в собачьей дохе, взглянул на открытый, залитый лунным светом, крутой косогор, поправил за спиной винтовку и шибко побежал вниз на широких лыжах,— закутался снежной пылью.

За ним появился на гребне второй человек, и — еще, и — еще,— в подпоясанных дохах. Один за другим,— откинувшись, раздвинув ноги,— слетали они вниз, где на снегу лежали синие тени от сосен. Скатились и пропали в лесу.

Спустя небольшое время на ту же гору вышел волк, за ним — стая. Волк сел. Иные волки легли, положили морды на лапы,— слушали, глядели туда, где под горой за лесом блестели две морозных полосы рельсов.

Волки были гладкие. Они давно шли следом за партизанами. Партизаны, через сопки и леса, забегали глубоко в тыл отступавшим остаткам войск несчастного правителя. На тысячи верст поднялись на хуторах и деревнях сибирские мужики,— бросились в погоню за несметными, уходившими на восток сокровищами правителя.

Тою же ночью невдалеке от этих мест тащился на восток закутанный дымом товарный поезд. Дымило,

валило искрами из каждой теплушки. В иных горели печки, жаровни, а где и костры посреди вагона.

У огня сидели странные люди — закопченные, с голодными, страшными глазами, в рваных шинелях, в тулупах, кто просто в бабьей шубе, с отмороженными носами, ногами, обмотанными в тряпье.

Люди глядели на огонь. Шутки были давно все перешучены, было не до шуток. Ехали третью неделю от самой Москвы в погоню за сокровищем,— оно, окруженное остатками войск правителя, все дальше уходило на восток.

Вдруг загремели цепи, заскрипели буфера, стали вагоны. Двери — настежь. Вылезай!

Повыскакали из вагонов. Повалил пар. От крепкого мороза ломило дух. Кругом луны — семь радужных кругов. Из снега торчали обгорелые столбы станции. Охриплыми голосами кричали командиры.

Бойцы пошли редкой цепью по снежной равнине, куда — неизвестно, края не видно. Шли, ложились в цепи. Поднимались, опять брели по жесткому, волнистому снегу, спотыкались о наметенные гребни.

Несколько человек в эту ночь видели такое, что потом, когда после боя вернулись в теплушки,— сразу не могли рассказать: стучали зубами. Видели,— стоят на равнине голые мужики, один от другого саженях в пятнадцати. Мужики, для крепости политые водой, и рука поднятая указывает дорогу. Говорят, правитель наставил много таких вех на дорогах.

Бой в эту ночь был легкий, неприятель к себе не подпустил, скрылся. Так и не разобрали — с кем дрались: с правителем, с чехами, с атаманами.

Сели в теплушки, поехали глубже на восток в погоне за сокровищем.

Сокровище — двадцать тысяч пудов золота — ползло в двадцати вагонах по снежным пустыням на восток. За вагонами тянулся кровавый след. Поезд пробирался вперед, как зверь, окруженный волкодавами.

Невидимые, пронзительные лучи шли от этого золота, затерянного в снегах. Кружились головы, из стран в страны летели шифрованные депеши. Произносились парламентские речи о походе на Москву.

Подписывались кредиты на покупку оружия. Снаряжались войска.

Двадцать тысяч пудов золота двигалось на восток, все ближе, ближе к открытому морю. Еще усилие, и — казалось — золото будет вырвано из пределов сумасшедшей России, и тогда — конец ее безумствам.

Но, стиснутая до пределов княжения великого князя Ивана Третьего, Советская Россия отчаянно билась на четыре стороны — пробивалась к хлебу, к морю, к золоту.

В ту же ночь в Париже, после совещания, уполномоченный правителя спустился в огромный, крытый стеклом вестибюль русского посольства и, натягивая тесные перчатки, смеясь, говорил генералу, уполномоченному от южной армии:

— Уверяю вас: мы либералы, мы истинные республиканцы. После вашего доклада, генерал, наши старики полезли под стол. Что вы натворили, ваше превосходительство?

Генерал злыми, мутными глазами глядел на уполномоченного: лицо — румяное, отличная борода, веселые глаза, качается на каблуках, дородный, рослый. Схватил генерала за руку, с хохотком потянул вниз.

— Ваше превосходительство, четыре су не дадут французы под ваш доклад. Зачем эти ганнибаловы сражения? Мы должны идти с развернутыми знаменами, население восторженно нас приветствует, красные полки радостно переходят на нашу сторону... Уверяю вас,— французам надоели военные события, они жаждут идеального. Например: золотой поезд — это вещь. С каждым днем он приближается к Владивостоку,— с каждым днем французы становятся уступчивее в кредитах. А у вас все — горы трупов. Идеально,— если бы вы ухитрились дойти до Москвы без выстрела.

— Вы смеетесь?— спросил генерал, посмотрел себе под ноги, повел усами, надел дешевый котелок, летнее пальто и вышел. Февральский ветер подхватил его на подъезде, пронизал до костей.

Уполномоченный, придерживая мягкую шляпу, выскочил из такси, перебежал хлещущий дождем тротуар, сбросил пальто на руки швейцару, спросил: «Меня ждут?» Швейцар, сочувствуя любовному похождению, ответил: «Мадемуазель только что приш-

ла». После этого уполномоченный поднялся во второй этаж ресторана, чувствуя особенную легкость от вечерней одежды, от музыки, от света.

В кабинете горел камин, пахло углем и горьковатыми духами. На диване сидела в черном платьице мадемуазель Бюшар, закрыв кошачьей муфтой низ лица.

У камина стоял ее брат, молодой человек, чрезвычайно приличный, с усами. Он поклонился и остался очень серьезен. Мадемуазель Бюшар, не отнимая муфты от подбородка, подала голую до плеча, красивую руку.

Уполномоченный, вздохнув, поцеловал ее пальцы, сел на диван, вытянул огромные ноги к огню, улыбнулся во весь зубастый рот:

— В такую погоду хорошо у огня...

Брат мадемуазель Бюшар сделал несколько веских замечаний относительно парижского климата, затем похвалил климат России, о котором где-то читал.

Метрдотель, за ним лакей и метр погреба внесли еду и вино. Метрдотель строго оглянул стол, носком башмака поправил уголь в камине и, пятясь, вышел.

Мадемуазель Бюшар, молоденькая актриса из театра Жимье, положила муфту на диван и ясно улыбнулась уполномоченному. У нее была широкая во лбу, с остреньком подбородком, хорошенькая мордочка, вздернутый нос и детские глаза. Она пила и ела, как носильщик тяжестей. После второго блюда брат мадемуазель Бюшар счел долгом рассказать несколько анекдотов, вычитанных из вечерней газеты. Мадемуазель, раскрасневшись от вина и каминного жара, отчаянно хохотала.

Уполномоченный сам сегодня читал эти анекдоты, и хотя он знал, что брат мадемуазель Бюшар — никакой не ее брат, а всего вернее — любовник, и что мадемуазель твердо решила не предоставлять уполномоченному своих прелестей иначе, как обеспечив себя контрактом,— все же ему было и весело сегодня и беспечно.

Поглядывая на голую до поясницы худенькую спину мадемуазель Бюшар, на все убогие ухищрения ее платьица, посмеиваясь, он повторял про себя: «Дурочка, дурочка, не обману, не бойся, все равно кормить тебя буду не хуже, а лучше, рахитик тебе поправим, а когда в твоем квартале узнают про

золотой поезд,— будешь самым знаменитым котенком в квартале...»

После шампанского брат мадемуазель Бюшар сильно наморщил лоб и, глядя на снежную скатерть, сказал глуховато:

— Дурные вести с восточного фронта, надеюсь, не подтверждаются?

— Какие вести?

— Час тому назад курьер нашего департамента показывал мне радио...

Брат мадемуазель Бюшар обернулся к камину, бросая в огонь окурок. Мадемуазель Бюшар,— что было совсем странно и жутко даже,— не детскими, но внимательными, умными глазами взглянула на уполномоченного. Ротик ее твердо сжался.

— Золотой поезд правителя — так мне сказал курьер — захвачен большевиками...

— Чушь!— Уполномоченный поднялся, толкнулся три шага по кабинету, почти весь заслонил его собою.— Чушь, провокация из Москвы...

— А! Тем лучше.

Брат мадемуазель Бюшар принялся за кофе и коньяк. Она взяла муфту и зевнула в кошачий мех. Уполномоченный заговорил о неизбежном крушении большевиков, о близком братском слиянии Франции и возрожденной России, но вдруг почувствовал, что забыл половину французских слов. Он насупился, и щипцами принялся ковырять угли в камине. Ужин был испорчен.

В ту же ночь, покуда волки глядели с вершины горы, лыжники-партизаны подошли к железнодорожному полотну. Иные рассыпались между стволами, другие вытащили из-за пояса топоры,— и зазвенели, как стекло о стекло, топоры о морозные деревья.

Мачтовая сосна покачнулась в небе снежной вершиной, заскрипела и повалилась на блестевшие под луною рельсы.

Звонко стучали топоры. И вдруг чудовищный вой разодрал морозную ночь. Задрожало железнодорожное полотно. Багровыми очертаниями выступили одинокие сосны на косогорах.

Из-за поворота, из горной выемки, появился огромный поезд с двумя пышущими жаром паровозами,

с блиндированными вагонами и платформами, с тускло отсвечивающими жерлами пушек.

Вылетели ослепительные огни. Отсветы вспыхнули на снежных вершинах. Рявкнули орудия, затактакали пулеметы, отдаваясь эхом.

Поезд налетел на поваленные деревья и стал.

Из темного леса, из-за каждого ствола, чиркал огонек винтовочного выстрела, как горохом, пули колотились о стальные блиндажи... Выли два паровоза, окутанные паром...

Этой же ночью эшелон, идущий из Москвы, выгрузился на полустанке среди разбитых вагонов, околевших лошадей, среди тысяч орущих красноармейцев.

Мороз был лютый. Семь радуг — вокруг луны. Пар валил от людей, от костров. За лесистой горой мерцало зарево,— там горели склады правителя.

По снежной равнине уходили цепи. Визжа полозьями, уходили сани с пулеметами и орудиями.

Вдали, куда уходили цепи, лунное марево вздрагивало от двойных ударов,— это золотой поезд правителя, попавший в засаду, отбивался от партизан.

Поезд кругом в огне. Спереди и сзади завалили путь. Разбирают рельсы. Наседают голодные, в попонах, в коврах, в бабьих шубах, прокопченные, со страшными глазами.

Все теснее их круг. Броневые орудия на платформах замолкают одно за другим. Люди поднимаются из снега, карабкаются на железнодорожную насыпь,— сотни, сотни,— облепляют вагоны.

В ту же ночь поезд с золотым сокровищем двинулся обратно на запад. Исходящие из него невидимые лучи произвели фантастический протуберанец в зимней атмосфере,— у многих погибли надежды, лопнули планы, безнадежно поникло много эмигрантских голов...

Уполномоченный правителя, вернувшись из ресторана, до утра, сжимая в кулаке телеграмму, просидел на кровати,— раскачивался, как от зубной боли.

Стучал железными ставнями гнилой ветер. Барабанил дождь по стеклам. Ледяная тоска сжимала сердце.

— Ужасно,— повторял он,— ужасно... Все как карточный домик... Ужасно...



ПОХОЖДЕНИЯ НЕВЗОРОВА, ИЛИ ИБИКУС

КНИГА ПЕРВАЯ

Давным-давно, еще накануне Великой войны, Семен Иванович Невзоров, сидя как-то с приятелем в трактире «Северный полюс», рассказал историю:

— Шел я к тетеньке на Петровский остров в совершенно трезвом виде, заметьте. Не доходя до моста, слышу — стучат кузнецы. Гляжу — табор. Сидят цыгане, бородатые, страшные, куют котлы. Цыганята бегают, грязные — смотреть страшно. Взять такого цыганенка, помыть его мылом, и он тут же помирает, не может вытерпеть чистоты.

Подходит ко мне старая, жирная цыганка: «Дай, погадаю, богатый будешь,— и — хвать за руку: — Положи золото на ладонь».

В совершенно трезвом виде вынимаю из кошелечка пятирублевый золотой, кладу себе на ладонь, и он тут же пропал, как его и не было. Я — цыганке: «Сейчас позову городового, отдай деньги», Она, проклятая, тащит меня за шиворот, и я иду в гипнотизме, воли моей нет, хотя и в трезвом виде. «Баринок, баринок,— она говорит,— не серчай, а то вот что тебе станет,— и указательными пальцами показывает мне отвратительные крючки.— А добрый будешь, золотой будешь — всегда будет так»,— задирает юбку и моей рукой гладит себя по паскудной ляжке, вытаскивает груди, скрипит клыками.

Я заробел,— и денег жалко, и крючков ее боюся, не ухожу. И цыганка мне нагадала, что ждет меня судьба, полная разнообразных приключений, буду знаменит и богат. Этому предсказанию верю,— время мое придет, не смейтесь.

Приятели Семена Ивановича ржали, крутили головами. Действительно: кого, кого — только не Семена Ивановича ждет слава и богатство. «Хо-хо! Разнообразные приключения! Выпьем. Человек, еще графинчик и полпорции шнельклопса, да побольше хрену».

Семен Иванович,— нужно предварить читателя,— служил в транспортной конторе. Рост средний, лицо миловидное, грудь узкая, лобик наморщенный. Носит длинные волосы и часто встряхивает ими. Ни блондин, ни шатен, а так — со второго двора, с Мещанской улицы.

— А я верю, что меня ждет необыкновенная судьба,— повторял Семен Иванович и хохотал вслед за другими. Ему сыпали перец в водку. «Хо-хо, необыкновенная судьба! Ну и дурак же ты, Семен Невзоров,— сил нет...»

Дни шли за днями. На Мещанской улице моросил дождь, расстилался туман. Пахло на лестницах постными пирогами. Желтые стены второго двора стояли, как и сейчас стоят.

Семен Иванович служил без прогулов, добросовестно, как природный петербуржец. В субботние дни посещал трактир. Носил каракулевую шапку и пальто с каракулевым воротником. На улице его часто смешивали с кем-нибудь другим, и в этих случаях он предупредительно заявлял:

— Виноват, вы обмишурились, я — Невзоров.

По вечерам иногда к Семену Ивановичу приходила любовница, по прозванию Кнопка. После баловства она обыкновенно спорила, обижалась, шуршала, чтобы он на ней женился. Жить бы ему да жить: шесть дней будней, седьмой — праздничек. Протекло бы годов, сколько положено, опустевшую его комнату, с круглой печкой, с железной кроватью, с комодиком, на котором тикал будильник, занял бы другой жилец. И снова помчались бы года над вторым двором.

Так нет же,— судьба именно такому человеку готовила беспокойный и странный жребий. Недаром же Семен Иванович заплатил за гаданье маленький золотой. В цыганкины слова он верил, хотя правду надо сказать,— пальцем не пошевелил, чтобы изменить течение жизни.

Однажды он купил на Аничковом мосту у мальчишки за пятак «полную колоду гадальных карт девицы Ленорман, предсказавшей судьбу Наполеона». Дома, после вечернего чая, разложил карты, и вышла глупость: «Символ смерти, или говорящий череп Ибикус». Семен Иванович пожалел о затраченном пятаке, запер колоду в комод. Но, бывало, выпьет с приятелями, и открывается ему в трактирном чаду какая-то перспектива.

Эти предчувствия, а может быть какие-нибудь природные свойства, а может быть самый климат — туманный, петербургский, раздражающий воображение,— привели Семена Ивановича к одной слабости: читать в газетах про аристократов.

Бывало, купит «Петербургскую газету» и прочтет от доски до доски описание балов, раутов и благотворительных базаров. «У графа такого-то на чашке чая парми присутствующих: княгиня Белосельская-Белозерская, графиня Бобринская, князь и княгиня Лобановы-Ростовские, светлейший князь Салтыков, князь Юсупов, граф Сумароков-Эльстон...»

Графини представлялись ему с черными бровями, среднего роста, в кружевных платьях. Княгини — длинные, блондинки, в платьях электрик. Баронессы рыжеватые и в теле. Граф — непременно с орлиными глазами. Князь — помягче, с бородкой. Светлейшие — как бы мало доступные созерцанию.

Так Семен Иванович сиживал у окошка; на втором дворе капало; туман застилал крыши... А на зеркальных паркетах звенели шпоры, шуршали шлейфы. Разговоры вполголоса... Духи, ароматы... Происходил файфоклок. Лакеи вносят торты разных видов, сахарные печенья, вазы с вареньем. Ни графини, ни княгини даже не притрагиваются к еде. Разве какая высунет из кружев пальчики, отщипнет крошку. Только ножками перебирают на скамеечках.

В сумерки приходила Кнопка. Носик торчком, и тот весь заплаканный,— просит, чтобы женился. Семен Иванович встряхивал волосами, отвечал неопределенно.

Многие события, большие дела произошли с той поры: заехали в пропасть, перевернулись кверху колесами,— война. Но Семена Ивановича эти дела мало коснулись. По причине слабости груди его на

фронт не взяли. Один год проходил он в защитной форме, а потом опять надел пиджачок. «Северный полюс» закрылся.

Жить стало скучнее. Спиртные напитки запретили. Познакомишься с приятным человеком,— хвать-похвать, он уже на фронте, он уже убит. Никакой ни у кого прочности. Кнопку увез на фронт драгунский полк, проходивший через Петроград. Все семь дней теперь стали буднями.

Попались Семену Ивановичу как-то, при разборке комода, гадательные карты девицы Ленорман. Усмехнулся, раскинул. И опять вышел череп Ибикус. Что бы это обстоятельство могло значить?

Одно время Ибикус привязался по ночам сниться: огромный, сухой, стоял в углу, скалил зубы. Нападала тоска во сне. А наутро противно было думать, что опять он приснится. Семен Иванович раздобыл бутылку ханжи, очищенной нашатырем. Выпил, одиноко сидя у мокрого окошка в сумерках, и будто бы снова померещилось ему какое-то счастье... Но защемило сердце. Нет. Обманула цыганка.

И вдруг стукнула судьба.

Семен Иванович кушал утренний кофе из желудей, без сахару, с кусочком мякинного хлеба. За окном февральский туман моросил несказанной гнилью.

Вдруг — дзынь! Резко звякнуло оконное стекло и сейчас же — дзынь! — зазвенело, посыпалось зеркальце, висевшее сбоку постели.

Семен Иванович подавился куском, ухватился за стол, выкатил глаза. Внутреннее оконное стекло треснуло мысом, в наружном была круглая дырочка от пули. Из прокисшего тумана булькали выстрелы.

Семен Иванович, наконец, осмелился выйти на двор. У ворот стояла куча людей. Женщина в ситцевом платье громко плакала. Ее обступили, слушали. Дворник объяснил:

— Испугалась. Два раза по ней стреляли.

Чей-то бойкий голос проговорил:

— На Невском страшный бой, горы трупов.

Женщина ударилась плакать громче. Опять сказал бойкий голос:

— Так и следует. Давно бы этого царя по шапке. Вампир.

И пошли разговоры у стоящих под воротами — про войну, про измену, про сахар, про хлеб с навозом. У Семена Ивановича дрожали руки, подгибались колени. Он пошел в дворницкую и сел у горячей печки.

Напротив на лавке сидела дворничихина дочка в платке и валенках. Как только Семен Иванович пошевелится, девочка принималась шептать: «Боюсь, боюсь». Он рассердился и опять вышел на двор. В это время послышался крик. Посредине двора какой-то бритый, плотный человек с крашеными баками кричал удушенным голосом:

— На Екатерингофском канале лавошники околодошного жарят заживо.

Это было до того страшно, что из подъездов раздались женские взвизги. Под воротами замахали руками. Человек с баками скрылся. А из тумана бухало, хлопало, тактактакало.

Семен Иванович вернулся домой и сел на стул. Наступал конец света. Шатался имперский столп. Страшное слово — Революция — взъерошенной птицей летало по улицам и дворам. Вот, это оно опять поднимало крик под воротами. Оно, не угомонясь, гулко стукало из тумана.

Мрачно было на душе у Семена Ивановича. Иногда он вставал, хрустел пальцами и опять садился. В наружную оконную дырочку свистал ветер, насвистывал: «Я тебе надую, надую пустоту, выдую тебя из жилища».

В глухие сумерки кто-то стал трогать ручку входной двери. Коротко позвонили. Семен Иванович, ужаснувшись, отворил парадное. Перед ним, освещенная из прихожей, стояла женщина удивительной красоты — темноглазая, бледная, в шелковой шубке, в белом оренбургском платке. Она сейчас же проскользнула в дверь и прошептала поспешно:

— Затворите... На крючок...

На лестнице послышались шаги, грубые голоса. Навалились снаружи, бухнули кулаком в дверь. «Брось, идем...» — «Здесь она».— «Брось, идем, ну ее к черту...» — «Ну, так она на другой лестни-

це...» — «Брось, идем...» Шаги застучали вниз, голоса затихли.

Незнакомка стояла лицом к стене, в углу. Когда все затихло, она схватила Семена Ивановича за руку, глаза ее с каким-то сумасшедшим юмором приблизились:

— Я останусь... Не прогоните?

— Помилуйте. Прошу.

Она быстро прошла в комнату, села на кровать.

— Какой ужас! — сказала она и стащила с головы платок.— Не расспрашивайте меня ни о чем. Обещайте. Ну?

Семен Иванович растерянно обещал не расспрашивать. Она опять уставилась на него,— глаза черные, с припухшими веками, с азиатчинкой:

— На краю гибели, понимаете? Два раза вырвалась. Какие негодяи! Куда теперь денусь? Я домой не вернусь. Боже, какой мрак!

Она затопала ногами и упала в подушку. Семен Иванович проговорил несколько ободрительных слов. Она выпрямилась, сунула руки между колен:

— Вы кто такой? (Он вкратце объяснил.) Я останусь на всю ночь. Вы, может быть, думаете — меня можно на улицу выкинуть? Я не кошка.

— Простите, сударыня, я по обхождению, по одеже вижу, что вы аристократка.

— Вы так думаете? Может статься. А вы не нахальный. Это хорошо. Странно — почему я к вам забежала. Бегу по двору без памяти,— гляжу — окошко светится. Умираю, устала.

Семен Иванович постелил гостье на диване. Предложил было чаю. Она мотнула головой так, что разлетелись каштановые волосы. Он понес свой матрац на кухню. Незнакомка крикнула:

— Ни за что! Боюсь. Ложитесь здесь же. С ума сойду, несите назад тюфяк.

Семен Иванович погасил свет. Лег и слышал, как на диване — ррррр — разлетелись кнопки платья, упали туфельки. В комнате запахло духами. У него побежали мурашки по спинному хребту, кровь стала приливать и отливать, как в океане. Гостья ворочалась под шелковой шубой.

— Мученье, зажгите свет. Холодно. (Семен Иванович включил одинокую лампочку под потолком.)

Небось лежите и черт знает что думаете.— Она проворно повернулась лицом в подушку.— Одна только революция меня сюда и загнала... Не очень-то гордитесь. Потушите свет.

Семен Иванович растерялся. Не осмелился снять даже башмаков. Но лег, и опять — мурашки, и кровь то обожжет, то дернет морозом.

— Да не слышите разве, я плачу? Бесчувственный,— проговорила гостья в подушку,— у другого бы сердце разорвалось в клочки — глядеть на такую трагедию. Зажгите свет.

Он опять включил лампочку и увидел на диване на подушке рассыпанные волосы и из-под черно-бурого меха — голое плечо. Стиснул зубы. Лег. Тонким голосом незнакомка начала плакать, опять-таки в подушку.

— Сударыня, разрешите — чаю вскипячу.

— Ножки, ножки замерзли,— комариным голосом проплакала она,— вовек теперь не успокоюсь. В двадцать два года на улицу выгнали. По чужим людям. Свет потушитееее.

Семен Иванович схватил свое одеяло и прикрыл ей ноги и, прикрыв, так и остался на диване. Она перестала плакать. Разъятые ноздри его чувствовали теплоту, идущую из-под шубки. Но он робел ужасно, не зная, как обходиться с аристократками. За спиной, в углу, в темноте,— он не видел, но почувствовал это,— возник и стоял голый череп Ибикус.

— Завтра, наверно, буду лежать, раскинув рученьки на снегу,— ужасно жалобно проговорила гостья,— а тут еще царство погибает.

— Я всей душой готов утешить. Если не зябко — разрешите, ручку поцелую.

— Чересчур смело.

Она повернулась на спину. Смеющимся пятном белело ее лицо в темноте. Семен Иванович подсел ближе и вдруг рискнул — стал целовать это лицо.

Утром незнакомка убежала, даже не поблагодарила. Тщетно Семен Иванович поджидал ее возвращения — неделю, другую, месяц. В комоде, вместе с картами девицы Ленорман, лежала часть туалета, забытая чудесной гостьей. Часто теперь по ночам Семен Иванович метался в постели, приподнимаясь — дико глядел на пустой диван. Ему представля-

лось, что в ту ночь, под свист ветра в оконную дырочку, он рискнул — прыгнул в дикую пустоту. Порвались связи его со вторым двором, с плаксивым окошком, с коробкой с табаком и гильзами на подоконнике.

В свободное от службы время он теперь бродил по улицам, тоже диким и встревоженным. Город шумел невиданной жизнью. Собирались толпы, говорили от утра до поздней ночи. Флаги, знамена, лозунги, взбесившиеся мотоциклетки. На перекрестке, где стаивал грузный, с подусниками, пристав,— болтался теперь студент в кривом пенсне, бандиты и жулики просто подходили к нему прикурить. На бульварах пудами грызли семечки. Мужики в шинелях влезали на памятники, били себя в грудь: «За что мы кровь проливаем?» На балконе дворца играл талией временный правитель в черных перчатках.

Семен Иванович с тоненькой усмешечкой ходил, прислушивался, приглядывался. Великие князья, солдаты, жулики, хорошенькие барышни, генералы, бумажные деньги, короны,— все это плыло, крутилось, не задерживаясь, как в половодье.

«Тут-то и ловить счастье,— раздумывал Семен Иванович и кусал ноготь,— голыми руками, за бесценок — бери любое. Не плошать, не дремать».

Продутый насквозь весенним ветром, голодный, жилистый, двуличный — толкался он по городу, испытывал расширенным сердцем восторг несказанных возможностей.

Сутулый господин в бархатном картузе был прижат к стене троими в солдатских шинелях. Они кричали:

— У меня вшей — тысячи под рубашкой, я понимаю — как воевать!

— Кровь мою пьете, гражданин, это вы должны почувствовать, если вы не бессовестный!

— Землица-то, землица — чья она? — кричал третий.

Господин таращил глаза. Длинный, извилистый рот его посинел. Семен Иванович, подойдя на этот крик, сказал твердо:

— Видите, граждане, он ни жида по-русски не понимает, а привязались.

Солдаты плюнули, ушли спорить в другое место. Господин в бархатном картузе (действительно на плохом русском языке) поблагодарил Семена Ивановича. Они пошли по Невскому, разговорились. Господин оказался антикваром, приезжим, город знал плохо. И тут-то Семен Иванович заговорил, прорвало его потоком:

— Пойдите на Сергиевскую, Гагаринскую, на Моховую, вот где найдете мебель, бронзу, кружева... Столовое серебро десятками пудов выносят на файфоклоках. А посмотрели бы вы на туалеты. Сказка! Бывало, стоишь с чашкой кофею около баронессы, княгини,— дух захватит. Клянусь богом — видать, как у нее сердце просвечивает сквозь кожу. С ума сойти! Одни глаза видны, а кругом страусовые перья. Я не кавалергард — камер-юнкер, но роптать нечего — пользовался у аристократок успехом. Бывало, прямо со службы, не поевши, бежишь на чашку чая. Вот еще недавно одна прибегала ночью, оставила на память — и смех и грех — часть туалета из стариннейших кружевцев. Цены нет. А теперь — усадьбы у них пожгли, есть нечего. Если взяться умеючи,— вагонами можно вывозить обстановки.

Господин в бархатном картузе крайне заинтересовался сообщениями Семена Ивановича и просил его заглядывать в антикварную лавку.

Чего только не было в антикварной лавке! Павловские черные диваны с золотыми лебедиными шеями. Екатерининские пышные портреты. Александровское красное дерево с восхитительными пропорциями, в которых наполеоновская классика преодолена российским уютом наполненных горниц. Здесь была краса русского столярного искусства — карельская береза, согнутые коробом кресла, диваны корытами, низенькие бюро с потайными ящиками.

Господин в бархатном картузе показывал Семену Ивановичу лавку, любовно притрагивался к пыльным полированным плоскостям, мудрено вытягивал извилистые губы. Полизав пыльный палец, говорил:

— Это искусство умерло, этого уже не делают на всем свете. Этот лес сушился по сотне лет. Вот — кресло. Можете полировку ошпарить кипятком. Полиро-

вано тонко, как зеркало. А вы чувствуете выгиб спинки? А эта парча? Мастер ткал в сутки только одну десятую дюйма. Вы, русские, никогда не умели ценить вашу мебель. Между тем в России были высокие художники-столяры. Русский столяр чувствовал человеческое тело, когда он выгибал спинку у кресла. Он умел разговаривать с деревом. Надо понимать, любить, уважать человеческий зад, чтобы сделать хорошее кресло.

Между разговором антиквар предложил Семену Ивановичу комиссионные в случае нахождения им добрых вещей. Семен Иванович стал часто заходить в лавку, исполнял кое-какие поручения. Но серьезно заняться делом мешало ему ужасное возбуждение всех мыслей. Над городом плыли весенние дни. Все бродило. Мимо, близко, у самого рта, скользили такие соблазны, что кружилась голова у Семена Ивановича, захватывало дух: а упущу, а прозеваю, а прогляжу счастье?

Однажды он застал антиквара, низко нагнувшегося над какой-то вещицей, и около — седую, высокую даму с горьким лицом. Антиквар выделывал сложные гримасы губами.

— Ах, вы ждете денег,— сказал он рассеянно и стал шарить рукой сбоку карельского бюро.

Семен Иванович отчетливо видел его пыльные, слабые пальцы,— средним он надавил на незаметную щеколдочку, крышка отскочила, рука антиквара влезла в ящичек и вытащила оттуда пачку кредитных билетов. Семен Иванович только тогда перевел дыхание.

Его мысли в этот день получили иное несколько направление: появилась ясность, ближайшая цель — достать несколько сот тысяч рублей, бросить службу и уехать из Петрограда. Довольно войны, революции! Жить, жить! Он ясно видел себя в сереньком костюме с иголочки, на руке — трость с серебряным крючком, он подходит к чистильщику сапог и ставит ногу на ящичек, сверкающий южным солнцем. Гуляют роскошные женщины. Так бы и зарыться в эту толпу. И всюду — окорока, колбасы, белые калачи, бутылки со спиртом.

До поздней ночи Семен Иванович бродил по улицам. В весеннем небе слышались гудки паровозов. Это



прибывали истерзанные поезда со скупым хлебом, с обезумевшими людьми в солдатских шинелях, прожженных и простреленных. Паровозы кричали в звездное небо: «Умирааааем». Семен Иванович, насквозь пронизанный этими звуками, ночной свежестью, голодный и легкий, повторял про себя: «Первое — достать деньги, первое — деньги».

Незаметно для себя он очутился близ знакомой антикварной лавки. Стал, усмехнулся, покачал головой: «С бухты-барахты — нельзя. Придется обдумать». Улица была пуста, освещена только серебристым светом ночи. Семен Иванович вгляделся, подошел к лавке; странно — дверь оказалась приоткрытой, внутри — свет. Он проскользнул в дверную щель, поднялся на четыре ступеньки и негромко вскрикнул.

Бюро, диваны, кресла, вазы,— все это было опрокинуто, торчало кверху ножками, валялось в обломках, на полу разбросаны бумаги, осколки фарфора. Здесь боролись и грабили. Семен Иванович выскочил на улицу. Перевел дух. Свежесть вернула ему спокойствие. Он оглянулся по сторонам, опять вошел в лавку и, притворив за собой входную железную дверь, заложил ее на щеколду.

Осторожно отодвигая поваленную мебель, он стал пробираться к стене, где стояло карельское бюро. Вдруг ужасно, на весь магазин, что-то застонало, и сейчас же Семен Иванович наступил на мягкое. Он отскочил, закусил ногти. Из-под опрокинутого дивана торчали ноги в калошах, в клетчатых, знакомых брюках. Антиквар опять затянул «ооооо» под диваном. Семен Иванович схватил ковер, бросил его поверх дивана, повалил туда же книжный шкаф. Кинулся к бюро. Нажал щеколду. Крышка отскочила. В глубине потайного ящика он нащупал толстые пачки денег.

Шесть недель Семен Иванович скрывал деньги, то в печной трубе, то опускал их на веревке в вентилятор. Страшно бывало по ночам: вдруг — обыск. Боязно и днем, на службе: вдруг на квартиру налет? (Из предусмотрительности он все еще посещал транспортную контору.) Но все обошлось благополучно и как нельзя лучше. Утром, зажигая примус, Семен Иванович вдруг рассмеялся: «Какая чепуха,— Александровскую ко-

лонну унести, и то никто не заметит». Он занавесил окно, вытащил из вентилятора деньги и стал считать.

Чем дальше он считал — тем сильнее дрожали пальцы. Крупными купюрами временного правительства было триста восемьдесят тысяч рублей да мелочью тысяч на десять. Семен Иванович встал со стула и, как был, в тиковых подштанниках и носках — принялся скакать по комнате. Зубы были стиснуты, ногти впились в мякоть рук.

Весь этот день Семен Иванович провел на Невском — купил пиджачный костюм, пальто, котелок и желтые башмаки. Приобрел в табачном магазине янтарный мундштук и коробку гаванских сигар — «боливаро». Купил две перемены шелкового белья, бритву «Жилет» и тросточку. В сумерки привез на извозчике все это домой, разложил на кровати, на стульях и любовался, трогал. Затем считал деньги. Подперев голову, устремив глаза на вещи, долго сидел у стола. Примерил новую шляпу, попробовал улыбнуться самому себе в зеркальце, но губы засмякли бледными полосками. Долго стоял у комода, слушая, как трепещет возбужденное сердце. Снял новую шляпу и надел старую, надел старое пальто. Поехал на Невский. Здесь он стал ходить жилистыми, мелкими шажками, заглядывая осторожно и недоверчиво под шляпки проституток. Задерживался на перекрестке, расспрашивал девушек — где живет, здорова ли, не хипесница ли?

А рассвет розовато-молочным заревом уже трогал купол собора, яснее проступали бумажки на тротуарах,— миллионы выборных бюллетеней, летучек, обрывков афиш,— остатки шумного дня. Ноги едва держали Семена Ивановича. Невский опустел. Лишь на дряхлой лошаденке, на подпрыгивающей пролетке тащился, свесив голову, пьяный актер с судорожно зажатыми в кулаке гвоздиками.

«И это — жизнь,— раздумывал Семен Иванович,— бумажки, митинги, толкотня, наглое простонародье в грязных шинелях... Сумасшедший дом. Надо уезжать. Ничего здесь не выйдет, кроме пошлости».

На следующий день Семен Иванович сказал дворнику, что по делам службы уезжает надолго, и с курьерским поездом действительно выехал в Москву. Он расположился в международном вагоне, один в

бархатном купе, где был отдельный умывальник и даже ночной горшок в виде соусника. Поскрипывали ремни, горело электричество, сверкали медные уголочки. Семен Иванович испытывал острое наслаждение.

Семен Иванович гулял теперь по Тверской. Здесь было потише, чем в Петербурге, но — все та же, непонятная ему, отвлеченность и скука. Вместо вещественных развлечений — газеты, афиши, бюллетени, споры. Он часто заходил в кафе «Бом» на Тверской, где сиживали писатели, художники и уличные девчонки. Все кафе «Бом» стояло за продолжение войны с немцами. Удивительное дело,— видимо, у этих людей ни гроша не было за душой: с утра забирались на диваны и прели, курили, мололи языками! «Хорошо бы,— думал Семен Иванович, сидя в сторонке перед вазой с пирожными,— нанять огромный кабинет в ресторане, пригласить эту компанию, напоить. Шум, хохот. Девочки разденутся. Тут и драка, и пляски, и разнообразные развлечения. Эх, скучно живете, господа!»

Жаль — не удавалось Семену Ивановичу ни с кем познакомиться. Заговаривал несколько раз, но его оглянут, ответят сквозь зубы, отворотятся. Хотя одет он был чисто, но язык — как мороженый, манеры обывательские, мелкие. Он чувствовал — необходимо шагнуть еще на одну ступень.

Особенно понравилась ему в кафе девица в черном шелковом платье с открытыми рукавами. С ней всегда сидел отвратительный субъект с бабьим лицом, нечесаный, грязный, курил трубку. Девица засаживалась в угол дивана. Руки голые, слабые, запачкает их об стол, помуслит платочек и вытирает локоть. Сидит, согнувшись, курит лениво. Веки полузакрыты, бледная, под глазами тени. Ее спросят,— не оборачиваясь, усмехнется еще ленивее припухшим красивым ртом. Стриженая, темноволосая. Но как с ней познакомиться?

Тогда Семен Иванович решился, наконец, на давно уже им обдуманное. Рядом с кафе «Бом» в скоропечатне заказал он себе визитные карточки, небольшого размера, под мрамор: «Симеон Иоаннович граф Невзоров». В скоропечатне приняли заказ, даже не удивились.

Когда он пришел за ними дня через три, и приказчик сказал: «Ваши карточки готовы, граф», когда он прочел напечатанное,— охватила дикая радость, сильнее, чем в купе международного вагона.

Из скоропечатни граф Невзоров вышел как по воздуху. На углу, оборотясь с козел, задастый лихач прохрипел: «Ваше сясь, я вас ката...» Трудно было смотреть прохожим в глаза,— еще не привык. Граф прошелся по Тверской, завернул в кафе «Бом», сел за свой столик и спросил вазу с пирожными.

На стене висела афиша. Темноволосая девица с красивыми руками глядела на нее, прищурив подведенные ресницы. Граф надел пенсне и прочел афишу. На ней стояло:

«Вечер-буф молодецкого разгула Футуротворчества. Выступление четырех гениев. Стихи. Речи. Парадоксы. Открытия. Возможности. Качания. Засада гениев. Ливень идей. Хохот. Рычание. Политика. В заключение — всеобщая вакханалия».

Здесь же в кафе граф приобрел билет на этот вечер.

«Вечер-буф» происходил в странном, совершенно черном помещении, разрисованном по стенам красными чертями,— как это понял Семен Иванович,— но это были не православные черти с рогами и коровьим хвостом, а модные, американские. «Здесь и бумажник выдернут — не успеешь моргнуть»,— подумал граф Невзоров.

Неподалеку от него сидела девица с голыми руками, при ней находился кавалер — косматый, с трубкой. Она глядела на освещенную эстраду, куда в это время вышел, руки в карманы, здоровенный человек и, широко разевая рот, начал крыть публику последними словами,— вы и мещане, вы и пузатенькие, жирненькие сволочи, хамы, букашки, таракашки... Граф Невзоров только пожимал плечами. Встретясь глазами с девицей, сказал:

— Эту словесность каждый день даром слышу.

Девица подняла темные брови, как оса. Невзоров поклонился и подал ей визитную карточку.

— Позвольте представиться.

Она прочла и неожиданно засмеялась. Невзорова ударило в жаркий пот. Но нет,— смех был не зловредный, а скорее заманивающий. Косматый спутник девицы, зажмурившись от табачного дыма, повернулся к Невзорову спиной. Девица спросила:



— Кто вы такой?

— Я недавно прибыл в Москву, видите ли, никак не могу привыкнуть к здешнему обществу.

— Вы не писатель?

— Нет, видите ли, я просто богатый человек, аристократ.

Девица опять засмеялась, глядя на графа с большим любопытством. Тогда он попросил разрешения присесть за ее столик и подал лохматому человеку вторую свою карточку. Но лохматый только засопел через трубку, поднялся коряво и ушел, сел где-то в глубине.

Граф Невзоров спросил крюшону покрепче — то есть из чистого коньяку — и, держа папиросной лорнеточкой папироску, нагнувшись к девице, принялся рассказывать о светской жизни в Петербурге. Девица тихо кисла от смеха. Она чрезвычайно ему нравилась.

На эстраде какой-то человек лаял стихи непристойного и зловещего содержания. Трое других, за его спиной, подхватывали припев: «Хо-хо, хо-хо! дзым дзам вирли, хо-хо!» Это жеребячье ржание сбивало графа, он встряхивал волосами и подливал коньяку.

Девицу звали Алла Григорьевна. От коньяку зрачки ее расширились во весь глаз. Красивая рука с папироской побелела. Невзоров бормотал разные любезности, но она уже не смеялась,— уголки губ ее мелко вздрагивали, носик обострился.

— Едемте ко мне,— неожиданно сказала она. Граф оробел. Но пятиться было поздно. Проходя мимо столика, за которым сидел косматый с трубкой, Алла Григорьевна усмехнулась криво и жалко. Косматый засопел в трубку, отвернулся, подперся. Тогда она стремительно пододвинулась к столику:

— Это что еще такое?— и ударила кулачком по столу.— Что хочу—то и делаю. Пожалуйста, без надутых физиономий!..

У косматого задрожал подбородок, он совсем прикрылся рукой, коричневой от табаку.

— Ненавижу,—прошептала Алла Григорьевна и ноготками взяла Невзорова за рукав.

Вышли, сели на извозчика. Алла Григорьевна непонятно топорщилась в пролетке, подставляла локти. Вдруг крикнула: «Стой, стой!»—выскочила и забежала в еще открытую аптеку. Он пошел за нею, но она уже сунула что-то в сумочку.

Граф, весьма всему этому изумляясь, заплатил аптекарю сто двадцать рублей. Поехали на Кисловку.

Как только вошли в полуосвещенную, очень душную комнату,—граф ухватил Аллу Григорьевну за талию. Но она странно взглянула, отстранилась:

— Нет, этого совсем не нужно.

Она слегка толкнула Невзорова на плюшевую оттоманку. В комнате был чудовищный беспорядок,—книжки, платья, белье, склянки от духов, коробочки валялись где придется, кровать смята, большая кукла в грязном платье лежала в умывальнике.

Алла Григорьевна поставила перед диваном на низеньком столике початую бутылку вина, надкусанное яблоко, положила две зубочистки и, усмехаясь, вынула из сумочки деревянную коробочку с кокаином. Накинув на плечи белую шаль, забралась с ногами в кресло, взглянула в ручное зеркальце и тоже поставила его на столик. Жестом предложила нюхать.

Опять оробел Семен Иванович. Но она захватила на зубочистку порошку и с наслаждением втянула в одну ноздрю, захватила еще—втянула в другую. С облегчением, глубоко вздохнула, откинулась, полузакрыла глаза:

— Нюхайте, граф.

Тогда и он запустил в ноздри две понюшки. Пожевал яблоко. Еще нюхал. Нос стал деревенеть. В голове яснело. Сердце трепетало предвкушением невероятного. Он понюхал еще волшебного порошку.

— Мы, графы Невзоровы,—начал он металлическим (как ему показалось), удивительной красоты голосом,—мы, графы Невзоровы, видите ли, в близком родстве с царствующей династией. Мы всегда держались в тени. Но теперь в моем лице намерены претендовать на престол. Ничего нет невозможного. Небольшая воинская часть, преданная до последней капли крови,—и переворот готов. Отчетливо вижу: в тронной зале собираются чины и духовенство, меня, конечно, под руки—на трон... Я с трона: «Вот что, генералы, дворяне, купечество, мещанишки и прочая черная косточка, у меня—чтобы никаких революций!.. Бунтовать не дозволяется, поняли, сукины дети?» И пошел, и пошел. Все навзрыд: «Виноваты, больше не допустим». Из залы я, тем же порядком, направляюсь под руки в свою роскошную гостиную.

Там графини, княгини, вот по сих пор голые. Каждой—только мигни, сейчас платье долой. Окруженный дамами, сажусь пить чай с ромом. Подают торт, ставят на стол...

Семен Иванович уже давно глядел на столик перед диваном. Сердце чудовищно билось. На столике стояла человеческая голова. Глаза расширены. На проборе, набекрень—корона. Борода, усы... «Чья это голова, такая знакомая?.. Да это же моя голова!»

У него по плечам пробежала лихорадка. Уж не Ибикус ли, проклятый, прикинулся его головой?.. Граф захватил еще понюшку. Мысли вспорхнули, стали покидать голову. Рядом в кресле беззвучно смеялась Алла Григорьевна.

Несколько недель (точно он не запомнил сколько) граф Невзоров провозился с Аллой Григорьевной. Вместе обедали, выпивали, посещали театры, по ночам нанюхивались до одури. Деньги быстро таяли, несмотря на мелочную расчетливость Семена Ивановича. Приходилось дарить любовнице то блузку, то мех, то колечко, а то просто небольшую сумму денег.

В голове стоял сплошной дурман. Ночью граф Невзоров возносился, говорил, говорил, открывались непомерные перспективы. Наутро Семен Иванович только сморкался, вялый, как червь. «Бросить это надо, погибну»,—бормотал он, не в силах вылезти из постели. А кончался день,—неизменно тянуло его к злодейке.

На одном и том же углу, в продолжение нескольких дней, Семен Иванович встречал молчаливого и неподвижного гражданина. По виду это был еврей, с ярко-рыжей, жесткой, греческой бородой. Он обычно стоял, запрокинув лицо, покрытое крупными веснушками. Глаза—заплаканные, полузакрытые. Рот—резко изогнутый, соприкасающийся посредине, раскрытый в углах. Все лицо напоминало трагическую маску.

— Опять он стоит, тьфу,—бормотал Невзоров и из суеверия стал переходить на другой тротуар. А человек-маска будто все глядел на галок, растрепанными стаями крутившихся над Москвой.

Наступили холода. По обледенелой мостовой мело бумажки, пыль, порошу. Шумели на стенах, на воротах мерзлые афиши. Надо было кончать с Москвой,

уезжать на юг. Но у Невзорова не хватало сил вырваться из холодноватых, сладких рук Аллы Григорьевны. Он рассказал ей про человека-маску. Неожиданно она ответила:

— Ну, и пусть, все равно недолго осталось жить.

В этот вечер она никуда не захотела ехать. На темных улицах было жутко—пусто, раздавались выстрелы. Алла Григорьевна была грустная и ласковая. Играли в шестьдесят шесть. Дома не оказалось ни еды, ни вина, не с чем было выпить чаю. Понюхали кокаинчику.

В полночь в дверь постучали, голос швейцара пригласил пожаловать на экстренное собрание домового комитета. В квартире помощника присяжного поверенного Человекова собрался весь дом,—встревоженно шумели, рассказывали, будто в городе образовался Комитет Общественного спасения и еще другой—Революционный комитет, что стреляют по всему городу, но кто и в кого—неизвестно. Из накуренной передней истошный голос проговорил: «Господа, в Петербурге второй день резня!»—«Прошу не волновать дам!»—кричал председатель Человеков, стуча карандашом по стеклянному абажуру. Оратор, попросивший слова, с обиженным красным лицом надрывался: «Я бы хотел поставить вопрос о закрытии черного хода в более узкие рамки». Седая возбужденная дама, протискиваясь к столу, сообщала: «Господа, только что мне звонили: Викжель всецело на нашей стороне».—«Не Викжель, а Викжедор[1], и не за нас, а против, не понимаете, а вносите панику»,—басили из-за печки. «Господа,—надрывался Человеков,—прошу поставить на голосование вопрос об удалении дам, вносящих панику».

Наконец постановили: собрать со всех по одному рублю и выдать швейцару, с тем чтобы он в случае нападения бандитов защищал дом до последней крайности. Глубокой ночью дом угомонился.

На следующий день Семен Иванович собрался было идти к себе на Тверскую, но в подъезде две непроспавшиеся дамы и старичок с двустольным ружьем сказали:

---

[1] Викжедор—Всероссийский исполнительный комитет железных дорог.

— Если дорожите жизнью,— советуем не выходить.

Пришлось скучать в комнате у Аллы Григорьевны. Граф сел у окошка. На улице, в мерзлом тумане, проехал грузовик с вооруженными людьми. Изредка стреляли пушки: ух — ах,— и каждый раз взлетали стаи галок. Невзоров был сердит и неразговорчив. Алла Григорьевна валялась в смятой постели, прикрытая до носа одеялом.

Папиросы все вышли. Печка в комнате не топлена.

— Вы пожрали половину моих денег. Через вас я потерял весь идеализм. Такую шкуру, извините, в первый раз встречаю,— сказал граф. Алла Григорьевна отвечала лениво, но обидно. Так проругались весь день.

В седьмом часу вечера раздался тревожный колокол. Захлопали двери, загудела голосами вся лестница. С нижней площадки кричали:

— Гасите свет. Нас обстреливает артиллерия с Воробьевых гор.

Электричество погасло. Кое-где затеплились свечечки. Говорили шепотом. Человеков ходил вниз и вверх по лестницам, держась за голову. Далеко за полночь можно было видеть дам в шубах, в платках, в изнеможении прислонившихся к перилам. Алла Григорьевна пристроилась на лестнице около свечки, зевая читала растрепанную книжку.

Среди ночи графу Невзорову предложено было пойти дежурить на двор. Ему придали в пару зубного врача в офицерском полушубке. Едва они вышли на обледенелый двор, освещенный отсветом пожарища,— врач закрыл лицо руками и выронил ружье. Впрочем, он объяснил это тем, что ужасно боится кошек, которых множество ползает между дров.

Ночь была наполнена звуками. Вдали, между темных очертаний крыш, ярко светилось одинокое окошко. Поширкивали в воздухе снаряды. Порывами, как ветер, поднималась перестрелка. Зубной врач шептал из подъезда:

— Слушайте, граф, разве возможна нормальная жизнь в такой стране?

За два часа дежурства Семен Иванович продрог и с удовольствием завалился под теплое одеяло к Алле Григорьевне. Помирились. Следующий день начался

таким пушечным грохотом, что дрожали стекла. Представлялось, будто Москва уже до самых крыш завалена трупами. Ясно, там, на улицах, решили не шутить.

Алла Григорьевна в халатике, неприбранная, увядшая, варила на спиртовке рис. Невзоров закладывал окошки книгами и подушками. Телефоны не работали. Газ плохо горел. В окна верхних квартир попали пули. Среди дня зазвонил тревожный колокол, начался переполох. Оказалось: у самого подъезда на улице упал человек в шинели и лежал уткнувшись. На площадках лестниц всхлипывали дамы. Было созвано собрание по поводу того, как убрать труп. Но твердого решения не вынесли. Рассказывали шепотом, будто прислуга в доме уже поделила квартиры и что швейцар ненадежен. А пушки все ухали, били, рвались ружейные залпы. Потрясая землю, проносился броневик. Шрапнель барабанила по крыше. Так прошел еще день.

Всю ночь Алла Григорьевна проплакала, завернув голову в пуховый платок. Семен Иванович приподнимался спросонок: «Ну, что вам еще не хватает, спите», и мгновенно засыпал. За эти дни в нем собиралась колючая злоба, видимо—он всходил еще на одну ступень.

Рано поутру Алла Григорьевна оделась,—не напудрилась, не подмазалась,—положила в сумочку деньги и пошла из комнаты. Граф схватил ее за подол:

— Куда? Вы с ума сошли, Алла Григорьевна!

— Оставьте юбку. Я вас презираю, Семен Иванович. Лучше помалкивайте. Прощайте.

Она ушла. Рассказывали, что сам Человеков не пускал ее, хватаясь за голову, но Алла Григорьевна сказала: «Иду к сестре за Москву-реку»,—и ушла через черный ход.

За дверью хрипловатый веселый голос спросил:

— Аллочка дома?

Вошел рослый человек в грязном полушубке. Снял папаху,—череп его был совсем голый, лицо бритое, обветренное, с большим носом. Он оглянул комнату сверкающими, глубоко сидящими глазами. Невзоров поднялся с дивана и объяснил, что Алла Григорьевна два часа тому назад ушла к тетке, за Москву-реку.

— Черт! Жаль! Девчонку ухлопают по дороге,—сказал веселый человек, расстегивая бараний полушубок,—ну, давайте знакомиться: Ртищев,—он подал большую руку с перстнем, где сверкал карбункул,—а в Москве-то что творится, пятак твою распротак! Я только что с Кавказа. Продирался две недели. Прогорел начисто, это я-то, на Минеральных Водах, да, да. Я—игрок, извольте осведомиться. А жаль—Аллочка улетела. Я ее старинный приятель. С утра сегодня, прямо с вокзала, бегаю по подворотням, пятак твою распротак! Видите, полушубок прострелен. Решил—к Аллочке под крыло. Ну, ничего не поделаешь, выпьем без хозяйки. Жрать хотите небось?

Он вытащил из огромных карманов полушубка кусок мяса, жареную курицу, десяток печеных яиц и бутылку со спиртом. Большой рукой указал Семену Ивановичу на стул. Выпили спирту, принялись за еду. Чокнувшись по третьей, Ртищев сказал:

— Граф Невзоров, если не ошибаюсь? (Семен Иванович подтвердил.) Ну, так вы врете, вы не граф.

— Позвольте, что это за разговор!

— Таких графов сроду и не было. Вы—авантюрист. Не подскакивайте. Я ведь тоже не Ртищев. Очень просто, пятак твою распротак. А плохи наши дела, граф.

— Виноват, как вы со мной обращаетесь!

Ртищев только весело подмигнул ему на это:

— Уже когда по Москве начали пушками крыть, это значит—четыре сбоку, ваших нет. Надо подаваться в Одессу, граф. Деньги есть? (Семен Иванович пожал плечами.) Ну, ладно, поговорим вечером.

Ртищев выпил последнюю, снял полушубок и, повалившись на постель, сейчас же заснул под буханье пушек, дребезжанье стекол. Семен Иванович с изумлением, с уважением рассматривал этого чудесного человека. «Вот он—ловец, смельчак, этот возьмет свое».

В сумерки Ртищев заворочался на скрипящих пружинах, откашлялся и начал рассказывать о своих неудачах в Кисловодске, где он держал игорный дом. Дела шли блестяще, курортная публика играла как накануне Страшного суда. Но проклятые чеченцы с гор шестнадцать раз брали игорный дом в конном строю. Увозили деньги в тороках. Пришлось свернуться.

— Стране нужна твердая власть, иначе я отказываюсь работать. А эти буржуи, как индюшки,—только: чувик, чувик, никакого сопротивления. Ну, а вы по какой линии?—спросил он у Невзорова. Тот ответил, что просто живет в свое удовольствие.—Э, бросьте, малютка, не шутите со мной. По политике, да?

— Может быть.

— И это занятие. Изо всего можно сделать себе занятие—был бы царь в голове. А то у нас на Минеральных Водах объявился один, тоже по политике; намекал, будто он по боковой линии наследник престола. Но глупышка, видите ли, надумал играть в железку с накладкой; это при Пушкине играли с накладкой,—люди были доверчивые, возвышенно настроенные. Бросьте политику, граф!

Невзоров сердито топнул ногой. Ртищев захохотал, накинул полушубок, подсел к столу:

— Давайте в картишки. Честно, как порядочные люди, пятак твою распротак!

Ртищев и граф Невзоров сели играть в карты и проиграли ночь, весь следующий день и еще ночь. Ртищев выиграл свыше ста тысяч. Но Семен Иванович почти что и не жалел о проигрыше: за картами многое было переговорено, перспективы раздвигались. Ртищев представлялся ему опытным и надежным товарищем.

На седьмые сутки выстрелы в городе затихли. Население робко вылезало на улицы, обезображенные борьбой. Невзоров и Ртищев переехали в гостиницу «Люкс» на Тверскую.

Разница в характерах способствовала успеху общего дела. Ртищев был шумлив, кипуч и легкомыслен. Невзоров—подозрительный, расчетливый, всегда мрачный. Один дополнял другого. Они разыскали большую квартиру на Солянке и открыли литературно-художественный клуб «Белая хризантема». Юноши из кафе «Бом» читали там стихи за небольшое вознаграждение. Устраивались диспуты об искусстве. Там можно было получать чай с сахаром и пирожными. В тайных задних комнатах резались в железку.

Тревожное время, неизвестность, крутые декреты нового правительства, тоска замерзающего, голодного города погнали игроков в «Белую хризантему». Там бывали дельцы, сбитые с толку революцией. Темные

личности, торгующие деньгами, иссиня-бритые, с воспаленными, изрытыми лицами. Заходили метнуть награбленное взломщики и бандиты—осторожные юноши с быстрыми глазами. Бывали завсегдатаи скачек в еще изящных пиджаках, сохранивших запах английских духов. Два-три озлобленных писателя с голодной тревогой следили за течением миллионов по зеленому сукну. Здесь можно было свободно спросить вино, спирт, шампанское.

Дела дома шли превосходно. Ртищев обычно под утро напивался пьян и сам садился играть по крупной. Семен Иванович ставил себе задачей вовремя отбирать у него деньги: он покупал валюту и держал ее на груди в замшевом мешочке. Однажды в игорной комнате появился косматый человек—бывший спутник Аллы Григорьевны. Невзоров спросил о судьбе девушки. Косматый, не вынимая трубки, усмехнулся кривым ртом:

— Убита на улице в октябре месяце.

Настала весна. Пошли тревожные слухи с юга, с Украины. Грозовой тучей надвигался террор. Граф Невзоров настоятельно предупреждал товарища:

— Надо кончать с предприятием. Пора. Лавочку хлопнут. В конце концов это дело не по мне. Я не буфетчик.

На это Ртищев кричал ему пьяный:

— Граф, в тебе нет широты. Ты мещанин, ты на Невском сиги продавал!

Опасения оказались резонными. Однажды ночью «Белая хризантема» была оцеплена солдатами, и все гости и Ртищев отведены в район. Невзорову удалось ускользнуть от ареста,—он выскочил через окно в уборной, унося в мешочке полугодовой доход игорного дома. Надо было бежать из Москвы.

Ехать пришлось уже не в бархатном купе с горшочком. Семен Иванович три дня простоял в проходе вагона, набитого пассажирами сверх всякой возможности. Весь поезд ругался и грозился. В ночной темноте от него, как от черного кота, сыпались искры.

Пролетали ободранные железнодорожные станции с разбитыми окнами, угрюмые села, запустевшие поля, ободранные мужики, пустынные курские степи.

Даже в сереньком небе все еще чудилось неразвеянное, кровавое уныние несчастной войны.

«Паршивая, нищая страна,— думал Семен Иванович, с отвращением поглядывая сквозь разбитое окошко вагона на плывущие мимо будничные пейзажи,— туда же — бунтовать. Вшей бить не умеете. Что такое русский человек? — свинья и свинья. Тьфу, раз и навсегда. Отрекусь, наплюю, самое происхождение забуду. Например: Симон де Незор — вполне подходит». Семен Иванович тайно ощупывал на груди мешочек с валютой и погружался в изучение самоучителя французского языка.

Одет он был в гимнастерку, в обмотки, в картузишко с изорванным козырьком — вид вполне защитный для перехода через украинскую границу. Кроме того, при паспорте имелось удостоверение,— приобретенное на Сухаревке,— в том, что он, С. И. Невзоров,— артист Государственных театров. Все же переход через границу требовал большой осторожности.

В Курске пришлось около суток сидеть на вокзале, где среди пассажиров передавались жуткие россказни. Здесь Семен Иванович спрятал мешочек с валютой на нижней части живота, вполне укромно. Выехали на границу ночью, в теплушках. На каждой станции подолгу дергались, иногда принимались ехать назад, к Курску, причем в теплушках начиналась тихая паника. Наконец на рассвете остановились на границе.

Семен Иванович осторожненько вышел из вагона. Место было голое, пустынное. Бледный свет зари падал на меловые холмы, источенные морщинами водомоен. На путях стоял одинокий вагон, где сейчас спал пограничный комиссар. Несколько телег и мужики стояли поодаль, дожидаясь седоков, чтобы перевезти их через нейтральную полосу к немцам.

Из теплушек вытаскивали детей, чемоданы, узлы. Выскочил кругленький, улыбающийся господин и помог вылезти обессиленной барыне в спустившихся шелковых чулках. Барыня, господин и няньки с детьми раскрыли складные стульчики и сели под открытым небом, среди огромного количества кожаных чемоданов.

Наконец в комиссаровом вагоне опустили окошко: проснулся. На вагонную площадку вышел молодой человек, в ситцевой рубашке распояской, и веничком

стал подметать пол. Подмел и сел на ступеньках, подперев кулаком подбородок. Это и был сам комиссар, про которого шепотом говорили еще в Курске,— человек необыкновенной твердости характера. Глаза у него были совсем белые.

— Подойдите-ка сюда, товарищ,— поманил он пальцем кругленького господина. Тот сорвался со стульчика, благожелательная, радостная улыбка растянула его щеки.— Что это у вас там?

— Это моя семья, товарищ комиссар. Видите ли, мы возвращаемся в Харьков.

— Как?

— Видите ли, мы — харьковские. Мы гостили в Москве у тети и возвращаемся.

— Я спрашиваю — это все — это ваш багаж?

— Видите ли, пока мы гостили у тети,— у нас родилось несколько детей.

Господин говорил искренне и честно, улыбался добродушно и открыто. Комиссар медленно полез в карман за кисетом, свернул, закурил и решительно сплюнул.

— Не пропущу,— сказал он, пуская дым из ноздрей.

Господин улыбался совсем уже по-детски.

— Я только про одно: мы детей простудим под открытым небом, товарищ комиссар, а вернуться уже нельзя,— тетя в Москве уплотнена.

— Я не знаю, кто вы такой, я обязан обыскать багаж.

— Кто я такой? Взгляните на меня,— господин стал совсем как ясное солнце,— хотите взглянуть, что я везу? — Он крикнул жене: — Соня, котик, принеси мой чемодан. Я не расстаюсь с этими реликвиями моей молодости: портреты Герцена, Бакунина и Кропоткина. Меня с малых лет готовили к революционной работе, но — появились дети, опустился, каюсь. Для ответственной работы не гожусь, но, как знать, в Республике каждый человек пригодится, верно я говорю? Кстати, я не собираюсь бежать: устрою детей в Харькове и через недельку вернусь...

Комиссар насупился, глядел в сторону, уши у него начали краснеть:

— А вот я вас арестую, тогда увидим, кто вы такой на самом деле.

Господин восторженно подскочил к нему:

— Именно, нельзя верить на слово, именно такого ответа я и ждал...

Семен Иванович, внимательно слушавший весь этот разговор, счел за лучшее отойти подальше. Он побродил по станции. Всюду было пусто, запустело, окна разбиты. За ним никто не следил. Он вышел в поле и лег в траву. Полежав около часа, пополз и опять лег. Послышались голоса: невдалеке прошли два солдата, и между ними — человек в парусиновом пальто, с узлом за спиной.

Обождав небольшое время, Семен Иванович пополз среди репейников и полыни к оврагу, пролегавшему у подножия меловых холмов. Осторожно скатился в сухой овраг и пошел по его дну в западном направлении.

Когда солнце поднялось высоко, Семен Иванович вылез наверх. Станции и комиссаровского вагона уже не было видно. Перед ним невдалеке лежало железнодорожное полотно, за ним — пустынная красноватая степь с вьющейся пыльной дорогой.

Под вечер с востока на дороге показались телеги. Семен Иванович оглянулся,— спрятаться было негде. Тогда он снял гимнастерку, надорвал карманы и подмышки, вывалял ее в пыли, надел опять, сел у дороги и принял самый жалкий вид, какой только возможен. Телеги подъезжали на рысях. Он потащился навстречу, протягивая руки и крича: «Помогите, помогите». Передняя телега остановилась. В ней сидел, радостный и беззаботный, кругленький господин и обессиленная барыня. На задних помещались няньки с детьми и горы сундуков.

Семен Иванович, трясясь всеми членами, рассказал, что его избили и ограбили до нитки. Он показал удостоверение артиста Государственных театров. «Э, садитесь на заднюю телегу, трогай!» — крикнул кругленький.

На закате из-за степи поднялись вершины тополей и соломенные крыши хутора. Жерлами на дорогу — к большевикам — стояли две немецкие пушки.

С новыми спутниками Семен Иванович доехал до Харькова. На вокзале обессиленная дама, подбежав к буфету, воскликнула со слезами: «Белые булочки,

булочки! Глядите, дети,— булочки!» Она обняла мужа, детей. Даже Семен Иванович прослезился.

Он переложил деньги из потайного места в карман и на лихаче запустил в лучшую гостиницу. В тот же день он приобрел отличный костюм синего шевиота и пил шампанское. Харьков опьянил его. По улицам ходили — тяжело, вразвалку — колонны немецких солдат в стальных шлемах. На лихачах проносились потомки древних украинских родов в червонных папахах. Множество дельцов, военной формации, в синих шевиотовых костюмах, толпились по кофейням, из воздуха делали деньги, гоняли из конца в конец Украины вагоны с аспирином, касторкой, смазочными маслами. В сумерки озарялись ртутным светом облупленные двери кабаре и кино. Гремела музыка из городского сада, на берегу заросшей ряскою реки Нетечи, где кишели, орали, ухали жабы и лягушки, вились туманными змейками двенадцать лихорадок.

Семен Иванович гулял по городскому саду. Гремел оркестр, шипели фонари среди неестественной листвы под черным небом. Семен Иванович присмотрел двух дам: одна — черноглазая блондинка в берете и в шелковом платье, сшитом из занавеси; другая — сухонькая — в огромной шляпе с перьями. «Аристократки»,— решил он и, по-столичному приподняв соломенный картузик, сказал: — Все один да один. Позвольте представиться: конт Симон де Незор. Не откажитесь вместе поужинать.

Аристократки не выразили ни удивления, ни сомнения и сейчас же пошли вместе с Симоном де Незором в кабинет. Дощатые стены его были исписаны надписями самого решительного и непристойного содержания. Де Незор потребовал водки с закуской и шампанского. Было очень непринужденно. Вспоминали столичную жизнь. «Ах, Петроград!» — повторяли дамы... Де Незор кричал: «Будь я проклят, сударыни, если через месяц мы не вернемся в Петроград с карательной экспедицией».

Водка шла птицей под чудные воспоминания. Били бокалы. Затягивали несколько раз гимн. Уже дощатые стены стали зыбкими. В табачном дыму, непонятно как, за столом появился четвертый собеседник — тощий, подержанный господин с унылым носом

и раздвоенной русой бородкой. Он с чрезвычайным удовольствием занялся икрой и шампанским.

«Неужели опять — Ибикус, фу, черт его возьми!» — пьяными мозгами подумал де Незор.

— А все-таки, ваше сиятельство, рановато нам умирать, еще попрыгаем,— картавя, говорил ему незнакомец. Дамы называли его Платон Платонович. Одна из дам, в шляпе,— видимо, хорошо его зная,— попыталась сесть ему на колени. «Оставьте, мне жарко»,— сказал Платон Платонович, спихивая ее локтем.

— Вы, ваше сиятельство, думаете здесь обосноваться?

— Не знаю... Подумаю...

— Сильно пострадали от революции?

— Особняк разграблен вдребезги... Конюшни сожжены. Моему лучшему жеребцу выкололи глаза... Я понимаю — выколи мне... Но при чем мой жеребец?..

— Лошадям выкалывать глаза! Вот вам социалисты! Вот вам проклятые либералы! Это все от Льва Толстого пошло,— говорил Платон Платонович.— Так вы любитель лошадей, граф?

— Странный вопрос.

— Ну, тогда и говорить нечего, вы должны купить землю в Малороссии. Раз в тысячу лет подобный случай, можете приобрести цензовый участок даром, за гроши. Чего далеко идти,— я вам продам именье: «Скрегеловка», чудесные виды, стариннейший дом графов Разумовских... Милейший граф, кончится эта проклятая завирушка — на будущий год мы вас в уездные предводители проведем.

— Меня в предводители? Почему именно меня?

Так граф де Незор был оглушен этой новой возможностью. Приоткрывалась роскошная перспектива. «Меня в предводители дворянства,— ну, что ж, я готов»,— бормотал он, плыли стены, шляпы, длинные носы, покрытые потом, валились со стола бутылки. Был уже день, когда его, поддерживая под руки, посадили на лихача. Дальнейшее расплылось.

Граф де Незор проснулся в сумерки. Затылочные кости трещали от боли. На стуле перед постелью сидел Платон Платонович и покойно покуривал.

— Поздненько,— сказал он,— не опоздать бы на поезд.

Усадьба, куда Платон Платонович привез Невзорова, была действительно прекрасно расположена среди холмов, невдалеке от речки. Дом был с колоннами и даже с двумя львами на кирпичных столбах; Семен Иванович нет-нет да и поглядывал на них: «Собственные львы, неужто возможно?» В нижнем этаже все окна выбиты. Платон Платонович, обратив внимание на этот ущерб, ударил себя по коленкам: «Третьего дня градом выхлестало». Он очень вежливо поклонился двум немецким солдатам, которые лежали на траве около кухни. Проходя мимо, захлопнул ворота каретника (хотя Невзоров успел заметить, что в каретнике ничего, кроме старого колеса, не находилось). Не задерживаясь с осмотром служб, провел графа прямо в сад. Тополя, липы, акации стояли пышно среди густой травы. Платон Платонович долго смотрел, задрав голову, на пустое грушевое дерево: «Гм, сволочи»,— сказал он и повел показывать старинный бельведер. Это была облупленная беседочка, на полу ее, еще издали, виднелось то, что остается от человека, когда он посидит. «Гм»,— повторил Платон Платонович. Пошли в дом. Внизу было пусто и намусорено, двери сорваны. В окно шарахнулась ворона. Платон Платонович только крякнул с досадой: «Здесь — зала, там бильярдная, а там летняя столовая. Уберем, вставим стекла, не наглядитесь. Зато наверху у меня — уют». Он потащил графа на скрипучую винтовую лестницу. Верхние комнаты были действительно меблированы, и висели даже занавеси и картины, но все это представляло странное зрелище: как будто всю обстановку вытащили отсюда, ободрали, переломали, перемешали и опять расставили кое-как.

— Мужики у нас добродушнейшие,— говорил Платон Платонович,— прошу, граф, в кресло. Представьте: полгода в деревне сидел большевик, уговаривал разграбить мою усадьбу. Так они, только чтобы от него отвязаться, пришли, плачут: «Грабить приказано». Я их сам уговаривал: «Берите, берите, мужички». Ну, разумеется, потом все принесли обратно. У нас самые сердечные отношения. Монархисты все отчаянные.

Семен Иванович поглядывал в окно на львов. Казалось, среди вихря и праха этих дней одни только эти каменные морды покойно и брезгливо глядели в

вечность. На что-то ужасно знакомое они походили... «А кто поручится; может быть, я действительно граф де Незор»,— подумал он, и холодок мурашками пошел по спине.

— Дорого мне будет стоить ремонт, выгоды не вижу,— сказал он сухо,— но, хорошо, я покупаю вашу усадьбу.

Платон Платонович сейчас же моргнул и стал глядеть на висевший косо портрет какого-то усатого толстяка, в халате и с трубкой. Видимо, Платон Платонович испытывал значительное волнение. «Вот, и это уже все ваше, граф». Он еще раз моргнул, и слеза поползла у него по большому мешку под глазом.

Удача настолько сопутствовала Семену Ивановичу, что он не только по очень сходной цене купил «Скрегеловку», но купил ее на имя графа де Незора,— паспорт и документы были приобретены им в Харькове у специалиста-гравера.

Честолюбивые перспективы раскрывались все ослепительнее. Он ездил в Киев и был представлен гетману Скоропадскому, который строго намекнул ему о священных обязанностях в такое тяжелое для молодого отечества время. Он спешно начал учиться мове — украинскому языку. Несколько ночей удачной игры в клубе пополнили убыль в деньгах. Была куплена роскошная обстановка для деревенского дома, ковры, вазы, экипажи... Ремонт в «Скрегеловке» шел полным ходом. Чего было еще желать? Выборов в уездные предводители? Чушь: Семен Иванович был уверен: пожелай он гетманской короны,— судьба шутя швырнет его и на эту высоту. «Да уж не сон ли все, что со мной?» — думалось ему иногда. Нет, наморщенные морды львов у ворот были из камня, не во сне, и новые ворота сочились смолой, и румянцем пылало закатное солнце во вставленных окнах невзоровского дома...

И вдруг, среди удач и честолюбивых мечтаний,— судьба перемешала карты, и Семен Иванович очутился снова на пути необыкновенных приключений.

Платон Платонович скрыл, как потом оказалось, одно важное обстоятельство: из 270 десятин скреге-

ловской земли 250 лежало под крестьянской запашкой, и мужики эту землю считали своей. Граф де Незор написал в личную канцелярию гетмана, прося принять меры к возвращению ему законной земли. Из канцелярии ответили в общих выражениях, туманно — советовали главным образом обождать до полного поражения большевиков и восстановления порядка и законности. Графу де Незору оставалось действовать собственными силами. Он решил оттягивать землю исподволь и для этого ходил в деревню и беседовал с мужичками. Они охотно снимали шапки, завидев графа, но, когда разговор заходил о землице,— странно переглядывались, отвечали мирно, но двусмысленно.

Вечерком, когда уже прошло стадо и улеглась пыль, отскрипели колодцы, загнали домашнюю птицу и свиней, когда над ракитами и грушами, над соломенными кровлями принялся летать козодой, грустно покрикивая: «сплю, сплю», когда степенные мужики, отужинав, вышли посидеть на бревнах, покурить тертых корешков,— в один из таких вечеров Семен Иванович завел политический разговор:

— Вот хотя бы немцы,— есть у них чему поучиться. Весь мир их не может победить. А почему? — порядок, закон. Что мое, то мое, что твое — твое. У них насчет собственности — священно.

— Это верно,— отвечали мужики.— Немцу дано.

Голос из густой травы сказал:

— Немцы акурат шестого июня разложили нашу деревню и всыпали по ж... Мужикам по тридцати пяти, бабам по двадцати — прутьями. Вот — почесались.

Сидевший рядом с графом старичок проговорил:

— А что ж хорошего: растащили весь барский дом, барину и сесть негде.

Чей-то, с краю бревен, незнакомый Семену Ивановичу, бойкий голос заговорил весело:

— Барин четыре службы в городе имеет, захотел — деньги в карты за одну ночь проиграл. На что ему земля? Нет, мы десять лет станем бунтовать, с голыми руками пойдем, ружья отнимем, а свое возьмем. Это все пока малые бунты, а вот все крестьянство поднимется — вот будет беда.— Он засмеялся. Мужики молчали.— Десять лет будем воевать, вот штука-то! А ты — немцы.

Разговор этот не понравился графу де Незору. Он до времени прекратил прогулки на деревню. Не нравились ему и какие-то незнакомые личности, часто появлявшиеся на дворе,— солдатский картуз — на ухо, руки в карманах, идет мимо барского дома — посмеивается в усы.

Однажды, рано утром, граф проснулся от хлесткого выстрела за окнами. Сейчас же раздались злые крики. Он подбежал к окошку: толпа мужиков с вилами, топорами, ружьями обступила немецкого солдата, коловшего во все стороны штыком. Другой немец, из живших в усадьбе, лежал около кухни в луже крови. Семен Иванович, захватив одежду, бумажник, кинулся в сад и залез в глушь, в кусты, где кое-как оделся. Отсюда он слышал звон разбиваемых стекол и удары топоров. Продолжалось это очень долго. Затем было слышно только потрескивание. Он осмелел, разобрал кусты, выглянул: из-под крыши валил черный дым, в окнах плясало пламя. Он увидел также льва на кирпичном столбе,— старая морда его равнодушно глядела пустыми глазами на эту иллюминацию.

Пешком, проселочными дорогами пришлось добираться до станции. Ночью видны были зарева за холмами. Доносились далекие выстрелы. Однажды по тракту, по ту сторону канавы, где притаился Семен Иванович, пронеслись вскачь телеги,— свист, гиканье, крики... После этого видения он лежал некоторое время в полуобморочном состоянии.

В другом месте он увидел толпу немецких солдат,— они мрачно шагали с винтовками за плечами, у многих были забинтованы головы, повязаны руки. С ума можно было сойти: что случилось? В одну ночь взбунтовался весь край, запылали зарева.

Добравшись, наконец, до станции, ободранный и полуживой, Семен Иванович узнал причину: император Вильгельм был свергнут с престола, немцы уходили из Украины, на Харьков надвигались большевики. Семен Иванович немедленно переменил маршрут и бросился на юг.

Черт знает, с какими затруднениями пришлось ему ехать — преимущественно на крышах вагонов. У теп-

лушек загорались оси. На подъемах отрывалась половина поездного состава и сваливалась под откос. Неизвестные личности отцепляли паровозы и угоняли их с нечеловеческими проклятиями. На станциях шла непереставаемая стрельба. Начальники станций прятались по ямам и погребам. По пути из кустов стреляли в окошки. На одном перегоне поезд стал в чистом поле. В вагон вошли рослые казаки в червонных папахах, в синих свитках:

— Которые жиды — выходите.

Произвели личный осмотр. Отобрали с десяток животрепетных душ, повели их в поле, к стогу сена. Когда поезд тронулся — раздались выстрелы, дикие крики.

Меняя поезда, Семен Иванович заехал в захолустный степной городишко, в глухой тупик. Населения там было очень мало,— одни говорили, что разбежалось, другие — что вырезано. Но все же на базар у заколоченных лавок выезжали торговать телеги с калачами, салом, вяленой рыбой. Семен Иванович ночевал на вокзале, днем бродил по городу. То увидит ощеренную, околевшую собаку и подолгу глядит, покуда не плюнет. То остановится поговорить с бабой, едва прикрытой ветошью. За городом в степи целыми днями стояли дымы, в сумерках мерцали далекие зарева. Ужасная скука.

Однажды, купив на базаре вяленого леща и калач, Семен Иванович шел по широкой улице к одному из крайних, у самой степи, домиков, где можно было достать самогону. С испуганными криками дорогу перебежали мальчишки. Из ворот выскочила простоволосая женщина, стала запирать ставни. Приготовления казались знакомыми, но откуда в этой пустыне могла прийти опасность? Семен Иванович дошел до знакомого домика, где продавался самогон, и увидел самого хозяина: положив руки на поясницу, он с усмешкой глядел на степь, выставив туда же рыжую пыльную бороду.

— Опять, пожалуйте, гости дорогие,— сказал он, покачав головой. На широкой степной дороге поднималась пыль.— Непременно это он. Никому другому не быть. (Семен Иванович спросил: «Да кто же?») — Как

кто? Атаман Ангел. Зайди, дружок, в избу, кабы чего не вышло.

В окошко Семен Иванович увидал, как из пыльного облака бешено выскочили тройки, запряженные в небольшие телеги — тачанки; троек более пятидесяти. На передней (рыжие, лысые, донские жеребцы), на развевающемся с боков телеги персидском ковре стояло золоченое кресло-рококо. В нем сидел, руки упирая в колени, приземистый, широкоскулый человек, лицо коричневое, бритое, как камень. Одет в плюшевый, с разводами, френч, в серую каскетку. Это и был сам атаман Ангел. За его креслом стояли два молодых, с вихрами из-под картузов, атаманца — держали винтовки на изготовку. С заливными колокольцами промчалась тройка. За ней на других тачанках, свесив ноги, сидели атаманцы в шинелях, в тулупах, с пулеметами, поднятыми бомбами, револьверами. Великий был шум от конского топота, гиканья, звона бубенцов.

— Вот так и гоняют по степи, озорничают, атаманы-разбойнички,— сказал вполголоса самогонщик,— деревнями к ним мужики уходят, отбою нет, да, слышь, не всех берут в разбойники-то. Сейчас они генерала Деникина добровольцев бьют, а встретят большевиков — и с большевиками бьются.

В ворота бухнули. Самогонщик перекрестился, пошел отворять. Вернулся он с двумя атаманцами, черными от пыли,— только блестели глаза у них и зубы.

— Шесть ведер самогону, посуда наша,— сказал один, другой кинул на стол деньги.— А ты что за человек? — спросил он Невзорова.

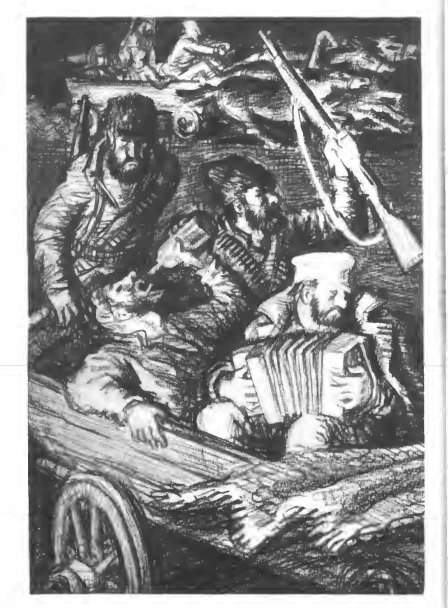
— Я бухгалтер.

— Это как так — бухгалтер?

Семен Иванович поспешно объяснил. Сказал, что бежал от большевиков, а к деникинцам идти не хочет — против совести. Поэтому прозябает здесь, в городишке.

— Эге,— сказал первый,— давно атаман горюет, что нет у нас счетовода-казначея. Иди за мной.

Семена Ивановича повели на улицу, куда самогонщик выносил посудины с самогоном, поставили его перед атаманом. Тот тяжело повернулся в кресле, нагнулся низко к Семену Ивановичу, впился в него запавшими, тусклыми глазами:



— Ты что умеешь? Считать умеешь? (Семен Иванович только слабо крякнул в ответ, закивал.) Ладно. Заводи счетную книгу, казна великая. Проворуешься али тягу дашь,— в два счета голову шашкой прочь — понял, чертов сын?

Понять это было нетрудно: Семен Иванович сделался бухгалтером при разбойничьей казне. В тот же день его посадили на тачанку, рядом с двумя дюжими казаками и кованым сундуком, набитым деньгами и золотом, и опять — атаман в кресле на ковре впереди, за ним пятьдесят троек — залились в степь.

Атаман шел на Елизаветград. На тройках была вся его сила — и пехота, и кавалерия, и пулеметы, и пушки, и обоз. Передвигался он с чрезвычайной скоростью,— даже на тачанках, на каждой, сзади дегтем написано было: «Хрен догонишь». Часто, заняв деревню или городок, он посылал в стороны летучие отряды, которые возвращались с мясом, водкой, овсом, сахаром. Иногда все колесное войско устремлялось за сизый горизонт степи, на месте оставался лишь Семен Иванович с казной да охрана.

Нередко ночевали в степи, а время было осеннее, студеное. Ставили тачанки в круг старинным казацким обычаем, распрягали коней, высылали дозоры. У телег зажигали костры, вешали в котлах варить кур, баранину, кашу. Цедили самогон из бочонков.

Дико, непривычно было Семену Ивановичу глядеть, как атаманцы, рослые, широкие, прочерневшие от непогоды и спирта,— в тех самых шинелях и картузах, в которых еще так недавно угрюмо шагали по Невскому под вой флейт,— шли на фронт, на убой,— те самые, знакомые, бородатые, сидят теперь у телег на войлочных кошмах под осенними звездами. Режутся в карты, в девятку, кидают толстыми пачками деньги. Вот один встал, цедит из бочонка огненный спирт и опять валится у костра. А там затянули песню, степную, с подголосками... Певали ее еще в годы, когда вот так же бродили по ковылям с тмутараканским князем. А вон — бросили карты, вскочили, полетели шапки, вцепились в волосы: «Бей».

Но, как из-под земли, вырастал атаман, и утихала ссора. Ангел много не говорил, но взглянет мутно из

глазных впадин — и хмель соскочит у казака. Не раз на таких привалах атаман подходил к Семену Ивановичу, приказывал подать бухгалтерскую книгу и дивился хитрости буржуев, придумавших тройную бухгалтерию.

— Ты по городам болтался,— чепуху, наверно, про нас пишут? — спрашивал его атаман. (Семен Иванович сейчас же соглашался, что читал про него и именно чепуху.) — То-то. Где им понять? Истребить эти самые города, вот что надо. Дай срок — я истреблю. Вот книгу мне надо одну достать, есть такая книжка: «Анархизм». Читал?

— Читал, Ангел Иванович, как-то забылось.

— Дурак ты, Семен... Кабы не твоя бухгалтерия... Ну, не дрожи, не трону... А вот возьму Елизаветград,— ты мне эту книжку достань.

Однажды в такую же ночь на привале, в степи, между телег появился на захрапевшем коне молодой казак с накрест опоясанными пулеметными лентами. «Атаман!» — крикнул он. Спешился и тихо что-то сказал Ангелу.

— За-а-а-пря-гать! — спокойно, но так, что у всех телег было слышно, скомандовал атаман. И в несколько минут табор свернулся. В телеги покидали котлы, попоны, бочонки. Впрягли лошадей — без шума. Подвязали колокольцы. Круг развернулся. И тройки с места рванулись вскачь.

Семен Иванович сидел в тачанке, вцепившись в денежный сундук. Впереди, с боков, сзади — летели тройки. Под звездами степь казалась седой, без края. Свистел ветер в ушах. У Семена Ивановича стучали зубы.

Далеко раздались выстрелы. Тройки рассыпались. На полном ходу повернули к северу. Та-та-та-та-та,— казалось, со всех сторон гулкой дробью посыпали пулеметы. Атаманцы стреляли стоя, с телег. А тройки снова повернули к югу. Две тачанки сцепились, опрокинулись. Семен Иванович увидел,— из беловатой мглы появились всадники невероятной величины. Казака, державшего вожжи, сдуло с телеги. Другой схватил вожжи и повалился ничком. Теперь Семен Иванович слышал, как визжали огромные всадни-

ки,— махая шашками, они налетели со всех сторон. Вдруг телега затрещала, накренилась,— и Семен Иванович, закрыв лицо, полетел в мерзлый бурьян. Ударился и потерял сознание.

Семен Иванович очнулся от холода. Рассветало. Звезды побледнели. Низко, белыми озерами лежал туман. Кое-где из него торчала лошадиная нога, виднелись колеса опрокинутой телеги. Семен Иванович сел, ощупал себя,— цел, хотя все тело болело. Около него валялся сундук с казной. Не из корысти — бессознательно — Семен Иванович вынул из сундука свертки с царскими десятирублевками, пересчитал: семь штук,— рассовал их по карманам и побрел, придерживая поясницу, прочь от места битвы.

Когда солнце поднялось из багровой мглы над озерами тумана, он увидел с удивлением и радостью полотно железной дороги.

Дальнейшее передвижение на юг было сопряжено со всевозможными затруднениями и случайностями. Но Семен Иванович до того уж наловчился, вид его был до того ободранный и жалкий, что, миновав станции и города, он благополучно добрался до Одессы. Стоял конец февраля 1919 года.

КНИГА ВТОРАЯ

Что за чудо — Дерибасовская улица в четыре часа дня, когда с моря дует влажный мартовский ветер! На Дерибасовской в этот час вы встретите всю Россию в уменьшенном, конечно, виде. Сильно потрепанного революцией помещика в пальтеце не по росту,— он тут же попросит у вас взаймы или предложит зайти в ресторан. Вы встретитесь с давно убитым знакомцем,— он был прапорщиком во время Великой войны, а смотришь — и не убит совсем и еще шагает в генеральских погонах. Вы увидите знаменитого писателя,— важно идет в толпе и улыбается желчно и презрительно этому, сведенному до миниатюрнейших размеров, величию империи. Вы наткнетесь на нужного вам до зарезу иссиня-бритого дельца в дорогой шубе, стоящего от нечего делать вот уже час перед

витриной ювелирного магазина. Вы поймаете за полу бойкого и неунывающего журналиста, ужом пробирающегося сквозь толпу,— он наспех вывалит вам весь запас последних сенсационных известий, и вы пойдете дальше с сильно бьющимся сердцем и первому же знакомому брякнете достоверное: «Теперь уже, батенька мой, никак не позже полутора месяцев будем в Москве с колокольным звоном».— «Да что вы говорите?» — «Да уж будьте покойны — сведения самые достоверные».

И ваш знакомый идет в гостиницу к жене, и они на последние карбованцы покупают сардин, паштетов, вина и, окруженные родственниками, едят и пьют, и чокаются за Москву, и сердца у всех бьются. И волнующие слухи летят дальше по городу. И уж кто-то, особенно нетерпеливый, бежит в переулок в прачечное заведение и торопит: «Выстирайте мне белье поскорее».

На Дерибасовской гуляют настоящие царские генералы. Какое наслаждение глядеть, как мартовское солнце горит на золотых погонах, как лихие юнкера, подхватив под козырек, столбами врастают в землю. Видя эту сцену, какой-нибудь растерянный отец семейства, у которого от революции переболтались мозги в голове,— снова, хотя бы только на минуту, приобретает уверенность в нерушимости основ иерархии, быта и государства.

Про дам на Дерибасовской и говорить нечего: на все вкусы. Шляпы, меха, манто, караты. Петербурженки — худые, рослые, энглизированные, с них никакими революциями не собьешь высокомерия. Одесситки — русские парижанки, слегка страдающие полнотой, не женщины, а романс. А худенькие, стриженые артистки различных кабаре! Любой из них нет и двадцати лет, а уже раз десять эвакуировалась и пешком и на крышах вагонов, и уж горькие морщинки легли в углах губ, и в глазах — пустынька.

Встретите также на Дерибасовской рослых английских моряков с розовыми щеками,— идут, держась за руки, будто в фойе театра, в антракте забавнейшей пьесы. Или с хохотом проталкиваются сквозь толпу французские матросы, в синих фуфайках, в шапочках с помпонами,— ах ты, боже мой, как оглядываются на них дамы с Дерибасовской, а знаменитый

писатель остановился даже, окаменел, почернел: вот они римляне, победители,— хохочут, толкаются, поплевывают... А мы-то, мы?..

Если вас одолело сомнение: да верно ли, не мишура ли вся эта разодетая, шумная Дерибасовская? Действительно ли это Измайловский марш вырывается из раскрытых дверей ресторана? Прочно ли здесь укрепилась белая Россия на последнем клочке берега? Если душа ваша раздвоилась и заскулила, сверните скорей на Екатерининскую, дойдите до набережной, станьте у подножия герцога Ришелье... Какой великолепный и успокаивающий вид! Бронзовый герцог, в римской тоге, приветливым и важным жестом указывает на широкий, покрытый мглою порт. Вдали — подозрительные пески Пересыпи, направо — длинная стрела мола. А за ним на открытом рейде лежат серыми утюгами французские дредноуты. «Милости просим», как бы говорит герцог Ришелье, которому в свое время, лет сто двадцать пять тому назад, точно так же пришлось уходить с небольшим чемоданом из Парижа, от призрака гильотины на площади Революции.

Тридцать тысяч зуавов, в красных штанах и фесках, и греков — в защитных юбочках и колпаках с кистями,— выгружено в одесском порту. В ста верстах от города, на фронте, против босых, голодных, вшивых красных частей,— утверждены тяжелые орудия, ползают танки, кружатся аэропланы. Нет, нет, никакие сомнения неуместны, дни безумной Москвы сочтены. Возвращайтесь смело на Дерибасовскую. А если усилится ветер с моря — сверните в кафе Фанкони.

Прогулявшись в свое удовольствие по Дерибасовской улице, Семен Иванович Невзоров уселся за столиком у Фанкони и, не снимая шляпы и пальто, чтобы их впопыхах не сперли, принялся оглядывать посетителей, прислушиваться к разговорам.

В табачном дыму вертелась стеклянная дверь, впуская и выпуская деловых людей, набивавшихся в этот час в кофейню со всего города. На лицах у дельцов было одно и то же выражение — смесь окончательного недоверия ко всякому жизненному явле-

нию,— будь то французский броненосец или накладная на вагон волоцких орехов,— и, вместе, живая готовность купить и быстро продать таковое явление, получив разницу.

Над столиками, среди котелков и котиковых шапок, взлетали руки с растопыренными пальцами, метались потные лица, надрывающие голоса перекрикивали шум:

...«Сто бидонов масла...» — «Не крутите мне голову с аспирином».— «Продам доллары, куплю доллары».— «Послушайте, что вы мне лезете в карман?» — «Интересуетесь персидской мерлушкой или вы не интересуетесь?» — «Продам колокольчики».— «Слушайте, колоссальная новость: большевики взорвали Кремль».

Семен Иванович только усмехнулся презрительно: за несколько дней в Одессе, не нуждаясь в деньгах, он спокойно обследовал торговую и валютную биржу и выяснил, что в городе ничего решительно нет, ни товаров, ни денег, если не считать небольшого количества французской и греческой валюты, которую все время перепродавали одни и те же лица до четырех часов на углу Дерибасовской, а с четырех у Фанкони. В городе и у Фанкони торговали одними только накладными и считали это даже более удобным, чем торговать вещами: и весь магазин в кармане, и торговых расходов — только чашка кофе с пирожным.

По приезде Семен Иванович купил несколько тысяч франков «на всякий пожарный случай». Через несколько дней его начали осаждать предложениями — продать эти франки. Он только подмигивал. Тогда у Фанкони началось смятение, на Невзорова с ужасом оглядывались,— вот человек, который прячет товар и подмигивает. Франк взлетел на сто процентов. Но он и тогда отказался получить разницу и бросить франки снова на рынок, где уже с десяток дельцов пришли в ничтожество за неимением работы.

Одетый прилично, с кошельком, набитым разбойничьим золотом, с честным паспортом на имя греческого подданного, Семилапида Навзараки,— Семен Иванович безусловно верил в свою необыкновенную судьбу. Но теперь он уже не гнался за титулами, не швырял без счета денег на удовольствия.

Россия — место гиблое, так указывал ему здравый смысл. Всю ее разграбят и растащат до нитки, недаром же, в самом деле, на рейде дымят на весь рейд, жгут уголь союзнические корабли. Нужно торопиться рвануть и свой кусок. Невзоров поджидал случая, чтобы произвести короткую и удачную операцию с каким-нибудь высоковалютным товаром, и тогда, ни на что больше не льстясь, бежать навсегда в Европу. Там с хорошими деньгами,— он это знал по кинематографу,— жизнь — сплошное наслаждение.

Таковы были мечты Невзорова, умудренного опытом. Помешивая кофе, он прислушивался к деловым спорам в кафе. Его заинтересовал хриповатый голос, предлагавший кому-то купить персидские мерлушки. Семен Иванович привстал даже, всматриваясь, и вдруг вместо продавца мерлушек увидел, через столик от себя, худощавое лицо в очках,— оно заставило его неприятно съежиться.

Вот уже несколько дней это лицо всюду попадалось ему: то на улице, оглянешься,— оно за спиной; то при выходе из магазина оно с усмешкой сторонилось и пропадало в толпе; то в кофейне поглядывало из-за котелков сквозь клубы табачного дыма.

Несомненно — лицо следило за ним. Он вспомнил: оно появилось именно после покупки французской валюты, когда Невзоров стал сразу знаменит в кафе. Но что этому лицу с острой бородкой, с непонятными глазами, прикрытыми голубыми стеклами, с наголо обритым, шишковатым черепом,— что этому дьяволу было нужно от Семена Ивановича?

Около Невзорова появился продавец мерлушек. Это был беспокойный человек, один из тех, кто через небольшие промежутки времени выскакивает в распахнутом пальто на ветер, добегает до угла, жестикулирует сам с собой и снова бежит в кофейню:

— Мерлушкой интересуетесь?

— Почем? — небрежно спросил Невзоров.

— Сто карбованцев шкурка.

— Товар или только накладная?

— Какая вам разница?

— Тогда идите к черту,— сказал Невзоров, отвернулся и у себя за плечом увидел лицо в очках; усмехаясь тонко, оно придвинулось вплотную к Невзорову: видимо, человек этот подъехал на стуле.

— Скажите,— спросил он необычайно внятно и подчеркивая слова с какой-то сатанинской выразительностью,— скажите, а *сапожным кремом* вы не интересуетесь?

Семен Иванович взглянул ему в зрачки, они были как точки, вот-вот проскочат сквозь голубые стекла. Семен Иванович проглотил слюну,— почувствовал, что вопрос коварен и страшен, хотя касался всего-навсего сапожного крема.

И он не ответил словами, лишь помотал головой двусмысленно,— можно было понять ответ как угодно. Лицо извинилось и отодвинулось. Продавец мерлушек моргал от нервности, вытаскивая из рваного бумажника телеграфные и железнодорожные бланки. Но Семен Иванович, не слушая его больше, поднял воротник и вышел на улицу.

«Сколько раз, бывало, вот так — привяжется лицо поганое, жуткое, похожее на какую-то давно забытую дрянь, привяжется этакий Ибикус, и — пошло все кувырком». Так думал он, направляясь домой по сумеречным улицам. «Кто бы это мог быть в очках? Не из шайки ли Ангела? Вернулись тогда на место битвы, пересчитали казну, заметили утечку и — в погоню. Да, но при чем же сапожный крем? Странно. Ох, бежать, бежать, Невзоров...»

Семен Иванович подсчитал в уме, что осталось у него от разбойничьего золота: около четырех тысяч рублей. Не густо. Обернуться можно, конечно, за границей на эти деньги. А в голове засели проклятые мерлушки.

Да как же им и не засесть, подумайте только. Шкурка — сто карбованцев, то есть два рубля золотом. А если купить фальшивых карбованцев даже самой чистой работы, то и того дешевле. В Константинополе цена каракуля три английских фунта. Если вывезти, на плохой конец, две тысячи шкурок...

У Невзорова захватило дух. «Но как их вывезти из этого проклятого города? Разумеется, безопаснее всего на миноносце, под видом дипломатической вализы. Но, чтобы получить вализу и заграничный паспорт, нужны знакомства. Итак, начнем с добрых знакомств».

Постепенно весь план деловой операции возник в воображении Семена Ивановича. Он не заметил даже,

как некто, в надвинутой на лицо шляпе, перегнал его и вошел в тень ворот одноэтажной гостиницы, где квартировал Невзоров.

Звонок трещал где-то в пустоте, но швейцар не торопился отворять. На двери, обшитой снаружи и изнутри толстыми досками для защиты от налетчиков (их в те времена в Одессе работало двадцать тысяч душ, подавшихся на юг из северных городов), висел приказ градоначальника о тараканах. Семен Иванович каждый раз прочитывал его внимательно, даже не представляя себе, какое значение в его жизни должны сыграть эти насекомые.

Приказ был таков.

«Гостиницы, меблированные комнаты. Поступает много жалоб на вас, некоторые завели не только клопов, но и крыс, и *даже тараканов...* Иные придумали тушить электричество в полночь, зная, что у населения нет осветительных материалов. И все только и знаете, что прибавляете цены на все. Стыдно перед союзниками. Клопов, крыс, прусаков и русских тараканов и тому подобных никому не нужных обитателей уничтожить. Электричество давать всю ночь. Лично буду осматривать. Сами понимаете. Генерал-майор Талдыкин».

«Завтра пойду к Талдыкину, с ним, видимо, сговориться будет нетрудно»,— подумал Семен Иванович, входя в гостиницу. Опухший от сна швейцар, передавая ключ, внимательно вдруг оглянул Невзорова, но ничего не сказал, сопя ушел под лестницу.

Электрического света, несмотря на угрозы Талдыкина, все же не было в комнате. Семен Иванович зажег фитилек, плавающий в баночке, в масле. По столу побежал таракан. «Ишь, ты, рысак»,— подумал Семен Иванович и щелчком сшиб его на пол.

Несомненно, он тут же и навсегда бы забыл таракана и то, как обругал его рысаком. Но необыкновенная судьба, предсказанная ему на Петербургской стороне старой цыганкой, не позволила изгладиться из памяти этому насекомому. С Невзоровым произошло то же, что три века тому назад с великим Бенвенуто Челлини, который, сидя у очага, увидел в огне пляшущую саламандру в виде ящерицы и по детскому легкомыслию не обратил на это внимания, но его отец, старый Челлини, внезапно закатил сыну оглушитель-

ную пощечину, чтобы навсегда пригвоздить к его памяти образ духа огня.

Словом, сшибив таракана, Семен Иванович пошел положить шляпу и трость на комод и увидел, что ящики комода выдвинуты, чемодан раскрыт, вещи и белье переворочены.

Он подумал: кража! — и кинулся к потайному месту, где лежал мешочек с золотом. Но мешочек оказался цел. Из вещей ничего не пропало. И самое удивительное было вот что: на полу валялись вчера только купленные две банки с сапожным кремом — желтым и черным, крем из них был вывален на газетный лист.

Семен Иванович бросил газету и крем в умывальное ведро, задвинул все ящики и некоторое время стоял, пощипывая бородку, пожал плечами раз и другой... «Обыск несомненно... Но в чем дело?» Затем он подсел у стола к фитильку и высыпал из мешочка золото. На белую скатерть падал с улицы водянистый свет фонаря. Пересчитывая золотые, Семен Иванович заметил, что у него из-за спины на скатерть выдвигается тень головы в шляпе. Он быстро обернулся. С улицы в окно глядело лицо в очках. Усмехнулось и бесшумно скрылось.

На следующее утро Невзоров проходил большим двором пассажа, что напротив Фанкони. Он чувствовал себя неуютно после вчерашней ночи. В пассаже шатались зуавы в красных штанах, скаля африканские зубы на одесситок. Престарелые дамы с исплаканными лицами продавали спички. Пробежал в аршин ростом газетчик, обмотанный мамкиными платками: «Генерал д'Ансельм решил исполнить свой долг»,— кричал он отчаянно. «Кровавый бой на станции Раздельной, колоссальные потери большевиков». У мануфактурного магазина два очевидных налетчика в английских шинелях лениво спорили об ограблении. Кучка спекулянтов волновалась над набухшими почками акации. Дальше — кавалерийский офицер кричал на пучеглазого кавказца, продающего кедровые орешки: «Пшел, здесь не разрешено торговать». Но пучеглазый только ухмылялся. Тогда ловко, как кот, офицер набил ухмыляющуюся морду, и она замоталась, зашмыгала слезами.

В общем, все было, как обычно, на дворе пассажа. В окне литературной кофейни «Восточные сладости» виднелись помятые лица журналистов. Вдруг кто-то шибко застучал в стекло. Семен Иванович обернулся,— ему махали рукой. Он вошел в кофейню и увидел за столом журналистов — Ртищева: красный, расстегнутый и веселый.

— Граф, жив! Иди сюда, арап несчастный, дорогой,— закричал он и прижал губы Невзорова к своему огромному бритому лицу,— садись, знакомься... Это все, брат, журналисты, «Осваг», мозг белой армии... Да как же ты все-таки жив?! А я из Москвы в санитарном поезде, работал за фельдшера. Чудеса! Сдался в плен две недели назад... Решил разбогатеть! Я уж помещение нашел для клуба в мавританском вкусе. Пять генерал-майоров и один полный генерал приглашены почетными старшинами. Одесса дрогнет, французы, греки дрогнут, дредноуты закачаются — какую мы развернем игру. Господа,— он схватил направо и налево от себя журналистов,— да посмотрите вы на графа — конфетка, а не человек. Что пережили вместе — волосы дыбом. Первое знакомство — под октябрьскими пушками,— дом дрожит, а я графа чищу в девятку, выпотрошил, как цыпленка, пятак твою распротак... Значит, делаем дела?

— Нет,— сказал Невзоров суховато,— с клубом я связываться не хочу,— уволь.

— Вот тебе — лук, чеснок. Ты что же — разбогател?

— Может быть. Сейчас я занят одной важной операцией. Кроме того, плохо верю в прочность Одессы.

— Не веришь? Так, так, так,— сказал Ртищев и поглядел на журналистов. Те криво усмехнулись, переглянулись. За столом сидело восемь человек, и девятый, в дальнем конце стола, спал, уткнув лицо в руки и прикрывшись шляпой.

— Так, так, так,— повторил Ртищев,— а четыре дредноута, а тридцать тысяч французов? В это вы тоже не верите, граф?.. Ради кого? — Он размахнул руками, журналисты подались в стороны.— Ради нас, плотвы несчастной, чтобы мы, плотва и шантрапа, спокойно попивали кофеек,— французы, потомки маркизов и философов, благороднейшая нация, сидят в окопах и проливают свою драгоценнейшую кровь...

Какое же ты имеешь право, сукин сын,— тут он нагнул побагровевший череп и заскрипел золотыми зубами,— сомневаться, не верить в прочность Одессы. Ты — большевик!..

Журналисты, все восемь человек «Освага», впились глазами в Невзорова. Девятый, спящий, пошевелился под шляпой.

— Ничего я не большевик,— ответил Невзоров,— если уж на то пошло, я — анархист, в смысле идейном... Я — за свободу личности. Если вам нравится сидеть под охраной французов, пить кофе,— пожалуйста. А я уезжаю за границу. К черту, к черту...

Он рассердился, насупился, ломал коробку от папирос. Его удивило особенное молчание, возникшее за столом. Он поднял глаза. Девятый, спавший под шляпой, не спал, сидел, пощипывая бородку. Это было то лицо в голубых очках.

Невзоров ахнул, стал втягивать голову в плечи. Лицо в очках тонко усмехнулось:

— Все это шутки, *граф*. Вы среди шутников. Кто же заподозрит вас в чем-либо *серьезном?*

Через несколько минут, на углу Дерибасовской, вчерашний продавец каракуля подошел к Семену Ивановичу и предложил пойти в порт, посмотреть товар. Поехали на извозчике. У одного из железных пакгаузов разыскали сторожа, дали ему сто карбованцев, и он разрешил осмотреть пакгауз. Среди огромных кип сукна, холста, кожи, консервов отыскали три, обитые цинком, ящика со шкурками.

— Позвольте, кому же все-таки принадлежит товар? — спросил Невзоров.— По всей видимости, этот каракуль — казенный.

У продавца между бородой и усами обозначилось огромное количество врозь торчащих зубов. Оттеснив Невзорова от сторожа, он зашептал:

— Что значит — товар казенный? На нем написано, что он — казенный? Это персидский каракуль, вырезанный из живых овец,— чем же он казенный? Дайте сторожу еще двести карбованцев и дайте чиновнику тысячу карбованцев,— тогда уже сам бог не скажет, что каракуль казенный.

— Сто карбованцев шкурка?

— Ой, что вы говорите! Я сам плачу сто десять карбованцев,— чтобы мне так жить!

Наконец сторговались за полтораста. Невзоров дал задаток, велел товар принести в гостиницу. Теперь нужно было наивозможно скорее получить заграничный паспорт и — бежать.

Весь остаток дня Семен Иванович провел у Фанкони, нащупывая в беседах с особо тертыми личностями ходы к высшим властям. Выяснилось, что, не в пример прошлым временам, действовать нужно смело, честно и отчетливо: идти прямо в канцелярию управляющего краем, обратиться к начальнику канцелярии, генералу фон-дер-Брудеру, просто и молча положить ему на стол, под промокашку, двадцать пять английских фунтов, затем поздороваться за руку и разговаривать. Если по смыслу разговора сумма под промокашкой окажется мала, то фон-дер-Брудер на прощанье руки не подаст, тогда назавтра опять нужно положить двадцать пять фунтов под промокашку.

Возвращаясь домой, Семен Иванович на свободе предался размышлениям о лице в голубых очках и о таинственной связи его с сапожным кремом,— но тут в голове начался такой беспорядок, что он махнул рукой: чушь, мнительность, воображение... Семен Иванович, как это уже давно выяснил себе читатель, был человек мечтательный и легкомысленный и, как все мечтательные и легкомысленные люди, близоруко шел навстречу опасности.

И на этот раз опасность, страшнее предыдущих, смертельная и неожиданная, ждала его у ворот гостиницы.

Тою же ночью на окраине города, по темному и пустынному Куликову полю, шли двое, разговаривали вполголоса:

— Ты что же — прямо сейчас в Испанию?

— Наш центр в Мадриде. Там — проверка мандата.

— Не понимаю тебя, Саша... Все это — ужасно глупо, романтика какая-то.

— Э, просто тебе завидно. Через две недели, подумай: Средиземное море, Архипелаг, роскошные страны, наслаждение.

Разговаривающие остановились спиной к ветру, зажгли спичку. Огонек осветил бритое бабье лицо с трубкой и другое лицо — смуглое, юношеское, улыбающееся. Закурили. Пошли дальше. Человек с трубкой сказал:

— Нет, мне не завидно. Здесь — грязь, голод, кровь. Борьба, страшная работа, может быть, завтра — виселица. А вот — поди же ты — не завидно. Есть вещи и дороже и выше наслаждения.

— Не для наслаждения еду,— сам знаешь.

— Знаю, и все-таки это — голая романтика... Хотя ты и собираешься...

— Тише...

Пересекая им дорогу, в темноте прошел кто-то,— тяжело протопали сапоги. Когда шаги затихли, человек с трубкой сказал:

— Значит, ты совсем покончил с нами? Жалко.

— Я и не начинал с вами. Сочувствовал. Ну, октябрьский переворот — я еще понимаю: драка у Никитских ворот,— тра-та-та. А потом — пайки, коллективы, вши, война. Будни. Не хочу, не принимаю. Не запихнешь меня в коллектив. А у нас — личность, красота борьбы, взрыв.

— Ну да, для хорошего буржуазного пищеварения анархизм — как красный перец во щах. Эх, Саша, Саша!..

— Нас много, брат,— больше, чем думают... Да, кстати... Хотя мы и враги теперь, окажи последнюю услугу: за мной слежка, до моего отъезда я тебе передам четыре жестянки с *сапожным кремом*...

Тяжелые шаги снова и неожиданно затопали совсем близко. Приближалось несколько человек.

Тот, кого называли Саша, схватил приятеля за локоть. Оба остановились. Из темноты выросли трое рослых в солдатских шинелях. Крикнули грубо:

— Что за люди?

— Покажь документы.

Человек с трубкой шепнул: «Спокойно, это — варта»[1]. Но спутник его отскочил, рванул из кармана револьвер. Рослые бросились к нему, сбили с ног прикладами и, матерно ругаясь, шумно дыша, связали руки, пинками заставили встать и повели.

[1] Варта — гетманская милиция.

Во время этой возни человек с трубкой скрылся.

Почти такая же сцена в тот же час произошла в другой части города.

Невзоров, подходя к своей гостинице, внезапно был схвачен двумя выскочившими из-под ворот молодыми людьми в золотых погонах.

Семен Иванович выпучил глаза, разинул рот, но рот ему тут же заткнули тряпкой. Потащили наискосок к извозчику, повалили поперек пролетки. Молодые люди сели, уперлись каблуками в бока Семена Ивановича, и извозчик на резинках погнал по пустынным улицам.

Все это произошло в несколько секунд. Все же Невзоров успел заметить в тени под воротами третьего человека,— он стоял, подняв на высоту плеча револьвер, поблескивая очками.

Семена Ивановича втолкнули в сводчатую комнату, в затхлый махорочный воздух. Дверь захлопнули. Он подошел к клеенчатому дивану и сел. Напротив у стены, у стола, сидел человек в изжеванной шинели. Над ним, под облупленным сводом, горела лампочка в пять свечей. Человек не спеша копал в носу, глядел на палец, затем вытирал его о подмышку. У него было веснушчатое, широкоскулое лицо, с острым носиком торчком, и закрученные усики.

— Скажите, пожалуйста, где я нахожусь? Я ничего не могу понять,— спросил у него Невзоров.

— А вот в зубы дам — поймешь.

— Все-таки я же должен знать, за что меня арестовали.

Человек в изжеванной шинели уперся обеими руками о стол и начал приподниматься.

Невзоров больше не продолжал беседы. От волнения и скверного воздуха он ослаб. Подобрал ноги, прилег и завел глаза. Но сейчас же со стоном открыл их. Человек у стола продолжал закручивать усики.

Вдруг загрохотала дверь. Трое в солдатских шинелях впихнули в комнату ощеренного от злости юношу. Он стоял некоторое время, вытянувшись, в щегольской бархатной куртке. Через смуглую щеку у него шла кровавая царапина. Затем решительно сел на клеенчатый диван.

— Сволочи,— сказал он и поморгал пышными ресницами. Невзоров посматривал искоса,— где-то он

видел этого человека, удивительно знакомое лицо... Рот, как у девушки... Не в кафе ли у «Бома», на Тверской? Ну, конечно — вместе с покойной Аллой Григорьевной и косматым человеком, похожим на бабу...

— Простите, вы не граф Шамборен, художник?

Юноша, точно рысь, повернул голову:

— А! Невзоров!

— Виноват,— поспешно заявил Семен Иванович,— настоящая моя фамилия Семилапид Навзараки. Невзоров — это псевдоним. Представьте: схватили на улице, сижу здесь, ничего не понимаю.

— Поймешь,— сказал человек у стола,— у нас втолкуют.

На этом разговор прервался. Послышался звон шпор. Вошел ротмистр, великолепный блондин в пышных галифе. Трогая мизинцем пробор, он спросил нараспев, как глубоко светский человек:

— Кто здесь — именующий себя Семилапидом Навзараки?

Семен Иванович вскочил, всем своим видом изображая величайшую благонамеренность, и пошел к дверям, где с боков к нему примкнулись часовые.

Матерый полковник,— видимо, из бывших жандармских,— задумчиво курил, свет хрустального абажурчика поблескивал на крепких ногтях его. Невзорова втолкнули в кабинет. Он остановился близ двери, поклонился. Полковник не обратил на него решительно никакого внимания, курил толстую пушку, полузакрыв глаза. Только нежно под столом зазвенела шпора.

Затем негромко, будто обращаясь к невидимому собеседнику, полковник сказал:

— В первый раз едете в Испанию? Никогда не изволили там бывать, граф?

У Семена Ивановича задрожала челюсть, ужас пошел по коже. Он оглянулся,— с кем это разговаривает полковник? Облизнул губы, промолчал. А полковник тем временем повернул львиное лицо, украшенное седеющими подусниками, и, устремив чистый, холодный взгляд поверх головы Семена Ивановича, сказал раздельно:

— Имя, отчество, фамилия?

— Навзараки, Семилапид,— с трудом ответил Невзоров.

— Зачем, ну, зачем, граф, так унижать свое достоинство? Мы же знаем, что вы не Семилапид Навзараки.— И вдруг глаза полковника — яростные, выпрыгивающие — воткнулись в глаза Невзорову, просверлили мозг до затылка... Семен Иванович попятился. Глаза пришили его к стене и перескочили на лист чистой бумаги. Полковник обмакнул перо и записал:

«Навзараки. Года? 37. Место рождения? Херсон. Занятие? Торговля. Превосходно».

Он осторожно поднес к губам папиросу:

— Какого именно рода товар изволите продавать?

— Каракуль.

— Превосходно. Не желаете ли присесть? Нет, сюда, к столу. Так вы говорите, что торгуете сапожным кремом?

— Какой там сапожный крем! — завизжал Невзоров.— Ничего я не знаю про сапожный крем...

Полковник только поднял брови и продолжал писать красивым, длинным почерком. Семен Иванович, почти бессознательно, пошарил в жилете, достал две бумажки, по пяти английских фунтов каждая, привстал и положил их под угол промокашки. Не оборачиваясь, полковник сказал вежливо:

— Мерси.— Положил перо и закурил новую пушку.— Вас еще не подвергали личному обыску? Эта проклятая революция порядком потрепала наш аппарат. В особо деликатных случаях я доверяю одному себе. Разрешите поинтересоваться содержанием карманов.

Он пересчитал деньги Невзорова, вложил в конверт и запечатал: «Будьте совершенно покойны». Затем осторожно развернул паспорт:

— Гм, прекраснейшая работа,— это фальшивомонетчики с Пересыпи. Дорого заплатили? Ну-с,— это все ваши документы?

— За последнее время неоднократно бывал ограблен, жестоко пострадал, ваше превосходительство.

— Странно. Как же вы, граф, едете без мандата на такую ответственную и ужасную работу?

— О чем вы?.. На какую работу?..

— Я спрашиваю,— тут брови полковника слегка сдвинулись,— где мандат? Сокрытие лишь ухудшит ваше положение.

Тогда Невзоров, прижимая к груди трепетную руку, пролепетал:

— Ваше превосходительство, богом клянусь — вы принимаете меня за кого-то другого.

— Э, не будем играть в прятки. Мы оба светские люди, граф, не правда ли? Давайте — по-английски, по-чести, начистоту.

— Я же не граф, я бухгалтер... Ваше превосходительство, я — Невзоров...

И тут Семен Иванович, захлебываясь словами, принялся описывать свои приключения, начиная со встречи с цыганкой на Петербургской стороне. Полковник по мере его рассказа все сильнее хмурился, полированные ногти его забарабанили гимн. Шея наливалась кровью. Внезапно ужасным голосом он проговорил:

— Где четыре жестянки с сапожным кремом?

Невзоров ударился о спинку кресла и глядел, как кролик, в ледяные глаза. Принялся креститься: «Ей-богу, с ума сойду с этим сапожным кремом, ничего не знаю...»

Держа Невзорова на прицеле глаз, полковник позвонил. Вошел ротмистр, звякнул шпорами. Полковник сказал:

— Штучка оказалась хитрая.

— Прикажете отвести его в *операционную*, господин полковник?

Изо всего непонятного фраза эта была самая страшная. Невзоров затрепетал в кресле. Его крепко схватили за локти, повели по грязным коричневым коридорам, где дули сквозняки, по лесенкам, под землю и втолкнули в темное помещение. Он сел на земляной пол и таращил глаза в темноту. Здесь приторно пахло тлением и сыростью.

Постепенно с левой стороны появилось какое-то бледное, овальное пятно. Скосившись направо, он различил второе пятно. Так и есть — темные глазницы и черты страшного оскала. «Вот он, проклятый, символ смерти, говорящий череп Ибикус...» Невзоров зажмурился. Из тела выступал ледяной пот. Под сердцем затошнило, и сердце перестало биться.

Он чувствовал, как его осторожно трогали, ощупывали лицо. Когда он снова стал различать звуки,— Ибикусы в стороне глуховатыми голосами разговаривали:

— И сегодня он ничего не добьется.

— Ты терпи, слышишь...

— А если он по делу Шамборена опять станет пытать,— говорить?

Семен Иванович слабо вскрикнул и сел. Голоса замолчали. Теперь он видел скудный свет сквозь подвальное, заложенное кирпичом окошко под потолком и на полу прислонившиеся к стене две смутные фигуры; они повернули к нему измученные лица,— нет, нет: это были люди, не Ибикусы. Он подполз к ним, всмотрелся, сказал шепотом:

— Меня допрашивали насчет сапожного крема...

— Анархист? — спросил левый из сидевших у стены.

— Боже сохрани. Никакой я не анархист. Я просто — мелкий спекулянт.

— Цыпленок пареный,— сказал правый у стены, с ввалившимися щеками.

— Растолкуйте мне, хоть намек дайте,— что это за крем такой, за что они меня мучат?..

— Пытать будут,— сказал другой, бородатый.

— Ой! Не виноват! Нельзя меня пытать. За что пытать? Я ничего не знаю.

Семен Иванович замотался, забился, заскреб землю. Бородатый, уже мягким голосом, сказал ему:

— Французская контрразведка получила сведения: через Одессу должен проехать в Европу крупный анархист с мандатом на организацию взрыва Версальского совещания, или, черт их знает, что они там вздумали взорвать. Огромные суммы у него, брильянты, спрятаны в жестянках с сапожным кремом. Французская контрразведка потребовала от белой контрразведки арестовать этого артиста. Вот они и сбесились, ищут его по всему городу. Поняли?

— Имя? имя его? как его зовут? — уже не голосом спросил, а зашипел, захрипел Невзоров.

Но оба человека у стены окаменели, замолчали на дальнейшие вопросы. Он отполз от них и прилег на бок. Соображение его бешено работало. Он сопостав-

лял, вспоминал, он догадывался об имени своего двойника. Ибикус-хранитель и на этот раз, видимо, спасет его.

Мутный свет яснел между кирпичами в окошке. Бородатый и безбородый в тоске уткнулись лицом в колени. На земле наступало утро. И вот за дощатой перегородкой, в том же подвале, послышался скрип двери, голоса, звон шпор. Сквозь длинные щели, слепя глаза, проникли желтые лучи лампы. Боковая, в перегородке, дверка распахнулась, и вошли ротмистр и двое в голубых французских куртках.

С минуту они приглядывались к темноте. Затем все трое подошли к безбородому. Ротмистр ткнул его ножнами шашки. Он не пошевелился. Они молча схватили его и потащили за перегородку. Он растопыривал ноги, упирался. Бородатый крикнул ему:

— Молчи!

Семену Ивановичу достаточно было только повернуть голову, чтобы увидеть, что делается на той половине за перегородкой. И он прижался к щели и увидал.

На кухонном столе сидел полковник, помахивая наганом. Левая рука его, в перчатке, упиралась в тугое бедро. От резкого света лампы-молнии, поставленной на подоконник заложенного кирпичами окна, от теней, бросаемых подусниками,— львиное лицо его казалось растянутым в веселую улыбку.

Безбородого потащили к нему, поставили. Это был костлявый, большой парень в рваном пальто. Полковник что-то тихо сказал ему,— согнутый палец задрожал на бедре. Безбородый переступил босыми ногами. По взъерошенному затылку было видно, что он не отвечает на вопросы.

Тогда рука в перчатке соскользнула с полковничьего бедра, схватила парня спереди за волосы, подтащила голову к столу.

— Скажешь, скажешь,— повторил полковник и рукояткой нагана ударил безбородого в поясницу, твердо, с оттяжкой стал бить его в почки. Парень замычал и осел. Полковник ногой отпихнул его:

— Следующего!

Из-за перегородки вывели бородатого. Он шел, наступая на полы солдатской шинели,— голова закинута, рыжая борода — задрана. Семен Иванович, глядевший в щель, ужаснулся,— что сейчас будет?

— Ну-с, господин коммунист,— полковник поманил его пальцем,— поближе, поближе. Как же мы с вами сегодня будем разговаривать — терапевтически или хирургически?

На эти слова ротмистр гулко хохотнул: «Хо-хо-хо!» Бородатый покосился на то место, где на полу лежал его товарищ,— у того из носа и рта пузырями выходила кровь. Невзоров видел, как у бородатого задрожало лицо. Он торопливо начал говорить...

— Молчать! — закричал полковник, вздернул подусники. Но бородатый только втянул голову и глухо, как из бочки, матерно заругался. К нему сзади подошел ротмистр. Бородатый вдруг замолчал. Ахнул. Упал на бок. Ротмистр, нагнувшись, что-то делал над ним.

— Следующего! — крикнул полковник.

Семен Иванович не помнил, как очутился перед его побелевшими глазами,— взглянул в зрачки.

— Я все вспомнил,— пролепетал он,— не губите невинного... Я могу указать, кого вы ищете... Знаю в лицо: брюнет, смуглый, двадцати пяти — двадцати семи лет... Это граф Шамборен... Нас арестовали одновременно... Сидели на клеенчатом диване... Я же блондин, ваше превосходительство... У вас должны быть приметы...

Внезапно зрачки у полковника дрогнули, ожили и расплылись во весь глаз... Рука его полезла в карман френча, вытащила вчетверо сложенную бумажку, развернула. Снова зрачки, как точки, вонзились в Семена Ивановича. Полковник грузно соскочил со стола:

— Кто там еще в комендантской? Привести! Что думает контрразведка? Хватает блондинов, когда сказано: брать брюнетов...

Семен Иванович был переведен из операционной наверх, в одиночную камеру, и после всего пережитого забылся каменным сном. Но ненадолго. Из этой каменной темноты измученный дух его был восхищен отвратительными сновидениями... Лезли какие-то рожи, хари, кривлялись, мучили... И он бегал от них на

ваточных ногах по дощатым коридорам и бился, царапал ногтями проваливающуюся под ним землю. Пытался кричать, и крик завязал в глотке...

Все же удалось закричать. Он проснулся. Стер холодный пот с лица. Сел на койке. Сквозь пыльное, затянутое паутиной окно и ржавую решетку светил день. Со стен висели клочки обоев. Около койки на табурете сидел господин в голубых очках,— щипал бороду: то самое лицо, преследователь.

— С одной стороны, вы рискуете быть повешенным,— сказал он вежливо,— с другой стороны, вас не только могут выпустить на свободу, но снабдить заграничным паспортом и вализой.

— Согласен,— прошептал Семен Иванович, от слабости снова ложась на койку.— Что я должен сделать для этого?

— Превосходно. Моя фамилия — Ливеровский. В нашей работе бывают ошибки, надеюсь, вы на меня не в претензии. Кстати,— каракуль вам доставили, он у вас в номере. Вот ключ от двери, вот мешочек с золотом. Сегодня ночью нам придется побегать по городу.

— Вы хотите сказать, что Шамборен...

— Вы угадали,— удрал из комендантской. Мы нашли на диване дурака сыщика, полузадушенного, во рту — тряпка. Шамборен скрылся. К счастью, он потерял вот это,— Ливеровский осторожно вынул из кармана бумажник, завернутый в газету,— теперь мы уверены, что это был Шамборен. Вы единственный человек, кто его знает в лицо. Ну, вставайте, едем в Лондонскую гостиницу обедать.

Так судьба снова вознесла Семена Ивановича. Он сделался нужным и опасным лицом при областном правительстве. Пятьсот шкурок каракуля, туго забинтованные в полотно, лежали у него в чемодане. Полковник обещал заграничный паспорт, как приз за поимку Шамборена. Перспективы снова раздвигались. Тревожил его только один разговор с Ливеровским, когда в сумерках они сидели на пустынной стрелке мола, наблюдая за проходившими лодками. Ознакомившись с подробностями прошлой жизни Семена Ивановича, Ливеровский, видимо, преувеличивал его способности. Он говорил:

— Бросьте мещанские предрассудки, идите работать к нам. Бывают времена, когда ценится честный общественный деятель или — артист, художник и прочее. Теперь потребность в талантливом сыщике. Я не говорю о России,— здесь семнадцатый век. Политический розыск, контрразведка — мелочи. Проследить бандита? Ну, вон возьмите, идут двое знаменитостей: Алешка Пан и Федька Арап. Кто третьего дня вычистил квартиру на Пушкинской, барыне проломал голову? — они, Алешка и Федька... (Бандиты, проходя по молу, степенно поклонились Ливеровскому, он приложил палец к шляпе.) Этих выслеживать, ловить — только портить себе чутье. На Пересыпи у них штаб с телефонной связью. На днях меня приглашали туда на именины к атаману. Обывательщина. Иное дело работать в Лондоне, в Париже, в Нью-Йорке. Там борьба высокого интеллекта — высшая школа. Наша организация разработана гениально, мы покрываем невидимой сетью всю Европу. Мы — государство в государстве. У нас свои законы долга и чести. Мы работаем во враждующих странах, но сыщик сыщика не предаст никогда. Мы выше национализма. У нас имеются досье обо всех выдающихся деятелях, финансовых и политических. Пятьдесят процентов из них — дефективные или прямо уголовные типы. Любопытно необыкновенно. Знаменитый парижский сыщик Лару в своей брошюре «О взломе стальных касс» утверждает: «Человек рождается преступником. Понятие о священном праве собственности есть продукт длительного воспитания, которое кастрирует природную склонность к преступлению. Война разрушила моральное воспитание. Массы людей не успевают подвергнуться ему, проходят мимо Школы добродетели. Мы наблюдаем ужасную картину: в центрах Парижа бродят элегантно одетые толпы дикарей-преступников. Они сдерживаются мощной рукой полиции. Но с каждым годом толпы увеличиваются. И я предвижу время, когда рука эта станет бессильна, и тогда — штурм на цитадель Права...» Нет, нет, идите к нам, Семен Иванович. Нужно чувствовать эпоху: ударно-современный человек — это сыщик. Вы должны быть *посвящены*. Я это вам устрою. Мы, так сказать, все *кровные* братья. А кроме того, предупреждаю: полковник — человек жуткий,— если попы-

таетесь от нас теперь отвязаться — не поставлю на вас и десяти карбованцев. (Ливеровский вытянул тонкую шею, всматриваясь в голубоватую мглу над тихой, как масло, водой. Между зелеными и красным огоньками поплавков, направляясь с внешнего рейда в гавань, скользнула лодка.) Я по образованию филолог, был оставлен при Петербургском университете. Но, подхваченный вихрем... Вы хорошо видите лицо того, кто гребет?..

Семен Иванович различил на корме лодки бритого, в широкополой шляпе человека с трубкой. Другой, курчавый, сильно греб веслами. Вот повернул голову. «Он!» — вскрикнул Невзоров. Лодка прошла за фонарем поплавка и растаяла во мгле, напитанной желтоватыми огоньками набережной.

Ливеровский и Семен Иванович изо всех сил побежали по молу к берегу. Но поиски и расспросы были напрасны в этот вечер.

«А что ж,— раздумывал Семен Иванович,— может быть, Ливеровский и прав и я сильно поотстал от Европы. За что ни схватись в этой проклятой России,— в руке кусок гнилья: старый мир — труп и призрак. Действительно, надо идти в ногу с эпохой. Контрразведка, шпионаж — гм! Найти крючок под какого-нибудь такого Авраама Ротшильда — гм! А люди — мошенники, он прав,— бандит на бандите. Надо быть дураком, чтобы стесняться в наше время. Но только про какое *испытание* болтает Ливеровский? А между прочим, плевать,— не удивишь».

Так рассуждал сам с собою Семен Иванович перед бутылкой шампанского в ресторане клуба «Меридионал», поджидая Ливеровского.

Здесь пировал цвет одесского общества. Шумели, чокались, рассказывали кровавые истории о боях и расправах, клялись и спорили, лили вино на смятые скатерти.

В сизых слоях дыма вальсировал с полуобнаженной красавицей французский офицер в черном мундире,— в четком звоне шпор и шелесте шелковой юбки крутились, поворачивались то бледный, полуобморочный профиль красавицы, то брильянтиновый пробор и шикарные усики офицера. Кончили, сели. «Браво,

бис!» — закричали ото всех столов. «За Францию!» — и зазвенели разбитые бокалы.

Перед оркестром выскочил жирный грузинский князь с эспаньолкой, выхватил кинжал: «Лезгинку в честь Франции»,— и полетел на цыпочках, раздувая рукава, блестя кинжалом. «Алла верды!» — закричали женские голоса.

Красно-коричневый, в порочных морщинах, румын-дирижер заставил петь «Алла верды» весь ресторан и сам ревел коровьим, осипшим голосом, лоснясь от пота.

Здесь гуляла душа, завивалось горе веревочкой. Даже Семен Иванович ногтем раздвинул бородку надвое: он заметил, как одна шатеночка, растрепанная, очень миленькая, в коричневом платьице, смущенно улыбаясь оттого, что ее плохо держали ноги, присаживалась то к одному, то к другому столу: посмотрит в лицо внимательно и спрашивает: «О чем вы думаете?» И, не получив ответа, слабо махает ручкой.

Так она подошла к Невзорову и детскими, немного косящими глазами долго глядела на Семена Ивановича. Он предложил бокал шампанского и заговорил любезно. Она, будто слыша слова из-под воды, спросила, запинаясь:

— О чем вы думаете, скажите?

Взяла бокал двумя худенькими пальцами, но расплескала, поставила:

— Вы все какие-то странные. Я ничего не понимаю. О чем вы думаете все? Гляжу и не понимаю. А вам разве не страшно? (Она тихонько засмеялась.) Голова кружится... какие бессовестные — напоили. Недобрые, чужие. Вы знаете,— а я здесь одна. Папа пропал без вести, мама осталась в Петербурге, не хотела расставаться с квартирой. А я уехала с нашей студией. (За стол в это время сел Ливеровский. Она, приоткрыв рот, долго глядела ему в голубые стекла очков.) Мы эвакуировались, эвакуировались — так и растеряли друг друга.

— А скажите,— спросил Ливеровский,— вы не знаете, случаем, где сейчас такой актер — Шамборен?

— Он здесь,— лицо молодой женщины стало нежным от улыбки,— но он же не актер — художник. Ну, он такой чудный.

— Мне поручено во что бы то ни стало разыскать его на юге, передать одно письмо... Так вот как бы...

Улыбка сошла, и две морщинки легли у губ молодой женщины. Снова, приоткрыв рот, она принялась глядеть в лицо то Ливеровскому, то Невзорову, будто спрашивая: «О чем думаете?» Вздохнула, подперла голову худенькой рукой, осыпанной, как просом, родимыми пятнышками.

— И опять все то же,— сказала она,— вы все убийцы. Скучно с вами.

Ливеровский весело засмеялся:

— Вот тебе на. Кого же мы собираемся убивать? Вот чудачка!

— Нет, я не чудачка, вы не смеете меня оскорблять,— она поднялась,— все только и думают про убийство. У всех глаза, как у мертвых... До чего тяжело, неприятно... так грустно... Прощайте...

И она пошла, пошатываясь, между танцующими — к вешалке. Ливеровский подхватил ее под локоть и опять заговорил о письме, о Шамборене. Но она вырвала у него свою руку и сердито что-то шептала про себя, застегивая дешевенькое пальтецо.

Ее пропустили вперед, подождали, когда она завернет за угол, и пошли вслед. Улица была безлюдна. Сквозь тоскливые облачка лился жиденький лунный свет. Молодая женщина шла по тротуару, помахивая рукой, иногда приостанавливалась: должно быть, сердилась, разговаривала сама с собой. Потом она свернула в переулок. Ливеровский и Невзоров стали за углом, высматривая.

Она вышла на середину переулка, напротив старенького домика, и долго глядела на темные окна второго этажа. Потом вернулась на тротуар и села на тумбу.

Когда Семен Иванович, один, осторожно прошел мимо нее,— она горько плакала. Он пожал плечами, поскреб бородку:

— Позвольте, я провожу вас домой, сударыня.

— Убирайтесь!

Он вернулся за угол к Ливеровскому. Они еще долго слышали, как она плакала в пустынном переулке, сморкалась.

— Она к Шамборену в окошки смотрела, они в связи,— сказал Ливеровский,— я это понял в рестора-

не. Но — птичка улетела, она адреса его не знает. Идите и проследите ее до дому. А я поставлю моих агентов наблюдать за этим переулком.

Предположения Ливеровского оказались правильными. На следующий день молодая женщина два раза была в переулке и смотрела на окна. Дворник этого дома удостоверил, что дней пять тому назад действительно из верхней квартиры выбыл молодой человек, курчавый, смуглый,— ушел с чемоданом и паспорта, который отдавал прописывать (на имя какого-то Левина), с собой не взял.

За молодой женщиной установили тщательный надзор. (Личность ее была выяснена: артистка кабаре, Надя Медведева, 21 год.) Но она, видимо, так же как и они, искала Шамборена по городу. Несколько раз ее видели вместе с бритым человеком, курившим трубку. Проследили и его: оказался — московский журналист Топорков. Ливеровский предполагал, что Шамборен скрывается где-нибудь в «малинах» — портовых ночных притонах. Установили слежку за лодками и судами. Третью ночь Ливеровский и Невзоров обшаривали сомнительные закоулки порта. Агенты сторожили вокзал и трамвайные пути на Малом и Большом Фонтанах. Была опасность, как бы Шамборен не пошел сухим путем через Румынию. И неожиданно, противно всем законам вероятия, его увидели в 4 часа дня на Дерибасовской.

Он стоял на углу, на ветру, и, нетерпеливо раздув ноздри, слушал, что говорила ему Надя Медведева, державшая в обеих руках его руку. Она умоляла его о чем-то.

Вот он сильно встряхнул ее руки, намереваясь отойти. Она вцепилась ноготками ему в плечо, в бархатную куртку, стремительно поцеловала его в губы. Прохожие засмеялись, оглядываясь. И в это время Шамборен встретился глазами с Невзоровым, увидел голубые очки Ливеровского и, точно его и не было на углу,— исчез. Только кое-где, по направлению к набережной, заволновалась толпа.

Погоня из милицейских и сыщиков потоком скатилась по каменной герцогской лестнице в порт и рассыпалась по «малинам». В час ночи была допроше-

на Надя Медведева, арестованная тогда же на углу Дерибасовской. Она отвечала Ливеровскому дерзко:

— Никто не имеет права, а вы тем более, вмешиваться в мою личную жизнь. Сашу Шамборена я люблю и всем это скажу. Зачем он сюда приехал — не знаю, и опять-таки это не ваше дело. Спросите у его друга-приятеля.

— У кого именно?

— Ах, ну у этого — журналиста.

— Бритый, ходит с трубкой?

— Ну да, терпеть его не могу.

— Не можете ли объяснить,— спросил он еще,— почему Шамборен, с которым вы, как сами утверждаете, были в близких отношениях, скрывался от вас в Одессе?

Тогда она стала смотреть на него так же, как тогда в ресторане. Опустила голову, и слезы закапали ей на колени. Больше от нее ничего не добились.

В ту же ночь Ливеровский с отрядом сыщиков напал за Куликовым полем на квартиру журналиста Топоркова. Во время этого дела Семен Иванович, вооруженный револьвером, решил все же не показывать чудес храбрости и держался в тылу нападающих.

Когда выломали дверь, Топорков пытался спуститься из кухонного окна по водосточной трубе. Его взяли без выстрела. При нем были найдены ручная граната, револьвер и четыре жестянки с сапожным кремом.

Находка эта показалась столь неожиданной и удивительной, что Ливеровский сделал крупную ошибку: не приняв мер предосторожности, прямо на улице, под фонарем, раскрыл жестянки и обнаружил в них восемнадцать крупных бриллиантов. Подручные ему сыщики до того увлеклись блеском камней, что сгрудились под фонарь. Там же стоял и Топорков.

Семен Иванович, державшийся в выступе стены, по малоопытности не обратил внимания на то, что из соседних ворот, осторожно и бесшумно, появились трое в каскетах. Один из них перебежал улицу. Это был Шамборен. И вдруг они оглушительно начали стрелять из револьверов в кучу сыщиков под фонарем. Семен Иванович, наученный опытом, сейчас же лег. Под фонарем несколько человек упало. Остальные мгновенно исчезли за углом переулка. Туда же

побежали и нападающие. За углом стреляла, казалось, целая армия,— так было громко и страшно.

В то же время из-под фонаря поднялся журналист Топорков и побежал по улице в противоположном выстрелам направлении. Семен Иванович приподнялся на локтях. Револьвер показался ему роскошной игрушкой, и он, шепнув что-то матерное, выстрелил в бегущего. Дернуло руку, пахнуло пороховой вонью. Топорков вильнул в сторону, но продолжал бежать, кажется прихрамывая.

Когда затихла перестрелка, Семен Иванович пошел домой, снял штиблеты и блаженно заснул, успев только подумать: «А хорошо, если бы и Ливеровского тоже ухлопали».

Он подумал об этом и на следующее утро, когда пил кофе. Нет, деятельность сыщика не по его характеру: всегда куда-то бежать, ловить, стрелять. Разве это наслаждение жизнью? Ни покоя, ни благодушия.

Эх, благодушие! Семен Иванович невольно вспомнил невозвратно улетевшее время, когда он в полутемной комнатке, на пятом этаже, на Мещанской улице, сиживал у окна, попивая кофеек, мечтая об аристократическом адюльтере. Тихая была жизнь,— на соседнем дворе, бывало, заиграет шарманка, опять же о невозвратном: развздыхаешься у окошка. Даже Кнопка, любовница, о которой и память выело, вдруг вспомнилась, поманила мещанской прелестью. Ах, боже мой, погибло тихое счастье, погибла Россия!

Семен Иванович размяк, глаза его увлажнились. «Уеду,— подумал он,— уйду на край света, открою табачную лавочку. Буду покуривать потихоньку, поглядывать, как мимо проходят тихие люди».

— Дома! Ну, так и есть — кофе пьет! — над самым ухом у Семена Ивановича крикнул, точно выстрелил, Ливеровский. Закрыл окно и сел на кровать. Голова забинтована, нос морщится от хорошего настроения.— Четыре сбоку, ваших нет, можете поздравить: полковник сейчас третью кожу дерет с Шамборена.

— Поймали?

— Живучий, как сколопендра. Ранили его, по башке оглушили, едва взяли. Сообщники, к сожалению,— один убит, другой скрылся. А наших, вы знаете,

четверо — в ящик, четверо сильно поцарапаны. А дело было — красота. Кстати, читали сегодняшние газеты? Сверхъестественно... (Он развернул лист оберточной бумаги, на котором были напечатаны «Одесские новости».) «Оперативная сводка. Все атаки большевиков на... (цензурный пропуск) отбиты благодаря огню тяжелой батареи добровольческой армии, которая расстреливала большевиков на картечь. Наступающие большевики несут потери». Знаете, как нужно читать этот цензурный пропуск? Сейчас узнаете. «Разъяснение штаба командующего. События на фронте не должны волновать население, так как чем более *уплотняется* гарнизон Одессы на суживающейся базе, тем активнее, реальнее становится оборона. Судовым орудиям можно весьма и весьма продолжительное время держать противника на почтительном расстоянии от подступов к городу...» Теперь поняли цензурный пропуск? Это — длина боя судовых орудий — восемнадцать верст. Большевики на расстоянии выстрела от города...

У Семена Ивановича отвалилась и вдруг застучала челюсть. Он стал оборачиваться на свой чемодан.

— «Наступают решительные дни борьбы,— продолжал читать Ливеровский.— Французское верховное командование не только *во что бы то ни стало* решило отстоять Одессу, но и непреклонно довести Россию до созыва Учредительного собрания. Союзная зона сужена. Силы собраны в мощный кулак: около пятидесяти тысяч французов, русских, греков, румын, поляков и жерла дредноутов, направленные на подступы к городу. Все готово. Остается нанести решительный удар и победоносной лавиной докатиться до Москвы».

— Так,— Ливеровский швырнул газету под диван,— решительный удар будет в морду нам. Сегодня ночью четыре французских полка ушли с позиций. Вся эта история с Шамбореном провокация,— я вас уверяю. Полковник с ума сошел, когда узнал о бриллиантах. Вся разведка была брошена — ловить Шамборена. А большевики в это время работали. И не кто иной, как журналист Топорков. Зуавы потребовали у себя в частях созыва Советов. Греки кричат из окопов: «Рюсский, рюсский — давай мириться». А вы знаете, что делается в рабочих районах? Зубами

скрипят. Этот болван полковник расстрелял на кладбище десять местных большевиков. Рабочие, конечно, разыскали трупы, вырыли. Зуавы бегают в слободку смотреть на расстрелянных. А вам известно, что вчера кабинет Клемансо пал...

— А нельзя ли нам заранее на каком-нибудь пароходе устроиться? — спросил Невзоров.

— Успеем. Я вас не брошу, вы мне очень и очень пригодитесь. Кстати, нынче в ночь будет ваше *посвящение.*

Семен Иванович, понятно, после этого разговора впал в паническое настроение. Но когда вышел на улицу,— там гуляли нарядные дамы как ни в чем не бывало и если и опасались чего-нибудь, то только веснушек, которые апрельское солнце сеяло на круглые лица одесситок.

Благодушно на внешнем рейде курились трубы дредноутов. Франк стоил всего восемь с половиной карбованцев в кафе у Фанкони, откуда нетрудно было выбежать маловерному или паникеру и увидеть эти дымки над мглистым морем. По набережной погромыхивали на рысях поджарые пушки. Внушительно прополз танк. Шел, тяжко навьюченный амуницией, батальон зуавов: ну, разве же эти приемыши Рима не ударят тараном по григорьевским бандам. Усатые, широкогрудые, запыленные, не задумаются умереть во имя свободы, культуры и священных принципов?..

Много ободряющего видел Семен Иванович в этот день, бегая в хлопотах за паспортом и визами. Он видел также, как из подъезда Лондонской гостиницы вышел рослый, в черном мундире, мрачный человек. Невидящие глаза его были устремлены на рейд. Осунувшееся, с жесткой бородкой лицо точно покрыто свинцовой пылью. Это был начальник обороны генерал Шварц. Он упал на сафьяновые подушки автомобиля и приказал сквозь зубы: «Французский штаб». Семену Ивановичу стало жутко, хотя он и не знал в ту минуту, что генерал Шварц ехал к генералу д'Ансельму для последнего отчаянного и безнадежного разговора.

Во второй раз тоскливое беспокойство царапнуло Семена Ивановича, когда вечером он толкнулся в клуб «Меридионал»,— дверь была заперта, около ресторанной стойки, при свете свечи, воткнутой в бутылку, ресторатор и лакеи связывали какие-то узлы.

Затем, звонясь к себе в гостиницу, Семен Иванович хотел было, как всегда, прочесть приказ генерала Талдыкина о тараканах, но с ужасом увидел: поверх приказа наклеен небольшой листочек: «Всем, всем, всем... Последнее убежище спекулянтов и белогвардейцев должно пасть...»

Семен Иванович заперся у себя в комнате, лег и, кажется, даже заснул и внезапно сел на постели. С отчаянно бьющимся сердцем прислушивался... Так и есть: прошли под окнами. Звонок в швейцарской. Никто не отворяет. Тихо. И вдруг резкий стук в дверь, в мозг.

Семен Иванович с воплем стоял уже посреди комнаты:

— Я не пойду!

За дверью насмешливый голос Ливеровского проговорил медленно, каждую букву:

— Отворите же, нас ждут.

Моторная лодка терлась боком о гнилые сваи. Дождливый туман затянул весь порт, остро пахло гнилым деревом и морем. Наверху, в городе, было еще сонно. Вдалеке, в стороне Фонтанов, похлопывали выстрелы. Ленивая волна подняла и опустила лодку, привязанную к ржавому кольцу.

На мокрых скамейках в лодке сидели — Семен Иванович, рядом с ним востроносый, с низким чубом подросток, державший между колен винтовку, и напротив — апоплексического вида огромный француз в темно-синем военном плаще.

Все трое молчали. Француз выставил против дождевой сырости висячие жесткие усы и сердито посапывал. Подросток, барабаня ногтями по винтовочному прикладу, перебегал юркими, как у мыши, глазами по редким предметам, выступающим из тумана. Семен Иванович мелко дрожал в своем пальтишке,— у него внезапно заболел зуб, вонзался раскаленным гвоздиком. Но вылезти из лодки, уйти было невозможно: пошевелишься, и сейчас же глаза подростка начинают бегать по лицу Семена Ивановича.

Француз уже начал ворчать себе в усы по-французски: «О, грязные русские! Сколько еще ждать в этой гнилой лодке... О, дермо и дермо!..» Пробежала

коричневая портовая собачонка, остановилась и внимательно и долго глядела на людей. Подросток замахнулся на нее: «Я тебя, сволочь!» Собачонка отскочила, ощетинилась, зарычала. Но вот, наконец, послышалось шлепанье ног по лужам. Из тумана появилось пятеро: ротмистр, уже знакомый Невзорову, какой-то штатский в морском картузе (оба они держали наготове револьверы), между ними — Шамборен в разодранной клочьями блузе (правой рукой он придерживал левую), рядом с ним — рябой, рослый матрос в одном тельнике; руки его были закованы в кандалы. Сзади шел Ливеровский. Он протянул апоплексическому французу пакет, который тот вскрыл и, прочтя, спрятал под плащ.

— Эти двое, карашо,— сказал он.

Прибывшие спустились в лодку. Человек в морском картузе сел за руль и включил мотор. Закипела вода. Отделился и стал тонуть в тумане берег с гнилыми сваями.

Ливеровский придвинулся к Семену Ивановичу:

— Этот француз — палач. Союзнички нам не доверили Шамборена, сами хотят ликвидировать. А этот матрос — знаменитый Филька — григорьевец, страшной силы и свирепости. Везем их на внешний рейд, на баржу. Чтобы — шито-крыто.

Невзоров застонал от зубной боли. На лодке молчали. Ливеровский стал предлагать из серебряного портсигара папиросы. Закурили все, кроме Шамборена. Запекшиеся губы его были сжаты, как у мертвого. Судорога-тик время от времени пробегала по его обострившемуся лицу,— видимо, это его мучило. Он внимательно глядел на мотор, который бодро постукивал, точно на веселой морской прогулке.

Внезапно матрос Филька проговорил деликатным голосом:

— Торопится, спешит. Машина, а торопится. А сколько в ней будет сил?

Рулевой сдвинул брови, поседевшие от дождевой пыли:

— Двенадцать.

Филька уставился на мотор, словно сроду его не видал, мельком взглянул на француза.

— А студено,— сказал он,— тельник промочило, недолго и застудиться.— Он открыл великолепные,

белые зубы, но усмешка так и осталась на губах,— застыла.

В тумане возник темный предмет. Шамборен вытянулся, вглядываясь. Это был конический буек с разбитым фонарем,— лодка мягко прошла мимо него. Пологая волна, разрезанная килем, с шелковым плеском развернулась на две пелены, обдала брызгами. Отсюда повернули в восточном направлении и пошли по мертвой зыби, которая далеко позади разбивалась мощно и глухо о мол, скрытый за дождевой завесой.

Теперь все глядели туда, куда стремился поблескивающий медью и лакированным деревом нос лодки. Качало сильно. Невзоров вцепился ледяными пальцами в борт. Из тумана выдвинулось очертание мачт — двух крестов. Шамборен сейчас же низко опустил голову. Ротмистр перешел на нос и размотал причальный конец.

Быстрее, чем ждали, лодка подошла к барже. Это было каботажное судно, предназначенное для перевозки хлеба. Оно скрипело и покачивалось на канатах. С просмоленного борта висела лестница. Ротмистр схватился за нее, легко вскарабкался на палубу.

— Будете работать наверху, мосье? — спросил он по-французски.

— Я не обязан лазить по лестницам, которые пляшут; дермо и дермо,— ответил француз, но все же сбросил намокший плащ, под которым у него оказался короткий карабин, и тяжело полез на баржу. Встал наверху, раздвинул ноги, щелкнул затвором.— Матрос идет первый,— сказал он хрипло, как команду. Только теперь Невзоров увидел его лицо: огромное, багровое, с низким лбом. Он глядел мутно и не мигая из-под косматых бровей. Ротмистр перевел его слова:

— Матрос, наверх!

Филька побелел. Потянул кандальную цепь. Продвинулся к лестнице.

— Часы серебряные отошлите жене,— сказал он Ливеровскому,— не забудьте, пожалуйста.— И он медленно полез на баржу, глядя в глаза французу.

— Живее, сволочь! — крикнул ему ротмистр. Уже наверху Филька вдруг дико закричал:

— Не я, не я, это не я, ошибка! — и начал бороться с палачом. Невзоров зажмурился. Раздался выстрел. Минуту спустя прохрипел голос француза:

— Граф Шамборен!

Шамборен порывисто поднялся и сейчас же снова сел на скамью. Тогда подросток, весь сотрясаясь, беспорядочно дергая затвор винтовки, захлебываясь матерными словами, принялся толкать Шамборена,— «иди, иди!..». Лодка раскачивалась. Невзорова охватил дикий ужас. Больной, раскаленный зуб вонзился в глубь мозга.

— Стыдно, граф,— баском сверху прикрикнул ротмистр,— давайте кончать.— Тогда Шамборен кинулся к лестнице. Едва его кудрявая голова поднялась над палубой,— француз выстрелил. Шамборен покачнулся на лестнице, сорвался, и тело его упало в море. Студеные брызги хлестнули в лицо Семену Ивановичу.

Тем же утром, бредя по улице, как во сне, на ваточных ногах, Семен Иванович остановился у облезлого забора и долго глядел на большой, недавно наклеенный цветной плакат, где были изображены крепко пожимающие друг другу руки: француз, русский и англичанин. За спиной их Георгий Победоносец поражал красную гидру революции. Кто-то карандашом подрисовал ему длинные, закрученные усы.

Семен Иванович долго стоял перед этой картинкой. Не домой же идти, не спать же ложиться! Он вынул карандаш и подрисовал закрученные усы французу, потом подрисовал такие же усы англичанину.

— Ах, боже мой, боже мой! — громко проговорил он, помусолив карандаш, и тщательно выковырял глаз русскому.

В это время издалека стали набегать мальчишеские, сенсационные голоса газетчиков. Они кричали, видимо, что-то очень страшное. Редкие в этот час прохожие выхватывали у них газеты. На перекрестке собралось десятка два возбужденных читателей.

Семен Иванович лениво взял сунутую ему пробегавшим мальчишкой газету и прочел:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Союзники сообщили, что лишены возможности доставить в ближайшее время продукты в Одессу.

Поэтому, в целях уменьшения числа едоков, решено приступить к разгрузке Одессы.

3 апр. 1919 г. Ген. *д'Ансельм*

— Эвакуация! Эвакуация!..— донесся до Семена Ивановича дикий ропот голосов с перекрестка.

Выдумали же люди такое отвратительное слово — «эвакуация». Скажи — отъезд, переселение или временная, всеобщая перемена жительства,— никто бы не стал, вылупив луковицами глаза, ухватив узлы и чемоданы, скакать без памяти на подводах и извозчиках в одесский порт, как будто сзади за ним гонятся львы.

«Эвакуация» в переводе на русский язык значит — «спасайся, кто может». Но если вы — я говорю для примера — остановитесь на людном перекрестке и закричите во все горло: спасайся, кто может! — вас же и побьют в худшем случае.

А вот — не шепните даже, прошевелите одними губами магическое, *ибикусово* слово: «эвакуация»,— ай, ай, ай!.. Почтенный прохожий уже побелел и дико озирается, другой врос столбом, будто нос к носу столкнулся с привидением. Третий ухватил четвертого:

— Что такое? Бежать? Опять?

— Отстаньте. Ничего не знаю.

— Куда же теперь. В море?

И пошло магнитными волнами проклятое слово по городу. Эва-ку-ация — в трех этих слогах больше вложено переживаний, чем в любой из трагедий Шекспира...

...Муж уезжает в одном направлении на пароходе, жена на поезде в другом, а сынишка — вот только что держали его за руку — внезапно потерялся и, наверно, где-нибудь плачет на опустевшем берегу...

...Еще сегодня утром человек был диктатором, приказал повесить на габарите железнодорожного моста — на страх — начальника станции, помощника начальника и третью сомнительную личность с татуированными руками, а вечером тот же человек приткнулся с узелочком у пароходной трубы и рад, что хоть куда-то везут...

...Удачливый делец только что добился поставки на армию, и жена его уже собралась приобрести у фрейлины, баронессы Обермюллер, котиковое манто с соболями,— ой, все полетело к чертям! — и поставка и манто, чемоданы с роскошным бельем угнал негодяй ломовик, и даже при посадке вчерашний преданный

друг, один гвардеец, который так заискивал, целовал ручки,— вдруг хватил дельцову мадам ножнами по шляпе и спихнул ее с вагонной площадки...

Нет, не перечислить всех странностей и бед во времена эвакуаций. Человек вывертывается наизнанку как карман в штанах,— едет, скачет, а то и просто бежит пешком с тремястами карбованцев, не годных даже на скручиванье собачьей ножки, в курточке из материи, предназначенной для других целей. В голове дребезжит, будущее совершенно неопределенно. Говорят — русские тяжелы на подъем. Неправда, старо. Иной, из средних интеллигентов, самой судьбой определен жить и умереть в захолустье, а глядишь — сидит на крыше вагона, на носу — треснувшее пенсне, за сутулыми плечами — мешок, едет заведомо в Северную Африку, и — ничего себе, только борода развевается по ветру.

Семен Иванович Невзоров бывал в переделках и похуже той, что случилась в Одессе пятого и шестого апреля. Ничего необыкновенного там не случилось. Население из центра города колесом скатилось в порт, а в центре появилось население из окраин, нимало не огорченное тем, что иностранные войска садятся на транспорты, а у русских войска сухим рейсом уходят в Румынию. Торговцы деньгами и накладными по врожденной привычке собрались было на углу Дерибасовской, но под давлением легкого ружейного огня впали в нервное состояние и рассеялись. Кафе Фанкони закрылось. В городской думе уже сидел совдеп, а по набережной, мимо герцога Ришелье, все еще двигались уходившие повозки, кухни, пушки, равнодушные зуавы. Здесь, на бульваре, бродили те, кто не мог уехать, и остекленевшими глазами глядели на пароходы, на черные дымы из труб.

Ах, эти дымы, заржавленные пароходы! В порту, плечо к плечу, стояли тысячи уезжавших,— узенькие мостки-сходни отделяли постылую Россию от райских стран, где нет ни революций, ни эвакуаций, где пятиэтажные магазины, полные роскошной и дешевой одежды, где спят в кроватях (а не на столах и не в ваннах), где по своей надобности человек, не стоя ни в какой очереди, идет в чистое, снабженное обильной

водой, освещенное электричеством место и сидит там, покуда не надоест... Где на каждом перекрестке возвышается строгий и справедливый полисмен и день и ночь охраняет покой горожан и священную собственность. Где автомобили не реквизированы и улицы блестят, как паркет. Где не стреляют из пулеметов и не ходят с проклятыми флагами, где при виде обыкновенного рабочего не нужно косоротиться в сочувственную или предупредительную улыбку, а идти себе мимо пролетария с сознанием собственного достоинства...

От всего этого отделяло только несколько шагов по сходням. Об этой лучезарной жизни кричали пароходы на внешнем рейде,— увоооозим за граниииииицу! А со стороны вокзала, Фонтанов и Пересыпи уже постреливали красные. Множество катеров, лодок, паромов,— груженные людьми и чемоданами,— уходило к внешнему рейду. На берегу визжали лошади, трещали телеги, валились чемоданы, работали, на прощанье, жулики по карманам.

— Граждане,— кричал веселый чернобородый матрос, въехавший с возом с адмиральским имуществом в гущу народа,— дорогие мои, зачем бегите?.. Тпру, балуй,— хлестнул он по мерину, начавшему сигать в оглоблях,— оставайтесь, дорогие, всем хорошо будет... Эх, горе, чужая сторона! — И он так и залился смехом.

— Господин офицер,— шумели у сходней,— да пропустите же меня, у меня ноги больные... Двое суток ждем, это издевательство какое-то над личностью... У меня ребенок помирает, а вы спекулянтов, корзины по двадцати пудов грузите...

— Осади, не ваша очередь!.. Куда на штык прешь, назад!.. Паспорта, паспорта предъявляйте...

Семена Ивановича вся эта суматоха мало занимала. Он стоял на борту парохода «Кавказ». В мыслях был счастливый переполох. Наконец-то оторвались его подошвы от российской земли. Даже слюна у него набегала непрерывно, и он сплевывал за борт в воду, где плавала багажная корзина, сорвавшаяся с трапа.

Со вчера̀шнего дня Семен Иванович разговаривал с сильным иностранным акцентом. По паспорту он именовался бывшим русским подданным, Симоном Навзараки. Пять тысяч франков и чемодан с драгоценным каракулем создавали ему душевное равнове-

сие. От прежнего Невзорова, суетливо гонявшегося за блестками счастья, от мечтателя, кутилы и фантазера не осталось и следа. Чувствительную душу его выела русская революция. Теперь это был расчетливый и осторожный спекулянт.

Он бежал за границу с твердым намерением найти там покойное и солидное место под солнцем. Выбор нового отечества не интересовал его: плевать, деньги сами укажут, где нужно сесть. А развлекаться что с туркиней, что с задунайской какой-либо девкой, или с немкой, француженкой — совершенно одно и то же. Главное, вот во что он верил,— в стране должен быть беспощадный порядок.

В желании утвердить себя как благонамеренную во всех отношениях личность Семен Иванович дошел даже до того, что еще здесь, в одесском порту, за сотни миль от ближайшей заграницы, принял строгое скопческое выражение лица и руки держал преимущественно по швам, говорил негромко, но чрезвычайно явственно и хотя, в силу необходимости, по-русски, но так, что выходило и не по-русски. Вот только плевал он за борт, но в этом выражалось его нетерпение поскорее уплыть, а за всем тем, в чью же воду он плевал?

Одна только искра жгла его душу, лишала покоя: это — ненависть к революционерам. Ливеровский, стоявший рядом с Невзоровым у борта, предложил совместно организовать в пути разведку по выяснению политической картины среди пароходного населения,— таковые данные весьма пригодились бы впоследствии. Семен Иванович охотно согласился. Свои личные планы и дела он решил отложить до Константинополя. Погрузка кончилась. Офицеры-грузчики, изнемогая, перетащили с парома последние сундуки и кофр-форы. На капитанском мостике появился идол — чернобородый, огромный мужчина в синей куртке с галунами, француз-капитан. «Кавказ» хрипло загудел, завыл из глубины ржавого своего нутра и с тремя тысячами людей и горами багажа медленно вышел на внешний рейд.

Простояв томительные сутки на внешнем рейде, «Кавказ» отошел восьмого апреля под вечер в юго-западном направлении. Утонули в мглистых сумерках

невысокие берега Новороссии. Несколько человек вздохнули, стоя у борта. Прощай, Россия!

Пробили склянки. И скоро открытая палуба парохода покрылась спящими телами беженцев. Заснули в каютах, в коридорах, в трюмах под успокоительный шум машины. Две крестообразные мачты медленно поплыли между созвездиями.

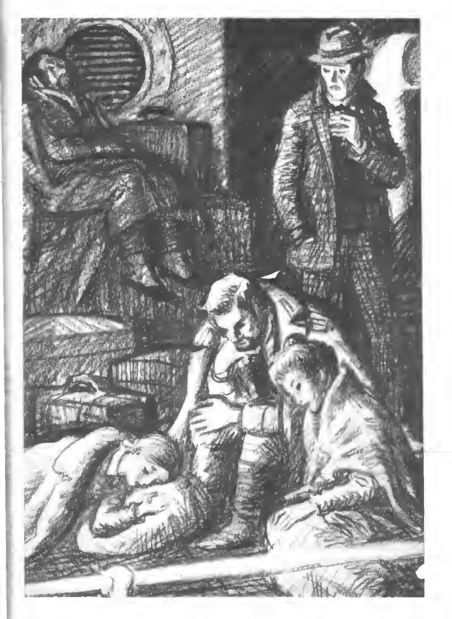
При свете палубного фонаря, на корме, Ливеровский показал Семену Ивановичу план парохода.

— Вы возьмете на себя носовую часть,— говорил он, посмеиваясь,— я — кормовую. На пароходе четыре трюма и две палубы. В двух средних трюмах помещаются штабы. В двух крайних — всякая штатская сволочь из общественных организаций. На верхней палубе, в коридорах и в кают-компании — дельцы, финансисты, представители крупной буржуазии. В отдельной носовой каюте сидит Хаврин (одесский губернатор), с ним двенадцать чемоданов денег и железный сундук с валютой. Кроме того, есть еще и третья, самая верхняя палуба, там всего два помещения — курительная комната и салон. Эта палуба особенно интересна,— вы сами увидите почему. Затем, кроме нас с вами, на пароходе начала работать монархическая контрразведка. Держите ухо востро. Все собранные вами данные записывайте в особенную ведомость. По прибытии в Константинополь мы покажем ее во французском штабе. Можете быть уверены, союзники умеют ценить подобного рода сведения.

Ливеровский спрятал план, подмигнул Невзорову и провалился в кормовой трюм. А Семен Иванович, перешагивая через спящих, пошел на нос, где подувал ночной апрельский ветерок. Семен Иванович лег около своего чемодана, укрылся и вместо сна раздумался в этот час тишины.

Неуютно представилось ему жить на свете, довольно-таки погано. Люди, люди! Если бы вместо людей были какие-нибудь бабочки или приятные какие-нибудь козявки, мушки... Заехать бы в такую безобидную землю. Сидишь за самоварчиком, и ни одна рожа не лезет к тебе смущать покой. Эх, люди, люди!

Оглянул Семен Иванович истекшие года, и закрутились, полезли на него рожи, одна отвратительнее другой. Он даже застонал, когда припомнились две мачты в тумане, смоляной борт каботажной баржи и надутое лицо палача.



«Нет, не иначе — это он, Ибикус проклятый, носится за мной, не отстает, прикидывается разными мордами,— думал Невзоров, и хребет у него холодел от суеверного ужаса,— доконает он меня когда-нибудь. Ведь что ни дальше — то гаже: вот я уже и при казни свидетельствую, я — сыщик, а еще немного — и самому придется полоснуть кого-нибудь ножиком...»

Семен Иванович подобрал ноги и прислонился к чемодану. Рядом, точно так же, сидел сутулый человек в форменном картузе — военный доктор.

— Не спится? — повернул он к Невзорову рябоватое, с клочком бородки, испитое лицо.— Спички у вас есть? Благодарствуйте. Я тоже не сплю. Едем? А? Какая глупость.

Семену Ивановичу было противно разговаривать. Он обхватил коленки и положил на них подбородок. Доктор придвинулся, пожевал папироску.

— Сижу и с удовольствием вспоминаю отечественную историю. Петра Третьего убили бутылкой, заметьте, Екатерину Великую, говорят, копьем ткнули снизу из нужника, убили. Павлу табакеркой проломили голову. Николай счел нужным отравиться. Александра Освободителя разнесли в клочки. Полковника и обоих наследников расстреляли. Очень хорошо. Ай да славяне! Бога бойтесь — царя чтите. С другой стороны, наша интеллигенция, светоч, совесть, мозг, жертва,— свыше полусотни лет занимается подрыванием основ государства, канонизирует цареубийц... Сазоновы, Каляевы,— доктор хрустнул зубами,— Маруси Спиридоновы и прочие богородицы, бабушки и дедушки. А Лев Толстой? Благостный старик! Граф за сохой! А усадьбы святой мужичоночек по бревнышку разносит, племенному скоту жилки подрезывает. А Учредительное собрание и Виктор Чернов — президент! Так ведь это же восторг неизъяснимый! Вот она — свободушка подвалила. Так я вам вот что скажу: везу с собой один документ. Приеду в Париж — где пуп земли, ясно? — и на главном бульваре поставлю витрину, на ней так и будет написано: «Русская витрина». Портреты Михайловских, Чернышевских, красные флаги, разбитые цепи, гении свободы и прочее тому подобное. А в центре гвоздем приколочу вот эту штуку...

Доктор вытащил из бумажника тоненькую клеенчатую записную книжку и раскрыл ее любовно:

— Эта книжка принадлежала весьма небезызвестному либералу, герою, члену Государственной думы и Учредительного собрания. Так-то-с. Чем же она наполнена? Благороднейшими мыслями? Бессмертными лозунгами? Конспектами знаменитых речей? Нет, к сожалению,— нет. Реестрики — сколько у кого взято взаймы. Так! Адреса врачей и рецепты средств на предмет лечения триппера. Все-с. Это у либерала и борца с самодержавием. Это мы пригвоздим. Мы доморощенных наших освободителей-либералов гвоздем приколотим на большой проезжей дороге.

Доктор вдруг закатился мелким смешком:

— Вчера я весь день веселился. Наверху, на третьей палубе, прогуливался один мужчина: шляпа с широкими полями, лицо мрачное, сам — приземистый, похож несколько на Вия. А снизу смотрят на него Прилуков, Бабич и Щеглов, три члена Высшего монархического совета. Улыбаются недобро — вот что я вам скажу — недобро. А человек этот, знаете, кто? Ну, самый что ни на есть кровавый и страшенный революционер. Совсем как в Ноевом ковчеге спасаются от мирового потопа и лев и лань. Я и смеюсь,— спать не могу,— ох, не стряслось бы какой беды на нашем корабле. В том-то и беда, что мы уже не в России, где эти штуки сходят.

— Какие штуки сходят? — осторожно спросил Семен Иванович. Доктор молча и странно посмотрел на него. Опять взял спичек, закурил трубочку махорки.

— От кого я в восторге, так это от большевиков,— сказал он и сплюнул,— решительные мальчуганы. Чистят направо и налево: и господ интеллигентов под корешок, и святого мужичка в корень. Вот только насчет рабочих они какую-то кислоту разводят. За всем тем — глядишь — через полгодика и расчистят нам дорожку,— пожалуйте.

— А кому это — вам? — спросил Семен Иванович.

— Нам, четвертому Интернационалу. Да, да, у большевичков есть чему поучиться.

— Ну однако — вы слишком смело.

— Говорю — у них школу проходим, дядя. — И доктор, суя мизинец в сопящую трубочку, залился таким смешком, что Невзоров только дико взглянул на него.

Пробили склянки. На верхней палубе в это время стоял мрачный революционер в широкополой шляпе и с горечью думал о том, что русский народ в сущности не любит свободу.

С восходом солнца пароход начал просыпаться. Первыми заворочались палубные обитатели: потягивались, почесывались, спросонок пялились на молочно-голубую пустыню моря. Вышел негр-повар в грязном колпаке, выплеснул за борт ведро с помоями и сел около бочки чистить картошку. Двое поварят разжигали печи во временных дощатых кухнях на палубе. Около кранов уже стояло несколько военных, босиком, в широченных галифе, в рваных подтяжках, и, фыркая, мыли шеи соленой водой. Из трюмов стали вылезать взъерошенные, непроспавшиеся штатские. И скоро перед нужником, висевшим над пароходным бортом, стала длинная очередь: дамы, зябко кутающиеся в мех, общественные деятели без воротничков, сердитые генералы, поджарые кавалерийские офицеры.

— Двадцать минут уж сидит,— говорилось в этой очереди.

— Больной какой-нибудь.

— Ничего не больной, рядом с ним спали на нарах, просто глубоко неразвитый человек, грубиян.

— Действительно, безобразие. Да постучите вы ему.

— Господин штабс-капитан,— постучали в дверку,— надо о других подумать, вы не у себя дома...

Понемногу на палубе все больше становилось народу. Из-за брезента, покрывавшего гору чемоданов, вылез багровый, тучный, недовольный член Высшего монархического совета Щеглов, саратовский помещик. Он за руку вытащил оттуда же свою жену, знаменитую опереточную актрису, вытащил корзинку с провизией и плетеную бутыль с красным вином. Они сели около кухни и принялись завтракать.

В кухонных котлах в это время варились бобы с салом. Негритята раскупоривали полупудовые жестянки с австралийской солониной. Около кухни говорилось по этому поводу:

— Опять бобы. Это же возмутительно.

— Я просто отказываюсь их переваривать. Издевательство какое-то.

— А вам известно, ваше превосходительство, что это за солонина? Это мясо австралийской человекоподобной обезьяны. Я сам естественник, я знаю.

— Меня рвало вчера. Вот вам, господа, отношение союзников.

— А в первом классе, извольте видеть, отличный обед в четыре блюда.

— Для спекулянтов. Одни жиды в первом классе. Устроили революцию, а мы жри обезьян.

Семен Иванович толкался около кухни, потягивая носом запах бобов. Вдруг перед ним решительно остановилась пожилая дама, теребя на груди среди множества измятых кружев цепочку от часов.

— Нужно верить — все совершается к благу. Наше трехмерное сознание видит несовершенство и раздробленность бытия. Да, это так, и это не так,— быстро и проникновенно заговорила она. Передние зубы ее слегка выскакивали и били дробь. От нее пахло приторными духами и потом. Это была известная Дэво, теософка.— Наш физический мир — лишь материальное отражение великой, страшной борьбы, происходящей сию минуту там, в мире надфизическом. Но борьба там предрешена: это победа блага, добра, вечное превращение хаоса в космос. Вот почему пусть солонина будет мясом человекоподобной обезьяны, пусть: Мудрая Рука приведет новых адептов к Истинной Пище. Индусы называют Пищей только плоды и овощи, все остальное трупоедство.

Невзоров попытался было уклониться от беседы, но Дэво прижала его к борту, фарфоровые зубы ее отбивали дробь у самого носа Семена Ивановича.

— Гигантскими шагами,— за час — столетие,— мы приближаемся к просветлению. Я это вижу по глазам братьев по изгнанию. Революция — акт массового посвящения, да. Что такое большевики? Сонмы демонов получили возможность проникнуть в физический мир и материализовались эманациями человеческого зла. Точно так же великим святым в египетских пустынях являлись ангелы, которые суть эманации их добра. Когда в России поймут это, люди станут просветляться, и большевики-демоны — исчезнут. Я сама была свидетельницей такой дематериализации. Меня до-

прашивал комиссар — наедине. Он держал в руках два револьвера. Я отвечала на его глупые вопросы и в то же время, сосредоточившись, начала медитацию. Из меня вышли голубые флюиды. И этот комиссар стал то так облокачиваться, то так облокачиваться, зевал, и, наконец, через него стали просвечивать предметы. Я помолилась за него Ангелу Земли, и комиссар с тихим воем исчез. Пароход за пароходом увозят нас в лучезарные области, где мы будем пребывать уже просветленные и очищенные. Не ешьте только мяса, друг мой, не курите и каждое утро промывайте нос ключевой водой. Мы вступаем в царство Духа.

В это время от котлов повалил такой густой запах, что Дэво обернулась к поварятам. Они черпали огромными уполовниками бобовую похлебку и разливали ее по жестянкам из-под консервов, по чашкам, черепкам,— во все, что подставляли проголодавшиеся эмигранты.

На эту давку сверху, со средней палубы, глядели уже откушавшие в столовой первого класса финансисты, сахарные, чайные и угольные короли, оказавшиеся на пароходе в гораздо большем количестве, чем это казалось при посадке. Они держали себя с достоинством и скромно.

Еще выше, с третьей палубы, глядел вниз одинокий террорист в широкополой шляпе. Он жевал корочку.

После завтрака Семен Иванович предпринял более систематическое обследование вверенной ему носовой части парохода. Он спустился в средний трюм (под предлогом поисков своего багажа) и был оглушен треском пишущих машинок.

Здесь, в разных углах, на нарах и ящиках сидели сердитые генералы, окруженные каждый своим штабом, и диктовали приказы по армии, обязательные постановления, жалобы и каверзы. Изящные адъютанты легко взбегали по лесенке на палубу, где и приколачивали исходящие бумаги на видных местах.

Войск, в обычном смысле слова, у генералов не было, но войсковые штаты и суммы имелись, и поэтому генералы действовали так, как будто войска у них были, что указывало на их железную волю, чисто боевую нечувствительность к досадным ударам судьбы и сознание долга.

В этом трюме все обстояло благополучно. Невзоров полез в носовой трюм, темный и сырой, со множеством крыс. Здесь в три яруса были нагорожены нары, и на них отдыхали после завтрака и разговаривали общественные деятели, беглые помещики, журналисты, служащие разных организаций и члены радикальных партий — почти все с женами и детьми.

— Я совершенно покоен, не понимаю вашего пессимизма,— говорил один, свесив с нар длинное бородатое лицо в двойном пенсне,— страна, лишенная мозга, обречена агонии. Пока еще мы держались на юге,— мы тем самым гальванизировали красное движение. Теперь мозг изъят, тело лишено духа, не пройдет и полугода, как большевики захлебнутся в собственных нечистотах.

— Полгода, благодарю вас,— проговорили из темноты, из-под нар,— вы, почтеннейший, довольно щедро распоряжаетесь российской историей. Им, негодяям, и полмесяца нельзя дать поцарствовать.

— Как же это вы им не дадите, хотел бы я знать!

— А я хотел бы знать, как вы запоете, когда к вам заберутся бандиты,— так же, что ли, станете благодушествовать? Это, батенька, все скрытый большевизм. В морду, чтобы из морды — бифштекс,— вот какой с ними разговор. Завопить на весь мир: спасайте, грабят и режут!.. Хотите компенсации? — пожалуйста. Японцам — Сахалин за помощь, англичанам — Кавказ, полякам — Смоленск, французам — Крым. Проживем и без этих окраин да еще сильнее станем.

— Ну, уж извитите — вы несете вздор. Во имя высшей культуры, во имя человечности, во имя великого русского искусства должны мы просить помощи, и Антанта даст эту помощь. На Западе — не торгаши, не циники, не подлецы.

— Эге!

— Ничего не — эге. А двухтысячелетняя христианская цивилизация, это тоже — эге? А французская революция — это эге? А Паскаль, Ренан — эге? Да что мне с вами говорить. Не в Азию едем к Чингисхану, а в очаги высшей культуры.

— Значит, одесская эвакуация тоже не «эге» по-вашему?

— Одесса — трагическая ошибка союзников. Наш долг рассказать им всю правду. Европе станет стыдно...

— Батюшки!

Помолчав, господин в двойном пенсне плюнул, борода его уползла за нары. В другом месте, в темноте, говорили:

— Сесть в чистом ресторане, с хорошей услугой, спросить кружку холодного пива — во сне даже вижу.

— А помните Яр, московский? Эх, ничего не умели ценить, батенька! Храм! Шесть холуев несут осетра на серебряном блюде. Водочка в графинчике, и сам графинчик инеем зарос, подлец. Расстегай с вязигой, с севрюжкой при свежей икорке...

— Ах, боже мой, боже мой!..

— Помню, открывался новый «Яр». Получаю приглашение на бристольском картоне с золотым обрезом. Напялил фрак, гоню на лихаче вместе с Сергеем Балавинским,— помните его по Москве? Приезжаем — что такое? В большом зале молебен служит сам митрополит. В первом ряду — командующий войсками Плеве при всех орденах, военные, цвет адвокатуры, Лев Плевако, именитое купечество,— все во фраках... Куда мы попали?.. На открытой сцене занавес опущен, бордюр из цветов, образа и свечи... Восемь дьяконов ревут, как на Страшном суде! Молебен кончен, выходит хозяин, Судаков, помните его — мужичонка подслеповатый, и — речушку: «Милости просим, дорогие гости, кушайте, веселитесь, будьте, говорит, как дома. Все, говорит, это,— и развел руками под куполом,— не мое, все это ваше на ваши денежки построено...» И закатил обед с шампанским, да какой! — на четыреста персон.

— Неужели бесплатно?

— А как же иначе?

— Слушайте, да ведь это ж красота, боже мой, боже мой!.. Не ценили, проглядели жизнь, проворонили какую страну...

— Вот то-то и оно-то, и едем в трюме на бобах.

— Не верю! Россия не может пропасть, слишком много здоровых сил в народе. Большевики — это скверный эпизод, недолгий кошмар.

Еще где-то между нар шуршали женские голоса:

— До того воняет здесь, я просто не понимаю — чем.

— А, говорят, в Константинополе нас и спускать не будут с парохода-то.

— Что же — дальше повезут?

— Ничего неизвестно. Говорят, на остров на какой-то нас выкинут, где одни собаки.

— Собаки-то при чем же?

— Так говорят, хорошо не знаю. Мученье!

— А мы с мужем рассчитываем в Париж пробраться. Надоело в грязи жить.

— А что теперь в Париже носят?

— Короткое и открытое.

Семен Иванович вылез из трюма и записал все эти разговоры. Пароход плыл, как по зеркалу, чуть затуманенному весенними испарениями. Большинство пассажиров дремали на палубе, лениво торчали у бортов. Негр-повар опять чистил у бочки картошку. Около него сидела Дэво, теософка, и, теребя кружева, рассказывала о пришествии святого духа из Азии через Россию. Повар весело скалился. Бегали в грязных платьицах чахлые дети по палубе, играли в эвакуацию. Откуда-то со стороны надпалубных кают доносились стоны: это, не к месту и времени, рожала жена армейского штабс-капитана. Около кухни член Высшего монархического совета Щеглов, отдуваясь, осовело слушал, что рассказывал ему приятель, белобрысый, маленький человек с лихо заломленной фуражкой астраханского драгуна на жиденьких волосах:

— Прости, а ты тоже задница, а еще помещик. Я мужиков знаю: лупи по морде нагайкой, будут уважать.

— Это тебя-то? — спросил Щеглов.

— И меня будут уважать. Помещики сами виноваты. Например — в праздник барин идет на деревню, гуляет с парнями, с девками, на балалайке играет. Этого нельзя: хам, мужепес, у тебя папироску прикуривает. Встретят на деревне попа, и помещик сам же смеется с парнями, а этого нельзя, — нужно снимать шляпу, первому показывать пример уважения перед религией.

— Жалко, тебя раньше не слушали.

— Вернусь — теперь послушают.

— Сегодня что-то ты расхрабрился.

— Я всю ночь думал, представь себе, — сказал драгун, поправляя фуражку, — так, знаешь, расстроился... Я сегодня на заседании говорить буду... Выс-

ший монархический совет заражен либеральными идеями, так и выпалю. Лупить шомполами надо повально целые губернии — вот программа. А войдем в Москву — в первую голову — повесить разных там... Шаляпина, Андрея Белого, Александра Блока, Станиславского... Эта сволочь хуже большевиков, от них самая зараза...

Щеглов, слегка раскрыв рот от жары и переполнения желудка, глядел, как астраханский драгун ударяет себя стеком по голенищу. Затем он спросил все так же сонно, но особенным голосом:

— Ну, а с Прилуковым ты говорил?

Драгун сейчас же дернул головой, глаза его забегали, краска отлила от лица, он опустил голову.

Семен Иванович, разумеется, подслушивал этот разговор. Вопрос Щеглова показался ему несколько подчеркнутым, особенным. «Так, так,— подумал он,— про этого Прилукова мне уже поминали». Он вынул тетрадь и тщательно вписал весь разговор. «Так, так»,— повторил он, щурясь и посасывая кончик карандаша. Чутьем скептика и мизантропа Семен Иванович почувствовал в этом разговоре чертовщинку тревожного свойства.

Семен Иванович поднялся на среднюю палубу. Рубка, коридоры и проходы были завалены багажными корзинами. На них томились дельцы и тузы, мало привычные к подобного рода передвижениям. Здесь искренне, без психологических вывертов ругательски ругали большевиков. Рыхлые дамы, толстые старухи, перезрелые красавицы в пыльных шляпах покорно и брезгливо сидели на сквозняках. Иные угасающими голосами звали детей, того и гляди рискующих выпасть за борт или попасть под рычаги пароходной машины.

Здесь больше не верили в справедливость. Низенький, тучный господин в обсыпанной сигарным пеплом, еще недавно щегольской визитке с безнадежной иронией покачивал седеющей головой.

— Почему они не говорили прямо: мы хотим устроить грабеж? С тысяча девятьсот пятого года я давал на революцию. А? Вы видели такого дурака? Приходили эсеры — и я давал, приходили эсдеки — и я давал. Приходили кадеты и забирали у меня на издание газеты. Какие турусы на колесах писали в

этих газетах,— у меня крутилась голова. А когда они устроили революцию, они стали кричать, что я эксплуататор. Хорошенькое дело! А когда они в октябре стали ссориться, я уже вышел — контрреволюционер.

— Кто мог думать, кто мог думать,— горестно проговорил его собеседник, тоже низенький и тоже в визитке,— мы верили в революцию, мы были идеалисты, мы верили в культуру. Триста тысяч взяли у меня в сейфе,— прямо походя. Нет, Россия — это скотный двор.

— Хуже. Бешеные скоты.

— Разбойники с большой дороги.

— Хуже.

Семен Иванович ныркой походкой обошел здесь все закоулки, выяснил благонадежность второй палубы и поднялся выше, надеясь хотя бы мельком взглянуть на страшного террориста в широкополой шляпе.

Опускался вечер над Черным морем. Пароход плыл по расплавленному золоту, навстречу безоблачному закату, в золотую пыль.

Семен Иванович стоял у перил. Под ним длинная палуба шевелилась коротенькими — в ракурсе — телами эмигрантов. Никто по ним не скучал, никто их не звал никуда,— едут жить из милости.

Семен Иванович, как уже было сказано, наполовину более не считал себя русским, презрительная усмешка кривила его сухонький рот: палуба, уставленная — скажем — вместо этих людей мелким рогатым скотом, внушала бы несравненно больше уважения. «Эх, люди, люди,— дешевка! А ведь суетятся, топорщатся... Кому вы нужны с вашими карбованцами? Ободранные, небритые, ноги немытые. Так вот сейчас за такое сокровище европейцы и кинутся в драку». Семен Иванович перекинулся мыслью на себя,— даже пальцы в сапогах поджал, но вспомнился чемодан с мерлушками, и горячо стало на сердце...

«Извиняюсь, уважаемые иностранцы,— мысленно говорил он, опуская руки вдоль брюк,— войск я у вас не прошу для защиты пропащей страны, где имел несчастье произродиться; денег, гостеприимства, равным образом, не прошу; еду, как торговый человек, для обоюдной выгоды...»

Он смотрел некоторое время в сторону заката, в золотой, багровеющий край, куда влекла его необыкновенная судьба, и померещились соблазнительные перспективы. «А ведь облизнется какая-нибудь бабенка при виде Семена Невзорова,— будет время. Перебежит когда-нибудь улицу такой-этакой, богато одетый, значительный господин, чтобы только пожать ему руку...»

Семен Иванович опять перевесился через перила. Это была секунда ясновидения. Он всматривался в фигуры эмигранток, стоящие в хвостах, бродящие среди корзин и протянутых ног.

Вон сидит великолепная женщина,— сняла шляпу и проводит устало пальцами по растрепанным вискам,— платьишко на ней совсем гнилое, башмаки такие страшные, будто их жевала корова...

А вон высокая девушка в клетчатой юбке, облокотилась о перила, печально смотрит на закат. Красотка,— с ума сойти, если сбросит она с себя эту юбчонку, эту кофточку с продранными локтями... «Котик, чудная мордашка, напрасно глядишь на закат: золотой свет не золото, пустышка, попробуй, схвати рукой,— разожмешь одни чумазые пустые пальчики...»

А вон брюнеточка-живчик... Или эта хохотушка, офицерская жена, вздернутый носик, ресницы, как у куклы... Или та — гордячка с плоскими ступнями, сонными веками... Или та, фарфоровая аристократка, смотрит,— даже осунулась вся,— как негритенок мешает бобы с обезьяньим салом... Вон оно — богатство, золотые россыпи!..

Семен Иванович выпрямился,— хрустнули кости в пояснице: «В дождливые сумерки, у окошка, на Мещанской улице,— помню, помню,— мечтал, даже потные ледяные руки носовым платком вытирал,— вот до чего мечтал о великосветских балах, аристократических файфоклоках... Припадал мысленно к скамеечкам, на которых княгини, графини ножками перебирали... Вообразить не смел, однако, встретились... Но припадать уж не могу,— далеко вниз бегать... И скамеечек тех нет более. Но подождите, подождите, дамочки,— Семен Иванович задохнулся волнением,— подождите, недолго — все будет: и скамеечки, и глубокие декольте, и цветочный одеколон...»

Ночная прохлада едва охладила воспаленную голову Семена Ивановича. План необычайного предприятия был еще далеко впереди, а покуда нужно было продолжать наблюдения.

На палубу в это время поднялись двое — Щеглов и астраханский драгун — и вошли в курительный салон. Сейчас же появились еще трое пожилых, затем, легко отстукивая ступени тяжелыми башмаками, взбежал шестой, стройный, в пиджаке и в мягкой шляпе, сдвинутой на ухо. Они также вошли в салон, и дверь захлопнулась.

Семен Иванович осторожно приблизился к дверной щели. В курительном салоне, за круглым столом, засыпанным окурками, сидело шесть членов Высшего монархического совета. Лампочка без абажура освещала жирное лицо Щеглова. Губы его шевелились, но слов не было слышно,— на заседании говорили шепотом, нагибаясь над столом, чтобы лучше слышать.

Направо от Щеглова сидел молодой человек, в шляпе, сдвинутой на ухо. Нежное продолговатое лицо его было красиво и дивно от особенной синевы глаз. Он, не мигая, смотрел на свет.

«Это и есть Прилуков,— почему-то подумал Семен Иванович,— но до чего же он страшный».

Щеглов кончил. Собеседники уставили лбы в стол. Молодой человек с синими глазами сказал отчетливо:

— Что же долго думать,— позвать этого дурака Невзорова, он как раз сейчас торчит у двери.

Семен Иванович, неслышно поднимая коленки, кинулся к лестнице. Мимолетом все же взглянул: спиной к палубным перилам, вцепившись в перила, стоял мрачный революционер в шляпе,— зеленовато, по-волчьи, блеснули его глаза...

Семен Иванович пролетел по всем лестницам до нижней палубы и скрылся за чемоданами. «Все им известно, ах, елки-палки, ну и влопался, видимо, в историю»,— думал он, отдышавшись, и силился понять, откуда может грозить опасность и почему так ему страшно.

Суета затихала на пароходе. Трюмы закрывались брезентами. Бродили унылые фигуры, присматривая местечко для сна. Одинокий дьякон, сидя под мачтой,

с душу раздирающей безнадежностью напевал вполголоса покаянный тропарь.

Семен Иванович, осмелев, вылез из-за чемоданов. Любопытство его привлекли голоса в носовой каюте, где помещался одесский губернатор Хаврин. Там сипло кричали:

— Убирайтесь к черту, я вам говорю. Нет у меня никаких денег.

После некоторого молчания другой, тихий голос говорил:

— Ваше превосходительство, в перспективе — голодная смерть: жена и двое детей, а час тому назад еще третий родился.

— Уберетесь вы, я спрашиваю?

— Хотя бы ничтожнейшую сумму... В некоторое оправдание, ваше превосходительство,— кровь проливал в многочисленных сражениях за родину.

— Это ваше частное дело... Я гражданская власть. Тут у каждого какие-то жены оказываются и прочее... Обращайтесь к казначею вашей части... Вы мне надоели... К чертям!..

После некоторого молчания дверь каюты медленно отворилась, и вышел низенький человек, похожий на плюшевого медведя. Споткнулся и стал, бессмысленно глядя перед собой. Казалось при свете звезд, что седые вихры его торчат дыбом. Куртка со штабс-капитанскими погонами, видимо, сшитая из байкового одеяла, была покрыта тигровыми полосами. Несмотря на такую воинственную наружность, он беспомощно развел коротенькие руки.

— Вот, убирайся к черту, а куда? — обратился он к Семену Ивановичу.— За борт? Так ведь не один, четверо висят на шее. Ох! — простонал он из глубины медвежьего нутра и побрел к трапу.

Дверь в каюту осталась полуотворенной. Семен Иванович завел туда нос и увидел около стола, где горела свечка, стоявшего губернатора — огромного мужчину в черном и длинном сюртуке. Ладонями он тер себе изо всей силы багровое лицо.

— Пяти минут не дадут заснуть,— проговорил он сипло в сторону кого-то, кто, невидимый Невзоровым, сидел у стены за свечкой,— разнюхали, мерзавцы, нищая сволочь, про казенные деньги!.. Коротко и ясно: во вверенных мне суммах отдам отчет одному законному царю.

— И Высшему монархическому совету,— проговорил спокойный голос за свечкой. (Губернатор сразу бросил тереть щеки.) — Никакого возражения у вас быть не может, надеюсь? (Губернатор отмахнул полы сюртука и сунул руки в карманы, забренчав ключами.) Нас нисколько не интересуют расходы, произведенные вами до эвакуации. (Губернатор стал раскачиваться на каблуках.) Питая к вам искреннее расположение, ваше превосходительство, хочу поставить вас в известность, что Высший монархический совет на последних заседаниях решил расширить методы борьбы и действовать тем же оружием, что и наши противники...

— Террором? — прохрипел губернатор, и щеки у него стали цвета бургундского вина.

— Да,— коротко, как удар по стеклу, ответили за свечкой.

Разговор этот до того заинтересовал Семена Ивановича, что он неосторожно просунул нос дальше, чем следовало, в дверную щель. Сейчас же губернатор обернулся и с проклятием схватил его за воротник. Невзоров пискнул. Собеседник губернатора быстро поднялся, свет от свечки упал ему на лицо,— это был тот самый красивый молодой человек с синими глазами, нагнавший на Невзорова страх.

— Очень хорошо,— сказал он,— мы должны с вами поговорить.

И он под руку повел Семена Ивановича на нос парохода, туда, где лежали якорные цепи, мокрые от росы, и черное бревно бушприта неизменно стремилось на запад.

— Моя фамилия Прилуков,— сказал молодой человек,— если не ошибаюсь, имею удовольствие говорить с Семеном Ивановичем Невзоровым, по паспорту Симоном Навзараки. (Невзоров, не возражая, проглотил слюну.) Вы оказали добровольческой контрразведке важные услуги. Кроме того, вы подписали протокол казни графа Шамборена. На вас обратили внимание как на человека способного и надежного.

— Виноват, господин Прилуков, я, собственно, больше по коммерческой части...

— Придет время, почтеннейший Семен Иванович, когда вы получите возможность заняться личными

делами. Сейчас ваша жизнь принадлежит богу, царю и отечеству. Э, батенька, не спорьте, бесполезно... Одним словом — обеспечена ваша готовность подчиниться моим директивам и ваше гробовое молчание... Вы поняли: молчание.— Прилуков приблизил к Семену Ивановичу ледяные, ужасные глаза.— Вы, дорогой мой, служили до тысяча девятьсот семнадцатого года в транспортной конторе. Вы убили и ограбили антиквара, английского подданного... Молчать, я вам говорю!.. Много раз вы меняли фамилию... Вы служили казначеем в бандитской шайке атамана Ангела... Всего этого достаточно, чтобы повесить вас в первом же порту, где есть английский комендант... Кроме того, вы состоите в списках контрразведки и непосредственно мне подчинены... С вас этого всего достаточно?..

— Достаточно,— проговорил несчастный Семен Иванович. Он видел только в вершке от своего носа беспощадные глаза. «Неужели — Ибикус?» — подумалось ему, и ослабли ноги, безвольно задребезжало в голове. Он слушал медленный, отчетливый голос:

— Вы видели пассажира верхней палубы? Вы его хорошо рассмотрели? Это Бурштейн, опасный революционер. Вы слезете на берег вместе с ним. Вы будете следить за ним. Когда у него ослабнет инстинкт осторожности, вы ликвидируете его. Оружие вы получите на берегу. Даю вам сроку две недели. Если вы влопаетесь на этом деле, мы сделаем все возможное, чтобы вас спасти. Если вздумаете болтать лишнее, вас безусловно повесят. Все ясно? Никаких более вопросов...

Прилуков внезапно обернулся и, нагнувшись, скользнул без шума за якорную лебедку. К Семену Ивановичу подходила Дэво, теософка, кутаясь в одеяло.

— Еще один брат по духу не спит,— заговорила она сонным голосом,— я вас почувствовала издали... Нельзя без волнения созерцать звездное небо. Ведь это наши будущие родины. Миллион веков мы кочуем со звезды на звезду. Брат, я чувствую к вам доверие. Я хочу приподнять край завесы над тайной. Смотрите сюда, на Северный Венец...

Теософка выпрямилась, одеяло соскользнуло с нее, она подняла руку. Семен Иванович, из-за ужасной растерянности и робости, стал глядеть на звезды и

долго слушал таинственный рассказ Дэво о метампсихозе и о том, как первоначально люди,— то есть и она в том числе и Семен Иванович,— жили на солнце в виде растений — головой вниз, ногами кверху. У Невзорова действительно начало мутиться в голове от количества впечатлений этой ночи.

На верхней палубе, неподвижно и угрюмо, стояла сутулая фигура революционера со светящимися глазами. Черт его знает, что он наблюдал сверху: звезды ли, слабое ли свечение морских струй, расходящихся от пароходного носа, или ночные разговоры на палубе.

Рано поутру из трюмов вылезли все обитатели. Машины не работали. Пароход стоял на якоре. Брезенты, палуба, чемоданы, перила — все было мокро от тумана. Мачты до половины тонули в нем.

Но вот направо, далеко и, казалось, высоко, стали проступать оранжевые плоскости, прямоугольники, будто большие экраны. В них загорались пучки стеклянного света. Плоскости громоздились одни над другими. Это были многоэтажные дома Пéра.

Вставало теплое солнце. Туманная завеса редела. Налево проступили такие же, как туман, голубоватые, легкие очертания Стамбула — минареты, висящий в воздухе купол Айи Софии, парная ей мечеть Сулеймана, пирамидальные тополя, квадратные башни древней Византии. У мокрых перил разговаривали:

— Ах, какая красота, Ваня, да посмотри же.

— Совсем как на папиросной коробке, даже узнать можно.

— Вот тебе и Царьград. Здравствуйте. Прибыли.

— А хорошо полумесяц-то этот сшибить, да — крест... Эх, проворонили...

— Ничего. Подождем. От нас не уйдет.

— А говорят — турки все-таки страшная сволочь.

— Совершенно наоборот — благороднейшая нация.

— И напьемся же мы, господа, сегодня...

Так, в ожидании высадки, эмигранты простояли у бортов до завтрака. И опять — негритята мешали бобы, повар чистил картошку. Настроение стало портиться. В виду Константинополя принудительно есть свиное месиво, торчать на вонючей палубе, что это — издевательство?

Начался ропот. Послали делегацию к капитану. Тот ответил туманно. Никто ничего не понимал. Возмуща-

лись ужасно. «Как они смеют полдня держать нас на борту? — довольно нас мучили на проклятом пароходе. Кто мы, собственно говоря, пленные? или дикари какие-нибудь?»

К «Кавказу» несколько раз подходил военный катер. Элегантный офицер, в фуражке с золотыми дубовыми листьями, кричал что-то в рупор капитану, и катер опять уходил, стуча и поблескивая медью.

Подъезжали лакированные лодочки, внутри устланные коврами. Какие-то европейские изящные люди, в чистых воротничках, в шелковых носках, в блестящих туфлях, покачиваясь на быстром течении, глядели, покуривая папироски, о чем-то весело, независимо перекликались, указывали тростями на голодные, грязные, взлохмаченные лица русских эмигрантов, наглядевшись — уплывали.

Город был залит теперь апрельским солнцем. Через длинный мост Золотого Рога двигались потоки экипажей и пешеходов, сверкающие стеклами трамваи. Люди ехали и шли, куда хотели, ни у кого ни о чем не спрашивая разрешения. И никому, видимо, в этом городе не было дела до трех тысяч русских, спасшихся от революции.

А раньше — придет пароход Добровольного флота,— облепят проклятые турки: «Рус, рус, купи феску, купи туфли!..» И туфли-то дрянь, фески гнилые. А идешь до Пéра — хватают за полы, тащат сапоги чистить, из шашлычных высовываются: «Сюда, рус, рус, шашлык хорош!..» А теперь носы воротите... Подождите, свергнем большевиков, пропишем вам «рус» туфлей по носу...

В третьем часу дня произошла короткая паника. Команда военных моряков с винтовками, угрожающе щелкая затворами, вскочила на возвышение на корме. Взяли на изготовку. Другая команда заняла носовую часть.

В трюмах послышались повышенные голоса. Бледные, растерянные офицеры, щурясь от солнца, вылезали из трюмов. Их выгоняли оттуда прикладами. К пароходу подходила шаланда. Тогда все объяснилось: добровольческие части перегружались на транспорт и возвращались обратно в Новороссийск, в действующую армию Деникина.

Часть военных перегрузили. На палубе успокоились, и снова эмигранты повисли у бортов. Многомиллионный город шумел — рукой подать... Дымили трубы, проходили паруса у древних стен и выходящих из воды квадратных башен. День был теплый, лучезарный.

С пяти часов негр опять начал чистить картошку, негритята — откупоривать жестянки с мясом человекоподобной обезьяны. Тогда население парохода стало сбиваться в кучки, поднялся ропот, нашлись демагоги, и было решено коллективно отказаться от принятия пищи. Капитан ответил делегатам, что на сегодня бобы уже сварены, а завтра он прикажет выдать рис, если же подобное брожение умов повторится, то прикажет отвести пароход на шесть миль назад к Черному морю.

В сумерки пошел слух, что в кормовом трюме начался сыпняк и что союзники, боясь заразы, решили угнать пароход прямо в Африку, в горючие пески. Напряжение всех последних дней сменилось острым отчаянием. Почти никто не спал в эту ночь.

Город всю ночь переливался брильянтовыми огнями. Доносились слабые звонки трамваев и даже как будто звуки музыки из ресторанов. Не то играли танго, не то старинные вальсы...

Наутро с грохотом подняли якорные цепи. Пароход заревел и медленно двинулся вдоль панорамы Константинополя, к Мраморному морю.

Близ выхода в море опять стали на якорь. Приунывшие пассажиры глядели на пустынный берег, на глинистые овраги, на какие-то подозрительные облупленные постройки на косогоре за колючей решеткой. Никто теперь ни на что хорошее не надеялся.

Семен Иванович, как и все, растерялся и упал духом за эти сутки. Бессмысленно толкался, толкался до изнеможения по палубе. Жевал бобы. Курил, курил. Спохватываясь, лез наверх и проходил мимо опасного революционера. Он даже заглянул ему в тяжелые глаза, но не ощутил ни волнения, ни страха при этом.

Сейчас он обалдело глядел на унылую равнину, где близ построек лениво полоскался на мачте карантинный флаг, желтый, как зараза. Сюда сгоняли всех чумных, холерных, прокаженных, сыпнотифозных.

Сейчас, видимо, загонят за эту проволоку и русских,— сиди, проветривайся. Вот тебе и Европа!

Скверно было на душе у Семена Ивановича: так на этот раз зажали его плотно, что не вывернешься. Удрать, а куда? Ну, удерешь с парохода, не ступишь и шагу — схватят, приведут к английскому коменданту и сейчас же повесят по доносу проклятого Прилукова. Без языка, без знания местности, все равно что темною ночью.

Припомнил Семен Иванович все, что слыхивал про турок гололобых, как ходят они, с усами, в фесках, в канаусовых шароварах, режут армян кривыми саблями, православных на кол сажают; нет, от своих отбиваться нельзя, к пароходу надо жаться — надежнее...

...«Ну, как я этого черта убивать стану,— думал Семен Иванович, оглядываясь с тоскливым вздохом на революционера в шляпе,— стоит, расставил ноги, дьявол чугунный. Разве его убьешь? Сам всякого угробит в два счета. А кроме того, кому это нужно? Так уж — от самодурства, от злости, от бобов с салом — распучило животы монархистам, вот и придумали, на ком сорвать досаду...»

Пока Невзоров предавался невеселым размышлениям, к пароходу подошла шаланда. Было приказано высаживаться всем с мелким ручным багажом. Тогда неожиданно среди пассажиров, в особенности в крайних — носовом и кормовом — трюмах, произошел сложный излом психологии: высаживаться на берег решительно отказались.

Начались переговоры с капитаном, водовороты на палубе. Выскочили демагоги и закричали о единодушии, требовали объявить голодовку, грозились первого, кто спустится в шаланду, вышвырнуть за борт.

Все несчастья эвакуации, спанье в трюмах, бобы и обезьянье мясо, распученные животы, очереди у отхожих мест, грязь и последнее унижение вчерашнего дня, когда все только облизнулись в виду Константинополя; еще глубже — вся бездольная, кочевая жизнь за два года революции, разбитые вокзалы, вшивые гостиницы, налеты, перевороты, разбойники, бегство на крышах вагонов в мороз, в дождь, вымирающие в тифу города, бегство все дальше на юг — все это взорвалось, наконец, чудовищной истерикой в истер-

занных душах. Начался такой крик, что капитан счел за лучшее уйти с мостика в каюту.

А затем, незаметно и совсем просто, матросы перекинули трап с «Кавказа» на шаланду. Несколько человек, в том числе Щеглов с женой и драгуном, спокойно перешли туда и закурили папироски. К трапу кинулась толпа. Началась давка. Через голову в шаланду полетели узлы и чемоданы. Капитан опять появился на мостике и крикнул по-французски, что прикажет стрелять, если сейчас же не установится порядок. Его никто не понял, но порядок установился. Шаланда три раза ходила от парохода к берегу, и к середине дня все пассажиры были выгружены. «Кавказ» загрохотал цепями и отошел с большим багажом в неизвестном направлении.

Семен Иванович стоял обеими ногами на берегу, на нерусской земле, но это его не радовало. Он чувствовал, что готовится какая-то новая каверза со стороны союзников.

Действительно, среди эмигрантов, толпившихся близ воды, появились турецкие чиновники в фесках и длинных, пыльного цвета сюртуках с зелеными — жгутом — погонами. Кривых сабель при них не было. Они что-то лопотали, указывая на унылые постройки за колючей проволокой. По кучкам эмигрантов пошел ветерок возмущения, но душевные силы были уже истощены. Многие только шептали: «Ведь это же издевательство... Так не обращаются даже с папуасами. Боже, какое унижение!..» Иные женщины садились на весеннюю травку и плакали.

Оказалось, что турецкие чиновники велят всем эмигрантам идти в баню и насильственно мыться. А одежду они, турки, будут парить в особых печах — вошебойнях, или антисепторах.

Семен Иванович стал в очередь и, шаг за шагом, как бывало в России у продовольственной лавки, поплелся к облупленному зданию. Очередь тянулась через ворота, через дворик, в большую залу с асфальтовым полом, исхоженным миллионами отверженных. Здесь очередь заворачивала направо, в банные двери. Близ них из окошечек высовывались руки и выкидывали связанную бечевками эмигрантскую одежду. Чиновники сваливали ее в сетчатые мешки и тащили к другой стене, к большому окошку. Сквозь

него были видны жерла печей, куда бородатые турки толкали кочергами эти мешки с одеждой.

Семен Иванович вошел в предбанник и стал раздеваться, как и все, догола. «Вот она, Европа,— думал он, несколько стыдясь своих ног,— ну, не знали... Ай, ай, ай!..» Около него пожилой господин, голый и поэтому неопределенного звания, говорил дрожащим голосом:

— Крест хотя бы они разрешат оставить на шее?

— Эх, батенька, уж коли начали над нами надругиваться,— систематически доведут до конца... Это вам — Европа...

— Я решительно протестую... Не желаю идти в баню!.. Я и без того чистый...

— Фу ты, какой здесь сквозняк эти турки напустили!

— Господа, всех без исключения, оказывается, крутым кипятком ошпаривают...

— Этого еще не хватало!..

Семен Иванович только вздохнул болезненно и стал в очередь к банному отделению. Перед ним двигался коротконогий, приземистый человек с широкой спиной, покрытой волосами. От него изрядно попахивало. «Этого вымыть — много надо мыла»,— подумал Семен Иванович. Дверь распахнулась. Обдало теплой сыростью. Шумела вода. Волосатый, приземистый и Невзоров вошли по мокрому асфальту в длинное помещение, где под сотней душей прыгали, отфыркивались, отряхивались голые эмигранты.

— Вот свободный душ, вы первый или я? — спросил волосатый, оборачиваясь к Семену Ивановичу. Это был опасный революционер. Семен Иванович даже поскользнулся на пятках. Революционер стал под душ и начал скрести живот. Он фыркал, как буйвол, видимо, очень довольный, и косолапо поворачивался. Сквозь его повисшие волосы был виден разинутый рот, отплевывающий воду. «Великолепно,— проговорил он насколько мог весело,— давно я не мылся, великолепная баня».

Семен Иванович глядел на него. «Видишь ты — моется, здоровенный какой, плотный, выпить, чай, не дурак... Ну, как его убивать? — даже как-то неудобно».

В это время мимо прошел белый, как девушка, Прилуков и с усмешкой твердо посмотрел Невзорову в глаза.

Турки приготовили еще одну неприятность. Прогнав эмигрантов через душ, они выдавали каждому его одежду, горячую, прямо из печи. Голые люди начинали одеваться, но не могли влезть ни в штаны, ни в рукава,— одежда ссела́сь, сморщилась, башмаки испеклись,— хоть плачь. Так, ковыляя, вымытые, с выбитыми микробами, эмигранты потянулись к сходням, где их погрузили в мелкие суда и повезли по вечереющему, как оранжевое зеркало, Мраморному морю на последний этап — остров Халки.

Семен Иванович оказался на одном катере с Ливеровским. Тот все шутил, называл Невзорова Оглы Невзарак, обещался подарить ему феску. А Семен Иванович вздыхал и помаргивал. Приближался уединенный островок Халки, весь уже погруженный в тень. За его скалистым очертанием разливался закат. А у самой воды на островке уже горели огоньки поселка. Теперь можно было различить сильно накренившиеся мачты и трубу «Кавказа», разгружавшегося у пристани.

«Неужели на этом острове найду себе могилу?» — подумал Невзоров, который, как русский человек, размяк душевно после бани. Воздух был легкий. Уютно отражались огоньки в воде. И у Семена Ивановича под жалостью к самому себе начала дрожать лукавая жилка: вывернешься, братец, раскроешь еще крылья, главное — тихонько, тихо, не противореча, никого не тревожа — бочком пробирайся к счастью.

Катер подошел к длинным мосткам. На них лежали горы багажа, суетились люди в фесках, оживленно разговаривали повеселевшие эмигранты. Приехали! Неподалеку на берегу ярко светились окна шашлычной.

— Господа! — взволнованно крикнул какой-то длинный человек, шагая через чемоданы,— а какая у них здесь водка, какие шашлыки! Багаж завтра разберем — айда закусывать!

Семен Иванович сошел на берег, потянул носом и вдруг вытянулся на жилистых ножках. Неожиданно, совсем бы и не к месту, охватила его сумасшедшая радость,— и он крепко сжал кулачки, как прежде бывало.

умно и беспокойно стало в Мраморном море, на скалистом острове Халки.

Вслед за «Кавказом» выгрузился второй пароход с эмигрантами из Ялты. Пять тысяч русских, привыкших к необъятным пространствам и к разнообразным впечатлениям гражданской войны, очутились на небольшом клочке земли среди сияющего безбурного моря, в греческом поселке, мирно дремавшем третью тысячу лет у самой воды.

Русские воинские части разместились наверху, в древнем монастыре. Прибили в длиннейших коридорах к дверям записки: «Штаб армии», «Отдел снабжения», «Служба связи», «Конная дивизия» и прочее. За каждой такой дверью в пустых и пыльных комнатах валялось на каменном полу по десятку простреленных со всех сторон, прожженных девяносташестиградусным спиртом белых офицеров.

Хаврин со своей канцелярией и двенадцатью чемоданами денег, суровые генералы, адмиралы обоих флотов, бесхозные губернаторы, дюжины две промышленных королей заняли дачи на полугоре.

Рядовой эмигрант разместился внизу у моря, в деревянных домишках и гостиницах, над шашлычными заведениями, среди неизъяснимого количества клопов.

Клопы здесь были не то что какие-нибудь русские — вялые и сонные. Клоп на острове Халки был анатолийский, крупное, бодрое животное. Он не смотрел — ночь ли, день, была бы подходящая пища. Едва только эмигрант ложился на постель,— клоп дождем кидался на него с потолка, лез из щелей, изо всех стен. Эмигрант стискивал зубы, терпел. Нет. По ночам можно было видеть, как на улицу или на лужок выскакивает встрепанный человек в нижнем белье и чешется под огромными звездами, видавшими в этих местах и аргонавтов и Одиссея.

А наутро — за что ни схватись: вытащит эмигрант платок, чтобы вытереть пот с лица,— в платке клопы, гладкие, веселые. Или в кабаке положит руки на стол,— из рукавов лезут клопы.

На узенькой, жаркой улице,— единственном месте встреч и гулянья,— с утра толкались русские. Делать

было решительно нечего. В открытых лавках шипели шашлыки, в больших плоских кастрюлях дымились напоказ залитые салом пловы. За окнами дощатых кофеен любознательные эмигранты учились поджимать под себя ноги по-турецки и курить кальян, от которого мутилось в голове хуже, чем от белены. На перекрестках, перед горячими медными ящиками, чистильщики сапог вращали вылупленными глазами в кровяных жилах. Известковая пыль клубилась под ногами у гуляющих. Вот встретились, раскланиваются:

— Графиня, как спали?

— Ужасно, Семен Иванович, съели заживо.

— Виноват, у вас на ухе клопчик, графиня.

И Семен Иванович Невзоров деликатно снимал насекомое, бросал его на дорогу. Графиня, в изжеванном платье и в наскоро купленных турецких туфлях, грустно благодарила за эту мелкую услугу, спрашивала,— нет ли новостей?

— Окромя пьяного скандала нынче ночью, ничего нового, графиня.

— А когда в Константинополь?

— Говорят, что дня через три начнут выдавать пропуска, но с трудом. Желаете, может быть, чашку турецкого кофе или простокваши,— зайдемте в кофейню.

— Благодарю вас, в другой раз.

Семен Иванович бойко откланивался и протискивался сквозь толпу до небольшой площадки. Здесь, на куче щебня, поросшего пыльной травкой,— остатка от греческого погрома четырнадцатого года,— играла шарманка.

Пестрая, в зеркалах, с колокольчиками и лентами, шарманка эта дудела, и свистела, и позванивала над суетливым поселком, над тихим морем, всегда одно и то же: «Вите, вите, Венизелос» — утверждая, назло всему Исламу, греческое влияние на Мраморном море и в обоих проливах.

Семен Иванович с удовольствием послушал шарманочное хвастовство про великого Венизелоса, снова нырял в толпу и раскланивался с хорошенькой хохотушкой, офицерской вдовой.

— Лидия Ивановна, как спали?

— Ну, оставьте, пожалуста, мы еще не ложились.

— Все кутите?

— Да еще как. В четыре часа утра установили связь с моряками. Они покрыли нас таким коньяком, что у нас выбыло пятьдесят процентов состава. Сейчас едем на ослах на гору — смотреть вид. Потом — купаться. Нет, право, здесь чудно.

— Виноват, Лидия Ивановна, у вас на груди — клопчик.

— Спасибо.

Семен Иванович шнырял в бестолковой толпе гуляющих и пьяных, болтал с самым непринужденным видом, оказывал дамам мелкие услуги и делал все это неспроста.

Он до тошноты в желудке страшился уединенных мест, где к нему непременно должен подойти Прилуков и сказать: «Вы что же дурака валяете? Сегодня Бурштейн должен быть ликвидирован, иначе...»

Скрываясь от ледяных глаз Прилукова, Семен Иванович преследовал, между прочим, и другие цели: заветный план, открывшийся ему в час заката на пароходе в Черном море.

План был хорош со всех сторон, откуда ни посмотри — золотое дело. Надо отдать справедливость Семену Ивановичу: в борьбе с судьбой, глянувшей некогда ему в лицо глазами старой цыганки на Петербургской стороне, трепавшей его, как щенка, возносившей высоко, чтобы снова втоптать в грязь, в борьбе с судьбой, которая лезла к нему отовсюду разными гнусными рожами — ибикусами,— он не упал духом, нет. Ум его развился, приобрел легкость, осторожность в разведке, хватку в решении. Верткий телом, готовый ко всякой случайности, ничему более не удивляющийся, жадный и легко отпадчивый, Семен Иванович считал себя новым человеком в этой жизни, полной унылых дураков с невентилированными мозгами, набитыми трухой предрассудков о дозволенном и недозволенном.

— Дозволено все, господа, откройте форточки,— говаривал он в кофейной за стаканом греческого вина, которым угощал нищее офицерское сословие. Здесь, на острове, Невзоров в первый раз за свою жизнь заговорил,— и не глупо. Взялись острые мысли, едкие слова. Его слушали, и он получил вкус к разговорам.

— Хотя бы о политике, не будем вола вертеть, господа,— толковал он тому же офицерству.— Революция, пролетариат, власть Советов — одна пошлость. Я при своем таланте могу нажить капитал, а он, комиссар, в Москве сидит, не может, живости нет, или с детства над книгами задохся. Вот они и клеют афиши на заборах, стараются переманить народ, чтобы их было больше,— на меня одного кинуться вдесятером. И мне приставляют ко лбу наган, выдергивают из кармана валюту, кольцо — с мизинца. И я же оказываюсь эксплуататор, индивидуалист-одиночка. Блевать хочется, так это скучно.

— Верно, правильно, браво, главное — умно,— шумело офицерство, дымя папиросами.

— Пошлость эта завелась в России от зловредного старика, Льва Толстого, это мне один доктор рассказывал: граф, помещик, трюфели ест, фазанов, мадеру лопает, неврастеник, конечно, ну и потянуло на капусту. Объявил себя другом физического труда, врагом капитала: «Я, говорит, не могу молчать». Нет, елки-палки. Напишу я брошюру против большевиков. Пусть в Европе прочтут горькую правду... Покуда они там охают-ахают, большевики всю Российскую империю разворуют, потом ищи с них — дудки! Драгоценности, обстановки, тысячные шубы растащили, порвали, пожгли. Я сам — у себя в именье — из огня выскочил в одних подштанниках. Музеи не пощадили, Рубенса, Рембрандта беспощадно выдирают — Красной Армии на подвертки. Брильянты ведрами увозят в Архангельск на китобойное судно «Интернационал»,— оно у них второй год под парами стоит на случай бегства. А народу, господа, осталась одна четверть в России, да и те в леса разбежались... Поезда, вместо паровозов, на конной тяге передвигаются. К Новому году, поверьте мне, вместо нашей родины останется пустое пространство земли.

У офицеров белели лица, безумели глаза. Жутко бывало в кабачке в эти минуты. Семен Иванович наслаждался. Семен Иванович становился популярным на острове. Член конституционной партии, Масленников, даже предложил издать его брошюру за счет партии. Но Семен Иванович туманно уклонился, хотя общественное внимание крайне льстило ему.

Прилукова он видел ежедневно издали и сейчас же нырял в толпу. Все же он понимал: рано или поздно придется встретиться лоб в лоб. Убить Бурштейна было бы делом плевым, конечно, но страшили последствия. Не убить — опять страшили последствия.

Страшный революционер поселился в единственной на острове гостинице и от трех до пяти гулял по шоссе. Он, по слухам, крайне обиженный тем, что его в России отвергли, подготовлял массовое переселение в Аргентину и уже вел осторожную агитацию среди военных.

Так прошла неделя со времени высадки. На острове не затихла толчея. Развернулись общественные комитеты Земского и Городского союзов,— они выдавали битых кроликов, рис и туфли, а также вели идейную борьбу с пьянством. Политические партии (кроме монархистов) на бурном заседании блока, после взаимных упреков и оскорблений, выпустили воззвание, оно начиналось решительными словами: «Проклятие вам, большевики...» Население острова приглашалось к единодушной борьбе за единую, неделимую Россию. Население приняло это к сведению и продолжало развлекаться, как могло: купались, нюхали кокаин, ели шашлыки, пили «дузик», шумные компании верхом на осликах скакали по лесистым горам, завивали горе веревочкой.

А по весеннему зеркальному морю мимо острова проплывали плоскодонные пароходики — шеркеты, битком набитые веселыми европейцами и константинопольскими дельцами. Эти вольные люди не ели кроликов, похожих на ободранных кошек, не ходили регистрироваться к французскому коменданту, не толкались в известковой пыли между парикмахерской «Идеал» и шашлычным заведением Каракаргопуло, не били керосином клопов. Там, куда в голубые, как мираж, очертания мирового города уплывали шеркеты, безболезненно перепархивали между пальцами турецкие и английские фунты, там у каждого был свой дом в своем собственном отечестве. Там мужчины прохаживались с гордо поднятой головой, а женщины, в мехах и брильянтах, выходили из автомобилей у зеркальных витрин, полных роскоши. Ах, черт! ах, скрип зубовный! проклятие вам, большевики!

Хуже всего приходилось женщинам на этом нищем островке, в прошлом — развалины жизни, дни, которых не хочется вспоминать, сегодня — стирка в рукомойной чашке истлевшего бельеца, на ужин — остатки кроликовой кошки, в минуту тишины — взгляд в зеркало на преждевременные, совсем не нужные морщинки, да оскорбительное знакомство с провонявшим потом полковником Сеноваловым, багровым и громогласным чудилой. А будущее — как страшный сон, когда видишь себя в какой-то пепельной мгле идущего на цыпочках, раскинув руки, по узенькому карнизу незнакомого дома на высоте многих этажей. В будущее лучше было не заглядывать.

Среди этих-то женщин Семен Иванович главным образом и вертелся, угощая их кофейком и простоквашей, острил, говорил о жизни, встряхивал волосами.

— Верх цивилизации — роскошная спальня красивой женщины, храм наслаждения. Все остальное — предрассудки, срок жизни очень мал, а прогресс не знает морали. Так-то, мадам.

Радостный слух облетел остров: завтра начнут выдавать пропуска в Константинополь.

Семен Иванович узнал об этом, лежа в постели. Он квартировал у трактирщика Каракаргопуло, во втором этаже, в комнатешке, предназначенной для кутежей местных греческих сладострастников: красная ситцевая занавеска на окошке, красный пыльный полог над перинами, набитыми клопами, вместо стула — прочное бидэ с расписной крышкой, ход через трактир. Помещение это Семен Иванович облюбовал, опасаясь неожиданного посещения Прилукова,— здесь он был в безопасности.

Семен Иванович выскользнул из-под перины, живо почесал рыжеволосые жилистые ноги, и в голове молнией пронеслись противоречия. Завтра, разумеется, он постарается улизнуть с острова, но Прилуков это лучше его знает и сегодня же будет говорить с ним лоб в лоб. Как поступить, на что решиться? Запрятаться ли на берегу, между камнями, на целые сутки? Или как-нибудь перехитрить Прилукова?..

Семен Иванович задумчиво оделся, долго расчесывал бородку и волосы, посматривая на себя в стенное

зеркало,— из мутновато-ртутной глубины его глядело на Невзорова лицо... Странное глядело лицо... Перекошенное, с мертвенным глазом... Что за дрянь зеркало повесил на стенку глупый грек Каракаргопуло. Никакого же сходства между Семеном Ивановичем по эту сторону и Семеном Ивановичем по ту... Вдруг холодок пошел по спине Невзорова, он отступил вбок от зеркала, будто оттуда глянуло что-то ужасно знакомое, надел картузик, еще раз покосился и вышел. Решение было принято.

— Аллах верды, бахчи, бачка,— сказал он толстому, мягкому, женоглазому Каракаргопуло, думая, что говорит по-турецки, и на особенно увертливых ногах зашагал к парикмахеру.

Народу на уличке было мало в этот час,— эмигранты стояли в очередях у французской комендатуры за пропусками. По пути Семен Иванович купил феску без кисточки и спрятал ее в карман. Парикмахеру он объяснил знаками, что хочет снять свою растительность. «Идеал» щелкнул языком, как скворец, и машинкой окатал Семену Ивановичу и голову и бороду с усами, затем чисто выбрил его.

Невзоров любопытно поглядывал на свой маленький и острый череп, на заголенный рот, кривенько усмехающийся от сраму, на лисий подбородок. «Лисица»,— подумал он с едкой к себе симпатией.

Он надел феску,— сам черт не узнал бы теперь Семена Ивановича,— и вышмыгнул из парикмахерской, не заметив, что из другого отделения, где делали маникюр, внимательно следили за его превращением синие глаза.

Двое знакомых прошли мимо Невзорова, не признав его. Он вернулся домой, и Каракаргопуло, также не узнав его, долго колыхался и цыкал языком. Семен Иванович предложил ему купить мерлушки. Каракаргопуло разволновался, ушел и вернулся с двумя дошлыми греками. Они так плотно обступили Невзорова, так кричали и торговались, что он уступил мерлушки за 750 турецких фунтов. Все же это было богатство.

Во французской комендатуре он протолкался к чиновнику, решительно сунул под пресс-папье сто франков и сейчас же получил пропуск в Константинополь. Шеркет уходил завтра в девять. Это время до

утра решало судьбу Семена Ивановича. Он юркнул в темную кофейню, спросил чашечку кофею, поджал ноги под себя и закрыл глаза, точь-в-точь как задремавший турок.

Но воображение его не дремало. Он представлял себе шумные улицы Константинополя, полные дураков. Он со своей находчивостью и умом объегоривал и ощипывал слишком волнующихся при денежных сделках левантинцев, слишком доверчивых европейцев. Он продавал пароходы Добровольного флота, нефтяные участки, русских красавиц в гаремы. Он оборачивал капитал до пяти раз в сутки. Он гонял по городу в закрытом автомобиле, держа под груди двух красавиц брюнеток, кокоточек.

Мечтательность,— остаток варварства,— опасное качество для делового человека. Она убивает осторожность, искривляет перспективу, придает ложную форму вещам, отбивает чутье. Семену Ивановичу надо было чутко и недремно сидеть в темном углу, наблюдая за посетителями. Он же распустил крылья и нарвался. Сухой палец надавил ему на плечо, и ледяной голос проговорил:

— Ну, а теперь пожалуйте со мной, поговорим.

Перед ним стоял красавец Прилуков. Семен Иванович слабо застонал, вытащил из-под себя затекшие ноги. Прилуков сказал:

— На полдороге к монастырю свернете по шоссе, голубая дача — вторая направо, там ждите.

На голубой даче, в опрятном зальце, куда вошел Невзоров, на стене висел портрет Николая Второго, убранный крепом. Семену Ивановичу стало робко. Он почтительно присел на один из венских стульев, отражавшихся в навощенном паркете. Ни одной соринки на полу, ни одной мухи на стене. Успокоительно попахивало сдобными хлебцами. «Сразу видно — аристократы живут,— подумал Семен Иванович,— быть все-таки не может, чтобы они меня на мокрое дело послали».

В это время из боковой двери вошел астраханский драгун, уже знакомый Невзорову по пароходу. Надутое лицо его было воспаленное, вздернутый нос посапывал, глаза без ресниц были мутные. Видимо, у него вдребезги болела голова с похмелья.

— Здравия желаю,— достойно и не без поспешности сказал Семен Иванович, поднявшись со стула. Драгун ответил хрипловатым шепотом:

— Здравствуй, сволочь.

И уставился тухлыми глазами на Невзорова.

Семен Иванович, конечно, пренебрег таким обращением и доложил, что пришел по приказанию Прилукова. Драгун опять сказал:

— Морду разобью.

— За что-с?

— Разобью морду — тогда узнаешь за что.

— Я всегда готов всемерно пострадать на пользу отечества, но не заслужил, извиняюсь, вашего крайнего обращения.

— У, сукин сын, дерьмо,— говорил драгун, обходя кругом Невзорова и глядя ему то на ноги, то на голову.

Положение Семена Ивановича становилось настолько щекотливым, что он подался к выходной двери, но драгун сейчас же запер ее и готовился, видимо, въехать в ухо.

— Обрился, мерзавец, скрываешься, феску надел...

— В первый раз вижу такое обращение.— Семен Иванович прищурился для выразительности и загородился стулом. Драгун молча развернулся, но Семен Иванович успел присесть. Вошел Прилуков и раздельно, как на морозе, проговорил:

— Теплов, потрудись без рукоприкладства. (Драгун неохотно отвернулся от Невзорова и потащил из заднего кармана галифе серебряный портсигар с кистью.) Ну-с, господин Невзоров, у нас остается один сегодняшний день. Завтра известное вам лицо переезжает на жительство в Константинополь, так как, не в пример прочим, через своих сионских мудрецов получило разрешение и даже визы.

— Господин Прилуков, да как же, да где же? Ведь известное нам лицо сидит цельный день в номере, на прогулку выходит — где людно. Я бы с радостью с ним покончил...

— Одним словом, Невзоров, вы помните наш разговор? Даю честное слово, завтра пойду к французскому коменданту и выдам вас на предмет повешенья...

— Ну, для чего же, господин Прилуков...

— Потрудитесь молчать. Вот револьвер.— Прилуков вынул из кармана маленький браунинг и положил его перед Семеном Ивановичем на стол.— Он принадлежит известному вам лицу, украден у него сегодня ночью. Меня совершенно не касается — где и как вы ликвидируете это лицо. Предоставляю это вашей находчивости. Постарайтесь, чтобы выстрел был в голову, по возможности не в затылок. Вы разожмете ему правую руку и вложите револьвер. Это будет самоубийство.

Семен Иванович, как загипнотизированный петух, глядел на револьвер. Драгун проговорил плачущим голосом:

— Миша, позволь — ему в морду въеду, смотри, он раздумывает.

Тогда Семен Иванович сунул револьвер в карман пиджака, пошел к двери и спросил, не оборачиваясь:

— После этого буду свободен?

— После этого можете убираться ко всем чертям.

Семен Иванович сел на лавочку против гостиницы и ждал, когда Бурштейн выйдет гулять. Это были сквернейшие часы в его жизни,— а вдруг проклятый жидюга так нажрется за обедом, что без прогулки завалится спать?.. Что делать тогда,— в окошко лезть к нему ночью? Семен Иванович вспомнил, как мылся с ним в бане на карантине. «Надо было тогда его из шайки кипятком окатить крутым,— непременно бы умер, а вот теперь из-за него карьера вся ребром поставлена...»

Невзоров нетерпеливо вертелся на скамейке перед гостиницей. Дул восточный ветер. Жгло солнце. Проносились облака известковой горячей пыли. На зубах скрипело, лицо было воспалено после бритья, по всему телу чесалось. Было уже без четверти четыре. Обед в гостинице окончился. Несколько человек вышли за решетку в садик, где ветер трепал сухие листья пальм,— сели в полотняные шезлонги и, ковыряя в зубах, глядели на измятое потемневшее море.

Вдруг Семену Ивановичу представилось, что это — день его гибели... Именно такой, пыльный, окаянный, известковый, когда все зудит и чешется в смертной тоске... Он заметался на скамейке, не уберег-

ся, и облако известковой пыли кинулось ему в глаза, запорошило, ослепило. Семен Иванович тихо завыл и принялся тереть глаза.

Когда он смог их открыть,— низконогая, коренастая спина Бурштейна не спеша удалялась по шоссе к лесу, тоскливо шумевшему на горке.

Невзоров сорвался со скамейки вдогонку, но скоро овладел собой и свернул наверх, в сторону корявых сосенок, чтобы выйти на шоссе впереди Бурштейна. Лес, обычно полный гуляющими, сегодня был пустынен. Карабкаясь по хвойному склону, по осыпающимся бурым камням, задыхаясь от нетерпения, весь в поту, с пересохшей глоткой, Семен Иванович добрался до места, где в глубокой выемке снова появилось шоссе. Здесь он, вместе с камнями и пылью, съехал на заду и пошел по белой дороге в обратном направлении. Револьвер он переложил в правый карман брюк.

Через несколько минут он увидел Бурштейна. Он весь сотрясся от волнения,— корни обритых волос стали торчком. Бурштейн, расставив ноги, что-то писал в книжечке, затем глубокомысленно почесал в ноздре карандашом, не поднимая головы, повернулся, как буйвол, и побрел назад к дому.

Тут уже Семена Ивановича подхватило ветром, так он вдруг стал легок: на цыпочках, неслышно (суровый шум леса заглушал шаги) он догнал Бурштейна и уже судорожно сжал в кармане револьвер...

Бурштейн, присев слегка, живо дико обернулся и уставился в глаза Семену Ивановичу. Прошла значительная пауза...

— Вы что это — обрились? — мрачно сказал Бурштейн.— Я сразу и не узнал, странно, странно...

— Пыль, знаете, жара, взял, знаете, и побрился,— пробормотал Семен Иванович и в ту же секунду пропал, погиб,— со слезным грохотом рухнули все его ослепительные перспективы... Съежилась душа, стала просто душонкой, обмякли жилистые мускулы, кулак с револьвером завяз в кармане... Ах, не надо было глядеть в эту секунду в человеческие глаза, которые должны умереть, не надо было бормотать про парикмахера!!!

Бурштейн спросил:

— Гуляете?

— Знаете, погулять вышел.

— Странно, странно. Я вас только что видел,— вы против гостиницы сидели, терли глаза.

— Не может быть... Никогда глаза не тру, вы обмишурились...

Тогда резко, повелительно Бурштейн крикнул: — Выньте руку из кармана! — И, когда Невзоров потащил руку, он схватил его за вялую кисть, нагнулся низко.— Так и есть, это мой браунинг.

— Господин Бурштейн, я сам бывший революционер... Товарищ, подождите обвинять... Я сам, быть может, у вас защиты хочу просить... Я в коробку попал, господин министр! Войдите в мое положение...

И Невзоров, хватая ледяными пальчиками воздух у самых пуговиц бурштейновского пиджака, торопясь до пены на губах, рассказал все плачевные обстоятельства, которые на пароходе «Кавказ» привели его к необходимости покуситься на убийство, «совершенно мне не нужное, даже невыгодное, при моем уважении к вам, господин социалист».

По мере рассказа Бурштейн хмурился, поднимал плечи, врастал в землю. Каждый раз при имени Прилукова он принимался свирепо сопеть. Он выспросил подробности и записал их в книжку. Затем, не обращая более внимания на Невзорова, пошел домой.

Семен Иванович, в полном расстройстве чувств, проводил глазами его приземистую спину. Затем свернул в лес и лег носом вниз на колючую, горячую хвою.

Не имеет смысла описывать душевное состояние Невзорова,— оно было скверное. Не шевелясь, он пролежал в лесу до темноты.

Закатилось солнце в Мраморное море, быстро настала эгейская ночь. От горячей земли пошел сухой запах. Зажглись особенной величины и ясности звезды. На горизонте разлилось зарево огней Константинополя. Внятен стал мирный шум волн внизу.

Семен Иванович сел тогда, обхватив колени, и среди горьких размышлений почувствовал себя покинутым малюткой, заброшенным злой революцией на пустынный остров среди чужих морей. Третья ошибка за сегодняшний день,— третий случай слабости. Нет,— в герои для повести Семен Иванович никуда не годился.

Покуда он сидел жалким комочком на сухой земле, которая еще хранила следы аттического бродяги Одиссея, тоже не раз попадавшего в дрянное положение, в это время в лесу появились три мужские фигуры. Темноту прорезал луч электрического фонарика, и голос астраханского драгуна прохрипел в десяти шагах:

— Вот он!

Семен Иванович пискнул, как заяц, и пустился наутек. Напрасно. Драгун, налетев, въехал ему в ухо,— Семен Иванович покатился в какие-то колючки. Трое военных навалились на него и кулаками и топтунками били его по чему ни попало. Мало того. Драгун сказал: «Все равно жаловаться не будет, снимай ему штаны». Он сел Семену Ивановичу на голову, другой — на ноги, третий заголил штаны и ремнем стал полосовать ягодицы Невзорова, вопиющие к чужим равнодушным звездам.

От боли, от страха Семен Иванович впал в обморочное состояние. Последнее, что он чувствовал,— это проворную руку, из-под низу рванувшую у него, из кармана пиджака, бумажник с пятью тысячами франков и семьюстами пятьюдесятью турецкими фунтами.

Очнулся Семен Иванович,— все еще была ночь. Пошевелился, застонал. Оставалось одно для такого слабого создания — залиться горючими слезами. И он неумело заплакал.

На Пéру блестят сотни витрин, развеваются над посольствами иноземные флаги, двенадцатиязычная толпа шумит, суетится, шатается из лавок в лавки, едят сладости, бросают апельсинные корки, чистят себе башмаки, забираясь на перекрестках на высокие кресла под балдахин.

На Пéру, толкая локтями людишек в фесках, презрительно шагает посреди замусоренного тротуара английский офицер. Гуляет в малиновой с золотом кепи усатый француз, похлопывая стеком себя по коричневым крагам и с готовностью поворачивая великолепный профиль к мелькнувшему личику за полупрозрачной чадрой, к напудренному носику под соломенной шляпкой, к сизоволосой головке бледной гречанки.

На Пéру кучками бродят русские офицеры с черепом и костями на погонах, в измятых лихо картузиках, с облезлыми маузерами, торчащими из кармана. Странно и нище одетые русские женщины с тоской отворачиваются от витрин.

Русские интеллигенты, в пыльниках, испачканных дегтем и вагонным салом, поправляют разбитое пенсне перед вертящимся торчком на угольях многопудовым вертелом, с которого лоснящийся, щетинистый восточный человек срезает длинным ножом лакомые кусочки. В мистической тоске бродит меж запахами жареного и сладкого прокуренный журналист, мечтая о разрешении на русскую антибольшевистскую газету в Константинополе.

На Пéру, на лотках и тележках у торговцев остатками немецкого товара и местной дряни, трещат, сводят прохожих с ума звонки, будильники, звоночки и колокольчики. Не переставая звонят трамваи, хрипят, взвывают автомобили, щелкают бичи парных извозчиков, из ресторанных дверей вырываются, вслед за пьяными, растленные звуки оркестриков. Вся эта суета — высоко над морем, на Пéру.

У подножия Пéру — этой международной части города между мостом через Золотой Рог и пароходными пристанями — начинается Галата — узкие, грязные портовые кварталы. Это — подол Пéру, куда стекает вся грязь его, куда стремительно сбегает всякий, кому там, наверху, не повезло.

Здесь, близ моста, у меняльных лавок, прислонившись плечом к фонарному столбу, стоял Семен Иванович в феске. На осунувшемся, плохо бритом лице его были видны лилово-оранжевые остатки побоев.

Прошло две недели после несчастного приключения в лесу. Русские на острове Халки не только получили разрешение бывать в Константинополе, но если кто пожелает отказаться от пайка, то и переехать туда на жительство. Семен Иванович вторую неделю жил в центре Галаты. Бумажник с деньгами у него был похищен, но истязатели тогда, в лесу, не догадались залезть ему в брюки, где в мешочке хранился остаток разбойничьего золота — пятнадцать золотых десятирублевиков.

На эти-то жалкие остатки Семен Иванович и жил теперь в гостинице «Сладость Востока», в гнилом

трехэтажном здании, полном проституток, воров, сутенеров, пьяных матросов и совершенно неопределенных черномазых личностей.

Из пятнадцати золотых — двенадцать Семен Иванович привязал себе на шею в мешочке, хранил их жадно: они были последней ставкой на жизнь. Питался он чем попадется и весь день толкался у меняльных лавок, у палаток и лотков, где трещали звонки, прислушивался, присматривался, заучивал левантинский жаргон, учился щелкать языком, вскидывать глаза.

Наверх, в Пе́ру, он не поднимался из боязни нежелательных встреч. К тому же — зачем было растравлять себя видом роскоши и сытого счастья? Душа Семена Ивановича после приключения в лесу оробела, и весь он сделался осторожный и внимательный, как собака, побывавшая под колесами.

Присматриваясь к лотковой торговле, к менялам и биржевым жучкам, он отстранил от себя эту деятельность, как мало надежную. Служба в ресторане, поденная работа в порту, чистка сапог казались ему скучными, утомительными, малодоходными. Оставалась деятельность комиссионная, наиболее подходившая сейчас к его вкусам и возможностям.

Семен Иванович начал с малого: он предложил привести кавалера своей соседке по «Сладости Востока», сбившейся с пути девке, Ишак Мамэ, которую накануне в пьяном виде раздели в порту до белья. Выйти на улицу ей было не в чем. Невзоров побежал к пристани и, ломая язык, обратился по-левантински к безусому русскому с юнкерскими нашивками, только что спустившемуся с шеркета в портовую суету:

— Русский, хочешь девочку из султанского гарема? — вай! (Щелканье языком, и глаза летят кверху.) Симпатичный, ароматичный, совсем рахат-лукум, пышный, белый, сладкий,— ай, ай... Иди за мной.

Юноша залился краской, потом усмехнулся, пробормотал: «Что ты мне врешь, турецкая морда?» — и пошел за Семеном Ивановичем в «Сладость Востока». За эту первую комиссию Невзоров получил с юнкера лиру, а благодарная девка взяла его с собой на ночь в постель.

Пытая комиссионную деятельность в других направлениях, Семен Иванович натолкнулся на сильную

конкуренцию,— один скутариец пригрозил ему даже выпустить кишки. Приходилось ограничиться мелким сводничеством.

Кроме Ишак Мамэ, он познакомился с двумя сестрами-мулатками, Хаэ и Замба, необыкновенно ленивыми и неумеренными в страстях молодыми девушками. Они дня по три валялись не евши в номере на истертых диванах. Семен Иванович и этих клиенток принял близко к сердцу и водил к ним изголодавшихся по женщинам русских. Его доход иногда доходил до пяти лир в день.

Другой на его месте почувствовал бы себя в раю, приоделся бы, отъелся, завел бы лаковые башмаки. Но Семен Иванович, как уже известно, был натура беспокойная и мечтательная. Он не мог забыть предсказания цыганки и прикапливал в мешочек на груди скудные доходы, веря, что судьба хоть раз еще вознесет его. Не с этими же последними лахудрами, Ишак Мамэ, Хаэ и Замбой, завоевывать ему Константинополь. Эх, будь деньги, он бы знал, каких женщин пустить в оборот. «Сераль принцесс московит, или салон аристократки»,— вот был смелый план, открывшийся ему в час золотого заката на пароходе.

Но судьба пока была безжалостна. Семен Иванович минутами чувствовал утомление. Так и сейчас,— стоя у фонарного столба, он с отвращением поглядывал из-за полуопущенных век на человеческий сброд, идущий из Пе́ру в Стамбул через мост и из Стамбула в Пе́ру, толпящийся у меняльных лавок и лотков, у остановок трамвая. Солнце жгло, ветер нес мусор по корявой мостовой, скрипели пристани, барки и лодки на набережной. Постыло.

«Паразиты,— думал Семен Иванович,— жулье, ни одной порядочной личности... Керосином облить, сжечь вас всех вместе с городом, а еще — цивилизация...»

Сегодня клевало плохо. Вот прошли двое англичан-моряков. Семен Иванович выразительно сказал им по-европейски:

— Хау ду юду, кароший ханум, ичк чик,— вуле ву?

Моряки даже не обернулись. Остановился прикурить около фонарного столба приземистый русский, строгий, с проседью, со щекой, исковерканной белым шрамом. Семен Иванович сказал ему:

— Айда, русский, одалиска есть, симпатичный, ароматичный...

Строгий русский ругнулся неожиданно матерно, прошел. Сорвался также француз-капрал, заговоривший с Невзоровым по-своему, даже потрепал его по плечу, трещал, выкатывал налитые красным винищем глаза, но Семен Иванович растерялся, и клиент был упущен. Греки, армяне, итальянцы, левантинцы шныряли мимо, жмурясь и отплевываясь от пыли. Турки не попадались потому, что турок вообще было мало в те времена в Константинополе.

Семен Иванович собрался уже переменить место,— в это время на него налетел огромный бритый человек в грязном парусиновом пальто,— возбужденный и потный. Остановился, всмотрелся, раскрыл рот, полный золотых зубов, и раскатился лошадиным смехом. Это был Ртищев...

— Граф! — крикнул он,— это ты! — обрился, ну и сукин же сын, пятак твою распротак! Что ты тут делаешь?

— Торгую женщинами,— солидно ответил Семен Иванович.

— Брось, прогоришь. У меня есть великолепный план. Идем, я расскажу.

Улица, куда вошли Ртищев и Семен Иванович, находилась в центре Галаты и была узка, без тротуаров, мощенная древними плитами. Место насиженное.

Не было моряка в пяти частях света, который бы в свое время, под руку с товарищами, горланя и спотыкаясь, не шатался здесь мимо соблазнительных окон и заманчивых дверей. Круглые сутки валил шумный и беспечный народ по этой улице, топотали копытами ослики, кричали продавцы сладостей, женские руки стучали изнутри в стекла, хлопали вытряхиваемые ковры, сбегался народ на скандалы, визжали проститутки, чад стоял от шашлыков, табака и сладостей.

Семен Иванович был здесь своим человеком. Он указывал Ртищеву на достопримечательности. Вот — слепые окошечки с выставленными кальянами,— здесь вчера американские матросы убили сутенера чилийским приемом, то есть один из них, негр, заложил себе в волосы бритву и с разбегу ударил головой. Вот размалеванная розами дверь,— здесь

пляшут танец живота. Вот картежный притон, недавно закрытый оккупационными властями.

Далее Семен Иванович указал на расположенные низко над тротуаром, по обе стороны улицы, большие окна с переплетами,— это были знаменитые на весь свет веселые дома. За этими витринами лежали на коврах и на кретоновых кушеточках жирные девки в зеленых, алых, канареечных шароварах, с голыми животами, с мелко заплетенными крашеными косами, в тюрбанах, в шапочках с монетами,— накрашенные и напудренные. Они лежали напоказ, как ветчина, лениво и сонно. Восточные люди, пробегая мимо, только цыкали, закатывали глаза, с ума сходили от этих сладостей.

Здесь же происходили главные бои между моряками разных флотов. В довоенное время обычно верх брали русские матросы,— они ходили стенкой, дружно, крушили чугунными кулаками турецкие, французские, итальянские скулы, и даже англичане, хорошие драться в одиночку, рыча и выплевывая зубы, очищали веселые дома, уступали русским красоток за окнами.

Сейчас же за веселыми домами помещалась гостиница «Сладость Востока». Семен Иванович завел Ртищева к себе, и здесь произошел разговор:

— Невзоров, пятак твою распротак, деньги есть?

— Нет.

— Меня на Принкипо (остров рядом с Халки) обчистили русские. Маленький притончик организовал, совсем невинный, без девочек; знаешь, думаю, аристократов полон остров, надо — благородно. Никогда со мной такой глупости не случалось. Дело пошло. У стола в «железку» — цвет Петербурга. Меха, брильянты. Как они эти штуки через большевиков провезли — до сих пор не понимаю. Говорят, некоторые в задницу себе заколачивали каратов по сто. Подаю беленькое винцо, крюшончик. Мило, томно. Представь — двадцать пять процентов шулеров оказалось. Я весь идеализм потерял. Почему же у тебя нет денег, скотина?

— Обокраден, избит, видишь — синяки.

— Жаль,— сказал Ртищев раздумчиво,— у меня план — снять лавчонку на этой улице, открыть «железку».

— Запрещено, я уже думал.
— Что ты говоришь? Ну, а в «тридцать — сорок»?
— Запрещено.
— Рулетка?.. Я, брат, с таким крупье познакомился — по желанию, когда угодно, повернет, и — «зеро». Он говорит, рулетка — золотое дно.
— Запрещена.

Тут Ртищев страшно ударил по столу и стал изрыгать проклятия оккупационным властям, Антанте, Европе, человечеству. Он подошел к гнилому рукомойнику и облил голый череп из графина.

— Ну, хорошо,— все еще кричал он,— хорошо, мне запрещают жить, запрещают дышать. Хорошо! Я открываю тайный притон. Для воров. Для пьяных матросов. Для самой распропоследней сволочи. Согласен работать пополам? Будешь приводить клиентов. Идем искать помещение.

Ураганная деятельность Ртищева преодолела все препятствия. Напротив гостиницы «Сладость Востока» была арендована у больного грека Синопли запущенная кофейня, где мухи давно засидели окна, пыль покрыла медную посуду и самого грека, целые дни дремавшего за прилавком.

Ртищев, вместе с Семеном Ивановичем, выколотил просиженные до дыр ковры на жестких диванах, вычистил кирпичом кофейники и медные части очага, вымел из углов густую паутину, гвоздями сколотил расшатанные столы,— больной грек Синопли только слабо икал и ахал, удивляясь.

Затем маляр, дошлый мальчишка-итальянец, выкрасил входную дверь в ярко-зеленый цвет и на одной половинке изобразил Семена Ивановича в феске, с трубкой, на другой — Ртищева в виде персидского шаха с табакерки, в чалме с султаном, в руках — колода карт. Ртищев был в восторге:

— Знаменитые художники меня писали. Репин, Серов и Кустодиев, большие деньги брали, мазилы несчастные,— самой сущности, пятак их распротак, не могли понять. А вот это — портрет!

Вывеска старого грека оставалась, но в окне был приклеен рукописный плакат:

ЗАЙДИ И ПРИЯТНО УДИВИШЬСЯ

Ишак Мамэ и сестры-мулатки, Хаэ и Замба, были приглашены сидеть в кофейне. Получали они за это по стакану «дузику» и — халвы, рахат-лукума, шербету, засахаренных орехов сколько влезет: Ртищев был широкий человек. «Я не эксплуататор,— кричал он Невзорову,— девка должна быть сытая, счастливая; лизни ее в щеку — сахаром должна отдавать...»

Карточный стол поместили в глубине кофейной, за ковровой занавеской.

— Здесь — святая святых,— сказал Ртищев,— после двух часов ночи, когда останется солидная публика, я появлюсь из-за занавески и щелкну колодой.

Кроме того, были наняты два музыканта, инвалиды-турки с вытекшими на войне глазами.

— Если бы деньги, если бы деньги,— повторял Ртищев,— весь бы Константинополь кверху ногами перевернул. Граф, для открытия нужна программа. Девки умеют юбками вертеть, этого мало. Ты должен выступить в куплетах.

— Не могу, сроду не пел, стану я срамиться!

— В таком случае я приказываю. Я тебя из дела вышвырну. Я сам припомню,— спою какую-нибудь шансонетку на французском языке. Ты, невежа, можешь петь по-русски.

Семен Иванович пожал плечами: «Ладно, буду петь». Он работал и суетился, но в глубине оробевшей души не верил в успех. Чувствовал,— не хватает какого-то гвоздя в их предприятии, но чего именно не хватало — не мог понять.

Настал вечер открытия. Ртищев был в визитке и в белой чалме со стеклянным пером. Он поминутно выбегал за дверь на улицу и становился рядом со своим портретом, пронзительно поглядывая на прохожих и подмигивая. Честолюбия этот человек был непомерного.

Семен Иванович почистился и побрился, повязал на гуттаперчевый воротник пестрый галстук. Хаэ и Замба густо напудрились, надели множество амулетов и страусовых, бывших под дождем перьев. Ишак Мамэ явилась пьяная, в разодранном платьишке, но завитая и нарумяненная, как кукла. Все было в

порядке. В кофейной зажгли керосиновую лампу. Инвалиды, подкрепившись кофеем, заиграли: один на струнах, другой на рожке — что-то жалобное и тягучее, как тоска по вытекшим глазам.

Наконец появились и посетители. Бочком проскользнули в дверь двое черномазых, с птичьими лицами, с наморщенными лобиками,— сутенеры. Они спросили по рюмке «дузику» и, бегая глазами, перешептывались. Вошел высокий, страшно бледный человек в матросских штанах, в одном тельнике. Голова выбрита, кроме спутанного чуба на макушке, ухо разбито в кровь. Он положил кулаки на стол и шептал что-то в ярости про себя, скрипя зубами. Вошел шикарный молодой человек, ростом и годами не старше пятнадцати лет,— счастливый биржевой игрок, будущий финансовый гений: носик пипочкой, одутловатый рот, котелок, брильянтовая булавка, тросточка, как у Чарли Чаплина. Мальчишка развлекался в грязных притонах на Галате. Ишак Мамэ и мулатки сейчас же сели к нему за столик. Вошел горячечно пьяный, но твердо державшийся деникинский офицер, спросил кофе с лимоном и бенедиктину и, глядя безумными глазами перед собой, бормотал со странной улыбкой:

— Магометане, янычары, клопоеды, всех вырежем.

Понемногу кофейня наполнялась. Напитки спрашивались скуповато, гости, видимо, ожидали,— чем будут здесь удивлять. Слепые турки все тянули, тянули тоскливую волынку. Настроение падало. Тогда Ртищев, заманчиво сверкнув золотыми зубами, объявил по-французски:

— Шансон националь а ля рюс, национальная русская песня, исполнит любимец Петрограда, Семен Невзоров...

У Семена Ивановича сразу одеревенели руки и ноги, голос ушел в живот, в глазах поплыли лица посетителей. Но девушки начали хлопать в ладоши и визжать. Он вышел на середину, поклонился, феска съехала на лоб, так и осталась. Он отвел руку с окоченевшими пальцами и, как из бочки, проговорил:

— Национальная русская песня.

Откашлялся. Слова, которым его с утра учил Ртищев, заметались в мозгу. Диким голосом он запел:

Я пошла к дантисту
И к специалисту,
Чтобы он мне вставил зуб.
Трам па, трам па, трам па...
Дантист был очень смелай,
Он вставил зуб мне целай,
И взял за это руп...
Трам па, трам па...

Семен Иванович мельком увидел, как Ртищев поднял руки к тюрбану, словно хватаясь за голову. Все же он докончил куплет. Сел. Пьяный офицер проговорил спокойно:

— Расстрелять.

Семен Иванович и сам понимал, что провалился с куплетами. Надо было спасать положение. Ртищев, выглянув на улицу, сообщил с тревогой, что на той стороне, против кафе, «стоит фараон». Как стал проклятый турецкий городовой, так хоть бы пошевелился. Приходилось рисковать.

Неожиданно Ртищев отогнул занавеску, скрывавшую карточный стол, и появился перед почтеннейшей публикой с колодой карт в поднятой руке,—точь-в-точь как портрет его на двери.

— Фет во же, месьедам. Начинаем! Заметано!

Поднялись сутенеры, пьяный офицер, финансовый гений вместе с девчонками. Человек десять сели за стол. Занавеску опустили. Слепые турки продолжали надрывать душу. Семен Иванович, не предчувствуя добра, прибирал грязные рюмки. Слышались короткие восклицания игроков, щелканье карт и кабалистические приговаривания Ртищева:

— Делайте вашу игру. Заметано, ребятишки! Четыре сбоку—ваших нет! Есть такое дело!

В это время в кофейню спокойно вошел турецкий полицейский, отогнул занавеску и сказал сразу отпрянувшим от стола игрокам что-то гортанное. Первым мимо него ужом проскочил на улицу финансовый гений. В минуту кофейня опустела. Ртищев был накрыт с поличным.

Переговоры с полицейским оказались коротки и несложны. Он свирепо выкатил глаза, пальцем

чиркнул себя по шее и высунул язык,— Ртищев и Семен Иванович оробели. Тогда полицейский ухмыльнулся, показав желтые зубы, прищурил глаз и тем же пальцем показал себе на ладонь. Семену Ивановичу пришлось снять с груди заветный мешочек и отдать проклятому турку все сбережения.

Затем Семен Иванович и Ртищев сели к столу под лампой, подперлись и мрачно замолчали. Больной грек Синопли слабо икал за прилавком. Дело сорвано было в самом зародыше.

Ртищев предложил пойти утопиться в заливе Золотой Рог. Семен Иванович, глядя ему на стеклянное перо тюрбана, промолчал: отчего бы действительно и не утопиться. Мыслей в голове у Невзорова не было никаких. Не осталось даже робкой надежды, питавшей его все эти дни.

И вот, в эту минуту,— уничтоженный, брошенный судьбою на дно,— он ощутил странное состояние: показалось, что все это он уже видел однажды,— и стол, и смятую скатерть, и тень от своей головы на ней. Это безусловно было. Но где, когда?

В эту самую минуту через стол *бежал таракан*. Словно свет брызнул в памяти Семена Ивановича. Вспомнил! Это было в Одессе. По столу так же бежал таракан, и он еще подумал тогда: «Ишь ты, рысак»,— и сшиб его щелчком.

Но почему, почему в эту минуту вспомнилась такая пошлая мелочь, как пробежавший в Одессе таракан? Семен Иванович изо всей силы наморщился, пытаясь проникнуть в сущность появления тараканов в его жизни. (В тяжелые минуты он всегда прибегал к мистике.) Тогда второй таракан вылез из-под блюдечка и пустился вдогонку за первым. Ртищев проговорил мрачно:

— Второй перегонит, ставлю десять пиастров в ординаре.

Мгновенно и ослепительно открылась перед Семеном Ивановичем перспектива. Тяжело дыша, он встал, вонзил ногти Ртищеву в плечи:

— Нашел. Это будет — гвоздь. Завтра к нам повалит вся Галата.

— Ты с ума сошел?

— *Тараканьи бега*.— Семен Иванович схватил стакан и накрыл им обоих тараканов.— Этого оккупаци-

онные власти не предвидели. Это законно. Это ново. Это азартно.

Ртищев смотрел на него ошеломленный. Затем засопел, припал к Семену Ивановичу и стал целовать его в пылающий череп.

— Граф, ты гений. Граф, мы спасены. Сто тысяч турецких фунтов предложи отступного,— плюну в лицо! Ведь это же миллионное предприятие!..

Три дня и три ночи Семен Иванович и Ртищев в гостинице «Сладость Востока» ловили тараканов, осматривали, испытывали, сортировали.

Отборные, жирные, голенастые, с большими усами — были помечены белой краской, номерами на спинках. Их тренировали, то есть, проморив таракана голодом, брали деревянными щипчиками, ставили на стол. На другом конце стола рассыпались крошки сладкой булки. Голодный таракан бежал. Если он бежал не по прямой — его опять ставили на прежнее место. Затем натренированных тараканов пускали по десяти штук сразу от меловой черты.

Эти состязания оказались настолько азартными, что на третью ночь Ртищев проиграл Невзорову на таракане номер третий, названном Абдулка, новую визитку и котелок.

Визитку, впрочем, пришлось сейчас же продать для приобретения *беговой дорожки*, то есть особой доски, вроде настольного бильярда с бортами, номерами, с колокольчиками и ямками для крошек.

И вот в кофейной грека Синопли появилась над дверью, над портретами Невзорова и Ртищева, вывеска поперек тротуара:

БЕГА ДРЕССИРОВАННЫХ ТАРАКАНОВ

Народное русское развлечение

Весть об этом к вечеру облетела всю Галату. К дверям Синопли нельзя было протолкаться. Вход в кофейную стоил десять пиастров. Посмотреть на тараканьи бега явились даже ленивые красотки из окошек. Компания английских моряков занимала место у беговой дорожки. Ртищев, держа щипцы в одной руке и банку с тараканами в другой, прочел вступительное краткое слово о необычайном уме этих полезных насекомых и о том, как на масленице ни

одна русская изба не обходится без древнего русского развлечения — тараканьих бегов.

Все кафе аплодировало его речи. Ртищев шикарно взмахнул щипцами и выпустил первый заезд. Моряки покрыли его десятью фунтами. Ртищев не ошибся: тощий таракан, на которого вследствие его заморенного вида никто не ставил, пришел первым к старту — трехцветному русскому флагу. Невзоров, державший тотализатор, выдал пустяки. Англичане разгорячились и второй заезд покрыли двадцатью фунтами, кроме того фунтов пять покрыли сутенеры и хозяева публичных домов. Грек Синопли перестал икать.

В разгаре игры появился знакомый уже полицейский, но, увидев тараканов, растерялся. Ртищев коротким жестом предложил ему место у стола и стакан водки.

— Еще один заезд,— восклицал Ртищев,— самцы, двухлетки, не кормлены с прошлой недели, злы, как черти. Фаворит — номер третий, Абдулка.

С этого вечера кривая счастья Семена Ивановича круто повернула кверху.

Слух о тараканьих бегах поднялся из трущоб Галаты и облетел блестящую Пéру, и сонный Стамбул, и азиатские переулки Скутари. Работать приходилось почти круглые сутки. В гостинице «Сладость Востока» были выловлены все тараканы. Появились подражатели. Ртищев вывесил на дверях предупреждение, что «только здесь единственные, *патентованные* бега с уравнительным весом насекомых, или *гандикап*».

Семен Иванович относил ежедневно изрядные суммы в банк. И вот настал день, когда растревоженное воображение его устремилось к шумным холмам Пéру. Им снова овладела мечта об аристократическом салоне, о графинях и княгинях, сладострастно перебирающих ножками на скамеечках, о самом себе — малокровно-бледном, томном, играющем золотой цепочкой от часов на шелковом жилете фрака. Это видение будило его по ночам, сушило глаза, рвало сердце.

Он давно уже забросил феску и теперь приходил в кофейню в смокинге, галстучке-фокстрот, лимонных перчатках и фетровой шляпе с машинкой внутри,

придерживающей складку. Напудренный и молчаливый, он стоял, облокотясь о прилавок, и пустыми глазами смотрел на гостей, шумно и хамски теснившихся у тараканьей площадки. Однажды, перед отходом ко сну, рассматривая свои ноги в трикотажных шелковых кальсонах апельсинового цвета, он сказал Ртищеву:

— Дело в том, что моя мать была в незаконной связи с графом Гендриковым, акурат за год до моего рождения. Отец меня всегда ненавидел — не знаю почему. Игра судьбы.

Он вздохнул, лег в несоответствующую его вкусам постель и больше не прибавил ни слова. Наутро, в смокинге, с тросточкой, он пошел в Пе́ру, прогулялся мимо шикарных магазинов, купил две гаванских сигары, посидел под балдахином в большом кресле у чистильщика сапог, который только обмахнул его лакированные туфли, кое-кому поклонился, приложив палец к шапочке, и зашел позавтракать в самый шикарный ресторан, к Токатлиану.

— Салат, устрицы, бутылку шабли и сыр,— сквозь зубы сказал он метрдотелю.

Он вынул патентованный предмет — одновременно мундштук, зажигалка, зубочистка, карандашик, пилочка и прочее,— и стал чистить ногти. Он улыбался своим мыслям.

Давно ли это было: в Москве, в кафе у Бома, он показывал девочкам визитную карточку с графской короной? Или харьковские и киевские похождения под видом конта де Незор? Сколько глупостей наделано, сколько зря растрачено денег. Через эти ошибки и падения, мечту и бред — странная судьба, предсказанная цыганкой, вела его к действительной, единственной, подлинной жизни. Десять кож он переменил, объездился, обтерпелся, насобачился. И теперь, продолжая чистить ногти, хотя перед ним уже поставили и устрицы и вино, он чувствовал себя уверенно, как прирожденный европеец, представитель старой, прочной культуры.

«Предположим, я вышел из Мещанской улицы. Предположим, отец мой даже и не Гендриков, а просто Невзоров, державший некогда на Мещанской же улице мелочную лавку. Предположим, что в лесу со мной неприлично обошлись господа офицеры. А кто

одет по последней моде? Кто проглотил сейчас эту вот устрицу? Кто вскарабкался наверх по горе трупов? Кто бесполезное и пошлое насекомое, таракана, превратил в валюту? Я, один я. Позвольте представиться: Семен Невзоров, яркая личность, король жизни».

Семен Иванович проглотил, наконец, с легкой спазмой устрицу. В этот час у Токатлиана он испытывал прилив сатанинского тщеславия. Он был вознагражден за все труды и унижения. Жилистыми шагами он устремлялся вдоль чудесной перспективы, вперед к славе.

Он ясно видел последовательные этапы этого пути. Первое: он открывает в Пéру шикарный интимный ресторан с тараканьими бегами и отдельными кабинетами. Для особо избранных будет аристократический салон,— вход только во фраках. В салоне — изысканное кабаре из нестерпимо пикантных номеров. Второе: женитьба на миллионерше, скорее всего — вдове. Вилла на берегу моря, автомобиль, яхта. Третье: он везде и всюду. Он законодатель мод, он рычаг политики. Он председатель банковского объединения, он — злой гений биржи... Четвертое: он встает во главе священного движения. Первым делом он выгоняет из Европы всех русских, без разбору,— вон, крапивное семя! Искореняет революционеров безо всякого стеснения. Напускает террор на низшие классы. Вводит обязательное постановление: нравственные принципы жизни,— немного, правил десять. Но — сурово. Кто скажет слово «революция» — на телеграфный столб. Наконец Семен Иванович объявляет себя *императором.*

— Фу ты, черт! — даже пот выступил у Семена Ивановича на черепе.— Неужели и *это* возможно?.. А почему мне и не сделаться императором в конце концов?.. Наполеон тоже, говорят, был из мещан.— В голове у него звенело, в глазах прыгали золотые иглы. И будто внутри него проговорил оглушительный голос: *император Ибикус Первый!*

С гаванской сигарой в углу рта Семен Иванович вышел на Пéру, все еще самодовольно усмехаясь своим мыслям. В конце улицы он свернул на двор бывшего русского посольства, где теперь помещался какой-то не вручивший грамот присяжный поверенный.

На дворе перед посольством, вот уже третий месяц,

сидели на ступеньках, лежали в пыльной траве на высохших клумбах русские, в большинстве — женщины, те, кто уже проел последнее колечко, последнюю юбчонку. Здесь они дожидались субсидий или виз. Но субсидии не выдавались, по поводу виз шла сложная переписка. У невручившего грамот не было сумм, чтобы кормить всю эту ораву — душ двести пятьдесят, и души на дворе посольства худели, обнашивались, таяли, иные так и оставались ночевать на сухих клумбах у мраморного подъезда.

Семен Иванович прошелся по двору, чуть-чуть даже прихрамывая и опираясь на тросточку. Нужно было, конечно, много вкуса и воображения, чтобы среди этих унылых женских фигур найти жемчужины его будущего «аристократического салона». Он с трудом узнал несколько знакомых по пароходу,— так эти женщины изменились. Вот девушка, та, которую он тогда прозвал: «котик, чудная мордашка», сидит, опершись локтями о худые колени, личико — детское, очаровательное, но даже какие-то пыльные тени на лице. А ножка,— если ее вымыть да обуть как следует,— *бижутери*...

Семен Иванович трепетнул ноздрями. «Эта будет первая, назовем ее княжна Тараканова». Он присел рядом с девушкой на ступеньку и разговор начал издалека, отечески добродушно. ....

....

Много ли улетело времени с тех пор, когда Семен Иванович Невзоров сидел за кофейником у окна своей комнаты на Мещанской улице? Дзынь — пулька пробила стекло, и засвистал непогодливый ветер: «Надую, надую тебе пустоту, выдую тебя из жилища». Семен Иванович, гонимый тем ветром, закрутился, как сухой лист. И вот он уже перелетел за море, он — в Европе. Богат и знаменит. Перед ним развертывается роскошная перспектива. Предсказания старой цыганки с Петербургской стороны сбылись. Повесть как будто окончена...

Разумеется, было бы лучше для повести уморить Семена Ивановича, например, гнилой устрицей или толкнуть его под автомобиль. Но ведь Семен Иванович — бессмертный. Автор и так и этак старался,— нет, Семена Ивановича не так-то просто стереть с листов

повести. Он сам — Ибикус. Жилистый, двужильный, с мертвой косточкой, он непременно выцарапается из беды, и — садись, пиши его новые похождения.

В ресторане у Токатлиана Семен Иванович сам, на этот раз без помощи цыганки, рассказал свою дальнейшую судьбу. Заявил, что он — король жизни. Так-то оно так, но посмотрим. Я нисколько не сомневаюсь в словах Семена Ивановича. Я даже знаю, что аристократический салон — со скамеечками и ножками, с ужасно пикантными номерами — он открыл. На вывеске в темные ночи горела поперек тротуара заманчивая надпись: «Салон-ресторан с аттракционами — *Ибикус*». Семен Иванович нажил большие деньги и женился...

Честность, стоящая за моим писательским креслом, останавливает разбежавшуюся руку: «Товарищ, здесь ты начинаешь врать, остановись,— поживем, увидим. Поставь точку...»



ДРЕВНИЙ ПУТЬ

Темной весенней ночью по отвесному трапу на бак океанского парохода поднялся высокий человек в военном плаще. Поль Торен поднимался медленно, со ступеньки на ступеньку — с трудом. От света мачтового фонаря поблескивали на его кепи три золотых галуна. Он обогнул облепленную илом якорную цепь и остановился на самом носу,— облокотился о перильца и так застыл, не шевелясь. Лишь край его плаща отдувался встречным слабым движением воздуха.

На пароходе светили только отличительные огни — зеленый и красный — да два топовых на мачтах терялись вверху, в незаметной пелене тумана. Задернутыми были и звезды. Ночь темна. Внизу, на большой глубине, железный нос с тихим плеском разрезал воду.

Прислонившись к перилам, Поль Торен глядел на воду. Лихорадка жгла глаза. Ветерок проходил сквозь все тело — и это было не плохо. О каюте, горячей койке, о заснувшей под колючей лампочкой сестре милосердия — болезненно было подумать: белая косынка, кровавый крест на халате, пергаментное лицо унылого спутника страдающих. Она провожала Поля Торена на родину, во Францию. Когда она задремала, он потихоньку вышел из каюты.

В черной, как базальт, воде проплыло светящееся животное — какой-то длинный розоватый крючок с головой морского конька. Лениво шевеля плавниками, оно с юмором поглядывало на надвигающееся днище корабля, покуда встречные струи не увлекли его в сторону. Вода была прохладна, глубина блаженна... Пусть сестра с кровавым крестом сердится... Бытие,— Поль чувствовал это с печальным волнени-

ем,— скоро окончится для него, как тропинка, обрывающаяся в ночную пропасть, и оттого неизмеримо важнее микстур, койки, безвкусной еды была эта ночная тишина, где плыли величественные воспоминания.

Путь, которым шел пароход, был древней дорогой человечества из дубовых аттических рощ в темные гиперборейские страны. Его назвали Геллеспонтом в память несчастной Геллы, упавшей в море с золотого барана, на котором она вместе с братом бежала от гнева мачехи на восток. Несомненно, о мачехе и баране выдумали пелазги—пастухи, бродившие со стадами по ущельям Арголиды. Со скалистых побережий они глядели на море и видели паруса и корабли странных очертаний. В них плыли низенькие, жирные, большеносые люди. Они везли медное оружие, золотые украшения и ткани, пестрые, как цветы. Их обитые медью корабли бросали якорь у девственных берегов, и тогда к морю спускались со стадами пелазги, рослые, с белой кожей и голубыми глазами. Их деды еще помнили ледниковые равнины, бег оленей лунной ночью и пещеры, украшенные изображениями мамонтов.

Пелазги обменивали на металлическое оружие животных, шерсть, сыр, вяленую рыбу. Они дивились на высокие корабли, украшенные на носу и корме медными гребнями. Из какой земли плыли эти низенькие носатые купцы? Быть может, знали тогда, да забыли. Спустя много веков ходило предание, будто бы видели пастухи, как мимо берегов Эллады проносились гонимые огненной бурей корабли с истерзанными парусами, и пловцы в них поднимали руки в отчаянии, и будто бы в те времена страна меди и золота погибла.

Правда ли это было? Должно быть, что так: память человеческая не лжет. Передавали в песнях, что с тех пор стали появляться в пустынной Элладе герои, закованные в медь. Мечом и ужасом они порабощали пелазгов; называя себя князьями, заставляли строить крепости и стены из циклопических камней. Они учили земледелию, торговле и войне. Они сеяли драконовы зубы, и из них рождались воины. Они внесли дух тревоги и жадности в сердца голубоглазых.

Над Элладой поднималась розовоперстая заря истории. Медный меч и золотой треножник, где дымилось дурманящее курево, стояли у колыбели европейских народов.

Потомок пелазгов, Поль Торен, на тех же берегах Средиземного моря был пронзен пулей в верхушку легкого, отравлен газом, брошенным с воздушного корабля, и, умирая от туберкулеза и малярии, возвращался из пылающей Гипербореи в Париж тою же древней дорогой купцов и завоевателей — дорогой, соединяющей два мира — Запад и Восток,— дорогой, текущей между берегов, где под холмами лежат черепки исчезнувших царств,— дорогой, где глубоко на дне дремлют среди водорослей ладьи ахейцев, триремы Митридата, пышные корабли Византии, а на отмелях у глинистых обрывов валяются заржавленные днища подорванных и выбросившихся пароходов.

Казалось,— это казалось Полю,— он завершает сейчас круговорот тысячелетий. Его ум, растревоженный лихорадкой и ощущением своей близкой смерти, силился охватить всю борьбу, расцвет и гибель множества народов, прошедших по этому пути. Воспоминания вставали перед ним, как ожившее бытие. Через несколько дней, быть может, погаснет его мозг, вместе с ним погибнет то, что он нес в себе,— погибнет мир. Какое ему дело — будет ли мир существовать, когда не будет Поля Торена? Мир погибнет в его сознании — это все. Прислонясь к перилам, покрытым росой, глядя в темноту, он заканчивал круговорот.

Прозвенели склянки. Сменялась вахта. Наверху, над капитанским мостиком, стояла бессонная фигура рулевого. Освещалось только его широкое лицо, склоненное над колонкой, где трепетала душа корабля — черная стрелка компаса. Темнота ночи густела. Воды внизу не было уже видно. Теперь казалось, что корабль летит в бесплотном пространстве. Это был предутренний мрак.

Лицо и руки Поля покрылись росой. Он содрогнулся. Сколько рук человеческих, раскинутых по земле с последней судорогой смерти, в эту ночь,— во все эти ночи,— будут покрыты такой же росой... Каждый, вонзая зубы в землю, смешанную с кровью, железом и

калом, унесет с собой тысячелетия отжитого, в каждом простреленном черепе с унылым грохотом рухнут и исчезнут тысячелетия культуры. Какая нелепость! Какое отчаяние! Если бы голубоглазому пращуру показать книгу жизни, перелистать все страницы грядущего, все цветные картинки: «Это просто глупая и жестокая книжка,— сказал бы веселый пращур, почесываясь под бараньей шкурой.— Здесь какая-то ошибка: смотрите, сколько хорошего труда затрачено, сколько развелось народу, сколько построено отличных городов; а на последней картинке все это горит с четырех концов и трупов столько, что можно неделю кормить рыбу в Эгейском море...»

«Где-то ошибка, где-то допущен неверный ход в шахматной партии,— думал Поль Торен,— история свернула к пропасти. Какой прекрасный мир погибает!»

Он закрыл глаза и с отчаянной жалостью вспомнил Париж, свое окно, голубоватое утро, голубые тени города, аллею бульвара и полукруглые крыши, теряющиеся в дымке, непросохшие капли дождя на подоконнике, внизу понукание извозчика, везущего тележку с морковью, веселые голоса тех, кто счастливы тем, что живут в такое прекрасное утро. Вспомнил свой стол с книгами и рукописями, пахнущими утренней свежестью, и свой опьяняющий подъем счастья и доброты ко всему... Какую превосходную книгу он писал тогда о справедливости, добре и счастье! Он был молод, здоров, богат. Ему хотелось всем обещать молодость, здоровье, богатство. И тогда казалось — только идеи добросердечия, новый общественный договор, обогащенный завоеваниями физики, химии, техники, протянет эти дары всему человечеству.

Какой сентиментальный вздор! Это было весной, накануне войны. Сгоряча и вправду показалось, что немцы — черти, дети дьявола, идущего приступом на божественные твердыни гуманизма. Сгоряча показалось, что над Францией развернуто старое знамя Конвента и за права человека, за свободу, равенство и братство гибнут скошенные пулеметами французские батальоны.

Как хотелось Полю снова поверить в то утро, когда

он от избытка счастья открыл окно на туманный Париж! Но если это счастье растоптано солдатскими сапогами, разорвано снарядами, залито нарывным газом, то что же остается? Зачем были Эллада, Рим, Ренессанс, весь железный грохот девятнадцатого века? Или удел всему — холм из черепков, поросший колючей травкой пустыни? Нет, нет,— где-нибудь должна быть правда. Не хочу, не хочу умереть в такую безнадежную ночь!

....

— Мосье, вы опять вышли на воздух. Мосье, вам будет хуже,— проговорил за спиной заспанный голос сестры.

Поль вернулся в каюту, лег не раздеваясь. Сестра заставила его принять лекарство, принесла горячего питья. В глубине мягко постукивала машина. Позвякивали пузырьки с микстурами. Пожалуй, это было даже приятно, точно какая-то надежда на спасение,— теплый свет абажура, мягкая койка, куда, как в облако, ушло его костлявое тело, горящее в лихорадке. Поль задремал, но, должно быть, на минуту. И снова горячечной вереницей поползли мысли. Бессонница сторожила его: нельзя спать, осталось немного часов, слишком драгоценно то, что проходит в его мозгу...

Одно из воспоминаний задержалось дольше других. Поль беспокойно заворочался, всунул холодные пальцы в пальцы, хрустнул ими. Два месяца назад, в Одессе, он получил знакомый длинный конверт. Писала Люси, кузина, его невеста:

«Дорогой и далекий друг, мне бесконечно одиноко, бесконечно грустно. От вас нет вестей. Вы пишете матери и брату, но никогда — мне. Я знаю ваше угнетенное состояние и потому еще раз пытаюсь писать. Тяжело вам, тяжело мне. Четыре года разлуки — четыре вечности пролетели над моей бедной жизнью. Только мысль о вас, надежда, что, быть может, вам еще будут нужны остатки моей молодости, моего истерзанного сердца и вся моя огромная любовь,— заставляют меня жить, двигаться, делать все то же, все то же: лазарет, ночи около умирающих, вязание солдатских напульсников, чтение по утрам

списков убитых... Франция — сплошное, великое кладбище, где погребено целое поколение молодости, разбитых сердец, несбывшихся ожиданий... Мы, живые,— плакальщицы, монахини, провожающие мертвых. Париж становится чужим. Поль, вы помните, как мы любили старые камни города, они рассказывали нам величественную историю? Камни Парижа замолчали, их попирают какие-то новые, чужие люди... И только старики у каминов еще воинственно размахивают руками, рассказывая о былой славе Франции... Но мы их плохо понимаем...»

В воспоминании оборвался текст письма, тысячу раз прочитанного Полем. Но он так и не ответил Люси. Не мог. О чем бы он написал девушке, все еще пытающейся отдать ему свою печальную любовь? Что бы он стал делать с этой любовью? Что бы стал делать труп, которому в скрюченные руки всунули букет роз? Но почему-то его преследовала память о жалко, как у ребенка, дрожащих губах глупенькой Люси. Год тому назад он был в Париже (на один день) и тогда же, муча себя и ее, обидел Люси. Он сказал: «Вы видели когда-нибудь, как с лестницы парижской биржи спускается буржуа, потерявший в одну минуту все состояние? Предложите ему букетик фиалок в виде *компенсации*... Вот!.. Ужасно, Люси. Я разорен, мне остается вернуться к погасшему костру в палеолитическую пещеру и отыскать среди хлама мой добрый каменный топор...» Тогда-то и задрожали еще невинные губы Люси... Но жалеть ее — вздор, вздор... Жалость — все тот же вздор из той же неоконченной книги, которую писало слепое счастье, а перелистывал весенний ветер... И жалость выжжена военным газом...

Под утро Поль снова ненадолго задремал. Разбудил его хриплый рев парохода. Нервы натянулись. В иллюминатор бил столб света, и отвратительными в нем казались желтые складки на лице сестры. Она взяла плед и повела Поля на палубу, усадила в шезлонг, прикрыла ему ноги.

Ревя всею глоткой, пароход выходил из Дарданелл в Эгейское море. На низких глиняных берегах виднелись обгоревшие остатки казарм и взорванных укреплений. На отмели лежал с утопленной кормой заржавленный пароход. Война была прервана на время — си-

лы, ее вызвавшие, перестраивались, народам дано разрешение ликовать и веселиться. Чего же лучше!.. Утро было влажно-теплое. Пароход, немного завалившись на левый борт (реквизированный у немцев и перевозивший войска, беженцев и портящиеся грузы, пароход южноамериканской линии «Карковадо» в шесть тысяч тонн), все дальше уходил от земли в лазоревую пустыню. За его кормой косматое солнце все выше взбиралось на ужасную высоту безоблачного неба. Впереди вылетела колесом из солнечной воды черно-блестящая, с ножом плавника, спина дельфина. «Мама, мама, дельфин!» — по-русски закричал белокурый ребенок, стоя у борта и указывая худенькой ручкой на море. Перед кораблем резвилось стадо дельфинов. И стало понятно, что именно в такое утро в Эгейском зеркальном море под пляску дельфинов из белой пены поднялась, раскрывая светлые глаза, краса жизни — Афродита. «Ну что же, попробуем ликовать и веселиться»,— подумал Поль.

Белокурый ребенок висел на перилах, наслаждаясь водяными играми спутников Афродиты; его поддерживала мать в пуховом грязном платочке на плечах, в стоптанных башмаках. На ее исплаканном лице застыл ужас пожаров России. В руке, давно не мытой, она сжимала морской сухарик. Какое ей было дело до того, что в солнечном мареве прищуренные глаза Поля как будто увидели тень «Арго», крутобокого, с косым парусом, сверкающего медью щитов и брызгами весел дивного корабля аргонавтов — морских разбойников, искателей золота... Он пронесся по тому же древнему пути из ограбленной Колхиды...

По широкой палубе прошла пожилая женщина в поддельных соболях поверх капота, сшитого из кретоновой занавески. Лицом и движениями она напоминала жабу. За ней бежали две чрезвычайно воспитанные болонки с розовыми бантами. Эта ехала тоже из Одессы, везла в третьем классе четырех проституток, обманув их золотыми горами: «Доберитесь, цыпочки, только до Марселя». Вот она заспешила, нагнула голову к плечу и показала фальшивые челюсти, приветствуя знакомца — высокого, дрянно одетого мужчину с глупым лицом и закрученными усами. Этот сел в Константинополе, говорил по-польски, гордо

разгуливал, куря длинную трубку, по которой текла слюна, и стремился найти аристократических партнеров, чтобы засесть в картишки. Проходя мимо Поля, он затрепетал ляжками из почтительности.

«Перед гибелью дома изо всех щелей выползают клопы»,— подумал Поль. Пароход поворачивал на юго-запад. Направо из-за моря поднимались острые лиловые вершины. Над ними клубились тучи. Грядою гигантских гор поднимался остров. Кругом — зеркальное море, пронизанная солнцем лазурь, а вдали гребнистый остров весь был покрыт мраком. Грозовые тучи висели над ним, опускалась пелена дождя, и — как будто там и вправду был трон Зевса — разорванной нитью по тучам блеснула молния... До парохода долетел вздох грома.

— Это Имброс, курьезный островок, над ним всегда грозы,— проговорил за спиной Поля небритый черномаз в феске. Он еще вчера в порту предлагал Полю разменять любые деньги на любые или устроить знакомство с жабой, везущей четырех девочек, и советовал, между прочим, не садиться играть с усатым поляком в карты.

Поль закрыл глаза, чтобы костлявое лицо в феске не заслонило видения славы бога богов — Зевса. С левого борта приближался низкий берег Малой Азии, где каждый холм, каждый камень воспет гекзаметром,— земля героев, Троада. За прибрежной полосой песка расстилалась бурая равнина, изрезанная руслами высохших потоков. Вдали, на востоке, облачной грядой стояли вершины Иды, кое-где еще покрытые жилами снега.

Поль встал с шезлонга, подошел к борту. На этой равнине шумели некогда поля пшеницы и маиса, благоухали сады, бесчисленные стада спускались с Фригийских гор. Вот — кремнистое устье Скамандра: желтый ручей уходит полосой далеко в море. Налево — курганы, могилы Гектора и Патрокла. Здесь были вытащены на песок черные корабли ахейцев, а там — на выжженной равнине, где изрыта земля и курится дымок бедной хижины,— поднимались циклопические стены Трои с нависшими карнизами, квадратными башнями и золотой многогрудой статуей Афродиты азиатской.

С незапамятных времен эолийские греки плыли к берегам Троады, селились там и занимались земледелием и скотоводством. Но скоро сообразили, что место хорошо, и стали строить крепость Трою у ворот Геллеспонта, чтобы захватить путь на восток. И Троя стала сильным и богатым царством. В торговые дни на базар — перед высокими стенами города — ехали скрипучие арбы с хлебом и плодами; вероломные славяне с границ Фракии вели бешеных коней, знаменитых быстротой бега; приезжали на богатых колесницах хетты из Богазкея с товарами, сделанными по лучшим египетским образцам; фригийцы и лидийцы в кожаных колпаках гнали стада круторунных баранов; финикийские купцы с накладными бородами, в синих войлочных одеждах подгоняли бичами черных рабов с тюками и глиняными амфорами; почтенные морские разбойники, вооруженные обоюдоострыми секирами, приводили красивых рабынь и соблазнительных мальчиков; жрецы раскидывали палатки и ставили алтари, выкрикивая имена богов, грозясь и зазывая приносить жертвы. Со стен на суету базара глядели воины, охранявшие ворота. В городе были собраны неисчислимые сокровища, и слух о них шел далеко.

Эллада в те времена была бедна. Давно миновали пышные времена Микен, Тиринфа и Фив, построенных героями. Циклопические стены поросли травой. Земля неплодная; население редкое — пастухи, рыбаки да голодные воины. Цари Ахей, Арголиды, Спарты жили в мазанках под соломенными крышами. Торговать было нечем. Грабить у себя нечего. Торговля шла мимо Эллады. Оставались — легендарная слава прошлого, кипучая кровь, кидающаяся в голову, и необыкновенная предприимчивость. Цель была ясна: ограбить и разбить Трою, овладеть Геллеспонтом и повернуть купеческие корабли в гавани Эллады. Стали искать предлога к войне, а найти его, как известно, нет ничего проще. Впутали Прекрасную Елену. Подняли крик по всему полуострову. Позвали Ахиллеса из Фессалии, налгав, что отдадут половину добычи. Спросили Додонского оракула и поплыли на черных кораблях, чтобы начать медными звуками гекзаметра трехтысячелетнюю историю европейской цивилизации...

С тех пор и поныне не нашлось, видимо, иного средства поправлять свои дела — кроме меча, грабежа и лукавства. Герои Троянской войны были по крайней мере великолепны в гривастых шлемах, с могучими ляжками и бычьими сердцами, не разъеденными идеями торжества добра над злом. Они не писали у открытого окна книг о гуманизме.

Пароход повернул к западу, низкий берег стал отдаляться. Поль снова сел в шезлонг. «Суррогат,— подумал он и повторил это слово,— ложь, которой больше не хотят верить... Гибель, гибель неотвратима... Историю нужно начинать сызнова... Или...»

Он усмехнулся, слабо пожал плечом,— это «или» давно уже навязывалось в минуты раздумий. Но за «или» следовало противоестественное: мир выворачивался наизнанку, как шкура, содранная со зверя.

На палубе появилась кучка русских эмигрантов. Один, молодой, с наглыми, страшными глазами, дергаясь и почесываясь, следил за игрой дельфинов.

— Попаду. Пари — хочешь? — спросил он хриповатым баском и потащил из кармана ржавый наган.

Другой, бледный, с раздвоенной бородкой, остановил его руку:

— Брось. Здесь тебе не Россия. И вообще, брат, брось шпалер в море.

— Эгэ, брось... Сто двадцать душ отправлено им к чертовой матери... Его в музей надо...

Двое захохотали невесело, третий зашипел:

— Не орите... Капитан, кажется, задремал...

Русские офицеры оглянулись на Поля и на цыпочках отошли подальше. Солнце легло на палубу, на лицо,— Поль задремал. Сквозь веки спящие глаза его видели красноватый свет... Как странно, куда же девалось море?.. (Так подумалось.) Как жалко, как жалко... (И он увидел...) Унылая осенняя равнина, телеграфные столбы, оборванные проволоки... Налетает зябкий ветерок... А лицу жарко... Внизу под горкой горят крытые соломой хаты — без дыму, беззвучно, как свечи. Беззвучно стреляет батарея по деревне,— ослепительные вспышки из жерл. Мрачны

лица у артиллеристов... Это все свои — парижане... Дерутся за права человека... «О, черт!» (Поль слышит, как скрипят его зубы...) «Вы должны исполнить свой долг!» — кричит он солдатам и чувствует, как лошадь под ним прогибается, спина ее — будто сломанная, без костей... И тут же, на батарее, между людьми вертится этот — с наглыми, страшными глазами, с наганом... Невыносимо лебезит, все чешется, похохатывает... И вдруг руками начинает быстро, быстро рыть землю — по-собачьи. Вытаскивает из земли, встряхивает двоих в матросских бескозырках, подводит под морду прогнувшейся лошади: «Господин капитан, вот — большевики...» У них — широкие лица, странной усмешкой открыты зубы, а глаза... Ах, глаза их таинственно закрыты... «Ты застрелил их, негодяй!» — кричит Поль наглому вертуну и силится ударить его стеком, но рука будто ватная... Неистово бьется сердце... Если бы только матросы открыли глаза, он впился бы в них, разгадал, понял...

Поля разбудил обеденный звонок. И снова сияло молочно-голубое море. Вдали проходили гористые острова. Изодранный за войну ржавый «Карковадо» плыл, как по небесам, накренившись на левый борт, по этой зеркальной бездне. Солнце клонилось к закату. Редко из-за края воды и неба поднимался дымок. Под вечер лихорадка отпускала Поля и слабость наваливалась на него стопудовым тюфяком. Холодели руки, ноги. Это было почти блаженно.

....

Ранним утром «Карковадо» бросил якорь у Салоник в грязно-желтые воды залива. Город, видный как на ладони между бурыми и меловыми холмами, был сожжен. Развалины древних стен четырехугольником ограничивали унылое пожарище, где иглами поднимались белые минареты. Жарко пекло солнце. Меловые холмы, казалось, были истоптаны до камня подошвами племен, прошедших здесь в поисках счастья. От набережной отделилась барка с солдатами. Маленький буксирчик, пыхтя в солнечной тишине, подвел к «Карковадо» барку. Со скрипом опустили трап. И попарно побежали наверх зуавы в травяного цвета френчах, красных штанах, красных туфлях. Смеясь и кидая мешки и фляжки, они легли на теневой стороне

верхней палубы. Запахло потом, пылью, пополз табачный дым. Зуавам было на черта наплевать: их пытались было перебросить в Россию, на одесский фронт. В Салониках они заявили: «Домой!» — и выбрали батальонный совет солдатских депутатов. Тогда сочли за лучшее отправить их по домам. «Вот это — дело! — ржали зуавы, катаясь от избытка сил по палубе.— К черту войну! Домой, к бабам!..»

До полудня грузили уголь. Сгибаясь под тяжестью корзин, поднимались по зыбкому трапу оборванцы, головы их были обвязаны тряпками,— греки, турки, левантинцы,— все они были одинаково черны от угольной пыли, каплями ваксы капал пот с их аттических носов. Пустые корзинки летели вниз, в барку. С мостика ругался в рупор помощник капитана. Лениво висели пассажиры на бортах. Наконец «Карковадо» заревел, запенилась грязная вода за кормой, зуавы замахали фесками берегу. И — снова лазурь, древняя тишина.

Вдали, справа, проплыл Олимп снеговой шапкой с лиловыми жилками. Зевс был милостив сегодня — ни одно облачко не затеняло сверкающей вершины. Вот и Олимп ушел за море. Зуавы храпели в тени под висящими лодками. Иные играли в кости, выбрасывая их из кожаного стаканчика на палубу. Один, широкоплечий, с бровями и ресницами светлее загара, посадил на колени маленького русского мальчика и нежно, лапой гладя его волосы, расспрашивал на незнакомом и дивном языке о существенных событиях жизни. Мать издали с тревогой и радостной улыбкой следила за первым успехом сына среди европейцев... Нет, нет, ни один из этих людей не хотел вместе с Полем лезть в могилу, кончать историю человечества.

Близко теперь — то с правого, то с левого борта проплывали острова высокими караваями, с каменистыми проплешинами, покрытые низкорослым леском. Море у их подножия было зеленое, они зеркально отражались в нем, и там не было дна — опрокинутое небо. У одного островка прошли так близко, что были видны черноголовые дети, копошившиеся у порога хижины, сложенной из камней и прислоненной к обрыву. Женщина, работавшая на винограднике, заслонилась рукой — глядела на пароход. Полосы

виноградников занимали весь склон. С незапамятных времен здесь кирками долбили шифер, чтобы из каменной пыли, впитавшей свет и росу, поднималась на закрученной лозе золотистая гроздь — сок солнца. Вершина горы была гола. Бродили рыжие козы, и стоял человек, опираясь на палку. На нем была войлочная шляпа, какую рисовали кирпично-красным на черных вазах гомеровские греки. И пастух, и женщина в полосатой юбке, и дети, играющие со щенком, и беловолосый старик внизу в лодке проводили равнодушными взглядами истерзанный войною пароход, где постукивал зубами от лихорадки и озноба смертных мыслей Поль Торен, лежа под пледом в шезлонге.

Когда раздался звук трубы — тра-та-татаам,— зуавы горохом посыпались с палубы на корму. Там у открытого дощатого камбуза высокий негр в белом колпаке черпал из дымящихся котлов, разливал суп в солдатские котелки. «Полней, горячей!» — кричали зуавы, смеясь и толкаясь. Вонзали зубы в хлеб, со звериным вкусом хлебали бобовую похлебку, запрокинув голову, лили красной струей в рот вино из манерок. Еще бы: в такой горячий, лазурный день можно съесть гору хлеба, море похлебки! За камбузом, привязанный к стреле подъемного крана, стоял рыжий старый бык, взятый в Солониках. Он мрачно озирался на веселых солдат. «Съедят,— очевидно, думалось ему,— завтра непременно съедят...» Зуав с пушком на губе, с длинными глазами, взмахнув манеркой, закричал ему: «Не робей, старина, завтра принесем тебя в жертву Зевсу!..»

На солдатский обед смотрело с верхней палубы семейство сахарозаводчика, бежавшее из Киева. Здесь были сам сахарозаводчик, похожий на лысого краба в визитке; его сын, лирический поэт с книжечкой в руке; мама в корсете до колен и в собольем меху, из которого торчал седоватый кукиш прически; модно одетая невестка, боящаяся грубостей; трое детей и нянька с грудным ребенком. Папа-краб негромко хрипел, не вынимая изо рта сигары:

— Мне эти солдаты мало нравятся, я не вижу ни одного офицера, у них мало надежный вид.

— Это какие-то грубияны,— говорила мама,— они уже косились на наши сундуки.

Сын-поэт глядел на полоску пустынного берега Эвбеи. «Хорошо бы там поселиться с женой и детьми, не видеть окружающего, ходить в греческом хитоне»,— так, должно быть, думал этот богатый молодой человек с унылым носом.

Зуавы внизу отпускали шуточки:

— Смотри, вон тот, пузатый, наверху, с сигарой...

— Эй, дядя-краб, брось-ка нам табачку...

— Да скажи невестке, чтоб сошла вниз, мы с ней пошутим...

— Он сердится... О, ля-ля! Дядя-краб, ничего, потерпи — в Париже тебе будет неплохо.

— Мы напишем большевикам, чтобы вернули тебе заводы...

Шумом, хохотом, возней зуавы наполнили весь этот день. Горячая палуба трещала от их беготни. Им до всего было дело, всюду совали нос — будто взяли «Карковадо» на абордаж вместе с пассажирами первого класса. Папа-краб ходил жаловаться капитану, тот только развел руками: «Жалуйтесь на них в Марселе, если угодно...» Дама с собачками, сильно обеспокоенная за участь своих четырех девушек, заперла их на ключ в каюте кочегара. Русские офицеры не показывались больше на палубе. Поляк, возмущенный хамским засилием, тщетно искал приличных партнеров. Выполз из трюма русский общественный деятель, англофил — в пенсне, с растрепанной бородой, где засела солома,— и стал наводить панику, доказывая, что среди зуавов — переодетые агенты Чека и не миновать погрома интеллигенции на «Карковадо».

Ночью огибали Пелопоннес — суровую, каменистую Спарту. Над темным зеркалом моря сияли крупные созвездия, как в сказке об Одиссее. Сухим запахом полыни тянуло с земли. Поль Торен припоминал имена богов, героев и событий, глядя на звезды, на их бездонные отражения. Снова ночь без сна. Он измучился дневной суетой. Но странное изменение произошло в нем. Глаза поминутно застилало слезами. Какое величие миров! Как мала, быстролетна жизнь! Как сложны, многокровны ее законы! Как он жалел свое сердце — больной комочек, отбивающий секунды в этой блистающей звездами вселенной! Зачем вернулось желание жить? Он уже примирился, уходил в

ничто печально и важно, как развенчанный король. И вдруг — отчаянное сожаление... Зачем? Какие чары заставили снова потянуться к солнечному вину? Зачем это нагромождение мучений?.. Он старался сызнова восстановить ткань недавних мыслей о гибели цивилизации, о порочном круге человечества, о том, что, уходя, он уносит с собой мир, существующий постольку, поскольку его мыслит и одухотворяет он, Поль Торен... Но ткань порвалась, лохмотья исчезали, как туман. А в памяти перекликались веселые голоса зуавов, стучали их варварские шаги. Вспомнил пастуха на вершине острова, женщину, срезающую виноград, черных грузчиков, с хохотом швыряющих вниз угольные корзинки...

«Так будь же смелым, Поль Торен! Тебе терять нечего. Есть твоя культура, твоя правда, то, на чем ты вырос, то, из-за чего считаешь всякий свой поступок разумным и необходимым... А есть жизнь миллионов. Ты слышал топот их ног по кораблю?.. И жизнь их не совпадает с твоей правдой. Они, как те синеглазые пелазги, смотрят с дикого берега на твой гибнущий корабль с изодранными парусами. Взывай с поднятыми руками к своим богам. В ответ с неба только огонь и грохот артиллерийской канонады...»

. . . .

Эту ночь Поль провел на палубе. Утренняя заря разлилась коралловым, розовым сиянием, теплый и влажный ветер заполоскал солдатское белье на вантах, замычал рыжий бык, и из воды, как чудо, поднялся шар солнца. Ветер затих. Пробили склянки. Раздались хрипловатые голоса просыпающихся. Начался жаркий день. Зуавы босиком, подтягивая штаны, побежали мыться, с диким воем обливали друг друга из брандспойта. Задымился дощатый камбуз. Высокий негр в белом колпаке скалил зубы.

Сквозь пелену бессонницы Поль Торен увидел, как за кормой парохода потянулся густой кровавый след, окрашивая пену. Это в жертву Зевсу был принесен бык. Он лежал на боку с раздутым животом, из перерезанного горла текла кровь по желобу в море. Туда же бросили его синие внутренности. Ободранную тушу вздернули на мачте. Размахивая огромной ложкой, негр держал зуавам речь о том, что на реке Замбези — его родине — еду называют кус-кус, и что

эта туша — великий кус-кус, и хорошо, когда у человека много кус-куса, и плохо, когда нет кус-куса!..

— Браво, шоколад!.. Свари нам великий кус-кус! — топая от удовольствия, кричали зуавы.

Пылало солнце. Через море лежал сверкающий путь. Воздушные волны зноя колебались на юге. Казалось — там, у берегов Африки, бродят миражи. В полдень из раскаленного нутра парохода послышался короткий, пронзительный женский крик. Затем засмеялось несколько мужских голосов. Жаба с собачками, выкатив глаза, перекосившись, пробежала по палубе, за ней — собачки с бантами. Оказывается, зуавы пронюхали, где сидят четыре девчонки, и пытались сломать дверь в кочегарке. Были приняты какие-то меры. Все успокоилось. Первый класс казался вымершим. Зуавы лежали в одних тельниках на раскаленной палубе. Поль Торен мучительно хотел согреться, но солнце не прожигало озноба, постукивали зубы, красноватый свет заливал глаза.

— Плохо, старина? — спросил за спиной чей-то голос, негромкий, суровый.

Не удивляясь, не оборачиваясь, Поль пошевелил ссохшимися губами:

— Да, плохо.

— А зачем заваривали кашу? А зачем варите эту кашу? Теперь понимаешь — что такое ваша цивилизация? Смерть...

Ледяной холодок пробегал по сухой коже, гудело в ушах, как будто гудели маховые колеса. Полю показалось, что от его шезлонга кто-то отошел... Быть может, почудилось, потому что хотелось услышать звук человеческих шагов. Но нет, он даже чувствовал запах солдатского сукна того человека, кто сказал ему дерзкие слова... Значит — правда, что на пароходе агенты Чека... Жаль, что прервался разговор...

И сейчас же на глаза Поля спустилась зыбкая картина воспоминаний. Он увидел...

...Глиняные стены жаркой хаты, большая белая печь с нарисованными на углах птицами и цветками. На земляном полу лежит на боку человек в коротком полушубке, руки завязаны за спиной. В кудрявых волосах запеклась кровь. Лицо, бледное от ненависти и страдания, обращено к Полю. Он говорит по-французски с грубоватым акцентом:

— Откуда приехал, туда и уезжай... Здесь не

Африка; мы хоть и дикие, да не дикари... Свободу свою не продадим. До последнего человека будем драться... Слышишь ты — России колонией не бывать! Врешь, брат, под твоими красивыми словами — плантатор.

— Какой вздор! — Поль страшно искренен.— Какой вздор! Мы не о колониях думаем. Мы спасаем величайшие ценности. Однажды было нашествие гуннов, мы их разбили на Рейне. Теперь разобьем их на Днепре.

Лежащий нагло усмехнулся:

— Ты что же — из идеалистов?

— Молчать! — Поль стучит перстнем по дощатому столу.— Говорить вежливо с офицером французской армии!

— Чего мне молчать, все равно расстреляешь,— говорит связанный человек.— И напрасно... Ох, пожалеешь... Лучше развяжи мне руки, я уйду. А ты уезжай во Францию, да револьвер — не позабудь — по дороге брось в море... Все равно ваше дело проиграно. Нас — полмиллиарда. Твои руки — это мы, твои ноги — мы, брюхо твое — мы, голова — мы... А что твое? Ценности? Культура? — Наша... Хранителей других поставим, и — наша. (Раненый подполз к столу. Глаза его — расширенные, дикие, страшные — овладевали, давили...) Я вижу — ты честный человек, ты, может быть, один из лучших... Зачем же ты на их стороне, не на нашей? Они отравили тебя газом, заразили лихорадкой, пронзили твою грудь... Они растлили все святыни... Так зачем же ты с ними? Кусок хлеба и мы тебе обещаем... Проведи рукой по глазам, сними паутину веков... Проснись... Проснись, Поль...

Поль Торен со стоном открыл глаза. Когда кончится эта пытка? Колючие, перепутанные осколки воспоминаний, дневная суета перед глазами, гул стеклянных маховиков в ушах... Скорее бы темнота, тишина, небытие!

Погас и этот день. Снова над морем — пылающие миры, потоки черного света, в фокусах их скрещений возникающие из квантов энергии клубки первичной материи, и, гонимые светом из конца в конец по чечевице вселенной, летят семена жизни. Из одной такой микрожизни возник Поль Торен. И снова, когда-нибудь, его тело, его мозг, его память раскинется пылью атомов в ледяном пространстве.

В эту ночь, как в предыдущую, сестра не могла увести его в каюту. Когда она от досады заплакала, он поднял дрожащий, сухой, как сучок, палец к звездам:

— Это мне нужнее ваших микстур.

....

Ранним утром проходили мимо Калабрии: дикий берег, острые зубья скал, нагромождения лилово-серых камней. Редкие кусты в трещинах. Выше — террасы бурых плоскогорий. Кое-где кучки овец. На мысу — такой же, как камни, замок — башня, развалины стен: старое разбойничье гнездо, откуда выезжали грабить корабли, заносимые штормом к этому чертову месту. Налево в мглисто-солнечном тумане курился дым над снежной вершиной Этны, голубели берега Сицилии. «Карковадо» несся по коротким волнам пролива, которого так боялся Одиссей. На палубу вышло семейство сахарозаводчика — все в спасательных поясах. Оказывается, здесь была опасность встретиться с блуждающей миной. Зуавы плевали в пролив. Но стремнину миновали благополучно. Ржавым носищем «Карковадо» резал теперь бирюзово-голубые воды Тирренского моря.

Общественный деятель с соломой в бороде, пройдя по палубе, громко сказал, ни к кому не обращаясь:

— Барометр падает, господа!

Действительно, жара усиливалась. Небо было металлического оттенка. На юге воздух ходил мглистыми волнами, как будто там кипятили воду. От праздности, от зноя, от нестерпимого света на пароходе стало твориться неладное. Говорили, что одну из жабиных девчонок этой ночью отвели наверх, в каюту капитана. Со вчерашнего дня капитан не показывался на мостике. Обнаружилось, что остальные девочки удрали из кочегарки. Одну удалось отыскать в трюме, где она ходила по рукам, кричала и царапалась. Ее заперли в аптеке под надзором фельдшера. Зуавы волновались, перешептывались. То один, то другой вскакивал с раскаленной палубы и исчезал где-нибудь в черных недрах парохода, где пахло крысами, плесенью и железные стены скрипели от вздохов машины.

Барометр падал. Под лодкой сидела русская дама пригорюнясь. Мальчик спал, положив мокрую от пота голову на ее колени. Затих даже стук ножей в камбузе.

И вдруг где-то внизу произошла короткая возня — удары, рычание... На палубе появились двое — с волосами торчком, голые по пояс, в замазанных парусиновых штанах. Оглянувшись, они побежали. Передний показывал вытянутую окровавленную руку.

— Откусил палец, откусил палец,— повторял он надрывающимся глухим голосом. Остановился, неистово стащил с ноги деревянный башмак (другая нога — босая), швырнул его в море. Легко побежал дальше.— Откусил палец!

Другой, выше его ростом, бежал за ним молча. На жилистой спине его под лопаткой был виден кровавый желвак со следами зубов. Едким потом и кровью пахнуло по палубе. Сейчас же за этими двумя выскочил на палубу третий с узким лицом, черноволосый, в разорванной бязевой рубашке. Раздвинув ноги, он пронзительно свистнул, как будто ночью на пустыре. Зуавы вскочили. Глаза их дичали, усы топорщились. Быстро, плотно они окружили раненых кочегаров. Шумно дышали груди. Высокий, с желваком на спине, проговорил душераздирающе:

— Обе девчонки у него в каюте...

— У кого?

— У шоколада...

С откушенным пальцем крикнул:

— У него нож... У него огромный нож и вертел... Откусил мне палец... Наших всех зарежут здесь... Живым не доехать...

Снова свист. И тогда все — и солдаты и кочегары — побежали по трапам вниз. Немного спустя там грозно загудели голоса. На палубу выскочила из кают-компании жаба с обеими собачонками на руках, заметалась, как слепая. В каютах первого класса захлопали опускаемые жалюзи. Пробежал с испуганным лицом помощник капитана.

Кок-негр появился, наконец, в крутящейся толпе. Он здорово отбивался длинными руками. Белая куртка на нем — в клочьях, в пятнах крови. Он пятился к трапу. Вдруг фыркнул, зашипел на наседающих, в два прыжка взлетел на палубу и помчался по ней, выкатив белки глаз, как лупленые яйца. «Лови, лови!» — кричали зуавы, устремляясь за ним. Он вскарабкался еще выше, на капитанский мостик, и оттуда — головой вниз — мелькнуло его лакированное

тело, упало в воду. Далеко от корабля, отфыркиваясь, вынырнула черная голова.

На «Карковадо» остановили машину. В море полетели спасательные круги. Негр подплыл к борту и ухватился за конец. Весело скалясь, он посматривал на свешенные через перила головы зуавов. Было ясно, что бить его уже больше не станут.

А барометр продолжал падать. Небо нависло раскаленным свинцом. Задыхаясь, стучала пароходная машина, стучала кровь в головы. И на палубе снова закружился вихрь: солдаты перешептывались, перебегали, сбивались в кучу. Раздался повышенный, певуче-четкий (видимо, парижанина) панический голос:

— На нас идет шторм. Все, кто на палубе, будут смыты в море. Нас не пускают даже в кают-компанию. А в первом классе пружинные койки для спекулянтов, серебряные плевательницы, чтобы им рвать. Неужели нам и здесь еще умирать за буржуа?.. В трюм спекулянтов!

— В трюм спекулянтов!— закричали голоса.— Богачей, буржуа — в трюм!

Зуавы, завывая, кинулись через обе двери в кают-компанию. Но там никого не было. На столе — неоконченный обед. Двери кают заперты. Здесь было душно, как в духовом шкафу, где жарят гуся. Иные из солдат повалились на диваны, вытирая ручьи пота. Те, кто позлее, стали стучать в двери кают:

— Алло! Эй, вы, детки,— в трюм, в трюм! Очистить каюты!

Из одной каюты, куда грохнули кованым башмачищем, высунулся папа-краб с прыгающими лиловыми губами, весь в поту:

— Ну? В чем, собственно, дело? Что вы так шумите?

Уже чья-то чумазая рука сгребла его за визитку, десятки пышущих лиц, расширенных глаз приблизились к нему... Не сдобровать бы папе-крабу с его семейством и сундуками... Но в это время раздались пронзительные боцманские свистки. Свистали: «Все наверх!» И сейчас же треснуло, раскололось небо над пароходом, ударил такой гром, что люди сели. Полыхнула молния во все иллюминаторы. И жалобно запели ванты, снасти, «Карковадо» сильнее повалило на

левый борт. Налетел шторм. Стало темно. Пятнами различались испуганные лица.

Рваные тучи мчались над самой водой. Море стало гривастым, свинцово-мрачным, и волны все злее, все выше били в ржавые борта. Вода уже хлестала на палубу. Раскачивало шлюпки на стрелах. Одну запарусило, рвануло, сорвало, и она унеслась, кувыркаясь среди бешеной пены. Тут бы надо бочку с сокровищами бросить морскому царю, заколоть ему быка, чтобы смилостивился! Невдомек! Трещал, зарываясь, валился, гудел винтами, густо дымил «Карковадо». Ураган шел с юго-востока, гнал его к родным берегам.

Поль Торен, возбужденный, сидел на койке в подушках. Свирепо бил трезубцем Нептун в задраенный иллюминатор. Какой великолепный конец пути! Глаза Поля блестели трагическим юмором. Вот удар так удар — в борт! Корабль содрогнулся, тяжело начал валиться. Попадали склянки, покатились вещи и вещицы к каютной двери. Как на качелях на последнем взмахе — каюта становится торчком. Замирает сердце. Не выпрямится.

— Мы погибли, погибли! — закричала сестра, схватившись за столик у койки.

Нет, оправилась старая посудина. Каюта поползла вверх. Выпрямилась. Сестра, опустившись на колени, плача, подбирала разбитые склянки. И — снова бьет в борт трезубец морского царя.

— Сестра, — говорит Поль, улыбаясь обтянутым, как у трупа, лицом, — это ураган времен обрушился на нас...

Больше суток мотало «Карковадо». Изломало и смыло все, что было на палубе. Унесло в море двух зуавов. Унесло собачек несчастной жабы и кожаные сундуки — большой багаж — киевского сахарозаводчика. Кто-то хватился общественного деятеля с соломой в бороде — так и не нашли.

Настал последний вечер. Поль сказал сестре:

— Попросите солдат, чтобы вынесли меня на палубу.

Пришли зуавы, покачали головами в красных фесках, пощелкали языками. Подняли Поля вместе с тюфячком и отнесли в шезлонг на палубу. Он сказал:

— Желаю вам счастья, дети.

Там, на западе,— куда, поднимаясь и опускаясь, устремлялся тяжелый нос корабля,— в оранжевую пустыню неба опускалось солнце, еще гневное после бури. Опускаясь, оно проходило за длинными полосами вуалевых облачков, раскаляя их, багровело. Снизу вверх по его диску пробегали красноватые тени.

Море было мрачно-лиловое, полное непроглядного ужаса. По верхушкам волн скользили красноватые, густые на ощупь отблески солнечного шара. Гребень каждой волны отливал кровью.

Но это длилось недолго. Солнце село. Погасли отблески. И в закате стали твориться чудеса. Как будто неведомая планета приблизилась к помрачневшей земле, и на той планете в зеленых теплых водах лежали острова, заливы, скалистые побережья такого радостно алого, сияющего цвета, какого не бывает,— разве приснится только. Какие-то из огненного золота построенные города... Как будто крылатые фигуры над зеленеющим заливом.

Поль стиснул холодеющими пальцами поручни кресла. Восторженно билось сердце... Продлись, продлись, дивное видение!.. Но вот пеплом подергиваются очертания. Гаснет золото на вершинах. Разрушаются материки... И нет больше ничего... Тускнеющий закат...

Такова была последняя вспышка жизни у Поля Торена. Долго спустя равнодушным взором он различил белую звезду низко над морем: она то вспыхивала, то исчезала. Это был марсельский маяк. Древний путь окончен. Зуавы мурлыкали песенки от удовольствия, навьючивали мешки на спины, переобувались... Один, проходя мимо Поля, сказал вполголоса:

— А по этому заплачет кто-то...

Поль уронил голову. Потом холодноватый тяжелый тюфяк начал ползти на него — снизу, с ног на грудь. Дополз до лица. Но еще раз пришлось ему почувствовать дыхание жизни. Над ним кто-то наклонился, его губ коснулись чьи-то прохладные дрожащие губы, и женский голос, голос Люси, звал его по имени. Его подняли и понесли по зыбким ступеням, по скрипучим доскам на шумный берег, пахнущий пылью и людьми, залитый огнями...

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ И ЕГО «ЭМИГРАНТСКИЙ» ЦИКЛ

Книга, которую читатель держит в руках, по-своему уникальна. Во всяком случае, при жизни А. Толстого в таком составе она не выходила. Некоторые из включенных в нее произведений сам писатель не вводил в собрания сочинений. Иные включал, но относился к ним весьма взыскательно. Создавались все произведения, составляющие эту книгу, в 20-е годы, на протяжении почти всего десятилетия. Первые, наиболее ранние («Рукопись, найденная под кроватью» и др.), были написаны еще в Берлине, куда А. Толстой переехал в конце 1921 года, завершая свой круг эмигрантских скитаний. Роман «Эмигранты» (другое название «Черное золото») принадлежит уже зрелому советскому писателю и, в сущности, завершает интересующую нас тему в его творчестве, тему, исключительно важную и специфичную для А. Толстого, которая последовательно складывается из картин, нарисованных в его остальных произведениях.

Впрочем, для того чтобы понять логику идейно-эстетического развития писателя, а также место «эмигрантской» темы в его наследии в целом, необходимо отступить назад, к истокам его творчества.

А. Н. Толстой (1883—1945) в ранний период своей писательской деятельности создал колоритные картины из жизни помещичьего Заволжья. Молодой писатель отлично знал жизненный материал. Многие из его персонажей имели реальных прототипов, запечатленных в отдельных сценах с удивительной, если не сказать фотографической, точностью. Успех заволжского цикла («Мишука Налымов», «Петушок», «Аггей Коровин» и др.) и примыкавших к нему произведений (романы «Чудаки», «Хромой барин») сразу заставил забыть его первые, весьма еще далекие от совершенства опыты в области поэзии (сборник «Лирика», 1907 г., был, например, написан под влиянием символистов и носил откровенно подражательный характер).

После «Заволжья» начинаются сложные искания Толстого в области прозы и драматургии, стремление почувствовать социальные ритмы современности (ведь монстры-помещики были типами, явно уходящими в прошлое), разнообразить гамму красок и приемов, в частности, за счет включения условно-фантастических форм, углубить демократизм и реализм своего творчества. Это была пора более поисков, чем свершений. Поэтому наряду с удачными произведениями попадались и весьма слабые. Но поиски шли, писатель ощущал всевозрастающее чувство гражданской ответственности за свой талант, за его направленность.

В годы первой мировой войны у А. Толстого пробуждается тревога за будущее своей Родины. Как фронтовой корреспондент, он исколесил много дорог, своими глазами увидел мужика, которому царизм сунул в руки винтовку. Военную прозу А. Толстого отличает отсутствие шовинистического угара, хотя, конечно, подлинной природы империалистической бойни и породивших ее причин писатель тогда не понимал. В эти же годы усиливается сатирически-обличительная направленность творчества А. Толстого по отношению к представителям оторвавшейся от народа столичной художественной богемы (незавершенный роман «Егор Абозов»).

Восторженно встретив Февральскую революцию, свергнувшую царизм, после победы Октября писатель испытывает сложное чувство. Порою в его мироощущении доминируют растерянность и тревога за будущее культуры, которая, как ему казалось, вот-вот погибнет. Но Алексей Толстой не принадлежал к той категории интеллигенции, которая a priori считала, что большевики «незаконно» захватили власть, что они не выражают интересов скольконибудь широких слоев населения и поэтому с ними, большевиками, невозможно в принципе никакое соглашение. В 1918 году Толстой сделал первые шаги в сторону практических контактов с новой властью. Он начинает сотрудничество с Московским кинокомитетом, который возглавлял тогда Михаил Кольцов и куда входили такие разные художники революционной России, как А. Серафимович, А. Таиров, В. Татлин, В. Мейерхольд... И, когда осенью 1918 года вместе с семьей Толстой выехал из голодной Москвы на Украину в литературное турне, у него не было мысли покинуть Родину. Однако в марте 1919 года, когда Одессу брали войска временного «союзника» Красной Армии атамана Григорьева (он, кстати, вскоре поднял восстание против Советской власти, которое было подавлено), подвергнувшего город беспощадному грабежу, А. Толстой был вынужден покинуть Россию.

1919—1921 годы — самые трудные в жизни писателя. В написанных им в ту пору статьях немало односторонних заявлений, среди

которых есть и явно ошибочные. Находясь вдали от Родины, он на первых порах не всегда разбирался в хаосе событий.

В конце 1921 года А. Толстой из Франции переезжает в Берлин, где примыкает к сменовеховской газете «Накануне» (первый номер вышел 26 марта 1922 г.). Сменовеховство было буржуазным по своей природе, чуждым большевизму течением. Его лидеры усматривали в новой экономической политике начало отступления большевиков, которое, по их мнению, должно было привести в России к торжеству норм демократии на западноевропейский манер. Такова была их стратегия. Однако тактика сменовеховцев состояла в поддержке большевиков, которые начали на глазах изумленной Европы выводить страну из состояния, казалось бы, полной разрухи. Во всяком случае, выступления сменовеховцев расценивались в ту пору контрреволюционной эмигрантщиной как предательство. Идейные бои за рубежом вокруг сменовеховства достигли кульминации весной 1922 года, что было непосредственно связано с приходом Алексея Толстого в «Накануне».

Один из лидеров белой эмиграции, Н. В. Чайковский, обратился к А. Толстому с письмом, в котором требовал объяснений по поводу сотрудничества в газете, издававшейся, по его убеждению, «на деньги Москвы». В ответ писатель публикует 14 апреля 1922 года «Открытое письмо Н. В. Чайковскому» — замечательный документ отечественной общественной мысли 20-х годов, выражающий подлинный патриотизм русского человека, принимающего революцию и желающего отдать свою энергию на возрождение любимой Отчизны. Письмом Чайковскому А. Толстой окончательно отрезал себя от эмиграции. Белоэмигрантская пресса открыла по его автору уничтожающий огонь. Ему было посвящено столько заметок, статей, памфлетов, рассказов, частушек, куплетов, что они могли бы составить целый том... Получал писатель и письма с угрозой физической расправы. Но ничто не могло свернуть его с избранного пути.

Советская Россия высоко оценила мужественный шаг писателя: письмо Чайковскому было перепечатано газетой «Известия». С этого времени контакты А. Толстого с Родиной, с молодой советской литературой постоянно крепнут. Весной 1922 года А. Толстой начал редактировать литературное приложение к «Накануне». В нем он опубликовал немало произведений советских писателей: М. Горького, К. Федина, Вс. Иванова, М. Булгакова, В. Катаева, С. Есенина, М. Слонимского и многих других. Эти произведения помогли зарубежному читателю понять, что в большевистской России начался новый прилив духовной жизни, что революция породила там новую литературу, перед которой раскрывались невиданные перспективы.

Конечно же, не случайно буржуазная советология пытается умалить значение мужественного шага А. Толстого. Один из ее

лидеров, небезызвестный Глеб Струве, решил попросту «не заметить» «Открытое письмо», словно его совсем и не было. Аргументированной критике позицию Г. Струве подвергает в своей монографии «Литература и идеологическая борьба» А. Беляев. Кстати, в насыщенной богатым фактическим материалом работе А. Беляева приводятся мнения других советологов, например. В. Александровой, рассматривающих берлинский период творчества писателя как весьма продуктивный и опровергающих тем самым доводы своего же коллеги Г. Струве[1].

Изменениям в мировоззрении А. Толстого, избавлению его от надклассовых иллюзий способствовали и события в Германии. Германия была тогда центром классовых битв в Европе. Ноябрьская революция 1918 года и крах империи Гогенцоллернов, образование Советов, расправа реакции над восстаниями рабочих в январе 1919 года и убийство Карла Либкнехта и Розы Люксембург, возглавлявших совсем еще молодую коммунистическую партию,— вот те события, которые до основания сотрясали страну на глазах русского писателя.

При всей сложности и пестроте внутриполитической жизни Германии в сознании А. Толстого все отчетливее прорисовывались две основные силы полярно-антагонистического характера — коммунисты и последователи фашизма. Пресса, в том числе и русская, отводила фашизму немало места, не подозревая, разумеется, масштабов социального зла, которое несла свастика всему миру.

В тексте выступления А. Толстого по случаю возвращения на Родину (август 1923 г.) мы находим совершенно недвусмысленное выражение сущности происходивших событий, понимание угрозы фашистской диктатуры: «Фашизм, о котором каждого приезжающего всегда с большим любопытством расспрашивают в России,— явление, логически вытекающее из последствий войны». «Немецкий фашизм свиреп, мстителен и реакционен. Он не будет знать пощады. Он не простит Рура, Силезии и колоний... Сейчас немцам, настроенным фашистски, нечего больше терять — они страшны...». «Одновременно происходит усиление и увеличение лагеря коммунистов...»[2].

Угроза фашистской диктатуры нашла свое отражение и в публицистике А. Толстого: в статьях «Несколько слов перед отъездом» и «Задачи литературы», а также в условно-аллегорической форме в романе «Аэлита», написанном, кстати сказать, еще в 1922 году в Берлине, но опубликованном в Советской России. И, конечно

---

[1] См.: Беляев А. Идеологическая борьба и литература. 2-е изд. М., «Советский писатель», 1977, с. 61.

[2] Отдел рукописей Института мировой литературы им. М. Горького АН СССР. Фонд А. Н. Толстого. № 912.

же, не случайно в центре романа оказался красноармеец Гусев. Отнюдь не лишенный элементов стихийно-анархического мироощущения, он вместе с тем готов беспощадно воевать с любой социальной несправедливостью. Высокую оценку «Аэлите», «в которой художественная правда предстает с поражающей силой», дал замечательный художник-коммунист Д. Фурманов.

Наконец, надо вспомнить, что в годы эмигрантских скитаний А. Толстым написаны «Детство Никиты» и первая часть его будущей трилогии «Хождение по мукам».

Демонстративный разрыв с лагерем эмиграции, все более последовательное принятие правды революции и были той органической основой, на которой формировалась антиэмигрантская тема в творчестве А. Толстого. При этом безосновательными оказываются всякого рода окололитературные легенды, а то и просто сплетни о том, что А. Толстой якобы «приспособился» к большевикам, был неискренен. Увидев, что весь наш народ пошел за Советской властью, художник объединился с народом. После всего сказанного становится понятно, почему писатель столь демократического мироощущения, каким был А. Толстой (вспомним «Детство Никиты»), мог не иначе как с презрением писать о людях, которые давно уже вели паразитический образ жизни, причем вред их для родины был тем большим, чем больше были их претензии представлять себя в качестве своего рода национальной элиты.

Рассказ «Рукопись, найденная под кроватью» А. Толстой считал одной из центральных вещей, написанных за рубежом. Его герой Александр Епанчин — потомок старинного дворянского рода, который значится еще в «Готском альманахе». Но чем дальше, тем больше Епанчины порывали с народом духовно, превращались в захребетников. Эмиграция для таких лиц — лишь завершение давно начавшегося процесса отрыва от Родины. Ни о какой драме здесь, собственно, и не может идти речь.

В своей исповеди Епанчин доходит до предельного маразма. Он имеет лишь одно прочное убеждение: все люди сволочи, «унылое дурачье», вся Россия — «нужник», а «высшее, что есть в жизни — покойно заснуть, покойно проснуться и покойно плюнуть с пятого этажа на мир». В минуту откровенности он вынужден признать: ничто его в жизни не интересует, кроме чашки кофе да уютного абажура...

Видный критик 20-х годов Вяч. Полонский, немало внимания уделявший литературе эмигрантского лагеря и обобщавший черты ее «героя», писал: «...когда всматриваешься в эти «искания» белогвардейского интеллигента, то видишь, что причиной его недовольства революцией, источником его ненависти были не столько какие-нибудь важные, принципиальные положения, сколь-

ко вот это лишение удобств, тепла, котлет — вообще **съедобного** в самом широком смысле слова. Недаром во всей белогвардейской мемуарной литературе лейтмотивом проносится единодушный вздох: «Как мы раньше ели! Куда девались наши сытные обеды с аппетитной сервировкой и вкусным вином!»[1].

В конце концов Епанчин не только теряет человеческий облик, но начинает испытывать своего рода «самоусладу гнусностью и грязью». Личность деградирует, саморазрушается, «отрекается от самого себя». Грани между «я» и «не-я» стираются. Начинается какая-то жуткая фантасмагория...

Изображение падения русских эмигрантов органически сочетается в творчестве А. Толстого с обличением гримас западной цивилизации («Убийство Антуана Риво»). В некоторых произведениях оба мотива переплетаются, образуя единое целое («Черная пятница»).

Одним из первых и наиболее значительных произведений А. Толстого, опубликованных вскоре после возвращения в Советскую Россию, была его повесть «Похождения Невзорова, или Ибикус». Спустя годы К. Чуковский сетовал, что критика как-то не обратила на нее поначалу внимания. А между тем, утверждал маститый знаток литературы, написан «Ибикус» с удивительным чувством внутренней свободы и артистизмом. И вправду, читаешь повесть, и словно человек, отлично владеющий искусством устного повествования, рассказывает о только что происшедшем с ним самим или его давними знакомыми.

Между тем в «Ибикусе» дана не только история трагикомических метаний определенной разновидности так называемого «маленького человека», но и с калейдоскопической скоростью возникают меняющиеся картины петербургской окраины, московских артистических кафе, вокзальной сутолоки в Курске, усадебного быта под Харьковом, благополучия и роскоши Дерибасовской в Одессе, турецкого карантина в Константинополе...

В центре всей этой исключительно пестрой картины — фигура конторщика Семена Ивановича Невзорова, человека поначалу незаметнейшего. «Семен Иванович,— нужно предварить читателя,— служил в транспортной конторе. Рост средний, лицо миловидное, грудь узкая, лобик наморщенный. Носит длинные волосы и часто встряхивает ими. Ни блондин, ни шатен, а так — со второго двора, с Мещанской улицы». Это скорее не портрет, а сознательный уход от портретной характеристики. Портретировать-то нечего!

---

[1] Вяч. Полонский. Заметки о русском обывателе в эпоху великой революции.— «Печать и революция», 1922, № 1, с. 46.

Перед нами сама безликость! И не случайно прохожие постоянно путали его на улице с кем-то другим, на что Семен Иванович не без некоторого даже достоинства замечал: «Виноват, вы обмишурились, я — Невзоров».

Очень не хочется Невзорову, чтоб его спутали с кем-то! В нем жило маленькое, не удовлетворенное жизнью «я», которое ждало времени, чтобы расправиться, подобно пружине, размахнуться пошире...

Удивительную череду превращений проходит Невзоров, становясь то графом Симеоном Иоанновичем Невзоровым, то французским контом Симон де Незор, то греком Семилапидом Навзараки. С одной стороны, он очень легко отказывается от себя во имя чего-то «большего», чем он есть. С другой стороны, какие бы ни происходили с ним изменения, он остается самим собой, лелея и пестуя в себе крошечное «я» **мещанина.** Обнаруживая поразительную цепкость и живучесть, Невзоров начинает предъявлять к жизни все более и более высокие требования. В итоге он возомнил себя господином Мира, императором Ибикусом первым!

Скажут: зачем копаться в клинических аномалиях?

Не так-то все это просто, и как было бы легко решать многие проблемы, если бы все сводилось к казусу, индивидуальному случаю. Увы, XX век, едва расхлебав котел второй мировой войны, заварил столько новых, невиданных дотоле проблем, что ему могла бы позавидовать едва ли не вся предыдущая история. И разве не по формуле «из грязи в князи» действовал бесноватый ефрейтор, выкрикивающий в пропитанных сигарным дымом пивных Мюнхена бредовые идеи коренного превосходства арийцев над другими нациями и господства Германии над всем миром? Напомним, что первые шаги Гитлера к власти, сопровождавшиеся различного рода демонстративными заявлениями, во многом предваряли «Ибикуса».

Рассказ «Древний путь» — совсем иной вариант путешествия. В нем находит отражение характерная для творчества А. Толстого проблема исторических судеб культуры. Его герой, смертельно больной французский офицер Поль Торен, возвращающийся из России на родину, совершает путешествие не только в пространстве, но и в историческом времени. Проплывая вновь «древним путем» — Геллеспонтом, Поль пытается постичь внутренний смысл движения истории. Мысленно перелистывая ее страницы, Торен мучительно думает о закономерном и случайном, об исторически разумном и преходящем.

Поток сознания неумолимо влечет Торена к выводу о том, что нельзя силой заставить народ отказаться от того нового пути, который он избирает.

Элегическая рассудительность внутренних монологов Поля Торена резко контрастирует с реальностью пароходного быта, с броскими деталями, при помощи которых писатель комически снижает образы эмигрантов («седоватый кукиш прически» у старшей представительницы покинувшего родину семейства). Особенно выразительны сцены, показывающие жизнелюбие зуавов, отказавшихся ехать воевать с большевиками в Россию и избравших свой батальонный совет. Рассказ А. Толстого имеет автобиографическую основу. В нем использованы впечатления от поездки весной 1919 года из Константинополя в Марсель на пароходе «Карковадо».

Рассказ «Древний путь» в концентрированной форме передает такую существенную особенность поэтики А. Толстого 20-х годов, как прямое соотнесение истории и современности в рамках одного произведения.

Наиболее заметное место среди публикуемых произведений занимает роман «Эмигранты». Если, к примеру, в «Ибикусе» А. Толстой, кажется, не знает пределов для своего богатейшего воображения, то здесь — стремление к максимальной фактической точности. Кроме трех вымышленных женских фигур и Налымова, героя, проходящего через весь роман, остальные персонажи — реальные исторические лица. Это нефтяные короли Л. Манташев и Т. Чермоев, бывший премьер Временного правительства князь Г. Е. Львов, банкир К. Х. Денисов, редактор белогвардейской газеты «Общее дело» В. Л. Бурцев, прославившийся разоблачением знаменитого провокатора Азефа... Но все они, как и многие другие, совсем уж эпизодические персонажи — от Юденича до «дедушки русской революции Н. В. Чайковского» (того самого, кому было в 1922 году адресовано открытое письмо А. Толстого), составляют лишь фон, на котором развертывается история беспрецедентной по тому времени «Военной организации для восстановления империи». Ее возглавлял международный аферист, казачий полковник Магомет Бек Хаджет Лаше. Этот по-своему незаурядный человек, автор нескольких романов, оставил деятельность бульварного писателя, чтобы использовать свое перо для создания инструкций и приказов об уничтожении людей. Организация, объединявшая генералов и офицеров царской армии, на загородной вилле Баль Станэс, под Стокгольмом, совершала убийства не только политических деятелей, но и частных лиц, предварительно вынуждая их под пытками подписывать документы, открывающие двери сейфов. Осуществляла она и другие преступные акции...

Лига убийц провалилась довольно быстро, уже в 1919 году, и, несмотря на кровавый характер своих злодеяний, вряд ли обратила бы на себя большое внимание, если бы не одно обстоятельство. Из

брошюры В. Воровского «В мире мерзости запустения. Русская белогвардейская лига убийц в Стокгольме» (М., 1919) стало известно, что лига была одной из первых террористических организаций, действия которой явно санкционировались английскими, американскими, французскими и шведскими властями. То есть в основе ее лежала не оформившаяся еще официально международная доктрина антисоветизма и антикоммунизма.

Примечательно, что тогда же, в 1919 году, возникает идея создать в Швейцарии «антибольшевистский интернационал». А два года спустя, на съезде «национального объединения» белоэмигрантов в Париже, было заявлено: «Борьба посредством пропаганды должна вестись общим фронтом во всемирном масштабе, для чего должна быть сооружена мощная международная лига»[1]...

Убийства Воровского, Войкова, попытки покушения на других советских дипломатов показали, что борьба в международном масштабе велась не только посредством «пропаганды».

Сообществу реакционных сил противостоит солидарность народов европейских держав, поддерживавших Великую Октябрьскую социалистическую революцию, прогрессивная интеллигенция, которую в романе А. Толстого олицетворяет шведский журналист Бистрем. Он совершает в Россию путешествие, отнюдь не туристическое, и убеждается в необратимости решения русских идти до конца по пути, начертанному большевиками.

Все большее тяготение к здравомыслящим кругам начали испытывать эмигранты, нашедшие в себе силы сбросить с глаз пелену предубеждений, встать выше личных невзгод, которые им пришлось испытать. К таким лицам относятся в романе: издатель одной из левых эмигрантских газет Ардашев, убитый шайкой Хаджет Лаше, и Вера Юрьевна, втянутая в аферу и обреченная на гибель. Вера понимает весь ужас своего положения: быть приманкой для жертв... Но желание найти радикальный выход из тупиков эмигрантщины начало рождаться в ней раньше. Мысль о Родине поддерживает ее в самые трудные минуты.

Образ этот в романе весьма значителен. Размышляя в процессе работы над рукописью над возможными вариантами судьбы Веры и противопоставляя ее опустошенному Налымову, А. Толстой писал в одном из набросков: «Вера полна трагизма, т. е. человеческого содержания, т. е. жизни. Он тень. Она горячая жизнь»[2]. Увы, логика событий оказалась такова, что возродиться Вере как личности было не суждено.

---

[1] См.: Эрнст Генри. Профессиональный антикоммунизм. М., Политиздат, 1981, с. 75.

[2] См.: Толстой А. Собр. соч. в 10-ти тт., т. 4. М., 1958, с. 824.

Важнее другое. Художник-патриот, А. Толстой был убежден, что русский человек в годину тяжелых испытаний, выпавших на долю его Родины, должен быть вместе с нею, с ее народом, часть тяжести общей беды брать на свои плечи. Весь его собственный опыт человека, прошедшего через горнило революции, эмигрантские скитания, в итоге принявшего правду революции,— наглядный пример того, каким должен быть патриот своего Отечества.

При всем различии жанровых и стилевых особенностей, которыми отличаются друг от друга включенные в книгу произведения, есть в них и некие общие черты, придающие циклу не только внешнетематическое, но и внутреннепоэтическое единство.

Один из сквозных мотивов, звучащих в цикле,— золото. Бронепоезд Колчака, пытающегося вывезти из России огромные национальные ценности, и эпический образ скованных морозом российских пространств, бесстрашных партизан, преследующих «верховного правителя России». Кажется, природа и люди объединились, чтобы обречь на неудачу эту авантюру, которая приведет к краху многие надежды эмигрантов («В снегах»)... «Маленькое» золото, которое в нательном мешочке таскает с собой Невзоров, мечтая о несметных богатствах («Приключения Невзорова, или Ибикус»)... Деньги, ради которых Мишель Риво убивает своего дядю, становясь на путь профессионального преступника («Убийство Антуана Риво»)... Золотые челюсти Адольфа Задера — все, что осталось от авантюриста («Черная пятница»). Наконец, символически обобщенный в романе «Эмигранты» образ черного золота (вовсе не равнозначный иносказательному обозначению нефти, как можно подумать вначале, поскольку в романе А. Толстого немало внимания уделено махинациям нефтяных магнатов), нажитого неправедным путем, ценой черных дел и убийств...

Один мотив как-то незаметно перерастает в другой. Не мерещится ли в челюстях, оставшихся после Задера, дьявольская улыбка Ибикуса? Так постепенно, все усиливаясь, создается картина непрочности жизни, нестабильности, бесприютности. Отсюда — тема двойничества в «Рукописи», отсюда несколько автобиографий того же Задера, удивительные превращения с Невзоровым...

Эту непрочность, ненастоящесть жизни эмигрантов передают в творчестве А. Толстого пародийные образы и интонации. Нарочито комические и даже ничтожные события писатель порой сопровождает подчеркнуто величественным, эпическим фоном. Комический эффект усиливается еще больше. «Клопы здесь были не то что какие-нибудь русские — вялые и сонные. Клоп на острове Халки был анатолийский, крупное, бодрое животное. Он не смотрел — ночь ли, день ли, была бы подходящая пища. Едва только эмигрант ложился на постель,— клоп дождем кидался на него с потолка, лез

из щелей, изо всех стен. Эмигрант стискивал зубы, терпел. Нет. По ночам можно было видеть, как на улицу или на лужок выскакивает встрепанный человек в нижнем белье и чешется под огромными звездами, видавшими в этих местах аргонавтов и Одиссея» («Ибикус»).

Не в засиженных ли мухами кафе, не в переполненных ли клопами бараках могла родиться идея тараканьих бегов как «национального русского развлечения» сначала у А. Толстого в «Ибикусе», а потом у М. Булгакова в «Беге»? И, кажется, именно в подобной «духовно насыщенной» атмосфере мог возникнуть мещанин Присыпкин, обретший у Маяковского масштабность гротескно-сатирического обобщения (пьеса «Клоп»).

Интонация пародии придает писательской позиции А. Толстого особую высоту точки наблюдения, нравственного превосходства над своими героями.

Но эта особенность толстовской поэтики — лишь частное выражение той общей мировоззренчески-художнической позиции, которую занимал замечательный советский писатель, работавший в те годы над произведениями петровского цикла, исследующими истоки русского национального характера, над величественной трилогией «Хождение по мукам» — о рождении новой России, преображенной Великим Октябрем.

В. И. Баранов,
доктор филологических наук

КОММЕНТАРИИ*

ЭМИГРАНТЫ

Впервые под названием «Черное золото», с подзаголовком «Роман» с эпиграфами: «Рим — это мир. Остальное — варвары», «На карту поставлено пятнадцать миллионов трупов. Русская революция спутала карты», повесть напечатана в журнале «Новый мир», 1931, №№ 1—12. Авторская дата окончания произведения — «12 декабря 1931 г.».

Произведение тематически примыкает к трилогии «Хождение по мукам». Автор в феврале 1936 года писал, что когда он окончит третью часть «Хождения по мукам», «то во всю эпопею войдут пять книг: «Сестры», «Восемнадцатый год», «Оборона Царицына», «Черное золото» и последняя книга» (А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 13, стр. 579—580). О некоторой связи с трилогией говорит и история создания «Черного золота». 10 сентября 1930 года, сообщая план продолжения «Хождения по мукам» — роман «Девятнадцатый год», А. Толстой писал: «Я возьму фрагменты вместо всей картины, как я пытался делать в «Восемнадцатом году». Будет Париж, тыл Доброармии, Махно, Григорьев, Одесса, фрагменты Сибири, Волга, Царицын, Кавказ. Период от ноября 18-го года по декабрь 19-го...» (Архив А. Н. Толстого).

Для создания в начале романа «Девятнадцатый год» картин белоэмигрантского Парижа и тыла белой армии писатель собирал документальные данные и свидетельства современников.

Материалом, особенно заинтересовавшим А. Толстого, была брошюра В. Воровского «В мире мерзости запустения. Русская белогвардейская лига убийц в Стокгольме», опубликованная в конце 1919 года в Москве. Автор книжки, по данным предварительного следствия, напечатанным в шведских газетах от 12 и 13 сентября 1919 года, а также материалам советского полпредства в Стокгольме, рассказывал о белогвардейской «Военной организации для восстановления империи», которая была возглавлена авантюристом — казачьим полковником Магометом Бек Хаджет Лаше (до первой мировой войны сотрудничал в черносотенном журнале «Братская помощь», позднее был редактором-издателем реакционного парижского журнала «Мусульманин», автор бульварных романов: «Записки начальника тайной турецкой полиции», «На

* При подготовке издания использованы комментарии А. В. Алпатова и Ю. А. Крестинского из 3 и 4 тт. Собраний сочинений А. Н. Толстого, М., 1958.

каторге», «За стенами сераля», «Любимцы Ильдыза» и др.). Эта «организация», в которую входили генералы и офицеры бывшей царской армии, объявив своей задачей борьбу с большевиками, совершала убийства частных лиц, грабеж их имущества, получение по подложным подписям денег из банков и прочие уголовные преступления. В. Воровский приводит документы, доказывающие поддержку этой лиги английским, американским и французским военными штабами при попустительстве со стороны шведских властей.

Этот материал увлек А. Толстого яркой характеристикой разного плана противников большевизма в 1919 году. Для того времени он был весьма актуален: империалистические круги на рубеже 20—30-х годов начали новую антисоветскую кампанию. В ход пускались любые методы провокации и шантажа. В 1927 году в Лондоне был организован налет на «Аркос» (Советское общество по торговле с Англией), и английское правительство порвало дипломатические отношения с Россией. В Варшаве белоэмигрантом был убит советский посол П. Л. Войков. Провокационным налетам подвергся ряд полпредств и торгпредств СССР. Шпионы и диверсанты, комплектуемые большей частью из белоэмигрантов, засылались иностранными разведками на территорию Советского Союза. До 1928 года в Шахтинском районе Донбасса орудовала вредительская организация, связанная с иностранными правительствами. Летом 1929 года произошел военный конфликт на КВЖД. В ноябре 1930 года стало известно о деятельности «промпартии», связанной с заграничной контрреволюцией.

Провокационные и преступные действия антисоветских кругов в известной мере повторяли авантюристическую и уголовную деятельность сил контрреволюции в 1919 году.

Начиная писать «Черное золото», автор, по-видимому, считал этот роман продолжением «Хождения по мукам», то есть теми частями, которые покажут белую эмиграцию 1919 года.

Первые главы романа, посвященные обстановке в Западной Европе весной 1919 года, по художественно-публицистической форме близки началу романа «Восемнадцатый год», а также тем отступлениям во второй и третьей книгах «Хождения по мукам», в которых дается общая картина событий.

Но по мере развертывания сюжета материал, положенный в его основу, заставлял писателя избирать иную, чем в трилогии, форму.

Писать о белой эмиграции, о конце ее пути, было невозможно в той эпической форме, в которой создавалась трилогия. Не только героического, но даже и трагического не было в процессе морального распада и полной деградации хозяев закончившей свое существование русской империи. Тема произведения — разоблачение международной и русской контрреволюции, сплетавшей в грязный клубок политические и уголовные авантюры, развязка романа, построенная на убийствах в Баль Станзсе,— привела к форме, сочетающей некоторые черты детективно-авантюрного романа и памфлета. Художественную убедительность произведению придает знание автором белой эмиграции. Не только общая обстановка в Париже 1919 года и настроения «бывших» людей, но и портреты многих из них написаны с натуры по памяти. За исключением Налымова и трех женщин, завербованных Хаджет Лаше, большинство эмигрантов, действующих в романе,— исторические лица, с которыми А. Толстому приходилось не раз сталкиваться. Личные воспомина-

ния автора дали ему возможность создать яркие образы бывшего премьера Временного правительства князя Г. Е. Львова и его друга — либерального елецкого помещика М. А. Стаховича, англизированного барина К. Д. Набокова, нефтяных магнатов Л. Манташева и Т. Чермоева, редактора белогвардейской газеты «Общее дело» В. Л. Бурцева и банкира Н. Х. Денисова.

В послесловии к первой публикации автор писал: «С первых же глав «Черного золота» меня начали упрекать в несерьезности, в авантюризме, в халтурности и еще много кое в чем. Иногда казалось, что это делается для того, чтобы сорвать писание романа. Все же, к удовольствию или неудовольствию читателей, я его окончил. Мне нужно только прибавить, что все факты романа исторически точны и подлинны, вплоть до имен участников стокгольмских убийств (см. книгу Воровского). Шведский профессор Г. Г. Александров — теперь директор II МХАТ — сообщил мне подробности этого дела. (Александров был приговорен шайкой Хаджет Лаше к смерти и только случайно избежал ее,— во время обыска на даче в Баль Станэсе он нашел приготовленный для него мешок.) Остальные сцены романа взяты по возможности документально точно из архивных материалов, устных рассказов и моих наблюдений».

В архиве А. Толстого сохранились черновые наброски романа и заметки к нему. Краткий план, озаглавленный «Конец романа», свидетельствует, что для двух персонажей писатель намечал судьбу непохожую на ту, которая сложилась в произведении. «Вера Юрьевна уговаривает Налымова бежать в Россию. (Эта фраза зачеркнута.— *Ю. К.*) Он — только для нее. Он погибает, она одна. Дикое отчаяние. Ночь в теплушке с Н. Ее рассказ. Она чувствует, как (те)ни жизни наливаются кровью, как ее отчаяние находит исход, содержание. Это другой мир. (Смотри вначале «Прояснение идеи романа».) Налымов не может перейти,— он выжжен. Вера полна трагизма, т. е. человеческого содержания, т. е. жизни. Он тень. Она горячая жизнь» (Архив А. Н. Толстого).

Трудно судить, на какой стадии создания романа появилась эта запись на листке из блокнота.

А. Толстой дважды перерабатывал «Черное золото». Первый раз, готовя роман к изданию отдельной книгой в гос. изд-ве «Художественная литература», М.-Л. 1932, автор подверг журнальный текст небольшой стилистической правке и незначительным сокращениям. В этом издании появился новый подзаголовок: «Зарисовки девятнадцатого года», снят был первый эпиграф, а часть послесловия, говорящая о подлинности фактов в романе, стала предисловием.

Без существенных дальнейших изменений роман перепечатан в книге «Черное золото», изд-во «Советская литература», 1933, и вошел в VII том Собрания сочинений гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935.

Гораздо более существенную переработку романа автор провел в 1939 году. Правка коснулась почти каждой страницы произведения и во многом носит не только стилистический, но смысловой и композиционный характер.

В новой редакции А. Толстой добавил ряд сцен, а некоторые написал почти заново или дополнил, преследуя задачу более глубокого раскрытия характеров персонажей и четкого выявления социально-политических вопросов.

Так, например, вставлена беседа Денисова с Лисовским в ресторане; коренным образом переделан диалог между Налымовым и Верой Юрьевной в Севре, после приезда Хаджет Лаше, диалог между Милюковым и англичанином Вильямсом, Хаджет Лаше и полковником Пети. Заново переписан рассказ Бистрема Ардашеву о поездке в Советскую Россию и сцена суда,— выступления Налымова и Бистрема.

Автор также изменил композиционное построение начала произведения. В первых редакциях две главы, посвященные описанию дачи в Севре и приезду туда Налымова, следовали после эпизодов ужина у Львова и прогулки Набокова с Чермоевым по ночному Парижу, разрывая логически следующие за этим сцены у Уманского и в редакции газеты «Общее дело». Писатель изменил эту композицию чередующихся картин, собрав в более крупные полотна сцены, связанные общим содержанием.

При редактуре текст подвергся значительным сокращениям. Автор снял главу 12-ю об истории банкирского дома Ротшильдов; главу 35-ю, описывающую белогвардейское Северо-западное правительство; большое вступление публицистического характера в главе 52-й; эпизод встречи Воровского с Бистремом после его речи в суде.

Снят был и второй эпиграф. В конце текста дата — «1931—1939» — говорит о времени написания и переработки.

Эта новая редакция под названием «Эмигранты», более близким к основной теме произведения, и с подзаголовком «Повесть» вышла отдельной книгой в издательстве «Советский писатель» в 1940 году.

По этой последней прижизненной публикации и воспроизводится текст.

А. Толстой, давая новое определение жанра «Эмигрантов», в черновике вначале написал «Хроника», но потом переправил на «Повесть».

НА ОСТРОВЕ ХАЛКИ

Впервые под заглавием «Последний день поэта Санди» напечатан в литературном приложении к газете «Накануне», 7 мая 1922 г., № 34, Берлин. Под заглавием «Санди» перепечатан в сборнике «Одиссея» изд-ва писателей, Берлин, 1922. Под заглавием «Последний день поэта Санди» вошел во II том Собрания сочинений («Лихие годы») изд-ва Гржебина, Берлин, 1923. Под заглавием «На острове Халки» впервые напечатан в сборнике А. Толстого «Черная пятница. Рассказы 1923—1924 гг.» изд-ва «Атеней», Л., 1924. Неоднократно включался в сборники произведений автора и собрания сочинений.

Авторская дата: «2 мая 1922 г.».

Рассказ является одним из первых произведений А. Толстого, обличающих белую эмиграцию. По содержанию своему он близок к главе 3-й повести «Похождения Невзорова, или Ибикус» и может рассматриваться как подготовительный эскиз к ней.

При переизданиях автором проводилась правка стилистического характера.

РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ ПОД КРОВАТЬЮ

Отрывки рассказа под заглавием «Рукопись, найденная среди мусора под кроватью» опубликованы в сборнике «Петроград», 1923,

№ 2. Полностью, под тем же заголовком, впервые напечатан в сборнике «Недра» изд-ва «Новая Москва», 1923, кн. 2. В том же году вышел отдельной книжкой в изд-ве Благово, Берлин.

Под заглавием «Рукопись, найденная под кроватью» впервые напечатан в сборнике А. Толстого «Черная пятница. Рассказы 1923—1924 гг.» изд-ва «Атеней», Л., 1924. Неоднократно включался в сборники автора и собрания сочинений.

Авторская дата: «март 1923 г.».

При переизданиях рассказа автором проводилась правка стилистического характера.

Среди произведений А. Толстого берлинского периода о белой эмиграции рассказ, по словам самого автора, вещь «наиболее из всех... значительная по тематике». Его отличие от других рассказов этого цикла — необычайно сжатое повествование о всех последовательных фазах падения белой эмиграции.

УБИЙСТВО АНТУАНА РИВО

Отрывок рассказа под заглавием «Нинет и Шарль» опубликован в журнале «Огонек», 1923, № 2. Впервые полностью под заглавием «Парижские олеографии» напечатан в журнале «Звезда», 1924, № 1.

Под заглавием «Убийство Антуана Риво» впервые вышел отдельным изданием в изд-ве «Север», Л., 1924. Неоднократно включался в сборники произведений автора и собрания сочинений.

Авторская дата: «29 сентября 1923 г. Москва».

В последующих изданиях автором проводилась незначительная правка стилистического характера.

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

Впервые напечатан в сборнике А. Толстого «Черная пятница. Рассказы 1923—1924 гг.» изд-ва «Атеней», Л., 1924. Неоднократно включался в сборники произведений автора и собрания сочинений.

Рассказ «Черная пятница» относится к циклу произведений А. Н. Толстого об эмиграции и зарубежном мире. Выступая в начале 1924 года с чтением своего нового рассказа в Ленинградском институте истории искусств, писатель указал, что богатый материал для ряда этих произведений ему удалось собрать в недавние годы жизни своей за границей (см. отчет о выступлении А. Толстого в журнале «Русский современник», 1924, № 2, стр. 276).

При переизданиях рассказа автором проводилась правка стилистического характера.

МИРАЖ

Первая публикация не установлена. Под заглавием «Золотой мираж» напечатан в сборнике А. Толстого «Черная пятница. Рассказы 1923—1924 гг.» изд-ва «Атеней», Л., 1924. Под заглавием «Мираж» впервые включен в Собрание сочинений А. Толстого, ГИЗ, М.-Л., 1928.

Авторская дата: «1924 г.».

При переизданиях рассказа автором проводилась незначительная правка стилистического характера.

Рассказ «Мираж» некоторыми своими мотивами и образами перекликается с публицистикой А. Толстого этих же лет: так образ короля нью-йоркской биржи Джипи Моргана, который одним движением сигары во рту в состоянии привести в трепет и ужас толпу биржевиков, встречается у Толстого в статье, написанной в 1923 году, «Несколько слов перед отъездом».

В СНЕГАХ

Впервые напечатан в сборнике А. Толстого «Черная пятница. Рассказы 1923—1924 гг.» изд-ва «Атеней», Л., 1924. Неоднократно включался в сборники произведений автора и собрания сочинений.

При переизданиях рассказа автором проводилась правка стилистического характера.

ПОХОЖДЕНИЯ НЕВЗОРОВА, ИЛИ ИБИКУС

Впервые три первые главы под заглавием «Ибикус (повесть)» напечатаны в журнале «Русский современник», 1924, №№ 2, 3, 4. Полностью впервые под заглавием «Похождения Невзорова, или Ибикус» повесть вышла отдельным изданием, ГИЗ, Л.-М., 1925. Неоднократно включалась в собрания сочинений автора.

По свидетельству самого писателя повесть была началом его литературной работы после возвращения на родину. Она составляет как бы центральную часть в целом цикле произведений о белой эмиграции, в который входят и более ранние произведения писателя («В Париже», «На острове Халки», «Рукопись, найденная под кроватью», «Черная пятница») и более поздняя повесть «Эмигранты (Черное золото)».

В архиве А. Толстого сохранился набросок плана большого произведения о белой эмиграции — запись, составленная, видимо, задолго до работы над «Похождениями Невзорова». В этом плане имеется ряд пунктов, которые явились как бы наметкой содержания позднее законченной повести о Невзорове. Приводим ниже запись этих пунктов:

«Вот вам история небольшой, но чрезвычайно сложной человеческой ячейки, распылившейся по Европе.

Начало распыления Одесса.

7 апреля 19 г. генерал д'Ансельм, команд. войсками интервенции, объявил эвакуацию Одессы в следующих выражениях:

«Вследствие недостаточного подвоза питания Одессы производится частичная разгрузка города».

А вчера еще в газетах было: «Наши войска неуклонно продвигаются... Ни в каком случае мы не намерены» — и т. д.

Население прочло.

И покатилось в порт колесом. Стрельба. Возы с багажом. Бандиты.

Все кверх ногами в гавань.

Плавающие сундуки.

Пар. Кавказ (т. е. пароход «Кавказ». — *А. А.).* Население. Слои. Классы. Контрразведка. Спекулянты на сундуках.

Монархический заговор.

12 дней.

Константинопольская баня.

Острова. Монастырь. Первые кабаре. Хождение за визами. 3 месяца на панели.

Дельцы. Улицы Галаты. Тараканьи бега.

Разбредаются по Европе..,» (Архив А. Н. Толстого).

Приведенные пункты плана, несомненно, близки к показанному в повести, но в этих предварительных записях обращает на себя внимание отсутствие какой-либо наметки главной фигуры произведения — образа темного авантюриста С. И. Невзорова. Видимо, этот центральный образ, давший возможность А. Толстому так широко живописать нравы и быт эмигрантского мира, стал вырисовываться в сознании писателя лишь позднее. Естественно, поэтому, что в плане нет и каких-либо пунктов о Петрограде и Москве в первые месяцы после революционного переворота (все это впоследствии составило содержание первой главы повести).

«Похождения Невзорова, или Ибикус» — одно из таких произведений А. Толстого, при написании которых он использовал особенно много непосредственно виденного и пережитого им в период 1918—1920 годов. Н. В. Крандиевская-Толстая в своих воспоминаниях об А. Н. Толстом (Архив А. Н. Толстого) подчеркивает, что обстоятельства переезда писателя со всей семьей из Москвы на Украину, переход через пограничную линию, проходившую тогда близ Курска, были воспроизведены им «с фотографической точностью в повести «Ибикус», в конце главы 1-й». Описания морского пути из Одессы в Константинополь на пароходе «Кавказ», пребывание эмигрантов в карантине на острове Халки также включают в себя обширный материал личных впечатлений и встреч А. Толстого этого же периода.

Работа А. Н. Толстого над текстом позднейших изданий повести «Похождения Невзорова, или Ибикус» выразилась преимущественно в ряде стилистических исправлений.

ДРЕВНИЙ ПУТЬ

Впервые под названием «На ржавом пароходе» напечатан в ленинградской «Красной газете», веч. вып., 1927, № 73, 19 марта, и № 74, 20 марта. Под названием «Древний путь», с подзаголовком «Рассказ», опубликован в журнале «Новый мир», 1927, № 3 (март).

С небольшими стилистическими исправлениями и авторской датой: «12 января 1927 г.» — вошел в сборник рассказов А. Толстого «Древний путь», изд. «Круг», М., 1927.

Дальнейшие, также небольшие, исправления стилистического характера автор последовательно проводил, включая «Древний путь» в XI том Собрания сочинений, ГИЗ, М.-Л., 1929, и затем в сборник «Повести и рассказы (1910—1943)», «Советский писатель», М., 1944.

Для истории создания «Древнего пути» интересный материал дают воспоминания Н. В. Крандиевской-Толстой. В главе «Корковадо» она рассказывает о поездке их семьи весной 1919 года на пароходе «Корковадо» из Константинополя в Марсель. Приводим отрывки из этих воспоминаний, показывающие, какой жизненный материал использован писателем для создания фона, на котором

раскрываются тягостные раздумья умирающего французского офицера Поля Торена. «То, что старуха,— пишет Н. В. Крандиевская-Толстая об одной из пассажирок «Карковадо»,— была хозяйкой брошенного в Одессе веселого дома, а племянницы — двумя наиболее ценными экземплярами этого заведения, стало известно на пароходе с первого дня. Это вызвало волнение среди экипажа и в машинном отделении, но пока волнение клокотало под почвой и мало кто из пассажиров его замечал (стр. 8) (...) Ночью мы вошли в Салоники, и до рассвета «Карковадо» грузил французские войска, возвращавшиеся с фронта (...). Утром зуавы в красных фесках лежали на палубе вповалку. Пробираясь на кухню за кипятком, мы с детьми шагали через ноги в грязных обмотках, через ранцы и спящие тела. Признав в нас русских, солдаты ободряюще покрикивали нам вслед: «Ленин карашо, ле совьет — карашо!»

Один, загорелый, в берете, взял Никиту на руки и подбросил в воздухе несколько раз. Никите это понравилось (...).

Новые пассажиры, видимо, чувствовали себя хозяевами на пароходе. Их было много. Они были веселы и возбуждены, как люди, только что избежавшие смертельной опасности.

Несмотря на запрет, солдаты бродили по палубам первого класса, заглядывая в двери бара и в окна салона, разглядывая бесцеремонно публику, зубоскаля и отпуская шуточки, не всегда безобидные (стр. 13—14) (...). Уже вторую неделю волочит «Карковадо» свой отяжелевший и дряхлый корпус, борясь с течениями, заносимый ими в сторону. Его винты надрываются из последних сил, одолевая водяные просторы, а Мессинский пролив все еще впереди (...).

...Странные вещи творятся на пароходе. Вчера, среди бела дня, совершенно голая женщина перебежала мне дорогу по коридору и скрылась, хлопнув дверью, в одной из кают. Я так и не разглядела, кто это был, Эсфирь или Клавдия («воспитанницы» старухи.— *Ю. К.).*

Целый день в темном конце коридора толкутся и шепчутся солдаты. В воздухе топором висит запах капораля — французской махорки. Организуется таинственная очередь. Визг и хохот доносятся из служебной каюты. За попытку подойти вне очереди к двери вчера ночью молодой зуав выгрыз кусок спины чернокожему полковому коку, после чего оба африканца, сцепившись в клубок и кровоточа, катались по коридору» (стр. 19) (цитируется по рукописи. Архив А. Толстого, хранится в Институте мировой литературы им. А. М. Горького).

Н. В. Крандиевская-Толстая рассказывает и о первом возникновении замысла «Древнего пути». Как-то А. Толстой просил подсказать ему тему для рассказа. «Мне пришло в голову,— пишет она,— натолкнуть его на один сюжет. Впрочем, это был даже не сюжет и даже не тема. Просто захотелось снова заразить его тем смутным, поэтическим волнением, которое охватило когда-то нас обоих на пути в Марсель, через Дарданеллы, мимо греческого Архипелага.

— Ты помнишь остров Имброс, мимо которого мы плыли? — спросила я.— Грозу над ним?

— Ну?

Вероятно, я говорила очень путано, сама плохо понимая, что к чему. Я напомнила ему днища опрокинутых пароходов у берегов

Трои, оливы на плоскогорьях Имброса и красные поросли маков, мимо которых мы плыли так близко.

— Ты помнишь мальчика с дудкой? Он шел за стадом овец, как Дафнис. Помнишь зуавов из Салоник? Закат над Олимпом?

Вытряхивая все это и многое другое из закоулков памяти, я заметила, что он насторожился, помаргивая глазами, и вдруг провел рукой по лицу, сверху вниз, словно снимая паутину. Знакомый жест, собирающий внимание. Я продолжала:

— Современному человеку, глядящему в бинокль с парохода на древние эти берега, в пустыню времени...

— Погоди,— остановил он меня,— довольно.

Медленно отвинтил паркер, полез за книжечкой в боковой карман и что-то отметил в ней. Потом простился и ушел к себе.

На другой день он, как всегда, с утра сел за работу.

Рассказ «Древний путь» писался медленно и трудно. В процессе работы был забыт первоначальный его размер — строк на триста.

Откуда взялся Поль Торен, умирающий французский офицер, герой рассказа? Чтобы понять это, надо оглянуться назад, развернуть и проследить обратный ход ассоциаций,— война, Одесса, французская интервенция 1919 года.

А жирные, носатые, низкорослые греки, плывущие под парусами мимо древних пастухов — пелазгов,— откуда они?

Помню, на одной из греческих ваз, в залах Лувра, Толстой указал мне однажды цепочку крутобоких кораблей с высокими гребнями. Черные силуэты пловцов под парусами были четки и как-то трагически выразительны.

— Похоже на то, что и у этих гиперборейцев не все благополучно с бытием,— заметил Толстой,— смотри, с каким отчаянием поднимают они руки к небу! — И, промолчав, добавил полувопросительно: — Завоеватели, купцы или просто искатели Золотого Руна?

Он долго рассматривал вазу, обходя ее со всех сторон, любуясь ею и,— кто знает? — быть может, уже откладывая впрок, в кладовые подсознания, драгоценный осадок своих впечатлений. Некоторые страницы «Древнего пути» дают основания предполагать, что так это и было» (там же, глава «О «Древнем пути», стр. 3—6).

В черновиках автобиографии, написанной в 1938 году, А. Толстой говорит о месте «Древнего пути» в своем творчестве второй половины 20-х и начала 30-х годов: «За этот же период написано несколько повестей, из которых наиболее значительны: «Древний путь» и «Гадюка» (Архив А. Н. Толстого).

СОДЕРЖАНИЕ

Алексей Николаевич
ТОЛСТОЙ

ЭМИГРАНТЫ. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Редактор
Ю. О. Бем

Оформление художника
Д. Б. Шимилиса

Художественный редактор
Н. Н. Каминская

Технический редактор
Т. С. Трошина

Сдано в набор 22.10.81. Подписано к печати 02.12.81.
Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Эксельсиор». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 29,40. Уч.-изд. л. 29,36.
Тираж 3 000 000 экз. (10-й завод 2 250 001 – 2 500 000)
Цена 2 р. 70 к. На газетной бумаге цена 2 р. 60 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
125865. ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Волжская
коммуна», г. Куйбышев, проспект Карла Маркса, 201.
Заказ № 1049



Уважаемые товарищи!

Чтобы сохранить лесные богатства нашей страны, с 1974 года организован сбор макулатуры в обмен на художественную литературу, для чего расширен выпуск популярных книг отечественных и зарубежных авторов.

Сбор и сдача вторичного бумажного сырья — важное государственное дело. Ведь 60 килограммов макулатуры сохраняют от вырубки одно дерево, которое вырастает в течение 50—80 лет.

Призываем вас активно содействовать заготовительным организациям в сборе макулатуры — это даст возможность увеличить производство бумаги для дополнительного выпуска нужной населению литературы.